

Мой 20
век

Никита Хрущев

Мой 20
век

Воспоминания
Никита Хрущев



Н.С. Хрущев начал писать свои «Воспоминания» после отставки со всех партийных и государственных постов в 1964 году.

Его бывшие соратники активно препятствовали ему в этом — мемуары бывшего лидера СССР обещали быть явно «непарадными».

Так и случилось.

Поэтому «Воспоминания» увидели свет сначала за рубежом, а на Родине появились много позже — лишь в годы перестройки они были опубликованы в журнале «Вопросы истории» и частично в «Огоньке».

Их можно назвать подлинным слепком с эпохи, взглядом из прошлого, устремленным в будущее.

В настоящее издание «Воспоминаний» вошли наиболее интересные фрагменты из более чем 3000 рукописных страниц и лично надиктованных на магнитофон материалов, отобранные членами семьи автора.



ВАГРИУС

Mois
20
Ber

*Мой 20
век*

**НИКИТА
ХРУЩЕВ**

Воспоминания



ВАГРИУС

**НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
ХРУЩЕВ**

Воспоминания

ИЗБРАННЫЕ
ФРАГМЕНТЫ

МОСКВА · ВАГРИУС ·
1997

УДК 882-94
ББК 63.3(2)
X95

Полный текст воспоминаний
Н.С. Хрущева впервые опубликован
в 1990—1995 годах в журнале
«Вопросы истории».

В книге использованы фотографии
из Московского государственного
архива документов на специальных
носителях, Фотохроники
ИТАР-ТАСС, музея С.П. Королева,
дома-музея И.В. Курчатова,
архива семьи Хрущевых,
архива П.М. Кримермана

*Охраняется законом РФ
об авторском праве.
Воспроизведение всей книги или
любой ее части запрещается без
письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном
порядке.*

ISBN 5-7027-0415-0

© Издательство «ВАГРИУС», 1997
© Р.Аджубей, В.Евреиннов,
С.Хрушев (правовладельцы), текст, 1997
© А.Шевеленко, составление, 1997
© Е.Вельчинский, дизайн серии, 1997

Предлагаемые вниманию читателя избранные фрагменты из воспоминаний Н.С. Хрущева, моего отца, — лишь часть обширных материалов, надиктованных им в 1967—1971 годах. Обстоятельствам было угодно сделать меня редактором и хранителем рукописи. В то время помощь отцу в работе над воспоминаниями грозила серьезными неприятностями. Власти сделали все, чтобы воспоминания Н. С. Хрущева не увидели свет, и они преуспели, по крайней мере, в нашей стране.

Сейчас все переменялось, но публикация натолкнулась на иные преграды, в первую очередь финансовую. К тому же рассуждения бывшего политика, касающиеся не существующей более страны и не существующего строя, поверхностному читателю порой представляются неактуальными. Своей кажущейся «запоздалостью», невостребованностью мемуары Никиты Сергеевича Хрущева перекликаются с воспоминаниями другого реформатора России С. Ю. Витте. И те, и другие писались при тайном и явном противодействии властей. И те, и другие увидели свет сначала за рубежом, а на Родине появились много позже, после смены исторических эпох, когда отрицание опыта предыдущей власти, отрицание собственной истории у большинства обывателей вошло в привычку. И те, и другие воспоминания — слепок с эпохи, очень личный рассказ о ней. Рассказ о стране на распутье. И те, и другие воспоминания — взгляд из прошлого, направленный в будущее.

Никита Сергеевич взялся за мемуары, когда власти всерьез задалась целью реанимировать Сталина. Их решение он считал безумным, губительным для страны и доступными ему средствами стремился воспрепятствовать этому, рассказать правду о Сталине и сталинизме. Возможности его, к сожалению, ограничились магнитофоном и ящиком письменного стола, куда он складывал свои рукописи.

Вторую часть диктовок Никита Сергеевич посвятил послесталинскому реформированию нашей страны. Это не только XX съезд, рассказавший о преступлениях режима, свернувший страну с тропы войны на тернистую дорогу мирного сосуществования, от гонки вооружений к пос-

ледовательному разоружению, обеспечивающему безопасность страны и одновременно не препятствующему интенсивному экономическому развитию. Это и рассказ о попытках реформирования нашего общества, поиске рациональных экономических структур, таких, которые бы позволили нашей стране осуществить мечту моего отца — «догнать Америку», но не в производстве ядерных ракет, а в производстве того, что делает жизнь человеческой. Первым делом он хотел «накормить» страну, сравняться с США в производстве мяса, молока и масла. Целинные земли. Породившая столько анекдотов кукуруза (и не только она, но и соя). Ориентация на крупные животноводческие комплексы, удостоившиеся в наше время уничтожительной критики, но именно на таких комплексах, а не на индивидуальных фермах, изготавливаются в США курятина, ставшие привычными россиянам «ножки Буша», свинина и говядина. Все эти темы ждут своих серьезных исследований. Несмотря на ошибки, тогда удалось поднять уровень потребления населения без привлечения продовольственного импорта (за исключением катастрофического 1963 года). К сожалению, не все получалось, как хотелось. Но при всех недостатках и промахах западные ученые считают Н. С. Хрущева единственным из советских лидеров XX столетия, передавшим страну в лучшем положении, чем он принял ее из рук предшественников.

Жилищное строительство. Пятиэтажки, бетонные панели — одно слово, «хрущобы». Почему был выбран этот путь, Никита Сергеевич рассказывает в своих мемуарах. Он считает, что иначе страна никогда бы не избавилась от бараков, от перенаселенных коммуналок.

Экономическая реформа. Поворот от министерств к совнархозам, от вертикального централизованного управления к региональному. На время он придал положительный импульс экономике. Одновременно этот шаг обнаружил противоречие между целями собственника-государства и устремлениями региональных элит. Реформа закончилась неотвратимым восстановлением все той же, но только теперь не министерской, вертикали, а совнархозовской властной пирамиды — межрегиональные совнархозы, общесоюзный совнархоз.

Военная реформа. Никита Сергеевич понимал, что экономически мы еще долго не сравняемся с США. В таких условиях симметричность в военной стратегии, создание сбалансированных вооруженных сил и, как следствие, гонка вооружений приведут страну к экономическому краху. Выход он видел в асимметричности оборонной стратегии, когда безопасность страны обеспечивается несколькими сотнями (200—300) межконтинентальных ядерных ракет, охраняемых небольшой (до полумиллиона солдат) высококвалифицированной армией. И никаких попыток

гнаться за американцами в военно-морских силах, авиации, танках, тактических ядерных силах. Сэкономленные миллиарды должны были пойти на развитие экономики. Реформа вооруженных сил началась сразу после смерти Сталина. Армия сократилась с 5,5 млн человек до 2,5 млн. Прекратилось разорительное строительство надводного Военно-Морского Флота. Сократились авиация и артиллерия. Намечалось резкое уменьшение производства танков. Именно за это так невзлюбили его военные.

Внешняя политика. Как обезопасить страну от внешней угрозы? Никита Сергеевич видел один путь — заставить США считаться с СССР, как с равным. Добиться этого в условиях экономического неравенства можно, лишь жестко реагируя на любой шаг противной стороны. Так родилась политика кризисов: от Суэцкого, 1956 года, до Кубинского (Карибского), 1962 года. Если выстроить их в ряд, то становится ясно, что только благодаря решительности и одновременно осторожности удалось добиться от американцев признания нашей страны великой державой, к сожалению только в военном отношении.

Я не тешу себя надеждой, что все согласятся с моими оценками, кое-кто сочтет меня предвзятым. Конечно, мое мнение о тех временах, о моем отце — субъективно. Оно и не может быть иным. Да и существуют ли вообще несубъективные мнения?

Прошлое уходит, но не бывает настоящего без прошлого. И чем лучше мы усвоим уроки былого, тем меньше ошибемся в будущем.

Благодарю от души Леонору Никифоровну Финогенову за ее самоотверженный труд. В невероятно тяжелых, враждебных условиях она распечатала надиктованные Н.С. Хрущевым магнитофонные бобины.

Огромная благодарность Анатолию Яковлевичу Шевеленко, выверившему, насколько это возможно, все и вся и подготовившему текст к печати.

Ахмед Ахмедович Искендеров опубликовал полную версию мемуаров в журнале «Вопросы истории».

Хочется особо отметить и поблагодарить друга нашей семьи Петра Михайловича Кримермана за большую работу по подбору и подготовке архивных и авторских фотоснимков, ожививших воспоминания моего отца, а также высказать добрые слова советским и иностранным фотожурналистам, чьи фотографии вошли в книгу мемуаров Н.С. Хрущева.

Профессор Сергей Никитич Хрущев

Ко мне давно обращаются мои товарищи и спрашивают (и не только спрашивают, но и рекомендуют) записать свои воспоминания, потому что я и вообще мое поколение жили в очень интересное время: революция, гражданская война и все, что связано с переходом от капитализма к социализму, развитием и укреплением социализма. Это целая эпоха. Мне выпало на долю принимать активное участие в политической борьбе с первых дней моего вступления в партию. Я все время занимал какие-то выборные должности. Войны, гражданская и Отечественная, внутренние события широко освещены в печати. Но есть и «белые пятна», которые многим непонятны. Да и мне они были долгое время непонятными. После смерти Сталина, когда мы получили возможность приобщиться к тем архивным материалам, которые нам были неизвестны, многое предстало в ином свете. Раньше было только слепое доверие, которое мы питали к Сталину, и поэтому все, что делалось под его руководством, освещалось как необходимое и единственно правильное. Когда же мы сами начали несколько критически мыслить, то стали проверять факты, насколько это возможно, по архивным данным.

Я понимаю заботу моих товарищей, настоятельно рекомендовавших мне взяться за перо. Пройдет время, и буквально каждое слово людей, живших в наше время, станет на вес золота. Тем более тех людей, кому выпала доля близко стоять у руля, который направлял весь огромный корабль на перестройку общественно-политической жизни нашей страны и тем самым оказывал огромное влияние на мировое развитие. Однако я должен буду работать, не пользуясь фактически архивным материалом. Это слишком сложно, да и в моем положении сейчас, вероятно, невозможно.

Я хочу быть очень правдивым и буду ссылаться на факты так, чтобы будущее поколение (а я пишу для него) могло их проверить. Я буду указывать источники, к которым надо прибегнуть, чтобы более детально узнать, проверить и понять факты. По вопросам, которые я считаю особенно интересными для будущего поколения, все факты были проверены и

записаны протокольно. С ними можно будет детально ознакомиться. Сейчас эти архивные материалы недоступны, но они станут достоянием всех. Да и сейчас я считаю, что большинство материалов не являются закрытыми.

Я хотел бы высказать свое мнение по ряду вопросов, зная по опыту, как будущее наше поколение будет охотиться за каждым словом об этом важнейшем и ответственнейшем периоде, в котором мы жили, творили и создали мощное государство. Это делалось нашими усилиями, усилиями народа, партии и руководителей того времени, которые были организаторами масс. Мне повезло, я тоже был в их числе, в разное время и на разных этапах, от самого маленького звена нашей партии — первичной партийной организации и вплоть до высшего руководящего органа — ЦК партии, его Политбюро и Президиума, постов Председателя Совета Министров и Первого секретаря Центрального Комитета. Мне приходилось присутствовать при решении многих вопросов, быть участником претворения в жизнь принятых решений, участником событий этого ответственного периода. Считаю поэтому своим долгом высказать свое мнение.

Заранее знаю, что нет такого мнения, которое бы всех удовлетворяло, да я и не преследую этой цели. Но хотел бы, чтобы среди тех мнений, которые будут в той или иной форме записаны и останутся как наследство для будущих поколений, и мое мнение было известно. Такие мнения были по отдельным вопросам и общими, и разными. Это естественно. Ничего противоречивого тут нет. Да, собственно, так и в дальнейшем будет. Истина рождается в спорах. Даже в одной партии, стоящей на одной принципиальной марксистско-ленинской позиции, у людей могут быть разные понимания, разные оттенки при решении того или другого вопроса. Живя во времени, которое требует гибкого подхода к решению тех или иных вопросов, я знаю, что возникнут разные точки зрения и, возможно, даже противоположные, но это меня не смущает.

Я полагаюсь на тех людей, которые будут как бы судьями. Судить же будет народ, который станет знакомиться с этими материалами и делать свои выводы. Не думаю, что то, что я скажу, — обязательно истина. Нет, истину будет находить каждый, сопоставляя разные точки зрения по тому или другому вопросу в то или другое время. Только этого я и хочу. Глуп тот, кто хотел бы все подстричь под одну гребенку, а все, что не подходит под нее, все это объявить ересью, глупостью, а может быть, даже преступлением. Пусть судит сама история, пусть судит народ.

Поэтому заранее прошу извинить за то неправильное, что читатель может найти в моих записях. Это моя точка зрения, я так сейчас смот-

рю, так понимаю, так и пишу. Не хочу приспособливаться и поэтому не хочу умалчивать, не хочу замазывать, не хочу прилаживать, не хочу лакировать нашу действительность. Она не требует этой лакировки, потому что она сама по себе грандиозна. Ведь мне посчастливилось жить в такое переломное время, когда старый, сложившийся уклад жизни на буржуазно-помещичьей основе мы сломали, сбросили его и строим новую жизнь на основе новых и теории, и практики.

Теория без практики — это мертвая теория. Нам пришлось на основе самой прогрессивной, марксистско-ленинской теории прокладывать путь практике. Это очень сложно, поэтому тот период не исключает ошибок и промахов, вольных или невольных. Как говорится, да простят нас потомки, учитывая, что это был первый опыт. Поэтому он единственный, а уж второй — какое-то его повторение. Пусть и судят нас с учетом условий, в которых мы жили и творили. Мы поработали и только потом начали заниматься воспоминаниями, чтобы не упустить того хорошего, что в нашей истории создано нами, партией, рабочим классом и трудовым крестьянством, и не повторить тех ошибок и, я бы сказал, преступлений, которые были совершены якобы во имя партии и якобы для партии. Сейчас ясно, что это было злоупотребление властью. Причина происхождения этого злоупотребления освещалась в докладах на XX съезде партии и повторно в какой-то степени на XXII съезде партии. Я считаю, что все, что было по этому поводу сказано, было правильным. Я и сейчас стою на этих же позициях и именно с них буду рассказывать об ответственном времени кануна Великой Отечественной войны и военного периода и потом последовательно стану излагать ход событий, насколько у меня хватит сил, так, как я его видел, понимал и оцениваю сейчас.

С чего же начать? Думаю, что надо начинать с фигуры Сталина. Почему? Потом, дальше (если мне удастся довести дело до конца) это будет ясно. А если тут же дать в какой-то степени объяснение, то можно сказать, что до смерти Сталина мы считали, что все, что делалось при его жизни, было безусловно правильным и единственно возможным для того, чтобы выжила революция, чтобы она укрепилась и развивалась. Правда, в последний период жизни Сталина, до XIX съезда партии и особенно сразу же после него, у нас, людей из его близкого окружения (имею в виду себя, Булганина, Маленкова и в какой-то мере Берия), зародились уже какие-то сомнения. Проверить их мы тогда не имели возможности. Только после смерти Сталина, и то не сразу, у нас хватило партийного и гражданского мужества открыть занавес и заглянуть за кулисы истории. Тогда я и узнал некоторые факты, которые хочу осветить.

Выразив желание учиться в Промакадемии, я встретил сопротивление. К тому времени Каганович уже уехал в Москву, работать в ЦК, а вместо него был прислан Косиор. В Киеве считали, что я — близкий к Кагановичу человек (а это так действительно и было) и поэтому ухажу еще и потому, что не хочу с Косиором иметь дело, не хочу с ним работать и поддерживать его. Это было не так. Я Косиора мало знал, но с уважением относился к нему. Косиор по характеру довольно мягкий, приятный человек и разумный. Я бы сказал, что в смысле отношений с людьми он стоял выше, чем Каганович, но как организатор он, конечно, уступал ему. Каганович — более четкий и более деятельный человек: это действительно буря. Он может даже наломать дров, но решит задачу, которая ставится Центральным Комитетом. Он был более пробивной человек, чем Косиор.

Я посчитал необходимым поехать в Харьков и объяснить с Косиором. Я сказал ему: «Мне уже 35 лет. Я хочу учиться. Поймите меня. Я прошу ЦК КП(б)У понять и поддержать меня и прошу, чтобы ЦК рекомендовал меня в Промышленную академию. Я хочу быть металлургом». Косиор с пониманием отнесся к моей просьбе и согласился. Когда встал вопрос о том, что я ухажу, Демченко очень огорчился и долго уговаривал меня остаться, хотя и с пониманием относился к тому, что человек хочет учиться. Вот тогда-то я увидел и почувствовал истинное отношение людей к себе.

Когда я поставил вопрос об уходе на учебу и попросил отпустить меня, то даже решение не сразу было принято. После заседания Бюро некоторые товарищи зашли ко мне и говорят: «Ты действительно хочешь учиться, или у тебя, может быть, с Демченко не выходит? Ты скажи нам открыто». Говорили с намеком, что поддержат меня, если у меня с Демченко не выходит дело и плохо складываются отношения. Я отвечал: «Нет, прошу правильно понять меня. У меня с Демченко наилучшие отношения. С таким человеком, как Демченко, я готов бы работать и дальше, но хочу учиться». — «Ну, тогда другое дело, мы тебя поддержим». И на следующем заседании было принято нужное решение.

Я уехал в Москву. Там тоже встретил трудности, потому что у меня не было достаточного руководящего хозяйственного стажа. В Промышленной академии товарищи говорили, что я не подойду им, и рекомендовали идти на курсы марксизма-ленинизма при ЦК партии. «А здесь, — говорят, — создано учебное заведение для управляющих, для директоров». Пришлось мне побеспокоить Лазаря Моисеевича Кагановича (он был секретарем ЦК) и попросить, чтобы ЦК поддержал меня. Я добился своего: меня поддержал Каганович, и таким образом я стал слушателем Промышленной академии.

Поселился я тогда в общежитии на Покровке, в доме № 40. Он и сейчас там стоит. Не знаю только, *что* в этом здании находится. По тому времени это было хорошее общежитие: коридорная система, отдельные комнаты. Одним словом, идеальные условия. Учебное здание Промышленной академии помещалось на Ново-Басманной, это тоже недалеко. Я не пользовался трамваем, ходил пешком через Земляной вал и прямо через переулок, где был, кажется, Дом старых большевиков, потом сворачивал на Ново-Басманную налево. Дорога занимала всего несколько минут: такой ежедневный небольшой моцион.

Начал я учиться. В академии люди были очень разные и по партийности, и по общей подготовке. Многие окончили сельскую школу и знали только четыре действия арифметики, а с другой стороны, там были люди, которые имели среднее образование. А я пришел, закончив рабфак: это считалось — имею среднее образование. Наша группа была подобрана довольно-таки сильной. Но у нас имелись один-два таких товарища, которые отставали по математике, и они нас тянули назад. Народ взрослый, упорный, поэтому преподаватель требовал, чтобы человек учился, а человек сам требовал от преподавателя, чтобы тот его учил. Но на все требуется время. Бывало, не его вызывали к доске, а он сам идет к ней, мучает преподавателя, потому что ему непонятны те или другие математические формулы. Мы же сидим и возмущаемся, что и нас держат, потому что для нас это уже пройденный этап.

Так было и в 1929 году. А когда я пришел в академию осенью 1930 года, то столкнулся с таким явлением. В академию пришло очень много людей, которые, собственно, не особенно-то хотели учиться, но в силу сложившихся политических условий вынуждены были оставить хозяйственную, партийную или профсоюзную деятельность. Вот они и расплозились по учебным заведениям. Промышленная академия стала буквально уютным уголком, где могли отсиживаться такие люди, потому что стипендия приличная, столовая неплохая и общежитие хорошее: у каждого — комната, а некоторые маститые хозяйственники имели возможность получить две комнаты и устроиться там с семьей.

Шефствовал тогда над Промышленной академией Куйбышев, председатель Госплана. Ну, что могло быть выше? Уважаемый и влиятельный человек, который действительно поддерживал Промышленную академию. То был как раз период острой борьбы с «правыми». «Правые» развернули свою деятельность: Рыков, Бухарин, Угланов. Они повели борьбу, и очень сильную. Руководство партийной ячейкой академии было в руках «правых». Секретарем ячейки был Хахарев, довольно влиятельный человек, с дореволюционным стажем, кажется, с 1906 или 1907 года. Сам он из Нижнего Новгорода, известный человек, прошел подполье. Вокруг него группировалась эта, так сказать, старая гвардия. Но она была пораженной: ведь она выступала против генеральной линии партии. Она группировалась вокруг Бухарина и поддерживала его, поддерживала Угланова, поддерживала Рыкова против Сталина и против Центрального Комитета партии.

Мы пришли с Юга. У нас было довольно большое землячество (донбассовцы, днепропетровцы, луганчане, артемовчане, харьковчане). Мы стояли на позициях Центрального Комитета. Завязалась борьба, и я тоже довольно активно втянулся в эту борьбу. Главным образом меня тогда поддерживал Табаков. Он тоже позднее безвинно погиб, его расстреляли. По национальности он был еврей, очень хороший коммунист. Я его узнал, когда он был директором треста, а потом — объединения по производству керамики для металлургии. В Донбассе находился Красноружский завод огнеупоров для облицовки доменных и мартеновских печей, и Табаков занимался этим делом. У меня с ним установился хороший контакт, он опирался на Юзовскую организацию, и тут-то в академии мы сошлись с ним. У нас существовало единое партийное мнение, и другие товарищи нас поддерживали, например Аллилуев с Дальнего Востока. Он и сейчас, кажется, жив, пенсионер. (Этот Аллилуев ничего общего с Аллилуевым, тестем Сталина, не имеет, просто однофамилец.) Были у нас и другие товарищи, и довольно-таки большая группа, но все же мы оставались в меньшинстве. Может показаться, что я отвлекаюсь. Казалось бы, какое это имеет отношение к теме? Я ведь хотел говорить о Сталине, о его роли. Но это как раз имеет прямое отношение к теме.

В Промышленной академии развернулась борьба за генеральную линию Центрального Комитета против «правых» и зиновьевцев, а потом право-левацкого блока Сырцова — Ломинадзе. В этой борьбе моя роль резко выделялась в том коллективе, и все это было на виду у Центрального Комитета. Поэтому всплыла и моя фамилия как активного члена партии, который возглавляет группу коммунистов и ведет борьбу с уг-

лановцами, рыковцами, зиновьевцами и троцкистами в Промышленной академии. Политическая борьба шла очень острая. Ведь там большинство составляли члены партии с дореволюционным стажем, и нужно сказать, что эта группа была очень солидной: в ней имелись влиятельные люди. Например, помню нашего донбасского товарища Макарова. Он был в Юзовке директором Юзовского завода, сам же он — нижегородец, член партии с 1905 года, очень умный и уважаемый человек. Он официально не объявлял, что он заодно с «правыми», но поддерживал «правых» и против «правых» нигде даже не заикался. Видимо, он договорился с «правыми», что будет вести себя несколько скрытно, не выявлять себя сторонником оппозиции. Считалось, что он вроде бы стоит на позиции генеральной линии партии, а на самом деле он своей деятельностью способствовал усилению группы Угланова, Бухарина, Рыкова.

Остроту борьбы можно показать на таком примере. Выборы президиума общего собрания нашей партийной организации заняли однажды целое заседание, и оно открылось только на следующий день. Помню, как мои товарищи выставляли мою кандидатуру в президиум, но знаю, что я раза два или три проваливался и не был избран. Когда шли выборы в президиум, то все кандидаты должны были выйти на трибуну и рассказать свою биографию. Кандидат с послереволюционным стажем члена партии уже был как бы обречен. Вот такая имела место борьба. А уж в бюро ячейки выбирали вообще особо. Меня несколько раз выдвигали, и моя кандидатура никак не проходила. Вообще же тогда часто проходили переизбрания бюро ячейки, потому что развернулась острая борьба, так что люди менялись.

«Правда» часто выступала против «правых», и, как правило, после каждого ее выступления созывалось общее партсобрание, а оно уже переизбирало бюро. Но «правые» так приладились, что, когда Хахареву уже нельзя было оставаться секретарем партийной организации Промышленной академии, выдвинули Левочкина. Левочкин, из Брянска, был менее заметной фигурой, но, по существу, тоже «правый». Поэтому линия бюро в поддержку «правых» продолжалась и после перевыборов. Еще раз состоялось выступление «Правды». Опять прошло очень бурное собрание, долго выбирали президиум, в конце концов меня избрали в него, и я стал председателем собрания партийной организации Промышленной академии, фактически же общего собрания Промакадемии в целом, поскольку там все были членами ВКП(б). Заседание проходило бурно. Толчком к нему стали события, о которых я расскажу для характеристики обстановки, которая сложилась в то время.

Это было в 1930 году. Партия готовилась к своему XVI съезду. На местах шли отчетные собрания. Опять разгорелась широкая и глубокая дискуссия. Тогда «правые», чтобы устранить меня от участия в дискуссии перед выборами делегатов на районную партийную конференцию, придумали такой ход. Мы, шефствуя над колхозом имени Сталина в Самарской области, собирали отчисления на покупку этим колхозом сельскохозяйственного инвентаря. И вот бюро партийной ячейки решило послать делегатов вручить колхозникам инвентарь. Конечно, «вручение инвентаря» было условным, потому что мы не возили с собой машины, а просто знали их цену и сказали, что вот для покупки такого-то инвентаря (сеялки, комбайны и пр.) собрали такую-то сумму денег и вручаем ее партийной организации колхоза имени Сталина. Выбрали для поездки делегацию. Она состояла из двух человек: включили меня и Сашу Здобнова. Здобнов — тоже слушатель Промышленной академии, с Урала, хороший товарищ. Он тоже, видимо, погиб потом в «мясорубке» 1937 года.

В дороге я читал брошюру о том, что такое комбайн. Приехали мы, провели собрание и прожили там несколько дней. Тогда-то и узнал я о действительном положении на селе. Раньше я себе его практически не представлял, потому что жили мы в Промышленной академии изолированно и, чем дышала деревня, не знали. Приехали мы туда и встретили буквально голод. Люди от недоедания передвигались, как осенние мухи. Помню общее собрание колхозников, мы выступали все время с переводчиком, потому что колхоз оказался по составу населения чувашским, и они все в один голос просили нас, чтобы мы им дали хлеба, а машины произвели на них мало впечатления: люди буквально голодали, я такое впервые увидел. Нас поместили к какой-то вдовушке. Она настолько была бедна, что у нее и хлеба не было. Что мы с собой в дорогу взяли, только этим и жили, да еще делились с этой вдовушкой.

Закончили мы свои дела, вернулись в Москву, а в это время уже шли районные партийные конференции в столице. Наша партийная организация тоже избрала человек 10 или больше — не помню, сколько. Состав слушателей Промышленной академии был велик, норма же представительства была тогда небольшой, потому что Московская партийная организация по сравнению с теперешним составом тоже была сравнительно невелика. От Промышленной академии на районную конференцию были избраны Сталин, Рыков и Бухарин. Не помню, был ли избран Угланов. Кажется, нет, потому что его кандидатура была более одиозной. Бухарин же и Рыков были избраны как члены Политбюро. Мы считали, что «правыми» был сделан обдуманый и ловкий ход, с тем чтобы провести на конференцию Рыкова и Бухарина именно от нашей организации: они вы-

ступили с предложением, не объявляя, конечно, что выступают от «правых», избрать от нашей партийной организации на районную конференцию вождей партии и назвали такие кандидатуры: Сталин, Рыков, Бухарин. В то время Бухарин и Рыков еще находились на таком уровне, что их кандидатуры прямо не отводили, ведь они являлись членами Политбюро. Поэтому выступать, поддерживая Сталина и отводя Рыкова и Бухарина, было нельзя, да это, видимо, и не встретило бы тогда поддержки в Политбюро. Были избраны также некоторые слушатели академии, которые поддерживали «правых».

Когда мне об этом рассказал Табаков, наиболее близкий мой товарищ, то мы с ним откровенно обменялись мнениями по всем политическим вопросам. Вообще он был довольно развитым и подготовленным в политическом отношении человеком. А поздно вечером раздался звонок. Меня вызывают к телефону. Это было редкостью, потому что в Москве я ни с кем никакого знакомства не имел. Подошел я к телефону: «Говорит Мехлис, редактор «Правды». Вы можете ко мне приехать в редакцию?» Я сказал, что могу. «Тогда сейчас подготовьтесь, я пришлю свою машину. Срочно приезжайте, у меня есть к вам дело». Отвечаю: «Хорошо».

Через несколько минут автомашина была уже около общежития Промышленной академии. Я сел в нее и поехал в «Правду». Это было первое мое знакомство с Мехлисом. Он зачитал мне письмо из Промышленной академии, где рассказывалось о политической махинации, которая была подстроена для избрания делегации «правых» от партийной организации академии. Все знали, что в Москве в Промышленной академии учатся в абсолютном большинстве старые большевики, бывшие директора заводов, фабрик, объединений. Они проходили там подготовку и переподготовку по повышению своих технических знаний. Мехлис зачитал текст и спрашивает: «Вы согласны с содержанием этой корреспонденции?» Говорю: «Меня тогда там не было». — «Знаю, что Вас не было, но заметка верна?» — «Полностью согласен, она отражает действительность». — «А Вы можете ее подписать?» — «Как же могу подписать? Не я же писал и автора не знаю». — «Нет, нет, — говорит, — Ваша фамилия не будет фигурировать и даже автора не будет. Я верю Вам, я слышал о Вас и Вашей позиции. Если Вы подпишете, то, значит, в заметке действительно правдиво отражается обстановка, которая сложилась в партийной организации Промышленной академии». Я сказал: «Хорошо», — и подписал. Он сейчас же на своей машине отвез меня в общежитие Промышленной академии.

А назавтра вышла «Правда» с этой корреспонденцией. Это был гром

среди ясного неба. Забурлила Промышленная академия, были сорваны занятия, все партгруппорги требовали собрания. Секретарь партийной организации Левочкин вынужден был созвать его. Все хозяйственники в академии были аполитичные люди, а некоторые — просто сомнительные лица. Кое-кого из них я знал: наши были, донецкие. Приходили они ко мне и говорили: «Что ты склоку заводишь? Что тебе нужно?» Я отвечал: «Слушай, ты же ничего не понимаешь, это же «правые», куда они тебя тянут?» А они ни черта не понимали, кто такие «правые» и кто такие «левые».

Это собрание было самым бурным. На нем-то меня и избрали в президиум, и я стал председателем собрания. Тут и активизировалась группа, которая стояла на позициях Центрального Комитета и вела борьбу с «правыми», то есть с руководством нашей организации, так как оно в основном было «правым». Не помню, сколько времени шло заседание. Закончилось оно тем, что были отозваны все делегаты, кроме Сталина, — и Рыков, и Бухарин, и представители нашей партийной организации, после чего избрали новых делегатов, в том числе меня, на районную партийную конференцию. Таким образом, затея «правого» бюро отправить меня представителем от партийной организации академии в колхоз, чтобы устранить возможность избрания меня на районную партконференцию и лишить возможности там выступить, провалилась. Наоборот, эта группа потерпела катастрофу, все ее представители были отозваны, а на Бауманскую районную конференцию избраны сторонники генеральной линии Центрального Комитета ВКП(б). Это случилось настолько поспешно, что мандаты на районную конференцию, которые мы получили и распределили между вновь избранными делегатами, были выписаны еще на прежних делегатов. Я тоже пошел на конференцию с мандатом, принадлежавшим кому-то другому. Стали проверять документы и говорят, что ведь это же мандат на такого-то человека. Отвечаю: «Да, выписан на него, а я вот такой-то». Прошло, потому что партийная организация Бауманского района все уже знала.

В Бауманском райкоме тоже не все занимали достаточно четкую позицию. Секретарем его являлся Ширин. Я затрудняюсь сейчас сказать, был ли он «правым» или просто пассивным человеком, недостаточно политически зрелым и недостаточно политически активным. Одним словом, Бауманская организация не была боевой, но и не считалась оппозиционной, поддерживающей «правых». А инцидент с мандатом, с которым я пришел на конференцию, кончился шуткой. Мы договорились среди делегатов, что я должен буду выступить там и изложить нашу позицию, чтобы никто не считал, что мы выбрали «правых». Добавлю,

что когда я выступил, то конференция встретила меня довольно прохладно. Я уже был избран тогда секретарем партийной организации академии. Поэтому именно мне пришлось выступать, чтобы районная партийная конференция знала, что парторганизация Промышленной академии твердо стоит на позициях генеральной линии партии и что избрание «правых» — уловка бывшего партийного руководства академии, которое сочувствовало «правым», а теперь лишено доверия и переизбрано.

Во время моего выступления раздавались неодобрительные голоса, мол, знаем мы, дескать, Промышленную академию. Слава о ней шла плохая в смысле ее партийной линии. Поэтому мне пришлось доказывать, что те делегаты, которые подали реплику, имеют, конечно, основания не доверять, но что делегация, которая сейчас присутствует на районной партийной конференции, отражает другую точку зрения, нежели делегаты, которые были избраны раньше, и что мы твердо стоим на партийных позициях (за генеральную линию партии, как тогда обычно заявляли). Партийная конференция нам поверила.

После этого моя фамилия стала известна в Московской партийной организации и в Центральном Комитете. Это, собственно говоря, и предредило мою дальнейшую судьбу как партийного работника. Как я позже узнал, она была предрешена также и тем, что в Промышленной академии со мной вместе училась Надя Аллилуева, жена Сталина. Я не знал до моего избрания секретарем, что она училась с нами. Но она всю эту борьбу наглядно видела и, вероятно, приходя домой, информировала Сталина. Рассказывала, конечно, и о других. Вот Воробьев, бравый такой парень из комсомольцев, так он Сталина только что «Николаем Палкиным» не называл, а вообще-то ругал по-всякому. В нашем понимании это тогда было преступлением. Мы считали, что это — покушение на партию. И лишь потом, через десятки лет, поняли, что такая характеристика была правильной и что такое прозвище очень подошло бы Сталину.

В целом Бауманская конференция проходила очень бурно. На первых ее заседаниях я не присутствовал, тогда я еще не имел мандата, но потом мне рассказывали. Выступала Надежда Константиновна Крупская, и ее выступление партконференция приняла плохо. Ее речи тогда шли не в такт генеральной линии партии, и многие говорили тогда, особенно в кулуарах, что осуждают ее выступление. Тогда, конечно, и я тоже стоял на такой позиции. И у меня, и у других было двойственное чувство: с одной стороны, уважение к Надежде Константиновне как соратнику и ближайшему к Ленину человеку; с другой стороны, она выступала, не поддерживая Сталина. Потом-то я уже по-другому стал оцени-

вать это, главным образом после смерти Сталина, когда я стал иначе рассматривать и деятельность Сталина, оценивать его как вождя и как личность. Видимо, Надежда Константиновна была по-своему в те времена, безусловно, права. Но партийная конференция ее не понимала, не принимала и осуждала ее выступление.

Так началась моя деятельность партийного работника. Вскоре я был избран в Бауманский районный партийный комитет. Это произошло в январе 1931 года, а конференция проходила, по-моему, в июле 1930 года. В то время я познакомился с Булганиным. Он был в Бауманском районе директором Электрозавода. В Москве проводилась партийная конференция, и я входил в комиссию, которая проверяла парторганизацию Электрозавода. Тогда к проверкам привлекали людей, которые имели большой партстаж, поэтому на всю Москву не хватало таких людей. Не особенно-то охотно шли мы на это, нас отрывали от занятий. Сам Булганин не проходил проверку, он находился за границей, и лишь после того, как он приехал, мы с ним беседовали. Он произвел на меня тогда очень хорошее впечатление, а потом получил за свою работу высокую награду — орден Ленина.

Когда к нам в академию приходил секретарь райкома партии Ширин, то он там никаким уважением не пользовался, и ему даже говорить не давали. Цихон пришел, авторитетный человек, нарком труда, а до того бывший секретарем Бауманского райкома (позднее он тоже погиб, расстреляли его), и ему не дали выступить. Он говорил: «Послушайте, я имел дело со строителями, и даже там больше порядка придерживались, чем у вас, а ведь вы — слушатели академии».

Вернусь к Аллилуевой: она была парторгом академической группы. Как-то приходит она ко мне и говорит: «Я хотела бы с вами согласовать нашу линию, сейчас партийная группа обсуждает такой-то вопрос, как нам правильно записать политическую характеристику момента?» Обсуждение было связано с борьбой с «правыми». Я ответил ей, а сам потом, когда она ушла, думаю: «Она, придя домой, расскажет Сталину, и что он скажет?» Но на следующий день она ничего не сказала, а я ее не спрашивал. Видимо, моя оценка оказалась правильной. Когда я стал встречаться со Сталиным, то сначала ничего не понимал, почему он упоминал какие-то факты из моей деятельности в Промышленной академии. Я молчал и не отвечал: не знал, радоваться мне или ежиться из-за этого. А сам думал: «Откуда он знает?» Потом, смотрю, вроде он улыбается. Тогда я сообразил: видимо, Надежда Сергеевна подробно информировала его о жизни нашей партийной организации и о моей роли как ее секретаря, представив меня в хорошем свете.

Вероятно, Сталин и сказал после этого Кагановичу: «Возьмите Хрущева на работу в МК». Перспектива работы с Кагановичем мне импонировала, потому что я к нему относился с большим доверием и уважением. Лишь потом я узнал его характер, и его грубость сразу вызвала у меня антипатию. Так я был приобщен к Московской партийной организации, это была большая честь. Ведь Московская организация — отличная. Но никогда я не забуду, как мне было здесь нелегко. Как-то Каганович спросил меня: «Как вы себя чувствуете?» Говорю: «Очень плохо». Он удивился: «Почему?» Отвечаю: «Я не знаю городского хозяйства, а все эти вопросы надо здесь решать». — «Какие у вас с Булганиным отношения?» Отвечаю: «Формально отношения очень даже хорошие, но я думаю, что он меня не признает как настоящего руководителя городским хозяйством, а для города это первое дело». Он говорит: «Вы переоцениваете его и недооцениваете себя. А он к вам ходит?» — «Ходить-то ходит, согласовывает. Но мне кажется, что он лучше знает дело и если и приходит ко мне, то просто как к секретарю МК. А вообще у нас очень хорошие отношения, и я с уважением к нему отношусь».

Позднее, когда мы работали вместе, я увидел, что Булганин — очень поверхностный, легковесный человек. Он не влезал глубоко в хозяйство, а в вопросах политики мог считаться даже аполитичным, никогда не жил бурной политической жизнью. Я не знал его биографии, хотя мне было известно, что он работал в железнодорожной ЧК по борьбе с мешочниками, а потом его выдвинули директором завода. Директором он был, видимо, по тем временам неплохим. Он ведь имел среднее образование, что тогда было редким явлением. Директорами, как правило, становились рабочие. Каганович его называл бухгалтером. Верно, по стилю работы он был бухгалтер.

В то время я считал, что просто придан в поддержку Булганину. Сталин, бывало, нас всегда вместе вызывал или приглашал на семейные обеды и всегда шутил: «Приходите обедать, отцы города». Каганович с нами не ходил. Он хоть и оставался секретарем МК, но, видимо, Сталин уже в этой роли его не признавал, а считал секретарем ЦК. А мы, «отцы города», представляли Москву. По существу, так оно и было, потому что Каганович просто физически не имел возможности заниматься делами столицы, по уши был загружен делами ЦК. Он работал очень добросовестно: как говорится, ни дня, ни ночи не видел.

ЗНАКОМСТВО СО СТАЛИНЫМ

Посещение домашних обедов у Сталина было особенно приятным, пока была жива Надежда Сергеевна. Она была принципиальным, партийным человеком и в то же время чуткой и хлебосольной хозяйкой. Я очень сожалел, когда она умерла. Накануне ее кончины проходили октябрьские торжества... Шла демонстрация, и я стоял возле Мавзолея Ленина в группе актива. Аллилуева была рядом со мной, мы разговаривали. Было прохладно, и Сталин стоял на Мавзолее в шинели (он, как всегда в ту пору, ходил в шинели). Крючки у него были расстегнуты, и полы распахнулись. Дул ветер, Аллилуева глянула и говорит: «Вот мой не взял шарф, простудится и опять будет болеть». Все это было очень домашнему, не вязалось с вросшими в наше сознание представлениями о Сталине, о вожде.

Потом кончилась демонстрация, все разошлись. А на следующий день Каганович собирает секретарей московских райкомов партии и говорит, что скоростижно скончалась Надежда Сергеевна. Я тогда подумал: «Как же так? Я же с ней вчера разговаривал. Цветущая, красивая такая женщина была». Искренне пожалел: «Ну что же, всякое бывает, умирают люди...» Через день или два Каганович опять собирает тот же состав и говорит: «Я передаю поручение Сталина. Сталин велел сказать, что Аллилуева не умерла, а застрелилась». Вот и все. Причин, конечно, нам не излагали. Застрелилась, и все тут. Ее похоронили. Сталин ходил провожать ее на кладбище. По его лицу было видно, что он очень переживал, оплакивал ее.

Уже после смерти Сталина я узнал причину смерти Надежды Сергеевны. На это есть документы. А мы спросили Власика, начальника охраны Сталина: «Какие причины побудили Надежду Сергеевну к самоубийству?» Вот что он рассказал: «После парада, как всегда, все пошли обедать к Ворошилову. (В Кремле у него большая квартира была. Я тоже там обедал несколько раз. Приходил туда узкий круг лиц: командующий парадом, в тот раз, по-моему, Корк, принимающий парад — это нарком Ворошилов, и некоторые члены Политбюро, самые близкие к Сталину.

Шли туда прямо с Красной площади. Тогда демонстрации надолго затягивались.) Там они пообедали, выпили, как полагается и что полагается в таких случаях. Надежды Сергеевны там не было. Все разъехались, уехал и Сталин. Уехал, но домой не приехал. Было уже поздно. Надежда Сергеевна стала проявлять беспокойство — где же Сталин? Начала его искать по телефону. Прежде всего она позвонила на дачу.

Они жили тогда в Зубалове, но не там, где жил последнее время Микоян, а через овраг. На звонок ответил дежурный. Надежда Сергеевна спросила: «Где товарищ Сталин?» — «Товарищ Сталин здесь». — «Кто с ним?» Тот назвал: «С ним жена Гусева». Утром, когда Сталин приехал, жена уже была мертва. Гусев — это военный, и он тоже присутствовал на обеде у Ворошилова. Когда Сталин уезжал, он взял жену Гусева с собой. Я Гусеву никогда не видел, но Микоян говорил, что она очень красивая женщина. Когда Власик рассказывал эту историю, он так прокомментировал: «Черт его знает. Дурак неопытный этот дежурный: она спросила, а он так прямо и сказал ей».

Тогда еще ходили глухие сплетни, что Сталин сам убил ее. Были такие слухи, и я лично их слышал. Видимо, и Сталин об этом знал. Раз слухи ходили, то, конечно, чекисты записывали и докладывали. Потом люди говорили, что Сталин пришел в спальню, где и обнаружил мертвую Надежду Сергеевну; не один пришел, а с Ворошиловым. Так ли это было, трудно сказать. Почему это вдруг в спальню нужно ходить с Ворошиловым? А если человек хочет взять свидетеля, то, значит, он знал, что ее уже нет? Одним словом, эта сторона дела до сих пор темна.

Вообще-то я мало знал о семейной жизни Сталина. Судить об этом я могу только по обедам, где мы бывали, и по отдельным репликам. Случалось, Сталин, когда он был под хмельком, вспоминал иной раз: «Вот, я, бывало, запрешь в своей спальне, а она стучит и кричит: «Невозможный ты человек. Жить с тобой невозможно». Он рассказывал также, что когда маленькая Светлана сердилась, то повторяла слова матери: «Ты невозможный человек». И добавляла: «Я на тебя жаловаться буду». — «Кому же ты жаловаться будешь?» — «Повару». Повар был у нее самым большим авторитетом.

После смерти Надежды Сергеевны я некоторое время встречал у Сталина молодую красивую женщину, типичную кавказку. Она старалась нам не встречаться на пути. Только глаза сверкнут, и сразу она пропадает. Потом мне сказали, что эта женщина — воспитательница Светланы. Но это продолжалось недолго, и она исчезла. По некоторым замечаниям Берии я понял, что это была его протеже. Ну, Берия, тот умел подбирать «воспитательниц».

Аллилуеву же я жалел еще и чисто по-человечески. Славным она была человеком. Когда она училась в Промакадемии на текстильном факультете, овладевая специальностью химика по искусственному волокну, то была избрана партгруппоргом и приходила согласовывать со мной всякие формулировки. Я при этом всегда как бы оглядывался: вот придет она домой и расскажет Сталину о моих словах... У Винниченко есть рассказ «Пиня». Этот Пиня был выбран старостой в тюремной камере, поэтому он за всех принимал решения. Избрали меня в Промакадемии секретарем парткома, и почувствовал я себя Пиней. Но ни разу не жалел, что сказал Надежде Сергеевне то или что-то другое. Да и скромница она была в жизни. В академию приезжала только на трамвае, уходила вместе со всеми и никогда не вылезала как «жена большого человека». Есть старая истина: судьба нередко лишает нас лучших.

А Сталин нравился мне и в быту, если я встречался с ним у него на обедах. Иной раз при встрече в домашней обстановке я слышал, как он шутил. Шутки у него были для меня довольно необычными. Я обоготворял его личность и шуток поэтому от него не ждал, так что любая шутка мне казалась необычной: шутит «человек не от мира сего».

Я уже рассказывал, что он часто вспоминал факты моей работы в академии, а я смотрел и недоумевал: откуда он знает? Потом понял, откуда он знает некоторые эпизоды из моей жизни. Видимо, Надежда Сергеевна информировала его о жизни партийной организации Промышленной академии в то время, когда я там учился, а потом и возглавлял партийную организацию. По-видимому, она представляла меня в хорошем свете как политического деятеля. Поэтому Сталин и узнал меня через нее. А сначала я приписывал свое выдвижение на партийную работу в Москве Кагановичу, потому что Каганович меня очень хорошо знал по Украине, где мы с ним были знакомы буквально с первых же дней Февральской революции. Потом уж я сделал вывод, что, видимо, мое выдвижение было предпринято не Кагановичем, а скорее всего, исходило от Сталина. Это, конечно, импонировало Кагановичу. Наверное, Надежда Сергеевна меня, грубо говоря, расхваливала Сталину.

Мне нравилась их семья. У Сталина я встречал старика Аллилуева и его жену, тоже пожилую женщину. Приглашались туда и Реденс со своей женой, старшей сестрой Надежды Сергеевны Анной Сергеевной, и ее брат. Он мне тоже очень нравился — молодой и красивый человек в командирском звании, не то артиллерист, не то из танковых войск... Это были такие непринужденные семейные обеды, с шутками и прочим. Сталин на этих обедах был очень человечным, и мне это импонировало. Я еще больше проникался уважением к Сталину и как к политическому

деятелю, равного которому не было в его окружении, и как к простому человеку. Но я тогда ошибался. Теперь я вижу, что не все понимал. Сталин действительно велик, я и сейчас это подтверждаю, и в своем окружении он был выше всех на много голов. Но он был еще и артист, и иезуит. Он способен был на игру, чтобы показать себя в определенном качестве.

Хочу описать еще одну встречу со Сталиным, которая произвела на меня сильное впечатление. Это произошло, когда я учился в Промакадемии. Первый выпуск ее слушателей состоялся в 1930 году. Тогда директором у нас был Каминский, старый большевик, хороший товарищ. Я к нему относился с уважением. Мы его попросили, чтобы он обратился к Сталину с просьбой принять представителей партийной организации Промышленной академии в связи с первым выпуском слушателей. Мы хотели услышать напутственное слово от товарища Сталина. У нас был запланирован вечер в Колонном зале Дома Союзов, посвященный выпуску слушателей, и мы просили, чтобы Сталин выступил на этом торжественном заседании. Нам сообщили, чтобы мы выделили своих представителей, и Сталин примет человек шесть или семь. В их числе был и я как секретарь партийной организации. Остальные участники этой встречи уже окончили Промышленную академию, а я попал именно как представитель партийной организации.

Пришли к Сталину. Он сейчас же принял нас, и началась беседа. Сталин развивал такую тему: надо учиться, надо овладевать знаниями, но не разбрасываться, а знать свое конкретное дело глубоко и в деталях. Нужно, чтобы из вас получились подготовленные руководители, не вообще какие-то специалисты по общему руководству делом, а с глубоким знанием именно своего дела. Тут он привел такой пример: если взять нашего специалиста, русского инженера, то это специалист очень образованный и всесторонне развитый. Он может поддерживать разговор на любую тему и в обществе дам, и в своем кругу, он сведущ в вопросах литературы, искусства и других. Но когда потребуются его конкретные знания, например машина остановилась, то он сейчас же пошлет других людей, которые бы ее исправили. А вот немецкий инженер будет в обществе более скупен. Но если ему сказать, что остановилась машина, он снимет пиджак, засучит рукава, возьмет ключ, сам разберет, исправит и пустит машину. Вот такие люди нужны нам: не с общими широкими знаниями, это тоже очень хорошо, но, главное, чтобы они знали свою специальность, и знали ее глубоко, умели учить людей.

Нам это понравилось. Я такую точку зрения слышал и раньше, еще когда учился на рабфаке. Тогда проводилась в жизнь такая идея, что

нам, конечно, нужны и институты, но главным образом нужно побольше техникумов, чтобы иметь у нас не столько просто образованных людей, знающих ту или другую отрасль, сколько специалистов, окончивших техникумы, если проще говорить — ремесленников, которые знали бы дело уже, но зато глубже, чем инженер той же специальности. У нас тогда и споров не было, мы всецело придерживались такой точки зрения. Да и сейчас я считаю, что она правильная. Поэтому слова Сталина произвели на меня тогда хорошее впечатление: вот человек, который знает суть и правильно направляет наши умы, нашу энергию на решение коренной задачи индустриализации страны, подъема промышленности и создания на этой основе неприступности границ нашей Родины со стороны капиталистического мира. На этой же базе основывался и подъем благосостояния народа.

Закончили беседу. Сталин сказал: «Я не смогу быть у вас, а придет к вам Михаил Иванович Калинин. Он вас поприветствует». Когда завершилась беседа со Сталиным, мы увидели, что уже началось заседание в Колонном зале и нам надо туда бежать. Пришли мы из Кремля в Колонный зал, когда доклад уже кончился. С докладом, по-моему, выступал Каминский. Потом говорили слушатели, и наконец выступил Михаил Иванович. Мы все уважали его и внимательно слушали. Но он говорил как раз обратное тому, о чем только что сказал Сталин. Правда, он тоже утверждал, что надо учиться, овладевать знаниями и быть квалифицированными руководителями нашей промышленности: «Вы кадровые командиры и должны знать не только свою специальность, но должны читать литературу, должны быть всесторонне развитыми. Надо быть не только знатоками своей специальности, своих машин и приборов, вы должны быть знатоками нашей литературы, искусства, истории и прочего». Те, кто был у Сталина, переглядывались. Ведь мы только что пришли от него, а Калинин по этому вопросу говорил как раз противоположное услышанному от Сталина. Я был на стороне Сталина, считая, что он конкретнее ставит задачи, ибо прежде всего мы должны быть специалистами, мастерами своего дела и не разбрасываться, иначе мы не будем иметь настоящей цены. Тот, кто глубже знает свой предмет, более полезен для своей Родины и для дела.

Когда началась моя партийная деятельность в Москве, то в январе 1931 года состоялась районная партийная конференция. Тогда районные партконференции проводились или через шесть месяцев, или через год. На этой-то конференции я был избран в январе секретарем Бауманского районного партийного комитета, а Коротченко — председателем районного Совета. Заворгом в райкоме стал товарищ Трейвас, очень

хороший товарищ. Агитмассовым отделом заведовал, по-моему, товарищ Розов, тоже очень хороший, деятельный человек. Потом еще Шуров. У него так кончилась карьера: не помню, либо его арестовали, либо он покончил жизнь самоубийством в Сибири в 1937 году.

Трейвас в 20-е годы был широко известен как комсомольский деятель. Это был дружок Саши Безыменского. Они вместе являлись активными деятелями Московской комсомольской организации. Трейвас — очень дельный, хороший и умный человек. Но меня еще тогда Каганович предупредил, что, мол, у него имеется политический изъян: он в свое время, когда шла острая борьба с троцкистами, подписал так называемую декларацию 93-х комсомольцев в поддержку Троцкого. Безыменский ее тоже подписал. «Поэтому, — сказал Каганович, — требуется осторожность, хотя сейчас Трейвас полностью стоит на партийных позициях, не вызывает никаких сомнений и рекомендуется от Центрального Комитета заворгом».

Сейчас, когда прошло столько лет, я должен сказать, что Трейвас работал очень хорошо, преданно, активно. Это был умный человек, и я им был очень доволен. Но с ним я проработал не очень долго, а потом меня избрали секретарем Краснопресненского райкома партии. Это считалось повышением по партийной лестнице, потому что Красная Пресня занимала более высокие политические позиции, чем Бауманский район, ввиду ее славного исторического прошлого — Декабрьского восстания 1905 года. Краснопресненская парторганизация была ведущей партийной районной организацией в Москве. Трейвас же остался в Бауманском районе. А секретарем Бауманского райкома избрали, по-моему, Марголина.

Трейвас кончил свою жизнь трагично. Он был избран секретарем Калужского горкома партии и хорошо там работал. Гремел, если так можно сказать, этот Калужский горком. Но когда началась «мясорубка» 1937 года, то и он не избежал ее. Я опять встретился с Трейвасом, когда он уже сидел в тюрьме. Сталин тогда выдвинул идею, что секретари обкомов партии должны ходить в тюрьмы и проверять правильность действий чекистских органов. Поэтому я тоже ходил. Помню, Реденс был тогда начальником управления ОГПУ Московской области. Это тоже интересная фигура. Реденс, бедняга, тоже кончил жизнь трагически. Он был арестован и расстрелян, несмотря на то, что был женат на сестре Надежды Сергеевны Аллилуевой, то есть являлся свояком Сталина. Я много раз встречал Реденса на квартире у Сталина, на семейных обедах, на которые я тоже приглашался как секретарь Московской партийной организации, да и Булганин как председатель Моссовета.

Вот с этим-то Реденсом ходили мы и проверяли тюрьмы. Это была

ужасная картина. Помню, зашел я в женское отделение одной тюрьмы. Жарища, (дело было летом), камера переполнена... Реденс предупредил меня, что там можно встретиться с такой-то и такой-то, там попадаются знакомые. Действительно, сидела там одна очень активная и умная женщина Бетти Глан. Она и сейчас, кажется, еще жива и здорова. Была она вторым по счету директором Центрального парка культуры и отдыха имени Горького в Москве. Но она была не только директором, а фактически одним из его создателей. Я тогда не бывал на дипломатических приемах, а она как выходец из буржуазной семьи знала этикет высшего общества, и Литвинов ее всегда туда приглашал, так что она как бы представляла наше государство на этих приемах. Теперь я встретил ее в тюрьме. Она была полуголая, как и другие, потому что стояла жарища. Говорит: «Товарищ Хрущев, ну какой же я враг народа? Я честный человек, я преданный партии человек». Вышли мы оттуда, зашли в мужское отделение. Тут я встретил Трейваса. Трейвас тоже говорит мне: «Товарищ Хрущев, разве я такой-сякой?» Я тут же обратился к Реденсу, а он отвечает: «Товарищ Хрущев, они все так. Они все отрицают. Они просто врут».

Тогда я понял, что наше положение секретарей обкомов очень тяжелое: физические материалы следствия находятся в руках чекистов, которые и формируют мнение; они допрашивают, пишут протоколы дознания, а мы являемся, собственно говоря, как бы «жертвами» этих чекистских органов и сами начинаем смотреть их глазами. Таким образом, это получалось не контроль, а фикция, ширма, которая прикрывала их деятельность. Позднее я подумал: а почему Сталин так сделал? Теперь ясно, что Сталин это сделал сознательно, он продумал это дело, чтобы, когда понадобится, мог бы сказать: «Там же партийная организация. Они ведь следят, они обязаны следить». А что такое «следить»? Как именно следить? Чекистские органы не подчинены нашей партийной организации. Следовательно, кто за кем следит? Фактически не партийная организация следила за чекистскими органами, а чекистские органы следили за партийной организацией, за всеми партийными руководителями.

В то время мне приходилось очень часто встречаться со Сталиным и слушать его: на заседаниях, на совещаниях, на конференциях, слушать и видеть его деятельность при встречах с ним у него на квартире и в обстановке работы руководящего коллектива — Политбюро Центрального Комитета. На этом фоне Сталин резко выделялся, особенно четкостью своих формулировок. Меня это очень подкупало. Я всей душой был предан ЦК партии во главе со Сталиным, и самому Сталину в первую очередь.

Раз присутствовал я на совещании узкого круга хозяйственников. Это было в 1932 году, когда Сталин сформулировал свои знаменитые «шесть условий» успешного функционирования экономики. Я тогда работал секретарем Бауманского райкома партии. Мне позвонили, чтобы я явился на Политбюро, выступит Сталин. Я сейчас же приехал в ЦК, там было уже полно людей. Зал, в котором мы заседали, небольшой, вмещавший максимум человек 300, был битком набит. Слушая Сталина, я старался не пропустить ни одного слова и, насколько мог, записал его выступление. Потом оно было опубликовано. Повторяю, краткость выражений и четкость формулирования задач, которые были поставлены, подкупали меня, и я все больше и больше проникался уважением к Сталину, признавая за ним особые качества руководителя.

Я встречал и наблюдал Сталина также при непринужденных беседах. Это случалось иной раз в театре. Когда Сталин шел в театр, он порой поручал позвонить мне, и я приезжал туда или один, или вместе с Булганиным. Обычно он приглашал нас, когда у него возникали какие-то вопросы, и он хотел, находясь в театре, там же обменяться мнениями по вопросам, которые чаще всего касались города Москвы. Мы же всегда с большим вниманием слушали его и старались сделать именно так, как он нам советовал. А в ту пору советовал он чаще в более товарищеской форме пожеланий.

Однажды (по-моему, перед XVII партийным съездом) мне позвонили и сказали, чтобы я сам позвонил по такому-то номеру телефона. Я знал, что это номер телефона на квартире Сталина. Звоню. Он мне говорит: «Товарищ Хрущев, до меня дошли слухи, что у вас в Москве неблагополучно дело обстоит с туалетами. Даже «по-маленькому» люди бегают и не знают, где бы найти такое место, чтобы освободиться. Создается нехорошее, неловкое положение. Вы подумайте с Булганиным о том, чтобы создать в городе подходящие условия». Казалось бы, такая мелочь. Но это меня еще больше подкупило: вот даже о таких вопросах Сталин заботится и советует нам. Мы, конечно, развили бешеную деятельность с Булганиным и другими ответственными лицами, поручили обследовать все дома и дворы, хотя это касалось в основном дворов, поставили на ноги милицию. Потом Сталин уточнил задачу: надо создать культурные платные туалеты. И это тоже было сделано. Были построены отдельные туалеты. И все это придумал тоже Сталин.

Помню, как тогда не то на совещание, не то на конференцию съехались товарищи из провинции. Эйхе (он тогда, кажется, в Новосибирске был секретарем парторганизации) с такой лагышской простотой спрашивал меня: «Товарищ Хрущев, правильно ли люди говорят, что вы за-

нимаются уборными в городе Москве и что это — по поручению товарища Сталина?» — «Да, верно, — отвечаю, — я занимаюсь туалетами и считаю, что в этом проявляется забота о людях, потому что туалеты в таком большом городе — это заведения, без которых люди не могут обходиться даже в таких городах, как Москва». Вот такой эпизод, казалось бы, мелочевый, свидетельствует, что Сталин и мелочам уделяет внимание. Вождь мирового рабочего класса, как тогда говорили, вождь партии, а ведь не упускает из виду такую жизненно необходимую мелочь для человека, как городские туалеты. И это нас подкупало.

Еще отдельные эпизоды, которые связаны с деятельностью Сталина и характеризуют его. Помню, однажды на заседании Политбюро встал несколько необычный вопрос об одном лице, командированном Внешторгом в какую-то латиноамериканскую страну. Подошла очередь данного вопроса. Вызвали этого человека. Пришел он очень растерянный с виду, лет тридцати пяти. Начинается обсуждение. К нему обращается Сталин: «Расскажите нам все, как было, ничего не утаивая». Тот рассказывает, что приехал в эту страну делать какие-то заказы. Сейчас я точно уже не помню, от какой организации и куда он ездил. Но не это главное. Тут интересно, как реагировал Сталин. А человек продолжает: «Я зашел в ресторан поесть. Сел за стол, заказал обед. Ко мне подсел какой-то молодой человек и спрашивает: «Вы из России?» — «Да, из России». — «А как вы относитесь к музыке?» — «Люблю послушать, если хорошо играют на скрипке». — «А что вы приехали закупать?» — «Я приехал закупать оборудование». — «А вы в России служили в армии?» — «Да, служил». — «В каких частях?» — «В кавалерии, я кавалерист, люблю лошадей и сейчас, хотя уже не служу». — «А как вы стреляете? Вы же были военным». — «Неплохо стреляю». А назавтра мне перевели, *что* было обо мне написано в газетах. Я просто за голову взялся. Оказывается, это был журналист, представитель какой-то газеты, но он не представился мне, а я по своей неопытности стал с ним разговаривать и отвечать на его вопросы. Он написал, что приехал такой-то, что будет размещать заказы на такую-то сумму (все это был вымысел), что любит ездить верхом, настоящий джигит, хороший стрелок и спортсмен, стреляет вот так-то и попадает туда-то на таком-то расстоянии, к тому же скрипач и т.д. Одним словом, столько было написано чепухи, что я ужаснулся, но сделать уже ничего не мог. Через некоторое время посольство предложило мне, чтобы я возвратился на Родину. Вот я приехал и докладываю вам, как это было. Очень прошу учесть, что было сделано без какого-либо злого умысла.

Пока он рассказывал, все хихикали и подшучивали над ним, особенно лица, приглашенные со стороны. Но члены ЦК и Ревизионной комиссии, которые всегда присутствовали на заседаниях, вели себя сдержанно,

ожидая, что же теперь будет. Когда я посмотрел на этого человека, мне его стало жалко: он оказался жертвой собственной персоны, наивности, а как скажется на нем разбор дела на заседании Политбюро? Человек этот говорил очень чистосердечно, но смушался. Сталин же приободрял его: «Рассказывайте, рассказывайте», — причем спокойным, дружелюбным тоном. Вдруг Сталин говорит: «Ну что же, доверился человек и стал жертвой этих разбойников, пиратов... А больше ничего не было?» — «Ничего». — «Давайте считать, что вопрос исчерпан. Смотрите, в дальнейшем будьте поосторожнее». Мне очень понравился такой исход обсуждения.

После этого объявили перерыв. Тогда Политбюро заседало долго, и час, и два, и больше, делали перерыв, после чего все уходило в другой зал, где стояли столы со стульями и подавался чай с бутербродами. Тогда было голодное время даже для таких людей, как я, занимавших довольно высокое положение, жили мы более чем скромно, даже не всегда можно было вдоволь поесть у себя дома. Поэтому, приходя в Кремль, наедались там досьята бутербродами с колбасой и ветчиной, пили сладкий чай и пользовались всеми благами как люди, не избалованные яствами изысканной кухни. Так вот, когда был объявлен перерыв и все пошли в «обжорку», как мы между собой в шутку ее называли, он, бедняга, продолжал сидеть, настолько, видимо, потрясенный неожиданным для него исходом дела, что, пока ему кто-то не сказал об окончании заседания, он не двигался с места.

Мне очень понравились такая человечность и простота Сталина, понимание им души человека. Казалось ведь, что человек уже обречен, раз поставлен на обсуждение этот вопрос. Думаю, что, наверное, пришло какое-то донесение Сталину, после чего Сталин сам поставил этот вопрос на Политбюро, чтобы показать, каков он и как решает такие дела.

Еще один эпизод. Это произошло, наверное, в 1932 или 1933 году. Тогда возникло в обществе движение, как мы тогда их называли, отличников. Лыжники, рабочие Московского электрозавода, который занимал тогда передовое место в столице, решили совершить лыжный поход из Москвы в Сибирь или на Дальний Восток. Они благополучно его завершили, возвратились и были представлены к наградам. Их наградили какими-то значками или даже орденами. И, конечно, было вокруг этого много шума. Потом туркмены решили на конях прискакать из Ашхабада в Москву и тоже совершили свой переход. Их тоже встретили с почетом, одарили подарками и опять же наградили. Потом и в других городах и областях развернулось «движение отличников».

Вдруг Сталин сказал, что надо это прекратить, иначе конца не будет: если мы начнем поощрять, а мы уже начали, так все станут ходить, скакать, чем-то «отличаться» и отрываться от производства. «Мы, — сказал он, — превратимся в бродяг, будем публично поощрять такое бродяжничество и даже награждать за него. Нужно прекратить!» И тут же положил конец «движению отличников». Мне это тоже очень понравилось: во-первых, ненужная была шумиха; во-вторых, действительно неверное направление дела поощрения к бродяжничеству, каким-то бесконечным походам и переходам. Сталин же по-хозяйски подошел к вопросу: нужно направлять усилия людей в другом направлении, к тому, что поднимает производство, способствует сплочению народа, удовлетворению его потребности и т.п. Хорошо разок совершить спортивный поход на лыжах, но это в принципе никакого особого значения не имеет, потому что по-настоящему спорт надо развивать все же на другой основе.

Зато неприятно поразил меня такой случай. Кажется, шел 1932 год. В Москве была голодуха, и я как второй секретарь горкома партии затрачивал много усилий на изыскание возможностей прокормить рабочий класс. Занялись мы кроликами. Сталин сам выдвинул эту идею, и я увлекся этим делом: с большим рвением проводил в жизнь указание Сталина развивать кролиководство. Каждая фабрика и каждый завод там, где только возможно и даже, к сожалению, где невозможно, разводили кроликов. Потом занялись шампиньонами: строили погреба, закладывали траншеи. Некоторые заводы хорошо поддерживали продуктами свои столовые, но всякое массовое движение, даже хорошее, часто ведет к извращениям. Поэтому случалось много неприятных казусов. Не всегда такие хозяйства окупались, были и убыточные, и не все директора поддерживали их. Гуляло в обиходе прозвание этих грибниц гробницами.

При распределении карточек с талонами на продукты и товары было много жульничества. Ведь всегда так: раз карточки, значит, недостаток, а недостаток толкает людей, особенно неустойчивых, на обход законов. При таких условиях воры просто плодятся. Каганович сказал мне: «Вы приготовьтесь к докладу на Политбюро насчет борьбы в Москве за упорядочение карточной системы. Надо лишить карточек тех людей, которые добыли их незаконно, воровским способом». Карточки были разные для работающих и для неработающих. Для работающих — тоже разные, и это тоже один из рычагов, который двигал людей на всяческие ухищрения и даже злоупотребления. Мы провели тогда большую работу со всеми организациями, включая профсоюзы, милицию и чекистов. Сотни тысяч карточек просто сэкономили или отобрали, лишив их

тех людей, которые были недостойны. Ведь тогда шла острая борьба за хлеб, за продукты питания, за выполнение первой пятилетки. Надо было обеспечить в первую очередь питанием тех, кто сам способствовал успеху пятилетки.

Настал день, когда нас должны были слушать по этому вопросу на Политбюро. Каганович сказал, что доклады буду я. Это меня очень беспокоило и даже напугало: выступать на таком авторитетном заседании, где Сталин будет оценивать мой доклад. Председательствовал тогда на заседаниях Молотов, Сталин никогда в то время не председательствовал. Только после войны Сталин уже чаще, чем раньше, сам вел заседания. В 40-е годы на заседаниях Политбюро обычно царил сдержанность. Но в 30-е годы обсуждение некоторых вопросов проходило довольно бурно, особенно если кто-нибудь позволял себе выразить свои эмоции. Тогда это еще допускалось. Раз, например, вспылал Серго, вообще очень горячий человек, налетел на наркома внешней торговли Розенгольца и чуть не ударил его...

Итак, сделал я доклад, рассказывая, каких больших мы добились успехов. А Сталин подал реплику: «Не хвастайте, не хвастайте, товарищ Хрущев. Много, очень много осталось воров, а вы думаете, что всех выловили». На меня это сильно подействовало: действительно, я посчитал, что мы буквально всех воров разоблачили, а вот Сталин хоть и не выходил за пределы Кремля, а видит, что жуликов еще очень много. По существу, так и было. Но то, как именно подал он реплику, понравилось мне очень: в этом родительском тоне. Это тоже поднимало Сталина в моих глазах.

А теперь перейду к упомянутому мною неприятному эпизоду. Через какое-то время я узнал, что такой же доклад будут делать ленинградцы. Меня заинтересовало, какую же работу провели они? У нас было соцсоревнование с ленинградцами по всем вопросам, и гласное, и негласное. Настал день, когда этот вопрос был поставлен в повестку дня на Политбюро. Пришел я на заседание и сажу себе на своем месте (места были не нумерованные, но за постоянными посетителями заседаний они как-то закрепились). Доклад делал секретарь городского партийного комитета. Первым секретарем был Сергей Миронович Киров, но не он делал доклад, а другой секретарь, с латышской фамилией. Я его мало знал. Но ведь он секретарь Ленинградского горкома; уже поэтому я относился к нему с должным уважением. Доклад он, с моей точки зрения, сделал хороший: ленинградцы тоже много поработали, обеспечили экономию и сократили много карточек к выдаче.

Был объявлен перерыв, народ повалил в «обжорку», а я как-то задержался. Сталин, видимо, ожидал, пока пройдут те, кто занимал задние места. И тут я стал невольным свидетелем, как Сталин перебрасывался фразами об этом секретаре с Кировым. Он спросил его, что это за человек. Сергей

Миронович что-то ответил ему, вероятно положительно. Сталин же бросил реплику, унижавшую и оскорблявшую этого секретаря. Для меня это было просто страшным моральным ударом. Я даже в мыслях не допускал, что Сталин, вождь партии, вождь рабочего класса, может так неуважительно относиться к члену партии.

В первые же годы революции и в гражданскую войну все было еще наоборот. Помню, наступали мы и заняли у белых город Малоархангельск; пришел ко мне местный учитель, человек небольшого ума, и спросил, какой пост ему дадут, если он вступит в партию. Меня это возмутило, но я сдержался и сказал: «Самый ответственный пост». — «А какой?» — «Дадут винтовку в руки и пошлют бить белогвардейцев. Это сейчас самый ответственный пост. Решается вопрос, быть или не быть Советской власти. Что может быть более ответственным?» — «Ну, если так, то я не пойду в партию». Говорю: «Самое лучшее. Вы не ходите!»

Я отвлекся для примера. А тут Сталин, вождь, у которого, казалось, я должен брать уроки доброго отношения к людям и понимания их, пускает такую реплику. Вот уже столько лет прошло, а его слова все еще сидят осколком у меня в памяти. Они оставили отрицательное мнение о Сталине. В его словах прозвучало пренебрежение к людям. Латыш, о котором шла речь, был простой человек, видимо из рабочих. Тогда латышей вообще среди нашего актива было очень много. Вот встречался я, например, с одним латышом, он командовал 72-м полком 9-й стрелковой дивизии. И на партийных постах, и в хозяйстве, и в Красной Армии было много латышей, и я всегда относился к ним с большим уважением. Да и вообще не было тогда у нас деления людей по национальностям. Деление было по преданности делу: за революцию или против? Это было главным. Потом уже стало нас разъедать мелкобуржуазное отношение к людям: а какой нации? А раньше имело значение только социальное положение: из рабочих он, из крестьян или из интеллигенции? Интеллигенция была тогда, как говорится, на подозрении. Ведь в первые годы революции сравнительно мало людей интеллигентного труда состояло в рядах Коммунистической партии.

СНОВА НА УКРАИНЕ

1938 год. Вызывает меня Сталин и говорит: «Мы хотим послать Вас на Украину, чтобы Вы возглавили там партийную организацию. Косиор перейдет в Москву к Молотову первым заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров и председателем Комиссии советского контроля». Я стал отказываться, так как знал Украину и считал, что не справлюсь: слишком велика шапка, не по мне она. Я просил не посылать меня, потому что не подготовлен к тому, чтобы занять такой пост. Сталин начал меня подбадривать. Тогда я ответил: «Кроме того, существует и национальный вопрос. Я человек русский; хотя и понимаю украинский язык, но не так, как нужно руководителю. Говорить на украинском я совсем не могу, а это тоже имеет большой минус. Украинцы, особенно интеллигенция, могут принять меня очень холодно, и я бы не хотел ставить себя в такое положение». Сталин: «Нет, что Вы! Косиор — вообще поляк. Почему поляк для украинцев лучше, чем русский?» Я ответил: «Косиор — поляк, но он знает украинский язык и может выступать на украинском языке, а я не могу. Кроме того, у Косиора больше опыта». Однако Сталин уже принял решение и твердо сказал, что я должен работать на Украине. «Хорошо, — ответил я, — постараюсь все сделать, чтобы оправдать доверие».

Было назначено время моего отъезда. Я попросил Маленкова подобрать мне нескольких украинцев из Московской партийной организации (там их было много) или из аппарата Центрального Комитета партии. Это было необходимо, потому что мне сказали, что на Украине из-за арестов сейчас нет ни одного председателя облисполкома и даже председателя Совнаркома (есть его первый заместитель), нет заведующих отделами обкомов и горкомов партии, а в ЦК КП(б)У — ни одного заведующего отделом. Стали подбирать второго секретаря. Вторым секретарем Маленков назвал товарища Бурмистенко. Бурмистенко являлся заместителем Маленкова, который руководил тогда кадрами ЦК ВКП(б). Бурмистенко я знал мало. Познакомился. Он произвел на меня очень хорошее впечатление, и мы сошлись с ним характерами.

Я дал Бурмистенко поручение подобрать людей, которых можно было бы взять с собой, человек 15—20. Он подобрал, кажется, человек 10 из отделов ЦК и Московской парторганизации. Из последней взяли Сердюка и еще кое-кого. Сердюк работал тогда первым или вторым секретарем Советского райкома столицы. Сам он коренной украинец, отлично говорил на украинском языке.

Приехали на Украину, к Косиору. Он проинформировал нас о сложившейся обстановке и познакомил с кадрами, которые сохранились. Провели республиканский партийный Пленум. Косиор представил Пленуму ЦК КП(б)У меня и Бурмистенко. Нас кооптировали в состав Пленума, избрали в состав членов Политбюро и секретарями ЦК. Косиора освободили. Григорий Иванович Петровский очень переживал все события на Украине, но вел себя по-стариковски пассивно, хотя был тогда еще не таким уж старым.

Начали мы знакомиться с делом. По Украине будто Мамай прошел. Не было, как я уже говорил, ни секретарей обкомов партии в республике, ни председателей облисполкомов. Даже секретаря Киевского горкома не имелось. Секретарем обкома КП(б)У был Евтушенко. Сталин к нему относился хорошо. Евтушенко я знал слабо, только по встречам в Кремле, но считал, что Евтушенко вполне на своем месте. Он нравился мне. Вдруг из Москвы звонок: «Евтушенко арестовали». Я и сейчас не могу сказать, какие, собственно, были причины для его ареста. Тогда объяснения были стандартными — враг народа; через некоторое время человек уже «сознавался», а еще через какое-то время собственноручно давал показания, которые рассылались кому следует, и создавалось впечатление обоснованности ареста.

Сталин вызвал тогда меня в Москву и предложил, чтобы я принял на себя посты, помимо секретаря ЦК КП(б)У, еще и секретаря областного и городского комитетов партии. Это просто невымыслимо. Но Сталин сказал: «Подберите себе людей в помощь». Я согласился, но моего согласия и не требовалось. Имелось предложение ЦК, и я должен был согласиться с ним. Вторым секретарем горкома партии был избран Сердюк, а секретарем областного партийного комитета — Шевченко. Шевченко был крестьянским парнем, он удовлетворял требованиям, которые тогда предъявлялись такому секретарю. Мы начали работать. Наркомом внутренних дел Украины был Успенский. Успенского я узнал, работая секретарем Московского комитета партии. Он являлся уполномоченным наркомата внутренних дел по Московской области, и я часто с ним общался. Он докладывал мне о положении дел и производил на меня тогда хорошее впечатление. Потом он был назначен комендантом Кремля,

откуда его и послали наркомом внутренних дел Украины. Я полагал, что он будет правильно информировать меня и помогать мне.

Успенский развил кипучую деятельность. Как выяснилось после смерти Сталина, он буквально завалил ЦК докладными записками о «врагах народа». Аресты продолжались. Помню, Успенский поставил вопрос об аресте Рыльского. Я возразил: «Что Вы? Рыльский — видный поэт. Его обвиняют в национализме, а какой он националист? Он просто украинец и отражает национальные украинские настроения. Нельзя каждого украинца, который говорит на украинском языке, считать националистом. Вы же на Украине!» Но Успенский проявлял настойчивость. Я убеждал его: «Поймите, Рыльский написал стихотворение о Сталине, которое стало словами песни. Эту песню поет вся Украина. А Вы хотите его арестовать? Этого никто не поймет».

Лично Рыльского я тогда не знал. Знал его как украинского поэта (нельзя его было не знать), да и только. Это был человек с характером, который защищал национальные интересы Украины, язык украинского народа, активно выступал, смело высказывался по различным вопросам. Это и дало повод обвинить его в национализме и возвести в ранг «врага народа».

Спустя какое-то время приходят ко мне Паторжинский и Литвиненко-Вольгемут. Паторжинского я знал, да и у Сталина он был на хорошем счету как певец и как человек. Они рассказали, что в тюрьме сидит композитор, который написал музыку на стихи Рыльского о Сталине. Вся Украина поет эту песню, а он сидит в тюрьме как националист. Я приказал Успенскому доложить мне, на каком основании арестован композитор. Он принес документы. Посмотрел я их и увидел, что оснований содержать его в тюрьме нет. Я ему сказал, что он поторопился с арестом. Считаю, что его нужно освободить. Не помню, освободили его по моему указанию или же я докладывал Сталину. Одним словом, его освободили из тюрьмы, и он продолжал свою деятельность. Впоследствии он был председателем Союза композиторов Украины (после войны он скончался). К каждому дню 1 Мая и к Октябрьским торжествам получал я потом от его жены и дочери поздравления. Я понимал это как благодарность за освобождение его из тюрьмы и от петли, потому что кончилось бы именно этим. Вот какая была тогда обстановка.

Людей тогда на Украине просто «тянули» во «враги». Заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров на Украине был прекрасный человек Тягнибеда. Я знал его, еще когда он работал штейгером в Донбассе и учился на курсах инженеров при горном техникуме в Юзовке. Потом, когда я работал секретарем Петрово-Марьинского райкома

партии, он какое-то время трудился одновременно со мной управляющим Карповскими рудниками (теперь Петровские шахты) в Вознесенске-Донецком. Одним словом, это был прямой, хороший человек, который даже воевал в рядах Красной Армии. Это большая редкость, что техник-штейгер был заодно с большевиками и участвовал в гражданской войне на стороне красных. Вдруг потребовали его ареста и представили «обоснование».

Когда арестовали первого зама, Совет Народных Комиссаров Украины стал «чистым»: не было председателя Совнаркома, не было и заместителей. Я поставил вопрос перед Сталиным, что надо найти человека на пост председателя Совнаркома. Еще раньше Сталин сам сказал мне, что в Днепропетровске тоже нет секретаря обкома партии. Днепропетровская область тогда была огромной. Занимала она чуть ли не треть Украины. В нее входили современные Днепропетровская, Запорожская и даже часть Николаевской области. Сталин, видимо, беспокоился о состоянии дел в Днепропетровске, боялся, чтобы не пошатнулась металлургия. Раньше секретарем обкома партии был там Хатаевич, но он был арестован еще до моего приезда. Сталин предложил: «Может быть, туда послать Коротченко?» Коротченко был тогда секретарем Смоленского обкома партии. Я, конечно, сразу согласился: «Давайте Коротченко!»

Мы сформировали там обком и горком партии. Я разъезжал по заводам, беседовал с активом, знакомился с людьми, изучал обстановку. Поехал в Запорожье, в Днепродзержинск. В Днепродзержинске познакомился с группой партийных работников и инженеров, в том числе с Брежневым. Мы стали выдвигать последних на партийную работу, формировать партруководство. Тогда же был выдвинут Корниец. Он был секретарем какого-то сельского райкома на Днепропетровщине. Помимо Брежнева из Днепродзержинска выдвинули еще одного человека, секретаря обкома партии по пропаганде.

В Донбассе секретарем обкома партии был Прамнэк, латыш по национальности. До Донбасса он работал, кажется, в Горьковской области и считался хорошим секретарем. Вдруг мне позвонил Сталин и сообщил, что нужно выехать в Сталино, потому что арестовали Прамнэка. Я его уже не застал. Выдвинули туда Щербакова, который в то время был секретарем Московского комитета партии. Еще об обстановке той поры. Просится ко мне на прием неизвестный человек. Я его принял. Такой молодой, здоровый, красивый парень. Он представился, рассказал, что он учитель, был арестован, сидел в тюрьме, только что вышел из нее, пришел прямо ко мне и хочет сообщить, что его били и истязали, вымо-

гая показания, что Коротченко — агент румынского королевского двора и является здесь главой центра шпионов, который ведет работу против Советской власти в пользу Румынии. Поблагодарил я его за сообщение и сказал, что это клевета, вражеская работа. Разберемся с этим делом, идите спокойно. Об этом посещении я сообщил запиской Сталину, он возмутился. А когда меня вызвали в Москву по какому-то вопросу, то и об этом тоже состоялся обмен мнениями. Сразу же был послан следователь по особо важным делам (по-моему, товарищ Шейнин, теперь уже покойный) разобраться в сути события. Оказалось, что замешаны в этом деле были три или пять человек. Они-то и состряпали такое обвинение против Коротченко. Кончилось тем, что их арестовали и расстреляли.

Сталин — жестокий человек, он уничтожал кадры, а с другой стороны — смотрите, какую проявил заботу! Заботу, правда, проявлял он тоже драконовскими методами, но все-таки это была забота о сохранении кадров. Не пощадил он тех чекистов. Это тоже способствовало росту моего расположения к Сталину. Его жестокость и несправедливость, которую мы сейчас видим, тогда нам не была видна. Наоборот, его поступки расценивались как решительность и непреклонность в борьбе за Советское государство, за укрепление его против врагов, кто бы ими ни оказался и в каких бы формах эта вражеская деятельность ни проявлялась. Впоследствии Сталин очень часто возвращался к случаю с Коротченко. В непринужденной обстановке, когда за столом уже было проведено несколько часов, он опять и опять вспоминал: «Ну, как там самуяр?» Он называл его не Коротченко, а самуяром. На XVIII съезде партии выступали делегаты и порой заканчивали свои речи угрозами против Японии: вот, мол, такие-сякие самураи, мы их! Коротченко был неряшлив в словах. Он забывал фамилии даже ближайших людей, многое путал. Самураи для него слово нескладное, и поэтому он свое выступление закончил так: «Мы этим самуярам зададим перцу!» Так и остался «самуяром». Сталин его иначе и не называл, вплоть до смерти.

Обращается Сталин ко мне: «Ну, как там самуяр?» Я ответил: «Вот, связался самуяр с румынским королем». Сталин пошутил: «Или с королевой? Сколько лет этой королеве?» Отвечаю: «Король там несовершеннолетний, а есть мать-королева. Он, должно быть, связан с королевой-матерью». Это вызвало еще больше шуток. Конечно, то был смех сквозь слезы, если припомнить существовавшую тогда обстановку. Ведь те, кто обвиняли Коротченко, если разобраться, были очень простые люди, но они были морально подготовлены к поиску врагов народа. Вот они и промышляли, желая отличиться, искали, за кого взяться. Почему упоминался контакт с Румынией? Район, в котором зародилась провока-

ция, находился в Винницкой области и граничил с Бессарабией. Наши чекисты работали против румынской агентуры. У них-то и родилась идея привязать человека к такой агентуре и сделать главой агентов — кого же? Председателя Совета Народных Комиссаров Украины Коротченко. Полагаю, что только то обстоятельство, что Сталин лично знал Коротченко и знал, что тот не способен на предательство, спасло его. Если бы этого не было, то результат для Коротченко был бы плачевным.

На Украине была уничтожена тогда вся верхушка руководящих работников в несколько этажей. Несколько раз сменялись кадры и вновь подвергались арестам и уничтожению. Украинская интеллигенция, особенно писатели, композиторы, артисты и врачи, тоже были под наблюдением, подвергались арестам и расправе. Даже такой замечательный поэт и государственный деятель, как Микола Платонович Бажан, который потом стал членом партии, честный и очень приятный человек, преданный Советскому государству и Коммунистической партии, подвергался нападкам, и требовалось особо аргументировать, чтобы не допустить его ареста. А Петро Панч? Тоже крупный украинский писатель. Не знаю, как он сохранился. За ним следили и больше всего доносили писатели, вместе с которыми он работал. К сожалению, довольно часто он выпивал. Эти лица провоцировали его на какие-то разговоры, а потом все это передавалось, стряпалось дело, и вот уже документы готовы к аресту.

Некоторые лица были просто шарлатанами, которые избрали для себя профессией разоблачение врагов народа. Они терроризировали всех, бесцеремонно заявляя в глаза: «Вот этот — враг народа». Прикипало к человеку это обвинение, привлекало внимание, органы НКВД начинали разбираться. Следствие, конечно, велось тайно, к человеку приставляли агентуру, а потом доказывали, что это — действительно враг народа. Помню, был такой нахал (я забыл его фамилию), начальник «Киевпаливо» (Киевский комитет по топливу), который ходил повсюду и обвинял буквально всех по очереди; так перед ним все буквально дрожали. На заседании бюро горкома партии он бросил обвинение Сердюку, второму секретарю горкома. На следующем заседании я вынужден был сам председательствовать и разбирать это обвинение. Никаких данных к обвинениям, которые он выдвигал против честных людей, не существовало. Но он утверждал, что и тут сидят враги народа. А тогда не требовалось каких-то фактов, каких-то доказательств. Было достаточно лишь нахальства и наглости.

Мне рассказали еще об одном характерном случае. Был на Украине такой деятель, врач Медведь. После войны он работал в Министерстве

иностранных дел, входил в состав украинской делегации, которую возглавлял Дмитро Захарович Мануильский в Организации Объединенных Наций. Он хорошо представлял там Украину, досаждал нашим врагам. О нем говорили: «Ревет, ревет украинский медведь». Он действительно и голос имел «медвежий», и характер пробивной. Рассказывают, что (а был он раньше, кажется, заместителем начальника областного отдела здравоохранения то ли в Киеве, то ли в Харькове) на партийном собрании какая-то женщина выступает и говорит, указывая пальцем на Медведя: «Я этого человека не знаю, но по глазам его вижу, что он враг народа». Можете себе представить? Но Медведь (как говорится, на то он и медведь) не растерялся и сейчас же парировал: «Я эту женщину, которая сейчас выступила против меня, в первый раз вижу и не знаю ее, но по глазам вижу, что она проститутка». Только употребил он слово более выразительное. Потом это стало анекдотом на всю Украину, передавали из уст в уста. Это и спасло Медведя. Если бы Медведь стал доказывать, что он не верблюд, не враг народа, а честный человек, то навлек бы на себя подозрение. Нашлось бы подтверждение заявлению этой сумасшедшей, сознававшей, однако, что она не несет никакой ответственности за сказанное, а наоборот, будет поощрена. Такая была тогда ужасная обстановка.

Возвращаюсь к моему приезду на Украину. Уехал Косиор. Проводили его довольно сухо. Не так, конечно, надо было провожать с Украины Косиора, проработавшего столько лет в ее партийной организации и столько сделавшего для создания партийной организации Украины. Каганович рассказывал мне еще до моего отъезда на Украину, что его приобщал к партийной работе как раз Косиор, читая лекции по политэкономии на Владимирской горке в Киеве: «Мы ходили, гуляли, наслаждались прекрасным видом на левый берег Днепра, и я слушал его. Фактически это были учебные курсы. Косиор читал во время этих прогулок лекции по политэкономии».

Григорий Иванович Петровский морально чувствовал себя в то время на Украине очень плохо. Я много наслышался о Петровском еще до революции. Ведь Петровский был избран в Государственную думу от Екатеринославской губернии. За него голосовали рабочие Донбасса и Екатеринослава. Однажды до революции я был приглашен на собрание — воскресную сходку в степной балке; там должен был выступать Петровский. Я пошел, но сходка не состоялась. Полиция пронюхала о ней, и сочли, что не следует собираться. В Донбассе очень многое было связано с именем Петровского. Рудники, на которых я был секретарем райкома партии в 1925—1926 годах, назывались Петровскими. Они и сейчас так называются. Как раз в районе этих шахт тогда намечалась в степи сход-

ка... Приближалось 60-летие Григория Ивановича. Но о нем сложилось мнение, что он нетвердо стоит на позициях генеральной линии партии, поэтому к нему было отношение настороженное, да и у меня была такая настороженность. Шла она от Сталина. Я сказал Сталину, что приближается 60-летие Григория Ивановича и надо бы его отметить, поэтому хочу спросить, как это сделать? Он посмотрел на меня: «60 лет? Хорошо. Устройте в его честь обед у себя. Пригласите его с женой и членов его семьи, а больше никого». Так я и сделал. К тому времени у Григория Ивановича сложилось в семье очень тяжелое положение: его сына арестовали. Я знал его сына. Он командовал Московской пролетарской дивизией. Когда я работал в Москве, то выезжал на праздник этой дивизии в летние лагеря. Леонид Петровский считался тогда хорошим командиром. Зять Григория Ивановича (сын Коцюбинского) был арестован и расстрелян. Дочь Петровского (жена Коцюбинского) жила у Григория Ивановича. Можно себе представить, какая обстановка сложилась в его семье, какое было самочувствие у Григория Ивановича и какое отношение к нему: сын сидит в тюрьме, зять расстрелян.

Мною был устроен обед на даче. Пригласили Григория Ивановича. Расселись: моя семья, его семья; посидели, выпили по рюмочке за его здоровье. Григорий Иванович, конечно, выглядел очень кислым, да и я не был веселым. Все прошло довольно формально, натянуто, Григорий Иванович очень быстро распрощался и ушел. Дачи наши находились рядом, в пяти минутах ходьбы одна от другой.

Позднее Сталин сообщил, что Григория Ивановича отзывают в Москву. Проводы были не такими, какие нужны были бы согласно положению. Формальные состоялись проводы. Мне потом рассказывали чекисты, что он всю дорогу очень волновался, особенно подъезжая к Москве; видимо, ожидал ареста. А это могло случиться. Сталин все мог тогда сделать!

Выдвинули мы теперь других людей. Но эти, выдвинутые нами люди были уже без дореволюционного прошлого, как бы без рода и племени, если говорить о революционной деятельности. Просто товарищи из партактива, почти что рядовые. Впрочем, тогда всех так выдвигали.

Еще скажу о Киевской парторганизации. Вторым секретарем Киевского обкома партии был тогда Костенко. При мне он был очень мало, его вскоре арестовали. Я удивлялся: простой человек, из крестьян-колхозников, зачем ему лезть в дружбу с врагами Советского Союза? Никак не мог я этого понять и решил с ним побеседовать. Поехал в НКВД. Привели его из камеры. Я его спрашивал, а он все подтверждал: «Вот такой-то и такой-то сотрудничали со мной в этом деле». Я ему: «А еще кто был с вами?» — «Больше никого не было». Ну и хорошо, я уже обрадовался, что

где-то виден конец. Что он действительно враг народа, у меня не было уже сомнений, потому что он лично и в довольно спокойном состоянии подтвердил это. Нарком внутренних дел сказал, что он будет осужден к расстрелу.

В то время были случаи, когда перед расстрелом люди вдруг начинали давать показания на других лиц, и таким образом создавалась непрерывная цепь врагов. Я сказал: «Если Костенко станет еще на кого-то показывать, то прошу тогда его не расстреливать, а сохранить для того, чтобы разобраться в этом деле». Прошло какое-то время, и Успенский мне доложил, что Костенко расстрелян, но перед смертью упомянул Черепина, уже работавшего на месте второго секретаря Киевского областного комитета партии. Хороший такой человек, умница, прекрасно знал свое дело, да и сельское хозяйство, умел подойти к крестьянам. Впрочем, ему и приспособливаться не надо было, потому что он сам был из крестьян. «Почему же, — спрашиваю, — Вы так сделали? Я же просил Вас сохранить его, чтобы можно было обстоятельно с ним побеседовать. Сомневаюсь, что Черепин может состоять в каком-то заговоре. А теперь я не смогу ничего узнать, потому что того, кто показывал на него, нет в живых. Как же можно проверить?» Позвонил я Маленкову: «Товарищ Маленков, дают показания на Черепина, а я не верю, этого не может быть». — «Ну что же, не веришь, так пусть и работает».

Тогда это была большая поддержка со стороны ЦК в лице Маленкова: он «сидел на кадрах». Прошло день-два, и он звонит мне: «Знаешь, а все-таки, может быть, лучше всего передвинуть этого Черепина куда-нибудь? Кто его знает? Все может быть... Возможно, он действительно был завербован?» Ну что же делать? Пришлось его передвинуть. Я выдвинул его заместителем наркома сельского хозяйства по животноводству. Понадобился нам секретарь нового обкома партии. Я предложил сделать на Украине больше областей, но чтобы по объему они стали меньше — для лучшего охвата дел при руководстве. Выделили Сумскую область. Я позвонил Маленкову: «Все-таки сомневаюсь, что мы правильно поступили с Черепиным, он честный человек. Предлагаю Черепина выдвинуть секретарем обкома партии Сумской области». Маленков согласился, и тот работал там до самой войны. Когда началась война, от нас потребовались кадры для выдвижения членами военных советов соединений. Я назвал Черепина членом одного Военного совета для соединения, действовавшего в районе Одессы.

Война началась для Красной Армии плохо. Я узнал, что Черепин погиб при отступлении. Командующий был убит или застрелился, а Черепин пропал без вести. Считаю, что он тоже был убит. Генерал, команду-

ющий, был в военной форме, и немцы знали, что он командующий. Для поднятия духа своей армии они хоронили тогда с почестями своих врагов — наших генералов. Тот генерал тоже был похоронен с почестями, Черепин же исчез бесследно. Он закончил свою жизнь как преданный, верный сын Коммунистической партии, верный сын своего народа, своей Родины. А сколько таких людей было? Тысячи и тысячи!

Да, именно тысячи невинных людей были в те годы арестованы: и члены партии, и кандидаты в члены партии, и комсомольцы. Собственно говоря, вся руководящая верхушка страны. Думаю, что она была арестована и погибла в составе трех поколений руководителей, если не больше! Партийные органы были совершенно сведены на нет. Руководство было парализовано, никого нельзя было выдвинуть без апробации со стороны НКВД. Если НКВД давал положительную оценку тому или другому человеку, который намечался к выдвижению, только тот и выдвигался. Но и апробация со стороны НКВД никаких гарантий не давала. Имели место случаи, когда назначали человека, и буквально через несколько дней его уже не оказывалось на свободе, он арестовывался. Здесь тоже находились свои объяснения: появились дополнительные допросы такого-то врага народа, тот дал более обширные показания и показал на этого человека, который хорошо замаскировался и не был своевременно разоблачен, был выдвинут в руководство. Потом оказывалось, что он состоит в заговоре и тоже является врагом народа. Конечно, это стандартное объяснение, но оно имело свою логику, потому что действительно какой-то арестованный давал показания. А на давшего показания тоже кто-то раньше дал показания. И таким образом создавалась замкнутая цепь порочной практики руководства, которое становилось тем самым на путь как бы самоистребления. Так оно и было. Сегодня представитель какой-то партийной организации выступает и разоблачает арестованных ранее, а завтра и его самого уже нет, что тоже находило объяснение, дескать, он ретиво разоблачал, потому что сам был замешан и чтобы скрыть правду. Вот вам и объяснение!

Наиболее наглядным примером может послужить Фурер. Фурер работал на Украине в 1920 году. Тогда я его еще не знал, потому что он человек стóличный, городской, работал не то в Киеве, не то в Одессе, не то в Харькове, сейчас даже не знаю точно. Но это была громкая фамилия. А прогремела эта фамилия, когда я работал уже в Москве 1930-х годов. Он был очень хорошим организатором, хорошим пропагандистом и хорошим рекламщиком, умел подать материал, сделать хорошую рекламу. Так, он «обставил» и подготовил выдвижение Никиты Изотова. Я бы сказал, что и Изотова, и Стаханова «родил» Фурер. Он организовал и собственноручно «обставил» выход ударника Изотова из шахты, встречу его общественностью цветами, организовал печать и кино. Одним словом, сделал большую рекламу, и Изотов действитель-

но стал героем. Отсюда, собственно, и пошла особая пропаганда таких достижений. Так появились и другие последователи Изотова.

Как-то, помню, Каганович спросил меня: «Вы знаете Фурера?» — «Знаю по газетам, а в жизни его не встречал». — «Я знаю, что это очень способный человек. Вот бы заполучить его к нам, в Москву». — «Мне неизвестно, как его заполучить, но если можно, то пожалуйста. Это был бы полезный человек для работы в Московской партийной организации». Каганович был тогда секретарем ЦК партии, так что для него желаемого добиться было нетрудно. Не знаю, почему он со мной тогда советовался. Видимо, хотел подготовить, чтобы я правильно понял намеченное назначение. И Фурер перешел работать в Москву. Он заведовал агитмассовым отделом, хорошо развернулся, а я был доволен. Его авторитет в городской партийной организации и в ЦК был высок. Вспоминаю, позвонил мне Молотов и спросил: «Как вы смотрите, если мы у вас возьмем Фурера? Мы хотим его назначить руководителем радиовещания». Отвечаю: «Конечно, Фурер будет, видимо, для такой работы хорош, только я очень просил бы его не забирать, потому что и у нас он работает на интересном, живом деле. Для Московской парторганизации это была бы исключительно потеря».

Молотов прекратил разговор, но я подумал, что он со мной не согласился. Ведь фактически я подкрепил его мнение, что если появляется хороший работник с периферии, то его надо выдвигать выше, на освобождающееся место. Так люди и должны продвигаться... Готовились мы к какому-то совещанию. Фурер попросил дать ему два или три дня для подготовки. Он хотел уехать за город, в дом отдыха в районе Химкинского водохранилища. Поработал он там; все было, как надо. Сталина и Молотова в то время в Москве не было, они отдыхали в Сочи. В Москве находились Каганович и Серго Орджоникидзе. Я точно знаю это, потому что когда заходил к Кагановичу, то часто встречал у него Серго. Они нередко совещались по различным вопросам, готовили доклады Сталину. Во время процесса не то над Зиновьевым, не то над Рыковым, не то еще над какой-то группой я зашел к Кагановичу. У него был Серго, и я решил переждать в приемной вместе с Демьяном Бедным. Каганович узнал, что я пришел, сразу же сам вышел и предложил зайти в кабинет. Захожу. Демьяна Бедного тоже вызвали при мне. Ему было поручено выступить против этой антипартийной группы с басней или стихотворением, высмеивающим и осуждающим ее. Задание было дано раньше. Он приносил один вариант, затем второй, но все они оказались неприемлемыми. И тот вариант, с которым он пришел при мне, тоже не был приемлемым, по мнению Кагановича и Серго. Его стали деликатно критиковать. Демьян, огромный, тучный человек, начал объяснять, почему басня не получается: «Не могу, ну, не могу. Старался я,

сколько силится, но не могу, у меня вроде как половое бессилие, когда я начинаю о них думать. Нет у меня творческого подъема».

Я был поражен такой откровенностью. Демьян Бедный ушел. Я не помню сейчас, как реагировали Каганович и Серго, но, кажется, плохо на такое откровенное признание, что он чувствует бессилие и сравнил это бессилие с половым. Это значит, что у него существовало какое-то сочувствие к тем, кто находился на скамье подсудимых. Естественно, я тогда был не на стороне Демьяна Бедного, потому что верил в безгрешность ЦК партии и Сталина.

Возвращусь к Фуреру. Вдруг мне сообщают, что он застрелился. Я был удивлен. Как такой жизнерадостный, активный человек, молодой, здоровый, задорный, и вдруг окончил жизнь самоубийством? Сразу же забрали его тело и документы, которые он должен был подготовить. Нашли очень пространное письмо, адресованное Сталину и другим членам Политбюро. Его самоубийству предшествовал арест Лившица. Лившиц был заместителем наркома путей сообщения. Это был очень активный человек, чекист во время гражданской войны. Я его по той поре не знал, но, говорят, он слыл очень активным работником. Когда-то он поддерживал Троцкого, но в годы, когда он являлся заместителем наркома, стоял, как считалось, на партийных позициях. Вопрос о троцкизме сошел со сцены и не являлся предметом диспута, это вообще был пройденный этап в жизни Лившица, осужденный и сброшенный со счетов. Но этот факт висел над Лившицем, а они были с Фурером большие друзья. Потом еще кого-то арестовали, тоже из группы, близкой к Фуреру и Лившицу.

Письмо Фурера было посвящено главным образом реабилитации Лившица. Видимо, этот документ сохранился в архиве. Автор очень расхваливал Лившица, что это честный человек, твердо стоит на партийных позициях, он не троцкист. Одним словом, в вежливой форме, не оскорбительной (потому что Сталину пишет) он хотел подействовать на Сталина, чтобы тот изменил свою точку зрения и прекратил массовые аресты. Фурер считал, что арестовывают честных людей. Автор заканчивал тем, что решается на самоубийство, так как не может примириться с арестами и казнями невинных людей. О Сталине он говорил там тепло. Вообще в письме он давал всем членам Политбюро довольно-таки лестную характеристику. Я привез это письмо Кагановичу. Каганович зачитал его при мне вслух. Он плакал, просто рыдал, читая. Прочел и долго не мог успокоиться. Как это так, Фурер застрелился? Видимо, он действительно очень уважал Фурера. Тут же Каганович сказал мне: «Вы напишите маленькое письмецо Сталину и разошлите его всем членам Политбюро». Я так и сделал. Несмотря на то что при самоубийствах партийные организации

отстранялись от похорон, Фурера хоронили именно мы, партийная организация, то есть Московский комитет.

Прошло какое-то время, приближалась осень. Сталин возвратился из отпуска в Москву. Меня вызвали к нему. Я пришел, совершенно ни о чем не подозревая. Сталин сказал: «Фурер застрелился, этот негодный человек». Я был поражен и огорошен, потому что считал, что Каганович в какой-то степени отражал оценку Сталина. Каганович буквально рвел навзрыд при чтении письма, и вдруг — такой оборот. «Он взял на себя смелость давать характеристики членам Политбюро, написал всякие лестные слова в адрес членов Политбюро. Это ведь он маскировался. Он троцкист и единомышленник Лившица. Я вас вызвал, чтобы сказать об этом. Он нечестный человек, и жалеть о нем не следует». Я очень переживал потом, что оказался глупцом, поверил ему и считал, что это искреннее письмо, что человек исповедался перед смертью. Он не сказал ничего плохого о партии, о ее руководстве, а написал только, что Лившиц и другие, кого он знал, — честные люди. Он своей смертью хотел привлечь внимание партии к фактам гибели честных и преданных людей. Для меня это было большим ударом. Каганович же позднее не возвращался при разговорах к Фуреру. Он был стерт из памяти. Каганович, видимо, просто боялся, что я мог как-то проговориться Сталину, как он плакал. Собственно говоря, он-то мне и подсказал разослать этот документ членам Политбюро и Сталину.

Теперь скажу несколько слов об открытых процессах над Рыковым, Бухариным, Ягодой, Зиновьевым, Каменевым. Они сохранились в моей памяти крайне нетвердо. Я на этих заседаниях бывал всего раз или два. Один из процессов проходил в небольшом зале Дома Союзов. Обвинителем был прокурор Вышинский. Не знаю, кто конкретно были защитниками, но они имелись. Там находились и представители братских партий и даже, кажется, представители прессы буржуазных стран, но не утверждаю. Да это для моих воспоминаний и не столь важно, потому что это было описано и в нашей печати, и в зарубежной. Я слушал допросы обвиняемых, был поражен и возмущен, что такие крупные люди, вожди, члены Политбюро, большевики с дореволюционным стажем, оказались связаны с иностранными разведками и позволяли себе действовать во вред нашему государству. Я хочу рассказать, как сам я воспринимал признания обвиняемых в то время. Когда Ягodu обвиняли в том, что он предпринимал шаги, чтобы Максима Горького поскорее привести к смерти, доводы были такие: Горький любил сидеть у костра, приезжал к Ягоде и тот приезжал к Горькому, поскольку они дружили. Ягода разводил большие костры с целью простудить Горького, тем самым выз-

вать заболевание и укоротить его жизнь. Это было немного непонятно для меня. Я тоже люблю костры и вообще не знаю таких, кто их не любит. Здоровый человек просто сам регулирует костер. Горького ведь нельзя привязать к костру и поджаривать. Говорилось, что добились смерти Максима Пешкова, сына Горького, а потом и Горький умер, а Ягода играл здесь какую-то роль.

Мне по существу дела трудно было что-либо сказать. Я лишь жалел о смерти Горького и воспринимал приводимый довод несколько критически. Ягода же соглашался, что он преследовал такую цель, разжигая сильные костры. Помню, как прокурор задал Ягоде вопрос: «В каких отношениях были Вы с женою сына Горького?» Ягода спокойно ответил: «Я попросил бы таких вопросов не задавать и не хотел бы трепать имя этой женщины». Прокурор не настаивал на ответе, после чего с этим вопросом было покончено.

Ясно, чем завершились все эти процессы, — страшными приговорами. Все эти люди были казнены, были уничтожены как враги народа. Так они и остались доньше врагами народа. Остались потому, что уже после XX съезда партии мы реабилитировали почти всех невинных, но тех, кто проходил по открытым процессам, мы не реабилитировали, но не потому, что существовали доказательства вины. Тут имелись соображения другого характера. Мы спрашивали тогда прокурора: «Были ли реальные доказательства их вины для суда?» Никаких доказательств нет! А судя по тем материалам, которые фигурировали в деле этих людей, собственно говоря, они не заслуживали не только обвинения, но даже ареста. Прокурор Руденко так и докладывал членам Президиума ЦК партии в 50-е годы.

Почему же их тогда не реабилитировали? Лишь потому, что после XX съезда партии, когда мы реабилитировали многих несправедливо арестованных, на это бурно реагировали люди и внутри нашей страны, и за границей. Руководители братских компартий были обеспокоены, потому что это событие потрясло их партии. Особенно бурно проходили эти процессы в Итальянской и Французской компартиях. На тех судебных процессах, по-моему, присутствовали Морис Торез, Пальмиро Тольятти и другие руководители компартий. Они сами слышали, сами видели, сами говорили, «щупали» и были абсолютно уверены в основательности обвинений. Обвиняемые признали себя виновными, дело было доказано, и они возвратились к себе домой убежденными, хотя тогда на Западе, да и в Советском Союзе эти процессы очень бурно обсуждались. Наши враги использовали их в агитации против компартий, против нашей идеологии, против нашей советской системы. Компартии защища-

лись, доказывали нашу правоту, основательность этих процессов, писали, что все обосновано, все доказано фактами и признаниями самих подсудимых.

К нам обратились Тольятти (Итальянская компартия) и Торез (Французская компартия) с заявлением, что если будут реабилитированы и обвиняемые на тех процессах, которые проводились открыто, то создадутся невероятные условия для братских компартий, особенно для тех, представители которых присутствовали в зале заседаний. Как очевидно они потом докладывали своим партиям и доказывали, что процессы были проведены на основе твердых доказательств и юридически обоснованы. Мы договорились, что сейчас не будем их реабилитировать, но подготовим все необходимое для этого. Пусть даст заключение прокурор, и мы вынесем закрытое решение, что эти люди тоже являлись жертвами произвола. Мы не опубликовали свое решение по тем соображениям, которые я уже излагал, взяли, как говорится, грех на душу в интересах нашей партии, нашей идеологии, нашего общего рабочего дела. Ведь тех не вернешь к жизни! Мы не хотели фактом признания несостоятельности этих процессов вооружить своих врагов против братских компартий, против таких их руководителей, как Морис Торез, Пальмиро Тольятти и других, которые душой и телом преданы рабочему делу, настоящие марксисты-ленинцы.

Троцким и вопросом о его гибели мы не занимались. Мы не поднимали занавеса и даже не хотели этого. Мы вели с Троцким идеологическую борьбу, судили его, были и остались противниками его идеологии, его концепции. Он нанес немалый вред революционному движению, а тем более и погиб не на территории СССР, погиб без суда и следствия.

Я говорю здесь только о зинovieвцах, бухаринцах, рыковцах, о Ломинадзе и других. Ломинадзе кончил жизнь самоубийством. Огромное количество людей с дореволюционным партстажем тогда тоже погибло, почти все партийное руководство. Мне могут сказать: «Что ты, мол, говоришь, что взяли грех на душу и не опубликовали того факта, что открытые процессы тоже были несостоятельными, потому что в материалах не было доказательств? А как вообще обстояло дело с ними?» Считаю, что борьба с ними была правильной, потому что имелись идеологические расхождения, существовали разные точки зрения насчет практики строительства социализма, расхождения с зинovieвцами и с правыми. Полагаю, что мы, то есть ЦК партии и Сталин, который был нашим вождем, вели борьбу правильно и проводилась она партийными методами, путем дискуссий, путем обсуждения вопроса, голосованием в партийных организациях. Тут мы пользовались именно партийными, ле-

нинскими методами. Может быть, и с той и с другой стороны были допущены какие-то неточности и перегибы, я это допускаю. Но в основном борьба велась правильно и на демократической основе. А вот судить их не было нужды, да и не за что. Тут был прямой произвол, злоупотребление властью. Все это подтверждало предположение Ленина, что Сталин способен злоупотребить властью и поэтому нельзя держать его на посту генерального секретаря. Это доказало правоту Ленина, верность предвидения Ленина.

С другой стороны, если бы мы опубликовали правдивые материалы об открытых процессах, то это уже оказалось бы, пожалуй, абстрактной истиной: конечно, раз это случилось, то надо сказать правду безотносительно к тому, какой след оставит сказанное и какой вред будет нанесен коммунистическому движению. Ведь сделанного уже не воротить. Если же говорить, кому это было выгодно, то только нашим врагам, врагам социализма, врагам рабочего класса. А мы этого не хотели, потому и не поступили так. Основные же вопросы мы не побоялись поставить на XX съезде партии, опубликовали главное решение и сказали своему народу, своей партии и братским компартиям все, что нужно было сказать, чтобы восстановить честь и реабилитировать невинно загубленных по вине Сталина.

Да, мы не хотели, не думая о последствиях, сделать это в такой форме, когда материалы могли бы быть обращены против революционного движения, против нашей советской системы, против нашей партии, против рабочего движения. Считаю, что мы правильно рассуждали. Мы полагали, что пройдет какое-то время, когда все жившие отойдут, как говорится, в мир иной, и вот тогда такие документы могут быть опубликованы и должны быть реабилитированы все эти люди, потому что это были честные люди, преданные и очень ценные для СССР, но просто имевшие какие-то другие взгляды. О многих из них Ленин отзывался очень лестно, хотя порой и критиковал их. Чтобы доказать правоту расправы над ними, кое-кем делается сейчас акцент на критике, которая была со стороны Ленина в адрес того или другого деятеля, и совершенно замалчиваются их добрые дела и лестные отзывы Ленина о них. Если взять, например, Бухарина — это был действительно любимец партии. Мое поколение воспитывалось на «Азбуке коммунизма», написанной Бухариным по поручению Центрального Комитета партии. Это был почти официальный документ, по которому рабочие в кружках обучались реальной азбуке коммунизма. Книга так и называлась. Я уж не говорю, что в течение скольких-то лет Бухарин являлся редактором «Правды». Это был действительно редактор, это был идеолог. Его выступления: и

устные доклады, и лекции, и выступления в печати против троцкистов и других врагов партии внесли очень большую лепту в нашу внутривнутрипартийную победу. А потом из него вдруг стали делать какого-то шпиона, доказывать, что он продавал территорию СССР. Сейчас это выглядит просто сказкой для малолетних, а в принципе — несостоятельная клевета.

Из этого-то я и исходил, когда мы договаривались в Президиуме ЦК партии о способе разбора упомянутых дел. Я, конечно, жалею, что мне не удалось завершить до конца разбор этих дел и сбор всех необходимых материалов. Мне докладывали о них, но в годы моего участия в руководстве страной мне не удалось завершить это. Ну что ж, то, чего не сделал один, сделают потом другие. А если не другие, то третьи, потому что правое дело никогда не пропадает. Я считаю, что свой долг члена партии честно выполнил и в этом вопросе, насколько мог, сделал все, чтобы реабилитировать тех, кто невинно сложили головы, а на деле были безупречными членами партии и сами сделали для страны очень многое и во времена подпольной деятельности, и во время гражданской войны, в самое тяжелое время после победы Великого Октября, и при строительстве социализма, восстановлении народного хозяйства, строительстве нашего пролетарского государства.

Хочу продолжить теперь рассказ о других фактах, чтобы показать механику подхода и мышление Сталина эпохи неуправляемого реакционного разгула, культа его личности. Я хотел бы (это тоже очень показательный случай) напомнить здесь о товарище Задионченко (сейчас он больной человек). Я знал его по Бауманскому району столицы. Когда я в 1931 году был избран секретарем этого районного партийного комитета, он заведовал, по-моему, отделом культуры в райсовете. Вроде бы существовала тогда такая организация, сейчас нетвердо помню. Одним словом, я его знал, причем знал с хорошей стороны. Когда мы разукрупнили районы, то сделали их больше по численности, чем прежде, и он стал секретарем одного из райкомов партии в Москве, потом работал председателем Совета Народных Комиссаров Российской Федерации, и работал там опять же хорошо. Туда он был выдвинут, когда меня уже не было в Москве.

Когда было решено взять Коротченко из Днепропетровска и выдвинуть его председателем Совета Народных Комиссаров Украины, встал вопрос, кого же послать в Днепропетровск? Сталин считал, что туда нужен верный человек и крупный работник, потому что Днепропетровску всегда принадлежало высокое политическое и экономическое положение в стране. Кроме того, секретарем обкома партии там долгое время был Хатаевич, хороший организатор и умный человек. Мы тогда предло-

жили: «Хорош был бы туда председатель Совнаркома Российской Федерации товарищ Задионченко». Сталин знал Задионченко и согласился: «А что? Он станет неплохим секретарем обкома, давайте его возьмем». Послали его в Днепропетровск. Я считал, что он на своем месте, но думал, что он доволен таким выдвижением по линии партийной работы. Но я ошибся: он переживал это событие, видимо, уже привык к более спокойной жизни. Не знаю, чем конкретно он занимался в Совнарком РСФСР. Наверное, легче перечислить, чем не занимался. Фактически всеми делами РСФСР занимался Совнарком СССР, а Задионченко лишь повторял его решения, тут его права незаслуженно обкорнали. Но это уже другой вопрос.

Тем не менее Задионченко работал в Днепропетровске хорошо, справлялся с делом. Он умный человек, хороший организатор, непоседа, не кабинетный по складу человек. Однажды произошел непредвиденный случай. В Одессе проходила партийная конференция ЦК КП(б)У. В Одессу поехал Коротченко. Закончилась конференция, возвращается он и рассказывает, что к нему во время перерыва подошел какой-то товарищ, делегат конференции, и спрашивает: «Как поживает мой дядя?» Я его спрашиваю: «Какой дядя?» — «Задионченко», — говорит. Посмотрел я на него, вроде бы внешне похож на еврея. Задионченко же — украинец. Какое же может быть кровное родство? «Задионченко — это мой дядя, передайте ему привет». Фамилия того человека была Зайончик, кажется. Коротченко, вернувшись в Киев, рассказал мне об этом случае. В то время происходило бурное разыскивание всяческих родословных, чтобы не быть обманутыми, чтобы не затесались в наши ряды какие-то враги. Я и сказал: «Лучше всего спросить самого Задионченко», — и попросил о том Бурмистенко (он старый знакомый Задионченко). Поговорит с ним и скажет, что мы просим его откровенно обо всем рассказать. Это будет самое лучшее для него.

Бурмистенко его вызвал и провел с ним беседу. Бурмистенко был очень хороший товарищ, умел проявить деликатность в таких случаях. Затем пришел ко мне и говорит: «Настаивает, что он именно Задионченко». Тогда мы посчитали своим долгом выяснить, чтобы не оказаться в дураках. Мы вовсе не считали, что это какая-то клевета. Ведь Зайончик гордился своим дядей и передавал ему привет. Не имелось подозрений, что тут какой-то подвох для Задионченко, который, дескать, скрывает свою национальность и тот факт, что когда-то он взял другую фамилию, чтобы спрятаться за ней. К этому вопросу подключили Наркомат внутренних дел. Впрочем, думаю, что тот раньше нас сам подключился, потому что тогда партийные работники больше зависели от органов НКВД, чем они —

от нас. Собственно говоря, не мы ими руководили, а они навязывали нам свою волю, хотя внешне соблюдалась вся субординация. Фактически своими материалами, документами и действиями они направляли нас туда и так, как хотели. Мы же, согласно сложившейся практике, обязаны были во всем доверять их документам, которые представлялись в партийные органы.

Для НКВД новое дело не требовало больших усилий. Вскоре мы уже знали, что Задионченко родился в местечке Ржищев Киевской губернии, около Канева. Отец его — кустарь-жестянщик, мать работала табачницей в Кременчуге, зарабатывала немного и была женщиной нестрогого поведения. Отец умер, потом мать заболела туберкулезом и тоже умерла. Задионченко (тогда еще Зайончик) остался сиротой, его приютил какой-то ремесленник. Он воспитывался улицей, кормился у добрых людей. Так он рос. Тут грянула революция, гражданская война. Дальше уже сам Задионченко рассказывал, что мимо проходил какой-то кавалерийский отряд, и он увязался вслед. Красноармейцы одели его, обули, накормили и дали ему фамилию уже не Зайончик, а Задионченко. Так ли это было, не знаю, не в этом суть. Одним словом, мы обо всем этом узнали.

Я несколько забежал вперед и сказал про то, *что* мы узнали от самого Задионченко. Вызвал я его и говорю: «Товарищ Задионченко! Товарищ Бурмистенко с вами беседовал, вы все отрицали, а теперь мы все узнали. Зачем вы сами себе вредите? Знаем, что вы родились в городе Ржищеве (он стал уже городом), знаем про вашего отца и вашу мать, кто они и как кончили. Главное же, нет никакой нужды скрывать, что вы — Зайончик, что ваш отец — ремесленник, а мать — рабочая». Он заплакал, начал просто рыдать: «Да, я не имел мужества рассказать сразу. Все это правда. А теперь не знаю, что со мной будет. Я раскаиваюсь, что скрыл это, но никакого злого умысла не имел. Скрыл же потому, что уже много лет живу под Задионченко и привык к этой фамилии, оторвался от фамилии Зайончик. Теперь я Задионченко, и даже моя жена не знает, что я еврей. Это удар для моей семьи, и я не знаю, как сейчас быть и что произойдет».

Я его успокоил: «Давно бы сказали, и ничего бы не случилось, а сейчас, конечно, дело сложнее, потому что подключился НКВД и мы получили оттуда документы. Ступайте, возвращайтесь в Днепропетровск, работайте, никому ничего не говорите об этом, даже своей жене, ведите себя, как прежде, а я доложу в ЦК партии». Он был опытным человеком, кажется, уже тогда являлся членом ЦК партии и понимал ситуацию. Я сразу же позвонил Маленкову: этот вопрос кадровый и прежде всего касал-

ся Маленкова. Рассказал ему. Маленков очень хорошо знал Задионченко и с уважением относился к нему. «Это, — говорит, — надо будет рассказать Сталину. Когда появишься в Москве, сам это и сделай». Отвечаю: «Ладно».

Приехал в Москву. Маленков ничего не рассказал Сталину, но не удержался и сообщил Ежову (а может быть, Ежов узнал через Успенского, наркома внутренних дел Украины). Одним словом, когда я приехал, Маленков меня предупредил: «Имей в виду, что Задионченко, по-твоему, — еврей, а Ежов говорит, что Задионченко — поляк». Тогда как раз было время «охоты» на поляков, в каждом человеке польской национальности усматривали агента Пилсудского или провокатора. Отвечаю: «Ну как же можно так говорить? Я точно знаю, что он еврей. Мы знаем даже синагогу, где совершался еврейский обряд при рождении мальчика». Я побывал у Сталина, рассказал ему. Он воспринял все довольно спокойно. «Дурак, — сказал он по-отечески, — надо было самому сообщить, ничего бы не случилось. Вы не сомневаетесь в его честности?» Отвечаю: «Конечно, не сомневаюсь, это абсолютно честный человек, преданный партии. Теперь из него делают поляка». — «Пошлите их к черту, — говорит, — по рукам им надо дать, защищайте его». Отвечаю: «Буду защищать с Вашей поддержкой...» Из-за такой невинной смены фамилии чуть не произошла беда с преданным партийцем. Не знаю, зачем он менял фамилию? Может быть, красноармейцы подшучивали над ним, как над еврейским мальчиком, а он хотел избавиться от этих неприятных шуток?

Иной раз действительно допускались неприятные шуточки в отношении евреев как среди русских, так и среди украинцев. Среди украинцев чаще случалось, но не потому, что украинцы — большие антисемиты, а потому, что рядом с украинцами жило евреев больше. Евреи чаще других занимались мелкой торговлей или ремеслом. Они чаще соприкасались с украинским трудовым людом, встречались на почве взаимного расчета, работали же рядом редко. В моей деревне еврея видели только тогда, когда тот ездил за пухом и перьями, выменивая их на конфеты, колечки, какие-то блестящие серьги. Одним словом, Задионченко сменил фамилию без всякой задней мысли, а тут уже сделали из него поляка. Из него надо было «сделать» не еврея, а поляка; поляк — это иностранный агент, засланный Пилсудским. И уже протянулись руки за душой Задионченко. Я так пространно об этом рассказываю, чтобы люди поняли то время, в котором мы жили, и поняли наше положение, живших в то время, ту обстановку, которая сложилась. И вот в такой обстановке мы жили и трудились. Мы не только боролись с «врагами народа», но боролись и за выполнение планов, а планы выполнялись все (за исключением одного года

из всех довоенных пятилеток). То был самый тяжелый, самый черный год для нашей партии, наших кадров, и именно в этот год план не был выполнен: 1937 год.

Посылая меня на Украину, Сталин предупредил: «Знаю вашу слабость к городскому хозяйству и промышленности. Хотел бы предупредить Вас, особенно не увлекайтесь Донбассом, поскольку Вы сами из Донбасса, а больше внимания обратите на сельское хозяйство, потому что для Советского Союза сельское хозяйство Украины имеет очень большое значение. Село у нас организовано плохо, а в промышленности кадры организованы лучше, и там, видимо, для Вас не возникнет особых затруднений». Такой линии я и придерживался, хотя мне это было нелегко, потому что я чувствовал тягу к промышленности, а особенно к углю, машиностроению и металлургии. Но раз Сталин сказал про сельское хозяйство, то я стал больше заниматься сельским хозяйством, деревней, ездить по Украине, искать передовых людей, слушать их и учиться у них.

Мы выдвинули новые кадры, заполнили обкомы, облисполкомы и республиканские органы. В колхозах эти вопросы решались легче, хотя и колхозные кадры сильно поредели.

Прибыли мы с Бурмистенко на Украину в январе или феврале; пора готовиться к весеннему севу. На юге иной раз случаются такие ранние весны, когда полевые работы начинаются в феврале, а уж в марте — обязательно. Стали мы готовиться к посевной кампании и вдруг столкнулись с таким явлением: в западных областях (Каменец-Подольский, Винница, Проскуров, Шепетовка), граничащих с Польшей, налицо массовая гибель лошадей. Я послушал, что говорят в Наркомате земледелия, выехал на место, послушал тамошних жителей, долго разбирался, но ничего толком нельзя было понять. Лошади заболели, быстро хирели и дохли. По какой причине, нельзя было определить. Определить невозможно было потому, что, когда комиссии с привлечением ученых, которые могли что-то сделать, разворачивали работу, их сразу арестовывали и уничтожали как вредителей, как виновников гибели лошадей.

Вспоминаю про такой случай в Винницкой области. Приехал я в какой-то колхоз, где погибло очень много лошадей, и стал спрашивать конюха, который, как мне сказали, сам видел, как «враги» травили лошадей. Он мне и говорит: «Я видел, как вот этот сыпал какое-то зелье, какие-то яды. Поймали его. Кем же он оказался? Ветеринарным врачом». Объясняли все это так. Эти области граничат с Польшей, и немцы через Польшу, да и сами поляки делают все, чтобы подорвать наше колхозное хозяйство и лишить нас рабочего скота.

Действительно, немцы готовились к войне. В какой-то степени было

логично лишить нас лошадей — ударить по экономике, по сельскому хозяйству и по военным возможностям, потому что лошадь в те времена — то же, что сейчас танки и авиация. Это был подвижный род войск. Мы еще жили событиями гражданской войны и лошадям отводили большую роль в будущей войне. Тут и кавалерия, тут и обоз, без которого армия воевать не может. Поэтому объяснение гибели лошадей актом вредительства со стороны внешних врагов, которые сомкнулись с внутренним врагом, находило понимание в людях. Но я не мог до конца согласиться с таким объяснением. Почему же коровы и овцы не дохнут, а дохнут только лошади? Мне хотелось послушать ученых, ветеринарных врачей, зоотехников, но их ряды, особенно тех, кто занимался лошадьми, сильно поредели.

Спросил я наркома внутренних дел Успенского: «Есть ли у вас заключенные, которые обвиняются в травле лошадей?» — «Да, есть». — «Кто они такие?» Он назвал фамилии профессора Харьковского ветеринарного института и директора Харьковского зоотехнического института. Второй — украинец, первый — еврей. Я предупредил: «Я к вам приеду. Вы их вызовите к себе в кабинет. Не хочу в тюрьму к ним ехать, побеседую с ними у вас». — «Они, — отвечают, — сознались, могут вам про все рассказать». А перед этим я наркому сказал: «Если профессор травил лошадей, то пусть он нам скажет, каким ядом травил, и напишет химическую формулу яда». Я хотел потом на этой формуле составить яд и поставить контрольный опыт. Профессор дал такую формулу, и я приказал приготовить снадобье. Приготовили, положили лошадям в корм, они съели, но не пали и даже не заболели. Вот тогда-то у меня и зародилось желание лично поговорить с тем профессором.

Условились, и я приехал. Вызвали арестованных (по одному, конечно), первым — профессора, человека лет 50-ти, седого. Спрашиваю: «Что вы можете сказать по этому поводу?» Он: «Я уже дал два показания и могу только подтвердить, что мы действительно немецкие агенты, имели задание травить лошадей и делали это». — «Как же так? Вы говорите, что травили лошадей, я попросил, и вы дали химическую формулу яда. Мы составили яд по этой формуле и дали животным, но они не погибли и даже не заболели». — «Да, — говорит, — это возможно, потому что к яду, который мы сами составляли, мы еще получали готовую добавку. Из каких компонентов она состояла и какова формула добавки, мы не знаем. Мы получали ее прямо из Германии». И человек это сам говорил! Знает, что я секретарь ЦК КП(б)У, видит, что я интересуюсь и даже как бы подсказываю, что его признания, с моей точки зрения, несостоятельны, потому что животные не погибают, а он не только не воспользовался этим,

но все сделал для того, чтобы подтвердить показания и доказать правоту своих мучителей-чекистов, которые вынудили его дать ложные показания.

Я был просто поражен: сколько же развелось врагов! Но немыслимое дело: немцы — такие антисемиты, и вдруг еврей работает на антисемитов. Все это объяснялось классовой борьбой. Я закончил допрос. Следующим пригласили директора. Он тоже подтверждал, хотя и не так твердо, но подтверждал. Я понимал, что сознаваться в таких вещах — не шутка, и объяснял это тем, что они стараются найти возможность как-то облегчить свою судьбу раскаянием, чистосердечным признанием... Уехал я в Центральный Комитет, но меня не оставляла мысль, что что-то здесь все-таки неладно. Решил обратиться к Богомольцу.

Я с большим уважением относился к президенту АН УССР, покойному ныне, Богомольцу. Очень интересная личность и крупный ученый. Как-то он мне рассказывал любопытный случай. Заполняя анкету, отвечал на вопросы: «Где родился?» Написал: «В Лукьяновской тюрьме». Потом рассказывал: «Моя мать и отец — народники, как раз были тогда арестованы и сидели в Лукьяновской тюрьме. Мать была беременной, я там и родился». Человек он был умный и очень хороший; беспартийный, но это только формальность, а вообще человек он был советский, прогрессивных взглядов. Вот его я и попросил: «Товарищ Богомолец, Вы знаете, что гибнут лошади? Надо что-то предпринимать. Считаю, что нужно создать комиссию из ученых, чтобы они взялись за это дело и определили, в чем причина. Не может же быть, чтобы наука была бессильна и не могла определить причину гибели лошадей. Это же немыслимо в наш век. Я хочу, чтобы Вы возглавили эту комиссию, потому что здесь во главе такой комиссии должен стоять доверенный человек, которому верили бы и на Украине, и в Москве. Вы как раз такой человек. Вам надо взять специалистов — зоологов и ветеринаров, которые могли бы работать на местах, выезжая в области, в колхозы, а Вы должны председательствовать».

Я знал, что несколько комиссий уже было создано, но эти комиссии арестовывались и люди гибли. Теперь все боялись входить в комиссии, потому что это предreshало судьбу людей. Богомолец согласился, но без энтузиазма. Я сказал ему: «Так как арестовывали комиссии, то люди боятся их, но если Вы, президент Академии наук, будете председателем, специалисты пойдут охотнее. Я обещаю Вам, что на все пленарные заседания буду приходить и сам слушать доклады ученых. Нарком внутренних дел Успенский тоже будет приходить, чтобы отрезать возможность обвинить в чем-нибудь членов комиссии». Он согласился. Я предложил:

«Давайте составим две комиссии, которые будут работать параллельно. Если одной не удастся разобраться, то другая найдет».

Я преследовал цель выяснить, действительно ли действуют вредители? Поэтому если вредители и попадут в одну комиссию, то в другой окажутся честные люди. Кроме того, две комиссии, два вывода, два мнения. Нам, руководителям, легче будет разобраться в сложном специальном вопросе. Во главе одной комиссии поставили, кажется, профессора Добротько. Кто возглавил вторую, сейчас не помню. Объединял всю работу Богомолец. Согласовывали состав комиссии с Наркоматом земледелия СССР. Тогда, по-моему, наркомом был Бенедиктов. Его я хорошо знал. Когда я работал в Москве, Бенедиктов являлся директором Московского овощного треста, а до того был директором Серпуховского совхоза, находился на высоком счету как организатор и как специалист-агроном. Я был одним из тех, кто способствовал его выдвижению на пост наркома земледелия. Наркомат предложил создать еще и третью комиссию, из московских ученых. Я ответил: «Пожалуйста, будем рады». Третью комиссию возглавил профессор Вертинский.

Все комиссии выехали в западные области Украины и развернули работу. Прошло некоторое время, и Добротько обратился к Богомольцу с просьбой вызвать их в Киев для доклада. Эта комиссия быстро закончила свою деятельность, потому что Добротько нащупал правильный путь и определил причину гибели лошадей. Он доложил, что вопрос сейчас совершенно ясен: лошадей никто не травит, а гибнут они в результате бесхозяйственности. В колхозах несвоевременно убирают солому из-под комбайнов, она остается на полях, попадает под осенние дожди, мокнет. Потом ее убирают сырой, в соломе от сырости развивается грибок, известный науке (насколько помню, называется он «стахиботрис»). Обычно в природе он рассеян и попадает в желудок животных в малой концентрации, так что они даже не болеют. При благоприятных же условиях — сырость, тепло — он размножается в больших количествах и начинает выделять смертельный яд. Лошадь, съев прелую солому, получает большое количество грибка и гибнет. На коров и волов грибок не действует. Закончил Добротько так: «Когда я пришел к такому выводу, то заразил себя этим грибком. У меня началась болезнь, похожая на лошадиную. Для меня вопрос теперь совершенно ясен».

Профессор Вертинский не подтверждал этого и считал, что изучение не закончено, что надо продолжить работу. Вертинский — московский профессор, Добротько — украинец. Это имело некоторое значение. Чтобы не сталкивать их, я предложил продолжить работу: «Разъезжайтесь опять и когда сочтете, что вопрос уже окончательно выяснен, скажете. Мы вас тогда опять вызовем и слушаем». Разъехались. Прошло немного времени, и Вер-

тинский сообщил, что он согласен с выводами профессора Добротько, что можно на этом закончить работу на местах и собраться на пленарное заседание. Собрались в Киеве, доложили. Вертинский полностью согласился с выводами Добротько. Добротько торжествовал. Он расшифровал причины гибели лошадей. Способ борьбы оказался очень простым — надо вовремя убирать солому, чтобы она не самосогревалась в сыром виде и исчезло главное условие для разрастания грибка. Мы проверили, все подтвердилось. Затем составили строгую инструкцию, как убирать солому, хранить ее и как скармливать скоту. Гибель животных прекратилась.

Сталину было известно, что на Украине идет травля лошадей и республика может остаться без рабочего скота. Поэтому, когда я приехал в Москву и доложил о результатах работы комиссий, он был очень доволен. Я предложил наградить людей. Профессора Добротько наградили орденом Трудового Красного Знамени. Он заслуживал и ордена Ленина, но в те времена орден Ленина давали очень скупно. Другим дали орден «Знак Почета» и медали. Я предложил и Вертинского (хотя он играл только роль катализатора: сам-то ничего не сделал, а лишь подтвердил выводы Добротько) тоже наградить орденом «Знак Почета». Ведь тогда еще имело значение, кто разобрался: Москва или Киев, украинцы или русские. И я считал, что москвичей обижать не надо.

Это была не только хозяйственная победа — сохранение животных, но и политическая, моральная победа. Сколько председателей колхозов, животноводов, агрономов, зоотехников, ученых сложили головы как «польско-немецкие агенты», сколько их погибло! Я вспоминал потом о харьковском профессоре, о директоре института, которые тоже были расстреляны, и думал: «Как же так? Как же это могло быть? Люди, теперь всем ясно, не виноваты, а сознались?» Видимо, я тогда нашел этому какое-то объяснение, не помню, какое. Я не мог тогда и предположить, что это был враждебный акт со стороны органов НКВД, я и мысли такой не допускал. Небрежность? Да, небрежность могла быть. Органы эти считались безупречными, назывались революционным мечом, направленным против врагов.

Правда, когда Успенский был арестован, кое-что приоткрылось, но все это мы опять увязывали лишь с отдельными персонами и их злоупотреблением властью. Дело Успенского началось так. Однажды мне звонит по телефону Сталин и говорит, что имеются данные, согласно которым надо арестовать Успенского. Слышно было плохо, и мне слышалось не Успенского, а Усенко. Усенко был первым секретарем ЦК ЛКСМУ, на него имелись показания, и над ним уже висел дамклов меч ареста. «Вы можете, — спросил Сталин, — арестовать его?» Отве-

чаю: «Можем». — «Но это вы сами должны сделать», — и повторяет мне фамилию. Тут я понял, что надо арестовать не Усенко, а наркома Успенского. Вскоре Сталин звонит опять: «Мы вот посоветовались и решили, чтобы вы Успенского не арестовывали. Мы вызовем его в Москву и арестуем здесь. Не вмешивайтесь в эти дела».

Началась подготовка к посевной, а я еще раньше наметил поездку в Днепропетровск. Поехал я к Задионченко, а перед отъездом сказал одному лишь Коротченко, что Успенский оказался врагом народа и его хотят арестовать. «Я уезжаю, а ты остаешься здесь, в Киеве. Время от времени находи какой-нибудь вопрос, но сугубо деловой, чтобы тебя не заподозрили, и позванивай Успенскому». Утром приехал в Днепропетровск, пошел в обком партии, и вдруг — звонок из Москвы, у телефона Берия. Берия в то время уже был заместителем наркома Ежова. «Ну ты, вот, в Днепропетровске, — с упреком сказал он, — а Успенский сбежал». — «Как сбежал?» — «Сделай все, чтобы не ушел за границу!» — «Хорошо. Все, что можно сделать, сейчас сделаем. Закроем границу, предупреджу погранвойска, чтобы они усилили охрану сухопутной и морской границы». В ту ночь у нас стоял густой туман. Я сказал: «Ночь у нас была с густым туманом, поэтому машиной сейчас доехать из Киева до границы совершенно невозможно. Он туда не мог проехать». — «Тебе, видимо, надо вернуться в Киев», — посоветовал Берия. Я возвратился в Киев, поднял всех на ноги. Водолазы сетями и крючьями облазили весь Днепр и речной берег, потому что Успенский оставил записку с намеками, что кончает жизнь самоубийством, бросается в Днепр. Нашли утонувшую свинью, а Успенского не оказалось. У него остались жена и сын-подросток, но они ничего не смогли нам сказать. Видимо, сами не знали, куда подевался муж и отец. Мы продолжали искать бывшего наркома. Не помню, сколько прошло времени — месяц, два или три, и мне сказали, что поймали Успенского в Воронеже. Оказывается, он прямо из Киева отправился поездом на Урал, а с Урала приехал в Воронеж. Там он попытался где-то устроиться (или даже устроился), но был арестован.

Когда после бегства Успенского я приехал в Москву, Сталин так объяснял мне, почему сбежал нарком: «Я с вами говорил по телефону, а он подслушал. Хотя мы говорили по ВЧ и нам даже объясняют, что подслушать ВЧ нельзя, видимо, чекисты все же могут подслушивать, и он подслушал. Поэтому он и сбежал». Это одна версия. Вторая такова. Ее тоже выдвигали Сталин и Берия. Ежов по телефону вызвал Успенского в Москву и, видимо, намекнул ему, что тот будет арестован. Тогда уже самого Ежова подозревали, что и он враг народа. Невероятные вещи: враг

народа — Ежов! «Ежовые рукавицы!»! «Ежевика», — так называл его Сталин. Из Ежова сделали народного героя, острый меч революции... И вдруг Ежов — тоже враг народа? Но в то время он еще работал.

Тут же начались аресты чекистов. На Украине арестовали почти всех чекистов, которые работали с Ежовым. Вот тогда мне кое-что и стало понятно в деле с лошадьми. По этому вопросу какой-то следователь по особо важным делам приезжал тогда из Москвы в Киев, вел следствие. Я видел этого человека, когда я беседовал с профессорами: здоровый молодой человек, лет 35-ти, сильный, большого роста. Он присутствовал, как хозяин, уселся прямо в створе стола, профессор — напротив меня, а следователь — позади меня. Я потом сделал вывод, что, когда я беседовал, тот, наверное, кулаком жестикулировал профессору и «подбадривал» его подтвердить свои показания. Так он и сделал.

Потом этого следователя тоже арестовали и расстреляли. Таким-то образом, истязаниями и вымогательствами, вынудили честного человека сознаться в преступлениях, которых не было. Я уже говорил, что и самого преступления-то не было, потому что это был не акт со стороны наших врагов. Враги, конечно, делали все, что возможно, против нас, но тут как раз оказались ни при чем. Это был результат нашей расхлябанности в колхозах, простого невежества. Вот такая была обстановка. Сколько же тогда людей погибло! Успенский заваливал меня бумагами, и что ни бумага, то там враги, враги, враги. Он посылал мне копии, а оригиналы докладов писал сразу Ежову в Москву. Ежов докладывал Сталину, а я осуществлял вроде бы партийный контроль. Какой же тут контроль, когда партийные органы сами попали под контроль тех, кого они должны контролировать? Было растоптано святое звание коммуниста, его роль, его общественное положение. Над партией встала ЧК.

УКРАИНА—МОСКВА ПЕРЕКРЕСТКИ 30-х ГОДОВ

Теперь хочу рассказать о том, как Берия был выдвинут в Наркомат внутренних дел СССР первым заместителем Ежова. Берия работал в то время секретарем ЦК Компартии Грузии. Когда я работал в Москве, то у меня сложились с Берией хорошие, дружеские отношения. Это был умный человек, очень сообразительный. Он быстро на все реагировал и этим мне нравился. На Пленумах ЦК партии мы сидели всегда рядом и перекидывались репликами по ходу обсуждения вопросов либо о тех или других ораторах, как это всегда бывает между близкими товарищами.

В 1934 году я отдыхал в Сочи. По истечении срока отдыха Берия пригласил меня возвратиться в Москву через Тифлис. Тогда Тбилиси еще называли Тифлисом. Я поехал пароходом в Батуми, а из Батуми — железной дорогой в Тифлис и пробыл там целый день. Потом купил билет в Тифлисе на Москву. Поезда тогда ходили из Грузии в Россию только через Баку. Я сказал проводнику, что займу свое купе на Северном Кавказе, в Беслане (так, кажется, называлась станция). Поехал Военно-Грузинской дорогой и в Беслане встретил поезд.

В Тифлисе я познакомился с некоторыми грузинскими товарищами. Грузия произвела на меня хорошее впечатление. Я вспомнил былое, когда в 1921 году, во время гражданской войны, был в Грузии вместе с воинскими частями. Наша часть стояла тогда на станции Аджамети под Кутаисом, а в Кутаисе находился штаб. Иной раз по долгу службы я ездил туда верхом, чаще всего от Аджамети до Кутаиса вброд через Риони. У меня сохранились хорошие впечатления от той поры, и мне было приятно вновь взглянуть на Грузию, вспомнить прежние времена, 1921 год. Сталин называл меня в шутку «оккупантом», когда я рассказывал ему о своих впечатлениях насчет того, как грузины, особенно грузинская интеллигенция, плохо относились к Красной Армии. Мне приходилось иной раз выезжать в политотдел 11-й армии, штаб которой стоял в Тифлисе. Бывало, сидишь в вагоне вместе с грузинами моего же возраста, еще молодыми, обращаешься к ним на русском, а они никогда мне не отвечали, делая вид, что не понимают русского, хотя я видел, что это бывшие офицеры царской армии и хорошо владеют русским. Про-

стой грузинский народ вел себя иначе. Крестьяне встречали нас всегда очень гостеприимно, обязательно угощали. Если случались какие-либо семейные торжества, устраивались обеды, грузины делали это пышно. А наших красноармейцев, которые попадались им в такие часы, буквально затаскивали в дом, напайвали и потом провожали в воинскую часть. Никогда не было ни одного случая насилия над красноармейцами, хотя возможности имелись: вокруг заросли кукурузы, кустарники, лес.

Когда я рассказывал об этом Сталину, он как бы возражал: «Что вы обижаетесь на грузин? Поймите же, вы оккупант, вы свергли грузинское меньшевистское правительство». — «Это, — отвечаю, — верно, я понимаю и не обижаюсь, а просто говорю, какая была тогда обстановка».

Теперь во второй раз познакомился я с Берией и другими руководителями Грузии. Кадры мне понравились, вообще люди очень понравились. Единственно то лишнее, рассказывал я Сталину, что чересчур гостеприимны. Очень трудно устоять, чтобы тебя не споили, нехорошо это. «Да, это они умеют, — отвечал Сталин, — это они умеют, я их знаю». В те годы сам Сталин выпивал еще весьма умеренно, и мне его умеренность нравилась.

Однажды, когда я был в Москве, приехав из Киева, Берию вызвали из Тбилиси. Все собрались у Сталина, Ежов тоже был там. Сталин предложил: «Надо бы подкрепить НКВД, помочь товарищу Ежову, выделить ему заместителя». Он и раньше ставил этот вопрос, при мне спрашивал Ежова: «Кого вы хотите в замы?» Тот отвечал: «Если нужно, то дайте мне Маленкова». Сталин умел сделать в разговоре паузу, вроде бы обдумывая ответ, хотя у него уже давно каждый вопрос был обдуман. Просто он ожидал ответа Ежова. «Да, — говорит, — конечно, Маленков был бы хорош, но Маленкова мы дать не можем. Маленков сидит на кадрах в ЦК, и сейчас же возникнет новый вопрос: кого назначить туда? Не так-то легко подобрать человека, который заведовал бы кадрами, да еще в Центральном Комитете. Много пройдет времени, пока он изучит и узнает кадры». Одним словом, отказал ему. А через какое-то время опять поставил прежний вопрос: «Кого в замы?» На этот раз Ежов никого не назвал. Сталин и говорит: «А как вы посмотрите, если дать вам заместителем Берию?» Ежов резко встрепенулся, но сдержался и отвечает: «Это — хорошая кандидатура. Конечно, товарищ Берия может работать, и не только заместителем. Он может быть и наркомом».

Следует заметить, что тогда Берия и Ежов находились в дружеских отношениях. Как-то в воскресенье Ежов пригласил меня и Маленкова к себе на дачу, там был и Берия. Это случилось не раз. Когда Берия приезжал в Москву, то всегда гостил у Ежова... Сталин ответил: «Нет, в наркомы он не годится, а заместителем у вас он будет хорошим». И тут же продиктовал Молотову проект постановления. Молотов всегда сам писал проекты под диктов-

ку Сталина. Как правило, такие заседания затем кончались обедами у Сталина. Я подошел к Берии, по-дружески пожал ему руку и поздравил его. Он незлобно, но демонстративно, хотя и тихо, послал меня к черту: «Ты что поздравляешь меня? Сам же не хочешь идти на работу в Москву». Это он намекнул на то, что Молотов просил, чтобы меня утвердили заместителем Председателя Совнаркома СССР. Сталин согласился с этим и уже сказал мне об этом. Но я очень не хотел такого назначения и начал просить Сталина не делать этого. Сталин вроде бы прислушался к моим словам. А я уговаривал: «Товарищ Сталин, дело идет к войне. Сейчас меня более или менее узнали на Украине, да и я узнал эту республику, узнал ее кадры. Придет новый человек, ему будет сложнее. Мне полезнее находиться сейчас на Украине, чем идти к товарищу Молотову, хотя товарищ Молотов много раз меня уговаривал идти к нему».

Молотов хорошо относился ко мне, высоко оценивая мою деятельность и в Москве, и на Украине. Он часто звонил в Киев и советовался по тому или другому вопросу. Например, когда назначали наркомом земледелия Бенедиктова, позвонил ко мне и спросил: «Как вы смотрите на это, вы же знаете Бенедиктова?» Отвечаю: «Знаю. Наркомом будет хорошим. Высокое, конечно, выдвижение сразу из директоров треста в наркомы, но это будет все же хороший нарком, знающий, умеющий работать и организовать дело». Или вот с Малышевым. Он был тогда главным инженером Коломенского паровозного завода. Я съездил в Коломну и после возвращения в Москву многое рассказал Сталину о Малышеве, поскольку он произвел на меня очень хорошее впечатление. Потом позвонил мне Молотов и поинтересовался: «Как вы посмотрите, если мы выдвинем Малышева наркомом машиностроения?» Отвечаю: «Очень хороший инженер. Считаю, что он будет также очень хороший нарком». Так случалось и по другим вопросам, связанным с людьми, которых я знал. Это свидетельствует о доверии и хорошем отношении Молотова ко мне. Я так это и расценивал. Да и Молотов тогда мне нравился, но идти в Совнарком СССР я не хотел.

Сталин согласился с моим аргументом насчет близости войны и сказал: «Ладно, пусть Хрущев остается на Украине». Когда я стал поздравлять Берию, именно это он мне и припомнил: «Как ты сам отбивался? Не хотел? А меня сейчас поздравляешь? Я тоже не хочу идти в Москву, мне в Грузии лучше». — «Постановление уже есть и вопрос решен, — ответил я. — Ты теперь москвич, прощайся со своей Грузией».

Так был назначен Берия. Сталин при этом что-то надумал. Просто так он ничего не делал. Он, видимо, Ежову уже не доверял или же не то чтобы не доверял, а просто считал, что Ежов сделал свое дело и ему

пора на покой, теперь нужно использовать другого. Тогда я думал, что Сталин хочет иметь в НКВД грузина. Он доверял Берии, а через Берию хотел проверить все дела Ежова. После назначения Берии в Наркомат внутренних дел я встречался с ним, приезжая в Москву. У меня опять сложились с ним хорошие отношения. Он мне рассказывал, что арестовывают много людей, и сетовал: где же будет край? На чем-то ведь надо остановиться, что-то предпринять, арестовывают невинных. Я соглашался с ним. У меня не имелось таких данных, но Берия — заместитель наркома внутренних дел, и я доверял ему и уважал его: вот честный коммунист; он видит, что допускались неправильные аресты, возмущается этим. Он и со Сталиным об этом говорил. Я знаю точно, хотя меня он убеждал, что у них об этом разговоров не возникало. Потом-то я понял, что это был хитрый ход: он рассказывал об этом Сталину, чтобы подставить ножку Ежову и самому занять место наркома.

Ежовым Сталин был уже недоволен. Тот сыграл свою роль, и Сталин хотел поменять на ходу лошадей, но продолжать ехать тем же курсом и осуществлять те же дела. Для этого ему нужны были другие люди. Раньше Ежов, заменяя Ягоду, уничтожил многие кадры, в том числе и чекистские, которые работали с Ягодой. Теперь Сталину (как я понял это после его смерти) понадобилось покончить с кадрами, которые выдвинулись при Ежове. Берия и предназначался для этого. А мы тогда считали: все дело в том, что он кавказец, грузин, ближе к Сталину не только как член партии, но и как человек одной с ним нации. Но у Сталина, как я потом сделал вывод уже после его смерти, имелись иные цели. А Ежов к тому времени буквально потерял человеческий облик, попросту спился. Он так пил, что и на себя не был похож. С ним я познакомился в 1929 году, во время обучения в Промышленной академии, и часто встречался с ним по делам академии. Она находилась в ведении ЦК партии, а в ЦК кадрами занимался как раз Ежов. Академия — кузница кадров, как тогда говорили, поэтому меня часто вызывали в ЦК к Ежову, и я всегда находил у него понимание. Он был простой человек, питерский рабочий, а тогда это имело большое значение, — рабочий, да еще питерский. Но под конец своей деятельности, в конце своей жизни, это был уже совершенно другой Ежов. Я думаю, так повлияло на него то, что он знал, *что* происходит. Он понимал, что Сталин им пользуется как дубинкой для уничтожения кадров, прежде всего старых большевистских кадров, и заливал свою совесть водкой.

Позднее мне рассказывали следующее. На последнем этапе его жизни и деятельности у него заболела жена. Она легла в Кремлевскую больницу, но уже было решено, что, как только она выздоровеет, ее аресту-

ют. Сталин широко применял такой способ ареста. Через жен ответственных работников он старался раскрыть «заговоры», раскрыть «предательство» их мужей — ответственных работников. Жены ведь должны знать их секреты и сумеют помочь государству разоблачить врагов народа. Так были арестованы жены Михаила Ивановича Калинина, Кулика, Буденного, позже и жена Молотова Жемчужина. Я даже не знаю, сколько их было таких; наверное, огромное количество невинных женщин, которые пострадали за невиновность своих мужей. Все они были расстреляны или сосланы.

Жена Ежова стала выздоравливать и вскоре должна была выписаться, но вдруг умерла. Потом говорили, что она отравилась. Видимо, так это и было. Сталин и Берия говорили, что перед тем, как она отравилась, в больницу заходил Ежов, принес ей букет цветов. Это был условный знак — сигнал, что она будет арестована. Вероятно, Ежов догадывался и хотел устранить следы возможного разоблачения его деятельности. До чего дошло! Нарком — враг народа! Мы считали: раз она отравилась, то спрятала концы в воду и отрезала возможность разоблачить своего мужа. Впрочем, независимо от того, отравилась она или нет, Сталин уже давно решил, еще когда выдвигал Берия заместителем Ежова, что Ежов — конченный человек. Ежов ему стал не нужен. Продолжение деятельности Ежова было не на пользу Сталину, и он хотел с ним расчитаться.

Ежова арестовали. Я случайно в то время находился в Москве. Сталин пригласил меня на ужин в Кремль, на свою квартиру. Я пошел. Помоему, там был Молотов и еще кто-то. Как только мы вошли и сели за стол, Сталин сказал, что решено арестовать Ежова, этого опасного человека, и это должны сделать как раз сейчас. Он явно нервничал, что случалось со Сталиным редко, но тут он проявлял несдержанность, как бы выдавал себя. Прошло какое-то время, позвонил телефон, Сталин подошел к телефону, поговорил и сказал, что звонил Берия: все в порядке. Ежова арестовали, сейчас начнут допрос. Тогда же я узнал, что арестовали не только Ежова, но и его заместителей. Одним из них был Фриновский. Фриновского я знал мало. Говорят, что это был человек, известный по гражданской войне, из военных, здоровенный такой силач со шрамом на лице, физически могучий. Рассказывали так: «Когда навалились на Фриновского, то Кобулов, огромный толстый человек, схватил его сзади и повалил, после чего его и связали». Об этом рассказывали, как о каком-то подвиге Кобулова. И все это тогда принималось нами как должное.

Считалось, что у нас есть внутренние враги, а начало их разоблаче-

нию было положено при аресте видных военных в 1937 году. Они сознались. Говорили, что командующий войсками Московского военного округа, когда его вывели на расстрел и спросили, кому же он служил, заявил, что служил немецкой армии и германскому государству, демонстративно сделал такое заявление перед смертью. Правда, казненный по тому же делу Якир в последние секунды жизни выкрикнул: «Да здравствует Сталин!» — после чего был расстрелян. Когда об этом передали Сталину, он его обругал: «Вот какой подлец, какой иуда. Умирая, все-таки отводит в сторону наше следствие, демонстрируя, что предан Сталину, предан нашему государству».

Началась деятельность Берии. Мясорубка работала так же, хотя отводящих от сути разговоров стало больше, именно со стороны Берии. При нас он Сталину ничего не говорил об осуждении репрессий, а по закоулкам часто рассуждал об этом. Он плохо говорил по-русски. Обычно так: «Очень, слышай, очень много уничтожили кадров, что это будет, что это будет? Люди же боятся работать». Это он говорил правильно. Сталин совершенно изолировал себя от народа и ни с кем не общался, кроме своего окружения. А Берия знал настроения людей, агентура у него была очень большая, такая, что даже трудно сказать, сколько было агентов. Наконец и Сталин сказал, что были допущены перегибы.

Однажды, не помню по какой причине, Сталин заговорил со мной на эту тему. Видимо, потому, что и на меня имелись показания. Когда я приехал на Украину, там не было наркома торговли. Я с большим уважением относился к Лукашову. Лукашов работал начальником управления торговли в Москве. Когда Бадаев заправлял кооперацией, Лукашов руководил отделом овощей. Очень деятельный и хорошо знающий свое дело человек. Торговля была тогда плохо поставлена, продуктов не хватало, требовалась большая изворотливость. Я спросил Сталина: «Товарищ Сталин, могу ли я пригласить из Москвы на пост наркома торговли СССР Лукашова?» Он лично его не знал, но слышал о нем от меня. «Хорошо, — говорит, — пригласите». Спросил же я потому, что когда переходил на Украину, то поставил перед собой задачу: никого из москвичей не брать, кроме тех, которых мне отобрал ЦК партии.

Поработал у нас Лукашов недолго и был арестован. Меня это очень смутило, потому что я просил его кандидатуру у Сталина. Раньше познакомился с ним в Москве и очень уважал его. И вдруг — Лукашов враг народа! Это для меня был моральный удар. Как же так? Я видел этого человека, доверял ему, уважал... Ну, что делать? Не помню, сколько времени Лукашов сидел, а потом мне вдруг сообщили, что Лукашова освободили. Приехал он в Киев, я его принял, поговорил с ним. «Да, — рассказывает, — освободили, не

виновен я, честный человек. Прошу верить мне так же, как верили и до моего ареста. Хочу рассказать вам, что когда меня арестовали, то били нещадно и пытали. Ставили скамейки, на которых, расставив ноги, я должен был стоять, до предела раздвинув их. При малейшем шевелении меня избивали так, что я терял сознание и падал. И бессонницей томили, и другие методы пыток применяли. А знаете, чего от меня требовали? Чтобы я показал на вас, будто вы заговорщик, а я по вашему заданию ездил за границу для установления связи».

Действительно, был такой случай, когда я работал еще в Москве. У нас не хватало лука и других овощных культур, в стране не было семян, особенно лука. Не помню, кто тогда сказал, что эти семена можно купить в Польше и в других странах Запада, но нужна валюта. Я попросил Сталина дать валюту и разрешить послать Лукашова. Лукашов закупил семена, привез, и мы их послали в те республики и тем хозяйствам, которые выращивали овощи для Москвы по договорам. Тут сработал такой же метод, как арест жен: арестовывали близких к ответственным людям сотрудников, вот и решили арестовать Лукашова, чтобы он сказал что-то обо мне. Лукашов оказался крепким человеком, отчего тогда и остался живым. Конечно, ему просто повезло. Он и сейчас жив, но уже инвалид, на пенсии. Инвалидом же его сделали в тюрьме.

Двух моих помощников в Москве тоже арестовали. Это я рассматривал как проверку меня лично. Один из них — Рабинович, молодой, хороший, скромный человек. Другой — Финкель, тоже очень хороший человек, исключительной честности и скромности. Он занимался главным образом вопросами строительства, а сам по образованию был экономистом. Мне его порекомендовал Васильковский, редактор газеты «За индустриализацию». Это была газета Серго Орджоникидзе, наркома тяжелой промышленности. Сталин потом меня спрашивал: «Что, арестовали ваших помощников?» Отвечаю: «Да, хорошие были, честные ребята». — «Да? А вот они дают показания, сознались, что они враги народа. Они и на вас показывают, что фамилию вы носите не свою. Вы вовсе не Хрушев, а такой-то. Это все чекисты стали делать, туда тоже затесались враги народа и подбрасывают нам материал, вроде бы кто-то дал им показания. И на меня есть показания, что тоже имею какое-то темное пятно в своей революционной биографии». Поясню, о чем шла речь. Тогда хоть и глухо, но бродили все же слухи, что Сталин сотрудничал в старое время с царской охранкой и что его побеги из тюрем (а он предпринял несколько побегов) были подстроены сверху, потому что невозможно было сделать столько удачных побегов. Сталин не уточнял, на что намекали, когда разговаривал со мной, но я полагаю, что эти слухи до него как-то доходили. Он мне о них не сказал, а просто заявил, что чекисты сами подбрасывают фальшивые материалы.

В Центре считали так: пришел Берия и расчистит обстановку. Дей-

ствительно, пошли новые аресты чекистов. Многих я знал как честных, хороших и уважаемых людей. Был арестован Реденс, близкий к Сталину человек, поскольку оба были женаты на родных сестрах. Муж старшей, Анны, — Реденс, а младшая, Надежда, — жена Сталина. Реденс часто бывал у Сталина, и я не раз видел его за общим семейным столом Сталина, к которому тоже приглашался не раз. И вдруг он смещен с поста уполномоченного НКВД по Московской области и послан в Среднюю Азию, в Ташкент. Потом его арестовали и казнили. Арестовали и других. Яков Агранов — замечательный человек, твердый чекист. Раньше он работал в Секретариате у Ленина. Честный, спокойный, умный человек. Мне он очень нравился. Потом он был освобожденный по следствию, занимался делом Промпартии. Это действительно был следователь! Он и голоса не повышал при разговорах, а не то чтобы применять пытки. Арестовали и его и тоже казнили.

Берия завершил начатую еще Ежовым чистку (в смысле изничтожения) чекистских кадров еврейской национальности. Хорошие были работники. Сталин начал, видимо, терять доверие к НКВД и решил брать туда на работу людей прямо с производства, от станка. Это были люди неопытные, иной раз политически совершенно неразвитые. Им достаточно было какое-то указание сделать и сказать: «Главное, арестовывать и требовать признания», и все: они сразу же делали. Как мне сообщили о допросе Чубаря, следователь объяснял: «Мне сказали — бить его, пока не сознается, что он «враг народа», вот я его и бил, он и сознался». В НКВД пошли уже такие кадры. Потом стали брать туда на работу людей с партийных должностей. Машина была уже запущена, и среди партийных работников не имелось фактически человека, на которого не было бы показаний.

Помню, например, такой случай. Звонит мне Вышинский: «Товарищ Хрущев, нам нужны кадры, и я хочу выдвинуть своим заместителем Руденко, прокурора Луганской области». Руденко был на Украине на хорошем счету, и я слышал о нем. Поэтому я попросил не забирать его в Москву. Мы сами имели виды на его выдвижение на Украине. А потом сообщают: «Вам, наверное, известно, что на Руденко есть довольно большой материал? На него показывали те враги народа, которые были арестованы и казнены. Вы знаете об этом?» Отвечает: «Знаю, но думаю, что это клевета». — «Я тоже думаю, что это клевета. Но выдвижение в Москву? Смотрите сами, как это будет расценено?» Наверное, Вышинский струсил, и Руденко остался на Украине. Мы его выдвинули в прокуроры УССР с той оговоркой, что на него имеются показания и надо, мол, следить за ним. Потом он стал Генеральным прокурором Советско-

го Союза и доныне работает в этой должности. Вот как были замараны и оклеветаны многие честные люди. Я бы сказал тут, что люди, которые клеветали, тоже были в свое время честными, но их искалечили и физически и морально, заставив служить такому грязному делу и клеветать на собственных друзей.

Одним словом, работа по истреблению кадров продолжалась. И продолжалась она почти до самой смерти Сталина, только в разное время в разных масштабах. Украинское руководство, как партийное, так и советское, было уничтожено полностью: работники ЦК КП(б)У, секретари, заведующие отделами. Председатель Совнаркома УССР Любченко застрелился. Когда Косиора отозвали в Москву, то вдруг через какое-то время радиостанция, которая раньше носила имя Косиора, перестала называться прежним именем и стала именоваться просто Киевской станцией. Это был сигнал, что Косиора уже нет. Я и сам узнал только по этому сигналу, что Косиор арестован. А ведь он был заместителем Председателя Совета Народных Комиссаров, то есть заместителем Молотова. Постышев был отозван с Украины и послан в Куйбышев. Там его арестовали и потом тоже уничтожили. Хатаевич, секретарь Днепропетровского обкома партии, работник высокого уровня, тоже был арестован. А ведь Сталин к нему относился с уважением. Помню, на одном из партийных Пленумов он его назвал Чингисханом за тот способ, каким Хатаевич, работая в Куйбышеве, запаса сахаром. В Куйбышеве не было сахара. Шел эшелон с сахаром в Сибирь и на Дальний Восток. Хатаевич велел отцепить для Куйбышева нужное количество вагонов и таким образом решил вопрос. Это было действительно нарушением государственной дисциплины. Сталин выступил: «У нас есть такие чингисханы, которые не считаются с общими интересами государства, а делают то, что в интересах его провинции, вот Хатаевич такой». В Днепропетровске Хатаевич пользовался огромным авторитетом. Это был хороший трибун и хороший организатор. Затем — Прамнэк, из Донбасса, крупный работник. До него, по-моему, в Донбассе был Саркисян, тоже крупный работник, очень деятельный человек, много сделавший хорошего для Донбасса. Чернявский, секретарь Одесского, а потом Винницкого обкома партии, тоже был уничтожен. Любченко до того, как кончить жизнь самоубийством, написал записку Чернявскому с просьбой, если что случится, не забыть его сына. У него был сын 15 лет. Когда арестовали Чернявского, то нашли записку и схватили этого мальчишку. Вот до чего доходило дело.

В Москве и Московской области уничтожили всех секретарей райкомов партии. Я сейчас перечислить не смогу их конкретно, но практически

ки всех уничтожили. Я был особенно потрясен, когда арестовали Коган. Коган в партии с 1907 года, человек исключительной честности и благородства. Она занималась вопросами культуры. В дореволюционном подполье, в Киеве, Каганович брал уроки по политэкономии у Косиора и у Коган. Какое-то время Коган была женой Куйбышева. Сообщили, что она призналась во вредительстве. Но когда после смерти Сталина подняли ее дело, то узнали, что она ни в чем не созналась, а бросала контрбвине-ния и называла фашистами тех, кто ее арестовал. Она была тоже казнена. Сойфер, секретарь Ленинского райкома партии г. Москвы, старый уже человек, член партии или с 1905, или с 1903 года. Когда арестовали секретаря Тульского обкома партии Сидельникова, у нас взяли Сойфера работать в Тулу. Послали мы туда Сойфера. И вдруг узнаю, что и Сойфер арестован. А ведь Сойфер — это в буквальном смысле слова партийная совесть, кристальной честности человек. И вдруг — враг народа? Арестовали Николая Алексеевича Филатова, председателя Московского об-лисполкома, потом он был уполномоченным Контрольной комиссии по Рос-тову. И он был арестован и тоже уничтожен.

Кульков — старый московский деятель с подпольным стажем, выдвину-тый секретарем горкома партии. Тоже арестован. Я сейчас уже и не смогу припомнить всех. Так поступали со многими москвичами. Сперва их выдвигали вместо арестованных «врагов народа» как опору, на укреп-ление партийных организаций, а потом, когда они туда приходили, вдруг мы узнавали, что и они арестованы. Так погиб Симочкин. Его выдвинули из Москвы в Иваново-Вознесенскую область, а там арестовали. А Мар-голин, ближайший друг Кагановича? Я его знал по Киеву, потом мы с ним учились в Промышленной академии. Он был выдвинут вторым сек-ретарем Московского комитета партии в то время, когда я был первым секретарем. Затем его взяли в Днепрпетровск на укрепление местной парторганизации после ареста Хатаевича и там уничтожили. Набралась бы огромная книга, если лишь перечислить всех партийных работников, казненных в те годы.

Я почти не касаюсь здесь военных работников, потому что их я знал хуже. Из них я хорошо знал только Якира и командующего войсками Московского военного округа Белова. Военные тогда от нас, партий-ных работников, стояли далековато, мы с ними, даже с командующими войсками МВО, общались редко. Лишь когда возникали какие-то воп-росы у военных, они обращались ко мне. У меня же к ним никогда воп-росов не возникало. Правда, я знал Векличева, тоже военного. Он был ближайшим другом Якира, а когда появлялся в Москве, то заходил ко мне, так как мы с ним были знакомы по Киеву. Он работал в Политуправ-

лении Киевского военного округа в месяцы, когда я работал заворотделом Киевского окружного комитета партии. Векличев был из донбасских шахтеров, прошел гражданскую войну и носил на петлице ромбы. По моему, у него было три ромба. Тоже был арестован и уничтожен.

Потом появился документ, по моему письмо ЦК ВКП(б) парторганизациям СССР. В том письме описывалась борьба с врагами народа, излагались факты извращения этой борьбы; говорилось, что враги народа залезли в чекистские органы и много уничтожили преданных кадров. Теперь все запуталось, и трудно было разобраться, что к чему. Главное же заключалось для меня в том, что именно Сталин все это запутал. В некоторых случаях, например в деле высших военных кадров, он действительно «верил», что эти военные — враги народа, завербованные гитлеровской Германией, которые готовились Гитлером к предательству, когда гитлеровская армия нападет на Советский Союз. Превозносилось и ставилось в заслугу Сталину, что он сумел разоблачить это. Потом уж узнали, что это очень просто было придумано. Такой метод известен в истории: подбрасывают документы своим врагам, указывая среди них на лиц, которые якобы связаны с чужой разведкой, чтобы руками врагов расправиться с наиболее талантливым руководством армии или других служб. Подобным провокационным методом вообще широко пользуются разведки. Наша разведка тоже пользовалась этим методом против врагов. Такой метод весьма действен. Как раз вот таким образом разведка Гитлера подбросила документы Сталину (по моему, через Бенеша, президента Чехословацкой Республики). Этого оказалось достаточно, и невинные люди были казнены.

И вот состоялся Пленум ЦК партии. На нем обсуждались провокационные методы работы НКВД и была принята соответствующая резолюция: прекратить! Закончился Пленум, на местах резолюцию изучили, а методы остались те же и условия те же: пресловутые «тройки». Без суда и следствия людей арестовывали, допрашивали и судили одни и те же лица. Прокурор был низведен до уровня самого последнего ничтожества. Он не имел никакого влияния и не мог следить за законностью судопроизводства, ареста и прочего. Обстановка осталась такой, которая позволяла продолжить Берии то, что до него делал Ежов.

Сам Берия после этого Пленума часто говорил, что с его приходом необоснованные репрессии были приостановлены: «Я один на один разговаривал с товарищем Сталиным и сказал: где же можно будет остановиться? Столько-то партийных, военных и хозяйственных работников уничтожено». Но и после этого Берия продолжал прежнее, только не в таких масштабах, как раньше. Да и не имелось уже никакой нужды, по-

тому что к тому времени Сталин насытился своим произволом и сам, видимо, несколько испугался последствий. Он теперь хотел сдерживать репрессии и предпринимал к тому некоторые меры. Но и он не мог остановиться, потому что боялся врагов, им же самим выдуманных. Вот я говорю — выдуманных, но могут найтись умники и сказать: «Что же, врагов не было?» Нет, враги были. С ними мы воевали, врагов уничтожали. Но это надо делать дозволенными, государственными методами, методами суда и честного следствия, а не просто ворваться в дом, схватить за шиворот человека и тянуть его в тюрьму, а там бить, выбить из него показания и, основываясь на таких показаниях, не подтвержденных ничем другим, судить его. Вот это и есть произвол. Я решительно против этого.

Помню первые дни революции. Правда, жил я в таком месте, где у нас не было особых проявлений контрреволюции, если не считать выступлений донского казачества атамана Каледина. Там очень просто было разбираться, где враг, а где друг. Вредительство же, может быть, и существовало, но не было заметно. Да и без него все равно в промышленности был полный развал. Потом — гражданская война. Она тоже разграничила людей и упростила борьбу. Кто с кем, где белые, а где красные, сразу видно. Сама жизнь провела классовое разграничение. Имелись враги и в тылу, и с ними боролись. То была борьба, необходимая для защиты революционных завоеваний, защиты революционного пролетарского государства.

И вдруг в период, когда и с Промпартией покончили, и коллективизацию провели, и когда исчезла даже оппозиция внутри партии и наметилось полное и монолитное единство партийных рядов и трудового народа в СССР, вот тогда-то и началась буквально резня. Это уже не классовый подход. Во имя класса, во имя победы и закрепления победы пролетариата рубили головы, и кому? Тем же рабочим, крестьянам и трудовой интеллигенции.

С приходом Берии на пост наркома внутренних дел и устранением Ежова первый свалил массовые аресты и казни на голову Ежова. Но что раньше было сделано в Грузии? Когда я приехал в Грузию после смерти Сталина, то тех работников Грузинской ССР, с которыми я познакомился в 1934 году в Тбилиси, никого, по-моему, уже не было в живых. После ареста Берии в 1953 году какой-то грузин прислал из ссылки письмо в ЦК партии на мое имя. Он описывал, что сделал Берия по уничтожению кадров в Грузинской ССР и как он через трупы своих друзей пробивался к власти. Берия — это опасный враг, который втерся в абсолютное доверие к Сталину. Не знаю, чем он очаровал Сталина. Может быть, сходством натур?

Мне трудно объяснить все действия Сталина, его побуждения. Порой он высказывал трезвые суждения об арестах и несколько раз осуждал их

в разговорах со мной с глазу на глаз. Но ничего не менял. И чего он добился этими арестами? Уничтожил преданные ему лично кадры, а на их место пришли проходимцы, карьеристы типа Берии. Разве они надежнее? Чего он добился уничтожением Серго Орджоникидзе, который был его ближайшим другом? Несмотря на это, он уничтожил кадры Наркомата тяжелой промышленности, который возглавлялся Орджоникидзе, те кадры, которым Серго верил. Казнил родного брата Серго, затем стал подозревать самого Серго и довел его до самоубийства.

Наиболее, на мой взгляд, близкий человек к Сталину был тихий и спокойный грузинский интеллигент Алеша Сванидзе, брат первой жены Сталина, которая давным-давно умерла. Я ее, конечно, не знал. Алеша часто бывал у Сталина, я его не раз там видел. Было заметно, что Сталину очень приятно вести беседы с Алешей. Чаще всего они говорили о Грузии, ее истории, ее культуре. Не помню, какое образование имел Сванидзе, но человек он был культурный, начитанный, был другом детей Сталина. Дядя Алеша, как его звали, часто ночевал у Сталина. И вдруг Алеша становится врагом народа, значит, и врагом Сталина. Ведь Сталин и народ — нераздельны. Когда я узнал об аресте Сванидзе, то просто ахнул. Как же так? Человек не вызывал никакого сомнения, и он мог тоже оказаться врагом народа? Но Сванидзе все же стал им в глазах Сталина и был арестован. Следствие кончилось тем, что его осудили на расстрел. Сталин все-таки колебался. Ему было трудно признать, что Алеша Сванидзе дружил с ним столько лет и вдруг — враг Сталина, враг партии, враг народа? Сталин потом часто возвращался к этой теме: как же так, Алеша и вдруг — шпион? (Его представили, кажется, английским шпионом.) Как заблагорассудится Берии, такая и создавалась версия. У Сталина появились обоснованные сомнения. Он спрашивал Берию: «В представленных мне материалах пишут, да и Алеша сам признался, что был шпионом и должен был меня отравить. Так он же мог сделать это совершенно спокойно. Много раз ему было это доступно, он у меня не раз ночевал. Так почему же он не сделал этого? Может быть, он все же не шпион?» Берия давал такое объяснение: «Товарищ Сталин, шпионы бывают разные, с разными заданиями. Бывают такие шпионы, которые много лет не проявляют себя, втираются в доверие и живут около людей, которых нужно будет уничтожить в определенное время. Алеша Сванидзе — как раз такой агент, который должен не проявлять себя, а, наоборот, держаться тихо. Когда он получит сигнал, тогда и осуществит задуманное».

Конечно, в принципе такие агенты имеются, потому что тактика разведки многообразна. Разведка пользуется всеми доступными методами, чтобы навредить своему противнику. Но к Сванидзе этот шаблон явно не

подходил. Сталин в конце концов согласился на казнь Алеши. И все-таки у него, видимо, оставались какие-то сомнения. Он говорил Берии: «Вы скажите от моего имени, что если он покается и все расскажет, то ему будет сохранена жизнь». Через какое-то время Берия докладывает, что Сванидзе расстрелян; ему перед расстрелом передали то, что сказал Сталин, он выслушал и ответил: «А мне не в чем каяться. В чем же я могу покаяться, если я честный человек, ничего не сделал против партии, против народа, против Сталина? Я просто не вижу, в чем я должен каяться». Его расстреляли. Сталин потом говорил: «Вот какой Алеша, смотри! Такой интеллигентный, мягкотелый, а какую твердость проявил. Даже не захотел воспользоваться возможностью остаться в живых с условием покаяния. Не покался. Вот какой человек».

В чем Сталин был искренен, не знаю. Сванидзе же был умным человеком и ясно понимал, что если он покается, то его все равно ждет смерть, но несколько позже, и он просто не захотел пятнать свое доброе имя коммуниста.

Очень близким человеком к Сталину, к которому он питал большое уважение, был партийный вождь абхазского народа Лакоба. Ему Сталин полностью доверял. Лакобу, когда он приезжал в Москву, всегда видели у Сталина, или на квартире, или на даче. Когда Сталин уезжал в Сочи, то Лакоба, собственно, жил не в Сухуми, а в Гаграх или в Сочи, около Сталина. Лакоба был хороший бильярдист. Он приезжал со своим кием, располагался у Сталина, как у себя дома, и со всеми играл без проигрыша. Это был человек болезненный, глухой. Я не столь близко стоял к Лакобе, но мы с ним тоже поддерживали хорошие отношения. Я даже помню, что, когда раз отдыхал не то в Гаграх, не то в Сочи, он пригласил меня, и я ездил к нему на дачу, а он в свою очередь приезжал ко мне с женой и сыном. Потом он умер. Умер, ну и умер. Все люди могут умереть, без исключения. Но вот что интересно: потом я узнал, что когда Лакоба умер и о том доложили Сталину, то он хоть и пожалел, но не особенно. Его никакая смерть не огорчала, даже самых близких людей.

Спустя какое-то время вдруг Берия создает дело уже на мертвого Лакобу: якобы тот был заговорщиком. Я сейчас не помню, какие конкретно факты приводились в доказательство того, что он заговорщик, что хотя он и умер, но жалеть его нечего. И что же сделал Берия? Он приказал выкопать труп Лакобы, сжечь его и по ветру развеять пепел: врагу народа нет места даже в земле Абхазии! Когда я получше узнал Берию после войны, то подумал, что Берия выкопал труп Лакобы, не только руководствуясь личной ненавистью к нему. Он прятал концы в воду, видимо опа-

саясь, что у Сталина может возникнуть идея приказать выкопать труп и сделать анализ, чтобы узнать, отчего же все-таки умер Лакоба? Может быть, он отравлен? Думаю, что Берия боялся этого, хотя и Берия, и Ежов очень хорошо с такими делами справлялись. У них имелись врачи, которые по их заданию подменяли человеческие органы и подставляли либо отравленные, либо же, если нужно — неотравленные, чтобы доказать желаемое: относительно того, кого они действительно отравили, представить дело так, что тот умер естественной смертью. Тут у них и возможности, и опыт были богатейшие. И вот еще какую низость и преступление совершил Берия: мальчик, сынок Лакобы, тоже был расстрелян по повелению Берии. Что побуждало Берию убрать Лакобу? Лакоба стал очень близким к Сталину, ближе, чем Берия, и мог информировать о делах в Грузии помимо Берии, мог рассказать о деятельности Берии в Грузии. А этого Берия не хотел допустить. Он хотел, чтобы единственным каналом информации о положении в Грузии был он сам. Так Лакоба пал жертвой. Это мое личное умозаключение. Я могу только строить предположение на основе интуиции, каких-нибудь вещественных доказательств не имею.

Или история с Жемчужиной. Жемчужина — жена Молотова, но известна она была не как жена Молотова, а как видный сам по себе человек. Она и сейчас жива, но находится на пенсии*. Когда она была молода и трудоспособна, то работала как активный член партии, руководила парфюмерной промышленностью (ТЭЖЭ, кажется, назывался этот трест). Потом она стала наркомом рыбной промышленности. Волевая женщина. Я с ней много раз сталкивался, когда работал секретарем Московских городского и областного партийных комитетов. Она на меня производила впечатление хорошего работника и хорошего товарища. И что было приятно — никогда не давала чувствовать, что она не просто член партии, а еще и жена Молотова. Она завоевала видное положение в Московской парторганизации собственной деятельностью, партийной и государственной. Сталин относился к ней с большим уважением. Я сталкивался с этим, когда мы встречались. Несколько раз Сталин, Молотов, Жемчужина и я были вместе в Большом театре, в правительственной ложе. Для Жемчужиной делалось исключение: жены других членов Политбюро редко бывали в правительственной ложе, рядом со Сталиным. Правда, иногда оказывалась там жена Ворошилова Екатерина Давыдовна, но реже Жемчужиной. На грудь Жемчужиной сыпались ордена, но все по справедливости и не вызывали каких-либо разговоров.

*В ту пору, когда это записывалось.

Вдруг, я и сейчас не могу ничем объяснить это, на Жемчужину был направлен гнев Сталина. Не помню, в чем ее обвинили. Помню только, как на Пленуме ЦК партии (я тогда уже работал на Украине) был поставлен вопрос о Жемчужиной. С конкретными обвинениями в ее адрес выступил Шкирятов — председатель Комиссии партийного контроля при ЦК ВКП(б). Шкирятов — старый большевик, но Сталин обратил его в свою дубинку. Он слепо, именно слепо, делал все так, как говорил Сталин, и как тот следователь, который вел следствие по делу Чубаря, вытягивал своими иезуитскими методами признания в несуществующих преступлениях. Иногда Сталин нуждался в том, чтобы Комиссия партийного контроля разобрала дело и уж потом исключила из партии обвиняемого, подтвердив, так сказать, подозрения. После этого его сейчас же хватили в приемной Шкирятова и волокли куда следует. А там была уже предрешена расправа. И сколько таких было! Погибли тысячи людей!

Жемчужина выступила на Пленуме в свою защиту. Я восхищался ею внутренне, хотя и верил тогда, что Сталин прав, и был на стороне Сталина. Но она мужественно защищала свое партийное достоинство и показала очень сильный характер... Голосовали за вывод ее не то из состава Центральной ревизионной комиссии ВКП(б), не то из состава кандидатов в члены ЦК. И все, конечно, голосовали единогласно за предложение, которое было сделано докладчиком. Воздержался один Молотов. Позднее я часто слышал упреки Молотову и прямо в лицо, и за глаза: осуждали его как члена Политбюро и члена ЦК, который не поднялся выше семейных отношений, до высоты настоящего члена партии, не смог осудить ошибки близкого ему человека.

Этим дело не кончилось. Посыпались всяческие «материалы». Сталин применял низменные приемы, стремясь ущемить мужское самолюбие Молотова. Чекисты сочинили связь Жемчужиной с каким-то директором, близким Молотову человеком. Тот бывал на квартире Молотова. Вытащили на свет постельные отношения, и Сталин разослал этот материал членам Политбюро. Он хотел опозорить Жемчужину и уколоть, задеть мужское самолюбие Молотова. Молотов же проявил твердость, не поддался на провокацию и сказал: «Я просто не верю этому, это клевета». Насчет «сочинений», писавшихся органами НКВД, он лучше всех, видимо, был информирован, поэтому вполне был уверен, что тут документы сфабрикованы. Говорю здесь об этом для того, чтобы показать, что даже такие приемы были использованы. Одним словом, все средства были хороши для достижения цели, в данном случае — для устранения Жемчужиной. Уже после войны ее репрессировали, о чем я расскажу

позже. Но это уже другой вопрос, и о нем я несколько лучше информирован.

Чтобы яснее был обрисован портрет Сталина, хотел бы еще рассказать о Николае Алексеевиче Филатове, московском пролетарии, портном, члене партии с 1912 или с 1914 года. Мы познакомились с ним, когда я работал в Москве секретарем Бауманского райкома ВКП(б), а он был секретарем, по-моему, Ленинского райкома. Когда я стал секретарем городского партийного комитета, Филатов был выдвинут на пост секретаря Московского областного парткома. Я хорошо знал его. Это был высокий, красивый мужчина, носивший маленькую французскую бородку. Мы сталкивались не только по работе, но и жили на даче, в одном доме в Огарево: я — на верхнем этаже, Кульков (секретарь городского партийного комитета) — там же на лестничной площадке, Булганин — внизу, а напротив Булганина — Филатов. Мы встречались и за завтраком, и за обедом и вместе отдыхали.

Сталин хорошо относился к Филатову. Филатов имел слабость, как мы тогда считали, всегда ходить с фотоаппаратом. Во время демонстраций на Красной площади он обязательно появлялся с фотоаппаратом и фотографировал демонстрацию, членов Политбюро, членов правительства и, конечно, Сталина. Сталин, бывало, шутил: «Вон Филатов пришел, сейчас начнет фотографировать». Филатов улыбался и сейчас же действительно начинал фотографировать. Все к этому привыкли. Потом его послали в Ростов уполномоченным Комиссии партийного контроля по Северо-Кавказскому краю. Это был очень большой пост по тем временам, но вдруг Филатов был арестован и канул в вечность... Итак, это все люди, которых Сталин знал лично и относился к ним, казалось бы, хорошо, доверял им — и вдруг они уничтожены! Какие к тому имелись причины? Разве Филатов стал врагом народа? По каким побуждениям? Этот московский пролетарий прошел до революции школу подпольной борьбы, потом прошел школу гражданской войны, школу строительства нового, социалистического государства, из самых низов был выдвинут партией на довольно высокий пост. Можно ли говорить о каких-то его личных слабостях, о тщеславии? Навряд ли. Какие же побуждения к измене могли возникнуть у него? Не было таких побуждений. Так отчего же погиб Филатов, как сотни и тысячи других людей? Причина одна и та же. Свое мнение об этом сообщу ниже.

Хочу еще записать, как создавались такие дела. Наверное, тогда шел 1939 или конец 1938 года. Поехал я в Донбасс. Меня тянуло в родные края, где я провел детство и юность. Захотелось встретиться со своими друзьями, с теми, с кем я работал на заводе Боссе, на рудниках: Успен-

ком, Подшелковке, Горшковском, Пастуховке, 11-й шахте, 31-й шахте, Вознесенке. Там прошло мое детство. Шестилетним привез меня отец в Донбасс из деревни. И детство, и юность свои провел я в Донбассе. Спустился я в шахту, вспомнил бывшее, прошелся по выработкам, побывал в забое, поговорил с забойщиками, послушал их беседы, потом вышел из шахты, и чекисты со мной, конечно. Один из них (забыл его фамилию), работавший в Сталинской области, производил впечатление интересного, умного, интеллигентного человека, по происхождению, видимо, из служащих. Он и докладывал мне по всем вопросам.

Со мной был там и Щербаков, одно время выдвинутый в Донбасс, а потом его перевели в Москву, после ареста секретаря Московского областного и городского партийного комитета Угарова, который пришел в Москву вместо меня, когда меня выдвинули на Украину. Раньше Угаров, сам он ленинградец, был секретарем городского комитета партии в Ленинграде, где работал еще с Кировым, а потом со Ждановым. На меня Угаров производил очень хорошее впечатление. Когда я работал в Москве, мы с ним и перезванивались, и соревновались. Соревнование было чисто дружеское. Он просто нравился мне, этот Угаров. Все было хорошо, избрали Угарова в столицу, вдруг звонит мне Сталин: срочно приезжайте, у нас неблагополучно с Москвой. Приехал. Он сказал мне, что Угаров оказался врагом народа, хозяйство в Москве запущено, Москва остается (а уже шла осень) без картофеля, без овощей. Когда я был руководителем Москвы, то этот вопрос мы решили успешно и Москву достаточно обеспечили и картофелем, и капустой, и другими овощами. Правда, не в широком ассортименте, но по тогдашнему уровню нашей жизни элементарными продуктами, то есть тем, к чему привыкли трудящиеся, мы обеспечивали.

Председателем Моссовета был тогда, по-моему, Сидоров. При мне, когда я являлся руководителем Московской организации, он работал директором одного Московского молочно-животноводческого треста. Сидоров был неплохим человеком, но это — попутное замечание, нужное мне просто для ассоциативной памяти. Сталин сказал мне: «Бросайте все на Украине, ничего там не случится, у нас Москва в отчаянном положении. Вы будете назначены уполномоченным ЦК партии по Москве и не уедете до тех пор, пока не создадите нужные запасы картофеля и овощей на зиму для столицы». Станный, пожалуй, был разговор. Но странности я адресую уже к Молотову, который спросил меня: «Когда вы уехали из Москвы, то поддерживали с ней связи?» Отвечаю: «Нет, никаких». — «А почему?» — «У нас такой порядок: если ушел из данной парторганизации, то всякие связи с ней прекращаются, чтобы не

мешать новому руководству. Связь должна поддерживаться не с отдельными лицами, а с ЦК». — «Угаров оказался врагом народа. Если бы вы были связаны с Москвой, то, может быть, мы скорее узнали бы и разоблачили его». — «Мне, — отвечаю, — из Киева труднее разоблачать московских, вам ближе. Если уж говорить о том, кто должен отвечать персонально из членов Политбюро, то официально записано, что за Москву отвечает Жданов. Он секретарь Ленинградского обкома, он секретарь ЦК. К тому же он является секретарем горкома партии Ленинграда, так что за Москвой было кому наблюдать. Считаю, что претензии ко мне неосновательны». Вот тоже интересный подход, понадобилось найти виновника, который допустил, что Угаров стал врагом народа, хотя он никаким врагом народа не был, да и не мог быть.

После звонка Сталина пошел я на свое прежнее место в Московском обкоме партии и начал делать все, чтобы обеспечить выполнение задания. Опыт у меня был большой: я уже познал Украину, а Украина являлась крупным поставщиком овощей. Кроме того, я знал московские кадры. Быстро нажал на нужные рычаги и сделал все, что можно было сделать в то время года. Мы обеспечили поставки овощей, в Москве я просидел тогда примерно полмесяца. Провели мы и Пленум обкома партии. Сталин сказал: «Вы проведете Пленум и освободите Угарова от его должности» (тот не был еще арестован). Задал я вопрос: «Кого же избрать?» Сталин долго думал, ходил, рассуждал вслух, прикидывая: «Щербакова».

Раньше Щербаков секретарствовал в Сибири, в каком-то обкоме. Когда я прибыл на Украину, его послали в Донбасс, на усиление. «Придется, — говорит Сталин, — забрать у вас Щербакова». — «Если нужен, берите. Только на него тоже есть показания. Враги народа показали на него: показания такие, которые вроде бы заслуживают доверия. Как же с ним быть?» Сталин опять ходил, ходил, ходил, думал, а потом говорит: «Давайте так. Проведем все-таки Щербакова, но к Щербакову надо послать вторым секретарем московского человека, которого бы мы хорошо знали, и ему надо сказать, что имеются материалы о том, что Щербаков связан с врагами народа, и предупредить, чтобы он следил за ним. Если что покажется подозрительным, пусть скажет об этом в ЦК». А кого вторым? Спросили Маленкова. Тот ответил: «Попова».

Тогда Попов работал у Маленкова в отделе кадров, кажется его заместителем. Я познакомился с Поповым, поговорил с ним доверительно: вот, мол, идете вы в Московский обком. ЦК вам доверяет, но и вы, с другой

стороны, должны быть глазами ЦК, наблюдающими за Щербаковым. Щербаков работал в Москве и раньше: был первым секретарем Союза писателей СССР во времена Максима Горького. Что-то у него с Горьким тогда, насколько я помню, не вышло, Горький был против Щербакова, потому что тот вмешивался в конкретные дела писателей, и его послали секретарствовать в Ленинград, затем в Сибирь и Донецк. Пленум прошел хорошо. Избрали Щербакова. А в Донбассе, по-моему, выдвинули мы местного человека, который работал при Щербакове вторым секретарем обкома партии.

Возвращаюсь к Донбассу. Познакомился я с деятельностью шахт и заводов, с кадрами, поехал по старым своим местам, вспомнил былые времена, когда я был там рабочим и потом уже партийным работником. Решил съездить в Горловку. Мне сказали, что в Горловке неблагополучно с секретарем райкома партии. Сказал я тогда начальнику местного НКВД: поеду туда и сам посмотрю, побеседую с человеком. Приехал. Секретарь райкома мне незнаком. «Материалы» на него есть. Мне их уже показали, и начальник НКВД не сомневался, что и тут недобитый враг, остаток разгромленной заговорщической организации. Его арестовали, когда я приехал в Горловку (оперативность была очень большой). Через несколько часов появился протокол первого допроса, и тот человек уже сознался: показывает то-то и то-то; тот, кто его завербовал, вот он; и кто был с ним вместе, и пр. Тогда функционировали три секретаря райкома: первый, второй и третий. Первый показывает, что второй и третий тоже завербованы вместе с ним. «Ну как же это так?» — спрашиваю начальника НКВД. «Да вот, знаете, так-то и так-то»; таким христосиком прикидывается, но ставит вопрос об аресте и второго секретаря. Арестовали и его. Через какое-то время читают мне протокол допроса. Я обратил внимание на то, что формулировки признаний первого секретаря и второго в их преступлениях сходятся почти слово в слово, да и записал их один и тот же следователь. Говорю: «Как может быть столь дословное совпадение? Ведь следователь допрашивал их отдельно?» — «Знаете, ведь дело одно, да и следователь один, писал шаблонно». Это оказалось для меня каким-то штрихом, который посеял сомнения. Впрочем, тут уже вопрос оформления дела, составления протокола, а, по существу, я поверил, что человек сознался. Они оба показали на третьего секретаря — Гаевого. Посмотрел я его биографию: местный рабочий, все его тут знают. Говорю: «Давайте соберем райком». Созвали заседание райкома партии. В состав райкома входили люди довольно почтенного возраста. Я сказал: «Товарищи, первый и второй секретарь (начальник НКВД может доложить более подробно) оказались связанными с врагами народа». Первым был такой-то. Им-

то и была якобы создана враждебная нашему государству организация. Его к тому времени уже арестовали. И тогда эти члены райкома, старики, стали выступать так: «Товарищ Хрущев, тех мы не знаем, они люди приезжие, были присланы к нам, но Гаевой вырос в нашем поселке. Мы его знали еще тогда, когда он без штанов бегал; и родителей его знаем. Это наш человек, и мы за него ручаемся». Говорю: «Хорошо. Раз вы ручаетесь, то начальник НКВД, находящийся здесь, еще раз проверит, и Гаевого никто не тронет, но под ваше поручительство».

Гаевой остался на свободе. Спустя какое-то время он был выдвинут вторым секретарем Сталинского обкома партии, а потом, кажется, даже первым. Может быть, я сейчас недостаточно последовательно все излагаю, и случай с Гаевым произошел еще до Щербакова, потому что, по моему, именно Щербаков выдвигал Гаевого в секретари обкома. Но дело не в нем, а в его коллегах. Такими методами создавались «враги народа». И вышестоящие партийные организации, и руководители такого даже, как я, довольно высокого положения (я в то время уже был членом Политбюро) оказывались в полной власти документов, представленных работниками НКВД, которые определяли судьбу и того или иного члена партии, и беспартийного.

Тогда же в Донбассе я столкнулся с тем, что некоторые преподаватели Горного института имени Артема (рабфак которого я окончил в 1925 году), люди, которых я очень уважал, тоже стали «врагами народа». Один из них, горный инженер Герчиков, по национальности еврей, очень хороший математик и был сильный, между прочим, гипнотизер. Потом он работал в угольной промышленности горным инженером. Вдруг он тоже попал в группу вредителей, но не в тот период, когда была кампания по раскрытию вредителей, а уже в период, когда разоблачали «врагов народа». Наркомом тяжелой промышленности был Каганович. Он приехал в Донбасс, произнес там громкую речь, перечислил несколько десятков разоблаченных врагов народа и назвал их фамилии, в том числе и Герчикова. Мне было больно, что Герчиков, которого я хорошо знал и с уважением к нему относился, тоже оказался врагом народа. Приехав в Донбасс в конце 1938 года, случайно встретил Герчикова. Однако это был уже не прежний Герчиков, а его тень. Я спросил: «Как поживаете?» Он выглядел мрачным, замкнутым. Буркнул, что плохо, что был арестован. Потом уже другие люди рассказали, что его страшно избивали, он лишился здоровья и в скором времени умер.

Вообще по приезде в Донбасс выяснилось, что там не осталось руководителей угольной промышленности, были только заместители. Пришлось выдвигать новых. Каганович выдвинул хороших и честных лю-

дей, но мало подготовленных, без подходящего образования. Выдвинули и Никиту Изотова, очень хорошего рабочего, достойно прославившегося и поднятого на высоту как передовика. Но в руководители угольной промышленности он, конечно, не годился. И Дюканов был выдвинут, но тоже совершенно не годился. Мне жаловались на Дюканова: «Товарищ Хрущев, вы поймите нас. Вызывает он инженеров. Те ему докладывают. И если что-то не ладится и что-то не выполнено, так у него один аргумент: «Ты смотри, а то я тебе ж... нашлепаю». И каждый из нас, инженеров, дважды в сутки носит к нему это место, чтобы он его нашлепал». Я Сталину сказал тогда, что так поступать нельзя. У нас есть сейчас свои инженеры, они вполне могут руководить. Сталин согласился со мной. Выдвинули в Сталинский угольный трест Засядько. После войны он стал заместителем Председателя Совета Министров СССР, сейчас уже умер. Человек имел большой недостаток: он пил и пил, бедняга. Но был очень хорошим администратором и организатором, прекрасно знал горное дело. В ту пору, по-моему, в Донбассе были и действовали объединения (тресты) в угольной промышленности и металлургии, во главе которых как раз и были поставлены новые инженеры. Я не буду их перечислять, да и не помню сейчас фамилий всех людей, которые возглавили тресты или же погибли в то время.

Постепенно положение в сельском хозяйстве и в промышленности начало выравниваться. Промышленность начала выполнять планы, и угольная, и металлургия, и машиностроение. Сельское хозяйство тоже стало набирать силу. Отставались новые кадры, несколько ослабли репрессии. Они уже не распространялись вширь, а как бы подбирали остатки тех лиц, которые упоминались в следственных протоколах при арестах и казнях «врагов народа».

Насчет сельского хозяйства. Случалось, звонит нарком финансов Зверев: «Мало продаете белого хлеба, особенно булочек и бубликов». Дело в том, что эти продукты продавались по повышенным ценам как товары Наркомфина; выручка от их продажи поступала в средства накопления, шедшие на индустриализацию. Помню также, что по сахарной свекле тогда выправилось положение. И по зерну тоже: пшеницы заготавливали свыше 400 миллионов пудов. По тому времени это были для Украины большие цифры. После Великой Отечественной войны, когда я опять работал на Украине, сдавали и по 700 миллионов пудов хлеба. Но это уже в другое время. А в 30-е годы Украина действительно являлась житницей Советского Союза в смысле зерна, а о сахаре и говорить даже не зачем. Кроме того, выращивали много овощей, табака, подсолнуха.

Вспоминаю также, когда я только-только приехал на Украину и при-

ступил к своим обязанностям секретаря ЦК КП(б)У, мне как-то позвонил украинский академик Патон. Я слышал раньше о нем, но никогда с ним не встречался. Меня информировали, что это очень интересный человек, крупнейший машиностроитель, увлекшийся проблемой сварной конструкции мостов. Он попросился ко мне на прием, и я его принял. В кабинет вошел плотный человек, уже в летах, весь седой, коренастый, со львиным лицом, колючими глазами. Поздоровавшись, тут же вытащил из кармана кусок металла и положил на стол: «Вот, посмотрите, товарищ Хрущев, что может делать наш институт. Это полосовое железо (кажется, 10-миллиметровой толщины), и я его таким свариваю». Посмотрел я сварку. Так как сам я металлист, то со сваркой мне приходилось встречаться. Здесь был просто идеальный шов, внешне гладкий, как литой. Он говорит: «Это сварка под флюсом». Слово «флюс» я тогда услышал в первый раз. Были у Патона и другие изобретения. Он рассказал, какие возможности таит в себе сварка под флюсом, какую дает выгоду, как облегчает труд, повышает его производительность и качество сварных работ вообще, особенно их надежность. Он был поглощен идеей сварки всех железных конструкций из черного металла — мостов, стропил для перекрытия зданий и пр., и доказывал, что их выгоднее сваривать, а не клепать; нарисовал передо мной такую картину, что вскоре он изготовит автоматы, которыми мы будем сваривать корабли. Глаза у него буквально горели, и в словах была такая уверенность, что он заставлял и других поверить в его идею. Он умел хорошо показать свои достижения и таким людям, которые не являются специалистами, умел убедить их в правильности своих доводов.

Я был буквально очарован встречей и беседой с Патоном, его прогрессивными, революционными техническими идеями. Сейчас могу сказать, что Евгений Оскарович — отец промышленной сварки в СССР. Его сын — ныне Президент АН УССР, вполне достоин своего отца. Уже после смерти Патона-старшего я много раз встречался с Борисом Евгеньевичем, заезжал в институт, который он возглавлял, много раз слушал его, он показывал мне новые образцы достижений в области сварки. Ряд этих работ вышел далеко за пределы института, они широко внедрены в производство. Еще при нашей первой встрече Патон-старший сказал: «Я хочу жаловаться. Директор Днепропетровского завода металлических конструкций был в Киеве. Я его просил зайти ко мне в институт посмотреть на наши работы. Я хотел продемонстрировать нашу сварку металлоконструкций, чтобы внедрить ее на его заводе, прежде всего автоматическую сварку под флюсом. Он не нашел времени зайти ко мне и уехал в Днепропетровск. Вот как наши, советские люди относятся к новому. Внедрение автоматической сварки дало бы большую экономию металла, ускорило бы строительство и по-

высило производительность труда». Отвечаю: «Хорошо, что Вы мне сказали. Этот директор завода завтра же будет у Вас». Тут же при нем позвонил секретарю Днепропетровского обкома партии Задионченко. Он был очень оперативным человеком, быстро понял суть дела и ответил: «Сейчас же ему позвоню, завтра он будет у Патона». Назавтра директор опять прилетел в Киев. Мне позвонил довольный Патон и сказал, что этот человек уже был у него, он все ему показал и они нашли общий язык.

На меня беседа с Патоном произвела сильнейшее впечатление. Я тут же продиктовал записку Сталину, в которой сообщил обо всем, что мне рассказал академик и что я сам увидел, когда ездил к нему в институт, знакомясь с его работами. В записке я очень хвалил Патона, восторгался его работами и писал о большом будущем такого метода работ, как сварка, подчеркивал, что надо форсировать работы Патона, чтобы поскорее внедрить их в практику наших заводов.

Прошло небольшое время, мне позвонил Сталин и предложил приехать в Москву. Я сейчас же сел в поезд. Тогда члены Политбюро и ЦК партии не летали, на это имелся запрет. Запрет появился интересным образом. Как-то Микоян, как мне рассказывали, поехал в Белоруссию, а там летчики предложили ему полетать на самолете. Он согласился, полетал, и об этом потом было написано в газете. Сталин прочел, что Микоян летал на самолете и летчик при этом выполнял фигуры высшего пилотажа, и предложил объявить Микояну выговор за ненужный риск. Была сделана запись в протоколе, запрещавшая членам ЦК ВКП(б) и секретарям республиканских ЦК летать, это считалось слишком опасным. Летать мы стали во время войны.

Я очень любил самолеты и часто летал, когда занимал такое положение, которое Сталина не беспокоило. Летал, когда работал в Киеве в 1928—1929 годах. Там служил летчик Дейч. Я приехал в Ржищев, и он меня «угостил» впервые в жизни полетом на самолете. На меня это произвело сильное впечатление. Потом я часто летал на «юнкерсах». На «юнкерсе» у нас летал тогда начальник Военно-Воздушных Сил Красной Армии Баранов. Впоследствии он погиб при катастрофе. Это был замечательный человек, ближайший друг Якира. Во время маневров, когда он прилетел в Киев, разрешил мне полетать на его самолете. Таким образом, по тем временам я уже был «воздушным волком». А когда я работал в Москве секретарем МК партии, то полетал даже на экспериментальном самолете «Сталь-2». На нем я летал вместе с наркомом Гражданского воздушного флота. Летал я и на дирижабле и тоже с наркомом Гражданского флота. Но, хотя я уже много летал, теперь это было запрещено, поэтому я из Киева в Москву ездил только поездом.

Когда я приехал в Москву и встретился со Сталиным, то вновь стал рассказывать о Патоне. Он меня перебил: «Я Вас как раз по этому вопросу и вызвал. Я прочел Вашу записку, и мне она очень понравилась. Я полностью согласен с Вами в оценке этих работ и хотел бы еще побеседовать с Вами, а потом поставить этот вопрос в ЦК и записать решение, обязывающее внедрять сварку. А что за человек Патон? Какая у него воля? Хватит у него сил, если мы его сделаем уполномоченным Совета Народных Комиссаров и дадим ему неограниченный мандат по внедрению его метода сварки в производство? Сможет он заставить бюрократов внедрить сварку?» Отвечаю: «Насколько я знаю Патона, если ему дадут такой мандат, то бюрократам не будет никакого спасения. Он заставит их вертеться. Воля у него пробивная». Тут Сталин сказал мне, чтобы я не возвращался в Киев, пока не будет вызван Патон и принято решение, дающее ему полномочия организовать внедрение в производство нового метода сварки. Когда приехал Патон, Сталин задал ему несколько вопросов и познакомился с ним. Он произвел и на Сталина тоже очень хорошее впечатление, да иначе и быть не могло: Патон был внутреннее собранным человеком, организованным, ясно и кратко формулировавшим свои мысли, с волевым лицом и ключичими, пронизывающими глазами. Он заставлял считаться с собой и умел влиять на людей, с которыми встречался. Сталину это понравилось. Патону выдали упомянутый мандат, и я сейчас же отбыл в Киев.

Еще когда я подробно расспрашивал Патона о возможностях сварки, у меня родилась мысль использовать его метод для сварки танковых корпусов на потоке. Я спросил его: «Сможете ли вы варить танковую сталь?» Он задумался: «Надо изучить. Я не могу сейчас вам ответить. А какова толщина этой брони?» — «Видимо, до 100 миллиметров». — «Сложно, но попробуем. Думаю, удастся». Теперь я вновь встретился с Патоном, чтобы лучше узнать, какие детали, какие металлы и какой толщины он может сваривать своим способом. Я надеялся, что его метод мог быть полезен для сварки танковых корпусов. Ведь война придвигалась вплотную.

Когда я опять поставил этот вопрос, Патон заметил, что нужно знать состав стали. Я предложил ему съездить на Харьковский танковый завод. Сначала это был завод, кажется, Гартмана, а потом он назывался ХПЗ (Харьковский паровозостроительный завод имени Коминтерна), но там уже производилась новая продукция — изготавливались танки и дизель-моторы. Я сказал: «Попрошу заводских директора и парторга (директором там был Максарев, а парторгом — Епишев, который сейчас служит начальником Главного политуправления Советской Армии и Во-

енно-Морского Флота), они вас познакомят с производством и конструкторами, вы сами изучите производство и после этого выскажете мне свое мнение». Патон поехал в Харьков, познакомился с производством танков, затем сообщил, что ему понадобится какое-то время для размышлений, но уверен, что можно будет организовать автоматическую сварку танковых корпусов под флюсом. Говорю ему: «Это была бы большая победа для всей страны и для армии. Большое сделали бы дело».

Патон стал разрабатывать вместе с конструкторами танка и инженерами этого завода приспособления (как их называют в промышленности, кондукторы), которыми зажимались детали танка и в которых они сваривались. Забегу несколько вперед, чтобы закончить свой рассказ о Патоне и его участии в производстве танков, о его огромном участии в победах, которые были одержаны Красной Армией, потому что танки действительно начали сваривать, как блины печь, в результате помощи, оказанной Патоном. Когда вспыхнула война и события стали развиваться неблагоприятно для нас, а Красная Армия под ударами врага отступала, в частности, к Харькову, мы вынуждены были эвакуировать харьковскую промышленность на восток. Производство танков попало из Харькова на Урал. Конструкторское бюро тоже выехало туда. Туда же отправился и Патон. Там быстро было налажено производство танков на новом месте. Патон внес большой вклад и в организацию производства боевых машин на потоке. Это был очень интересный человек, в ту пору уже немолодой и, как говорили тогда, старорежимный по духу, продукт воспитания в царское время.

В 1943 году я прилетел в Москву по вызову Сталина. Сталин частенько вызывал меня с фронта для каких-либо бесед. В то же время оказался в Москве и Патон. Он попросился ко мне на прием. Я его принял, выслушал, и он вручил мне письмо в адрес ЦК партии. Он писал, что его отец служил при царе консулом в Италии, кажется в Генуе. «Когда совершилась революция, — писал он, — я уже сформировался как человек и, естественно, отнесся к революции несерьезно. Я считал, что это бесполезное для нашей страны явление, и поэтому был против Октябрьской революции. Но я со своей стороны не предпринимал никаких контрмер и не участвовал ни в каких антисоветских организациях. Если так можно выразиться, я ожидал, что эта власть не продержится долго, она развалится, потому что она бесперспективна и бесплодна. Шло время. Я видел, как время испытывало власть и что власть держалась. Потом власть стала крепнуть, показала свои организационные способности, показала направленность действий, которая мне импонировала. Мне нравилось то, что делала Советская власть. С каждым годом притягательное действие Советской власти все больше и

больше охватывало меня. Я начал лучше работать и стал как бы сливаться с той сущностью, которая создавалась Советской властью. Но я все-таки не забывал, как я относился к ней в первые дни революции, и поэтому считал, что не имею права на какое-то покровительство со стороны Советской власти или на какое-то особое доверие ко мне. Я продолжал честно трудиться на том участке, где работал. Тут началась война, и я был привлечен к строительству танков. Считаю, что я внес большой вклад в оборону нашей страны, организовал поточное производство танковых корпусов, внедрил автоматическую сварку под флюсом по своему способу. Сейчас я уже давно за Советскую власть. Теперь я чувствую, что имею моральное право обратиться к партии с просьбой, чтобы она приняла меня в свои ряды. Поэтому я пишу это письмо и прилагаю к этому письму в Центральный Комитет заявление о приеме в партию. Прошу поддержать меня, я хотел бы теперь быть партийным человеком».

Мне это письмо не только понравилось, оно тронуло меня, потому что Патон был человеком скупым на слова. Я чувствовал его глубокую искренность в признании Советской власти как власти народа, признании Коммунистической партии как организатора побед над врагом. Мне очень понравилось такое желание Патона — политически оформить свое участие в этой великой борьбе против фашистской Германии, став членом нашей партии. Я взял его документы и сказал, что убежден в том, что он будет принят в ряды ВКП(б). «Доложу товарищу Сталину, и Вы узнаете решение Центрального Комитета». Не помню, через сколько времени я встретился со Сталиным, но все рассказал ему и передал эти документы. Сталин тоже был взволнован — а он редко выдавал свое волнение — и сказал: «Ну вот и решился Патон, он заслуживает всяческого уважения». И сейчас же предложил сформулировать такое решение: «Принять товарища Патона в партию без кандидатского стажа».

В то время, когда принимали Патона в партию, существовал порядок, согласно которому лица, вышедшие из буржуазной или интеллигентской среды, должны были обязательно при вступлении в ряды партии иметь испытательный кандидатский срок, который длился два года. Но к Патону это, в порядке исключения, не было применено. Ввиду особых его заслуг перед Родиной и партией в члены партии он был принят сразу. Мне это было очень приятно. Во-первых, я радовался за Патона и за страну, за то дело, которое сделал Патон для нашей страны и армии. Во-вторых, мне было приятно, что на мою долю выпало познакомиться с ним, понять его роль и привлечь к такому большому делу, как производство танков. После войны Патон вернулся к деятельности в Академии наук Украины, стал ее вице-президен-

том и продолжал свое дело так же плодотворно, как делал это во время войны и до войны.

Когда нас всех поразило несчастье, несчастье и для Украины, и для науки, — скончался президент АН УССР Богомолец, которого все очень уважали, — встал вопрос о том, кто будет теперь президентом? Мне передавали, что ученые Украины взволновались. Это вызывалось тем, что многие из них полагали, что ЦК КП(б)У будет рекомендовать как раз Патона. Зная, с каким уважением я относился к Патону, думали, что эта кандидатура будет, без сомнения, названа. Тут следует сказать, что в АН УССР к Патону относились по-разному. Считаю, что абсолютное большинство ученых относилось к нему с большим уважением именно как к ученому. Но все очень боялись его характера и поэтому страшлись того, что он станет президентом Академии. Все знали его волю, нетерпимость к пустословью, конкретность в делах. У него была просто пробивная воля. До моего слуха дошли рассуждения, что если президентом будет Патон, потому что его поддерживает Хрущев, то он поразгоняет и то, и другое, и третье, превратит Академию наук в экспериментальные мастерские. То есть обвиняли его в излишнем практицизме. Да, это был именно такой человек, который хорошо умел ставить научные знания на службу делу. Он не терпел отвлеченных разговоров и бесплодного словоблудия под маркой учености. Действительно, для таких людей он мог быть грозой.

Мы все же учли такое отношение к нему, и поэтому у нас не возникла идея рекомендовать его президентом. Надо было бы «нажимать», *что* при голосовании встречено было бы плохо. Да и Патон сам к тому не стремился. Он был поглощен своим делом и институтом, которым руководил. Сейчас этот институт известен не только в нашей стране, он занял в мировой науке по сварке металлов довольно высокое положение. После смерти Патона институтом руководит, причем успешно, его сын Борис, который сейчас является президентом АН УССР.

Когда Патон умер, заканчивалось строительство в Киеве нового моста через Днепр. Это был самый большой мост в Киеве. Он цельносварной. Патон добивался этого, и я его поддержал, чтобы была принята цельносварная конструкция. Он был техническим руководителем по сварке моста. Я в то время приехал по какому-то делу на Украину. Украинцы носились с идеей присвоить этому мосту мое имя. Меня это удивило, особенно потому, что к тому времени у нас уже было принято решение запретить присваивать предприятиям, учреждениям, колхозам и пр. имена руководителей партии и правительства, находящихся в здравии. И даже ряд почетных имен, которые были присвоены раньше, мы специальным решением сняли. Как я в шутку говорил тогда, лишили всех прав и состояния этих людей, которые «наха-

пали» себе фабрики, заводы и города. Нездоровое даже было такое соревнование, чье имя будет присвоено большему количеству предприятий и колхозов. Это дикая вещь! При Ленине этого, по-моему, еще не было. Потом иногда присваивалось имя здравствующего Буденного (как героя гражданской войны). Присваивались также имена умерших в память их добрых дел, которые они совершили для партии, ради народа.

Я спросил украинцев: «Зачем вы хотите присвоить мое имя мосту? Это прямое нарушение решения ЦК. Я против, тем более что сам был инициатором вынесения такого решения. Неужели вы не понимаете, в какое положение меня ставите? Прошу вас никуда не вылезать с предложениями такого характера. И зачем долго искать, кто более достоин, чтобы его имя было присвоено этому сооружению? Вот, например, академик Патон. Прошу, внесите именно такое предложение, и правительство утвердит его». Так мосту было присвоено имя Патона. И сейчас этот мост, как говорится, живет и здравствует, а люди, проезжая по нему, вспоминают добрым словом его создателя академика Патона.

ТЯЖЕЛОЕ ЛЕТО 1941 ГОДА

Итак, мы приблизились вплотную к войне. То есть не мы шли к ней, а она на нас надвигалась. Мы говорили об этом и делали все для того, чтобы враг нас не застал врасплох; чтобы наша армия была на надлежащем высоком уровне по организации, вооружению и боеспособности; чтобы наша промышленность имела соответствующий уровень развития, который обеспечивал бы удовлетворение всех нужд армии по ее вооружению и боевой технике, если будет начата война, если на нас нападут враги. И вот война неумолимо надвинулась на нас. Что делалось в армии, конкретно сказать сейчас не могу, потому что не знаю. Не знаю, кто из членов Политбюро знал конкретную обстановку, знал о состоянии нашей армии, ее вооружения и военной промышленности. Думаю, что вполне, видимо, никто не знал, кроме Сталина. Или знал очень ограниченный круг людей, да и то не все вопросы, а те, которые касались их ведомства или ведомства, подшефного тому либо другому члену Политбюро. Перемещение кадров, которое имело большое значение для подготовки к войне, тоже осуществлялось Сталиным.

На кадрах «сидел» Щаденко, человек, известный своим характером. Злобный у него был характер в отношении к людям. Потом на кадрах «сидел» Голиков, оттуда он перешел в разведку. Сейчас точно не могу припомнить, но он тоже был приближен к Сталину и занимался этими вопросами. Очень сильное влияние на Сталина имел Мехлис, но главным образом в вопросах политработы. Он был начальником Главного политуправления РККА, однако часто выходил за рамки своих функций, потому что со своим пробивным характером очень нравился Сталину. Он много давал советов Сталину, и Сталин считался с ним. Видимо, это было не на пользу армии.

Нездолго до Великой Отечественной войны наркомом обороны стал Тимошенко. Не знаю, как развернул свою новую работу Тимошенко, но думаю, что она была организована лучше, чем до него. Я не говорю о том, насколько глубоко Ворошилов знал военную работу и военное дело. Но шла слава о нем как о человеке, который больше позировал перед

фотообъективами, киноаппаратами и в мастерской художника Герасимова, чем занимался вопросами войны. Зато он много занимался оперным театром и работниками театрального искусства, особенно оперного, завоевал славу знатока оперы и давал безапелляционные характеристики той или другой певице. Об этом говорила даже его жена. Как-то в моем присутствии зашла речь о какой-то артистке. Она так вот, не поднимая глаз, и говорит: «Климент Ефремович не особенно высокого мнения об этой певице». Это считалось уже исчерпывающим заключением. Какие к тому имелись у него данные и почему появились такие претензии, трудно объяснить. Правда, Климент Ефремович любил петь и до последних своих дней, когда я с ним еще встречался, всегда пел, хотя уже плохо слышал. Пел он хорошо. Он рассказывал мне, что прошел школу певчего: как и Сталин, в свое время пел в церковном хоре.

У нас на Украине в 1940 году командовал войсками Киевского Особого военного округа (КОВО) Жуков. В начале 1941 года Жукова переместили, а к нам назначили Кирпоноса. По-моему, до Жукова и до Мерецкова начальником Генерального штаба был Борис Михайлович Шапошников. Это — безусловный авторитет для военных, высокообразованный военный человек, который очень ценился на своем посту. В то время в Генеральном штабе работали также Соколовский и Василевский, два способных специалиста. Но тогда среди военных шла молва, что это — бывшие офицеры старой армии, и к ним относились с некоторым недоверием. В то время я лично еще не знал ни Соколовского, ни Василевского и поэтому своего мнения о них не имел, но прислушивался к доброму о них голосу старых бойцов Красной Армии, участников гражданской войны и относился к ним с доверием. Когда же сам узнал их во время войны, то никакого политического недоверия к этим людям у меня, конечно, уже не было, да и никогда не возникало. Я относился к ним очень хорошо — и к Василевскому, и к Соколовскому.

С Василевским у меня произошел, однако, случай в 1942 году, который не может изгладиться из моей памяти. Это было связано с операцией, которую мы проводили в начале 1942 года под Харьковом, у Барвенково. Я, видимо, дальше отдельно буду говорить об этой операции и там, безусловно, не смогу обойти своего разговора с Василевским. Он произвел на меня тогда очень тяжелое впечатление. Я считал, что катастрофы, которая разыгралась под Барвенково, можно было бы избежать, если бы Василевский занял позицию, какую ему надлежало занять. Он мог занять другую позицию. Но не занял ее и тем самым, считаю, приложил руку к гибели тысяч бойцов Красной Армии в Харьковской операции.

Командующего войсками КОВО генерала Кирпоноса я совершенно не знал до его назначения к нам. Когда он прибыл и принял дела, я с ним, конечно, познакомился, потому что был членом Военного совета КОВО. Но я ничего не мог тогда сказать о нем, ни хорошего, ни плохого. Одно лишь меня беспокоило — чтобы с уходом Тимошенко не ослабла военная работа. Я очень высоко оценивал деятельность Тимошенко как командующего войсками КОВО. Он человек волевой и пользовался авторитетом среди военных, имел твердый характер, который необходим каждому руководителю, особенно военному. Авторитет у него был большой: герой гражданской войны, командир одной из дивизий Первой Конной армии, — и прочная слава, и заслуженная.

Итак, после Тимошенко пришел Жуков. Я был доволен, даже очень доволен Жуковым. Он радовал меня своей распорядительностью и своим умением решать вопросы. Это меня успокаивало: хороший командующий, как мне казалось. Война подтвердила, что он действительно хороший командующий. Я так и считаю, несмотря на резкие расхождения с ним в последующий период, когда он стал министром обороны СССР, к каковому его назначению я приложил все усилия и старания. Но он неправильно понял свою роль, и мы вынуждены были освободить его с поста министра и осудили его замыслы, которые он, безусловно, имел и которые мы пресекли. Однако как военного руководителя во время войны я его очень высоко оценивал и сейчас ни в коей степени не отказываюсь от этих оценок. Я говорил об этом Сталину и во время войны, и после войны, когда Сталин уже изменил свое отношение к Жукову и Жуков был в опале.

Перед самой Великой Отечественной войной я находился в Москве, очень долго задержался там, буквально томился, но ничего не мог поделать. Сталин все время предлагал мне: «Да останьтесь еще, что Вы рветесь? Побудьте здесь». Но я не видел смысла в пребывании в Москве: ничего нового я от Сталина уже не слышал. А потом опять обеды и ужины питейные... Они просто были мне уже противны. Однако я ничего не мог поделать. Наблюдал я за Сталиным, и на меня он производил плохое впечатление. Он находился в таком состоянии, которое не вносило бодрости и уверенности в то, что наша армия достойно встретит врага. Он как-то опустил руки после разгрома Гитлером французских войск и оккупации Франции. Я был как раз у него во время капитуляции Франции. Тогда он выругался сочно, по-русски, узнав об этом, говорил: видите, столкнули нас лбами, Гитлер развязал себе руки на Западе. Пусть он не говорил это столь прямо, но мы все это понимали.

Понимали мы и его нервозность. Сталин лучше нас знал состояние

Красной Армии и, видимо, сделал тогда вывод, что мы не подготовлены к «большой» войне. Об этом свидетельствовала наша «малая» война с Финляндией. Она была очень кровавой, очень тяжелой для нас. Мы с трудом разбили Финляндию и понесли огромные жертвы. Я говорю — «с трудом». Это, конечно, условно. Ведь наши резервы ни в какой степени не могут равняться с финскими. Но я даю такую оценку потому, что если взять Советскую страну и Финляндию и сравнить те жертвы, которые мы понесли в той войне, то это, конечно, могло произойти только в результате нашего неумения и неподготовленности к организации военных действий. Мы с трудом разбили Финляндию, положив огромное количество людей. А мы должны были бы, если уж воевать, с ходу разбить финнов и таким образом продемонстрировать боеспособность нашей армии. А мы продемонстрировали как раз обратное: малые способности и слабость наших ударных сил...

Я настойчиво добивался разрешения выехать в Киев и в конце концов прямо сказал Сталину: «Чего я сижу здесь, товарищ Сталин? Ведь война может разразиться в любой час и будет очень плохо, если я буду находиться в Москве или даже в дороге. Мне надо ехать, мне надо быть в Киеве». И он согласился: «Да, верно, езжайте». Такой ответ тоже свидетельствовал о том, что он и сам не знал, зачем меня задерживал. Понимал, что мне тут делать нечего и что мое место в Киеве, что я там нужнее, чем здесь. Вроде бы охотно согласился. Но, спрашивается, кто же меня задерживал? Это говорит о том, что он нуждался в присутствии как можно большего числа людей из своего окружения, с тем чтобы не оставаться одному, один на один с самим собой. Такая у него была тогда человеческая потребность.

Я сейчас же воспользовался согласием Сталина и выехал в Киев. Обстановка была очень нервная, предвоенная. Стояло жаркое лето; парило, как парит перед грозой. Приехал я в Киев утром, как всегда. Это была суббота. Сразу же пошел в ЦК КП(б)У, проинформировал работников о положении дел и вечером ушел домой. Вдруг мне в 10 или в 11 часов вечера позвонили из штаба КОВО, чтобы я приехал в ЦК, так как есть документ, полученный из Москвы. В сопроводительной к нему сказано, чтобы с этим документом был ознакомлен секретарь ЦК КП(б)У Хрущев. Приехал я опять в ЦК. Туда же пришел, не помню точно кто: или начальник штаба КОВО Пуркаев, или его заместитель. Мне кажется, что Пуркаев был в то время в Киеве, потому что командующий войсками несколькими днями раньше выехал на командный пункт под Тарнополем. Там начали строить командный пункт, и, хотя он был не закончен, пришлось выехать, потому что чувствовалось, что война вот-

вот разразится. Там уже находились оперативный отдел штаба, начальник оперотдела Баграмян и командующий войсками Кирпонос.

Пуркаев (или его заместитель) прочитал документ. В нем говорилось о том, что надо ожидать начала войны буквально днями, а может быть, и часами. Сейчас точно не помню содержания этого документа, помню только одно — тревожность его содержания и предупреждение. Тогда считалось: все, что нужно сделать, чтобы подготовить войска, уже сделано. Вплоть до того, что командующий выехал с оперативным отделом на командный пункт. Следовательно, мы к войне готовы. Потом позвонили с командного пункта из Тарнополя и сообщили, что на нашем направлении перебежал немецкий солдат. Он заявил, что он был коммунистом, да и сейчас считает себя коммунистом; что он антифашист; что он против военной авантюры, которая затевается Гитлером, и предупредил, что завтра в три часа утра начнется наступление немецких войск. Это совпадало со сведениями, которые только что были сообщены нам из Москвы в упомянутом документе. Я не помню только, назывался ли в нем день и час. Видимо, назывался. Одним словом, это была для нас уже не новость, а более реальное, конкретное ее подтверждение.

Солдат перебежал с переднего края. Его допрашивали, и все называвшиеся им признаки, на которых он основывался, когда говорил, что завтра в три часа начнется наступление, описывались логично и заслуживали доверия. Во-первых, почему именно завтра? Солдат сказал, что они получили трехдневный сухой паек. А почему именно в три часа? Потому что немцы всегда избирали в таких случаях ранний час. Не помню, говорил ли он, что было сказано солдатам именно о трех часах утра, или они узнали это по «солдатскому радио», которое всегда очень точно определяло начало наступления. Что нам оставалось делать? Командующий был в Тарнополе, штаб тоже находился там. Войска были на месте, готовые встретить врага. Из этого мы и исходили. Я не возвращался домой и остался в ЦК ожидать упомянутого часа.

И действительно, с рассветом, около трех часов утра, мы получили сообщение, что немецкие войска открыли артиллерийский огонь и предпринимают наступательные действия с тем, чтобы форсировать пограничную водную преграду и сломить наше сопротивление. Наши войска вступили в бой и дают им отпор. Не помню, в какое время, но было уже светло, когда вдруг из штаба КОВО сообщили, что немецкие самолеты приближаются к Киеву. В скором времени они были уже над Киевом и сбросили бомбы на городской аэродром. Бомбы попали в ангар, начался пожар. В этом ангаре оказалось только несколько самолетов У-2.

Потом во время войны они использовались как связные, а тогда — как сельскохозяйственные. Боевой авиации на аэродроме не имелось, она вся была подтянута к границе, рассредоточена и замаскирована.

Немцы не достигли первым налетом намеченной цели, не смогли вывести из строя наши аэродромы и самолеты, уничтожить их. Наши самолеты и танки целиком нигде не были уничтожены с первого удара. В КОВО (хотя, может быть, от меня что-нибудь и скрывали; но так докладывали мне тогда, а я верил и сейчас верю, что это была правдивая информация) немцы нигде не смогли использовать полностью внезапность для нанесения удара по авиации, танкам, артиллерии, складам, другой военной технике. Позже нам сообщили, что немецкая авиация бомбила Одессу, Севастополь, еще какие-то южные города.

Когда мы получили сведения, что немцы открыли огонь, из Москвы было дано указание не отвечать огнем. Это было странное указание, а объяснялось оно так: возможно, там какая-то диверсия местного командования немецких войск или какая-то провокация, а не выполнение директивы Гитлера. Это говорит о том, что Сталин настолько боялся войны, что сдерживал наши войска, чтобы они не отвечали врагу огнем. Он не верил, что Гитлер начнет войну, хотя сам не раз говорил, что Гитлер, конечно, использует ситуацию, которая у него сложилась на Западе, и может напасть на нас. Это свидетельствует и о том, что Сталин не хотел войны и поэтому уверял себя, что Гитлер сдержит свое слово и не нападет на Советский Союз. Когда мы сообщили Сталину, что враг уже бомбил Киев, Севастополь и Одессу, что не может быть и речи о локальной провокации немецких военных на каком-то участке, а что это действительно начало войны, то только тогда было сказано: «Да, это война, и военным надо принять соответствующие меры». Да ведь так или иначе, но раз в них стреляют, они вынуждены отвечать.

Война началась. Но каких-нибудь заявлений Советского правительства или же лично Сталина пока что не было. Это производило нехорошее впечатление. Потом уже, днем в то воскресенье, выступил Молотов. Он объявил, что началась война, что Гитлер напал на Советский Союз. Говорить об этом выступлении сейчас вряд ли нужно, потому что все это уже описано и все могут ознакомиться с событиями по газетам того времени. То, что выступил Молотов, а не Сталин, — почему так получилось? Сталин тогда не выступил. Он был совершенно парализован в своих действиях и не собрался с мыслями. Потом уже, после войны, я узнал, что, когда началась война, Сталин был в Кремле. Это говорили мне Берия и Маленков.

Берия рассказал следующее: когда началась война, у Сталина собра-

лись члены Политбюро. Не знаю, все или только определенная группа, которая чаще всего собиралась у Сталина. Сталин морально был совершенно подавлен и сделал такое заявление: «Началась война, она развивается катастрофически. Ленин оставил нам пролетарское Советское государство, а мы его про...» Буквально так и выразился. «Я, — говорит, — отказываюсь от руководства», — и ушел. Ушел, сел в машину и уехал на «ближнюю» дачу. «Мы, — рассказывал Берия, — остались. Что же делать дальше? После того как Сталин так себя показал, прошло какое-то время, посоветовались мы с Молотовым, Кагановичем, Ворошиловым (хотя был ли там Ворошилов, не знаю, потому что в то время он находился в опале у Сталина из-за провала операции против Финляндии). Посоветовались и решили поехать к Сталину, чтобы вернуть его к деятельности, использовать его имя и способности для организации обороны страны. Когда мы приехали к нему на дачу, то я (рассказывает Берия) по его лицу увидел, что Сталин очень испугался. Полагаю, Сталин подумал, не приехали ли мы арестовать его за то, что он отказался от своей роли и ничего не предпринимает для организации отпора немецкому нашествию? Тут мы стали его убеждать, что у нас огромная страна, что мы имеем возможность организовать, мобилизовать промышленность и людей, призвать их к борьбе, одним словом, сделать все, чтобы поднять народ против Гитлера. Сталин тут вроде бы немного пришел в себя. Распределили мы, кто за что возьмется по организации обороны, военной промышленности и прочего».

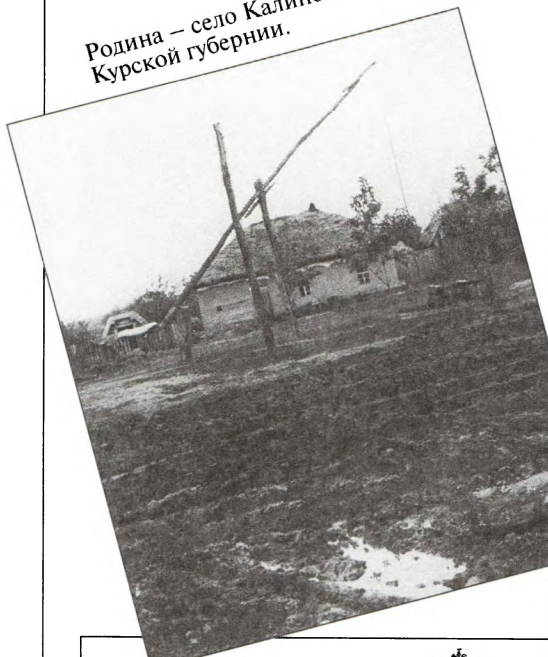
Я не сомневаюсь, что вышесказанное — правда. Конечно, у меня не было возможности спросить Сталина, было ли это именно так. Но у меня не имелось никаких поводов и не верить этому, потому что я видел Сталина как раз перед началом войны. А тут, собственно говоря, лишь продолжение. Он находился в состоянии шока.

А на участке КОВО в первые дни войны сложилось тяжелое, но отнюдь не катастрофическое положение. У нас в резерве имелись два танковых корпуса, а армия Конева должна была вот-вот начать разгружаться. По указанию Ставки мы решили нанести контрудар по наступающим немецким войскам, бросили туда наши механизированные корпуса. Мне неизвестно, знали ли мы, кто командует немецкими танковыми соединениями, но мы считали, что наши два механизированных корпуса справятся с ними и мы восстановим положение. В это время Конев как раз начал разгружаться. Я позвонил Сталину, чтобы он разрешил нам привлечь войска Конева к атаке на этом участке. Сначала он согласился, но потом позвонил и приказал: «Немедленно вновь грузите армию Конева и отправляйте в Белоруссию».

Май 20
ГЕР



Родина – село Калиновка
Курской губернии.



Мать Н.С. Хрушева
Ксения Ивановна
с внуком Сергеем.

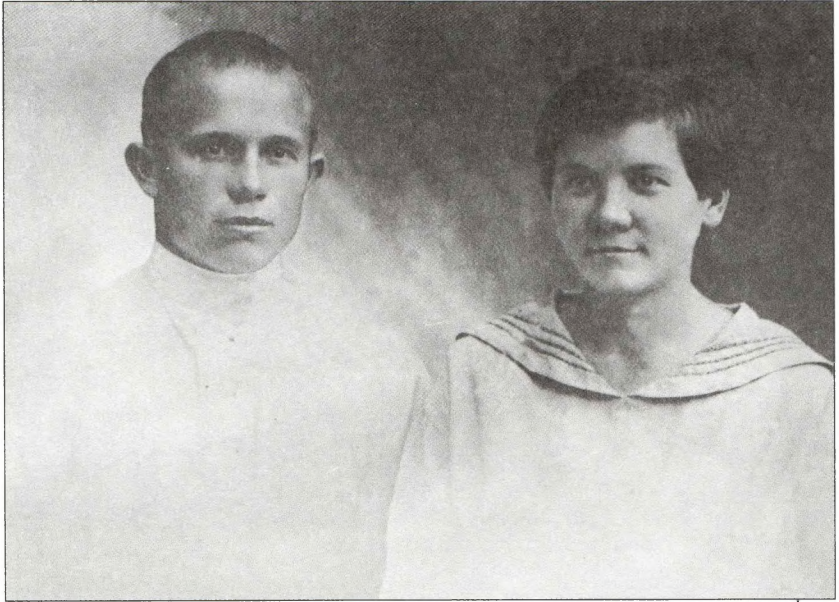


МЕТРИЧЕСКОЙ КНИЖИ на 1894

Число родившихся.		Мѣсяцъ и день.		Имя родившаго.	Званіе, имя, отчество и фамилія родителей, и каковъ крестоповѣданіа.
Мѣсяца года.	Дня года.	рожд. мѣ.	рожд. дня.		
11	—	3	3.	Никиты	Сели Калиновки Калиты, Соглаи же хресто повѣданіа убо хресті и ево по есими ии Арменіи и ево фѣ, сѣ слово ево.
—	7	5	5	Кресті	Протопопъ от Насоминъ Мамонтушевъ Соавт. Дѣлнхъ Сели Калиновки хресті ии

Запись о рождении Никиты Хрушева
в церковной метрике.

С женой Ниной Петровной. 1924 г.



Семья Хрущевых (слева направо): Юлия, Никита Сергеевич, Нина Петровна с Радой на руках, Леонид. 1929 г.

На втором курсе рабфака. Хрущев сидит в 3-м ряду снизу, крайний слева.



На Юзовском (ныне Донецком) механическом заводе начал свою рабочую деятельность ученик слесаря Никита Хрущев.

Н.С. Хрущев и Г.И. Петровский (третий и пятый справа во втором ряду) среди делегатов VIII съезда Советов Сталинского округа. 1926 г.

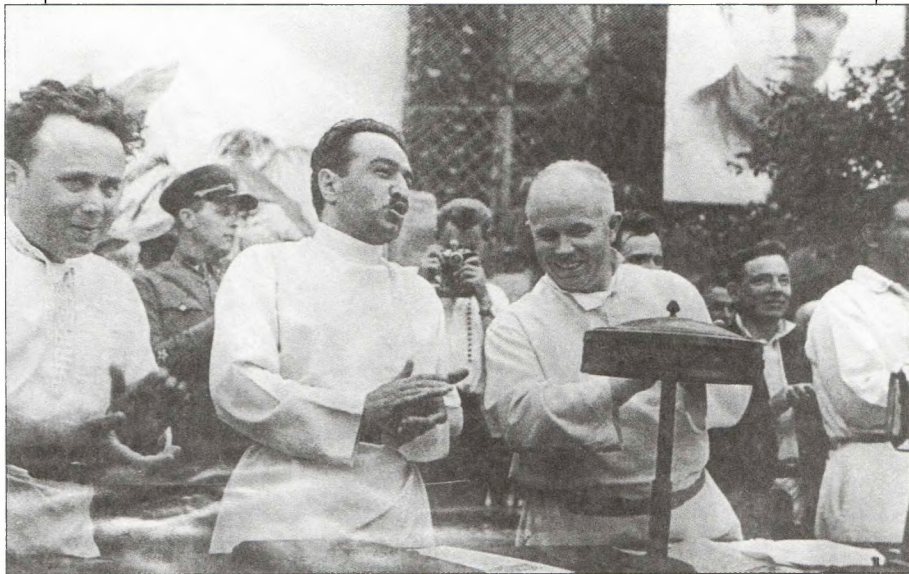


Мандат делегата XIV съезда РКП(б).

Со Сталиным на первомайской демонстрации
в Москве. 1932 г.



С А.И. Микояном в президиуме торжественного собрания
стахановцев пищевой промышленности. Москва, 1936 г.



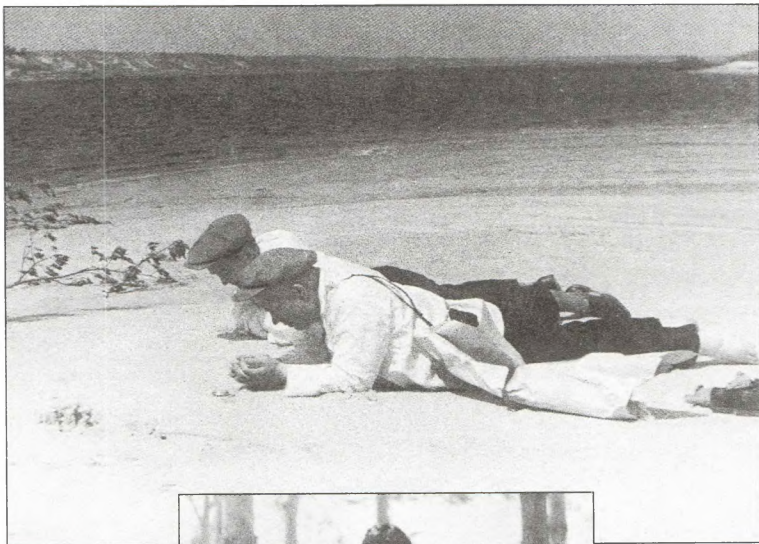
С В.П. Чкаловым после завершения его перелета
в Америку через Северный полюс. 1937 г.

Среди московских рабочих.



Мандат делегата VII конгресса Коминтерна.

Со вторым секретарем ЦК КП(б)У М.А. Бурмистенко
на берегу Днепра.

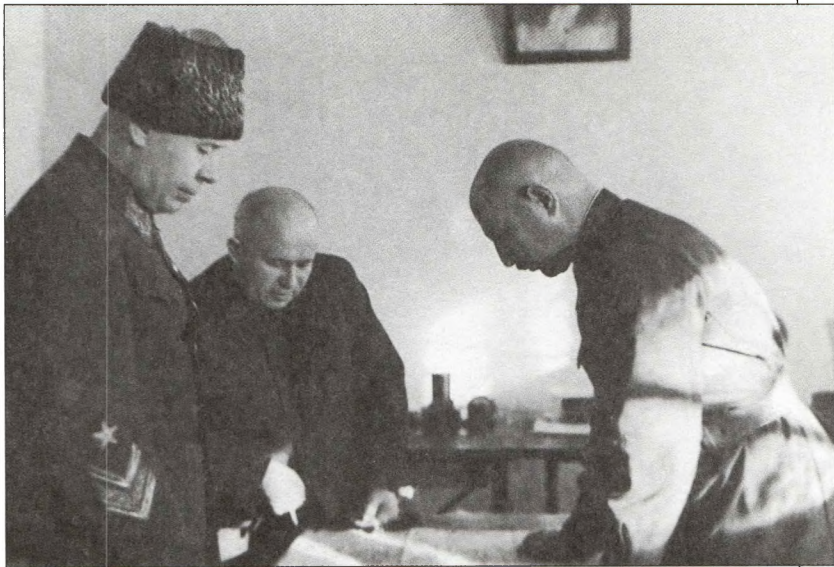


На лыжах в Подмоскowie.



Член Военного совета Юго-Западного направления дивизионный комиссар Хрущев принимает присягу. 1941 г. (кинокадр)

Командующий Юго-Западным направлением
С.К. Тимошенко, Н.С. Хрущев
и начальник Оперативного управления штаба И.Х. Баграмян.



С генералами К.С. Москаленко и А.А. Епишевым.

На марше с воинами Сталинградского фронта.
Ноябрь 1942 г.



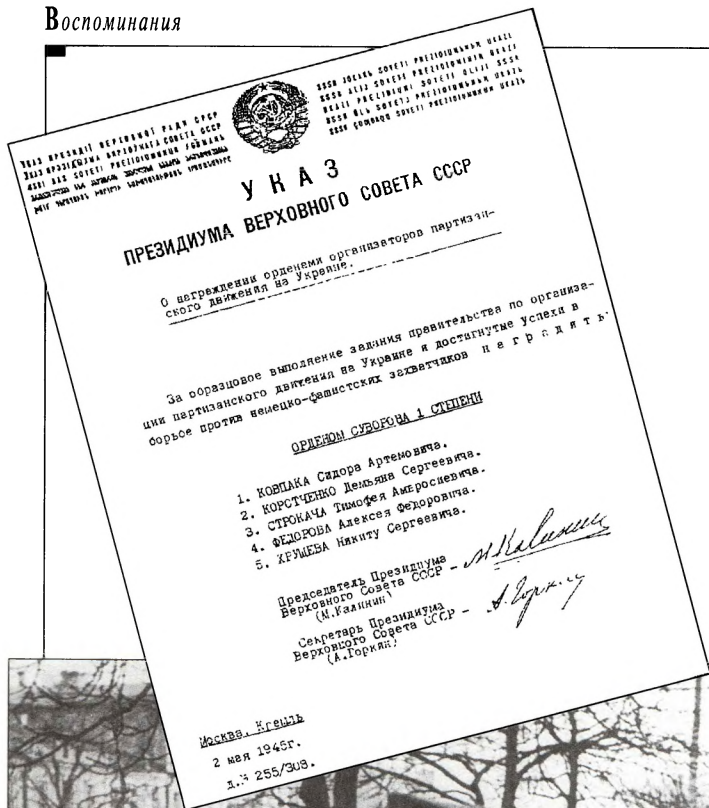
Допрос пленных в станице Баклановской Ростовской области.
Январь 1943 г.



Леонид Никитич
Хрущев,
летчик,
погиб в боях
за Родину.



С другим летчиком, Василием Сталиным.



В освобожденном Киеве. Ноябрь 1943 г.

Первомайская демонстрация в Киеве. 1947 г.



Обсуждение ремонта моста через Днепр.



Наши механизированные корпуса были разбиты, были разбиты и другие наши войска. Немцы получили возможность шествовать на Киев, а наш штаб все еще сидел под Тарнополем. Позвонил нам Сталин и сказал, чтобы штаб снимался с места и отступал. Где-то в тылу был оборудован железобетонный бункер для командующего войсками, уже за линией старой нашей границы. Этот бункер еще, наверное, Якир строил. Приехали мы в это селение около Каменец-Подольского на рассвете и тут же получили указание: не разворачивать штаба, а отступить до Киева, а уж в Киеве развернуть штаб и организовать оборону. Мы были удивлены: как это так, сразу к Киеву? Но поехали. Да мы и не могли тогда сказать, что быстро разобьем немцев, войск-то у нас нужных не было.

Когда отошли мы к Киеву, то немцы сожрали остатки наших войск. Мы потеряли артиллерию и танки, у нас не было пулеметов. Основные наши силы — два механизированных корпуса — были разбиты главным образом с воздуха. Немцы летали безнаказанно, и у нас не было ничего, чем можно было бы защищаться. Войска 6-й и 12-й армий, когда противник вплотную взялся за них, стали отступать неорганизованно. Он все время держал их в полукольце, и они не имели маневренности. А это — самое главное для войск. Но эти армии, конечно, не распались. Они защищались и даже нанесли удар противнику в направлении на Броды. Они отступали южнее Киева, в район южнее Умани. Там их окружили. Сошлись два штаба: Понеделина и командующего 6-й армией. Командующий 12-й армией был ранен. Когда подъехали немцы, Понеделин вышел из помещения и сказал, что сдастся в плен. В то время мы еще не знали фашистов и зачастую пытались вести войну «по всем правилам».

Это была, конечно, глупость, что фронт лишили инициативы в использовании войск по своему усмотрению. Вмешательство Генерального штаба получилось таким же, как у бравого солдата Швейка: все было хорошо, пока не вмешался Генеральный штаб. Вот так и погибли наши войска. По одному стали выходить из окружения генералы. Пришел Попель. Пришел небезызвестный Власов с кнутом, без войск. Попель вернулся недели через две или через три. Он прошел лесами Полесья, там немцев еще не было, они шли большими дорогами. Попель даже вывез раненого полковника и вывел из окружения небольшое количество войск.

Где-то в июле или в августе (наверное, в августе) меня вызвали в Москву. У нас было на фронте тяжелое положение. Я ничего не смог добавить к тому, что уже было известно Сталину, правительству и Генеральному штабу. Когда я приехал, мне сказали, что Сталин — на командном пункте Ставки. Командный пункт находился тогда на станции метрополитена возле Кировских ворот. Пришел я туда. Там стояла кушетка. Ста-

лин сидел один на кушетке. Я подошел, поздоровался. Он был совершенно неузнаваем. Таким выглядел апатичным, вялым. А глаза у него были, я бы сказал, жалкие какие-то, просящие. Я обрисовал ему обстановку, которая у нас сложилась. Как народ переживает случившееся, какие у нас недостатки. Не хватает оружия, нет даже винтовок, а немцы бьют нас. Под Киевом мы на время немцев задержали. Уверенности, что выдержим, однако, не было, потому что у нас не было оружия, да не было еще и войск. Мы собрали, как говорится, с бору по сосенке, наскребли людей, винтовок и организовали очень слабую оборону. Но и немцы, когда они подошли к Киеву, тоже были слабы, и это нас выручало. Немцы как бы предоставили нам время, мы использовали его и с каждым днем наращивали оборону города. Немцы уже не могли взять Киев с ходу, хотя и предпринимали довольно энергичные попытки к его захвату.

Помню, тогда на меня очень сильное и неприятное впечатление произвело поведение Сталина. Я стою, а он смотрит на меня и говорит: «Ну, где же русская смекалка? Вот говорили о русской смекалке. А где же она сейчас в этой войне?» Не помню, что ответил, да и ответил ли я ему. Что можно ответить на такой вопрос в такой ситуации? Ведь когда началась война, к нам пришли рабочие «Ленинской кузницы» и других заводов, просили дать им оружие. Они хотели выступить на фронт, в поддержку Красной Армии. Мы им ничего не могли дать. Позвонил я в Москву. Единственный человек, с кем я смог тогда поговорить, был Маленков. Звоню ему: «Скажи нам, где получить винтовки? Рабочие требуют винтовок и хотят идти в ряды Красной Армии, сражаться против немецких войск». Он отвечает: «Ничего я не могу тебе сказать. Здесь такой хаос, что ничего нельзя разобрать. Я только одно могу тебе сказать, что винтовки, которые были в Москве у Осоавиахима (а это винтовки с просверленными патронниками, испорченные), мы приказали переделать в боевые, велели заделать отверстия, и все эти винтовки отправили в Ленинград. Вы ничего не сможете получить».

Вот и оказалось: винтовок нет, пулеметов нет, авиации совсем не осталось. Мы оказались и без артиллерии. Маленков говорит: «Дается указание самим ковать оружие, делать пики, делать ножи. С танками бороться бутылками, бензиновыми бутылками, бросать их и жечь танки». И такая обстановка создалась буквально через несколько недель! Мы оказались без оружия. Если это сказать тогда народу, то не знаю, как отреагировал бы он на это. Но народ не узнал, конечно, от нас о такой ситуации, хотя по фактическому положению вещей догадывался. Красная Армия осталась без должного пулеметного и артиллерийского прикрытия, даже без винтовок. Вот, собственно говоря, какая обстановка

сложилась буквально в первые недели войны. Теперь расскажу поподробнее.

Не помню, на какой день в начале войны позвонил мне Сталин. Он сказал: «К вам прилетит Жуков, и вам следует вместе с Жуковым выехать к войскам, в штаб». Я ответил: «Хорошо, жду Жукова». Жуков прилетел в тот же или на следующий день. Я, конечно, очень обрадовался. Я знал Жукова и с большим доверием относился к его военному таланту. Я познакомился с ним, когда он был командующим войсками КОВО, и мне импонировало, что он приедет. Когда он прилетел в Киев, мы с ним решали, как нам получше добраться в штаб. Лететь ли на самолете? (О поезде не могло быть и речи, потому что свирепствовала немецкая авиация.) Или же ехать автомашинами? И тот и другой вид транспорта был небезопасен, потому что самолетами мы подлетали буквально к сфере фронтового огня и активного действия авиации противника. Железной дорогой — очень медленно, к тому же противник бомбит и разрушает ее. Этот путь вообще отпадал. Автомашинами? Тогда очень много говорили, что вокруг действуют парашютные десанты противника, что он высыпает их, как горох, и перерезает все коммуникации. Была опасность, что мы можем стать жертвой какого-нибудь военного десанта.

А путь был далеким. Из Киева нужно было добираться до Тарнополя несколько часов. В это время года пшеница и рожь стоят высокие, противнику на полях легко можно укрыться, поэтому диверсанты и террористы могли, сколько им угодно, использовать заросли. Тем более что нам нужно было от старой границы ехать до Тарнополя по районам, которые отошли к нам в 1939 году после разгрома Польши. Местное население было сильно засорено украинскими националистами, которые сотрудничали с немцами. Мы это уже тогда знали. Но иного выбора не было, поэтому решили ехать автомашиной. Поехали. Много было тревоги, когда мы, проезжая, останавливались, чтобы получить информацию о положении дел. В конце концов к вечеру приехали на командный пункт. Он находился северо-западнее Тарнополя, но близко от него, в какой-то деревушке. Посмотрел я, что же это за командный пункт? Была выкопана огромная яма и насыпана по ее краям вынутая земля. Больше почти ничего не было сделано. Работники штаба и канцелярия размещались в крестьянских хатах. Командующий войсками КОВО ютился в маленькой крестьянской халупе. Там же стояли средства связи, туда приходили люди и докладывали.

Положение тогда на нашем участке фронта было следующим. Пока что никакой катастрофы! Если взять направление на Перемышль и южнее, то положение было даже хорошим. Южнее Перемышля противник

ничего не предпринимал. Там у нас тянулась граница с венграми, а те пока себя никак не проявляли. На самый Перемышль противник предпринимал довольно упорные атаки, но наши войска (там располагалась 99-я дивизия) дали отпор, выбили противника из тех районов, которые были им заняты в результате начальной атаки, и заняли прочное положение в городе. Об этой дивизии много потом писали, и заслуженно. Она первой из дивизий в войну за свои боевые действия получила орден Красного Знамени, буквально в первые же дни войны. Не могу умолчать о том, что этой дивизией командовал до самой войны Власов, тот, кто потом стал предателем, изменником Родины. Он оказался очень способным командиром. В боевых соревнованиях соединений Красной Армии его дивизия занимала первое место, а уже перед самой войной Власов получил корпус, командовал корпусом, а дивизию сдал своему начальнику штаба. Под его командованием она и проявила свой героизм и вошла в историю войны как самая боевая дивизия.

Развернулись упорные бои вдоль шоссе в направлении на Броды. Как теперь известно из документации гитлеровского командования, это было направление главного удара немецких армий группы «Юг». На этом направлении она пробивалась к Киеву. Никак нельзя сказать, что гитлеровцы при первом же соприкосновении разбили там наши войска и обратили их в бегство. Совсем нет! Наши войска упорно сражались и отбивали многочисленные атаки. Мне очень понравилось, что, когда мы туда приехали. Жуков сразу же принял «на себя» информацию из войск и доклады руководства, стал давать указания. Было приятно смотреть, как умело и со знанием дела все это он осуществлял. Наше положение мы расценивали тогда даже как хорошее, считали, что можем дать должный отпор немцам.

Не помню, сколько пробыл Жуков у нас: день, два или три. Потом был получен звонок из Москвы. Жуков сказал мне, что его вызывает Сталин: «Приказал все оставить и срочно прибыть в Москву». Правильные он нам давал тогда советы. Должен сказать, что в те дни у него вид был бодрый, уверенный. Еще он сказал мне тогда, что командующий войсками у нас слабоват. «Но что делать? Лучших нет. Надо его поддерживать». Я ему тоже откровенно сказал: «Очень жалею, что ты уезжаешь (мы с ним были на «ты»). Сейчас я не знаю, как у нас пойдет дело при таком положении и с таким командованием. Но другого выхода нет». Распрощались, и он уехал.

Вскоре у нас развернулись очень тяжелые события, опять же в районе Броды. Там наступали гитлеровские танковые войска. На этом направлении мы выдвинули помимо тех войск, которые там стояли еще перед войной, механизированный корпус, которым командовал Рябышев. Не по-

мню его номера. Хороший корпус, он имел уже и новые танки КВ, несколько штук, и имел также несколько штук танков Т-34. И еще один мехкорпус, забыл фамилию командира этого корпуса. В тех боях он был контужен, и я не знаю, какое потом участие он принимал в войне. Это был тоже хорошо показавший себя командир корпуса. Вот эти два мехкорпуса мы выдвинули туда, считая, что их достаточно для того, чтобы сломить наступление противника и преградить путь его дальнейшему продвижению. Мы не знали об истинной концентрации войск противника, не знали, что тут у него было главное направление удара на юге, хотя он наступал здесь несколько меньшими силами, чем в центре фронта, на Москву. Это естественно. В Белорусском Особом военном округе и наших войск было больше, чем в Киевском. Правильно было определено, что главное направление, главная опасность — по дороге через Минск на Москву, хотя Сталин думал иначе.

Но и в направлении Киева все-таки немцы сосредоточили много войск. Основное, что инициатива была у них. На этом направлении мы получили резервную армию. Командовал ею Конев. Я его лично не знал, но перед войной однажды встретился с ним в Москве. Конев служил ранее где-то в Сибири. У него сложились плохие отношения с тамошним секретарем обкома партии. Отношения настолько обострились, что Сталин вызвал к себе руководство обкома и Конева и сам разбирался в этом конфликте, возникшем по каким-то бытовым вопросам. Тогда-то я и увидел Конева первый раз в жизни.

Прибыл Конев в КОВО, его армия разгрузилась, мы были очень обрадованы, что получили резерв. Эту армию мы сейчас же нацелили в направлении на Броды. Но, как только его армия вошла в соприкосновение с противником, последовал звонок от Сталина: «Немедленно погрузить армию Конева и содействовать скорейшей отправке этих эшелонов в распоряжение Москвы». Тут я стал упрашивать оставить армию Конева нам — у нас было тяжелое положение — и сказал: «Если армия Конева останется, то у нас есть уверенность, что мы стабилизируем положение по направлению Броды и тем самым заставим противника перейти к обороне. А может быть, нам удастся его и разбить». Да, мы думали тогда вскоре разбить немцев. Это было не просто желание, мы верили в это, хотя соотношение сил на нашем участке было бы и при наличии армии Конева, видимо, все-таки в пользу противника. Сталин выслушал меня и ответил: «Хорошо, оставляем резервную армию, но оставляем именно для нанесения удара». А спустя некоторое время — опять звонок от Сталина: «Немедленно погрузите армию Конева». Она уже вела боевую операцию, но дан приказ, и она убыла.

Мы, таким образом, остались с тем, что имели у себя к началу войны. А перевес уже наметился в пользу противника, возникла тяжкая угроза в направлении на Броды и Ровно. А это значит — в направлении Киева. Наш левый фланг оставался таким образом в тылу врага. Стало видно, что немцы рвутся клином на юг, на Киев, оставляя нашу Карпатскую группировку за собой и не ведя против нее боев. Там стояла 6-я армия, а Карпаты занимала, кажется, 12-я армия. Нависала угроза (уже виден был замысел) окружения врагом этих войск. Но я сейчас по этому вопросу специально высказываться не буду, я хочу осветить неприятный для нас эпизод, который произошел с членом Военного совета КОВО.

Когда у нас сложились тяжелые условия в районе Броды, мы с командующим войсками приняли меры для перегруппировки войск и уточнения направления нашего удара против войск противника, который наступал на Броды. Чтобы этот приказ был вовремя получен командиром мехкорпуса Рябышевым и командиром другого корпуса, фамилию которого я забыл, мы решили послать члена Военного совета КОВО, чтобы он сам вручил приказы, в которых было изложено направление удара. Этот член Военного совета выехал в корпус. Я знал этого человека мало. Он прибыл к нам из Ленинграда перед самой войной и производил хорошее впечатление, да и внешность у него была такая, знаете ли: молодой еще человек, очень подтянутый, элегантный, одевался со вкусом и приковывал к себе внимание. Ну и характер у него тоже имелся. Мне говорили военные, что он человек с претензиями. Рассказывали, что он низко оценивал командующего войсками КОВО и считал, что сам он выше него и мог бы с большей пользой, чем тот, выполнять функции командующего. Конечно, вряд ли он кому-нибудь про это говорил. Это было умозаключение людей, работавших в штабе. Ну мало ли что бывает и какие у кого появляются желания? Это было его личное мнение. А пока он занимался своим делом. Я присматривался к нему: он был неглупый человек, поэтому ничего плохого я против него не имел, да и не мог иметь.

Перед отъездом в мехкорпуса он зашел вечером ко мне. Так как у нас очень плохо обстояло дело с помещением, то наши с командующим войсками рабочие и бытовые места были в одной комнате вместе с местами дежурных офицеров. Мы спали на ходу или сидя. Никакого дневного распорядка времени у нас еще не выработалось, мы еще не втянулись в военную обстановку. И когда член Военного совета зашел ко мне, то попросил меня выйти из комнаты, так как иначе нельзя было вести доверительный разговор. Я вышел. Он говорит мне: «Считаю, что вам надо немедленно написать товарищу Сталину, что следует заменить командующего войсками Киевского округа. Кирпонос совершенно непригоден для выполнения функций командующего». Я был поражен и удивлен. Только началась война, а

член Военного совета, военнослужащий-профессионал, ставит вопрос о замене командующего. Отвечая: «Не вижу оснований для замены, тем более что война только началась». — «Он слаб». Говорю: «Слабость и сила проверяются у людей на деле. Поэтому полагаю, что надо проверить, слаб ли он».

Командующего я тоже знал не лучше, чем члена Военного совета. Знал по фамилии и в лицо, но о деловых качествах не имел представления. Прибыл новый человек и занял такой большой пост. Но я не хотел сразу же при первых выстрелах заниматься чехардой, сменой командного состава. Говорю далее: «Это произведет очень плохое впечатление, да я и не вижу оснований, я против». Потом спросил: «Кого же вы считаете тогда лучшим? Кого можно было бы назначить вместо Кирпконоса?». Он отвечает: «Начальника штаба генерала Пуркаева». Я был очень хорошего мнения о Пуркаеве, однако говорю: «Я Пуркаева уважаю и высоко ценю, но не вижу, что изменится, если мы Кирпконоса заменим на Пуркаева. К умению принимать решения относительно ведения войны чего-либо не добавится, потому что Пуркаев — начальник штаба и тоже принимает участие в разработке тех решений, которые принимаются (напомню, что начальник штаба входил в состав Военного совета КОВО). Знания и опыт генерала Пуркаева мы уже полностью используем и будем использовать далее. Я против».

Член Военного совета уехал в войска, а вернулся рано утром и опять пришел ко мне. Вид у него был страшно возбужденный, что-то его невероятно взволновало. Он пришел в момент, когда в комнате никого не было, все вышли, и сказал мне, что решил застрелиться. Говорю: «Ну, что вы? К чему вы говорите такие глупости?» — «Я виноват в том, что дал неправильное указание командирам механизированных корпусов. Я не хочу жить». Продолжаю: «Позвольте, как же это? Вы приказы вручили?» — «Да, вручил». — «Так ведь в приказах сказано, как им действовать и использовать мехкорпуса. А вы здесь при чем?» — «Нет, я дал им потом устные указания, которые противоречат этим приказам». Говорю: «Вы не имели права делать это. Но если вы и дали такие указания, то все равно командиры корпусов не имели права руководствоваться ими, а должны выполнять указания, которые изложены в приказах и подписаны командующим войсками фронта и всеми членами Военного совета. Другие указания не являются действительными для командиров корпусов». — «Нет, я там...»

Одним словом, вижу, что он затевает со мной спор, ничем не аргументированный, а сам — в каком-то шоковом состоянии. Я думал, что если этого человека не уговаривать, а поступить с ним более строго, то

это выведет его из состояния шока, он обретет внутренние силы и вернется к нормальному состоянию. Поэтому говорю: «Что за глупости говорите? Если решили стреляться, так что же медлите?» Я хотел как раз удержать его некоторой резкостью слов, чтобы он почувствовал, что поступает преступно в отношении себя. А он вдруг вытаскивает пистолет (мы с ним вдвоем стояли друг перед другом), подносит его к своему виску, стреляет и падает. Я выбежал. Охрана ходила по тропинке около дома. Позвал я охрану, приказал срочно взять машину и отправить его в госпиталь. Он еще подавал признаки жизни. Его погрузили в машину и отправили в госпиталь, но там он вскоре умер.

Потом мне рассказывали его адъютант и люди, вместе с которыми он ездил в корпуса: когда вернулся с линии фронта, то был очень взволнован, не отдыхал, часто бегал в туалет. Полагаю, что он делал это не в результате жизненной потребности, а, видимо, хотел там покончить жизнь самоубийством. Бог его знает. Не могу сейчас определить его умонастроение. Ясно, что он нервничал. Потом пришел ко мне и застрелился. Однако перед этим разговаривал с людьми, которые непосредственно с ним соприкасались, и они слышали его слова. Он считал, что все погибло, мы отступаем, все идет, как случилось во Франции. «Мы погибли!» — вот его подлинные слова. Полагаю, что это и завело его в тупик, и единственный выход, который он увидел, — покончить жизнь самоубийством. Так он и поступил.

Потом я написал шифровку Сталину, описал наш разговор. Существует документ, который я сейчас воспроизвожу по памяти. Думаю, что говорю точно, за исключением, возможно, порядка изложения. Самую же суть описываю, как это и было тогда в жизни. Вот даже член Военного совета, который занимал столь высокое положение, дрогнул. Не физически струсил, нет, он морально дрогнул, потерял уверенность в возможности отразить гитлеровское нашествие. К сожалению, это был тогда не единственный случай. Происходили такие случаи и с другими командирами. Вот какая была обстановка. А мы ведь еще и десяти дней не находились в состоянии войны.

Возвращаюсь к ситуации, о которой говорил перед описанием случая с членом Военного совета. Итак, мы увидели, что против 6-й армии Музыченко и 12-й армии Понеделина почти никаких активных действий со стороны противника не ведется. Было явное игнорирование нашего левого фланга со стороны немцев. Но они надеялись после вклинения танковыми войсками повернуть направо, окружить наши войска и уничтожить эти две армии. Поэтому мы с командующим решили вывести 6-ю армию, штаб которой находился во Львове, а сама она располагалась на

границе, севернее Перемышля. Ее войска стали отходить. Не помню, на сколько километров они отошли, но противник их даже не преследовал. И вдруг мы получаем резкое указание из Москвы — нахлобучку за то, что отвели войска. Поступил приказ — вернуть войска, чтобы они заняли линию границы, как занимали ее раньше. Мы ответили: «Зачем же ее защищать? Ведь не ведется военных действий против этих двух армий. Противник сосредоточил главные силы на направлении Броды, уже виден его замысел. Он может окружить наши войска, и они потом не смогут выйти из-под флангового удара». Но нам приказали вернуть армии, и мы это сделали. Мне было очень обидно и горько так поступать. У меня сложилось впечатление, что эти две армии могут погибнуть. Они будут драться в окружении, но уже не будут использованы с тем эффектом, как если бы мы расположили их на направлении главного удара врага. Однако ничего не поделаешь, приказ есть приказ, и мы его выполнили.

Я полагал тогда (сейчас не помню, не сам ли Жуков звонил из Москвы по этому вопросу?), что Жуков тут не прав. Я носил при себе свою мысль все годы, и когда Жукова освобождали от должности в 1957 году, а я выступал с критикой его деятельности, то вернулся к этому моменту первых дней войны, к запрещению отвести армии из района Перемышля и Львова. В результате 6-я армия погибла потом в окружении, как погибла и 12-я армия. Я сказал: «Вот такой способный военачальник, как Жуков, а тоже совершил ошибку». Он ответил: «Это не моя инициатива, это было указание Сталина». Сейчас я не могу вступить с ним в спор, было ли это указание Сталина. Возможно, конечно, что так и было, но на основе доклада Жукова, потому что Жуков только что прибыл в Москву с нашего фронта и, думаю, был в этом вопросе главным советчиком. Если бы он сказал, что приказ Военного совета КОВО верен, то Сталин, во избежание окружения этих армий, может быть, и не дал бы своего указания возвратиться армии назад. А сейчас я не знаю конкретного инициатора того приказа и, следовательно, реального виновника гибели этих двух армий, попавших затем в окружение.

Можете ли вы представить себе то тяжелое для нас время, когда Гитлер двинул против нас полнокровные высокотехнологизированные соединения, а мы лишились такой солидной силы, как две армии, 6-я и 12-я? Они потом отступали, немцы на них наседали и в конце концов в районе Умани окружили их. Обе они со штабами и командующими попали в плен. Если бы 6-ю армию мы могли раньше использовать, то могли бы взять часть ее дивизий, чтобы организовать удар во фланг врагу в районе Броды. Неизвестно, что произошло бы. Если бы даже мы не задержали его полностью и не разбили эту группировку, то во всяком случае мы

бы значительно ее обескровили и задержали на какое-то время. Сложилась бы совершенно другая обстановка на нашем направлении. Но мы были лишены такой возможности. Почему тут я это говорю? Мало к нам было доверия. Частым оказывалось вмешательство сверху, и не всегда оно было разумным. Вмешательство, которое стоило многих жизней и большой крови. Тут — первый случай, но дальше я приведу еще много таких случаев, которые тоже стоили тысяч и тысяч жертв, совершенно ненужных, которых можно было бы избежать, если бы больше было доверия к командующим фронтами и их Военным советам.

Через несколько дней, опять не по своей инициативе, а по указанию из Москвы, мы снялись со своего командного пункта. Нам приказали перенести штаб в Проскуров, то есть мы отходили на большую глубину. Мы были удивлены, так как на нашем направлении обстановка была еще не такая плохая, которая вынуждала бы принимать такие меры: отойти и расположить штаб в большой глубине за нашими войсками. Но это было указание из Москвы. Не помню, ссылались ли на имя, но все считали, что раз звонят из Москвы, значит — указание Сталина. Снялись мы с места и стали перемещаться. Это была ужасная картина. Сотни машин двигались от линии фронта в тыл с семьями офицеров. Имелось много семей офицеров во Львове, Дрогобыче, Перемышле. Вместе с ними двигались беженцы. Но крестьян среди них не было. Западноукраинские крестьяне не уходили от немцев. Видимо, тут сказался результат агитации украинских националистов, которые ожидали немцев с другими чувствами, чем мы. Крестьяне были обмануты обещанием того, что Гитлер несет освобождение Украине. Так морочили голову крестьянам Западной Украины националисты, бандеровцы.

Как только мы прибыли в Проскуров и развернули штаб, тут же позвонил Сталин. Я разговаривал с ним. Сталин говорит: «Вы сейчас же переезжайте в Киев и в Киеве немедленно организовывайте его оборону». Мы так и сделали, хотя не знали, что делается у нас на правом фланге фронта в целом. Каково положение на Западном фронте, нам было неизвестно. Прибыли мы в Киев, а противник двигался за нами буквально следом, только по другому шоссе: мы — по Тарнопольскому, а он, разбив наши силы на направлении Броды—Ровно—Коростень, продвигался севернее на большой скорости. И под Киевом сложилось буквально безнадежное положение.

Сейчас не могу сказать, какой тогда был день войны. Войск у нас фактически не имелось, фронт был прорван. Противник вырвался вперед подвижными войсками, а наши войска остались далеко в его тылу и там вели бои. Противник подошел вплотную к Киеву, вышел на Ирпень. Река Ирпень — небольшая, но заболоченная. Перед этой рекой еще в 1928—1930 годы был

сооружен Киевский укрепленный район. Там имелись железобетонные доты с артиллерией, но имелись прежде: они были разрушены по предложению Мехлиса. Сталин приказал разоружить их, с тем чтобы наше командование не оглядывалось назад, а устремило свои взоры на укрепление новой границы, которую мы получили в результате разгрома немцами Польского государства. А теперь, когда нам так был бы нужен этот укрепленный район, он разоружен. Железобетонные сооружения сохранились, но оружия в них не было: ни артиллерии, ни пулеметов и не было войск. Поэтому мы начали собирать буквально все, что только могли: винтовки, пушки и прочее, с тем чтобы как-то построить оборону.

Назначили командовать этим участком генерала Парусинова. Сейчас я о нем ничего не знаю. Он уже тогда был в годах. У меня сложилось о нем хорошее впечатление. Но он занимался в тот момент тылами. Я не помню, как называлась тогда его должность. По-моему, начальник тыла фронта, но не уверен. Но у нас другого человека не было, и мы назначили его. Он как-то распределял то, что мы имели и что собирали, и строил оборону города. А немцы расположились на западном берегу реки Ирпень. Никаких попыток перейти Ирпень они не предпринимали. Мост там был такой паршивенький, деревянный. Мы его взорвали, конечно. Думаю, что немцы прорвались все же небольшими передовыми танковыми частями, но пехоты у них не имелось, и форсировать эту преграду (я бы сказал, не реку, а болото) они не стали. Отложили на более позднее время.

Обстановка у нас была тяжелейшая. Шутка ли сказать, противник подошел к Киеву, вышел на Ирпень! В городе началась паника. Это естественно. Помню, как ночью (я сидел на лавочке) ко мне подошел командующий воздушными силами КОВО генерал Астахов. Очень порядочный, добросовестный человек, внешне степенный и тучный. Он своей внешностью как бы олицетворял само спокойствие. Говорит: «Лишились мы в этих боях почти всей авиации. А сейчас противник не дает нам и носа показать». И разрыдался. Мимо проходили военные, и я его начал успокаивать, а потом прикрикнул на него: «Успокойтесь, товарищ Астахов! Посмотрите, ходят люди, увидят, что генерал в таком состоянии. Нам воевать надо и, следовательно, надо владеть собой». На него это как-то подействовало, но он долго еще не мог прийти в себя. Астахов — очень знающий свое дело человек. Но прежде он был уверен, как и все другие, что мы неприступны, что наша граница «на замке», как в песнях пели, и что воевать мы будем на чужой территории. И вдруг мы оказались через несколько дней с начала войны под Киевом. Оказались в таком положении, что Киев и держать нечем, нет сил: ни вооружения, ни солдат.

Все, что мы могли, мы направили на организацию обороны Киева. Не сдать Киев! Дать отпор врагу! Строили оборону с запада по течению Днепра, правее Киева, то есть на правом фланге, выше города. А к югу от Киева было довольно большое пространство, которое занимали наши войска. Прежде всего, в этом направлении отступали 6-я и 12-я армии. Они уже попали в окружение, но вели бои и наносили противнику довольно большой урон. Мы стали организовывать дело так, чтобы с востока разорвать кольцо и помочь этим армиям выйти из окружения. Уже в ходе отступления штабы этих двух армий объединились.

Для защиты Киева мы решили создать новую армию и назвали ее 37-й. Стали искать командующего. Нам с Кирпоносом предложили ряд генералов, которые уже потеряли свои войска и находились в нашем распоряжении. Среди них очень хорошее впечатление производил Власов. И мы командующим решили назначить именно Власова. Отдел кадров КОВО тоже его рекомендовал и дал преимущественную перед другими характеристику. Я лично не знал ни Власова, ни других «свободных» генералов, даже не помню сейчас их фамилий. Если обратиться к свидетелю, то у меня есть свидетель, который сейчас жив, здоров, и желаю, чтобы он жил еще тысячу лет, — Иван Христофорович Баграмян. Он был тогда в звании полковника начальником оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта. Очень порядочный человек, хороший военный и хороший оперативный работник, сыгравший большую роль в организации отпора гитлеровскому нашествию на тех участках, где ему поручали заниматься этим делом.

И все-таки я решил спросить Москву. Мы находились тогда под впечатлением того, что везде сидят враги народа, а особенно в Красной Армии. И я решил спросить Москву, какие имеются документы о Власове, как характеризуется он, можно ли доверять ему и назначить на пост командующего армией, которая должна защищать Киев. Войск-то нет, их еще надо собрать, и все это должен делать новый командарм. Позвонил Маленкову, больше звонить было некому. Но так как Маленков занимался в ЦК кадрами, то это был вопрос и к нему тоже. Правда, он сам ничего о Власове не знал, но люди, которые в Генеральном штабе занимались кадрами, должны были сказать ему свое мнение. Я спросил его: «Какую характеристику можно получить на Власова?» Маленков ответил: «Ты просто не представляешь, что здесь делается. Нет никого и ничего. Ни от кого и ничего нельзя узнать. Поэтому бери на себя полную ответственность и делай, как сам считаешь нужным».

При таком положении дел, хотя у нас никаких данных на Власова не имелось, мы знали, что военные рекомендовали именно его. Поэтому мы

с Кирпоносом решили назначить его командовать 37-й армией. Он начал принимать бойцов из отступающих частей или выходящих из окружения. Потом пополнение получили кое-какое. Вскоре прибыл целый пехотный корпус под командованием генерала Кулешова. Этот корпус пришел с Северного Кавказа. Хороший корпус, но неподготовленный. Морально он не был подготовлен, не обстрелян, что естественно, ведь война только началась. Мы вывели его в Киевский укрепленный район и поставили на самый угрожаемый участок — защиту Голосеевского леса, непосредственных подступов к Киеву с юга. Мы ожидали удара не с севера. Там трудные природные условия, мы прикрывались Ирпенем. Потом тут была 5-я армия в довольно хорошем состоянии. Ею командовал генерал Потапов.

Его соседом по фронту был командарм-6 Музыченко. На Музыченко лежала перед войной тень: не является ли он предателем в рядах Красной Армии? В результате чего так думали? Перед войной он выехал в войска, то ли проводить учения, то ли просто проинспектировать свои части на границе. Штаб 6-й армии стоял во Львове. Дома осталась у него одна жена. И еще у него была домработница. Какой-то молодой человек ухаживал за ней, и тут ничего такого противоестественного не было. Видимо, так же относились к этому Музыченко и его жена. Но, как оказалось, это ухаживание было не простым увлечением. Здесь преследовались политические, разведывательные цели. Этот «ухажер» выбрал момент, когда Музыченко выехал в войска (а к тому времени он уже завоевал себе право приходить в дом и приучил домашних положительно относиться к его появлению), и появился ночью. Жена Музыченко спала. Вдруг открывается дверь, заходит он в спальню и требует ключи от сейфа. Она испугалась. Потом она так вспоминала: «Я спала. Раздетая была. Он подошел, бесцеремонно сел на постель и в довольно вежливом тоне, как бы играючи, начал вести разговор. Никаких поползновений на мою честь он не проявлял и разговаривал любезно, но требовал ключи. Я сказала ему, что ключей у меня нет. Командующий никогда ключей не оставляет, тем более у меня, он берет их всегда с собой или же сдает. Куда, мне неизвестно. Я же никакого отношения к ключам не имею и никак не могу выполнить ваше требование. Он долго и настойчиво требовал ключи, хотя пересыпал разговор шутками и игровой беседой, чтобы не запугать, а, может быть, расположить к себе, с тем чтобы я отдала ключи. Кончилось тем, что он ушел».

Подробно это описано, видимо, в архивах органов госбезопасности: жена Музыченко давала показания. Сбежала и девушка-домработница. Тогда стало ясно, что домработница подслана украинскими национа-

листами. Она-то и привела этого агента немецкой разведки, который хотел завладеть ключами, но не получил их. Когда Сталин узнал об этом случае, то спрашивал меня насчет Музыченко. Я ответил, что у нас нет абсолютно никаких данных для недоверия к генералу. Я опрашивал много военных, и все дают ему очень положительную характеристику и как военному, и как человеку, и как члену партии. Здесь, видимо, налицо просто наглость чужой разведки. Жена его тоже не может быть агентом. Никаких данных к этому нет. Люди, знающие ее, тоже говорят, что она женщина порядочная. Это просто имела место доверчивость. Вопрос о Музыченко стоял на острие ножа: оставить его или освободить от командования армией? Долго обдумывали и все-таки решили оставить его на месте. Музыченко продолжал командовать 6-й армией. Ему было оказано полное доверие, и хотя этот инцидент, безусловно, оставил свой след, но на службе, я думаю, это не отразилось. Я, например, к нему отнесился после этого по-прежнему с доверием.

Теперь его армия сражалась южнее Киева. Главная опасность для Киева была как раз с юга, со стороны Белой Церкви. Развернулось и тут строительство обороны. Через какое-то время немцы подтянули свои войска и приступили непосредственно к операции по захвату Киева. Помню, что, когда сложилась тяжелая обстановка в направлении Белой Церкви, мы с Кирпоносом решили выехать в войска, оценить обстановку и принять меры к тому, чтобы наши войска не бежали. В это время командный пункт фронта находился в Броварах, то есть на восточном берегу Днепра, километрах в 25-ти от Киева в направлении Чернигова. Железобетонный командный пункт, который был фундаментально сделан в мирное время для штаба КОВО в Святошино, занимал теперь штаб 37-й армии. Я сейчас не помню имени начальника штаба армии, но он на меня тоже произвел хорошее впечатление.

Приехали мы в штаб армии вместе с Кирпоносом и встретились сперва с начальником штаба. Почему-то отсутствовал командующий армией. Потом и он приехал. Власов доложил обстановку, говорил довольно спокойно, и мне это понравилось. Тон у него был вселявший уверенность и говорил он со знанием дела. Мы предложили сейчас же поехать в Голосеевский лес, где был расположен прибывший к нам стрелковый корпус из трех дивизий. Мы и раньше выезжали в корпус Кулешова. При первой встрече с войсками противника солдаты этого корпуса показали себя очень плохо. Началась паника, корпус отступил. Возникла опасность, что люди разбегутся. Тогда мы выехали туда, чтобы восстановить порядок. Был поставлен на ноги военный трибунал. Развернуты заградительные отряды. Приняты все меры, которые принимались в таких случаях

для восстановления порядка и дисциплины. Строгие меры! Имели место суды на поле боя. Тут же приводились в исполнение суровые приговоры, которые необходимы только в такой тяжелой обстановке. Мы увидели, что Кулешов плохо управляет войсками. Может быть, тогда мы погорячились, потому что у него не было опыта, как и у его солдат. Он был тоже необстрелянный человек. Но, так или иначе, мы его освободили и назначили нового командира корпуса. Сейчас не помню его фамилию, по национальности он был еврей.

Когда мы приехали туда во второй раз, то командовал корпусом уже этот новый командир. Приехали мы с Власовым. Обстановка была такой: немцы вели артиллерийско-минометный огонь и бомбили этот район с воздуха. Когда мы подошли к командиру, он сидел на каком-то полевом стуле, а стол перед ним был накрыт кумачом. Стоял телефон. Тут же была вырыта щель-убежище. С ним были какие-то люди. Он стал докладывать нам обстановку. В это время немцы обстреливали нас из минометов и строчили их пулеметы, но их самих не было видно, только шел гул по лесу. Власов держался довольно спокойно (я поглядывал на него). У него была вырезана трость из орешника. Он этой тростью похлопывал себя по голенищу. Потом он предложил, во избежание неприятностей, залезть в щель. Нас мог поразить какой-нибудь осколок. Мы послушались его совета, залезли в щель. Там заслушали комкора. Командир корпуса произвел на меня очень хорошее впечатление своим спокойствием, уверенностью и знанием обстановки. Мы уехали, пожелав ему успеха.

Буденный приехал к нам еще в ходе упорных боев за Киев. Я спросил: «Что делается на других фронтах? Я ничего не знаю, никакой информации мы не получаем. Вы, Семен Михайлович, из Москвы. Ведь вы знаете?» — «Да, — говорит, — знаю и расскажу вам». И он один на один рассказал мне, что Западный фронт буквально рухнул под первыми же выстрелами и расчленился. Там не сумели организовать должного отпора противнику. Противник воспользовался нашим ротозейством и уничтожил авиацию фронта на аэродромах, а также нанес сильный урон нашим наземным войскам уже 22 июня, при первом же ударе. Фронт разваливался. Сталин послал туда Кулика, чтобы помочь комплектованию. Но от маршала Кулика нет пока никаких сведений. Что с ним, неизвестно. Я выразил сожаление: «Жалко, погиб Кулик». Буденный же сказал: «А вы не жалеете его». И это было сказано таким тоном, который давал понять, что Кулика считают в Москве изменником; что он, видимо, передался противнику. Я знал Кулика, считал его честным человеком и поэтому сказал, что мне его жалко. «Ну, вы не жалейте-

те его, не жалейте», — повторил Буденный. Я понял, что, видимо, он имел какой-то разговор об этом со Сталиным.

Зачем Буденный приехал, трудно сказать. Пробыл у нас недолго. А вечером спросил: «Где мы будем отдыхать? Давайте вместе ляжем спать». Я согласился. «А где? У вас? Где вы отдыхаете?» Говорю: «Вот тут я и отдыхаю». Вышли из дома. Снаружи была разбита палатка и в ней набросано сено. «Вот здесь в палатке я и сплю». — «Да вы что?» Я объяснил ему: здесь, где наш штаб, — болото, нельзя рыть щели, появится вода. Поэтому я спасаюсь при авиабомбежке в палатке. Буденный: «Ну ладно. Раз вы здесь, то я тоже с вами». И мы легли, поспали несколько часов, отдохнули. Рано утром нас разбудила немецкая авиация. Самолеты на бреющем полете летали над поселком и бомбили его. Наши зенитки вели огонь. Никакого попадания в самолеты в поле зрения не было видно. А наши самолеты не появлялись. Я рассердился и возмутился этим. Обращаюсь к Астахову: «Ну что же это такое? Почему они безнаказанно летают и бомбят, а мы не можем ничего сделать?» Немцы уже отбомбились и улетели. Астахов докладывает: «Столько-то самолетов было сбито». Я спросил: «А где сбитые? Я не видел, чтобы они падали». — «А они упали за Днепром». — «Ну, если они упали за Днепром, то можно докладывать, что сбито их даже больше». Думаю, что Астаховым был взят грех на душу. Может быть, и сбили что-то, но меня очень обескуражило его заявление, и я сказал: «Бойцы видят, как безнаказанно летают немцы, а мы не наносим противнику урона».

Буденный вскоре уехал от нас. В войска он не ездил, вернулся в Москву. С какими заданиями приезжал (а иначе и быть не могло — это же не экскурсия), мне было неизвестно, он мне этого не сказал. Просто поговорили с ним, он заслушал обстановку, заслушал командующего войсками и начальника оперотдела штаба Баграмяна. Его беседа с Баграмяном произвела на меня тяжелое впечатление. Я ее хорошо запомнил и до сих пор не могу забыть. Дело было после обеда. Буденный слушал Баграмяна, который докладывал об обстановке. Баграмян — очень четкий человек, доложил все, как есть, о всех войсках, которые у нас тогда были: их расположение, обстановку. Тут Буденный насел на Баграмяна. Отчего, не знаю конкретно. Я особенно не придавал тогда значения этой беседе. На военном языке это означает: разбираться в обстановке. Начальник оперативного отдела штаба докладывал обстановку Маршалу Советского Союза, присланному из Москвы.

Помню только, что закончился разбор обстановки такими словами: «Что же у вас такое? Вы не знаете своих войск». — «Как не знаю, я же вам доложил, товарищ маршал», — отвечает Баграмян. «Вот я слушаю

вас, смотрю на вас и считаю — расстрелять вас надо. Расстрелять за такое дело», — таким писклявым голосом говорит Семен Михайлович. Баграмян: «Зачем же, Семен Михайлович, меня расстреливать? Если я не гожусь начальником оперативного отдела, вы дайте мне дивизию. Я полковник, могу командовать дивизией. А какая польза от того, что меня расстреляют?» Буденный же в грубой форме уговаривал Баграмяна, чтобы тот согласился на расстрел. Ну, конечно, Баграмян никак не мог согласиться. Я был даже удивлен, почему Семен Михайлович так упорно добивался «согласия» Баграмяна. Конечно, надо учитывать, что такой «любезный» разговор происходил между Маршалом Советского Союза и полковником после очень обильного обеда с коньяком. И все-таки, несмотря на это обстоятельство, форма разговора была недопустимой. Он велся представителем Ставки Верховного Главнокомандования и, конечно, никак не отвечал задачам, которые тогда стояли, и не мог помочь делу и нашим войскам. Это тоже свидетельствует о том, какое было состояние у людей. Семен Михайлович совершенно вышел тогда за рамки дозволенного. Но мы просто посмотрели тогда на этот разговор несерьезно. Хотя он и касался жизни человека, однако обошелся без последствий. Семен Михайлович уехал, а мы остались в прежнем тяжелом положении, которое после его приезда не улучшилось и не ухудшилось.

СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОВОРОТ

Перед началом нашего контрнаступления настроение у нас резко поднялось. Мы распрощались, пожелали друг другу успеха и разъехались. Я сел в машину с Поповым, Василевский поехал к Толбухину. Вернулись мы к рассвету. Дороги были хорошие, ровные. Степь. Путь был нам знаком, и мы мчались на большой скорости. Приехали к Труфанову. Все было готово, строго расписано, люди находились на местах, каждая часть получила свою задачу. Следовало только выждать время, которое намечено для начала операции, и потом начинать. Мы решили ограничиться артиллерийской подготовкой. Авиацию использовать не могли, потому что утром стояли густые туманы и летать было невозможно. Мы боялись, что авиация разбомбит наши же войска.

Для нас было, конечно, большим уроном, что не смогли нанести авиационный удар по переднему краю противника. Это еще больше дезорганизовало бы его, создало панику в румынских войсках и облегчило задачу прорыва их линии обороны. Но не возникло такой возможности. Однако мы считали, что и артиллерией сможем способствовать прорыву линии обороны, потом тотчас введем в прорыв танковые войска, а за танками, когда они развернутся, пустим кавалерию — бросим кавалерийский корпус по тылам противника, чтобы дезорганизовать его тылы.

Наступило 20 ноября. Мы с командующим армией сидели на его командном пункте. Все было подготовлено. Артиллерия, как говорится, на взводе; пехота, механизированный корпус и кавалерийский корпус заняли позиции. Вот дан сигнал ракетой, и артиллерия открыла огонь. У меня создалось впечатление, что земля загудела. Мы вели очень интенсивный огонь. Но не помню сейчас, сколько у нас стояло орудий на один километр линии фронта. Позже, когда вели бои под Киевом, мы поставили на главном направлении 370 стволов на километр. Потом и это количество было превзойдено. Тут и наполовину не было. Но по тому времени считалось, что много, что это большая артиллерийская мощь. И действительно, противник был дезорганизован. Кончили артподготовку и приказали пехоте занять окопы противника. Пехота, сей-

час же начав продвигаться, особого сопротивления со стороны румынских войск не встретила. Румыны занимали там довольно выгодные позиции. Во-первых, они своевременно окопались. Во-вторых, находились на возвышенности. Небольшая, но все-таки возвышенность, так что они лучше нас просматривали местность перед передним краем, нашим же войскам нужно было преодолеть сначала этот подъем, чтобы занять их позиции. Выгода по рельефу была на стороне противника, и он имел возможность выбора, когда возводил оборону.

Наши войска ворвались в окопы и повели рукопашный бой. Противник отходил. Мы приказали Вольскому вводить механизированный корпус в прорыв. Ждем, танков все нет да нет. Мы стали уже волноваться. Как же? Мы ведь теряем время. Враг может сорганизоваться и построить новую оборону на каком-то удалении в тылу, оставив передний край. Мы предполагали, что у него имеются там заранее оборудованные позиции. А танков нет. Что такое? Уже рассвело. Солнце сияет. Его самого не видно, потому что стоял туман, но все предвещало, что туман скоро рассеется. А механизированный корпус никак не может войти в прорыв! Мы с Поповым решили: сядем на машину и поедем к Вольскому. Мы знали, где он находился. Проедем по его бригадам и буквально, как говорится, будем подталкивать их в спину или в другое место, чтобы ускорить выступление.

Когда мы с Поповым приехали в расположение танковых войск, то их организация произвела на меня неприятное впечатление, такой там был базар. Все хорошо видно, в поле ни кустика, и танки, и автомашины, и люди в открытую. Нам повезло, что стояла нелетная погода и самолеты врага не поднялись в воздух. Если авиация противника летала, то я не знаю, что бы она нам наделала в танковом корпусе, а уж о кавалерии и говорить нечего. Конечно, противник не сорвал бы наше наступление и задача все равно была бы решена, но урон он нанес бы нам немалый. Там была просто Сорочинская ярмарка, базар какой-то. Ведь коня и обоз не зароешь в землю, все в чистом поле. Картина была, я бы сказал, ужасная. Приехали к Вольскому, Вольский все еще возился с командирами бригад, ставя им задачи. Мы начали его торопить — пора кончать, задачи следовало поставить раньше. Разъехались мы по частям, стали выталкивать в наступление механизированный корпус. Я тогда считал, что это недосмотр Вольского, что он не подготовил своих командиров бригад. Позже я понял, что там, видимо, дело заключалось в другом; комбриги уже были проинструктированы и каждый командир получил свою задачу вовремя.

Такое потом наблюдалось не только у Вольского, а и у других коман-

дивов танковых войск. Они нарочно медлили, выжидая, когда пехота расчистит путь, чтобы не подставлять танки под огонь и не терять их при прорыве. Ждали, чтобы был развернут прорыв и легче было бы войти в него танковым войскам. К сожалению, такие рассуждения я потом слышал часто, да и не только слышал, а и сталкивался с ними у многих танкистов. Не буду называть фамилии. Сейчас эти люди занимают довольно высокое положение. Они прекрасно воевали и хорошо закончили войну. Но за многими мною замечался этот грех. Наконец Вольский сдвинулся. А мы все ходили по полю, по его базару. Смотрю, летают два самолета над передним краем противника и бомбят его. Я говорю: «Смотри, товарищ Попов, что же это такое? Чьи это самолеты? Вроде как наши. Да ведь там сейчас нет противника, он выбит, как же так? Может быть, это противник бомбит наши войска?» Мне было непонятно, Попову тоже. Конечно, в общем и целом мы радовались. Хорошее было настроение, что наша берет! Мы передний край прорвали, пошла в дело пехота. Но нас беспокоили эти два самолета. Потом, смотрим, эти самолеты поворачивают в нашем направлении и летят на бреющем полете над этим базаром, над танками и лошадьми. А все открыто как на ладони. Вот самолеты заметили наш «виллис» и летят прямо на него. Вроде бы наши самолеты? Попов: «Давайте-ка выскочим, разбежимся и зальжем. А то черт его знает, что получится». Выскочили из «виллиса», он в одну сторону, я — в другую. Самолеты прострочили по нам из пулеметов. Попов потом говорил, что очередь близко легла от него. Около меня — тоже, но не в непосредственной близости, потому что я не слышал чмокания пуль о землю. Улетели самолеты. Я говорю: «Все-таки наши. Почему же они нас обстреляли? Как они могли спутать? Этот район обозначен на всех картах, какими могли пользоваться наши летчики, район сосредоточения танковых войск и кавалерии для броска в прорыв».

Вытолкнули мы корпус вперед и вернулись на командный пункт к Труфанову. И он нас уже порадовал первыми пленными. Сперва захватили десятка два, потом их стало больше. Среди пленных, помню, был один с фамилией Чайковский, русский, как он сказал мне, из Кишинева. Еще один пленный — очень интересный румын. Я его допрашивал. Из него ничего не надо было выжимать. Он сам понимал, насколько ложно положение румынских войск, понимал, что война идет не в интересах Румынии, а в интересах Германии, что Антонеску принес свою страну в жертву немцам. Мне его не приходилось пропагандировать. Он сказал, что он сын священника и что его настроения — не только лично его, такие же настроения присущи многим командирам, с которыми ему приходилось общаться. Я ему: «Вы, может быть, согласитесь написать

тогда листовку или письма к этим командирам, чтобы они отказались от сопротивления советским войскам, сдались бы в плен и помогли тем самым и Румынии в борьбе против общего врага, против Гитлера?» — «Да, охотно соглашусь. Дайте мне бумагу, и я это сделаю».

Чайковский же по части листовок меня не интересовал. Он ведь был русский, так что фамилия Чайковский не произведет на румын впечатления, если он даже станет призывать их сдаваться в плен. А вот коренной румын, офицер румынской армии, кажется, ротой командовал, сын священника. Все это на румын, особенно на верующих людей, могло произвести впечатление. А Чайковскому я говорю: «Как же вы позорите такую громкую фамилию?» — «Да я, — отвечает, — понимаю, я знаю принадлежность фамилии, которую ношу. Но и вы поймите: не только я, а и другие русские были мобилизованы. Мы воевать не хотели. Свидетельство этому — мы у вас в плену в первые же часы боев. Это само гласит о том, что я не хотел воевать и при первой возможности сделал все, чтобы сдаться в плен. Другие действуют так же».

Потом пленные поступили в распоряжение разведки, а мы пошли в войска. Надо было не только продвигаться вперед, но и сделать все, чтобы ускорить продвижение. Нас прежде всего интересовали подвижные войска Вольского, и мы поехали туда. Теперь рассказывать по дням, в хронологическом порядке, что происходило (думаю, каждый понимает мое положение), невозможно. Я помню сейчас только общую картину или отдельные яркие события. Были, например, какие-то забавные случаи. Как и во всякой трагедии, так и в ходе войны тоже происходили комические явления.

Вольский двинул танки. Сопротивление оказывалось слабое. Можно сказать, что вообще не было организованного сопротивления. На участке, где действовали наши главные силы, Вольский взял много пленных, много у врага было и убитых, очень много. Мы предупреждали Вольского, чтобы ни в коем случае не допускалось какого-либо насилия по отношению к пленным. Во-первых, это аморально. Во-вторых, опасно, потому что враг использует это против нас в своей агитации: советским войскам нельзя сдаваться в плен, они расстреливают пленных! Однако, когда мы стали продвигаться, я увидел много больших групп расстрелянных. Рядом стоят наши люди. И я сказал Вольскому: «Странное дело. Я наблюдал такую картину, что лежат расстрелянные». — «Нет, — говорит, — все убиты в бою».

Я не исключаю того, что, может быть, кое-где имело место нарушение нашей директивы под влиянием ненависти и озлобленности. Причины того были очень большие, и у каждого нашего бойца. Мы, отсту-

пая, видели, что оставляем врагу. К тому же располагали сведениями, как свирепствует враг на территории, которую занял. На Советской Украине, на территории РСФСР, в Белоруссии и на Северном Кавказе — всюду, где появлялся враг, он беспощадно уничтожал всех «ненужных» и не признавал никаких моральных факторов. Гитлер издевался над этими факторами, победителю все было дозволено. Надо уничтожать русских, деморализовать их, запугать.

Это наши солдаты знали. И если где-то были допущены злоупотребления и нарушения приказа, то, как говорится, пусть будет прощено этим людям. Тут не проявилось какое-то органическое свойство наших людей. Это был результат навязанной нам войны, которая обострила человеческие чувства. Все это, конечно, понятно людям, которые воевали и хотят с точным пониманием отнестись к акциям, которые иной раз применялись в те дни.

Помню, раз после проведенного наступления мы ехали поздно ночью. Степь. Дорог нет. Ездить было опасно, потому что всегда можно было наткнуться на шальную мину, закопанную в неожиданном месте. Вот едем мы и не уверены, что в правильном направлении. Нет никаких ориентиров, ни кустиков, ни населенного пункта. Голая степь. Ориентироваться надо по звездам. Но по звездам воевать даже в степи невозможно. Видим, мерцает какой-то огонек. Сейчас же взяли направление на этот огонек на своих «виллисах». Выскакивает из машины Попов. Он был человек с жизнерадостным характером и хохочет во все легкие: «Товарищ Хрущев, идите сюда, взгляните, живых чертей увидите».

Я вышел из «виллиса», подошел. Сидят наши солдаты, развели небольшой костер. Большой костер там не разведешь, нет дров. Они все, что могло гореть, собрали в степи. Достали где-то воду и кипятят чай, склонившись над костром. Закоптились — просто страх. У них только, как у негров, сверкают зубы и глаза. Действительно, черти, да еще ночью! А молодые парни улыбаются, видят, к ним приехали генералы. Я тогда не имел еще воинского звания, но был в военной форме. Они-то сразу увидели, что приехала какая-то военная «шишка». Мы расспросили их. Что-то у них сломалось в машине, не то горючее кончилось. «Вот, ждем, когда нам помогут». Это были артиллеристы противотанковых орудий — одной или двух пушек. Мы с ними слегка пошутили. Нам же они что-либо толковое сказать не могли, сами не знали событий, ответили лишь, из какой они воинской части.

На следующий день мы опять разъезжали по фронту и натолкнулись на другую забавную картину. Я о ней много раз рассказывал Сталину. Трясется арба. Сидят человек пять-шесть румынских солдат, один пого-

няет лошадей. Едут на восток. Попов спрашивает: «Куда едете? Кто такие?» Один румынский солдат сует нам записку в руки, Попов взял и читает: «При сем следует столько-то румынских солдат, лошадей и арба. Едут на восток, к Волге, для сдачи в плен». И подпись: лейтенант такой-то. Мы посмеялись. Румыны смотрят, что мы настроены незлобно, и тоже приободрились. Попов вернул им записку и сказал: «Езжайте в том же направлении, в каком едете», — и махнул рукой. И они отправились в путь.

Приехали мы в Плодовитое. Это село. Там всюду такие интересные, жизнеутверждающие названия населенных пунктов. Видимо, когда шло заселение этих степных, полупустынных земель, люди, которые приезжали, давали новым местам красивые названия. Подходит к нам лейтенант и обращается ко мне: «Хочу спросить, что мне делать с пленными?» — «А сколько у вас пленных?» — «Человек триста». — «А где они?» — «А вот здесь — недалеко». Мы с Поповым пошли туда. Видим, стоит огромная толпа пленных. Мы стали их расспрашивать через переводчика. В это же время подъезжает на коне еще один лейтенант: «Разрешите обратиться? Что мне делать и куда направить пленных?» — «Сколько их у вас?» — «Тысячи три, наверное». «Где же эти пленные?» — «Вон там, за церковью».

Подъехали. Там растянулась огромная их шеренга, придерживаясь какого-то расчетного порядка. Лейтенант докладывает, что здесь находится полк полного состава румынской артиллерии большого калибра. Он сдался в плен во главе с командиром полка. Я подумал: черт его знает, целый артиллерийский полк оказался в нашем тылу, он может наделать нам неприятностей. Говорю: «Скомандуйте, чтобы все офицеры вышли вперед. Надо офицеров отделить от солдат и отдельно увести их в глубь страны, на приемный пункт. В поле лежит очень много оружия, от стрелкового до пушек. Они могут наделать нам неприятностей, имея готовые артиллерийские расчеты». В тылу ведь у нас там ничего не было. Вышли вперед их офицеры. Командира полка лейтенант пригласил подойти к нам.

Подошел человек солидного возраста и доложил спокойно: «Я командир полка. Даже чехлы не приказал снять с орудий, не вел огня и решил сдать в плен с полком в полном составе и при полном вооружении. Вот я вам и сдаю все: и офицеров, и солдат, и артиллерию». Я говорю ему: «Господин полковник, а вы не согласились бы обратиться с воззванием к румынским солдатам и офицерам, чтобы они прекратили сопротивление и сдавались в плен? Если вы сами так сделали, то понимаете правильно, что война против нас навязана вам Гитлером. Вы не хо-

тите ее вести и для себя ее уже закончили. Так помогите и тем, кто еще находится по ту сторону линии фронта, пусть они последуют вашему примеру». Он отвечает: «Охотно! Дайте возможность, я напишу письмо». Потом я, расспрашивая его, сказал ему об офицере, с которым беседовал раньше и который написал подобную же листовку. Он, оказывается, знал этого офицера. В своей листовке тот офицер, как я узнал потом, адресовался как раз к этому полковнику. Действительно, когда я читал листовку того офицера, сына попа, с которым беседовал раньше, он обращался именно к этому полковнику: «Не воюйте вы против своей совести! Я знаю ваше настроение. Надо кончать войну!» А когда я вернулся в штаб, мне листовку дали, чтобы я приказал ее напечатать. Но потребности в ней уже не было: часть, к которой она адресовалась, сдалась и оказалась у нас в плену. Мы указали, чтобы румынских офицеров увели отдельно, а солдат отдельно.

Операция же продолжалась успешно. Наши войска продвигались вперед, и мы буквально наслаждались плодами первых больших побед. Трудно передать словами, какая тогда была радость и как мы ликовали. Впервые за войну на нашем направлении мы успешно прорвали вражеский фронт и развиваем наступление, разгромив все, что стояло перед нами, и почти не встречая сопротивления. Правда, мы понимали, что перед нами находятся не немцы, а румыны. Они были нестойки, потому что знали, что эта война не отвечает интересам Румынии. Но все-таки это был враг. Имелись, как говорится, румыны и румыны. Уже совершенно другие. Мы-то ведь знали, как они наступали, как издевались над мирными жителями, убивали наших людей. Они пришли вместе с гитлеровскими войсками и тоже допускали зверства по отношению к советским воинам. Поэтому надо правильно понимать наше ликование, радость наших солдат и офицеров, которые просто сияли.

Не помню, на какой день наступления, третий или четвертый, мы завершили боевые действия и решили задачу, которая стояла перед нами. Наши танковые войска дошли до Советского, вышли к Дону, а войска Ватутина спустились по Дону к Калачу. Там у нас должна была состояться встреча, и мы с Поповым приехали туда. Я говорю тут неточно. Другие генералы, которые участвовали в этой операции, в своих воспоминаниях точнее, потому что они, когда писали, пользовались материалами Генерального штаба, официальными документами, по которым можно восстановить все во времени, как конкретно развивались события. У меня нет такой возможности. Итак, мы с Поповым приехали к командиру танкового корпуса войск Юго-Западного фронта. Командовал им знакомый мне генерал Кравченко. Я потом не раз встречался с ним и во время, и после войны. Сейчас он умер.

А ведь был здоровый такой, крепкий мужчина. Казалось, ему и износа нет, а он умер. Действовал же он тогда хорошо.

Когда мы зашли в помещение, которое он занимал, он сказал, что плохо себя чувствует, болен. Грипп, что ли, у него был, но он переносил болезнь на ногах. Мы поздравили друг друга и вместе порадовались, что наши фронты сомкнулись. Вот и первая встреча! Кравченко предложил: «За радость нашей встречи давайте разопьем бутылку шампанского. У меня есть трофейное, французское». — «Ну, давайте». Открыли шампанское, выпили по бокалу, отпраздновали соединение войск Сталинградского и Юго-Западного фронтов. Кравченко обратился ко мне: «Товарищ Хрушев, примите от меня подарок на память о встрече, немецкий кортик. Правда, он со свастикой, но свастика эта теперь побита. Этот сувенир будет напоминать о нашей встрече». Говорю: «Хорошо, я возьму. У меня есть маленький сын, я ему перешлю. Это будет вещественное доказательство того, что наши войска бьют немцев, и к тому же хороший подарок».

Мы недолго побыли у Кравченко, проинформировали друг друга о положении дел. Положение было хорошим. Мы не чувствовали какой-нибудь вражеской угрозы, разгромили каждый своего противника и не знали, что враг еще подтянет и с чем мы встретимся. Но это уже потом. А в данном случае мы блестяще выполнили свою задачу. Кравченко сказал, что он, как говорится, промаршировал по правому берегу Дона и не встретил большого сопротивления. Тылы у противника довольно жидкие и войсками не обеспечены. Мы радовались тому, что, когда задумывалась операция, мы в своем письме Сталину излагали план осторожно, предполагали, что есть лишь возможность провести такую операцию, но нам неизвестны ни наши резервы, если Ставка ими располагает, ни резервы противника. Выяснилось, что наши рекомендации не противоречили ни реальному ходу событий, ни тому, что рекомендовали другие командующие. Главное заключалось не в том, кто первый сказал «А», а в том, что решена задача, поставленная перед нами. Враг разгромлен, и окружены немецкие войска в Сталинграде. Теперь надо удерживать их там и тоже разгромить.

Потом мы встретились с трудностями. Об этих трудностях я говорил Жукову, когда он приезжал к нам и докладывал соображения Ставки по плану операции. Я ему тогда сказал, что свою задачу мы решить можем, потому что чувствуется, что тут у противника слабое место. А вот удерживать окруженные войска, если вы не усилите нас, мы своими силами не сможем: враг нас раздавит и выскочит из Сталинграда. Я уже рассказывал, как Жуков мне ответил: пусть враг катится туда-то, мол, из Сталин-

града; уже это будет большая победа — отбросить немцев от Волги. Я соглашался с Жуковым, но хотелось большего. Впрочем, думаю, что здесь у нас разногласий не могло быть: у Жукова было то же желание. Но теперь встала задача удержать и разгромить врага. И в тот вечер мы с Поповым решили вернуться не в штаб 51-й армии, а в штаб Толбухина. Он находился поближе к Советскому. К тому же у 51-й армии задача была решена, войска противника разгромлены, многие взяты в плен и впереди не маячило непосредственной опасности. А в Сталинграде находились главные силы противника. Теперь основным направлением становилось толбухинское, то есть не 51-й, а 57-й армии, самой слабенькой из всех на Сталинградском фронте, самой малочисленной. Поэтому мы и решили поехать к Толбухину и там проинформироваться обстоятельнее. Уже в пути узнали, что Толбухин перенес командный пункт в балку возле Наримана, ближе к Дону. Поехали туда.

Стояла осенняя южная ночь. Хоть глаз коли, никаких ориентиров. Мы стали искать эту балку, помotalись какое-то время. Я высказал Попову сомнение: «Маркиан Михайлович, по-моему, мы балку сейчас не найдем, бездорожье, мы там не были, ориентиров не знаем, попасть туда очень трудно». А он бодро отвечает: «Ну, что вы, товарищ Хрущев, для генерала главное иметь карту, компас и спидометр, чтобы отсчитывать путь, пройденный машинами. Найдем!» Стали мы искать. Позднее этот случай превратился в анекдот. Я много раз потом вспоминал его, когда встречался с Поповым. Он тоже улыбался... В каком-то населенном пункте мы встретили такую картину: лежат два обнаженных трупа немецких солдат. Ночью они хорошо видны. Отъехали подальше, лежит труп серой лошади. Это еще не ориентир. А вот и немецкие указатели. Читаем надписи. У Попова были два адъютанта, и один из них знал немецкий язык. А что толку? Куда бы мы ни поехали, всякий раз возвращались к тем же трупам. Просто заколдованное место какое-то! Без конца встречаем трупы двух голых солдат и серой лошади. Что за наваждение? Как по Гоголю. Нечистая сила водит нас вокруг этого места. Наконец слышим разговор. Кто-то едет. Мы тоже подали голос.

Приблизилась машина. Вышел из нее человек и говорит: «Я полковник, команду такой-то танковой частью». Он узнал меня и спросил: «Куда же мы едем?» — «Мы едем в балку Наримана». — «Товарищ Хрущев, не найдете вы балку Наримана. Степь ведь. Да и зачем вам ездить? Вон передний край, видно, как взвиваются немецкие ракеты (немцы очень сильно освещали свой передний край). Тут можно напереться и на мины. Я предлагаю вам, поедем вместе. Я еду в распоряжение 57-й армии, знаю дорогу и вас проведу. Я еду в лазарет, ранен в руку, сначала

крепился, а сейчас чувствую, что рана начинает беспокоить. Боюсь, как бы не было загноения. Хочу, чтобы там квалифицированно сделали перевязку и все, что нужно, с раной». Я согласился, но Попов говорит: «Нет, мы все-таки поищем сами». Распрощались, поехали. Опять слышим говор. Подъезжает автомобиль, мы остановились, вышли из своей машины.

Оказалось, что это ехал представитель Ставки, генерал, который занимался связью. Он говорит: «Я еду в штаб Толбухина на Волгу. Мне тоже нужно в балку Наримана, но я туда сейчас не поеду, потому что не найду ее, и вы тоже не найдете. Поехали вместе?» Мы опять отказались. Надеялись, что найдем эту балку. Опять мы стали искать и все время кружили возле этих трупов. Кажется, что уже далеко отъехали в каком-то направлении, а потом вдруг выясняется, что где-то «закруглились» и вновь попали на то же место.

Я дрожал от холода в бурке и Попов тоже. Чаша нашего терпения переполнилась. Подъехали мы к какому-то перекрестку, увидели несколько указателей на немецком языке. Офицер стал переводить, куда какой из них показывает. Попов так замерз, что не мог больше ждать, и говорит адъютанту: «Тащи указатель сюда!» Тот сорвал и принес. А что толку? Куда вела стрелка, теперь непонятно, направление утрачено. Пришлось добираться нам до штаба Толбухина на Волге. Мы знали, что там сможем воспользоваться баней. И что же вы думаете? Враз добрались.

Итак, состоялись разгром противника, соединение наших фронтов, завершение окружения Сталинградской группировки немцев. Было чему радоваться. Эту радость мы выстрадали всем ходом войны, жутким отступлением, былыми поражениями, другими огорчениями. Донской фронт, которым командовал Рокоссовский, тоже выполнил свою задачу. Я ничего тут о нем не говорю потому, что конкретно не помню, какая в целом задача стояла перед ним. Таким образом, с севера теперь обеспечивал позиции против немецких войск Донской фронт. Сталинградский фронт должен был направить основные свои силы на юг, чтобы укрепить там оборону на случай вражеского прорыва.

Мы уже поняли, что раз окруженные войска не пытаются вырваться из кольца, значит, есть указание из Берлина не оставлять Сталинграда, а ждать, когда придет помощь и будет восстановлено прежнее положение. По действиям противника мы понимали, что им принято именно такое решение. Следовательно, нужно ожидать его удара с юга и с запада. Но с запада то, что могло сюда прийти, находилось за Доном. Задача удержать эти силы ложилась на плечи Юго-Западного фронта под командованием Ватутина. Нашей обязанностью было прикрыться с юга, чтобы войска, брошенные

отсюда на помощь Паулюсу, не смогли прорваться. Донской же фронт Рокоссовского при нашем участии держал кольцо окружения.

На участке в направлении Котельниковского действовали 51-я армия, кавалерийский корпус Шапкина, механизированный корпус Вольского и другие соединения. Я несколько раз выезжал в эту группу войск, потому что там сложилась тяжелая обстановка. Мы знали по данным разведки, что немецкий генерал-фельдмаршал Манштейн командует группой войск, которая движется на освобождение окруженной нами группировки. Он начал теснить нас. Его войска находились уже примерно в 50 километрах от переднего края войск Паулюса. Штаб армии Толбухина, где я находился больше всего (при штабе фронта я бывал тогда мало), расположился под Верхне-Царицынском, как раз посередине между войсками Манштейна, дошедшими до реки Мышковы, и войсками Паулюса. В первые дни после окружения Паулюса у Толбухина было настолько мало сил, что возник совершенно обнаженный участок фронта в шесть или семь километров. Там вообще ничего не было. Но в результате директивы, которая была дана Гитлером и обрекала окруженные войска на бездействие, на ожидание помощи, противник упустил возможность прорыва. Если Паулюс, как он того хотел, ударил бы на юг, то он, безусловно, имел возможность прорваться. Удержать Паулюса мы бы не смогли. Однако, как говорится, не было счастья, да глупость Гитлера помогла. Он обрек на бездействие группировку Паулюса, сильную и вооружением, и численностью войск. Она сидела и ждала, а в это время нами принимались меры по уплотнению кольца.

Вскоре после завершения окружения было решено попытаться прорвать линию обороны окруженных и разгромить их. Сил у нас не хватало, а желание было большое. Поэтому мы попытались это осуществить дивизиями Толбухина, придав ему какое-то усиление. В районе реки Червленая, на довольно пересеченной местности, мы и хотели прорвать оборону Паулюса. Мы с Поповым выехали на командный пункт к Толбухину. Расположен он был очень удобно: оттуда буквально все было видно как на ладони. Возвышенность, внизу балка и опять подъем. Мы перед противником — как на ладони, и противник — тоже как на ладони. Я даже видел, как какой-то немецкий солдат шел по полю и вдруг исчез, видимо, в каком-то убежище. На этом направлении мы поставили танки. Не помню сейчас, кто командовал этими танками. Танасчишин, командир 13-го мехкорпуса, к тому времени был выведен на отдых и пополнение, мехкорпус Вольского находился на юге, у Котельниковского.

Мы использовали все наши возможности, но бой успеха для нас не имел. И к концу дня мы увидели, что не сможем назавтра продолжать

такой интенсивный бой и сломить сопротивление противника. Он имел тут и танки, и сильную артиллерию. Самолеты, правда, с его стороны не действовали. С нашей стороны действовали истребители, но в небольшом количестве. Какую-то реальную помощь наземным войскам они оказать не могли. С наступлением темноты мы прекратили атаки, тем более что понесли потери, особенно в танках. У нас было очень мало танков. Если соотнести потери с количеством танков, которые мы имели, то потери были ощутимые. И все же мы не теряли надежды прорвать оборону врага и ворваться в расположение войск Паулюса. Мы считали, что каждый новый день истощает силы противника, ослабляет его физически, ведь питание в окружении было недостаточным, хотя конкретных таких сведений у нас не имелось. Мы просто рассчитывали так, и, как теперь видно из опубликованных материалов о Паулюсе, так и было в действительности. Нами была предпринята вторая попытка прорыва. Она тоже не привела к успеху.

Помню такой эпизод. Мы находились на командном пункте — в углублении, прикрытом одним накатом и замаскированным земляной насыпью. Там сидел командующий армией Толбухин и мы с Поповым как представители фронта. Вдруг мы увидели самолет, который снижался в нашем направлении. Мы уже приготовились к тому, что он упадет прямо на командный пункт и разрушит все, что тут было. Чей же самолет? Трудно было разобраться. В конце концов самолет приземлился (сейчас даже как-то не верится) метрах в 10, а может и меньше, от командного пункта. Это объяснялось не мастерством летчика, а было просто случаем. Бывают такие невероятные случаи и на войне, и на охоте. Вышел я из укрытия. Самолет оказался советским. Летчик сидел в кабине, но находился в состоянии шока. Его стали вытаскивать, и тут он пришел в себя. Его отправили в госпиталь, а самолет здесь и остался.

Я вернулся в землянку. А когда спустя некоторое время вышел, самолет был уже ограблен. Это «наши» поработали. Сняли все, что имело ценность для солдата: часы, стекла и пр. Потом изготавливали всякие поделки и финтифлюшки. Солдаты всему находили применение. Я удивлялся тогда и возмущался. Самолет еще можно было восстановить! Я был очень удручен таким отношением к военному имуществу, но никто особого внимания на это не обратил.

С наступлением сумерек мы наблюдали, как немецкие транспортные самолеты летели с грузами для войск Паулюса. Они летели волнами, как на параде. Работала наша зенитная артиллерия, но с очень низким коэффициентом попадания. В первый день на нашем участке было сбито только два вражеских самолета, на второй день тоже сбили очень мало.

Когда мы допрашивали пленных, меня интересовало, *что* туда возят.

какие грузы? Питание ли для солдат? Вооружение? Горючее? Боеприпасы? Как выяснилось, подвозили всего понемногу. Потом, когда наши войска продвинулись дальше в глубь кольца, самолеты не могли садиться и сбрасывали грузы на парашютах. Но это было уже значительно позже. Таким образом, первые наши усилия по ликвидации окруженной группировки не имели успеха.

Генерал Шумилов, командующий 64-й армией, на своем направлении имел задачу наступать с юга. Там все было разрушено. Вот нам доносит Шумилов, что его войска заняли такой-то пункт. Мы его поздравили. Потом подумали, обменялись мнениями с Еременко и позвонили Шумилову: «Вы все-таки проверьте, не ошибка ли это донесение?» — «Нет!» — заверял он. Шумилова надо было знать. Это очень честный и добросовестный человек. И все же, когда назавтра, наутро он проверил, оказалось, что его ввели в заблуждение. Он объяснил нам, что противник уже после присылки донесения контратаковал и восстановил свои позиции. Я потом не раз шутил над ним по этому поводу: дескать, это оправдывались те, которые обманули, они-то эту версию и выдумали, что противник контратаковал, — это типичное объяснение, когда донесут неправильно о захвате того или другого пункта, а потом говорят, что враг контратаковал и отбил его у нас. Но никакой контратаки не было. Просто люди донесли заранее, думая, что скоро займут село, а сделать это не удалось.

С течением времени противник стал наращивать нажим из Котельниковского в направлении Сталинграда. Наши войска вновь вели упорные бои, и мы несли большие потери. Я несколько раз выезжал туда. Мы послали на этот участок за старшего, который на месте объединял усилия людей, Захарова. Это направление стало нас серьезно беспокоить, потому что мы все пятились и пятились к Сталинграду. Возникла реальная угроза, что Манштейн прорвется. К этому времени мы получили сообщение, что нам передается 2-я Гвардейская армия под командованием Малиновского. Я знал Малиновского и высоко ценил его. Мы с Еременко очень обрадовались этому известию и стали ждать, когда придет Гвардейская армия. Вскоре она поступила в наше распоряжение, и мы сейчас же направили ее против войск Манштейна.

Это была спасительная сила — свежая, крепкая, обученная и хорошо вооруженная молодежь. Во 2-й Гвардейской армии имелось три стрелковых корпуса, в составе каждого корпуса — три дивизии и танковый полк, по 22 или 24 танка в полку, по тому времени — большая сила. Одним словом, полная армия. Заместителем ее командующего был Герой Советского Союза генерал Крейзер. Молодой военный, он произвел на меня очень хорошее впечатление. Начальником штаба армии был Бирюзов. Тоже молодой и тоже хороший генерал. Одним словом, и командование, и войска были отборными.

Эта армия вступила в декабре в соприкосновение с вражескими войсками на реке Мышкове. Разгорелись напряженные бои, и враг был остановлен. Мы стали его опять теснить. В то время вновь прилетел к нам Василевский. Мы с ним выезжали на передний край и видели, с каким упорством шло сражение. У нас непрерывно были большие потери. Иногда мы с ним «примерялись» (как определяют военные) — вставали в определенной точке и смотрели, сколько окажется убитых в поле зрения. Увы, насчитали очень много трупов наших солдат, преимущественно молодежи. Я достал у одного убитого комсомольский билет, простреленный насквозь: ему пуля попала в грудь.

Вскоре мы получили в подкрепление дополнительно танковый корпус, которым командовал Ротмистров. Хороший корпус, укомплектованный «с иголки» людьми, отменно знающими танководение. Это уже было значительное усиление фронта.

Я тогда больше всего находился у Толбухина, в Верхне-Царицынском. Малиновский расположил свой штаб тоже в Верхне-Царицынском. Таким образом, там было два армейских штаба: Толбухина, который держал с юга линию окружения войск Паулюса, и Малиновского, который действовал юго-западнее, сдерживая войска Манштейна. Несколько раз я выезжал в кавкорпус к Шапкину. Однажды, приехав к нему, застал очень тяжелую картину: возле населенного пункта, где располагался Шапкин со своим штабом, лежало много наших погибших кавалеристов и побитых лошадей. Проезжал я через какой-то мостик, рядом лежит убитый офицер, и мародеры уже сняли с трупа сапоги. Я рассказал об этом Шапкину, он навел справки: «Да, — говорит, — это командир эскадрона». — «Как же так? — спрашиваю, — вы не убираете убитых? Грабят своих! Мертвых, правда, но все-таки смотреть и жалко, и неприятно». Вот как бывало на войне... Шапкин в те дни всячески сдерживал натиск противника. А когда подошла армия Малиновского, мы, отбив врага, перешли в наступление.

Перед подходом сил Малиновского случился такой эпизод. Прибыл к нам представитель Ставки по использованию кавалерии О. И. Городовиков. Куда же его направить? Он был тогда генеральным инспектором кавалерии, и мы, конечно, направили его в кавкорпус, единственный на этом участке. Ока Иванович уехал туда. Я был у Толбухина, затем у Попова. К тому времени была сформирована новая армия, командовать ею стал Попов. Эта ударная армия была нацелена по правому берегу Дона на Тормосин. Приезжает вдруг к Попову Ока Иванович, очень взволнованный, возмущенный. Он говорил недостаточно чисто по-русски. Высказывается: «Какой сашка? Этот сашка — шашлык резать, а не рубить! Сашка плохой, не сашка, нет». Действительно, вооружение, включая шашки, было в кавалерии не первоклассным. Ока Иванович рассказывал мне: «Сижу в окопу, смотрю, где

противник, вижу — вот противник. Я тогда говорю, Попов, ты что, хочешь меня тут в плен сдать?» Манштейн наступал, и, видимо, это произвело на храброго кавалериста сильное впечатление. Потом спрашивает меня: «Товарищ Хрушев, когда вы поедете в штаб фронта? Где штаб фронта?» Я сказал ему, что штаб фронта находится там, куда вы попали, когда прибыли из Москвы, то есть в поселке Рай-Городок на самом берегу Волги. Не знаю, почему он так назывался. По сути, это была большая деревня, все ее постройки — сплошь деревянные. «Вы, — продолжает генерал-полковник, — собираетесь туда ехать?» — «Собираюсь». — «Давайте вместе поедем». — «Давайте. Только вы когда хотите ехать?» — «Я хочу сейчас ехать». — «Не советую сейчас, ночью ехать очень плохо, фары зажигать нельзя, по фарам стреляют немецкие самолеты, а ехать без фар — можно разбиться еще скорее, чем попадешь под пулемет противника. Лучше поедем завтра на рассвете, когда еще не светло и дневные самолеты еще не летают, а ночным уже опасно, потому что ночные бомбардировщики-тихоходы летают на низкой высоте, их легко сбить из пулемета и даже можно сбить из винтовки. Поэтому выберем вот такое время». — «Хорошо, созвонимся». Но когда я утром позвонил, дежурный ответил мне, что Ока Иванович уже уехал. «Когда он уехал?» — «С вечера». Он, видимо, настолько был взволнован и потрясен, что не дождался утра. С тех пор я Оку Ивановичу больше не встречал. Когда-то он командовал 2-й Конной армией, был героем гражданской войны. Но в эту войну появились и другие средства ведения боевых действий, и другие условия. Он, конечно, чувствовал, что какой-либо конкретной помощи оказать не сможет, его приезд ничего не давал фронту, он же мог продемонстрировать только свои добрые намерения, честность и преданность Советскому государству. Хороший воин, но уже выдохся. И по своим знаниям военного дела, и по физическому состоянию он уже не мог играть должной роли.

Я уже отмечал, что больше времени проводил в Верхне-Царицынском, нежели в штабе фронта: у меня там была постоянная квартира. И вот я приехал туда, получил очередную информацию об обстановке, и мы разошлись отдыхать. Вдруг ко мне вваливается Малиновский, прямо в бекеше, не раздеваясь, очень взволнованный. Гляжу, у него слезы ручьем льются. «Что такое? Что случилось, Родион Яковлевич?» — «Произошло несчастье, Ларин застрелился». Ларин был членом Военного совета 2-й Гвардейской армии, боевой человек. Они были большие приятели с Малиновским, служили вместе еще перед войной. Когда Малиновский командовал корпусом, Ларин был у него комиссаром. Малиновский всегда выпрашивал, чтобы Ларин у него оставался либо начальником политот-

дела, либо комиссаром. Он как политработник заслуживал уважения. До того, как все это случилось, был ранен. Я заходил к нему на квартиру. Он лежал, но рана была несерьезная, в мякоть ноги, кость была не повреждена, пуля лишь задела голень. Ларин разговаривал, был в полном сознании. Наблюдала за ним женщина, армейский врач. Потом мне рассказали, что перед тем, как застрелиться, он довольно весело болтал с нею. Малиновский был крайне взволнован событием и оплакивал Ларина. Я не знал, как его успокоить. Что же вызвало такую акцию? Почему Ларин застрелился? Потом его адъютант сообщил, при каких обстоятельствах это произошло.

Обстоятельства были довольно неясными. Ларин выехал на передний край и наблюдал за ходом боя под прикрытием какого-то стога сена. Он расхаживал, как бы маячил перед противником, явно искал смерти. Вовсе не было необходимости так вести себя. Он просто вызывал огонь на себя. Конечно, вскоре его ранило. Хотя рана оказалась несерьезной, он вдруг застрелился. В чем же дело? Бывало, стрелялись в начале войны, когда мы отступали. А тут мы наступаем, окружили войска Паулюса, ведем сражение с Манштейном, можно сказать, на переломном рубеже. Давно уже перестали бежать, начался новый этап наших военных операций против врага. 2-я Гвардейская, сильная и крепкая армия успешно отражает удар Манштейна. И вдруг он стреляется? Ларин оставил записку, тоже очень странную. Я сейчас не смогу точно воспроизвести ее содержание, но смысл был таким, что он кончает жизнь самоубийством; потом шли слова: «Да здравствует Ленин!» И подпись. Эту записку мы сейчас же отправили в Москву. Начальником Главного политуправления РККА был тогда Щербаков. Нехорошо говорить плохо о мертвых, но что поделаешь? Щербаков — работник, много лет находившийся в составе кадров на уровне секретаря обкома партии. Я позднее столкнулся с его неприятным характером. А когда он получил эту записку, то стал «обыгрывать» ее. Не знаю даже, какую цель он тут преследовал. Ларин ведь уже застрелился. Не то он досаждал Малиновскому и ярил злобой Сталина, не то «копал» против меня как члена Военного совета фронта, на котором произошел такой случай. Меня сейчас же вызвали в Москву. Состоялся очередной многочасовой обед у Сталина со всеми, так сказать, «приложениями»: и питейные дела, и тут же разбор событий, которые произошли за последние сутки.

Сталин спрашивает меня: «А кто такой, собственно говоря, Малиновский?» Отвечаю: «Не раз докладывал Вам о Малиновском. Это — известный генерал, который командовал корпусом в начале войны, потом — армией, потом — Южным фронтом. У него были там неудачи, Вы

же знаете». Сталин, конечно, знал, что тот фронт был обойден противником и развалился. Враг легко захватил Ростов, за что Малиновский был освобожден от должности и переведен в тыл. Позднее он командовал 66-й армией, был заместителем командующего войсками Воронежского фронта, потом сформировал 2-ю Гвардейскую армию. Мне напомнили, где служил Ларин, как Малиновский просил к себе Ларина и как добился, чтобы ему уступили.

Нужно сказать, что Щербаков был большим мастером обыгрывания таких вещей с целью не охладить как-то Сталина, а, наоборот, подбросить ему материалчик, который его взвинчивал бы и бесил. Щербаков понимал, что гнев против Малиновского будет направлен, прямо или косвенно, и против меня. «Все это, — говорит Щербаков, — не случайно. Почему он не написал «Да здравствует Сталин!», а написал «Да здравствует Ленин!»?» Я отвечаю: «Не могу сказать. Он застрелился, видимо, под влиянием какого-то психически ненормального состояния. Если бы он был в нормальном состоянии, то не застрелился бы. Повода ведь стреляться у него не было». Все, казалось бы, ясно. Но нет, Щербаков опять жевал свое, растревлял рану, подсыпал соли. Мне пришлось тогда пережить много неприятностей.

Конечно, самым выгодным для меня было бы просто сказать, что Ларин растакой-сякой-раздакий, да и Малиновский такой же. Но я не был согласен с этим и не мог так говорить Сталину. А Сталин вновь: «Кто же такой Малиновский?» Отвечаю: «Малиновского я знаю. И знаю только с хорошей стороны. Не могу сказать, что знаю его много лет, но знаю его с начала войны. Все это время он вел себя хорошо, устойчиво и как человек, и как генерал». Над Малиновским явно нависла угроза. Тут сплелись и падение Ростова, и самоубийство Ларина — все увязывалось в один узел. Сталин: «Когда вернетесь к себе на фронт, надо будет за Малиновским последить. Вам надо все время быть при штабе 2-й Гвардейской армии. Следите за всеми его действиями, приказами и распоряжениями». Одним словом, я лично отвечаю за Малиновского и его армию, должен быть глазом, наблюдающим за Малиновским от партии и Ставки. Говорю: «Товарищ Сталин, хорошо, как только приеду, буду неотлучно с Малиновским».

Я улетел в Верхне-Царицынский. К нам тогда прилетел товарищ Ульбрихт и с ним вместе два немца коммуниста. Они приехали для того, чтобы вести антифашистскую пропаганду с переднего края через рупоры-усилители; призывали, чтобы немцы сдавались в плен. Это была главным образом вечерняя и ночная работа. Ульбрихт ползал по переднему краю с рупорами и обращался к солдатам и офицерам войск Паулюса.

Мы всегда обедали вместе с Ульбрихтом, и я шутил: «Ну что ж, товарищ Ульбрихт, сегодня вы на обед не заработали, никто не сдался в плен». Он спокойно продолжал свое дело. Однажды мне доложили, что к нам перебежал солдат из состава окруженцев. Я сказал: «Ну-ка, приведите его, спрошу, что за человек, узнаю его настроение и как он оценивает моральное состояние своих товарищей». Привели. Говорю: «Кто вы такой по национальности?» — «Поляк». — «Как же вы попали в немецкую армию?» — «Я из той части Польши, которая вошла в состав Германского государства, меня призвали». — «У нас, наверное, будет формироваться новая Польская армия. Надо ведь Польшу освободить. Как вы к этому относитесь?» — «Да, надо освободить». — «А вы в Польскую армию запишетесь? Пойдете туда?» — «Нет, не пойду». — «А как же освободить Польшу?» — «Польшу русские освободят». И довольно нагло отвечает. Мне это не понравилось. Я потом и говорю Ульбрихту: «Вот ваш солдат, не немец — поляк, сбежал от немцев, но он и не за нас, он даже освободить свою Польшу не собирается».

Затем были взяты в плен несколько чистокровных немцев, как раз перед Рождеством. Я сказал, чтобы их доставили в расположение штаба Малиновского, и мы начали их допрашивать. Но это был уже не вопрос, а, скорее, пропагандистская беседа. Мы ее вели вместе с Вальтером Ульбрихтом. Сначала я приказал, чтобы их отвели в баню, помыли, переодели, избавили от насекомых, дали им по 100 граммов водки (ведь Рождество!), покормили. Далее мы начали беседовать с ними. Один из этих пленных особенно отличался, с моей точки зрения, хорошим настроением. В нашем понимании, конечно. Он был против нацистов, против Гитлера, против войны. Ульбрихт ему: «Мы хотим обратно вас забросить. Вы согласны отправиться?» Тот отвечает: «Согласен. Даже прошу, перебросьте нас. Мы вернемся и все расскажем своим товарищам». Однако тут же в этой группе получился раскол. Один из пленных заметил: «Зачем же нас перебрасывать назад? Если перебросите нас сейчас, то нас расстреляют. Никто не поверит в то, что мы убежали от вас, ни в какую-то другую версию, которую вы придумаете». Довольно-таки серьезная перепалка возникла у пленных между собой. «Наш» немец говорит: «Ты трус! А я пойду. Пусть меня расстреляют, но и это сыграет свою роль».

Мы с Ульбрихтом уже согласились было перебросить эту группировку к противнику. Вдруг об этом узнал Толбухин и пришел ко мне: «Товарищ Хрущев, я узнал, что придумали вы с Ульбрихтом. Не делайте этого, прошу. Пленные теперь знают расположение нашего штаба, выдадут своим, и нас разбомбят. Хотя бы не перебрасывайте до тех пор, пока

я не переведу штаб в другое место. Я не хочу подвергать людей опасности». Я говорю: «Как же так? Мы привезли их с завязанными глазами и увезем с завязанными, они и не знают, где находятся». — «Нет, я рисковать не могу». Вижу, если он расскажет Сталину, Сталин меня не поддержит. Я не говорил Ульбрихту о настроении Толбухина, а просто сказал: «Товарищ Ульбрихт, видимо, придется отложить нам эту акцию, потому что есть риск, что пленные могут выдать расположение нашего штаба». — «Ну, раз нельзя, значит, нельзя!» И продолжал свою деятельность. Насколько же были серьезными опасения Толбухина? Я и сейчас с ним не согласен. Слишком уж большая осторожность. Думаю, что никакой опасности для штаба не было, даже если бы мы перебросили этих людей туда, в «котел».

Бои продолжались. Мы начали теснить противника в направлении Котельниковского. Ситуация сложилась такая, что штабу Сталинградского фронта управлять войсками, которые непосредственно удерживали в кольце окруженную группировку Паулюса, и войсками, которые наступали на Маныч и Ростов, было трудно. И нам предложили разделить фронт. Предложение исходило из Ставки. Не знаю, была ли это инициатива Сталина или же кого-либо из Генерального штаба. Но там понимали сложность, которая создалась теперь у нас на фронте. Было предложено те армии, которые стояли лицом к Паулюсу, отдать Донскому фронту, а войска, которые направлены на юг и смотрят на запад, — Южному фронту. Нам было жаль расставаться с такими, приобретшими поистине историческое значение, соединениями, как 62-я армия, которая своей грудью защитила Сталинград; как 64-я армия, которой командовал Шумилов; как 57-я и другие соединения. 62-я и 64-я армии стояли полукольцом и отражали прежде немецкие войска, которые рвались в Сталинград. 57-я армия дралась сначала в самом Сталинграде, потом все они сдвинулись по линии фронта. Мы жили и сроднились с этими людьми. Но, когда Сталин позвонил, я сказал ему: «Мы это сделаем. Считаю, что это правильно, в интересах дела. Так будет лучше». Еременко Сталин тоже позвонил. Не знаю, как он с ним разговаривал и как тот ему отвечал.

Я застал Еременко чуть ли не в слезах. Мне стало жалко его. «Ну, Андрей Иванович, ну, что вы? Это ведь в интересах дела. Вы же видите, что наши армии сейчас повернулись на юг. Наша задача — наступать, с тем чтобы бить во фланг войск противника, которые находятся на Северном Кавказе, подпирать их к Ростову. А у Сталинграда — оборона, все здесь обречено, тут противника надо только обложить покрепче, и он сам с голоду подойдет, у него нет ни снарядов, ни питания, ни обмундирования». — «Товарищ Хрущев, вы не понимаете, вы гражданский человек и,

видимо, не чувствуете, сколько мы, военные, выстрадали. Мы были чуть ли не обречены. Вы помните, как Сталин звонил и просил нас продержаться три дня? Помните, у нас целая свадьба была этих наехавших из Ставки, а потом их как метлой смело. Считали, что немцы захватят Сталинград, а мы были оставлены там козлами отпущения. И вот теперь такое! Вы-то не знаете, а я знаю, предвижу, что вся сталинградская слава уйдет Донскому фронту!» Я его успокаивал: «Самая главная слава — это победа нашего народа. Имеет гораздо большее значение личное моральное удовлетворение того или другого воина и командующего войсками, вот главное!»

Но я ничем не смог его убедить. Он действительно много выстрадал, много вложил сил, энергии, военного таланта, умения и напористости в нашу Победу. Я не знаю, сколько в русском языке есть слов, пользуясь которыми можно было оценить значение тех усилий, которые приложил Еременко как командующий войсками Сталинградского фронта. Хочу, чтобы меня верно поняли, что я ни в какой степени не стремлюсь принизить достоинство Рокоссовского. Это чрезвычайно талантливый военачальник и замечательный товарищ. Я мало имел с ним дела, но каждая моя встреча, каждое соприкосновение с ним всегда оставляли наилучшее впечатление о Рокоссовском. Однако в историческом плане я считаю, что главное там произошло не у него: Сталинград прогремел на весь мир, а не Донской фронт. Ну что же делать, так было суждено...

В принципе функции Донского фронта были другими. Если бы противник овладел Сталинградом, то он, конечно, повернул бы свой удар на север. Значит, Ставка правильно сделала, что поставила там еще один фронт и назначила командующим достойнейшего генерала Рокоссовского. А сейчас положение изменилось. Уже не немцы определяют направление главного удара, а мы. Это мы направляем свои войска на юг, с тем чтобы вытолкнуть и разгромить немецкие войска, которые находятся на Северном Кавказе. Это, конечно, единственно правильное решение. Честь воздадут тем, кто разгромит Паулюса. Но командующему, вынесшему ранее все тяготы обороны, хотелось самому закончить данную операцию, самому пожать лавры победы. И вот фактически не стало Сталинградского фронта. Остались Южный фронт Еременко, наступающий на Северный Кавказ и западнее, и Донской фронт, добивающий Паулюса. Это не могло утешить Еременко, не могло!

В таких коллизиях закончилась для нас эпопея боев под Сталинградом. Начался другой этап войны. Этап нашего освободительного наступления на запад.

ПЕРЕД КУРСКОЙ БИТВОЙ И В ЕЕ НАЧАЛЕ

Итак, прибыл я в Москву и рассказал Сталину о положении дел на Южном фронте. Тогда у нас было хорошее настроение, мы еще радостно переживали свой успех. Северный Кавказ тоже быстро освобождался. Но это был участок не нашего фронта, а вообще другой фронт, докладывал же я о делах нашего фронта. Сталин: «Мы утвердили вас членом Военного совета Воронежского фронта. Нашими войсками занят Харьков. Вы об этом знаете?» — «Знаю. Красная Армия продвинулась на довольно значительное расстояние западнее Харькова». — «Вот вам и надо лететь сейчас в штаб Воронежского фронта. Вы будете выполнять функции не только члена его Военного совета, но и секретаря ЦК КП(б) Украины, как и прежде». Потом он начал высмеивать руководителей, которым поручил дела Украины, когда в дни Сталинграда сказал мне, что я не украинец и поэтому ее делами займется Корниец, который тогда являлся председателем Совета Народных Комиссаров УССР.

Я уже рассказывал, как я согласился с тем, что я не украинец: всем известно, что и по паспорту, и по месту рождения я курянин, а мое село — русское, хотя буквально впритирку граничит с Украиной. Граница есть граница. Я-то не придавал значения тому, украинец ли я или русский. Я интернационалист и с уважением относился и отношусь к каждой нации. Но наиболее близки мне те, среди кого я провел свои детство и юность. Это русские и украинские рабочие и крестьяне, а также украинская интеллигенция, с которой я работал, когда являлся заворгом Киевского окружного комитета партии в 1928—1929 годах и особенно будучи первым секретарем ЦК КП(б)У. Я 13 лет проработал на Украине, и не просто с удовольствием, а с большим наслаждением, и очень доволен отношением ко мне всех ее людей — рабочих, крестьян и украинской интеллигенции.

Отвечаю: «Хорошо, товарищ Сталин, я охотно поеду на Воронежский фронт. А кто командует войсками Воронежского фронта?» — «Генерал Голиков». Тут я сразу вспомнил, как Сталин критиковал меня за то, что я не поддерживал Голикова, когда он был заместителем командующего войсками в Сталинграде. Тогда (я уже рассказывал) он написал какую-то

гадость Сталину против Еременко, и Сталин меня критиковал за то, что я слишком поддерживаю Еременко и не поддержал Голикова. Может быть, тот и обо мне написал какую-нибудь гадость? Это возможно. Я в жизни, к сожалению, много видел гадкого. Правда, и хорошее видел, но и гадкое. Иной раз гадости делались людьми, с виду довольно приличными и приятными. Могли бы, к примеру, другие, имея такой факт, успешно работать вместе с Голиковым? Ведь действовал он недобропорядочно, какой-то гадкий донос написал на Еременко и, прямо или косвенно, на меня как члена Военного совета Сталинградского фронта. От меня многое зависело, когда Голиков значительно позже, уже в мое время, утверждался начальником Главного политуправления РККА и когда ему присваивали маршальское звание — высшее военное звание в Советских Вооруженных Силах.

Говорю Сталину: «А как он командует? Каково Ваше впечатление?» Более я ничего не сказал, но Сталин понял сразу, что я обращаюсь с таким вопросом потому, что у нас имелись разные оценки поведения Голикова как представителя фронта при армии Чуйкова, когда Голиков не выполнил приказа об организации переправы боеприпасов и пополнения в Сталинград. Я считал тогда и считаю сейчас, что мы с командующим войсками Сталинградского фронта отреагировали правильно. Однако теперь возникла уже другая ситуация. Вражеские войска в Сталинграде пленены, всех обуревала радость победы. Это была радость не только нашего народа, но и всего прогрессивного человечества, которое понимало значение нашей борьбы с фашистской чумой.

Сталин опять взглянул на меня: «А помните, что вы говорили мне о Голикове?» — «Да, помню». — «Как же вы говорили?» — «Но тогда для чего Вы меня посылаете членом Военного совета к Голикову?» — «Мы в скором времени примем новое решение и переставим его». Не знаю, почему он мне это сказал. В терзаниях, что ли, находился? «Мы думаем назначить туда Ватутина командующим войсками фронта. Вы знаете Ватутина?» — «Я генерала Ватутина знаю, и даже очень хорошо знаю. Я высокого о нем мнения».

Этот генерал был как бы особым. Особенность его заключалась в том, что он почти непьющий. Я вообще не видел, чтобы он пил вино. Кроме того, он очень трудоспособен и очень хорошо подготовлен в военном отношении. Не случайно он был одно время начальником штаба в Киевском Особом военном округе, а потом заместителем начальника Генерального штаба. Вот тоже хорошая аттестация его военных знаний. И я сказал: «Как к начальнику штаба, как к человеку, знающему военное дело, и как к члену партии отношусь к нему с большим уважением. Но не

знаю, как он себя проявит в качестве командующего. Здесь требуются, помимо знаний, распорядительность и умение пользоваться правом командующего, умение приказать и потребовать выполнения приказа. Разработать операцию он может, тут я не сомневаюсь в нем, а вот другие его качества мне совершенно неизвестны. В этом отношении он для меня новый человек, тут я нигде с ним не соприкасался». Не помню, что сказал потом Сталин, но я был доволен новым назначением.

Через день или два я улетел. Когда уже собрался лететь, мне доложили, что в направлении Харькова противник сгруппировал эсэсовские войска, танковые дивизии и прижимает наши войска к Харькову. Наши войска отступили на восток уже на довольно большое расстояние, и противник опять вплотную подошел к Харькову. Вылетел вечером, перед сумерками. Мы с Николаем Ивановичем Цыбиным выбрали именно такое время. Я всегда, пока жив, буду поминать добрым словом этого замечательного летчика, генерала, честнейшего человека трезвого ума и с такой, я бы сказал, девичьей деликатностью. В данном случае как раз он спланировал так, чтобы нам прилететь в Харьков под вечер, потому что в это время меньше возможностей встретиться с истребителями противника. Так мы и поступили. Когда мы приземлились, уже зажигались огни.

Поехали с аэродрома в Харьков. Мне сообщили там тревожное известие: над Харьковом нависла угроза нового захвата его врагом. Я приехал в штаб фронта, встретился там с командующим войсками. Он сообщил о положении на фронте. Действительно, положение было очень неустойчивым. Противник превосходил нас и в количестве войск, и в качестве боевой техники. У него там и танковые войска, и пехота были отборными. Уже теперь, из книги «Совершенно секретно», я узнал, что враг взял их из Италии. Лучшие эсэсовские и танковые дивизии он бросил именно сюда, против нас на Харьковском направлении.

Нам пришлось сейчас же выехать в Мерепу, в 25 км от Харькова. В Мерепе я бывал еще до революции. Когда ехал, случалось, из своей Курской губернии в Донбасс, в Юзовку, то обязательно через Мерепу. А теперь, конечно, я ехал туда в ином качестве. Группой войск там руководил генерал Козлов. Козлова я до того не знал. Он командовал раньше Керченской группировкой наших войск. Мы высадили в захваченном врагом Крыму десанты, но данная операция была неудачной и много наших войск там погибло. Туда, по-моему, одно время посылали командовать и Ворошилова. Потом его, кажется, отозвали и послали комиссарствовать Мехлиса. Фактически Мехлис как представитель Ставки командовал этой группировкой. Он подмял под себя Козлова, и наши войска были загублены. Помню, как тогда Мехлис метал громы и молнии против всех кав-

казских народов. Он говорил, что и главное пополнение, и вообще войска того фронта состояли из кавказцев, а они совершенно ненадежны. С точки зрения нашей национальной политики он занял абсолютно неправильную линию. Сам он человек неуравновешенный, но был весьма доверенным человеком у Сталина.

Взяв на себя реальное командование, Мехлис фактически лишил возможности командовать Козлова. Подробно я не мог тогда по своему положению рассматривать эту операцию, это не входило в мои функции. Но я слышал военных специалистов, которые обсуждали и разбирали происшедшее на Крымском фронте. Правда, тоже лишь вот так, на ходу. Они возлагали вину за провал на Мехлиса и в какой-то степени на Ворошилова. Но больше все же на Мехлиса и на то, что Козлов не проявил своего характера как командующий войсками. Он сразу же подпал под влияние Мехлиса вместо того, чтобы выставить свою волю командующего и использовать военные познания для должной организации войск. Он стал покорно слушать и выполнять приказы и предложения, которые вносил Мехлис. Одним словом, репутация Козлова была подмочена. Он как командир проявил там в какой-то степени и беспринципность, и бесхарактерность.

В Мерепу мы поехали вместе с Голиковым. Козлов произвел на меня в общем-то неплохое впечатление. Я старался не поддаваться влиянию того, *что* ранее слышал о нем, я хотел сам оценить его на основе фактов, которые сейчас смогу наблюдать. Он рассуждал вполне разумно. Распоряжения, которые он давал, казались мне толковыми. Одним словом, у меня не сложилось отрицательного впечатления о Козлове.

Итак, мы отходили. Ну и что? Был ли там Козлов, был бы Петров, Иванов, все равно бы мы отходили, потому что противник имел превосходство. Тогда мы уже чувствовали и даже говорили, что нам придется Харьков снова оставить, мы не сумеем удержать его. Мне было всего этого очень жаль. Я проехал по городу. Город особенно больших разрушений не имел, Тракторный же завод был вообще цел, никаких разрушений! Мы раньше вывезли оттуда оборудование, но немцы там что-то ремонтировали: собрали какое-то оборудование и организовали ремонтные мастерские. Одним словом, целехонек завод. Как говорится, завози станки, давай сырье, рабочих — и можно начинать производство танков, автомашин или тракторов. Но я знал также, что когда теперь опять оставим Харьков, то в следующий раз (а мы были уверены, что вернемся, никакого даже сомнения не было, что противник недолго сможет удерживать город) враг сделает все, что в его силах, чтобы разбить и разрушить город, особенно его предприятия. Я был убежден, что Тракторный завод вновь он нам таким не оставит, он его доконает. Ну, ничего не поделаешь! Итак, мы вынуждены были опять оставить Харьков.

Я решил тогда собрать для беседы украинскую интеллигенцию. И вечером был созван митинг интеллигенции, которая оставалась в Харькове и жила там при немцах. А уже ночью или под утро мы должны были выехать со штабом фронта из Харькова. Организовывали это дело те наши украинские интеллигенты, которые в то время находились при штабе фронта, вернее сказать — при мне как при члене Военного совета, и главным образом руководящие работники Совета Народных Комиссаров Украины. Одним словом, актив. Мы собирали при себе подходящих людей, чтобы при продвижении наших войск на запад можно было сразу же расставлять кадры и организовывать государственные, республиканские, областные и районные учреждения. Много делал тогда Николай Платонович Бажан и другие писатели. Именно через них я попросил интеллигенцию собраться, сказал, что приеду к ним поговорить и послушаю их. Главным образом, мне хотелось именно послушать, почувствовать их настроение.

Митинг состоялся очень хороший. Я своих людей предупредил: «Будьте очень осторожны в своих заявлениях. Мы всегда говорим, что ни на шаг не отойдем и тому подобное. Это произведет плохое впечатление, потому что мы уже приняли решение об отходе. Харьков удерживать нам нечем. Мы оставляем Харьков. Поэтому речи должны быть построены так, чтобы вселять надежду. Чтобы отход не расценивался в смысле какого-то непонятого маневра: все равно мы пойдем затем вперед, враг будет разбит и изгнан с территории Советского Союза». То есть хотел подбодрить их. Я не мог сказать им прямо, что мы отходим. Вообще об отходе не было и речи. Но я косвенно им намекал и внушал им уверенность, чтобы они более стойко пережили новое нашествие врага. Я склонял их в своем выступлении, чтобы они отошли вместе с Красной Армией. Хотя я не буквально так говорил, но хотел как бы убедить их не доверяться немцам; внушить им, что мы не будем интеллигенцию арестовывать, что не будем упрекать людей, что они остались на территории, занятой противником, однако желаем совместного с нами их отхода.

Это обстоятельство больше всего меня беспокоило: я боялся, что мы отступим, а они останутся. Так и случилось! Но если сделаю я хоть какой-то намек на то, что осуждаю их поступок в случае, если они останутся, то это прозвучит угрозой. Следовательно, тогда они убежали бы на запад с немцами. Этого-то я и боялся. Мне хотелось, чтобы по Харькову разнесся слух, что в любом случае не будет репрессий. Чтобы это дошло до тех лиц, которые не были на митинге (а там не было многих). Не было там, например, Гмыри. А его певческий голос звучал на всю Украину. Это — замечательный артист. Он оставался на Украине при нем-

цах. Потом он объяснял, что остался потому, что у него была больна жена. Сейчас не будем разбирать это. Я уже привык к объяснениям, что или жена, или мать, или отец были при смерти и человек не смог эвакуироваться. Так ли это было, судить очень трудно. Существовала напряженная обстановка, проверять было некогда. А после уже и смысла не возникало для проверки.

Одним словом, провел я как бы беседу. Там присутствовал какой-то художник (забыл его фамилию). Считали, что он неплохой художник. Но он так развязно рассказывал, как жил при немцах и как «промышлял», что на меня произвел очень неприятное впечатление. Ну, я не подал вида. Я держал такую линию, что меня это не задевает. Он же хвастал, как торговал иконами. «Вот, — рассказывал, — брали мы рядовые иконы, химическими реактивами обрабатывали их, чтобы материал постарел, и, пользуясь безграмотностью покупателей-немцев, продавали им эти иконы как старинные, имеющие особую ценность». Выступал он, как шабашник, ловкий такой торговец, довольно оборотистый. Видимо, жил он неплохо. Другие же иначе рассказывали, а этот — даже с каким-то задором: вот, мол, какой я, как сумел прожить в такой среде и как надувал немцев. Умный, дескать, дураков всегда надувает; и я тоже показал свои способности.

Провели мы митинг, распрощался я и уехал. В ту ли ночь или на следующий день, но мы вынуждены были отходить. Утром выехали из города всем штабом, и в скором времени немцы опять вступили в Харьков. А мне хотелось, чтобы и этот художник уехал, и другие интеллигенты тоже не оставались бы больше с немцами. Я хотел верить в лучшее — в то, что они не останутся. Нет, видимо, нехорошая была душа у этого человека, ближе по складу, по своему характеру к нашим врагам, чем к душе советского человека, советского интеллигента, советского художника. Я потом о нем спрашивал Бажана и других товарищей: где он? Они ответили: «Нет его с нами». Трудно было узнать, мог он или не мог уйти. Мог, если бы захотел. Но не пошел с нами. Когда мы потом опять Харьков освободили, я дал поручение найти этого художника, чтобы проверить себя в правильности оценки этого человека. Нет, он ушел с немцами. Его душа коммерсанта и рвача тяготела к немцам, а не к нам, и он ушел «на ту сторону». Когда же кончилась война, я спрашивал, есть ли какие-нибудь следы этого человека? Нет, его не нашли. Но я никак не могу допустить, чтобы немцы сделали с ним что-либо. Ведь он их обслуживал. Может быть, он остался невозвращенцем. Таких много было тогда — и русских, и украинцев, и других. Украинцев было много! Особенно из жителей Западной Украины. Там было много националис-

тов, одурманенных пропагандой врага, или просто бандеровцев. Они поверили врагу, остались на Западе и порвали со своей Родиной. Может быть, художник и в Канаду уехал. Одним словом, я сказал бы, это был тип маклака, спекулянта художественными произведениями.

Итак, мы опять отступили. Штаб фронта отошел в Белгород. Мы рассчитывали удержаться в Белгороде, но у нас были настолько слабые силы, что нам это не удалось. Штаб расположился в каком-то небольшом домике с садиком. Каждую ночь противник бомбил Белгород, включая расположение нашего штаба. Не исключаю, что в Белгороде, возможно, были ранее оставлены какие-то немецкие агенты или предатели, которые сообщали вражеской авиации о целях. Правда, Белгород — город небольшой. Но самолеты врага буквально висели над районом, где располагался наш штаб. Однажды, когда мы с Голиковым стояли у карты и разбирались в обстановке, бомба разорвалась во дворе. Абажур развалился, свет погас, стекло посыпалось на карту. Вышли мы, посмотрели на воронку. Видимо, упала небольшая бомба. Если бы большая, то, наверное, не устоял бы наш домик. Мы навели в нем порядок, но в ту же ночь опять подверглись налету.

Произошел и такой случай. Командующему войсками понадобилось воспользоваться туалетом. Теплого туалета в доме не было, был холодный, на улице. Командующий оказался там, когда нас вновь накрыло бомбой, но все сошло благополучно, хотя Голиков пришел весь обсыпанный каким-то мусором. Мы потом не раз подшучивали над ним. Что же, с живыми людьми все бывает, и драматическое, и смешное.

Противник наседал на нас и уже подошел к Белгороду. Противопоставить врагу свои силы, с тем чтобы остановить его, мы не смогли и вынуждены были теперь оставить и Белгород. А наутро мы с Голиковым избрали новый пункт для расположения штаба, не то в Старом Осколе, не то в Новом Осколе, где-то далеко за Северским Донцом. Мы решили выехать на рассвете, чтобы не попасть под бомбежку. Расстояние до нового штаба было довольно приличное. Не помню, ехали ли мы на автомашине. Возможно, и на санях, так как лежали глубокие снежные заносы. Мы очень переживали случившееся: и Харьков сдали, и Белгород. Конечно, теперь враг будет прилагать все усилия, чтобы вновь занять Курск, отвоеванный нами в феврале.

Стали мы строить оборону: стаскивать на передний край все, что было у нас, что нам смогла подбросить Ставка. Противник, видимо, тоже к тому времени выдохся и прекратил дальнейшее наступление. Наши войска остановились севернее и восточнее Белгорода, от Суджи до Волчанска. Штаб фронта мы перенесли в Обоянь. Это был южный фас обра-

зовавшейся теперь Курской дуги. К этому времени приехал Ватутин с приказом принять командование войсками фронта. Голикову было дано предписание, слав командование, убить в распоряжение Ставки. Мы распрощались с Голиковым, и Ватутин приступил к исполнению обязанностей командующего. Каких-то активных операций проводить мы тогда не имели возможности. Следовательно, и намерений у нас таких не было. Все усилия были направлены на то, чтобы как-то выровнять линию фронта и выбрать рубеж, наиболее выгодный для создания полевых укреплений. Мы хотели получше подготовиться к весне, потому что были уверены, что весной и противник опять станет наступать, и мы тоже будем наступать и бить противника.

Дали нам танковый корпус. Я сейчас забыл фамилию его командира. Это был хороший танкист, раньше командовавший танковой бригадой, а в 1943 году получивший корпус. Он передвигался к линии фронта, в тот район, где должен был расположиться. И тогда впервые с начала войны мы встретились с таким приемом со стороны врага: тот прямо на марше сумел этот танковый корпус почти весь уничтожить. Как же он этого добился? С воздуха, применив для бомбежки низколетящие самолеты-тихоходы типа наших У-2, только несколько мощнее. Эти самолеты были вооружены пушкой. Они подлетали к танкам и расстреливали их с воздуха, пользуясь тем, что на башне у танков сверху очень слабая броня. Поэтому нетрудно было мелкокалиберной пушкой или даже крупнокалиберным пулеметом поджечь танк. Помню, как пришел к нам генерал-комкор, как говорится, с кнутиком. Так некогда говорили о цыганах, которые лишились лошадей и остались только с погонялкой. «С кнутиком» пришел в наш штаб фронта и этот генерал, страшно взволнованный, до слез. Ведь он ни за что потерял корпус. У него не было даже зенитно-пулеметного прикрытия танков от атак с воздуха. После этого случая советские конструкторы учли этот недостаток и стали выпускать танки с зенитным пулеметом. Не помню, на каждом ли танке появился зенитный пулемет или лишь на каком-то их количестве, с тем чтобы можно было так построить боевые порядки, чтобы прикрывать с воздуха и свой танк, и соседа. А пока что немцы использовали элемент внезапности и нанесли нам существенный урон. Такие большие возлагали мы с Николаем Федоровичем Ватутиным надежды на танковый корпус. А остались у нас и командный состав, и танкисты, танки же были сожжены на марше.

Началось на Воронежском фронте затишье. Враг приводил себя в порядок, оборудовал свой передний край, укреплял его. И мы занялись тем же делом. Уже разгоралась весна. Она пришла к нам в Обоянь и под

Белгород, однако снега были еще очень глубокие. 1943 год особо отличился снежной зимой, более снежной, чем холодной. Вскоре приехал к нам представитель Ставки Василевский. Он к нам часто наведывался. У меня к тому времени уже сгладилась боль, которую я носил в себе с зимы 1942 год, когда Василевский, поступив неправильно, не выполнил своего гражданского долга воина и не пошел с докладом к Сталину во время первой Харьковской операции. Но я доньше, когда начинаю вспоминать этот период, сильно переживаю. Это меня огорчило и даже настроило против Василевского, самого по себе, как я уже говорил, человека милого и спокойного. С ним можно было ладить. Он не раз приезжал на фронт, и с ним всегда приятно было беседовать и обсуждать вопросы, которые назревали у нас. Впрочем, повторюсь, мы не чувствовали особой необходимости в приезде представителей Ставки с точки зрения помощи в сугубо военных делах. Я считаю, что и штаб Воронежского фронта, и командующий достаточно были подготовлены к несению своих функций, правильно их понимали и верно оценивали обстановку. Зато при каждом приезде представителя Ставки возникала надежда, что удастся получить пополнение или боеприпасы, «вырвать» у тыловиков шинели, обувь. Одним словом, подход у нас был тут меркантильный. Иногда нам это удавалось, но не всегда. Все это понимали и сами представители Ставки. Они приезжали, потому что им приказывали. Вроде того что: «Поезжай, что-то немцы опять наступают. Вот уже и Белгород сдали». Возможно, в Москве складывалось впечатление, что приехал представитель Ставки — и приостановилось вражеское наступление, фронт стабилизировался. Дело же заключалось не в том, что кто-то приехал, а в том, что противник измотался и сам вынужден был остановиться, чтобы привести себя в порядок, или же мы получали подкрепление и сами вынуждали противника остановиться.

В ту пору только на одном из участков противник продолжал действовать активно и наступал. Этот участок занимала 38-я армия. Мы поехали туда. День был солнечный, снег глубокий и отражавший лучи. Такая лежала белизна, сверкавшая до боли в глазах. Нельзя было смотреть на этот снег. Свернули мы со снежной целины в поселок, Ям, что ли? Действительно, он находился в яме, в ложбине. И как раз в это время налетели один или два вражеских самолета и начали бомбить наши машины. Мы с Василевским выскочили наружу и представляли, вероятно, смешное зрелище для летчика. Он ведь все видел. Мы отбежали от машины, и ему предоставился выбор: или бомбить машину, или вести огонь из пулемета по живой силе. Живая сила — это мы с Василевским, наши шоферы и сопровождающие лица. Но летчик, видимо, уже отстрелялся по шедшим впереди машинам, развернулся и улетел. Летел он довольно низко и весь-

ма действовал на нервы. Кто находился под бомбежкой, понимает, что это значит.

Приехали мы к командарму, заслушали доклад об обстановке. Противник так и не занял этот упомянутый пункт. Он пытался, наверное, просто улучшить там свои позиции. Это было наступление местного характера по выравниванию линии переднего края, чтобы лучше приспособить ее к обороне, а потом использовать и в ходе наступления создать подходящие исходные позиции для своих войск.

Так закончились зимне-весенние операции, в которых я участвовал: освободили Ростов и подошли к Таганрогу, дошли чуть ли не до Днепропетровска и освободили Харьков, а потом вынуждены были под давлением противника оставить и Харьков, и Белгород, и некоторые другие города. После этого фронт стабилизировался, а на нашем направлении образовался выступ, который приобрел название Курской дуги. Дуга была довольно большой глубины. Левое крыло дуги, то есть у нас, начиналось в верховьях Северского Донца. Вершина дуги лежала севернее Сум, у Рыльска, а второе ее крыло проходило между Курском и Орлом. Курск остался за нами. Севернее Поньрей и восточнее Орла извивался в обратную сторону еще один своеобразный зигзаг линии фронта. Нас с командующим, товарищем Ватутиным, прежде всего беспокоил, конечно, участок, за который мы отвечали: от Волчанска до реки Сейм. И мы приняли меры, чтобы здесь противник ни в коем случае не смог продвинуться. Если бы он продвинулся, к примеру, в северном направлении, то есть к Курску, то поставил бы под угрозу наши 38-ю и 40-ю армии, стоявшие под Сумами, а мы потеряли бы выгодные позиции для наступления на Ромны и Лебедин. К этому времени мы перенесли свой штаб на северную окраину Обояни, в глубину южного фаса дуги. Название выбранного нами местечка было какое-то военное — такая-то рота: память былых времен, когда через Обоянь проходила граница средневекового Русского государства. Здесь жили поселенцы, которые несли воинскую повинность по охране границы от набегов с юга. Поэтому тамошние села имели военные названия. В данном случае — такая-то рота (ее номер я сейчас не помню).

Надвигалась весна. А с приближением весны, как мы знали, приближаются и напряженные бои. Мы считали, что противник, пока он не «просохнет» и не накопит достаточных сил, особых действий предпринять против нас не сможет. Но и мы тоже были абсолютно не способны к активным действиям. У нас просто не было сил для этого. Не помню точно, когда и какие новые воинские объединения прибыли к нам. Вдруг мы получили 6-ю Гвардейскую армию. Это — бывшая 21-я армия, кото-

рая участвовала в Сталинградской битве со стороны Донского фронта, потом пополнилась, заново обучилась и получила новое название. Она пришла к нам, когда снег уже сошел. Командовал ею генерал Чистяков. Ранее я его лично не знал. Но, когда он прибыл и мы познакомились с ним, он произвел на нас хорошее впечатление. Мы считали, что это — сила! Во-первых, кадры этой армии в основном уже прошли сталинградские бои, приобрели закалку, опыт и упорство в обороне. Нам-то, имея в виду лето, как раз требовалось, чтобы армия была крепкой в обороне. Ее мы расположили севернее Белгорода, чтобы она оседлала шоссе Белгород—Курск—Москва.

Прибыла к нам и 7-я Гвардейская армия, тоже сталинградская. Под Сталинградом она называлась 64-й. Командовал ею Шумилов, а членом Военного совета был Сердюк. Она прибыла к нам с тем же командованием. Эта армия была расположена к востоку от Белгорода, за Донцом. Она должна была дать отпор противнику при попытках его продвижения на Новый Оскол и одновременно сама могла ударить южнее Белгорода. Во втором эшелоне, между 6-й и 7-й Гвардейскими армиями, стояла 69-я армия под командованием генерала Крюченкина. Я Крюченкина знал: это был воин еще гражданской войны. Лицо у него было все иссечено шрамами, которые он получил во время боев с белыми. Сам он был ранее кавалеристом. Штаб его армии располагался в Старом Осколе. На правом фланге 6-й Гвардейской разместилась 40-я армия. Командовал ею хорошо известный мне генерал Москаленко. Значительно позже пришла к нам 47-я армия. Она вошла сначала во фронтовой резерв. А возле армии Москаленко располагалась 27-я армия. Ею командовал генерал Трофименко. Они повернулись лицом на юг, находясь на одной стороне линии, образующей дугу. А прямо лицом на запад стояла 38-я армия, которой командовал Чибисов. Она была расположена на правом крыле фронта, и ее правый фланг соприкасался с левым крылом Центрального фронта.

Сзади Шумилова, за его левым флангом стояли в резерве войска под командованием Ивана Степановича Конева. Это был Степной фронт. Потом он приобрел название 2-го Украинского. Войсками Юго-Западного фронта, примыкавшими с юга к войскам Воронежского фронта, командовал Малиновский. Он нацелен был в то время на Харьков и Днепропетровск. Вот как располагались войска в районе, имевшем прямое и косвенное отношение к моим тогдашним функциям. Что касается штаба армии Шумилова, то он расположился восточнее Белгорода, в лесу. Мы много раз приезжали к нему и проверяли, как его армия готовилась к наступлению, заслушивали доклады не только командарма, но и командиров корпусов, дивизий и бригад.

Перед всеми войсками фронта была поставлена задача учиться хорошо воевать, отрабатывать тактику, обучить солдат отличному владению оружием. Партийная организация и политотделы были нацелены на то, чтобы политически и морально сцементировать войска, чтобы каждый воин понимал свою миссию и сделал все, что от него зависит, чтобы не отступить ни на шаг и готовиться к наступлению. Впрочем, особой агитации, чтобы убедить солдат стойко обороняться и мужественно наступать, не требовалось. Все рвались в бой. Не помню, чтобы возникали какие-либо эксцессы. О дезертирстве я уже и не слышал. Конечно, всегда в массе людей бывают какие-то отклонения от средней нормы в поведении того или другого человека. Но в общем войска были в очень хорошем состоянии. Готовы были и драться, и умереть, если понадобится, но гнать врага из своей страны. Гнать его прочь! Особенно отличались гвардейские армии. Уже тогда у них появился лозунг: «На Берлин! От Сталинграда на Берлин!» Потом много было шуток на эту тему. Бывало, генерал как бы шутя, но полусерьезно говорит: «Ну, берем Берлин! Хочу быть комендантом Берлина». Такое желание возникало у каждого. Человек, который выстрадал войну, видел, сколько бед она нам принесла, хотел показать и противнику, что война приносит бедствия, что расплачиваться за эту войну придется тем, кто ее начал.

6-й Гвардейской приказали зарыться в землю, вырыть противотанковые рвы и возвести три полосы обороны. Мы создавали оборону на большую глубину на случай, если противник, начав наступать, овладеет нашими армейскими позициями. Поэтому за ними были приготовлены еще три фронтовых рубежа обороны, хорошо оборудованных, насколько это тогда было возможно. В ход шли и дзоты на основе бревен и земли, и такой «механизм», как солдатская лопата. Сзади нас строился оборонительный рубеж Степного фронта, подпиравшего наш тыл, а за ним, по Дону от Лебедяни к Павловску, тянулся еще один, Государственный рубеж обороны. Ничего подобного у нас ранее не встречалось. Работу солдаты проделали очень большую. наших солдат особенно уговаривать не приходилось. Они сами все понимали. Старые уже были «волки», прошедшие два года войны. Каждый знал, что чем лучше будет построена противотанковая оборона, чем лучше оборудована траншея, чем лучше расположены артиллерия и пулеметы, тем меньше прольется советской крови и тем труднее будет противнику сбить и потеснить нас.

Генерал Чистяков и его начальник штаба Пеньковский отлично знали свое дело и тоже провели большую и полезную работу. Пеньковский еще жив и здоров. Желаю ему жить и бодрствовать 100 лет. Хороший

человек и понимающий свое дело генерал. Он прилежно относился к сложным обязанностям и был хорошим дополнением командующего армией. Другие армии тоже возводили оборону, но не на такую глубину, как 6-я Гвардейская. Мы тогда частенько ездили в нее, заслушивали доклады командиров и проверяли, как используется каждый день для наращивания обороны. Однажды мы приехали к генералу Москаленко. Он находился в небольшой крестьянской комнате с довольно скудным освещением. Его подчиненные, которым нужно было присутствовать, расселись на лавках, вроде как на царском совете в Грановитой палате московского Кремля. Там тоже стояли лавки в былые времена, когда заседали бояре. Воцарилась тишина. Начал докладывать Москаленко. И вдруг раздался звонкий храп. Ватутин сразу встрепенулся, насторожился и обвел глазами сидевших. Стоял полумрак, и не было ясно видно, кто где сидит. Ватутин по звуку определил направление, откуда идет храп. Когда он повторился несколько раз, командующий увидел, что храп исходит от начальника штаба армии Батюни. Хороший генерал и хороший товарищ, но просто человек был сверхтомолен. В комнате было тепло, вот его и разморило. Ватутин тут как крикнет: «Батюня!» Тот вскочил, озирается. Доклад был продолжен, но Батюня снова задремал. Такие эпизоды врывались в повседневные будни и вносили юмор и своеобразное оживление.

В апреле, а может быть и в мае, мы со штабом фронта выехали из Казачьего (населенный пункт севернее Обояни) и расположились юго-восточнее Обояни, в каком-то очень большом селе. Укрепление обороны еще продолжалось, но штаб уже начал заниматься разработкой наступательной операции. Было определено, что если будем контрнаступать, так 6-й Гвардейской армией на Белгород с доворотом на Харьков, то есть с севера на юг. Начальником штаба фронта у нас был Иванов. Очень порядочный человек, добросовестно относившийся к своим обязанностям. Но так как и сам командующий войсками фронта Ватутин был раньше больше штабистом, чем командиром, то Иванову не так-то легко было проявить свои таланты начальника штаба. Ватутин не только давал общие установки, как составлять план операции, но и сам часто садился за стол, брал линейку, карандаш, карты и начинал чертить стрелы и подсчитывать. Одним словом, брал на себя работу начальника штаба, а порой даже начальника оперативного отдела. Я полагал, что тут есть и положительная, и отрицательная стороны дела. Конечно, он перегружал себя и брал на себя работу, которую должны были делать начальник штаба и другие штабные офицеры.

Итак, начала готовиться наступательная операция. Разрабатывались варианты. Лучшим вариантом признали контрудар на Белгород. Хотел

бы отвлекся. Я упомянул Иванова. Он работал в 1959—1962 годах в Генеральном штабе заместителем начальника. И мы освободили его от этой должности. А я был тогда Председателем Совета Министров СССР и являлся Главнокомандующим Вооруженными Силами. Мне было его жалко, но сложилась такая ситуация, когда государственный долг требовал пойти на такую жертву, при всем моем большом личном уважении к генералу Иванову. Сейчас уже не помню, в чем конкретно заключалось дело. Он допустил серьезное упущение с документами. Это случилось как раз в то время, когда у нас был разоблачен шпион Пеньковский (не вышеупомнутый, а другой, полковник. Так что прошу не смешивать честного воина, преданного Родине человека с предателем Родины.) Что-то в Генштабе случилось с документами, и пришлось отстранить от работы Иванова. Мне это было особенно тяжело, потому что я его уважал за прошлое и ценил его работоспособность и трудолюбие. У меня его честность не вызывала и сейчас не вызывает сомнений. Но военное дело требует не одной честности, а и аккуратности, особенно при секретной работе в штабах. Можно быть честным, но если не соблюдать должного порядка, то можно нанести вред, даже того не желая. Враг использует и неряшливость, и любое другое наше упущение. Поэтому мы тогда наказали генерала Иванова, переведя его начальником штаба в Сибирский военный округ.

Я вспомнил и другой неприятный эпизод. Он относится к раннему периоду обороны на Курской дуге. Приехали мы с Ватутиным к командарму Чибисову. Мне не понравились ни доклад Чибисова, ни выступление члена его Военного совета. Вопрос они подняли такой, что вот, дескать, им дали в пополнение украинцев, которые находились ранее на занятой немцами территории. Люди прибыли, но необученные, и даже хуже того: бросили против них нехорошее обвинение политического характера. «Какой же это порядок в армии, — говорил член Военного совета. — Состоялся бой. А после боя пришли на поле матери, жены и сестры погибших, ходили там и собирали трупы убитых». Я возмутился: «Товарищи, это же от вас зависит. Что же вы обвиняете людей, которых сами и мобилизовали? Сразу же, не обучив их, бросили в бой несклоченные части. Они же умирали, и честно умирали. А то, что пришли их жены, сестры и матери и находили трупы своих родственников, это естественно. Это ваша обязанность — не допускать такого, чтобы морально не разлагать войска». Особенно упорствовал и стоял на своем член Военного совета.

Когда мы с Ватутиным уехали, то, посоветовавшись, решили, что у этого члена Военного совета слишком плохое настроение, и внесли пред-

ложение освободить его от должности и назначить нового члена Военного совета, который занимался бы делами, ему положенными, правильно понимал и организовывал свою работу. Такие настроения, к сожалению, возникали не только в армии Чибисова. Тогда вообще в войсках, пришедших на Курскую дугу, все занимались мобилизацией людей призывных возрастов из числа местного населения, и какое-то время сквозило такое настроение, что местные, оказавшиеся под фашистской оккупацией, — второсортные люди. С этим взглядом приходилось бороться. Такие настроения были, по существу, и неправильны, и вредны. Нам предстояло наступать, освобождать всю Украину. Безусловно, нам придется и далее пополняться за счет мобилизованных, которые оставались на оккупированной территории. Эти люди потом тоже сыграли важную роль в разгроме врага. Главным источником пополнения наших войск при наступлении вообще оказались «местные ресурсы». Такой метод господствовал.

Наступательная операция была разработана. Подсчитано, какие силы и какая военная техника потребуются, какие необходимы материальные ресурсы для прорыва через Белгород на Харьков. Мы с Ватутиным попросились после этого на доклад к Сталину. Сталин сказал: «Прилетайте». Еще до доклада Сталину наши разработки изучались и корректировались Генеральным штабом, а после доклада обычно все приводилось в окончательный вид. Доложили мы Сталину. Он уже чувствовал себя по-другому, источал теперь уверенность. Я бы сказал, что в это время ему было приятно докладывать, не то что годом раньше. Да и сам он уже выражал более правильное понимание обстановки и более правильное отношение к поставленным фронтами вопросам. Нам дали срок — 20 июля — и приказали готовиться к началу наступления. Направление, которое нами было выбрано, одобрили. Далее основным вопросом стал «торг»: какое пополнение мы сможем получить для проведения этой операции? Да и всегда так было. Запросы, которые предъявляли командующие, полностью никогда не удовлетворялись. Нам дали много, но все же нас не удовлетворяли. Однако нам сказали: вот ваша сила, ею и распоряжайтесь, а за вашей спиной будут стоять еще резервы Верховного Главнокомандования.

К операции на Курской дуге, я считаю, готовились хорошо и штаб фронта, и Генеральный штаб. Мы уехали, очень довольные беседой со Сталиным и результатами доклада. Сейчас уже не помню, почему наше наступление было назначено именно на 20 июля. Это, видимо, определялось тем, что мы могли получить все, что нам нужно было, только к названному сроку. Сталин сказал нам, что дней на шесть раньше нас про-

ведет наступательную операцию Центральный фронт Рокоссовского, а потом и мы начнем свою операцию. Я это помню потому, что корпус тяжелой артиллерии резерва Верховного Главнокомандования направлялся сначала к Рокоссовскому, чтобы обеспечить там прорыв фашистского фронта, а когда он сделает там свое дело, то поступит в наше распоряжение и будет содействовать нашему наступлению. Впрочем, это могла быть артиллерия и не Центрального, а действовавшего севернее Брянского фронта. Хорошо помню также генерала Королькова, командира упомянутого корпуса. Очень он мне нравился. Я потом с ним встречался и под освобожденным Киевом. Там он тоже командовал тем же артиллерийским корпусом.

А пока мы упорно готовили войска к обороне и строили укрепления, согласовали также действия войск на стыке между фронтами. Например, мы провели такое совещание с южным соседом. Оно состоялось в дубовом лесу. Мы приехали туда, и Малиновский тоже приехал со своими генералами. Сразу заметили, что листьев на деревьях не было: дубовый шелкопряд объел все листья. Поэтому с воздуха все просматривалось: никакого прикрытия. Командующий армией, в зоне которой мы проводили совещание, говорил: «Окончится совещание, и я сейчас же уйду отсюда. Ожидая, что вот-вот могут налететь немцы и разгромить мой штаб». На совещании мы обменивались мнениями и совместно прорабатывали действия на стыке фронтов, с тем чтобы противник не смог вклиниться в наше расположение.

Из Ставки перед нашим наступлением приезжали к нам Жуков и Василевский. Мы ездили с ними по армиям. Подвоз снарядов и прибытие воинских соединений в наше распоряжение шли по плану, который был утвержден для проведения операции и выполнялся более или менее своевременно. Возили мы представителей Ставки из расположения своего штаба юго-восточнее Обояни. Там он пробыл месяц или чуть больше. Тут недостаточно строго соблюдалась дисциплина: в расположении штаба появлялись разные машины, когда им вовсе не следовало появляться, и противник, ведя воздушную разведку, заметил, что здесь расположен какой-то штаб. Мы чувствовали, что немцы усилили воздушную разведку. Немецкие самолеты начали висеть над расположением штаба. Поскольку у нас был подготовлен резервный пункт в районе небольшой станции севернее Прохоровки, мы решили перевести штаб туда. Предупредили всех штабников, что утром на рассвете надо перебраться на новое место. Некоторые «хозяйства» мы перевели раньше, с тем чтобы при переезде не возникло большого обоза, который мог бы привлечь внимание авиации противника. Мы с Ватутиным тоже переехали в какой-то совхоз, ки-

лометрах в двух-трех от станции. Постройки там были временные, дощатые. Клопов в них оказалось — страх! Это довольно выносливое зверье жило в пустых бараках, голодало, а теперь набросилось на нас, и мы их откармливали своей кровью. Около этого совхоза виднелся лесок — небольшой овраг, заросший дубняком. Когда исполняют песню композитора Соловьева-Седого «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат», я всегда вспоминаю этот овраг: сколько же там было соловьев! Какое-то соловьиное царство. На случай авианалета мы подготовили себе землянки в этом лесу и там же расположили жизненно необходимые звенья штаба, чтобы не потерять управление войсками, не нарушить связь. Землянки Ватутина, моя и некоторых других лиц тоже были в этом лесу.

Только мы расположились — а у нас даже какое-то хозяйство еще оставалось в старом пункте, — как нам сообщили, что на рассвете налетела авиация противника и разбомбила старое место штаба. Потерь у нас, однако, не было, бомбежка оказалась безрезультатной. Разрушил враг село, но не полностью. А через день-два сбили немецкий разведывательный самолет и захватили в плен летчиков. Мы с Ватутиным их допрашивали. Я спросил летчика: «Вы участвовали в бомбежке такого-то населенного пункта?» (А мы сбили его самолет как раз над населенным пунктом, где раньше располагался наш штаб.) — «Да, участвовал». — «Какая задача была поставлена перед Вами?» — «Нам сказали, что в этом населенном пункте расположен крупный русский штаб». Вот как получилось. Потом мы часто вспоминали, как «предчувствие» спасло нас.

У военных вообще принято: как только штаб расположится в каком-либо пункте, сразу же готовить запасной командный пункт. На этот раз мы его выбрали несколько севернее штаба. Также облюбовали себе лесок и послали туда саперов. К началу немецкого наступления 5 июля 1943 года этот командный пункт был готов. По собственному плану мы имели в виду выехать туда перед проведением операции, которую наметили на 20 июля: хотели лишь перед самым наступлением перебраться туда, пока противник еще не обнаружил нового расположения штаба. Оттуда мы могли бы более уверенно, имея обеспеченную связь, управлять войсками.

Не помню, по нашей инициативе в этот раз или же это была инициатива Ставки, вновь приехали мы в Москву, встретились со Сталиным. Для какой-то из наших армий я попросил дать членом Военного совета генерала Попеля. С ним я познакомился в первые же дни войны, когда он был комиссаром в корпусе, которым командовал генерал Рябышев. Попель очень понравился мне своими спокойствием, распорядительностью и мужеством. В 1941 году штаб мехкорпуса оказался разорванным

на две части. Одна часть оказалась с Рябышевым, другая — с Попелем. Они переговаривались по радиии: Рябышев задавал вопросы, сомневаясь, отвечает ли именно Попель, а не подставное лицо от врага. Он спрашивал, как зовут его дочерей и что случилось с его кобелем. Занятный такой был разговор. Рассказ об этом долго гулял среди командного состава и много раз повторялся при встречах со Сталиным. Мы шутили, но способ опознавания, по существу, был правильным. Теперь же я попросил Пополя опять к нам. Сталин согласился.

Когда мы были в Москве, нам сказали также, что мы получаем в свое распоряжение 1-ю танковую армию, которой командует генерал Катукков. Мы были очень рады этому. С Катукковым я лично ранее не встречался, но знал его по его делам. Он считался хорошим танкистом, упорным воином, знающим технику и распорядительным командиром. Когда Катукков докладывал Сталину о состоянии своей армии, он обратился с просьбой: «Товарищ Сталин, прошу, дайте мне членом Военного совета Пополя». Сталин сразу глянул на меня. Катукков: «Я его знаю, и он меня знает. Мы верим друг другу, друг друга понимаем. Прошу Вас, дайте мне его». Сталин: «Что ж, мы к Вам его пошлем». И мне: «А Вы ищите другого». И мы нашли другого: Крайнюкова, хорошего члена Военного совета, уже находившегося в другой армии нашего фронта.

Прибыла 1-я танковая армия. В ее состав входили около 1 тыс. танков и еще мотопехота. Правда, мотопехоты было немного. Ее мы направили в расположение 6-й Гвардейской армии, чтобы создать глубину обороны не только отрытием противотанковых рвов и сооружением другого полевого оборудования. Решили расположить танковую армию на определенной глубине и закопали танки Катуккова в землю на случай, если противник прорвется и нам придется перейти к глухой обороне. То есть решили использовать танки как казематную артиллерию, но со способностью передвижения. Ведь танки могут передвигаться. Вырыли для танков капониры без верхних сводов. Это хорошо оправдало себя. Катукков толково использовал свои силы и сыграл очень большую роль при разгроме фашистского наступления на Курской дуге.

Мы получили также танковое подкрепление в виде отдельных корпусов. Припоминаю сейчас, что когда мы подсчитывали свои силы к моменту наступления противника, то у нас было около двух с половиной тысяч танков. Огромная мощь! Разведка нам докладывала, что у противника примерно такое же количество танков. Стало быть, тут, на узком участке фронта, с той и с другой стороны насчитывалось четыре с лишним тысячи танков. Не говорю уже об артиллерии, которой тоже было немало с нашей стороны. А у немцев артиллерии было еще больше. Сей-

час не помню все цифры, которые докладывала наша разведка. А мы ждали. Оставалось дней 15 до начала операции. Мы были уверены, что наше наступление будет успешным, что мы разобьем здесь врага и двинемся на запад, освободим Харьков и выйдем на Днепр. Желание это было просто выстраданным.

Вдруг — звонок из 6-й Гвардейской армии: командующий докладывает, что с переднего края перебежал немецкий солдат из какой-то эсэсовской дивизии. Разные эсэсовские дивизии там были. Я еще говорил Ватутину, что, на каком бы участке фронта я ни был, обязательно меня преследует дивизия «Мертвая голова», всегда действует против меня. Командарм же сообщил, что солдат уверяет, будто завтра, 5 июля в 3 утра, немцы перейдут в наступление. Мы приказали сейчас же доставить солдата к нам. Допросили его. Он все нам повторил. Мы его спросили: «Почему вы так думаете?» Отвечает: «Я, конечно, приказа о наступлении не видел, но есть солдатское чутье, солдатский вестник. Во-первых, все мы получили трехсуточный сухой паек. Во-вторых, танки подведены вплотную к переднему краю. В-третьих, был приказ выложить боекомплект артиллерийских орудий. Все приготовили, чтобы не было никакой задержки». — «Но отчего вы говорите, что в три часа утра? Откуда такая точность?» — «Это вы уже и сами могли бы заметить. Если мы наступаем, то в это время года всегда в три утра, то есть с началом рассвета. Я уверен, что будет так, как я вам сообщаю». Этот перебежчик был молодой парень, красивый, элегантный, холеный, явно не из рабочих. Спрашиваю его: «Как же вы перешли линию фронта и нам сообщаете о наступлении, а сами являетесь эсэсовцем? Как это понять? Вы же нацист». — «Нет, — говорит, — я не нацист, я против нацистов, поэтому и перешел к вам». Я ему: «Ведь в эсэсовские части берут людей только из нацистов?» — «Нет, это раньше, на первый и второй годы войны, так было, а сейчас берут всех подходящих. Меня взяли по приличному росту и внешнему виду арийца. Так я и попал в эсэсовские войска. Но я против нацизма. Я немец, но родители мои из Эльзаса. Мы воспитаны на французской культуре, и поэтому мы не такие, как нацисты. Родители мои против нацизма, и я такой же. Я теперь принял твердое решение для себя и убежал, чтобы не участвовать в этом наступлении, не подставлять свою голову под ваши пули в интересах Гитлера. Поэтому я и перебежал. Я говорю все это откровенно потому, что желаю поражения Гитлеру. Это будет в интересах немецкого народа».

Мы позвонили в Москву и предупредили об услышанном. Потом мне позвонил Сталин. Не знаю, говорил ли он раньше с Ватутиным. Мы предполагали в те часы в разных местах. Иногда Сталин звонил раньше

мне, а в другой раз раньше командующему. Никакого «порядка» тут не было, да и быть не могло. Хотел бы, чтобы меня правильно поняли: вот, дескать, звонил ему Сталин. Мол, Хрущев выпячивает себя. Нет, не выпячиваю. Ведь я был членом Военного совета фронта и членом Политбюро ЦК партии. Сталин меня хорошо знал и считался со мной, даже несмотря на свое бешенство в моменты тяжелейшего положения для страны, когда он незаслуженно переносил свое настроение на меня и других, когда искал «козла отпущения». А тут вот как раз первый секретарь ЦК КП(б)У, член Политбюро, член Военного совета фронта. Имелось, на кого валить все беды. Не возьмет же на себя Верховный Главнокомандующий провалы, которые мы терпели до Сталинграда. А сейчас уже стиралась горечь наших поражений.

В принципе Сталин относился ко мне с доверием. Он часто звонил мне и спрашивал о моем мнении. Так было и в Сталинграде, и на юге, и на Курской дуге. На Курской дуге состоялась решающая, переломная битва, которая определила крен стрелки истории войны в пользу Красной Армии, и далее эта стрелка уже не меняла направления, твердо показывала путь полного разгрома гитлеровской Германии, курс на торжество нашего народа, Красной Армии, советской идеологии, нашей Коммунистической партии!.. Я допустил здесь такое отступление от темы, с тем чтобы верно поняли мои слова и не говорили, что вот, мол, он якает. Нет, уважаемые друзья, не якаю, а просто рассказываю так, как было.

Когда Сталин позвонил, я сообщил ему еще раз о том, что поведал нам немецкий солдат. Он выслушал меня спокойно, и это мне понравилось; не проявил ни грубости, ни резкости. Обычно он был резок, угловат, даже при хорошем настроении. Черт его знает, почему. Будто его постоянно кто-то за нитку дергает, связанную с главным нервом, и выводит из равновесия. Хотя иной раз он умел сдержать себя и маскировал свое настроение. И то и другое у него было развито в сильной степени. Все это проявлялось постоянно: одно начало, которое противоречило другому. Но он владел собой, когда хотел. Одним словом, это была сильная личность, сильный человек.

Сталин спросил меня: «А как Вы там сами чувствуете ситуацию? Какова Ваша уверенность в успехе?» Отвечаю: «Мы с командующим обменялись мнениями и солидарны, чувствуем себя хорошо, уверенно. Мы даже довольны, что немцы завтра перейдут в наступление». — «Почему?» — «Потому что они станут лезть на наши укрепления, а наши укрепления солидные, и у нас существует уверенность в том, что мы на этих укреплениях заставим врага положить свои силы и истечь кровью».

У нас пока недостаточно сил для наступления, мы не получили еще то, что нам было положено иметь по плану к 20 июля. Поэтому мы сами наступать еще не готовы, но оборону держать готовы: обороняться можно и при меньшей силе. Это мы уже на практике усвоили, а не только в теории. Поэтому мы так уверены. Хорошо, что враг будет наступать, а мы его побьем». — «Мы тоже имеем сведения, что завтра против вас начнется наступление». На этом разговор закончился.

Напоминаю (я уже говорил об этом), что по плану первыми должны были наступать войска Рокоссовского, а уступом, спустя какое-то время, мы. Артиллерийский корпус резерва Верховного Главнокомандования уже занял севернее нас свои позиции. А противник-то начал наступать сразу против нас и Рокоссовского одновременно. Таким образом, Рокоссовский оказался в более выгодном положении. Так как он по плану должен был наступать первым, то первым получал и пополнение, и боеприпасы, и все остальное. Для чего я ссылаюсь на это? Чтобы читатель понимал, почему это обернулось на какое-то время против нас с Ватутиным. Противник, когда стал наступать, прорвался на нашем направлении глубже, чем у Рокоссовского, который был лучше подготовлен. А у нас еще оставалось 15 дней до нашего наступления; согласно плану, мы имели в резерве время. И вдруг оно сократилось, враг упредил нас. Это очень большой срок с точки зрения подброски пополнения и прочего на передний край.

Кто же командовал войсками на нашем фронте? Командующим артиллерией был генерал Варенцов, начальником штаба фронта — Иванов, начальником ВВС — генерал Красовский. Вот вчера лишь, при вручении Почетного Красного Знамени Военно-Воздушной академии имени Гагарина, я имел возможность увидеть по телевизору, как пополнял маршал авиации Красовский. Ему уже за 70, а он еще руководит академией... Кто же был у нас командующим бронетанковыми войсками? В 1942 году был один армянин, хороший генерал. Потом его ни за что арестовали и, по-моему, расстреляли. Я очень высоко ценил его деятельность и с уважением относился к нему. Его фамилия — Тамручи. Как-то я его спросил: «Судя по фамилии, вы итальянец или грек?» Он засмеялся: «Армянин, товарищ член Военного совета». Вообще на нашем фронте воевала тогда большая группа армян. Хорошие были генералы.

Потом у нас стал начальником бронетанковых войск Штевнев. Он погиб, и в какой-то степени по собственной вине. Ему надо было б отъехать на несколько километров подальше от дороги, по которой он ехал, потому что дорога, которую он избрал для переезда из одной части в другую, простреливалась артиллерией противника. А он, махнув рукой, сказал:

«Проскочу!» И не проскочил. Его расстреляла буквально в упор артиллерия противника. Штевнев тоже был хороший генерал. Вообще начальники бронетанковых и других родов войск у нас, с которыми я встречался, соответствовали своим назначениям, понимали дело и правильно руководили боевой техникой. И мне обидно, что я сейчас не припоминаю фамилии следующего командующего бронетанковыми войсками Воронежского фронта. А ведь я всегда питал большую слабость к этому роду войск. Но вот случается порой так, что выскочит фамилия из головы...

Мы с Ватутиным, обдумывая план действий по отражению немецкого наступления, обсудили и предложение командующего 6-й Гвардейской армией Чистякова. Тот предложил: «Давайте в 21.00 сделаем артиллерийский налет на позиции противника, с тем чтобы незадолго перед его наступлением нанести ему урон». Я высказался так: «Лучше не будем наносить артналет в 21.00. Сколько можем мы вести артиллерийский огонь с учетом наличия нашего боезапаса? Несколько минут. Мы ведь не в состоянии долго стрелять, выбрасывать снаряды. Они нам потребуются завтра, когда противник начнет наступать. А тут мы станем стрелять лишь по площадям. Это невыгодный расход боеприпасов. Давайте сделаем артналет, но за несколько минут до вражеского наступления, около 3-х часов». У меня имелись такие соображения: к этому времени солдаты врага уже будут на исходных позициях, а не сидеть в траншеях, и не будут укрыты; его артиллеристы тоже займут свои места у орудий. Все его люди выйдут из подземелий и станут ожидать в открытом поле сигнала к действиям. Если в это время сделать хороший артиллерийский налет, то мы получим большой эффект, нанеся урон противнику в живой силе и выведя из строя часть его техники. Безусловно, как-то нарушится при этом и связь, которая имеет большое значение при проведении операции. Ватутин согласился со мной. Так мы и решили поступить, подготовились и стали ждать 3-х часов.

Хотел бы сделать теперь отступление перед тем, как описать решающий поединок двух сторон в 1943 году на нашем направлении, который в смысле общего военного значения и прямых результатов боев стал историческим, и не только для нашего направления, а вообще для всей Красной Армии и судьбы СССР. Хочу рассказать о том, как все мы, и я в том числе, переживали, когда читали в газетах о том, что на таком-то участке фронта, в таких-то частях дали концерт для бойцов, выступали там-то такие-то артисты и такие-то писатели. Ранее все это относилось к войскам Западного фронта, которые почти стояли на месте, защищая Москву в 1942 и в 1943 году. У нас возникли зависть к ним и непонимание: идет война, а они слушают песни, смотрят на танцы? В 1942 году на южном

направлении нам было не до песен и не до танцев. Головы не могли поднять, взглянуть на небо, потому что все время противник проводил активные операции, наносил нам большой урон и непрерывно продвигался вперед. Мы же оборонялись, отступали, порой и бежали. Он оттеснил нас к Волге и продвинулся чуть ли не до Каспия. Только теперь, перед наступлением немцев 5 июля, и мы немного вкусили от этого развлекательного плода, когда стояли в обороне и проводили работы по укреплению своих позиций. К нам тоже стали приезжать люди из Центра, доклады делали. Тогда был установлен персональный состав всех докладчиков — «пламенных ораторов». Вот и приезжали к нам «пламенные ораторы». А пламя надо было раздувать мехами, чтобы оно стало ярким. Получалось не у всех. Но все равно докладчик считался пламенным! Не знаю, кто выдумал это выражение: пламенный оратор. Потом стали приезжать и артисты, давали концерты. Одним словом, проводилась культурно-массовая работа.

В то время у нас начальником Политуправления фронта был генерал Шатилов. Я хорошо знал Шатилова еще по своей работе в Москве. Он трудился тогда на Электрозаводе, занимался там агитмассовой деятельностью, потом работал в горкоме или в Сталинском райкоме партии. Одним словом, это был московский партийный работник. А потом стал начальником Политуправления нашего фронта, и вся партийно-агитационная массовая работа в значительной степени лежала на его плечах. Только в 1943 году я смог понять, что значит — долго стоять в обороне — и какие это предоставляет возможности для организации партийной и агитмассовой работы среди воинов.

Наступило 4 июля. Дело шло к вечеру. Мы с Ватутиным нетерпеливо ждали рокового часа, установленного Гитлером для нашего фронта. Я мог тогда вспомнить генерала Тупикова. Когда штаб фронта стоял в 1941 году под Киевом и немецкая авиация бомбила его расположение, начальник штаба Тупиков, рассказывая по комнате, напевал арию из оперы Чайковского: «Что день грядущий мне готовит?» Сейчас и мы с Ватутиным могли тоже затянуть эту арию. Конечно, мы были уверены, что день грядущий готовит нам успех. Но, как говорят украинцы, не кажи гоп, пока не перескочишь. Поэтому естественной была и тревога за то, как пройдет начало вражеского наступления, как удастся нам его остановить, а потом перейти в контрнаступление.

Без пяти минут три Варенцов отдал приказ произвести артиллерийский налет на позиции противника, выпустив по сколько-то снарядов из каждого орудия в полосах 6-й и 7-й Гвардейских армий. О результатах мы узнали позже. А ровно в 3 часа утра немецкая аккуратность «не под-

вела»: задрожала земля, загудел воздух. Такого я раньше никогда не наблюдал. Я пережил отступление, и сами мы наступали, но такого огня прежде не встречал. Позднее мы сами тоже давали огонька, может быть и побольше. Но для 1943 года, надо признать, противник организовал чрезвычайно мощную артиллерийскую подготовку. Его авиация тоже стала громить наш передний край. Немцы использовали в те часы всю свою авиацию только на переднем крае, с задачей сломить наше сопротивление, стереть в пыль наши укрепления, смешать все с землей и расчистить путь танкам, чтобы рвануться на Курск и окружить советские войска внутри дуги. Тем самым они хотели повторить или даже осуществить в еще большей степени то, что сделали с нашими войсками в 1942 году на направлении Барвенково—Лозовая.

Несколько позже, когда уже мы наступали, разгромили танковую дивизию врага и захватили ее штаб, командиру этой дивизии удалось спрятаться в пшенице. Мы его так и не поймали, хотя очень охотились за ним. Зато захватили тогда штабные документы и карту. На ней было помечено расположение наших частей и воткнул флажок в место, на котором был отмечен штаб Воронежского фронта. Значит, враг знал расположение нашего штаба, но не бросил туда ни одной бомбы, не послал для бомбежки ни одного самолета. Я объясняю это тем, что немцы были уверены в успехе и проигнорировали факт, что штаб окажется в состоянии нормально вести работу, его деятельность не будет дезорганизована и связь не будет разрушена. Они считали, что главное — разрушить оборонительные позиции, взломать передний край, разгромить там наши войска и расчистить путь для своих танков, а все остальное рухнет само собой. Действительно, они зверски рвались вперед, использовали все шансы, все поставили на карту, чтобы решить поставленную задачу.

Земля дрожала от разрывов снарядов и бомб, воздух гудел от слитного звучания самолетов бомбардировочной авиации и истребителей прикрытия. Наши войска были готовы к отражению удара. Завязался бой, тяжелый бой. Немцы лезли, как могут это делать только они, люди высокой дисциплины. Или же они применяли какие-нибудь одурманивающие средства для своих солдат (об этом много тогда говорили), но упорство в наступлении проявили очень большое. Наши войска сначала держали свои позиции. Однако количество огня постепенно ломает даже сталь, а не только людей, которые закопались в землю. И первая полоса обороны была прорвана. Мы это предвидели. Поэтому и построили три полосы обороны. У нас оставались еще вторая и третья полосы. Поэтому начало битвы нас не обескуражило. Мы знали, что враг положил много войск и техники при прорыве переднего края. О каком-то бегстве наших

войск никаких разговоров даже не возникало. Наши солдаты дрались там до последнего, умирали, но не бежали. Здесь был проявлен истинный героизм, не газетный, а настоящий.

К нам опять прилетел Василевский. Кажется, на второй день немецкого наступления. Мы всегда встречали его любезно, потому что это человек особого склада характера. Разговаривать с ним было приятно: он не повысит голоса, не накричит, а беседа всегда велась им не вообще, но по существу обстановки, которая складывалась. Было приятно чувствовать человеческое понимание, человеческое к тебе отношение, особенно в трудную минуту обороны. Между тем стали мы брать наступающих понемногу в плен. Мне доложили, что захватили среди других артиллерийского офицера. Говорю Василевскому: «Давайте допросим его». Привели высокого, стройного молодого человека, видимо с неважным зрением, в пенсне. Я захотел получше расположить его к себе, чтобы он что-нибудь сказал нам пооткровеннее. Спрашиваю: «Как же вы так оплошали и попали в плен?» Отвечает: «Так уж сложилось, я плохо вижу. Увлёкся я, переправлял через противотанковый ров свою артиллерию, а ваши пехотинцы схватили меня, вот и оказался я в плену». Потом я стал ему задавать другие вопросы. Он понял, что я хотел бы, чтобы он рассказал нам, что ему известно о составе немецких войск и по прочим вопросам военного характера, которые мы смогли бы использовать. Тогда он взглянул на меня и говорит: «Я офицер немецкой армии и просил бы таких вопросов мне не задавать. Не буду отвечать ни на один вопрос, который можно было бы использовать во вред Германии». И мы с Василевским не стали больше ему задавать вопросов, а сказали: «Вы будете отправлены куда следует». Он испугался. Наверное, подумал, что это означает расстрел. Однако его отправили на допрос к нашей войсковой разведке, а оттуда в лагерь для военнопленных. Меня это, впрочем, не касалось. Я тогда даже не знал толком, куда отправляют пленных. Да меня это особенно и не интересовало.

Сражение разгоралось. У нас с Ватутиным стала проявляться тревога: мы все же не ожидали такого нажима. Чрезвычайно встревожило нас известие, что появились какие-то новые танки противника с такой броней, которую не берут наши противотанковые снаряды. Дрожь прошла по телу. Что же делать? Мы отдали распоряжение, чтобы артиллерия всех калибров била по гусеницам. Гусеница у танка всегда уязвима. Если и не пробьешь броню, то гусеницу снаряд всегда возьмет. А перебил гусеницу, и это уже не танк: вроде неподвижной артиллерии. Появится облегчение. Наши стали именно так и действовать, причем довольно успешно. Одновременно мы начали бомбить танки с воздуха. И тут

же доложили в Москву, что встретились с новыми танками. Немцы называли их «тигры». Доложили мы в Центр и о технических характеристиках этих танков. Мы узнали их, потому что наши солдаты захватили один или несколько подбитых «тигров». Нам вскоре прислали новые противотанковые снаряды, которые поражали броню «тигров», кумулятивные снаряды, прожигавшие металл. Однако «тигры» успели поколебать уверенность действий нашей противотанковой артиллерии. Мы-то считали, что все нам нипочем и разгромим немецкие танки. А новый танк внушал к себе уважение, требовал к себе особого отношения со стороны наших войск.

Вообще очень важные происходили тогда события. Решалась судьба войны и судьба страны. Много неприятно сейчас вспоминать. И обстановка сейчас другая, и время другое, и мое положение. Теперь я — не то что тогда, когда, получив донесение, должен был быстро реагировать, найти какой-то выход, противопоставлять противнику свое решение, свой ответный ход. Теперь я не тороплюсь.

Бои на Курской дуге усиливались. Противник проявлял упорство и продвигался вперед, хотя и медленно. Он вынуждал наши войска отступать. Да, советские люди стояли там насмерть, но силы у противника было сначала побольше. Мы не смогли удержаться на первом рубеже, отошли на второй рубеж, где продолжали с той же стойкостью оказывать сопротивление. К этому времени наши войска научились подбивать «тигров», по тому времени наиболее мощные танки. Правда, они были несколько громоздкими, но имели мощную лобовую броню. Сначала мы били только по гусеницам. А потом, как я уже сказал, нам прислали термитные снаряды, которые прожигали броню. Первый шок, который вызван был появлением новых танков, прошел. Мы увидели, что «тигр» подчиняется нашему огню.

Тем не менее враг оттеснил нас и к третьему рубежу обороны. Три ее полосы, включая последнюю, имели противотанковые рвы, различные земляные и полевые укрепления, особые позиции для пехоты, артиллерии и танков. И почти все это он за неделю преодолел, пока не уперся в тыловую армейскую полосу обороны. Особенно острой сложилась ситуация у станции Прохоровка, в направлении на Курск. Примерно в это же время или немного раньше к нам обратилась Ставка с таким делом (разговаривал со мной Василевский, но ссылался на Сталина): надо, чтобы у нас прошел боевую стажировку генерал армии Апанасенко; пусть прибудет на Воронежский фронт; но вот Ватутин возражает. И Василевский стал уговаривать меня: «Ни один командующий не хочет его принять. Все отказываются, поэтому я решил позвонить вам и попросить,

чтобы вы согласились принять его. Апанасенко — человек с большим опытом, герой гражданской войны, но у него тяжелый характер и высокое самомнение. Поэтому все командующие отказываются». Действительно, всех командующих фронтами Апанасенко рассматривал как людей, ниже его стоящих, хотя бы по революционным заслугам. Он провел всю гражданскую войну на коне, боевой человек, а кто такие эти новенькие? Но сейчас они заняли высокое положение, он же торчит без дела на Дальнем Востоке. Это сыграло роль в его отношении к людям. Я лично с ним никогда не встречался, хотя слышал об Апанасенко. Говорю: «Пусть приезжает». Тот приехал.

Когда мы в Киеве работали вместе с Тимошенко, а Тимошенко по 1-й Конной армии хорошо знал Апанасенко, он мне рассказывал о нем. Насколько у меня отложилось в памяти, якобы когда казнили Тухачевского и других славных командиров Красной Армии, то допрашивали и Апанасенко. На него тоже пало какое-то подозрение. Тимошенко говорил, что с Апанасенко беседовал Сталин и что Апанасенко сознался, будто состоял в какой-то заговорщической группе. Сталин взял с него честное слово, простил, послал в Среднюю Азию. Там он занимал крупный командный пост. Потом стал командующим войсками на Дальнем Востоке. Значит, ему уже доверяли. Оттуда он и прибыл к нам.

Апанасенко произвел на меня хорошее впечатление. Роста он был гигантского, плечистый, грузный, уже человек в годах. Занял пост заместителя командующего войсками фронта, а сначала был прикомандирован к командующему для особых поручений, что фактически одно и то же. Нас предупредили, что он должен стажироваться, понюхать порох второй мировой войны. Он знал первую мировую войну, гражданскую, но не знал пока второй мировой. А это совершенно другая война, и по-другому она протекала. И вооружение иное, и тактика иная, и условия изменились. Мы посылали его по армиям, как бы познакомиться. Прежде всего направили в 6-ю Гвардейскую, потому что там возникло особенно напряженное положение.

Он меня немного удивлял своим поведением, и мы с Ватутиным за глаза подшучивали над ним. Как-то он поехал в какую-то часть, ознакомился с положением и прислал телеграмму: «Вот то-то и то-то он осмотрел, попробовал солдатский борщ. Борщ отличный. Генерал армии Апанасенко». Мы долго смеялись. Я впервые встретился с таким актерским приемом поведения. Ни у кого другого я не замечал такой манеры вести себя. Он, так сказать, немножко рисовался. Ну и пусть! Затем и на другие участки фронта мы его посылали, когда там завязались усиленные бои. Он направлялся нами туда, где складывалось самое опасное

положение. Это естественно. Такой крупный военачальник мог оказать помощь командующему армией.

Нам требовалось много пополнения и подкреплений. И их в ту пору Ставка сейчас же давала. Мы получили 10-й танковый корпус. Потом еще один танковый корпус, командовал которым Полубояров. Но он действовал в полосе Степного фронта. Сейчас Полубояров — начальник бронетанковых войск Советской Армии. Мы тогда сначала его корпус поставили в тылу, западнее Воронежа. Потом нам дали 5-ю Гвардейскую армию, крепкую, полного состава, с хорошо обученной молодежью. Командовал ею генерал Жадов. Ее мы поставили так, чтобы использовать против правого фланга немецкого наступления. Еще мы получили 5-ю Гвардейскую танковую армию. Командовал ею генерал Ротмистров. О нем я уже рассказывал в связи со Сталинградской битвой. Он приехал к нам, как старый знакомый. Я относился к нему с большим уважением и высоко ценил его знания и военные способности. 5-ю Гвардейскую танковую армию мы расположили так, чтобы рядом с 5-й Гвардейской тоже нанести фланговый удар по немецким войскам. Когда враг проявил такое упорство в наступлении, а наши войска упорствовали при удержании своих позиций, перемалывая живую силу и технику врага, мы приняли решение ударить немцам именно во фланг, а не в лоб, считая, что скорее сумеем свернуть как раз фланг противника, потом дезорганизовать сбоку его наступление и самим перейти в контрнаступление.

Но бывает и такое совпадение. Немцы тоже решили ударить по нашему флангу, только левому, то есть на восток. Там у нас вначале силы имелись небольшие: стояла на Северском Донце одна 69-я армия. Получилось, что наше решение и решение противника территориально совпали. Произошел встречный танковый бой. Рядом сражалась армия Жадова. Я находился как раз в ней. Ранее тоже встречался с Жадовым, но был с ним слабо знаком. Завязались очень упорные бои по верхнему течению Псела. К нам приехал Жуков. Мы с ним решили вдвоем поехать в танковую армию к Ротмистрову, в район Прохоровки. Прибыли в расположение штаба, прямо в поле, в посадках не то в каком-то кустарнике. Служб никаких там не имелось — только сам Ротмистров да офицеры для поручений и при них связь. Дорога туда вела накатанная. Но нас предупредили, что она обстреливается и усиленно бомбится противником. Мы с Жуковым дали газу и проскочили, реальной опасности не встретили.

У Ротмистрова тоже разгорелось сражение. На полях виднелось много подбитых танков — и противника, и наших. Появилось несовпадение в оценке потерь: Ротмистров говорил, что видит больше подбитых немецких танков, я же углядел больше наших. И то и другое, впрочем, есте-

ственно. С обеих сторон были ощутимые потери. Потом я еще раз съездил туда, уже без Жукова, который возвратился в Москву. Несколько раньше меня к Ротмистрову заехал Апанасенко. Я встретил там его, когда меня привел к нему офицер связи в небольшую деревушку в ложине, неподалеку от воды. Крестьяне издревле выбирали для себя место около воды. Там я застал картину, которая произвела на меня впечатление театрального представления. Около хаты стоял столик, покрытый кумачом. На столе — телефон. Апанасенко сидел за столиком в бурке, наброшенной на плечи. И все это около самого переднего края. Вражеские снаряды и болванки летели через дома деревни, визжали и завывали. У металлических болванок был характерный вой; потом они шлепаются без звука.

К тому времени наше положение ухудшилось. Мы исчерпали свои резервы, хотя не знали, что имелись еще резервы Верховного Главнокомандования. Потом уже нам сказали, что за нами стоят армии Степного фронта, которыми командовал Конев. Добавили, что 47-я армия этого фронта поступает в наше распоряжение. Это произошло, когда враг отеснил нас уже километров на 35 на север и когда мы выдохлись. Я поехал к Катукову. Его войска оседлали шоссе Белгород — Курск и удерживали его южнее Обояни. Там же находился штаб 6-й Гвардейской армии, потому что Катуков и Чистяков занимали по фронту и в глубину одну полосу: танковая армия была придана на усиление 6-й Гвардейской как подвижная артиллерия. Там я встретился сразу с обоими командирами. Положение складывалось тяжелое, Москва проявляла нервозность. Помню, как перед моим отъездом к Катукову мы с Ватутиным разговаривали со Сталиным. Потом взял трубку Молотов. Молотов всегда в таких случаях вел разговор грубее, чем Сталин, допускал оскорбительные выражения, позволял себе словесную бесконтрольность. Но чего-либо конкретного, кроме ругани, мы от него не услышали. Он ничем не мог нам помочь, потому что в военных вопросах был нулем, а использовался в таких случаях как бич, как дубинка Сталина. В оскорбительном тоне он говорил с командующим, потом и со мной. Не хочу допускать в свою очередь неуважительных выражений в его адрес, потому что при всех его отрицательных качествах Молотов по-своему был честен, а его преданность Советской власти не дает мне права отзываться о нем плохо, когда речь идет о войне. В кризисные моменты он проявлял грубость, но в спокойной обстановке — нет, и я понимал, что в те часы он мог только ругаться. Положение-то сложилось грозное. Вот тогда я и выехал на главное направление, к Чистякову и Катукову. Сил у них было уже мало. Армию Катукова потрепали. Не помню, сколько она к тому времени насчи-

тивала в своем составе танков. Шутка ли сказать: три полосы обороны, где были почти сплошь расположены танки, противник «прогрыз». Но за последней полосой наши войска закрепились, и враг не смог продвинуться дальше. Он и сам выдохся. Фронт становился не то чтобы стабильным (потому что никакая сторона не добивалась там перехода к обороне), а обоюдно обессиленным.

К нам попали в плен два немецких летчика. Пилотировали они одноместные самолеты, не помню, какой марки, старые тихоходы, вооруженные мелкокалиберными пушками. Это были воздушные истребители танков. Одному из летчиков было лет за 40, другой — молодой, вероятно, богатый человек, потому что все на нем было, судя по качеству и виду, не стандартное, а приобретенное на собственные средства. Первый же был попроще, хотя по воинскому званию старше. Он обгорел, у него были обожжены пальцы и лицо, а другой совершенно не тронут. Я допрашивал обоих. При допросе они оказали разное «сопротивление». О молодом мне доложили наши разведчики, которые раньше его допрашивали, что он ничего не скажет: это фашист, верящий в Гитлера и в победу германской армии. Его даже припугнули, чтобы он поддался, но тот ответил, что готов принять смерть за Гитлера, немецкая армия победит, а вы будете разбиты. Потом мне он повторил то же самое. Я недолго с ним возился, и его увели.

Стал беседовать со старшим. Это был иной, морально разбитый человек. Я ему предложил: «А вы не смогли бы написать письмо к вашим летчикам и обратиться к ним с листовкой антигитлеровского содержания?» Он ответил: «Как же я напишу? — и руку показывает. — Я не могу владеть рукой, она вся у меня обожжена». Я ему: «Вы будете диктовать». Одним словом, он согласился. Думаю, впрочем, что мы эту листовку не распечатали, потому что решали главный вопрос, а на листовки мало возлагали надежд. Надо было физически разгромить противника. Говорю это к тому, что в то время даже среди летного состава германских войск появились люди, которые не проявляли моральной устойчивости и были надломлены, потеряв веру в победу немецкого оружия.

Многого я сейчас уже не помню, но и не стремлюсь дать точную картину перемещения воинских частей и хронологию проведения операций. Все это изложено в мемуарах генералов, у каждого — по своему участку, и в опубликованных оперативных документах. Из них точно известно, когда противник выдохся, когда мы задержали его продвижение и сами перешли в наступление. Мне же хочется рассказать о своем восприятии тех событий, о каких-то запавших мне в память фактах, об интересных людях, о том, *что* я чувствовал в те дни.

Итак, мы стали теснить противника на главном направлении, а оно определяло положение на всем фронте. Не помню, сколько километров мы прошли, когда передвинули штаб, и я переехал вместе с ним. Новый полевой штаб организовали в землянке. Почти тут же разместились штабы 6-й Гвардейской и 1-й танковой армий, штабная землянка расположилась на кургане, и мы могли наблюдать за ходом боя, находясь на фланге войск, которые непосредственно сражались. Смотрели мы сверху вниз вместе с Чистяковым, Катучковым и Попелем, и все очень хорошо было видно как на ладони: и действия наших танков, и действия танков противника, и поведение пехоты. Самолеты противника кружились над нами. Не знаю, заметили ли они нас, но бомбы бросали. Правда, не попали, и мы отделались лишь некоторым волнением.

Помню я первую ночь, когда приехали сюда на новое место. Очень близко сидит противник. Буквально у него под носом наша землянка. Сохранился в памяти и командующий артиллерией 6-й Гвардейской армии, забыл его фамилию, какая-то украинская. Очень был хороший артиллерист. Он, бедняга, погиб, когда мы освободили Киев, а погиб глупо: ехал на мотоцикле и перевернулся, получил сотрясение мозга, пролежал в госпитале несколько дней и умер. Очень я жалел его, в госпиталь тогда к нему ездил. Хороший был генерал. Не помню его фамилию, но держу в памяти его слова: «Ну, товарищи, как спать будем ложиться? Штаны будем снимать или ляжем в штанах?» Это он — в том смысле, что ночью все возможно, противник может какую-нибудь вылазку предпринять, и тогда мы или погибнем, или будем поспешно удирать. Впрочем, не помню, кто из генералов раздевался, а кто ложился одетым. Солдаты нарвали нам полыни (хорошее средство летом от блох), и мы на ней отдыхали.

Мы много сил перетянули на главный участок из 38-й и других армий, которые стояли на западе, на правом фланге, где не велось активных действий. И все же были сильно истощены, понесли много потерь. Из войск я возвращался всякий раз в штаб фронта, к Ватутину. Он сидел там, как часовой, и непрерывно управлял войсками. Я верил ему, уважал его и знал, что он сделает все, что следует командующему.

А теперь вспомнил еще один эпизод. После войны данный случай при рассказе звучал даже забавно. Апанасенко находился на командном пункте 6-й Гвардейской армии. Вдруг звонит Чистяков и говорит, что противник очень близко подошел к расположению командного пункта, и я прошу разрешения перенести командный пункт на запасной, который оборудован ранее. Однако связи с запасным пунктом пока не было, по-

этому мы с Ватутиным сказали ему: «Нет, держать оборону и командный пункт не переносить!» Через какое-то время опять звонит Чистяков и вновь настойчиво просит. Мы ему опять отказали. Тогда позвонил Апанасенко и сказал, что он с командармом рядом, присоединяет свой голос и тоже просит разрешения перенести командный пункт: «Я сам вижу, как танки врага лезут буквально на командный пункт. Мы можем попасть в плен». Мы обменялись мнениями: «А вдруг им нечем отбить атаку танков? Может быть, все люди у них на переднем крае. Им-то виднее, чем нам». И решили: пусть командующий армией и Апанасенко едут на новый командный пункт, а там останется начальник штаба, пока не заработает надежно связь с новым командным пунктом. Начальник штаба остается, а двое уехали.

По приезде на новый пункт они должны были сейчас же связаться с нами и доложить, что взяли связь на себя и могут управлять войсками. Но нет звонка ни от Чистякова, ни от Апанасенко. Зато начальник штаба 6-й Гвардейской со старого командного пункта регулярно докладывает нам о том, *что* он сам видит и *что* ему доносят. Это длилось много часов. И потом мы стали выяснять, в чем же дело? Оказывается, это наши танки отходили, а их приняли за танки противника. Хорошо, впрочем, что начальник штаба Пеньковский тоже уцелел. Я далек от мысли в чем-либо заподозрить Чистякова и Апанасенко. Не хочу, чтобы меня так поняли. Всякое бывает на фронте. Случается, что люди героического склада характера, отлично показавшие себя не в одном бою, вдруг нервничают, ошибаются. А могла иметь место простая ошибка.

Когда мы уже гнали врага на всех участках, выталкивая его, как поршнем, из мест, куда он пробился после 5 июля, произошел нелепый случай. Апанасенко поехал к Ротмистрову, и вскоре нам донесли, что Апанасенко убит. Доложили, что он погиб при следующих обстоятельствах: стояли в поле и разговаривали Апанасенко и Ротмистров, рядом находились сопровождающие. Пролетел немецкий самолет, бросил бомбу. Она разорвалась довольно далеко, но осколок попал в Апанасенко и сразил его наповал. Из всей группы лиц пострадал он один. В кармане у него нашли записку, которая осталась мне непонятной. В ней содержались заверения в его преданности Коммунистической партии. Он излагал свои чувства. Я не понимаю этого: зачем носить в кармане на войне записку, в которой описываются верноподданнические чувства? Ничего подобного я не встречал ни раньше, ни позже. Сам же Апанасенко своим поведением производил на меня впечатление артиста, который все время иг-

рает, любит свои действия. Возможно, он обдумывал, какое это произведет впечатление на того, кто прочитает, если записка попадет в другие руки? Или же она была следствием тех потрясений 1937 года, о которых мне рассказывал в связи с ним Тимошенко?

Приехала его жена. Я познакомился с ней. Мне сказали, что она актриса какого-то театра. Она настойчиво просила, чтобы его труп отправили похоронить в Ставрополь, на родину покойного. Я долго уговаривал ее не делать этого: «Лучше похороним его здесь, в районе Прохоровки. Тут произошла великая битва, ее будут помнить в веках». Может быть, несколько нескромно было мне говорить это, потому что я тоже был как бы солдатом той роты, которая там дралась. Солдат говорит: самая боевая та рота, в которой он служит. «Что может быть почетнее для боевого генерала, каким являлся Апанасенко, чем быть похороненным здесь? К этому месту будут приходить наши люди и отдавать долг павшим». Жена сначала согласилась, и мы похоронили генерала там, где он пал. Но потом она опять подняла этот вопрос, и тело было перенесено оттуда и перезахоронено в Ставрополе.

Вернусь к боевым действиям. На Центральном фронте, против войск Рокоссовского, немцы тоже продвинулись, но меньше, чем у нас. В те времена кое-кто делал неправильный и обидный вывод: вот, в вашем направлении противник продвинулся дальше! Но этого мало, чтобы говорить об умении командующего организовать оборону и управлять войсками. Сейчас не могу сказать, какое было соотношение сил на нашем направлении и у Рокоссовского, которого я очень уважал и уважаю сейчас. Я считаю его одним из лучших командующих войсками. И как человек он мне нравился. Особенно нравилась его служебная порядочность. Не хочу возвышать кого-то с тем, чтобы кого-то унижить, или наоборот. Надо всем отдать должное в таком великом деле, каким была битва на Курской дуге.

ПОСЛЕВОЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ

На 24 июня 1945 года в Москве был назначен Парад Победы. Я тоже приехал в Москву. Мне хотелось посмотреть, как пройдут войска по Красной площади, порадоваться вместе со всем народом в столице нашей Родины. Не помню, звонил ли мне Сталин, чтобы я приехал, или же я сам просто взял да поехал. Прибыл к нам Эйзенхауэр. Он тоже стоял тогда на Мавзолее. В тот раз я впервые встретился с Эйзенхауэром, в ту пору еще не президентом США, а верховным главнокомандующим силами союзников в Западной Европе.

Как прошел парад, не мне сейчас описывать. Его видели многие, он запечатлен в кинокартинах и художниками. Это действительно был парад большой радости. Потом Сталиным был дан обед. Там находился и Эйзенхауэр, и все наши видные военные. Английского командующего, кажется, не было. У Сталина сложились хорошие отношения с Эйзенхауэром и еще лучше с Рузвельтом. С Черчиллем же были плохие отношения и очень скверные с Монтгомери. Сталин относился к нему плохо, и я считаю, что для того имелись у Сталина большие основания.

Хочу высказать здесь свою точку зрения на наши взаимоотношения с союзниками, с которыми мы вместе воевали против гитлеровской Германии. Франция почти не воевала после 1940 года, а вскоре после своего освобождения вышла из масштабной войны в связи с ее окончанием. Реально оставались боевыми союзниками на протяжении 1941—1945 годов США и Англия. Я считаю, что большую роль в ходе войны сыграл Черчилль. Он понял угрозу, нависшую над Англией, и делал все, чтобы натравить немцев на Советский Союз, втянуть СССР в войну против Германии. А когда Гитлер счел возможным напасть на нас, Черчилль первым заявил, что Англии необходимо заключить договор с СССР, чтобы объединить наши военные усилия. Сталин поступил правильно: он принял это предложение, и установились соответствующие контакты, которые были оформлены договорами. Спустя какое-то время вступили в войну США. Сложилась коалиция трех великих держав: Советского Союза, США и Англии.

Япония выступила в конце 1941 года против США, Англии, Нидерландов и других стран, которые имели свои колонии в Азии и на Тихом океане. Тут уже мы получили военное облегчение, смогли использовать наши войска с Дальнего Востока и обрели уверенность в том, что Япония не будет воевать против нас. Теперь наш Дальний Восток уже не находился под непосредственной угрозой. Это создавало возможности для маневра, для лучшего использования наших вооруженных сил, хотя и тогда мы должны были учитывать возможность какого-то удара со стороны Японии. Япония же вначале успешно наступала и была уверена, что скоро добьется решающей победы. Но это были «неразумные победы», и, когда она застряла в войне и американцы остановили ее продвижение, стало видно, что Япония не в состоянии организовать нападение на Советский Союз.

Англия и США делали все, чтобы оказать нам материальную помощь всех видов, главным образом военную — вооружением и другим материальным обеспечением, нужным для ведения войны. Мы получили очень существенную помощь. Это было, конечно, не великодушие со стороны Англии и США и не то, что они хотели помочь народам Советского Союза, вовсе нет. Они оказывали нам помощь, чтобы мы перемалывали живую силу общего врага. Таким образом, они нашими руками, нашей кровью воевали против гитлеровской Германии. Они платили нам, чтобы мы могли продолжать воевать, платили вооружением и материалами. С их точки зрения, это было разумно. И это действительно было разумно, да и нам выгодно. Ведь нам тогда приходилось тяжело, мы платили очень дорогую цену в войне, но вынуждены были это делать, потому что иначе воевать были неспособны. Тут возник взаимный интерес, и у нас установились и налаживались далее хорошие отношения и обоюдное доверие.

Хотел бы высказать свое мнение и рассказать в обнаженной форме насчет мнения Сталина по вопросу, смогли бы Красная Армия, Советский Союз без помощи со стороны США и Англии справиться с гитлеровской Германией и выжить в войне. Прежде всего хочу сказать о словах Сталина, которые он несколько раз повторял, когда мы вели между собой «вольные беседы». Он прямо говорил, что если бы США нам не помогли, то мы бы эту войну не выиграли: один на один с гитлеровской Германией мы не выдержали бы ее натиска и проиграли войну. Этой темы официально у нас никто не затрагивал, и Сталин нигде, я думаю, не оставил письменных следов своего мнения, но я заявляю тут, что он несколько раз в разговорах со мной отмечал это обстоятельство. Он не вел специально разговоров по этому вопросу, но когда возникала беседа непринужденного характера, перебирались международные вопросы прошло-

го и настоящего и когда мы возвращались к пройденному этапу войны, то он это высказывал.

От Сталина трудно было ожидать объективности. Он был человеком очень субъективным. Да и вообще в политике, между прочим, субъективизм, роль личности играли большую роль. Иной раз бывает полезно оценить, *что* было сделано правильно, подойти объективно к прошлому, взвесить все влиявшие на дело факторы, с тем чтобы вернее оценить пройденный этап и на будущее находить правильные решения. В данном случае считаю, что заключение Сталина было правильным. Когда я слушал его, то полностью был с ним согласен, а сейчас — тем более. Поэтому хочу аргументировать со своей стороны то, что говорил Сталин, и то, что я сам тогда видел и понимал.

Как протекала война? Надо войти в наше положение, мысленно проанализировать пройденный нами путь после нападения Германии, особенно после того, как Гитлер вынудил нас оставить Белоруссию, Украину и огромные области Российской Федерации, включая Северный Кавказ с его нефтеносными районами. Правда, основные нефтеносные районы оставались там в наших руках, но они были фактически выведены из строя, оборудование демонтировано, прекратились добыча и переработка нефти. Сложилась тяжелые условия для промышленности. Кроме того, мы лишились возможности экономически использовать территории, которые достались противнику.

Возьмем хотя бы Украину. Какой удельный вес в СССР занимала в 1941 году украинская металлургия? Я сейчас не имею статистических данных, но думаю, что тогда Украина вырабатывала как минимум 50% всей стали, если не больше; занимала ведущее место по добыче угля; имела большой удельный вес в производстве хлеба, овощей, мяса. Мощными были украинская машиностроительная промышленность, химия.

Была фактически выведена из строя ленинградская промышленность: судостроение, танкостроение, приборостроение. Это была промышленность с высококвалифицированными рабочими и большим количеством научно-исследовательских институтов, мозговой центр всей технической мысли Советского Союза. Он был парализован и дезорганизован, реально блокирован. Вопрос стоял уже не о производстве, а о том, как людям выжить физически. Много тысяч ленинградцев умерло, лишь частично они эвакуировались. Стала работать с перебоями горьковская промышленность, ибо попала в сферу действия немецкой авиации. Московская промышленность тоже была дезорганизована. Производство самолетов вывели из Москвы, производство моторов — тоже, производство автомашин в Москве прекратилось.

Да мало ли что делала Москва с ее мощным квалифицированным потенциалом?

Харьков: крупнейший тракторный завод, второй в СССР по силе после Сталинградского; потом машиностроительные, паровозостроительные заводы. Харьковская промышленность давала много средств ведения войны, и все это осталось в руках противника. Воронеж — крупный промышленный город. Там большой авиационный завод, и он тоже фактически прекратил производство: не тогда, когда противник вторгся в Воронеж, а еще ранее его оборудование было вывезено, завод же использовался как мастерские фронтового значения для ремонта самолетов, а не их производства.

Мы лишились самых мощных баз по производству самолетов, танков, моторов для тракторов и автомашин. А Сталинградский тракторный завод? Мы и его потеряли. Там же находился крупнейший оружейный завод, который давал легкую и тяжелую артиллерию для армии и Военно-Морского Флота, включая береговую артиллерию дальнего боя. Можете себе представить, какая надвинулась на нас катастрофа? Мы оказались без средств передвижения, у нас не стало заводов, которые обеспечивали нас автомобильным транспортом, особенно тягачами, без которых нельзя воевать. Нет тяги! Правда, значительная часть артиллерии имела у нас конную тягу. Даже в эту войну румыны воевали с артиллерией, которая передвигалась на волах. Значит, и нам полностью переходить на волов и лошадей? Вот какое возникло положение.

При современной технике и современном вооружении у немецкой армии, когда немцы захватили почти всю Европу с ее промышленным потенциалом, создавалась тяжелая для нас ситуация. Если оглянуться, то скажу, что, когда мы отступали, я не мог представить себе, как же мы сумеем выйти из этого положения. Часть оборудования эвакуировали на Восток, но еще надо найти помещение, установить и смонтировать оборудование, а это требует большого времени. Наши люди героически справились с такими трудностями. Они творили чудеса. Порой буквально в сараях монтировали оборудование и приступали к производству вооружения. Но, как бы там ни было, потеря времени была неизбежна.

Тут американцы и англичане предприняли усилия, чтобы не дать нам возможности выйти из строя, чтобы противник не разгромил нас, чтобы мы не оставались беспомощными. Они нам давали самолеты, автомашины, вооружение. Когда я увидел машины, которые мы стали получать, то глазам своим не поверил. А мы их получали в довольно-таки большом количестве. Эти цифры у нас пока что не опубликованы. Их хранителем, если не в письменных материалах, то в памяти, является сейчас Микоян.

Он выполнял соответствующие функции представителя СССР, имел дело с США и Англией при получении по ленд-лизу военного снаряжения и промышленного оборудования. Ленд-лиз — это особый кредит военного времени, за который предусматривалось рассчитываться на льготных условиях после окончания войны.

Одним словом, к нам потекли всякие товары. Как-то Анастас Иванович рассказал, сколько он получил дюралюминия, стали, бензина, самолетов, материалов для производства самолетов, сколько другого военного имущества и вооружения. Это была очень существенная помощь. Прежде всего автомашины. Значит, мы обрели возможность обеспечить подвижность наших войск, что в современных условиях является решающим условием для успешной войны. Немцы против Франции и против нас широко использовали подвижность своих войск, наносили удары рассекающими клиньями, а потом окружали наши войска, уничтожали их или пленили и двигались дальше, совершая марши на большую глубину для нового окружения. Они наводили панику на гражданское население, да и военные были напуганы, подвержены боязни окружения. Это затем нашло, между прочим, отражение в нашей военной и художественной литературе.

А дальняя бомбардировочная авиация? В начале войны мы фактически ее не имели. Она была у нас, так сказать, символической. Иной раз несколько самолетов добирались до Берлина. Но это же не систематическая бомбежка. Такой бомбежкой нельзя нарушить производственный потенциал противника. Это была капля в море, булавочные уколы, а были нужны мощные налеты на промышленные центры. У нас для этого не было возможностей. Я уж не говорю о том, что когда мы отступили и Ленинград остался в окружении, то потеряли возможность бомбить даже административный центр Германии — Берлин, не говоря уже о районах Западной Германии. Они находились в безопасности, и мы для них никакой угрозы не представляли. Другое дело — налеты английской авиации. А когда вступили в войну США, которые поставили свою промышленность на рельсы удовлетворения запросов войны, то огромный потенциал американской промышленности создал реальную угрозу для Германии. Думаю, что Гитлер, видимо, представлял себе, что это — начало его конца.

Вот я ссылаюсь тут на Сталина, критикую его. Но деятельность Сталина имела две стороны. Он делал много хорошего и полезного для нашей страны, это всеми признавалось, и я это сейчас тоже признаю. Но как человек, который был поставлен на такой высокий пост, который я занимал, я должен был все анализировать, вскрывать недостатки, про-

махи и злоупотребления властью, превышение этой власти со стороны Сталина. Вот одна сторона дела. Теперь я беру и другую сторону, положительную. Сталин, когда США вступили в войну, сказал мне в беседе: «Ну, сейчас пойдет война моторов». Но он говорил это и раньше. Были ли это его собственные слова, или они были сказаны кем-то до него, не знаю. Ясно, однако, каждому среднеразвитому человеку, что война сейчас, на современном этапе, действительно война моторов. У кого больше моторов, у кого больше возможностей держать эти моторы на ходу, то есть иметь в достаточном количестве горючее, тот и выиграет войну. Конечно, США, у которых совершенно исключалось всякое нарушение их промышленной деятельности, имели огромный экономический потенциал и такие возможности. И они эти возможности использовали.

А нам это было выгодно с точки зрения поставки материалов и вооружения. Конечно, поставки обогащали капиталистов, на них наживались монополии США. Но они помогали нам. США создали мощные воздушные силы. У них появился самолет «летающая крепость» (Б-29), замечательный самолет, лучший в мире. Американцы на таких самолетах вторгались в воздушное пространство противника даже без сопровождения истребителей, а наши бомбардировщики могли так поступать только ночью, днем же должны были иметь прикрытие. Без прикрытия они могли действовать в пределах фронта, используя внезапность нападения. И мы несли довольно тяжелые потери от зенитной артиллерии и истребительной авиации немцев. Американцы же на Б-29 без прикрытия налетали на территорию противника и подвергали бомбардировке его промышленные центры, что имело огромное значение. Эти самолеты были вооружены крупнокалиберными пулеметами — хвостовыми, бортовыми и лобовыми.

В 1943 году, когда мы наступали под Киевом, авиация у противника была уже довольно жиденькая и не представляла такой серьезной силы, как в начале войны. В 1944 году, хотя я редко выезжал на фронт, тем не менее вообще не слышал жалоб, что немецкая авиация не дает нам покоя. Мои фронтовые приятели, с которыми я поддерживал телефонную связь, когда они приезжали в Киев или я иной раз приезжал на фронт, говорили: «Вы не можете себе даже представить, сейчас мы ездим и днем, и ночью, и нас авиация противника не беспокоит». Чья это была заслуга? Американской авиации. Она вывела из строя немецкие заводы, которые производили самолеты. Разве этого мало? Разве маленькая помощь? И другие их заводы, которые производили вооружение, США очень настойчиво, упорно и со знанием дела разрушали. Это была большая поддержка нам. А помощь, которую мы получали в виде готовых

танков? Помню, получили мы английские танки под Сталинградом (сейчас уже забыл их название). Их боевые качества были невысокими, но это все же был танк. Пехотинец был прикрыт броней, смелее шел в атаку и лучше наносил удары по врагу. Конечно, эти танки уступали нашим по броне, но в ходовой части превосходили их.

Вспоминаю возмутительные случаи с нашими танками. Получили мы танки, и они, не пройдя и 100 километров, были оставлены в пути, потому что у них вышла из строя ходовая часть. Я тогда написал записку Сталину, и Сталин принял суровые меры. В частности, сделал перестановку в руководстве, ответственным за производство танков был назначен Малышев. Заострили внимание на качестве ходовой части танков, а не только на их количестве. Но ее качество все же было невысоким. Пришла к нам Гвардейская армия Малиновского. В ней имелось три корпуса, а в каждом корпусе — по танковому полку. И из этих танковых полков ни один не вышел на линию фронта: все танки стояли на дорогах и ждали, пока их приведут в подвижное состояние. Если бы дошел хоть один танк из трех, то мы имели бы танковый полк, а так не получилось ни одного полка в результате низкого качества производства. А ведь воевать надо было! Противник имел достаточно вооружения. Оно было часто хуже нашего, но его было значительно больше. Да и не все у немцев было хуже нашего. Простой патриотизм — он больно бьет, если на нем основывать политику и не анализировать факты. Следовательно, и на будущее нельзя строить иллюзий, а надо исходить из реальных фактов.

У нас нет соответствующих сведений. Они не появились в печати из-за чувства ложного стыда. Это неправильно. Считаю, что было бы полезно, если бы такие работы были опубликованы. Может быть, даже подготовлены каким-то научным институтом, который провел бы глубокий научный анализ былого. Надо изучать прошлое, чтобы не допускать тех ошибок, которые были допущены раньше, и исключить их в настоящем и будущем. К сожалению, Сталин в то время уже стоял на неправильных позициях. Он многое признавал, но сам перед собой, в туалете. А высказать это где-то публично, чтобы другие услышали, он считал унижительным. Нет, это не унижение! Признание заслуг своего партнера не принижает наших заслуг. Наоборот, объективное заявление подняло бы нас еще выше в глазах всех народов и ни в какой степени не принизило бы наших достоинств, наших успехов, наших побед, значения тех решающих ударов, которые мы нанесли по общему врагу. Но это было для Сталина невозможно. Он старался прикрыть нашу слабость, полагая, что это делает нас как бы сильнее противника: пусть нас больше

боятся. Это глупый вывод, неправильный. Противника не обманешь: он умеет считать, умеет анализировать, а наш народ все понял бы правильно.

Возможно, Сталин боялся, что откровенность в этом вопросе когда-то обернется и против него: почему не предвидел? Это уже другой вопрос. Думаю, что надо было бы пойти на откровенное признание, не щадить себя, потому что лучшая помощь стране и делу, которому ты служишь, — не прикрывать недостатки, а вскрывать их, даже с болью, чтобы народ все увидел. Тогда народ правильно поймет тебя, оценит и поддержит; если нужно, то и простит ошибки, которые были допущены. Если люди искренне анализируют ошибки, следовательно, они не будут их повторять. Могут сказать: «Вот, Хрущев критикует Сталина, а сам в этих вопросах анализа и критики на Сталина же и ссылается». Верно. Впрочем, полагаю, что мои товарищи, с которыми я вместе работал под руководством Сталина, тоже оставят какие-то воспоминания. Если они будут объективны, то не побоятся перед историей рассказать о недостатках Сталина, обо всем том, что они знали. Сталин же то, о чем я сейчас рассказываю, мне говорил не только один на один, а и в беседах, в которых участвовало 5, 7, 10 человек. Не все члены Политбюро принимали обычно участие в заседаниях у Сталина. Сталин всегда выбирал какую-то группу, которую он приближал к себе, а какую-то группу, как бы в порядке наказания, некоторое время не приглашал. В такую группу мог попасть кто угодно. Одних он приглашает сегодня, а завтра пригласит тех, которых не приглашал вчера. Для острастки. Чтобы помнили и боялись.

То, о чем говорил Сталин на этих заседаниях, являлось правильным, глубоким и трезвым признанием на основе сопоставления всех фактов, определяющих, быть нам на свете или не быть, победить или же проиграть войну. Когда там Сталин хорошо оценивал роль наших союзников, я был абсолютно согласен с ним и считал, что это — правильный анализ фактов. Сказать это никогда не поздно. Ведь новое поколение, которое сменит современное руководство страной, обязательно осмелится объективно осветить начало войны. Сейчас это уже не имеет принципиального значения. Все равно наши вчерашние союзники сегодня стали нашими противниками. Признание их помощи нам с точки зрения материального обеспечения и вооружения в то время не отражает нынешнего состояния дел, потому что сейчас мы находимся в другом положении. Шутка ли сказать, дожили до такого времени, когда нас считают второй державой по промышленному потенциалу в мире! Мы действительно являемся такой державой.

Мне британский премьер Макмиллан, когда я беседовал с ним, говорил: «Ну что сейчас Англия? Англия сейчас уже не та, когда она была владычицей морей и определяла мировую политику. Теперь все решают две страны — США и СССР». Почти в таких же выражениях мне сказал это де Голль, президент Франции, человек трезвого ума. Он сказал: «Господин Хрущев, сейчас США и Советский Союз — вот два великих государства. Франция не имеет того величия, какое имела в прошлом. Теперь она уже не может определять мировую политику». Таково признание нашей мощи, нашей роли и значения в мировой политике. Поэтому нисколько не умалило бы нашего достоинства признание, что в прошлом эти страны оказали нам такую помощь, которая существенно повлияла на исход войны.

Повторяю: они оказали нам помощь не ради победы дела социализма, идей марксизма-ленинизма. Для них стоял вопрос о жизни или смерти. Они нам помогали для того, чтобы наша армия не пала под ударами гитлеровской Германии, а, опираясь на более современное вооружение, перемалывала бы живую силу врага, тем самым ослабляя и себя. Это ведь тоже было в интересах наших союзников. Они хотели выбрать подходящее время и активно включиться в войну против Германии тогда, когда Советский Союз уже не обладал бы мощью и не занимал бы решающего положения при решении мировых проблем после разгрома Германии. Поэтому их помощь — это не любовь к нашему народу и не проявление уважения к нашей государственной системе, а результат трезвого взвешивания возникшего тогда положения для западных стран.

Ситуация сложилась так, что мы стали союзниками с ними, чтобы выиграть эту войну против общего врага. Англия и США хотели воспользоваться ситуацией и использовать наши государственные и главным образом людские ресурсы, с тем чтобы чужими руками перемолоть силы общего врага, добиться победы и получить возможность самим вершить судьбы мира. Этим они и руководствовались, когда помогали нам. Они не стыдились того, что идут на союз с социалистическим государством — заклятым врагом капитализма. И Сталин, нужно отдать ему должное, тоже пошел на это. Конечно, не от хорошей жизни, а потому, что иного выхода не было, никакого выбора не было. Но это был путь к спасению. Единственный путь, чтобы выжить и выиграть войну. Так я оцениваю этот вопрос, и такое же мнение я слышал от Сталина. Он подробно не разбирал тот период войны. Но не требуется больших усилий, чтобы прийти к такому заключению. Он понимал это и говорил об этом.

Я надеюсь, что моя точка зрения найдет отражение в исследованиях

тех историков, которые попробуют объективно разобраться в обстановке, сложившейся в 1941—1943 годах. Впрочем, и в 1944—1945 годах американцы многое нам давали. Уже после войны Жданов съездил в США, и мне сказали, что после этого по ленд-лизу мы получили мощный прокатный американский стан и этот стан решено смонтировать на заводе имени Ильича в Мариуполе, потом этот город назвали Жданов. Я туда съездил. На монтаже работали японцы. Монтаж был организован узлами, чтобы быстрее ввести стан в строй. Помню, говорил я с японцами, спрашивал об их жизни. Потом мы шутили над тем, *что* нам пленные японские солдаты отвечали: они приехали сюда помогать русским, их прислал помогать микадо. Они считали себя не пленными, а посланцами микадо (императора).

Итак, мы получали от союзников оборудование, корабли, много военного снаряжения. Это сыграло важную роль в войне. Почти вся наша артиллерия была на американской тяге. Как-то, уже после смерти Сталина, я предложил: «Давайте все машины, которые мы производим, дадим нашим военным, потому что просто неприлично смотреть: идет парад, а тягачи американские». Почти вся наша военная техника, которая стояла в ГДР, тоже была на американских «студебеккерах». Это неудобно, это для нас позор. Уже столько лет прошло, как кончилась война, а мы все еще ездим на американской технике.

Хочу тут подчеркнуть, какое количество этих машин и какого качества мы получили. Представьте, как без них мы бы наступали? Как двигались бы от Сталинграда до Берлина? Я не представляю себе. Наши потери были бы колоссальными, потому что не было бы никакой маневренности у наших войск. Кроме того, мы получали много стали и дюралюминия. Наша промышленность была подорвана, частично оставлена врагу. В этих условиях помощь от США имела очень большое значение.

В оказании нам помощи проявили большое упорство и англичане. Они доставляли грузы кораблями в Мурманск и несли при этом большие потери. Там пролегал длинный путь, на котором безнаказанно разгуливали немецкие подводные лодки. Германия захватила Норвегию и подошла вплотную к нашему Мурманску. Поэтому многие машины англичане перегоняли к нам и через Иран. Это было гораздо выгоднее, потому что южный путь был безопасен. Корабли разгружались в Персидском заливе, а дальше машины своим ходом двигались к нам. Кроме того, самолеты из США летели своим ходом через Аляску, Чукотку и Сибирь. Там получались довольно большие грузопотоки.

Конечно, это не все полностью решало, но без этого не оказалось бы и главного решения дела. Из крови наших бойцов и техники со стороны

США и Англии в совокупности складывалось обеспечение победы, обеспечение действий Красной Армии, которая дралась и наносила сильнейшие потери нашему общему врагу. Продукты питания мы тоже получали тогда в большом количестве. Я сейчас не могу назвать конкретных цифр, ибо их нигде и никогда не публиковали. Ходило немало анекдотов, в том числе неприличных, об американской тушенке. И все-таки она была вкусной. Много появилось на этот счет прибауток, но тушенку-то мы ели. Без нее нам было бы очень трудно кормить армию. Ведь мы потеряли самые плодородные земли — Украину и Северный Кавказ. Это надо себе представить, как трудно было в таких условиях организовать обеспечение продовольствием всей страны.

Кроме того, мы получили от союзников много новых технических устройств, о которых вообще не имели понятия. Для противовоздушных сил мы получили электронный прибор — радиолокатор. Командующий Военно-Воздушными Силами говорил мне, что этот аппарат был из Англии. Раньше мы оборудовали противовоздушную оборону из приборов только прожекторами и «слушачами», довольно грубыми и сложными. О современном электронном оборудовании мы и понятия не имели, англичане же его имели и какое-то количество передали нам. На командном авиапункте меня обучали военные, как можно следить за авиацией противника по экрану этого аппарата.

Одним словом, надо честно признать вклад наших союзников в разгром Гитлера. Нельзя хвастать: вот мы шашки вынули и победили, а они пришли к шапочному разбору. Такая точка зрения верна, если рассматривать лишь вклад союзников с точки зрения высадки десантников, то есть непосредственного участия американских и английских войск в борьбе против Германии на Европейском континенте. Тут будет верно. Но техника и материалы, которыми они помогали нам, — другой вопрос. Если бы они не помогали, то мы бы не победили, не выиграли эту войну, потому что понесли слишком большие потери в первые дни войны. Теперь — о десантах союзников. Мы ждали второго фронта в Европе в 1942 году и в 1943 году. Особенно он был нужен в 1942 году, когда нам приходилось очень тяжело. Я говорю в основном о нашем участке — Юго-Западном и Южном фронтах, где в 1942 году наносился врагом главный удар. Противник поставил задачу лишить нас нефти и пробиться через Кавказ в Иран. Он был недалек от реализации своих планов. Конечно, если бы наши союзники высадили десант именно тогда, то наши потери были бы гораздо меньшими.

Сейчас мне трудно судить о намерениях союзников в то время. Было ли решение не высаживать десант продиктовано желанием переложить

еще больший груз на плечи Советского Союза и еще больше нас обескровить? Этого я не исключаю. Или же было так, как они нам объясняли: что они еще недостаточно подготовлены, что у них еще недостаточно развито производство вооружения и они не готовы к высадке мощного десанта? Что им нужно еще какое-то время? Думаю, что имело место и то, и другое, но больше первого. Больше было желания обескровить нас, обескровить своего союзника, с тем чтобы включиться в войну как следует уже на завершающем этапе и потом вершить судьбы мира. Воспользоваться результатами войны и навязать всем свою волю: не только врагу, но и союзнику. Это я вполне допускаю. И это, видимо, сыграло немалую роль.

Если рассматривать с классовых позиций, то союзникам было неинтересно усиливать нас. Их интересы заключались в том, чтобы своевременно использовать СССР, несмотря на то что он базируется на социалистических принципах. Так уж сложилась наша общая судьба, что нам понадобилось объединить свои усилия. Каждый из нас поодиночке или совсем не смог бы выиграть войну, или же выиграл бы, но с гигантскими потерями и очень большой затянкой во времени. Поэтому стороны шли на такой союз и, прилагая совместные усилия в борьбе против общего врага, оставались в то же время на своих классовых позициях.

Мы тоже считали, что нам было бы полезно стать значительно сильнее своих союзников к концу войны, чтобы наш голос звучал еще внушительнее при решении международных вопросов. Если бы это удалось, то не так был бы решен вопрос Германии, как он был решен в Потсдаме. В Потсдаме решение явилось компромиссным. Оно основывалось на соотношении сил, которое сложилось к концу войны. Особенно сказалось это на статусе Берлина и Вены. Эти города находились в зоне, которую занимали советские войска. Казалось бы, эти города должны целиком входить в нашу зону. Однако союзники целиком нам их не отдали. Эти города были разделены на четыре зоны: мы получили четвертую часть, а три части получили Англия, США и Франция. Это тоже свидетельствует о соотношении сил, которое сложилось к концу войны.

О многом, конечно, американцы и англичане думали еще тогда, когда пошли на союз с нами. Особенно стала эта проблема беспокоить их, когда наша армия выдержала немецкий удар и при напряжении всех сил перешла в наступление, весьма устойчиво чувствуя себя на всех фронтах. Когда мы уже двигались на запад и подошли к Германии, союзники вынуждены были поспешить открыть второй фронт в Европе, потому что они теперь боялись, что мы можем продвинуться значительно дальше на запад от тех границ, которые были определены в Ялте, ког-

да там намечались зоны оккупации для каждой страны, участвовавшей в войне. Все это тоже надо учитывать, указывая и на достоинства союзников, их вклад в общее дело разгрома гитлеровской Германии, и на их классовую позицию.

Теперь хочу рассказать насчет высказываний Сталина относительно взаимоотношений с союзниками в процессе войны, конкретно — с Рузвельтом и Черчиллем. Франция не имела крупных сил в Европе, и Сталин стал уделять ей внимание, в сущности, начиная с Потсдамской конференции и после нее. Его внимание занимали раньше главным образом Рузвельт и Черчилль. Сталин, по его собственным словам, больше симпатизировал Рузвельту, потому что президент США с пониманием относился к нашим проблемам. Сближала Рузвельта со Сталиным и его не любовь к английской монархии, к ее институтам.

Сталин как-то рассказал о таком эпизоде. Когда во время Тегеранской конференции главы держав встретились за обедом, Рузвельт, подняв бокал, предложил выпить за президента Советского Союза господина Калинина. Все выпили. Спустя какой-то срок Черчилль, тоже подняв бокал, объявил тост за короля Великобритании. Рузвельт сказал, что он пить не будет. Черчилль обиженно насторожился, а тот — ни в какую: «Нет, я пить не буду. Я не могу пить за английского короля. Я не могу забыть слова моего отца». Оказывается, когда отец Рузвельта уезжал в Америку из Европы, то уже на пароходе он сказал сыну про британского короля: «Он наш враг». Сын не забыл этого и, невзирая на этикет, так и не поднял бокала.

При деловых разговорах и возникавших спорах очень часто Сталин встречал поддержку со стороны Рузвельта против Черчилля. Таким образом, у Сталина симпатии сложились явно в пользу Рузвельта, хотя Черчилля он тоже ценил и относился к нему с уважением. Это был крупный политический деятель не только Англии, он занимал одно из ведущих мест в сфере мировой политики. При неудаче конца 1944 года в Арденнах, когда немцы серьезно угрожали союзным войскам на втором фронте, Черчилль обратился за помощью к Сталину, с тем чтобы мы оттянули на себя немецкие армии. Для этого нам нужно было провести внеочередную наступательную операцию. Ее мы провели, хотя она планировалась у нас на значительно более поздний срок. Это стало демонстрацией дружбы и помощи союзнику, у которого сложилась тяжелая обстановка. Это было Сталиным проведено очень хорошо, он умел и понимать такие дела, и проводить их в жизнь.

Помню, как Сталин несколько раз возвращался к характеристике Эйзенхауэра. Он отмечал его благородство, рыцарский подход к взаимоот-

ношениям с союзником. Несколько раз я слышал такие высказывания при беседах в узком кругу у Сталина уже после войны, но еще до моего переезда в Москву. А когда я вновь начал работать в Москве и чаще бывал у Сталина, он стал часто приглашать меня, когда уезжал в отпуск на Кавказ. Я чувствовал, что он просто не терпит одиночества и даже боится его. У него появился физический страх перед одиночеством. Это было для всех нас довольно накладно (говорю о членах руководства страны, которое окружало Сталина). Отдыхать вместе с ним и обедать считалось великой честью. Но это еще и большая физическая нагрузка.

Однажды я с ним вместе отдыхал целый месяц. Он меня поместил тогда буквально рядом с собой. Приходилось и жить рядом, все время вместе обедать и ужинать. Но это внешняя сторона дела. А если бы знали, что это означает на деле, какие это физические нагрузки, сколько нужно было съедать и вообще потреблять того, что вредно или неприятно, лишь бы не нарушить личных отношений! Отношение к тебе демонстрировалось самое хорошее, дружеское, и приходилось идти на жертвы. Но такая жизнь была отчасти полезна тем, что велись беседы, из которых можно было извлечь для себя пользу и сделать различные политические выводы.

В ходе таких бесед я неоднократно слышал от Сталина очень лестные отзывы о порядочности Эйзенхауэра. Сталин говорил, что когда мы наступали на Берлин, то если бы со стороны союзников был не Эйзенхауэр, а какой-то другой верховный командующий их войсками, мы бы, конечно, Берлин не взяли, просто не успели бы. Его бы заняли раньше нас американцы. И это действительно так, потому что немцы сосредоточили главные силы против нас и охотно готовы были сдать Запад. Сталин обратился к Эйзенхауэру с письмом, в котором говорилось, что согласно межсоюзническому договору и с учетом крови, которая пролита нашим народом, мы хотели бы, чтобы наши войска вошли первыми в Берлин, а не союзные. Как говорил Сталин, Эйзенхауэр тогда придержал свои войска и прекратил наступление. Он предоставил нашим войскам возможность разбить немцев и занять Берлин. Таким образом, мы получили приоритет, захватив столицу Германии. Другой человек на это не пошел бы. А ведь если бы Берлин был захвачен американцами, то тогда, по словам Сталина, по-другому решался бы вопрос о судьбе Германии, а наше положение значительно ухудшилось бы. Эйзенхауэр проявил такое рыцарское благородство и был верен слову, данному нам Рузвельтом. Он уважал память о Рузвельте.

В это время новым президентом США стал Трумэн, которого Сталин и не уважал, и не ценил. И, видимо, правильно делал, потому что тот заслуживал такого отношения. А вот еще один факт, о котором рассказывал Сталин, и тоже относящийся к концу войны, когда немцы были уже приперты

нашими войсками к стене капитуляции и не могли оказывать сопротивления, должны были слагать оружие и сдаваться в плен. Многие из них отказались сдаваться в плен нашим войскам и двинулись на запад, с тем чтобы сдать американцам. Опять последовало обращение Сталина к Эйзенхауэру: было сказано, что советские войска проливали кровь, разгромили врага, а противник, который стоит перед нашими войсками, сдается в плен американцам; это несправедливо. Эйзенхауэр приказал тогда не брать немцев в плен (кажется, это было в Северной Австрии, где у нас наступал Малиновский) и предложил командующему германскими силами сдать в плен русским, так как именно русское оружие победило его армию. Так и получилось.

Сталин рассказывал также, что он обратился с аналогичной просьбой к Черчиллю. На участке в Северной Германии, который занимал Монтгомери, немцы тоже убегали от войск Рокоссовского к англичанам. Сталин попросил, чтобы англичане их не брали в плен и вынудили сдать нашим войскам. «Ничего подобного! — возмущался Сталин. — Монтгомери забрал себе их всех и забрал их оружие. Так наши войска разбили немцев, а результат разгрома пожинал Монтгомери». И Эйзенхауэр, и Монтгомери — оба представители буржуазного класса. Но они решили по-разному и по-разному соблюдали принципы партнерства, договоренности, слова чести. Когда я имел дело с Эйзенхауэром, то всегда передо мной как бы стояли его былые действия. Я помнил слова, сказанные Сталиным, и верил им. Ведь Сталина заподозрить в симпатиях к кому-либо никак было нельзя. В классовых вопросах он был неподкупен и непримирим. Это у него была очень сильная политическая черта, за которую он пользовался среди нас большим уважением.

Под конец войны Сталин очень беспокоился, как бы американцы не перешли через линию разграничения союзных войск. Я уже говорил, что против нас было организованное сопротивление немцев, а американцы спокойнее наступали и легко пересекли линию разграничения. Сталин сомневался, уступят ли они, сдержат ли слово, данное Рузвельтом в Тегеране. Они ведь могли сказать, что их войска останутся там, куда вышли, и это будет теперь разделительная граница оккупационных районов. Но нет, американцы отвели свои войска назад и расположили их по линии, которая была намечена в Тегеране, еще до победы над Германией. Это тоже свидетельствует о порядочности Эйзенхауэра. Из таких вот фактов складывалось хорошее отношение Сталина к Эйзенхауэру. Поэтому Сталин и пригласил Эйзенхауэра на Парад Победы и выразил наше признание его заслуг награждением его высшим военным орденом СССР — «Победы». Это очень высокая награда. Правда,

тем же орденом был награжден фельдмаршал Монтгомери. Но в данном случае налицо формальное выполнение нашего долга по отношению к союзнику, потому что англичане тоже награждали наше начальство своими орденами. Здесь имела место лишь официальная взаимность, а Эйзенхауэра Сталин выделял особо. Потом я не раз встречался с Эйзенхауэром, но об этом я расскажу в другом месте.

Сейчас хочу высказать свои соображения на тему, были ли созданы условия в СССР для того, чтобы все отдать нашей Красной Армии, дабы она могла противостоять врагу. Следовательно, вопрос конкретно стоит так: могла ли Красная Армия противостоять гитлеровской армии и, как тогда говорили Ворошилов и Сталин, не уступить ни пяди земли врагу? Могла ли бить врага только на его территории? Был такой лозунг. Весь мир чувствовал ложность этого лозунга, необеспеченность СССР реальной силой. Но могли ли мы сделать его реальностью? Безусловно, могли. Другое дело, что, помимо экономики, очень остро зависело это, особенно в начальный период войны, от проблемы военных кадров. Мы бы легче справились с фашистами, если бы в 30-е годы не были уничтожены наши военные кадры. Кадровый состав командиров Красной Армии был истреблен в очень большой степени.

У меня нет сейчас конкретных данных, сколько офицеров различных званий было уничтожено. Но если посмотреть на высший командный состав, то видно, что почти весь он — от командующих войсками военных округов до командиров дивизий — был истреблен. А ведь это были люди, которые обладали хорошими знаниями, многие из них окончили военные академии, а некоторые — и по две академии: общевойсковую и специальную. Средний командный состав имел среднее военное образование. Но самое ценное в кадрах было то, что они прошли гражданскую и другие войны, обладали важным опытом. Они не имели нужных знаний раньше, когда участвовали в гражданской войне, но после окончания гражданской войны получили теоретические и специальные военные знания и накопили большой опыт командования соединениями, а до того прошли солдатскую и офицерскую школу первой мировой войны, в Красной Армии стали командирами разных степеней и рангов, участвовали в военных играх, военных маневрах. Все у нас было сделано, что только можно было сделать, с этими кадрами, чтобы научить и должным образом натренировать этих людей. Они вполне соответствовали своему назначению и готовы были выполнить свой долг перед Родиной.

К сожалению, эти люди были истреблены, после чего были выдвинуты на командные должности люди, не обладавшие ни знаниями, ни опытом. Поэтому они во время войны уже на поле брани проходили стажировку.

ровку и обучались вождению войск. А это совсем не то, что в мирных условиях. Правда, тут созревание шло быстрее, но обходилось народу дороже. Когда разыгрывается на карте та или другая операция, подсчитывают: столько-то тысяч людей погибло; но тут условные потери. На фронте же погибали не условно, а безусловно. Если бы сохранились кадры, которые прошли должную школу еще до войны, то мы понесли бы значительно меньшие потери. Это каждому понятно, и это обязательно нужно учитывать при анализе событий начального периода войны. К сожалению, никто не приподнимал этой завесы. Люди, которые были уничтожены в 30-е годы, считались «врагами народа». Вот почему их гибель не ставилась в вину тем, по чьей вине эти люди были загублены; наоборот, их уничтожение даже возводилось в заслугу.

Ну, ладно, тогда все мы были обмануты, все верили, что прозорливость «отца и вождя советского народа великого Сталина» спасла нас от врагов. Но потом-то, на XX съезде КПСС, все эти вопросы были подняты и неопровержимо освещены. Неопровержимые факты могут быть предоставлены в распоряжение всем, кто захочет произвести глубокий анализ свершившегося. Однако еще и сейчас остались люди, которые буквально дрожат перед загаженными кальсонами Сталина, по-прежнему становятся перед ним во фронт и считают, что исторически тогда были неизбежные потери и что они говорят о величии того, кто не остановился перед потерями, а вывел нашу страну туда-то и туда-то, на такой-то рубеж, добивался того-то и того-то. Я даже не знаю, как называть людей, которые так рассуждают. А если бы не было тех потерь и злоупотребления властью? Разве было бы хуже? Вспомним, что говорил Ленин о Сталине. Что Сталин нетерпим, поэтому нужно его отстранить от партийной власти. Если бы это было сделано, то война за спасение СССР стоила бы нам во много раз меньше, чем стоила при «отце родном, величайшем и гениальном вожде».

Подготовка к ведению войны — это не только занятия на местности, проведение операции на картах, тренировка и муштровка людей, хотя без этого нельзя подготовиться к войне. Если не создать необходимых материальных условий, не создать экономического фундамента, то никакая война не может быть выиграна. Главное — это вопросы материального обеспечения и производства вооружения: авиация, артиллерия, танки, стрелковое оружие, инженерные средства, другое оружие — все то, что нужно для разгрома врага и отражения его нападения. Некоторые средства нужно иметь на всякий случай: химическое и бактериологическое оружие. К счастью, вторая мировая война прошла без применения таких средств, но в первой мировой войне использовались газы. Если бы

у нас не имелось заранее таких средств, а противник применил бы их, то для наших армий создалось бы бедственное положение. Следовательно, это оружие, необходимое в прошлом, необходимо готовить, увы, и в настоящем, и даже на будущее, пока существуют противоположные общественные системы. В какой-то степени мы просто вынуждены накапливать такие средства войны и держать их про запас.

Итак, я высказался относительно репрессированных военных. Мне трудно перечислить их всех, хочу остановиться лишь на некоторых из них. Возьмем Гамарника, заместителя наркома обороны СССР. Это был большой политический деятель и очень хороший организатор, человек, который принимал непосредственное участие в создании Красной Армии. Его роль как заместителя наркома обороны тоже была весьма велика. Егоров — крупнейший военачальник. Еще в гражданскую войну он командовал Юго-Западным фронтом. Тухачевский в возрасте 27 лет руководил рядом фронтов. Какие операции поручал лично Ленин проводить Тухачевскому? Кронштадтская, против Антонова, против Колчака и Деникина, против белополяков. Когда его казнили, сколько всякого ничтожного лепета произносилось в его адрес теми людьми, которые не доросли не только до его пупа, но и до его коленок. А они лягали его.

Если в гражданскую войну какая-то операция проводилась под командованием Тухачевского, то персонально валили все личные неудачи именно на Тухачевского. Однако после тех операций, которые, как считали эти критики, были провалены в результате того, что Тухачевский оказался «не на высоте», другие, даже более сложные операции, связанные с вопросом и жизни, и смерти Советской страны, Ленин неизменно поручал Тухачевскому. Он его ценил, и ценил правильно. Я с Тухачевским встречался, хотя знал его не столь близко, но и не очень далеко. Когда я работал секретарем Московского городского и областного комитетов партии, мы с ним перезванивались и встречались, причем не только на пленумах: я с ним не раз выезжал в поле, где он показывал мне в деле некоторые военные новинки. Я говорю о новинках, которые имеют отношение к вооружению Красной Армии и ее инженерному оборудованию. У меня осталась самая добрая память о Тухачевском.

Теперь — Якир. Якир был раньше студентом, не имевшим до 1917 года никакого военного образования. Он не был на мировой войне, а во время гражданской начал свою военную карьеру с создания какого-то отряда. Вооружались тогда кто чем мог, а главным оружием трудящихся была ненависть к старому строю и преданность новому строю, во имя которого и шла война. Отряд Якира вырос затем в дивизию. Он командовал ею, оставаясь на Юге, где был отрезан от основных сил Красной Армии, про-

бился к основным силам, прошел как бы сквозь строй белогвардейцев и вывел дивизию к своим. Потом успешно руководил группами войск. Кончилась гражданская война, и он занимал высшие командные посты в Красной Армии, командуя войсками Украины и Крыма, других округов, а затем был арестован и казнен.

Эйдеман. Он был поэтом и был воином. Тоже выделялся как крупный военачальник. Возглавлял Осоавиахим, когда был арестован и тоже казнен. Я сейчас забыл фамилию того военного, по национальности эстонец, который был офицером царской армии, но прошел вместе с нами всю гражданскую войну, а затем командовал войсками Московского и других военных округов. Я знал его в Москве. Он тоже считался крупнейшим военачальником, тоже был арестован с Тухачевским и Якиром и казнен вместе с ними.

Скажут, что вот Гамарник не был казнен. Знаю, Гамарник сам застрелился. Но он предвидел, что будет казнен. К нему пришли, чтобы его арестовать, и он застрелился. Палачи пришли тянуть его на плаху, и он решил, что лучше будет покончить жизнь самоубийством. Это был честнейший человек. А Блюхер? Сейчас в газетах без конца твердят: Блюхер получил первым орденом Красного Знамени, Блюхер сделал то-то, Блюхер сделал то-то. Никто не осмеливается, однако, рассказать, как окончил жизнь Блюхер. Где он был, когда шла война с Гитлером? А он был уже мертв. Почему? Он сам умер? Нет, тоже был казнен как «враг народа». Это был рабочий, имел профессию слесаря, приобрел военный опыт в первую мировую войну унтер-офицером, а потом вырос в крупнейшего военачальника, командовал в гражданскую войну соединениями, был нашим советником у Чан Кайши, которому мы тогда доверяли как военному и политическому деятелю, командовал войсками Дальневосточного военного округа, являлся грозой для врагов и надежным щитом Страны Советов. Сейчас ему ставят памятник. Как же не стыдно тем, которые не хотят сказать народу правду, что Блюхер пал от руки того, о ком Ленин сказал, что ему нельзя доверять? Да, памятник Блюхеру нужен. Но памятник ему должен ставиться такой, чтобы все знали, что нас лишила возможности использовать талант Блюхера в войне против немцев неестественная смерть человека.

Я недавно вновь смотрел кинофильм «Железный поток» по известной книге. Это была первая книга о гражданской войне, которую я в свое время прочел. Написана она талантливым писателем Серафимовичем, а теперь эта книга вышла на экран. Я смотрел этот фильм не в первый раз, но, как всегда, волновался и переживал, все время не мог отделаться от мысли: где и когда видел я этого мужественного и умного

человека, командующего авангардом Таманской армии? В книге его называли Кожух, а на деле это Ковтюх, человек, проявивший ум, военный талант и мужество: он вывел Таманскую армию, прорвался из белого окружения. Зрители восхищаются талантом этого человека и его бойцами — крестьянами и кубанскими казаками, которые выходили из окружения со своими семьями. Спрашивается, где же Ковтюх? Что он делал во время этой войны? Нет Ковтюха. Он тоже попал в число «врагов народа» и был расстрелян. Можете себе представить? Если бы Ковтюх был жив и возглавлял бы воинские соединения в борьбе с немцами, какую пользу принес бы? Когда его арестовали, он имел звание комкора, крупное воинское звание. Так разве только Ковтюх? А другие?

Они тоже погибли от руки Сталина как «враги народа». Теперь всем им вернули доброе имя. Это сделано после XX съезда партии. Но и сейчас многое замалчивается. Я считаю, что нужно не только вернуть, но и показать их всех как мучеников террора, который проводился Сталиным под лозунгом борьбы с «врагами народа». Чего же он сто́ит? Какой он гений? Какой же он «отец родной» советского народа, каким его провозглашали на митингах и повторяли это где надо и где не надо? В литературе он тоже выведен «отцом родным». Нет, прежний покров будет содран, и Сталин будет показан перед советским народом нагим, займет именно соответствующее ему место в истории.

Еще один крупный военачальник, тоже выходец из народа — Федько. И его тоже нет. В последнее время своей деятельности он командовал войсками Киевского военного округа и стал заместителем наркома обороны. Потом был арестован в 1938 году и тоже погиб, как и другие честные люди, объявленный «врагом народа». Я сейчас уже не помню, рассказывал ли я когда-нибудь раньше об Иване Наумовиче Дубовом. Дубовой — выходец из пролетарской семьи. Его отец — донецкий шахтер с дореволюционным партийным стажем. Мне говорили, что во время первой мировой войны Иван окончил школу прапорщиков и стал офицером. Потом началась гражданская война, и вот он уже заместитель начальника дивизии, а начальником был Щорс. Я познакомился с Дубовым позже, на съездах Компартии Украины. Он всегда был участником этих съездов. Особенно близко я с ним познакомился в 1928—1929 годах, когда работал в Киеве, заведывая орготделом Окружного комитета партии, а Дубовой был помощником командующего войсками Украинского военного округа. Он очень дружил с Николаем Нестеровичем Демченко, секретарем Окружного комитета партии Киева. А я в свою очередь уважал этого человека, часто с ним встречался, выезжал вместе с ним в войска. Дубовой был ближайшим другом Якира. Я радовался, что вот такие у нас сейчас

имеются командиры в Красной Армии, душой и телом преданные делу революции, Советской власти и социализма.

Когда же началось разоблачение «врагов народа» и погибли Якир, Тухачевский и другие, то спустя какое-то время Сталин разослал нам их «показания». Он иной раз делал это. Редко, но рассылал. Читаю я эти «показания» Дубового. Оказывается, они собственноручно написаны Дубовым. Он там писал, что убил Щорса, так описывая место, где тогда вела бой дивизия, которой командовал Щорс: «Мы со Щорсом лежали и наблюдали за боем. Вдруг пулеметчик противника повел огонь в нашем направлении. Пули довольно хорошо ложились вокруг наших бойцов. Мы тоже были под обстрелом этого пулемета. Я сзади был, а Щорс впереди, он повернулся: «Ваня, Ваня, а у беляков-то пулеметчик хороший, смотри, как он метко ведет огонь». Потом он еще обернулся и что-то хотел мне сказать. Тут я убил его — выстрелил ему в висок. Убил, чтобы после него самому занять его место, то есть получить командование этой дивизией».

Вы можете себе представить, насколько я был возмущен? Я уважал этого человека, и вдруг он сделал такую подлость. Я ругал себя: каким же я оказался слепцом, как же я мог не увидеть! Ведь когда я его знал, он уже был убийцей Щорса! Теперь, после XX съезда партии, когда мы подняли архивы, взяли те дела, по которым людей объявляли «врагами народа», расстреливали и душили, я увидел, что все это были ложь и обман. Так я оказался во второй раз обманутым: в первый раз был ложный обман, когда я считал Дубового честным человеком, а он «признался» в своих преступлениях; а вторично я оказался обманутым уже убийцей этого человека, то есть Сталиным.

Я вполне допускаю, что это были собственноручные показания Дубового, которые он сам написал и сам рассказал о своих «преступлениях», признался в убийстве Щорса — ближайшего друга. Тогда же я узнал, как делали «врагом народа» Мерецкова. Он тоже собственноручно написал показания, в которых признавался, что является английским шпионом, врагом народа и прочее. Его показаний я не читал, в 1941 году Сталин уже не нуждался в том, чтобы его поддерживали другие лица в руководстве, он просто сам вершил суд и уничтожал людей. Шла война, а мне эту историю рассказал Берия, то есть источник довольно точный. Бывало, когда о ком-нибудь говорили как о стойком человеке, Берия высказывался так: «Слушайте, дайте мне его на одну ночь, и он у меня признается, что он английский король». Уж он-то знал, как этого можно добиться, да и не раз добивался. Тогда, при жизни Сталина, он только говорил так, а позднее, когда мы подняли архивные материалы, арестовали и осудили Берию, то увидели, какими методами он достигал своей цели.

Так вот, Берия еще при жизни Сталина рассказывал об истории ареста Мерецкова и ставил освобождение его себе в заслугу: «Я пришел к товарищу Сталину и говорю: «Товарищ Сталин, Мерецков сидит как английский шпион. Какой он шпион? Он честный человек. Война идет, а он сидит. Мог бы командовать. Он вовсе не английский шпион!». Я и сейчас не могу понять, кто же его арестовал? Берия валил все на Абакумова. Но кто этот Абакумов? Человек Берии. Он в своей деятельности прежде всего отчитывался перед Берией, а уж потом перед Сталиным. Следовательно, Абакумов не мог арестовать Мерецкова, не посоветовавшись с Берией и без санкции Сталина. «И вот, — продолжает Берия, — Сталин сказал: «Верно. Вызовите Мерецкова и поговорите с ним». Я вызвал его и говорю: «Мерецков, ты же глупости написал, ты не шпион. Ты честный человек, ты русский человек, как ты можешь быть английским шпионом? Зачем тебе Англия? Ты русский честный человек». Мерецков смотрит на меня и отвечает: «Я все сказал. Я собственноручно написал, что я английский шпион. Больше добавить ничего не могу и не знаю, зачем вы меня опять вызвали на допрос». — «Не допрос. Я тебе хочу сказать, что ты не шпион. Ступай в камеру, посиди еще, подумай, поспи, я тебя вызову». Его снова увели в камеру. Потом, на второй день, я вызвал Мерецкова и спрашиваю: «Ну что, подумал?» Он стал плакать: «Как я мог быть шпионом? Я русский человек, люблю свой народ и верю в свой народ». Его выпустили из тюрьмы, одели в генеральскую форму, и он пошел командовать на фронт».

А теперь, когда я видел Мерецкова в последний раз, это был уже не Мерецков, а его тень. Раньше это был молодой генерал, физически крепкий, сильный человек, а теперь он еле ходит, «скрипит». Я узнал, что его в очередной раз наградили в связи с 50-летием Советских Вооруженных Сил. Это, конечно, награда по заслугам. Но здоровье-то отнял у него Сталин, и он из честного человека был превращен во «врага народа», в английского шпиона, спасся чудом, и я не знаю, как это пришло в голову Берии. Думаю, что он хотел его вернуть в строй как талантливого полководца, хотел вернуть его армии, чтобы он делал свое дело, командовал войсками и громил вражеские полчища, которые вторглись в нашу страну. Ведь Берии было безразлично, что с ним станет, если СССР рухнет.

Но Берия — это такая бестия. Не исключаю, что он мог так поступить еще и с дальним прицелом: ведь два века никто не живет, а талантливый полководец Мерецков вновь займет соответствующее место в Вооруженных Силах в свое время, сможет лично ему пригодиться. Берия был очень коварен, и я не исключаю, что с его стороны тут был шаг большой политики, предвидение возможности опереться на него и других «своих» военачальников в будущем, когда Берия будет нуждаться в этом.

Много потребовалось бы мне времени (да я и все равно не смог бы), чтобы перечислить всех, кто погиб в результате сталинского вероломства и террора. Впрочем, для моих воспоминаний этого, вероятно, и не требуется. Может быть, когда-нибудь, уже для наших потомков, историки покопаются в архивах и извлекут все на свет. Это все станет доступно, и они обнаружат тайные факты, чтобы люди их знали и чтобы они не допустили возможности повторения такого.

История иной раз повторяется, особенно вот в таких делах. Тут нельзя благодушествовать, нельзя считать, что это пройденный этап, который никогда не повторится. Надо клеймить содеянную гнусность, надо разоблачать ее авторов, надо не замалчивать событий, не приглаживать историю, а, наоборот, поднимать и обострять чувство ответственности у народа, у партии, с тем чтобы исключить повторение того, что было сделано Сталиным. Ведь Сталин сделал с превышением то, о чем Ленин предупреждал, причем предупреждал очень четко. Несмотря на его предупреждение, Сталин все-таки втерся в доверие народа, а потом быстро вернулся к тем методам действий, о которых упоминал Ленин, предупреждавший, что может произойти злоупотребление властью. Так и случилось.

Возвращаюсь опять к тому, что если бы кадры, которые были обучены, выращены партией и прошли школу гражданской войны, остались бы в живых и занимали в войсках соответствующие места, то совершенно иначе пошло бы дело при нападении Гитлера на Советский Союз. Недаром нам в войну потребовалось выдвижение новых командиров. Наверное, имели место две, три, а где-то и четыре смены командного состава. Я знаю людей даже пятой смены. Многие из них заслуженно вырывались вперед. Это были способные и честные люди, преданные Родине. Но им нужен был опыт, а опыт этот они приобретали в ходе войны за счет солдатской крови и материального ущерба для ресурсов Родины. Такое учение стоило огромного количества жизней и разорения страны. В конце концов мы выжили, победили, на собственных ошибках научились командовать по-настоящему и разбили врага. Но чего это стоило? Если бы не произошло того, что сделал Сталин, когда выдумал «врагов народа» и уничтожил честных людей, я убежден, что нам победа стоила бы во много раз дешевле, если, конечно, это слово морально допустимо с точки зрения оценки количества крови тех человеческих жизней, которые пришлось положить во время войны. Все бы произошло значительно дешевле и гораздо легче для нашего народа.

Сейчас таких работ еще не написано, никто таким анализом не занимался. Многие историки получают кандидатские и докторские ученые

степени за анализ событий, которые мало интересны. Иной раз смотришь: состоится защита диссертации на такую-то тему, а тема достаточно сомнительная для науки. Порой бывают такие темы. А вот провести бы ту работу, о которой я мечтаю. Она еще ждет своих исследователей и, конечно, будет осуществлена, но, видимо, не сразу.

Что касается наших прежних кадров, то полагаю, что, возможно, при их наличии противник и не решился бы навязать нам войну. А если бы война возникла, то велась бы действительно больше на чужой территории, чем на нашей. Итак, умение использовать человеческие ресурсы, правильно организовать войска, верно командовать, быть на высоте положения в военной тактике и стратегии — одно из решающих условий победы. Но только одно. Вторая сторона дела — экономика. Насколько развита страна экономически и в какой мере экономика может служить базой механизации и вооружения армии, от этого в современных условиях тоже зависит победа. Прошли времена, когда князья выводили свои дружины с пиками, топорами, вилами и булавами драться с врагом. Теперь налицо война механизмов, моторов, артиллерии, авиации, танков и противотанкового оружия, инженерных войск. Она идет на земле и на воде, под землей (мины, убежища) и под водой, в воздухе. Если одна сторона будет владеть всем, что создали современные наука и техника, а другая станет опираться только на мускульную и волевою возможности человека, возникнут неравные условия.

Так имела ли Красная Армия эту инженерно-техническую материальную базу до войны? Если нет, то возникает следующий вопрос: имели ли мы общую возможность создать соответствующую военно-техническую базу, вооружение, средства защиты и нападения? Без всяких колебаний я категорически отвечаю: «Да, имели!» Наш народ, рассматривая окончание гражданской войны как передышку в борьбе с империалистами, стремился использовать ее, чтобы создать могучую индустрию, перестроить народное хозяйство, пробежать в короткий срок путь, который капиталистические страны проходили за десятки лет. Наш народ затыгивал животы поясами, голодал и холодал, жил в нужде, но не жалел средств на создание такой индустрии и вооружение армии, с тем чтобы враг не мог даже подступиться к нашим границам.

Помню время, когда я вернулся с фронтов гражданской войны в начале 1922 года. Как только пришел, меня партийная организация направила заместителем управляющего рудниками французской компании, туда, где я в 1912—1914 годах работал слесарем. А управляющим этими рудниками был мой ближайший друг Егор Трофимович Абакумов. Это не тот Абакумов, который был министром внутренних дел, а другой, ко-

торый стал позднее одним из руководителей угольной промышленности СССР. Тяжелое время переживали мы в 20-е годы. На рудниках был голод, в 1922 году отмечались отдельные случаи людоедства. А деревня еще сильнее была разорена, чем промышленность. Вот какое возникло положение. Но народ поверил партии, потому что знал, что нам навязала разруху наша собственная и мировая буржуазия, которая поддержала контрреволюцию и организовала интервенцию. Лозунги партии были понятны каждому неграмотному. Мы тогда не только клали животы ради новой жизни, но иной раз брали грех на душу и говорили, что в старое время, дескать, жилось хуже.

Грех потому, что хотя и не все, но высококвалифицированные рабочие в том районе Донбасса, где я трудился, до революции жили лучше, даже значительно лучше. Например, в 1913 году я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже. Наверное, хуже. Ведь не все жили одинаково... Да, мы сознательно шли на лишения, потому что мы выжимали буквально все ради раскручивания индустриализации. Надо было выиграть время. Порой это требовало просто нечеловеческих жертв. Но и на это шел народ и создал современную промышленность. Однако использовать эту промышленность как следует мы не сумели. Наша армия оказалась к началу войны и без квалифицированного командного состава, и без соответствующего вооружения, необходимого для отражения наступления противника и разгрома его еще на границе СССР.

Думаю, что нашим историкам понадобится проанализировать результаты потерь не только военных кадров, уничтоженных Сталиным, но и в народном хозяйстве. Сколько же там погибло честнейших людей, партийных, профсоюзных и других работников промышленности! Тысячи и тысячи... Самые квалифицированные люди были загублены: директора заводов, главные инженеры, начальники цехов, секретари районных и городских партийных комитетов, председатели рай- и горсоветов, секретари первичных партийных организаций. Погибли безвинно сотни тысяч людей. Я, конечно, не смогу их перечислить, я могу здесь назвать лишь отдельных людей, из числа тех, которых знал.

Вот, например, Иван Тарасович Кирилкин — директор Рутченковских рудников, где я раньше был рабочим, а потом заместителем управляющего. Как я уже рассказывал, я поступил на эти рудники в 1912 году. Тогда они принадлежали французской компании, которая потом продала их (кажется, «Брянскому акционерному обществу»). После революции они стали государственной собственностью, и их назвали Рутченковскими. Прежде они носили название Краснотворческих, но это слово не прижилось. Их называли Рутчен-

ковские копи, по фамилии владельца местных земель, крупного помещика. Кирилкин был управляющим этими рудниками в 1925—1926 годах. А потом Ивана Тарасовича назначили директором Макеевских металлургических заводов, и он со знанием дела руководил ими. А заводами, которые принадлежали раньше англичанину Юзу, командовал Базулин, то есть всем известный Вася Базулин, местный рабочий. Он неплохо управлял этими заводами, опираясь на актив, на инженеров. А затем наступил 1937 год. Погиб Иван Тарасович. Я так и не нашел следов, где и при каких обстоятельствах он погиб. Базулин тоже исчез с горизонта.

А в Москве сколько же директоров заводов, сколько инженеров погибло? Только, бывало, и докладывают мне: вот, проглядели «врага народа». Партийная организация бьет себя в грудь: проглядели! Таких «врагов народа» набралось столько, что уже и Орджоникидзе не смог переварить это и застрелился. Покончил с собой честнейший человек рыцарского склада характера.

Как мне передавал в разговоре Анастас Иванович Микоян, перед тем как застрелиться, Серго ходил с ним вечером по аллеям Кремля и говорил: «Не могу больше, не могу мириться с тем, что творится. Борьба со Сталиным я тоже не могу и не вижу сейчас возможности продлевать свою жизнь». И вот Серго застрелился. А как же Сталин? Сталин этот случай ловко обставил по-своему. Я в то время был секретарем Московского городского и областного комитетов партии. В один из выходных дней мне звонит Авель Сафронович Енукидзе и говорит: «Товарищ Хрушев, приезжайте ко мне в Кремль. Срочный вопрос». Приезжаю. Спрашиваю: «В чем дело?» — «Умер, — говорит, — Серго». — «Как умер? Я его видел недавно». — «Скоропостижно скончался. Вы же знаете, что он был больной человек. Создана правительственная комиссия по организации его похорон, и Вы входите в эту комиссию, а я в ней председатель. Мы должны сейчас подготовить предложения для ЦК о порядке проведения похорон». Имелся соответствующий трафарет для таких похоронных дел, мы быстро обсудили вопрос и дали свои предложения. Не помню сейчас точно, но, кажется, я выступал от Московского комитета партии на этих похоронах.

Я очень жалел Серго. Он пользовался большим уважением в народе, а мне лично было его жаль еще и потому, что я чувствовал его хорошее, теплое отношение ко мне. Серго ко мне относился с некоторым отцовским покровительством, а я нуждался в этом, к тому же было приятно. Ведь всякому человеку приятнее доброе слово, чем окрик или грубость, которые тогда были в ходу... Похоронили. Я так и считал тогда, что Серго скоропостижно скончался в выходной день. Говорили, что он позавтракал, прилег на диван и уже не поднялся. Он действительно лег на диван, но застрелился.

А правду я узнал совершенно случайно, причем во время войны. Я приехал с фронта. У Сталина на обеде, который тянулся целую ночь, видимо, я попал в ненормальное состояние. Вспомнил я вдруг о Серго, начал говорить о нем добрые слова: лишились мы такого человека, умного, хорошего, рано он умер, а мог бы еще и пожить, и поработать. Смотрю, сразу за столом такая реакция, как будто я сказал что-то неприличное. Правда, никто мне ничего не сказал, и такое, знаете ли, повисло молчание. Я это увидел, а потом, когда мы с Маленковым вышли, я говорю ему: «В чем дело?» — «А что, ты разве ничего не знаешь?» — «Да о чем ты?» — «Ведь Серго-то не умер, а застрелился. Сталин его осуждает, а ты по-доброму сказал о нем, поэтому и возникла пауза, которую ты заметил». — «В первый раз слышу! Вот так-так...»

Столько лет я и другие были обмануты на этот счет Сталиным. Зачем ему понадобилось обманывать? Видимо, чтобы не будить лишних мыслей у наших людей, почему такой человек, как Серго, ближайший к Сталину человек, вдруг застрелился. Видимо, не от хорошей жизни? И это — человек, который прошел через испытания подпольной борьбы, ссылок. А в годы, когда СССР на подъеме, когда, казалось, только и надо что работать да радоваться, вдруг решил уйти из жизни и уничтожил сам себя. Значит, была причина. Без причины такой человек не мог умертвить себя, потому что это был коммунист высокого толка и особого воспитания, с высокоразвитым чувством чести. Я так говорю, опираясь на мнение и самого Сталина: беспринципный в вопросах морали, Сталин его осуждал как раз за это. Когда я узнал, что Серго застрелился, мне многое стало понятнее из того, что я услышал от Сталина о Серго: Сталин всегда старался приуменьшить его роль в революции и в борьбе за развитие экономики СССР.

А Завенягин Авраамий Павлович? Мой приятель, с которым я познакомился в 1922 году, когда вернулся из Красной Армии. Он тогда был в Юзовке секретарем уездного комитета партии. Потом я пошел учиться в Юзовке на рабочий факультет, а Авраамий Павлович поступил в Горную академию и с блеском ее окончил. Это был интересный человек и хороший работник. Он трудился на многих постах. Потом Орджоникидзе выдвинул его своим заместителем по черной металлургии. И вдруг Завенягин исчез. Я обеспокоился, где же Авраамий? Ни слуху ни духу. Но через какое-то время опять всплывает Завенягин. Позднее он стал заместителем Председателя Совета Министров СССР. Последняя его должность (по совместительству) — министр среднего машиностроения СССР. Иначе говоря, он занимался атомными делами. А умер он, пострадал от облучения атомными зарядами. Где же пропадал в свое время За-

венягин? Оказывается, отбывал ссылку. Мне потом рассказывали, что Сталин его вызвал и выразил ему свое недоверие: «Вот, Завенягин, на тебя есть показания». И куда-то сослал его за тридевять земель. Там он трудился и отличился. Честный был человек, с умением мог использовать свои знания и энергию. Потом, правда, Сталин вернул его, и он опять стал работать в Москве.

Я сейчас и не решаюсь называть всех зря пострадавших по фамилиям. Во-первых, я забыл фамилии многих директоров заводов, инженеров и начальников цехов, которые были уничтожены в те годы в Москве. Их, наверное, были тысячи. Во-вторых, просто не в курсе дела: где эти люди, куда подевались? Но делаю такой вывод: если бы эти кадры не были уничтожены, а продолжали свою деятельность на пользу нашей страны, создавая средства производства и средства вооружения Красной Армии, применяя разумно и со знанием дела промышленный потенциал, то мы использовали бы с толком все условия, чтобы создать нужное вооружение и в нужном количестве, так что Красная Армия была бы обеспечена не хуже, а лучше немецкой. Мы имели для этого все возможности.

Хотел бы показать это наглядно. К примеру, мы сумели создать нужное количество вооружения уже в ходе войны, к середине 1943 года. Как раз тогда мы разгромили на Курской дуге крупнейшую армию гитлеровцев, вооруженную до зубов самым современным оружием. Я не припоминаю, чтобы там в составе наших наземных войск использовалось какое-то иностранное оружие, если не говорить об автомобилях. Я видел под Сталинградом отдельные экземпляры английских и американских танков, но советские танкисты по боевым качествам всегда ставили на первое место наши, отечественные танки, особенно Т-34. Артиллерия, пулеметы, винтовки, автоматы были нашими, отечественными. Следовательно, смогли же мы создать замечательное оружие в нужном количестве, чтобы вооружить нашу армию к середине 1943 года? Далее, мы получали наше оружие в нарастающем количестве, хотя ранее оставили врагу обширную территорию — Украину с Донбассом, Белоруссию, другие районы с их заводами и сырьем.

Но и это еще не все. Мы лишились тогда промышленной, научной и технической базы блокированного Ленинграда и эвакуированной Москвы — двух центров индустрии союзного значения. Лишились мы Ростова, Воронежа, Сталинграда, Северного Кавказа. Если сделать сейчас выборки из статистических данных, то районы, которые оказались оккупированы немцами, давали чугуна, стали, угля и нефти значительно больше половины всего их производства в СССР. Вероятно, процентов 60 или

70, если взять металлургию. И вот, лишенный всей этой базы, наш народ, вывезя кадры и оборудование, какое успел, нашел возможность смонтировать это оборудование, порой на чистом месте, где-нибудь в сараях, и наладил заново производство танков, артиллерии, автоматического оружия, винтовок, пулеметов, мин, взрывчатки и прочего. Колоссальная была проделана работа для того, чтобы дать армии все необходимое.

В чем же дело? Почему не все успели сделать до войны? Как только определилось, что война с фашистской Германией у нас будет, а это определилось с приходом Гитлера к власти в 1933 году, мы должны были непрерывно наращивать производство боевой техники и подготовиться к неизбежной войне. В 1936—1939 годах, когда шла война в республиканской Испании, мы стояли лицом к лицу со своим врагом, оказывая помощь революционным силам Испании. Наши люди сталкивались там с немецкими и итальянскими фашистами, которые воевали на стороне мятежника Франко. Но вот наступил 1939 год. Был подписан договор Риббентропа — Молотова, как тогда называли его на Западе. И Сталин сказал нам: «Обману, обману Гитлера». Следовательно, он считал, что Гитлер все равно нападет на нас, но он-то выиграет нужное время, подписав этот договор. Вместо того чтобы сразу столкнуться лбом с Гитлером и вызвать огонь на себя, мы подписанием этого договора миновали опасный рубеж, создав условия для столкновения Гитлера сначала с западноевропейскими странами. Это и был тот выигрыш времени, о котором говорил Сталин.

Сталин именно так оценивал тогда сложившееся положение. Хочу думать, что он его понимал как раз так. В таком случае он должен был приложить все усилия, чтобы, подписав договор о ненападении, а затем новый договор — о дружбе и границе с Гитлером, сейчас же развернуть работу нашей промышленности, научных учреждений, конструкторских бюро по производству требуемого вооружения, развернуть дело на полный ход, на все обороты. Если бы мы это сделали (беру 1939 год, 1940 год и почти половину 1941 года, то есть 2, 5 года, именно то время, за которое мы потом потеряли, отступая, полстраны по промышленному потенциалу), то сумели бы раньше наладить выпуск вооружений и заранее обеспечить армию всеми средствами ведения войны. Значит, если бы мы с толком использовали полученную передышку, то к 1941 году имели бы то, что получили в 1943 году, и Красной Армии этого было бы достаточно, и даже с лихвой, чтобы разгромить немцев еще на наших границах и не допустить вторжения фашистских орд в пределы Советского Союза.

Конечно, мы не бездельничали, а трудились. Однако использовали

передышку не так, как следовало. Это знает история. Мне, близко стоящему к армии, хорошо известно, что, как только началась война, рабочие на Украине сами пришли в ЦК партии и потребовали: «Дайте винтовки!» А я ничего не смог предложить им, ибо винтовок не было, и обратился с этой просьбой к Москве. Москва сказала (к телефону подходил Маленков): «Нет винтовок. Те, что были в Москве, осоавиахимовские винтовки с дырочками, мы восстановили, заклепали дырочки и отдали Ленинграду. А вы должны теперь ковать оружие сами. Делайте ножи, пики и прочее». Можете себе представить? Немцы обрушились на нас с такой боевой техникой, а нам говорят: «Куйте пики, куйте ножи, громите врага, который наступает с танками». Только наш народ, наша армия, наша партия смогли выдержать такое испытание! Несмотря на тяжелейшие условия, армия сопротивлялась, отходя, но и при отходах перемалывала живую силу противника и его технику. Тут шли в ход бутылки с горючим, и мины, и всякие другие выдумки, на которые пошел народ, защищавший свою родную землю, честь и богатство.

А если бы мы полностью использовали передышку? Имел ли Сталин право, игнорируя опасность, сохранять прежние темпы работы промышленности по производству вооружения и на том же уровне, на котором она была до подписания договоров с Германией? Нет, не имел такого права. Ведь он сам сказал, что обманет Гитлера. Следовательно, был уверен, что Гитлер нападет на нас. А раз нападет, нужно с толком использовать время, пока Гитлер завяз на Западе, с тем чтобы развернуть производство средств уничтожения врага, дать их в нужном количестве и создать резервы. Тут надо бы вставить цифровые данные об уровне производства чугуна, стали, проката, развития машиностроения. Цифр этих у меня под рукой нет.

Разумеется, сказанное не противоречит рассуждениям о том, что мы победили с учетом помощи нам боевых союзников. Как не противоречит сказанное и тому, что мы сами производили массу вооружения для разгрома врага. Не знаю, получали ли мы артиллерию от союзников. По-моему, нет. Самолеты, автомашины получали. Автомашинами мы не только оснастили армию, но даже после войны поступило в народное хозяйство большое количество американских автомобилей. Морской транспорт у нас в значительной степени тоже был американским. Часть кораблей мы вернули США после войны.

В принципе же тот факт, что мы отступили далеко от границы и дали противнику возможность занять и разорить Украину, Белоруссию, часть Российской Федерации, явился результатом просчетов и

неумелого руководства. Вероятно, многие люди, которым доверили дело, были достаточно примитивны. Еще раз напомним о Кулике. Кулик, занимавшийся вопросами вооружения армии, был именно примитивным человеком. Сталин потом его расстрелял. Повторяю в который раз, что это было преступно, он не заслуживал расстрела. Но что Кулик был недостойн назначения на столь высокий пост, несомненно. В этом я давно не сомневался и говорил это Сталину еще до войны.

А теперь о технике. В 1940 году танк Т-34 был уже принят на вооружение и прошел нужные испытания. Раз мы находились в таком состоянии, что вот-вот грянет война, надо было не на одном 75-м Харьковском заводе заниматься этим танком, а сейчас же разработать массовую технологию, создать технологическое оборудование, выделить ряд заводов и развернуть широкое производство Т-34. Тогда в начале войны мы могли бы каждый месяц давать Т-34 столько, чтобы обеспечивать минимальную в них потребность. У нас не было также достаточно зенитных пулеметов, а уж пулеметы-то производить мы умели, да и промышленность наша готова была дать их столько, сколько нужно. Хлопали ушами.

Я уже говорил раньше, что после заключения договора о ненападении с Германией Сталин поставил вопрос о строительстве новых заводов по производству зенитных пулеметов. Заводы, конечно, не были выстроены к началу войны, не построили их и во время войны. Производство таких пулеметов перенесли на другие заводы, так что в дальнейшем потребности армии были удовлетворены, но за счет иной продукции. Почему же это не было сделано в 1939, в 1940 году? Имелось ведь достаточно времени. У нас не хватало и дивизионной артиллерии. Под Сталинградом к нам приходили пополнения без пушек. Помню, прибыла дивизия (при ней служил сын Долорес Ибаррури) не только без артиллерии: она не была даже вооружена в должном количестве пулеметами. Кто отвечает за это? Говорят, Сталина подвели. Значит, когда Сталин уничтожал военные, хозяйственные, партийные и научные кадры, интеллигенцию, это подсказывал ему его гений? А то, что он допустил, чтобы наша армия не имела в начале войны нужного количества винтовок, не говоря уже о другом вооружении, тут его подвели другие. Отчего же столь неодинаковый подход к оценке гениальности и провалов вождя?

Я же считаю, что случившееся — преступно. Тут проявляется моральное потворство, рабская психология: все прощать сильному и искать слабого, который «подвел» сильного, чтобы слабого бросить в

мясорубку, вдобавок к тому, что этой мясорубкой уже было раньше уничтожено. Думаю, что партия сделает правильные выводы и завершит то дело, которое было начато на XX и XXII партсъездах; что будут названы все виновные и таким образом правильно проинформирована советская общественность, с тем чтобы не допустить в дальнейшем повторения этого. Вот мое мнение о наших поражениях в первые годы войны, наших потерях, нашем отступлении. Поражениях, которые как бы готовились «в союзе» с Гитлером. Гитлер использовал подозрительность, недоверие и вероломство Сталина и подбросил ему материалы о том, что наши известные военные — немецкие агенты. Сталин «поверил», и заработала машина истребления. Так враг сумел лишить нас военных кадров. А мы ему в этом помогли. Вышего накала уничтожение честных советских людей достигло в 1937 году, том единственном предвоенном году в рамках пятилеток, когда промышленный план не был выполнен. А Гитлер учел задержку в развитии нашей промышленности, готовясь к войне с СССР.

Сталинисты (эта кличка станет позднее, я знаю, самой оскорбительной, самой ругательной) сегодняшнего дня лакируют Сталина как гения и как вождя. Это вреднейшие люди. Они, вольно или невольно, не только прикрывают преступления, которые были совершены, но и прокладывают путь в будущее таким же методам, которыми пользовался Сталин. Открыл это «движение сталинистов» с середины 60-х годов маршал Захаров. По его пути идет маршал Конев, а за ними плетется в хвосте Гречко на своих длинных ходулях. Это позор!

У Захарова мог иметься какой-то личный осадок по отношению ко мне, хотя у меня никогда не было с ним столкновений и я никогда ему не сказал ни одного плохого слова во время войны, да и от него не слышал. Уже в 1960-е годы я действительно говорил Малиновскому, что надо Матвея Захарова освободить от обязанностей начальника Генерального штаба. Но ведь я это не сам сделал единолично. Боже упаси! Когда я возглавлял руководство страной, то все вопросы проводил через заседание Президиума ЦК, все важные решения обсуждались, и с этим предложением все согласились. Чем я мотивировал? Возрастом и физическим состоянием человека. Нельзя оставлять начальником Генерального штаба человека, который на заседании через пять минут после его открытия клюет носом или просто спит. Как же можно доверять оборону страны людям, которые физически изнашивались? Это не их вина. Возраст есть возраст.

Но держать в должности людей, которые уже физически не могут

с должной энергией работать на пользу армии, нельзя. Поэтому я и сказал, что надо найти Захарову другой, тоже почетный пост. И он был назначен начальником Академии Генерального штаба. Это не только почетно, но и ответственно: создавать кадры, учить людей. Там его возраст не мешал, ибо там преподает ряд профессоров, преподавателей, да и он сам, человек знающий, грамотный, честный и преданный, понимал, какие отдавать распоряжения. Видимо, человеческая обида иной раз заглушает разум и лишает возможности правильно уразуметь акцию, которая не обязательно является приятной. Но надо же понимать, *что* осуществляется в интересах дела!

Его преемником назначили маршала Бирюзова, который погиб, когда летел с делегацией в Югославию. Захаров был выше его по уровню военных знаний, зато Бирюзов — моложе и энергичнее. Сейчас Захарова вернули на прежний пост. Считаю, что эту комбинацию произвели за счет интересов страны, за счет улучшения руководства, за счет улучшения работы по подготовке армии. Потому что, увы, стар товарищ Захаров. А почему такую позицию занял Конев? Конев — это человек особого склада ума и особого характера. Он — единственный из крупных военачальников, кто «откликнулся» на материал, который был разослан Сталиным по делу «врачей-вредителей», арестованных под конец жизни Сталина. Конев в ответ на эти псевдоматериалы прислал Сталину письмо, в котором солидаризировался с разосланной фальшивкой, хотя это была липа. Он укреплял Сталина в мысли о правильности ареста врачей и даже подтверждал это на примере собственной персоны, что его вроде бы врачи тоже неправильно лечили. Это просто позор для честного человека! Не могу примириться с тем, как это мог культурный человек согласиться с бредом, который был выдуман Сталиным. Потом все рассеялось, как дым. Никаких преступлений не было, и все эти люди, крупнейшие врачи, освобождены.

А Гречко? Это — КВД (то есть куда ветер дует). Я много приложил усилий, чтобы его приподнять. Тот же Конев распространял слухи о том, что Хрущев покровительствует Гречко, выдвигает его, поддерживает его, что именно Хрущев предложил присвоить ему звание Маршала Советского Союза уже после войны, и пр. А потом с Гречко произошло удивительное превращение. Я многих видел, перед моими глазами прошел не один Гречко, и могу сказать, что в ряду людей-хамелеонов он тоже типичный хамелеон. Да, господа хорошие, какой бы вы пост ни занимали, какие бы у вас ни имелись личные заслуги, нельзя становиться на ложный путь, история этого не

прощает. Вы только оставите неверную память по себе, потому что не были честны перед самими собой и вводили в заблуждение народ, прикрывая злоупотребления Сталина и обеляя его тем фактом, что наша страна ведь победила!

Да, народ добился победы, партия добилась ее. А Сталин? Сталин в своих идеях, в своем мировоззрении, понимании дел был, конечно, партийный человек. Но его методы, формы работы основывались на уничтожении людей, расстрелах, пытках, вымогательствах признаний в несуществующих преступлениях. Не может возникнуть двух мнений в оценке личной деятельности Сталина, подробности которой выявились в полной мере уже после его смерти. Многие стороны этой деятельности заслуживают морального осуждения, а может быть, и суда истории. На этом хочу закончить свои воспоминания о ярком периоде борьбы нашего народа за преобразование нашего общества на социалистических началах.

Мы добились больших успехов в строительстве, создании могучей индустрии, перестройке сельского хозяйства, подъеме культуры, науки, искусства. Народ пробудил свои силы и создал такую сильную державу, какой является Советский Союз. Сегодня мы не слабее любой страны. Хотя промышленность США сильнее нашей, но наши Вооруженные Силы вооружены не хуже, а может быть, даже лучше американских. Пусть это будет серьезным предупреждением для всех авантюристов, милитаристов и агрессоров. Если они развяжут войну, то такая война выйдет им боком. Я даже не говорю о каких-то европейских противниках СССР, таких, как Западная Германия. В сравнении с нами любая страна Европы без США — просто нуль. Сейчас никакой здравомыслящий человек, как бы он ни был ослеплен ненавистью к Советскому Союзу, не может думать об агрессии против СССР. Вот дальнейшее последствие победы Октябрьской революции в 1917 году.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ

В 1944 году вся Восточная Украина была освобождена от гитлеровских захватчиков и их союзников. Мужское население соответствующих возрастов было призвано в Красную Армию, поскольку, когда наша армия продвигалась с боями вперед, пополнение шло главным образом за счет мобилизации тех людей, которые остались ранее на оккупированной врагом территории. Эти люди в своем большинстве с пониманием относились к выполнению гражданского долга, и их не приходилось особенно «уговаривать» идти драться с гитлеровской Германией. На долю тех, кто оставался дома — стариков, инвалидов и непригодных к военной службе, главным образом женщин, — сразу же выпало восстановление народного хозяйства, особенно сельского.

В промышленности, прежде всего угольной и металлургической, часть рабочих и инженерного персонала была освобождена от мобилизации. Зато в промышленность мобилизовывались женщины, особенно молодые девушки. Причем они шли туда охотно. Объяснение тому двоякое: с одной стороны, большую роль играли патриотизм и агитация Коммунистической партии, что нужно восстанавливать промышленность, что в этом состоит единственное спасение, возможность подъема жизненного уровня народа. С другой стороны, в восточнукраинских районах снабжение было все-таки как-то организовано; например питание населения было лучшим, чем в других районах Украины, особенно в 1946 году.

Угольной промышленностью занимался у нас Егор Трофимович Абакумов, специально откомандированный к нам как хороший знаток Донбасса. Тогда был взят правильный курс на строительство мелких шахт, на разработку верхних пластов, или, как их называют шахтеры, хвостов, то есть таких пластов, которые почти выходят на поверхность. Неглубокие шахты в старое время называли мышеловками. Было намечено побыстрее пройти несколько сотен таких шахт и за счет мелкой механизации, неглубоких разработок и наклонных стволов срочно получить нужное количество угля. И этот уголь был получен!

Восстанавливались также металлургия, машиностроение, местная про-

мышленность. Восстановление шло ускоренными темпами. Можно было поражаться житейской цепкости людей, полному пониманию ими необходимости приложить все усилия, чтобы в ближайшее же время возродить промышленность и сельское хозяйство. Ведь война кончилась, постепенно прошли торжество Победы и радость народа по этому поводу, вернулись уцелевшие люди на заводы, в шахты, совхозы и колхозы. Восстановление пошло теперь еще более быстрыми темпами. Но через препятствия.

1946 год был очень засушливым, сельское хозяйство Украины сильно пострадало. Пострадали и другие республики, но о них я меньше могу рассказать. А Украину-то я знал. К осени того года вырисовывался ужасно плохой урожай. Я все делал для того, чтобы Сталин своевременно понял это. Неурожай был вызван тяжелыми климатическими условиями, а кроме того, слабой механизацией сельского хозяйства, подорванного отсутствием тракторов, лошадей, волов. Недоставало рабочей тягловой силы. Организация работ тоже была плохой; люди вернулись из армии, взялись за работу, но еще не притерся каждый как следует к своему месту, да и квалификация у одних была потеряна, а другие совсем ее не имели. В результате мы получили очень плохой урожай.

Не помню, какой нам тогда спустили план: что-то около 400 млн пудов или даже больше. План устанавливался волевым методом, хотя в органах печати и в официальных документах он «обосновывался» научными данными, то есть снятием метровок и пересчетами биологического урожая со скидкой на собственные потери, на затраты содержания людей, скота и на товарные излишки. При этом исходили главным образом не из того, что будет выращено, а из того, сколько можно получить в принципе, выколотив у народа в закрома государства. И вот началось это выколачивание. Я видел, что год грозит катастрофой. Чем все закончится, трудно было предугадать.

Когда развернули заготовки и окончательно вырисовался урожай, можно было уже более или менее точно определить возможности заготовки зерна в фонды государства. К тому были приняты все меры, какие только возможны. Колхозники с пониманием отнеслись к выполнению своего долга и делали все, что в их силах, чтобы обеспечить страну хлебом. Украинцы сполна выстрадали такие чувства и в гражданскую войну, и при коллективизации, и когда республика была оккупирована. Они понимали, что значит для страны хлеб, и знали ему цену, понимали, что без хлеба не получится восстановление промышленности. Кроме того, срабатывало доверие к Коммунистической партии, под чьим руководством была одержана Победа.

Но сверху к людям относились иначе. Я получал письма от председа-

телей колхозов просто душераздирающие. Запали мне в память, например, строчки такого письма: «Вот, товарищ Хрушев, выполнили мы свой план хлебозаготовок полностью, сдали все, и у нас теперь ничего не осталось. Мы уверены, что держава и партия нас не забудут, что они придут к нам на помощь». Автор письма, следовательно, считал, что от меня зависит судьба крестьян. Ведь я был тогда Председателем Совета Народных Комиссаров Украины и Первым секретарем ЦК КП(б)У, и он полагал, что раз я возглавляю украинскую державу, то не забуду и крестьян. Я видел, что он обманывается. Ведь я не мог ничего сделать, при всем своем желании, потому что, когда хлеб сдается на государственный приемный пункт, я не властен распоряжаться им, а сам вынужден умолять оставить какое-то количество зерна, в котором мы нуждались. Что-то нам дали, но мало.

В целом я уже видел, что государственный план по хлебу не будет выполнен. Посадил я группу агрономов и экономистов за расчеты. Возглавил группу Старченко, хороший работник и честный человек. Я думал, что если откровенно доложить обо всем Сталину и доказать верность своих соображений цифрами, то он поверит нам. И мне удалось по некоторым вопросам преодолеть бюрократическое сопротивление аппарата и апеллировать непосредственно к Сталину. Если прежде я действовал, хорошо подобрав материалы и логично построив свои доказательства, то их правдивость брала верх. Тогда Сталин поддерживал меня. Я надеялся, что и на этот раз тоже докажу, что мы правы, и Сталин поймет, что тут не саботаж. Такого рода термины не заставляли себя ждать в Москве, где всегда находили оправдания и для репрессий, и для выколачивания колхозной продукции.

Сейчас не помню, какое количество хлеба я считал тогда возможным заготовить. Кажется, в записке, которую мы представили в Центр, мы писали о 180 или 200 млн пудов с лишним. Это было, конечно, очень мало, потому что перед войной Украина вышла на ежегодный уровень 500 млн пудов. Каждому было ясно, что страна крайне нуждается в продуктах. И не только для собственного потребления: Сталин хотел оказать помощь новодемократическим странам, и особенно Польше и Восточной Германии, которые не смогли бы обойтись без нашей помощи. Сталин имел в виду создать будущих союзников и в мирных условиях, и на случай иных. Он уже обряжался в тогу военачальника возможных будущих походов.

А пока что назревал голод. Я поручил подготовить документ в Совмин СССР с показом наших нужд. Мы хотели, чтобы нам дали карточки с централизованным обеспечением не только городского, а и сельского

населения каким-то количеством продуктов и кое-где просто организовали бы питание голодающих. Не помню сейчас, сколько миллионов таких продовольственных карточек мы просили. Но я сомневался в успехе, потому что знал Сталина, его жестокость и грубость. Меня старались переубедить мои товарищи по работе: «Мы договорились, что если вы подпишете этот документ на имя Сталина (а все такие документы адресовались только Сталину), то он даже не попадет ему в руки. Мы условились с Косыгиным (тогда Косыгин занимался этими вопросами). Он сказал, что вот столько-то миллионов карточек сможет нам дать».

Я долго колебался, но в конце концов подписал документ. Когда документ поступил в Москву, Сталин отдыхал в Сочи. О документе узнали Маленков и Берия. Думаю, что они решили использовать дело для дискредитации меня перед Сталиным, и вместо того, чтобы решить вопрос (а они могли тогда решать вопросы от имени Сталина: многие документы, которых он и в глаза не видел, выходили в свет за его подписью), они послали наш документ к Сталину в Сочи. Сталин прислал мне грубейшую, оскорбительную телеграмму, где говорилось, что я сомнительный человек: пишу записки, в которых доказываю, что Украина не может выполнить госзаготовок, и прошу огромное количество карточек для прокормления людей. Эта телеграмма на меня подействовала убийственно. Я понимал трагедию, которая нависала не только лично над моей персонай, но и над украинским народом, над республикой: голод стал неизбежным и вскоре начался.

Сталин вернулся из Сочи в Москву, и тут же я приехал туда из Киева. Получил разнос, какой только был возможен. Я был ко всему готов, даже к тому, чтобы попасть в графу врагов народа. Тогда это делалось за один миг — только глазом успел моргнуть, как уже растворилась дверь, и ты очутился на Лубянке. Хотя я убеждал, что записки, которые послал, отражают действительное положение дел и Украина нуждается в помощи, но лишь еще больше возбуждал в Сталине гнев. Мы ничего из Центра не получили. Пошел голод. Стали поступать сигналы, что люди умирают. Кое-где началось людоедство. Мне доложили, что нашли голову и ступни человеческих ног под мостом у Василькова (городка под Киевом), то есть труп пошел в пищу. Потом такие случаи участились.

Кириченко (он был тогда первым секретарем Одесского обкома партии) рассказывал, что, когда он приехал в какой-то колхоз проверить, как проводят люди зиму, ему сказали, чтобы он зашел к такой-то колхознице. Он зашел: «Ужасную я застал картину. Видел, как эта женщина разрезала труп своего ребенка, не то мальчика, не то девочки, и приговаривала: «Вот уже Манечку съели, а теперь Ванечку засолим. Это-

го хватит на какое-то время». Эта женщина помешалась от голода и зарезала своих детей. Можете себе это представить?

Я докладывал обо всем Сталину, но в ответ вызывал лишь гнев: «Мягкотелость! Вас обманывают, нарочно докладывают о том, чтобы разжалобить и заставить израсходовать резервы». Может быть, к Сталину поступали какие-то другие сведения, которым он тогда больше доверял? Не знаю. Зато знаю, что он считал, будто я поддаюсь местному украинскому влиянию, что на меня оказывают такое давление и я стал чуть ли не националистом, не заслуживающим доверия. К моим сообщениям Сталин стал относиться с заметной осторожностью. А откуда поступали другие сведения? Их докладывали чекисты или инструкторы ЦК ВКП(б), которые разъезжали по районам. Какая-то правдивая информация все же просачивалась к Сталину, но обычно ее очень боялись давать и припрятывали, чтобы «не нарваться», не поставить себя под удар, потому что Сталин реагировал очень резко. Он считал, что все под ним благоденствуют. Как писал Шевченко: «От молдаванина до финна на всех языках все молчит, бо благоденствует». Только Шевченко писал о времени Николая I, а тут Иосиф I.

Сталин поднял вопрос о том, что нужно созвать Пленум ЦК партии по сельскому хозяйству. Уж не помню, сколько лет не созывали пленумов. Наверное, с 1938 года, когда обсуждали в очередной раз вопрос о борьбе с врагами народа, а потом перегибы, которые были допущены в этой борьбе. Сталин тогда играл благородную роль борца против перегибов, которые сам же организовал. Итак, теперь он поднял наконец вопрос о Пленуме насчет подъема сельского хозяйства. Начали обсуждать, кому поручить сделать доклад. На заседании Политбюро Сталин рассуждал вслух: «Кому сделать доклад?» Тогда за сельское хозяйство персонально отвечал Маленков. «Маленкову? Он занимается этим делом. Какой же он сделает доклад, если даже терминов сельского хозяйства не знает?» Это было сказано при Маленкове. Причем абсолютно правильно. Удивительно только, как Сталин, зная Маленкова, поручил ему заниматься сельским хозяйством. Это меня давно интересовало. Ответить трудно. У Сталина все могло быть...

Вдруг он говорит мне: «Вы будете делать доклад». Я испугался такого поручения: «Товарищ Сталин, мне не поручайте, прошу вас». — «Почему?» — «Я мог бы сделать доклад об Украине, которую я знаю. Но я же не знаю Российской Федерации. О Сибири вообще понятия не имею, никогда там не был и не занимался этим делом. Собственно говоря, до Украины я вообще никогда не занимался сельским хозяйством, я сам ведь промышленник, занимался много промышленностью, а также коммуналь-

ным хозяйством Москвы. А Средняя Азия? Да я никогда не видел, как хлопок растет». Сталин настаивал: «Нет, Вы сделаете доклад». — «Нет, товарищ Сталин, очень прошу Вас, освободите меня. Я не хочу ни подводить ЦК, ни ставить себя в глупое положение, взявшись сделать доклад на тему, которой я, собственно, не знаю. Доложить Пленуму я не смогу».

Он еще подумал: «Ну, хорошо, давайте поручим Андрееву». Андреев когда-то занимался сельским хозяйством и создал себе в партии славу знатока деревни. В сравнении с другими членами Политбюро он, конечно, лучше знал сельское хозяйство, хотя я был не особенно высокого мнения о его познаниях. Этот довольно сухой человек и формалист обычно пользовался своими записками и строил свои сообщения на основе записок других таких же знатоков сельского хозяйства. Во всяком случае, я был доволен, что меня миновала чаша сия. И Андрей Андреевич был утвержден докладчиком от ЦК на Пленуме. Тогда он являлся членом Политбюро и секретарем ЦК. Имелся еще какой-то комитет по сельскому хозяйству — некая надстройка между ЦК и Советом Министров СССР. Андреев был председателем или членом какого-то бюро в комитете. Данный суррогат был создан Сталиным, но не знаю, для чего он был нужен и в чем конкретно заключалась его роль.

Подшло время, был созван Пленум. Андрей Андреевич сделал доклад. Доклад получился стройный, логично выстроенный, как обычно у него бывало. Пленум проходил в Свердловском зале Кремля, президиум там маленький, сидели только члены Политбюро. Я находился рядом со Сталиным и видел, как он внимательно слушал. Объявили перерыв. Мы зашли в комнату отдыха, где собирались члены Президиума попить чаю. Иной раз там же и обедали, обменивались мнениями. Сели за стол, подали нам чай, и Сталин спрашивает меня: «Каково ваше мнение о докладе?» Говорю: «Докладчик осветил все вопросы». — «Но Вы же сидели совершенно безучастно. Я смотрел на Вас». — «Если Вы хотите, чтобы я сказал Вам правду, то, на мой взгляд, в докладе нужно было по-иному поставить вопросы. Затронуто все, но в трафаретном порядке». Он вскипел: «Вот Вы отказались докладывать, а теперь критикуете». Я видел, что Сталин недоволен мной.

Началось обсуждение доклада. Многие выступили в прениях, я тоже. Совершенно не помню сейчас, какие вопросы я поднимал, скорее всего, говорил о текущих делах восстановления хозяйства Украины. Скажу лишь об одном. Тогда я считал важнейшими вопросами механизацию и семенное дело. В то время действовал закон о «первой заповеди» колхозника: сначала выполнить обязательства по поставкам государству, потом засыпку семян и фондов, потом — для распределения по трудо-

дням. Я считал, что нужно нарушить эту заповедь, которую выдумал Сталин, и в первую очередь засыпать семена. Ведь в старое время единоличник, даже умирая, не съедал семена, потому что это будущее, это жизнь. Как же мы берем эти семена у крестьянина, а потом вынуждены давать ему же для посева зерно? Но уже неизвестно, что это за семена и из какого района пришли, насколько они акклиматизированы.

Мое выступление вызвало ярость Сталина. Была создана специальная комиссия, и Андрея Андреевича назначили ее председателем, а меня ввели в состав комиссии. Но еще более тяжелая туча нависла надо мной после выступления Мальцева, опытного работника, действительно хорошо знающего сельское хозяйство Урала. Он прекрасно вел свое хозяйство, а в выступлении рассказал, как у них обстоит дело и какие хорошие урожаи яровой пшеницы он получает. Как только он сказал о яровой пшенице, я сразу же почувствовал удар в самое больное место. Я ведь знал, что Сталин, не разобравшись, тут же вытащит вопрос о яровой пшенице и бросит его мне в лицо. Я-то выступал против сева яровой пшеницы в обязательном порядке, она менее урожайна на Украине, особенно на юге, хотя в некоторых колхозах она неплохо удавалась. Поэтому я считал, что пусть ее сеют колхозы, кто может, но не надо записывать обязательным решением, что каждый колхоз должен в определенных процентах посеять яровую пшеницу: ведь она иной раз даже семена не возвращала. Сталин этого не знал и знать не хотел. Хотя перед войной я как-то докладывал ему о яровой пшенице, и он тогда согласился со мной, после чего было принято решение не обязывать все колхозы Украины сеять яровую пшеницу.

Как только был объявлен перерыв и мы зашли в комнату для отдыха, Сталин нервно и злобно бросил мне: «Слышали, что сказал Мальцев?» — «Да, товарищ Сталин, но он же говорил об Урале. Если у нас, на Украине, самая урожайная культура — озимая пшеница, то на Урале ее совсем не сеют, а сеют только яровую пшеницу. Они ее изучили, умеют ее возделывать и получают хороший урожай, да и то не все хозяйства. Мальцев — это же мастер, академик в своем деле». — «Нет, нет, если там яровая дает такой урожай, то тут у нас, — и он ударил себя по животу, — вот какие глубокие черноземы, урожай будет еще лучше. Надо записать в резолюцию». Говорю: «Если записывать, то запишите, что я отказывался. Все знают, что я против яровой пшеницы. Но если вы так считаете, то тогда записывайте и Северному Кавказу с Ростовской областью. Они в таком же положении, как и мы». — «Нет, запишем только вам!» Дескать, я должен проявить инициативу, чтобы за мной пошли другие. В работе упомянутых комиссий, когда обсуждали этот вопрос, я тоже принимал участие, но не

до конца. Пленум закончился, все разъехались по местам, и мне тоже надо было уехать. Подписывали ту резолюцию Маленков с Андреевым.

Когда я уезжал, то на комиссии поставил вопрос о том, что нужно отменить решение о «первой заповеди» колхозника, и предложил, чтобы семенной фонд засыпали параллельно сдаче зерна государству в определенной пропорции. Конечно, тут была с моей стороны уступка. Но я считал, что даже так будет полезно, а то вообще ничего не оставляли. Все же в каких-то процентах пойдет зерно и государству, и в семенной фонд. Уехал я. Звонит мне Маленков спустя несколько дней и говорит: «Резолюция готова. Твое предложение о порядке засыпки семенного фонда в колхозах и в совхозах в резолюцию не включили, будем Сталину докладывать. Как ты считаешь, докладывать твое предложение отдельно или же совсем ничего ему не говорить?» Явно провокационный вопрос. Все знали, включая Сталина, что я этот вопрос поднимал на комиссии, боролся за это, а теперь, когда ставится вопрос, докладывать ли Сталину, то, если бы я сказал не докладывать, это оказалось бы проявлением трусости. Говорю: «Нет, товарищ Маленков. Прошу доложить товарищу Сталину мою точку зрения». — «Хорошо!»

Доложили. Я узнал из нового звонка от Маленкова, что Сталин был страшно недоволен и мое предложение не приняли. Сталин просто взбесился, когда узнал о нем. После Пленума Сталин поднял вопрос о том, что надо будет оказать помощь Украине: «Надо подкрепить Хрущева, помочь ему. Украина разорена, а республика огромная и имеет большое значения для страны». Куда он клонил? «Я считаю, что надо послать туда, в помощь Хрущеву, Кагановича. Как вы на это смотрите?» — спросил он, обращаясь ко мне. Отвечаю: «Каганович был секретарем ЦК КП(б)У, знает Украину. Конечно, Украина — это такая страна, что там хватит дела не только для двух, а и на десяток людей». — «Хорошо, послать туда Кагановича и Патоличева». Патоличев в то время был секретарем ЦК ВКП(б). Отвечаю: «Пожалуйста, это будет хорошо». Так и записали. Сталин предложил разделить посты Председателя Совмина Украины и Первого секретаря ЦК КП(б)У. В свое время их объединили по его же предложению, а я тогда доказывал, что не нужно это делать. Так было сделано на Украине и в Белоруссии. Не знаю, было ли проведено это и в других республиках. Сталин предложил: «Хрущев будет Председателем Совета Министров Украины, а Каганович — Первым секретарем ЦК. Патоличев же будет секретарем ЦК по сельскому хозяйству». Я опять говорю: «Хорошо».

Собрали мы Пленум на Украине. Пленум утвердил назначения, каждый сел на свое место и занялся своим делом. «Прежде всего, — говорю я Кагановичу и Патоличеву, — надо нам подготовиться к посевной. У нас

нет семян. Кроме того, нам надо получить что-то, чтобы людей накормить: они же умирают, появилось людоедство. Ни о какой посевной не может быть и речи, если мы не организуем общественное питание. Вряд ли сейчас мы получим такое количество зерна, чтобы выдать ссуду, придется питать людей какой-то баландой, чтобы они с голоду не умирали. Ну и семена тоже надо получить». Поставили мы вопрос перед Москвой. Чтобы обеспечить урожай в 1947 году и заложить зерно на 1948 год, следовало срочно получить семена. Если мы не получили бы семян, то нам и делать было бы нечего, потому что все вывезли из деревни по первой сталинской заповеди.

Уже давно было подсчитано, *что* нам необходимо. Мы вновь обратились с просьбой к Сталину и получили какое-то количество семян и продовольственную помощь. Шел уже февраль. В ту пору на юге начинается в отдельных местах сев, а в марте уже многие южные колхозы сеют хлеб. Так что в марте мы должны были быть готовы к массовому севу на юге, а в Киевской области заканчивали сев в апреле. Говорю Кагановичу: «Давайте подумаем, что делать». Он: «Надо поехать по Украине». Отвечаю: «Надо, но это сейчас не главное. Ты давно не был на Украине, вот и поезжай, а я останусь в Киеве. Сейчас ведь важно не то, что я поеду и где-то побуду в одном, двух, трех или пяти колхозах. Это никакого значения не имеет. Протолкнуть по железной дороге семена, вытолкнуть их из области, а из области в колхозы — вот сейчас главное, от чего будет зависеть успех посевной». Так мы и договорились. Каганович поехал в Полтавскую область, а я остался в Киеве диспетчером на телефоне — проталкивать семена и грузы, связанные с обеспечением посевной: запасные части, горючее, смазочные материалы.

Каганович, когда поездил по колхозам, убедился, что его должность Первого секретаря ко многому обязывает: положение очень тяжелое, колхозники шатаются от ветра, неработоспособны, истощены голодом и мрут. Потом он делился со мной впечатлениями об одном колхозе и о председателе этого колхоза Могильниченко. «Что за человек, — говорит, — не понимаю. Суровый, настойчивый. Наверное, у него будет урожай. Как выехал я в поле, уже пахали землю. Увидел я, что мелко пашут, и сказал: «Что же вы мелко пашете?» Надо было знать Кагановича, чтобы понимать, как он сказал: гаркнул на председателя. А тот, хорошо знающий свое дело, ответил: «Як трэба, так и роблю». — «Вот сейчас вы мелко пашете, а потом будете хлеб просить у государства?» — «А я, — отвечает, — никогда, товарищ Каганович, у государства хлеба не просил. Я его сам государству даю».

Я еще раньше предложил Кагановичу: «Ты едешь на село, пусть с

тобой теперь поедет Коваль. Это агроном, он очень хорошо знает сельское хозяйство, и поэтому ты обращай к нему за советами, он тебе подскажет. Это знающий свое дело человек». Коваль был тогда министром земледелия УССР. И вот Коваль увидел, что «наших бьют», бьют Первого секретаря, и кто? Председатель колхоза. Он к нему: «Что вы говорите, товарищ Могильниченко? Вот я — агроном, министр земледелия Украины, и я считаю, что вы пашете неправильно». Могильниченко глянул на него искоса и ответил: «Ну и что, что вы агроном и министр? Я, як трэба, так и буду сеять». И остался при своих убеждениях. Спустя год я к нему поехал специально познакомиться с ним и колхоз посмотреть. Да, этот человек действительно знал свое дело. Я увидел богатейший колхоз, который не только не имел недоимок, а за полгода вперед сдавал авансом государству все сельскохозяйственные продукты.

Что же обеспокоило Кагановича? Каганович ведь сказал: «Боюсь, что действительно у него будет хороший урожай по такой мелкой пахоте». Дело заключалось в том, что Каганович приложил руку к борьбе против мелкой пахоты. Тогда велись буквально судебные процессы против буккера — орудия для поверхностной вспашки почвы. Сторонников пахоты буккером осуждали и ликвидировали. А тут вдруг Каганович встречается мелкую пахоту. Противозаконно! Между прочим, в свое время в Саратовской области развивалась теория буккера, и там какой-то профессор пострадал за нее, был сурово осужден.

Вот так началась вновь наша совместная деятельность с Кагановичем, теперь уже на Украине. Он искал какие-то возможности показать себя и решил, что должен отличиться в том, что Украина максимально перевыполнит план по росту промышленной продукции, особенно в местной промышленности. Когда Госплан УССР предложил свои цифры, я их рассмотрел раньше (как Председатель Совета Министров) и вынес на заседание Политбюро ЦК КП(б)У. Каганович на этом заседании все время смотрел то на цифры, то на меня: согласен ли я с ним? Я говорю: «Лазарь Моисеевич, можно принимать эти цифры, можно». — «Нет, ты посмотри, какой рост!» — «Так это же не годовой прирост в нормальных условиях, а годовой план по восстановлению промышленности и роста производства продукции на этой основе. Поэтому это посильно. Ведь за прошлый год мы добавили вот такой-то процент». Но вместо того чтобы увеличить цифры, он еле-еле согласился принять такие, ибо боялся, что они гарантируют ему провал: он не хотел принимать план, который будет не выполнен, а хотел низкого плана, чтобы перевыполнить его. Куда легче занести в план заниженные цифры, а потом кричать, что план не только выполняется, но и перевыполняется. К сожалению,

это очень распространенный способ действий в нашем хозяйстве. Думаю, что им еще и сейчас пользуются, и довольно широко.

Мне не повезло: я тогда простудился и заболел воспалением легких, лежал с кислородными подушками, еле-еле выжил. Это помогло в какой-то степени Кагановичу получить возможность развернуть свою деятельность без оглядки, потому что я его все-таки связывал, и он вынужден был считаться со мной. А тут он распоясался, причем дал волю своему хамству. Буквально хамству. Он довел, например, до такого состояния Патоличева, что тот пришел ко мне, когда я еще лежал в постели, вскоре после кризиса, и жаловался: «Не могу я! Не знаю, как быть». Потом он не выдержал и написал письмо Сталину с просьбой освободить его от работы на Украине, потому что он не может быть рядом с Кагановичем. Его, по-моему, послали работать в Ростов. Патоличев ушел с Украины.

Мое здоровье пошло на поправку. Я еще пролежал, наверное, месяца два, если не больше, и вернулся к труду. Однако и у меня очень плохо сложились отношения с Кагановичем, ну, просто нетерпимые отношения. Он развернул бешеную деятельность в двух направлениях: против украинских националистов и против евреев. Сам — еврей, и против евреев? Или, может быть, это было направлено только целевым образом против тех евреев, которые находились со мной в дружеских отношениях? Скорее всего, так. Работал у нас, в частности, редактором одной газеты Троскунов. Каганович освободил его от должности. Он его не только ретировал, а просто издевался над ним. Это был честный человек, который во время войны редактировал фронтовую газету, и на соревнованиях фронтовых газет его издание получило признание как лучшее. Троскунова я помню еще по Юзовке, когда я учился на рабфаке, а он и там работал в газете. Кажется, я даже ручался за него, когда он вступал в партию. Вот это ему и вышло потом боком.

Что касается националистов, то, когда я поднялся после болезни, ко мне сразу потекли многочисленные жалобы. Они затрагивали вопросы политического характера, и я как Председатель Совета Министров практически ими не занимался. Эти вопросы входили в компетенцию партийного руководства республики. В ЦК мы их обсуждали, иногда доходило дело и до меня, но главным образом они решались в Секретариате ЦК, в работе которого я не принимал участия. На заседаниях же Политбюро ЦК КП(б)У эти вопросы ставились редко. Однако все, что я мог сделать, чтобы ослабить нажим Кагановича на псевдонационалистов, я делал.

Пошел поток записок Кагановича Сталину по «проблемным вопросам». В конце концов дошло до того, что однажды Сталин позвонил мне: «По-

чему Каганович шлет мне записки, а вы эти записки не подписываете?» — «Товарищ Сталин, Каганович — секретарь республиканского ЦК, и он пишет вам как Генеральному секретарю ЦК. Поэтому моя подпись не требуется». — «Это неправильно. Я ему сказал, что ни одной записки без вашей подписи мы впредь не будем принимать». Только положил он трубку, звонит мне Каганович: «Сталин тебе звонил?» — «Да». — «Что он сказал тебе?» — «Что теперь мы вдвоем должны подписывать посылаемые в Москву записки». Каганович даже не спросил, о чем еще говорил Сталин: мы поняли друг друга с полуслова. Однако мне почти не пришлось подписывать записки, потому что их поток иссяк: Каганович знал, что его записки никак не могли быть подписаны мною. Те же, которые он все же давал мне, или переделывались, или я просто отказывался их подписывать, и они никуда не шли дальше.

Для меня лично главное заключалось в том, что Сталин как бы возвращал мне свое доверие. Его звонок был для меня соответствующим сигналом. Это улучшало мое моральное состояние: я восстанавливался полностью, а не только по названию, членом Политбюро ЦК ВКП(б).

Относительно плана: план хлебозаготовок мы выполнили, сдав около 400 млн пудов зерна. Урожай был по тому времени неплохой. Правда, план был все же небольшой, но ведь и хозяйство республики было войной разрушено. Поэтому на общем фоне сельского хозяйства СССР после войны это были хорошие цифры.

Осенью 1947 года Сталин вызвал нас с Кагановичем к себе. Еще до того, когда мы выполнили план, попросили, чтобы он принял нас в Сочи, где он отдыхал. Мы туда к нему слетали. А теперь, когда Сталин вернулся в Москву, он сам нас позвал и поставил вопрос о том, что Кагановичу нечего делать на Украине, его надо отозвать в Москву. Таким образом, меня восстановили и как первого секретаря ЦК КП(б)У. Я был, конечно, рад и с большим рвением взялся за знакомую работу. Дела у нас пошли хорошо. Сельское хозяйство на Украине восстанавливалось значительно быстрее, чем в других местах, потревоженных войной. Мы соревновались тогда с Белоруссией. Украина опережала ее во всех отношениях. Конечно, Белоруссия была страшно разрушена. И все же этот факт поднимал значение Украины вместе с авторитетом украинского руководства. Я был доволен.

1949 год — последний год моего пребывания на Украине. Сталин позвонил мне, чтобы я приехал в Москву, и сказал, что я вторично перехожу на работу в общесоюзную столицу. Оглядываясь, замечу, что украинский народ относился ко мне хорошо. Я тепло вспоминаю проведенные там годы. Это был очень ответственный период, но приятный пото-

му, что принес удовлетворение: быстро развивались, росли и сельское хозяйство, и промышленность республики. Сталин мне не раз поручал делать доклады на Украине, особенно по вопросам прогресса животноводства, а потом отдавал эти доклады публиковать в газете «Правда», чтобы и другие, по его словам, делали то же, что мы делали на Украине. Впрочем, я далек от того, чтобы переоценивать значение собственной персоны. Напряженно трудилась вся республика.

Я неплохо знаю Украину. И раньше считал, и сейчас считаю, что она по сравнению с другими республиками имеет высокий уровень развития сельского хозяйства и сравнительно высокую культуру земледелия. Не знаю, правда, как оценить культуру хлопководства в Средней Азии. Сравнивая Украину с другими республиками (не имею в виду Прибалтику, потому что Прибалтика тогда только недавно вошла в состав СССР), скажу, что Российская Федерация, Белоруссия и другие республики уступали Украине. Это, видимо, исторически так сложилось. В РСФСР же выделялась в лучшую сторону Кубань: там тоже отличные земли и высокая культура их обработки. Так что успехи УССР я приписываю всему украинскому народу.

Я сейчас не буду дальше распространяться на данную тему, но это в принципе очень легко доказать. Я сам русский и не хочу обижать русских, а просто констатирую, что на Украине выше культура земледелия. Сейчас идет нивелировка, всюду прилагаются большие усилия для подъема земледелия, затрачиваются большие средства. Новая техника, минеральные удобрения, все другие элементы, от которых зависит уровень сельскохозяйственного производства, усиленно финансируются, чтобы выровнять культуру земледелия по республикам и поднимать ее с каждым годом все выше и выше, полностью обеспечить потребности народа в продукции сельского хозяйства.

ОПЯТЬ В МОСКВЕ

Мотивировка отозвания меня с Украины в Москву в 1949 году — на мой взгляд, результат какого-то умственного расстройтва у Сталина. То есть не самый факт моего отзыва, а причины, побудившие Сталина срочно перевести меня. Я тогда находился во Львове. Украинские националисты убили писателя-интернационалиста Галана, и я проводил собрание среди студентов Лесотехнического института. Студент, который убил Галана, учился в этом институте, поэтому я и решил поговорить с его однокашниками.

Вдруг меня вызвал к телефону Маленков: говорит мне, что Сталин передает, чтобы я срочно прибыл в Москву. «Как срочно?» — «Как только можешь. Прилетай завтра». И назавтра я прибыл в Москву. Сталин встретил меня очень хорошо. «Ну, — говорит, — что же вы будете долго сидеть на Украине? Вы там превратились уже в украинского агронома. Пора вам вернуться в Москву». И начал рассказывать: мы тут считаем, что вам надо опять занять пост первого секретаря Московского городского и областного партийных комитетов. У нас плохо обстоят дела в Москве и очень плохо — в Ленинграде, где мы провели аресты заговорщиков. Оказались заговорщики и в Москве. «Мы хотим, чтобы Москва была опорой ЦК партии, поэтому вам полезнее работать здесь. Вы станете секретарем сразу МК и ЦК партии». Я, конечно, поблагодарил за доверие. Сказал, что с удовольствием приеду в Москву, потому что был доволен своей прежней работой в столице, 11 лет назад. Я считал, что такой срок работы на Украине вполне приличный и мне будет полезно переместиться.

Когда я вернулся от Сталина, Василевская и Корнейчук, находившиеся в Москве, зашли ко мне. Я рассказал им о состоявшемся разговоре. Ванда Львовна расплакалась, буквально разревелась. Я никогда еще не видел ее в таком состоянии. Она: «Как же вы уедете с Украины? Как же так?» Полька оплакивала тот факт, что русский уезжает с Украины! Несколькo курьезно. Видимо, это объяснялось тем, что у меня сложились очень хорошие, дружеские отношения с ней. Я ее очень уважал. Это была замечательная женщина и замечательная коммунистка. И она пла-

тила мне таким же уважением. Я не скрываю этот штрих, может быть немного тщеславный, но, безусловно, приятный для меня. Данное событие всплыло у меня в памяти, и я решил о нем рассказать.

Относительно сталинской мотивировки его решения: в подтверждение неблагоприятия дел в Москве он вручил мне некий документ: «Вот, ознакомьтесь, а потом поговорим». Я не стал читать тут же — это был большой документ — и положил его в карман. Назавтра прочел. Это оказалось анонимное заявление, хотя и с подписями, но анонимное по своему характеру. Сейчас не помню, чьи там стояли подписи. В тексте говорилось, что в Москве существует группа заговорщиков против ЦК и Советского правительства, а группу эту возглавляет секретарь Московского комитета и ЦК партии Попов. Далее указывалось, кто входит в группу: секретари райкомов партии, часть председателей райисполкомов, директора заводов, инженеры. Я сразу почувствовал, что готовил бумагу с умыслом либо сумасшедший, либо мерзавец. Положил я записку к себе в сейф и решил не говорить Сталину о ней какое-то время, считая, что чем больше пройдет времени без такого разговора, тем будет лучше.

Когда я уезжал на Украину, чтобы оформить переход в Москву, Сталин сказал мне: «Вы к моему 70-летию вернетесь в Москву?» (то есть в декабре). «Безусловно. Приеду, сейчас же соберу Пленум ЦК КП(б)У, изберем новое руководство, и я вернусь». Ранее я уже согласовал с ним, что буду рекомендовать Первым секретарем ЦК Мельникова. Сталин согласился, хотя и не знал его: доверился мне. Приехал я в Москву перед самым празднованием юбилея, 21 декабря. Отметим ли мы 70-летие вождя, я был избран секретарем Московского областного и городского партийных комитетов и приступил к делу.

А вскоре Сталин спросил меня, сам вспомнив: «Я давал вам заявление. Вы с ним ознакомились?» И смотрит внимательно на меня. «Ознакомился». — «Ну и как?» А у него была такая привычка: посмотрит на тебя, потом носом дернет вверх: «Ну и как?» Отвечаю: «Это мерзавцы какие-то написали или сумасшедшие». — «Как так?» Он очень не любил, когда относились с недоверием к такого рода документам. «Товарищ Сталин, я абсолютно убежден, что данный документ не имеет ничего общего с действительностью. Я лично знаю многих людей, которые названы заговорщиками. Это честнейшие люди. Кроме того, я абсолютно уверен, что Попов тоже не заговорщик. Он неумно вел себя. Бесспорно, оказался не на должной высоте. Но он не заговорщик, а честный человек, в этом я не сомневался и не сомневаюсь. А если бы он даже стал заговорщиком, то те люди, которые, как написано, входят в его заговорщическую группу, сам не знаю, что сотворили бы с ним».

Видимо, мой уверенный тон повлиял на Сталина: «Вы считаете, что документ не заслуживает внимания?» — «Безусловно, товарищ Сталин, не заслу-

живает. По-моему, тут провокация или безумие». Сталин выругался, и на том все кончилось. Можете себе представить: если бы подстраиваться под настроение Сталина, захотеть отличиться и завоевать его дополнительное доверие, то это очень легко было бы сделать. Нужно было только сказать: «Да, товарищ Сталин, это серьезный документ, надо разобраться и принять меры». Достаточно было бы такого заявления с моей стороны, и сейчас же он приказал бы арестовать Попова и «его группу». Они, конечно, на допросах «сознались» бы, вот вам заговорщическая группа в Москве, а я стал бы человеком, которому, возможно, приписали бы, что, дескать, он пришел, глянул, сразу раскрыл и разгромил заговорщиков. Ведь это же низость! А фактически именно так получилось у других людей в Ленинграде.

Стал я работать в Москве. Но все же знал, что раз Сталин нацелился на Попова как заговорщика, то уже не успокоится, пока не доконает его. Посоветовались мы с Маленковым, и я предложил: «Давай переведем Попова за пределы Москвы, подберем ему хорошую должность». Так и сделали, послали его, с временным интервалом, директором крупного завода в Куйбышев. Сталин иногда вспоминал: «А где Попов?» Когда-то он был любимцем у Сталина. Отвечаю: «В Куйбышеве». И Сталин успокаивался. Видимо, все-таки думал: «А не ошибся ли Хрущев, не остался ли этот заговорщик поблизости и не продолжает ли он свою деятельность в столице?» Он бы никогда не примирился с этим, но когда узнавал, что Попов в отдалении, то успокаивался.

Мне потом передавали о негодовании Попова против меня. Умер он, что его осуждать? Он же не понимал, что ему меня не только не ругать надо, а наоборот. Если бы не я, он бы погиб, потому что Сталин уже подготовился к этому. Ведь и меня-то он вызвал потому, что получил документ против Попова и поверил этому документу. Я спас Попова, но вот бывает так, что человек не поймет и проявляет недовольство теми, кто подставил свою спину в его защиту. А ведь я тогда рисковал. Если бы Сталин мне не поверил, то мог бы подумать, что и я вхожу в заговор вместе с Поповым.

Такие наступали опять времена. После войны мы постепенно как бы возвращались к мясорубке 1937 года, к методам тогдашней «работы».

Когда я стал секретарем ЦК ВКП(б) и Московской парторганизации, Кузнецов-Ленинградский, как мы его между собой называли, был арестован. Развернулась охота за ленинградцами, Ленинградская парторганизация вовсю громилаась. Сталин, сказав, что мне нужно перейти в Москву, уже сослался тогда на то, что в Ленинграде раскрыт заговор. Он вообще считал, что Ленинград — заговорщический город.

В то время много людей было направлено в Москву из Горьковской области. Председатель Совета Министров Российской Федерации (я сейчас не помню его фамилию) тоже был из Горького. Думаю, что Жданов,

который много лет работал там и знал тамошние кадры, выдвигал их. Хороший был председатель, нравился он мне: молодой, энергичный человек, имел собственные мысли, перспективный. Но тоже был арестован. И не только он, многие были схвачены. Я много лет не работал в Москве и поэтому не знал людей из числа арестованных. Более или менее знал Кузнецова. Очень хорошо знал Вознесенского. Вознесенский не был еще арестован, когда я прибыл в Москву, но уже был смещен с прежних постов. Он ходил без дела и ожидал, чем это кончится, *что* принесет ему завтрашний день.

Сталин к Вознесенскому раньше относился очень хорошо, питал к нему большое доверие и уважение. Да и к Косыгину, и к Кузнецову, ко всей этой тройке. Тогда считалось, что вот тройка молодых — Вознесенский, Кузнецов и Косыгин. Они идут нам на смену. Сталин стал их продвигать. Кузнецов должен был заменить Маленкова. Вознесенского он сделал первым заместителем Председателя Совета Министров СССР, то есть своим первым заместителем, и поручил ему председательствовать на заседаниях Совмина. Косыгин занимался проблемами легкой промышленности и финансов. Полагаю, что гибель этих людей (без Косыгина) определилась именно тем, что Сталин стал их выдвигать, готовя смену старым кадрам. Прежде всего, значит, замену Берии, Маленкову, Молотову, Микояну. Они у него уже не пользовались тем доверием, как раньше.

Как конкретно удалось сделать подкоп, подорвать доверие к новым людям, натравить Сталина на них, его же выдвиженцев, мне сейчас трудно сказать. Могу только делать выводы из своих наблюдений и отдельных реплик, которые слышал при разговорах между Маленковым и Берией. Кроме того, я видел, как вели себя Маленков и Берия у Сталина, когда заходила речь об этих людях. У меня сложилось впечатление, что как раз Маленков и Берия приложили все усилия, чтобы утопить их. Главным образом тут действовал Берия, а Маленкова он использовал как таран, потому что тот сидел в ЦК партии и ему были доступны вся информация и документы, которые передавались Сталину. Ряд документов преследовал цель направить гнев Сталина против «группы молодых». Все заранее знали, как будет реагировать Сталин.

В тюрьме уже сидел тогда Шахурин, нарком авиационной промышленности во время войны. Я очень хорошо знал Шахурину, когда он находился на партийной работе и был, в частности, парторгом ЦК на авиационном заводе. В качестве наркома его заменил Дементьев. Я знал и того и другого и хорошо относился к ним, считая, что они очень толковые инженеры и организаторы производства. Шахурину посадили

за то, что во время войны делали «плохие самолеты». Это случилось, когда я был еще на Украине, и поэтому я не знал подробностей. Потом Маленков рассказывал мне, что якобы соответствующую записку написал (или лично наговорил отцу) Василий Сталин: делали такие-то самолеты и такие-то у них имелись недостатки, а виноват в этом нарком Шахурин.

Косвенно задело это и Маленкова, которому по линии Политбюро во время войны было поручено наблюдать за работой авиационной промышленности. Теперь ему вменялось в вину покровительство плохой работе наркомата. Кое-что тут было справедливо, потому что погоня за количеством шла в ущерб качеству. Но ведь шла война! Во многих отраслях промышленности приходилось так поступать. Такого рода рассуждения задним числом привели к аресту Шахурина и к временному освобождению Маленкова от работы в ЦК. Его послали тогда, кажется, в Ташкент. Но он там недолго пробыл и быстро вернулся. Многие сейчас и не помнят, что имел место такой факт. Возвратил же его в Москву Берия. Когда Маленкова в Москве не стало, Берия, как он сам рассказывал, шаг за шагом продвигал перед Сталиным идею возврата Маленкова. В конце концов его вернули, и он опять занял свой пост секретаря ЦК партии.

Какой существовал повод к аресту Кузнецова и других? Я не могу знать всех деталей, но что-то знаю и хочу об этом рассказать. Сейчас многое звучит просто неправдоподобно и даже вызывает удивление, что такие причины могли вызвать гибель людей и целых партийных организаций, которые все брались под подозрение. Вот факты. Еще до войны (не помню, в какие годы) в ЦК было создано Бюро по Российской Федерации. Возглавлял это Бюро, кажется, Андрей Андреевич Андреев. Не знаю, при каких обстоятельствах, это Бюро перестало существовать, и снова возникло такое положение, что РСФСР не имела своего высшего партийного органа, который разбирал бы текущие вопросы экономики и прочего. Все они были розданы по союзным наркоматам, только некоторые вопросы третьей степени важности рассматривались Совнаркомом РСФСР. Частично из-за этого Российская Федерация и работала значительно хуже, чем другие республики.

Как-то после войны, приехав с Украины, я зашел к Жданову. Тот начал высказывать мне свои соображения: «Все республики имеют свои ЦК, обсуждают соответствующие вопросы и решают их или ставят перед союзным ЦК и Советом Министров СССР. Они действуют смелее, созывают совещания по внутриреспубликанским вопросам, обсуждают их и мобилизуют людей. В результате жизнь бьет ключом, а это способствует развитию экономики, культуры, партийной работы. Российская же

Федерация не имеет практически выхода к своим областям, каждая область варится в собственном соку. О том, чтобы собраться на какое-то совещание внутри РСФСР, не может быть и речи. Да и органа такого нет, который собрал бы партийное совещание в рамках республики». Я с ним согласился: «Верно. Российская Федерация поставлена в неравные условия, и ее интересы от этого страдают».

«Я, — продолжал Жданов, — думаю над этим вопросом. Может быть, надо вернуться к старому, создав Бюро по Российской Федерации? Мне кажется, это приведет к налаживанию партийной работы в РСФСР». Говорю: «Считаю, что это было бы полезно. Даже при Ленине внутри СССР не было ЦК партии по РСФСР. Это и правильно, потому что если бы у Российской Федерации имелся какой-то выбранный центральный парторган, как у других республик, то могло возникнуть противопоставление. Российская Федерация слишком мощна по количеству населения, промышленности, сельскому хозяйству. К тому же в Москве находились бы сразу два Центральных Комитета: один — межреспубликанский, а другой — для РСФСР. Ленин на это не пошел. Видимо, он не хотел создать двоецентрие, не хотел столкнуть такие центры, а стремился к монолитности политического и партийного руководства. Так что ЦК для РСФСР не нужен, лучше иметь Бюро». — «Да, — говорит Жданов, — видимо, целесообразнее создать такое Бюро».

Жданов перед своим отъездом на Валдай, где он отдыхал и лечился, позвонил мне в Киев: «Вы были в Москве, но я с вами не успел поговорить. У меня имеется важный вопрос. Теперь я уезжаю, поговорим тогда, когда вернусь с Валдая». Я пожелал ему всего хорошего. А в скором времени получил известие о том, что Жданов умер. Таким образом, то, о чем он хотел поговорить, осталось для меня загадкой. Он мне в Киев звонил редко, как и я ему из Киева. У нас более всего возникало кадровых вопросов или по сельскому хозяйству. Телефонный перезвон с Москвой у меня существовал, но не с Ждановым, а с Маленковым. А теперь обвинили «группу Кузнецова» в Ленинграде, будто там проявили «русский национализм» и противопоставили себя общесоюзному ЦК. Что-то в этом духе, точно не помню, а документов я не видел. Почему же у меня сложилось такое впечатление? Я слышал соответствующие разговоры между Маленковым и Берией, а иной раз и у Сталина. Сталин задавал какие-то вопросы Маленкову, и их разговор вертелся вокруг этого.

У меня же как-то с Маленковым возник следующий разговор. Я тогда разрабатывал вопрос о том, чтобы создать на Украине республиканские министерства угольной промышленности и металлургической промышлен-

ленности. А за отправное брал реалии ленинского периода. Когда Ленин еще был жив, то после гражданской войны на Украине был создан Комитет по каменноугольной промышленности. Возглавлял его Семен Шварц, старый большевик. Я в то время служил еще в Красной Армии. Видимо, речь идет о 1921-м и начале 1922 года. Когда я вернулся на рудники и стал работать на Рутченковских копях, угольную промышленность Донбасса возглавлял Георгий Пятаков, крупный политический и хозяйственный деятель. Он считался видным экономистом и слыл авторитетом. Потом его заменили, не знаю точно, по каким причинам, но главной была, конечно, политическая, потому что Пятаков являлся ближайшим человеком Троцкого, с которым шла тогда острая борьба. Видимо, это и сказало на том, что Пятакова переместили из Донбасса. Его там заменил Чубарь. Тогда на губернских партийных конференциях пели много частушек на злобу дня. Встречались и такие слова: «Шлет ЦК нам Чубаря. Что у нас изменится?»

Уголь в те годы главным образом добывали в Донбассе. Наверное, процентов 80 занимала донбасская доля в общей добыче советского угля. Я считаю, что и сейчас надо бы создать на Украине объединенное правление по углю, вернувшись к тому, что было при Ленине и сразу после Ленина. На Украине находилась и «Югосталь». Ее возглавлял Иванов, тоже старый большевик. Довольно толстый был человек. «Югосталь» размещалась в Харькове, а Комитет по каменноугольной промышленности — в Бахмуте (теперь Артемовск). Потом он тоже переехал в Харьков, и там возглавил его Рухимович, а Чубарь уже стал Председателем Совета Народных Комиссаров Украины.

Рухимовича я очень уважал. Это замечательный человек, старый большевик, очень простой и доступный, рассудительный и умный. Донбассцы — шахтеры, включая их руководство, которое соприкасалось с лидерами, — с очень большим уважением относились к Рухимовичу. Он часто проводил совещания работников угольной промышленности, и я всегда выезжал на эти совещания, когда был заворгом Сталинского окружного парткомитета. Рухимович лично знал меня и хорошо ко мне относился. Видимо, я был ему полезен, потому что активно работал в своем округе. К тому же я был местный человек, вырос среди шахтеров и знал условия производства как на рудниках, так и на заводах металлургической промышленности.

Вот и хотел я в конце 40-х годов создать кое-что украинское по углю, металлу и железнодорожному транспорту. Поехал в Москву и прежде, чем свои документы подписать и отдать Сталину, решил посоветоваться с Маленковым. Вижу, Маленков на меня странно смотрит и глаза у

него на лоб лезут: «Что ты делаешь? Да ты что?» — «А что?» — «Спрячь свои документы и никому больше о них не говори. Ты знаешь, что сейчас в Ленинграде происходит то-то и то-то? А основным обвинением приписали ленинградцам, что они проявляют самостийность: самовольно собрали в Ленинграде ярмарку и распродавали залежалые товары». Но я не увидел в том никакого преступления и никакого проявления российского национализма. Мы то же самое делали у себя в Киеве. У нас имелась ярмарка, где продавались залежалые товары, которые в магазинах уже не находили покупателей, а здесь шли с уценкой, со скидкой. Существовал завал всяческой дряни, которую бесконтрольно производил кое-кто после войны. От нее избавлялись. И вот это безобидное и полезное дело было, видимо, в соответствующей форме преподнесено Сталину, с политической окраской.

А кто же это сделал? Конечно, Берия и Маленков. Сталину вообще немного было нужно при его болезненной подозрительности. Начал разматываться клубок. Уж не знаю, как конкретно он разматывался, но разматался, что называется, до сердцевины. И оказалось необходимым, с точки зрения Сталина, пресечь «враждебную акцию», для чего арестовать прежде всего Кузнецова и Председателя Совета Министров Российской Федерации (вспомнил его фамилию — Родионов). Они к тому же поставили вопрос о создании каких-то республиканских органов, которые якобы должны были работать, не подчиняясь союзным органам. Одним словом, им вменили в вину противопоставление периферии центру.

Начались аресты. Арестовали массу людей в Ленинграде, а также тех, кого ЦК брал из Ленинграда, выдвигая на посты в других местах. Например, в Крыму тогда руководство было создано из ленинградцев, и там тоже всех арестовали. Вознесенского освободили от всех его должностей, ибо он тоже ленинградец. В общем, раскрыли кубло, как говорят в народе, то есть звериное логово. Выдумали ленинградское заговорщическое гнездо, которое, дескать, преследовало какие-то антисоветские цели. Опять возникло в стране трагическое положение, да и в партии. Эта зараза репрессий легко могла охватить кого угодно.

Сейчас у меня возникла мысль: не сфабриковано ли было письмо, которое мне дал читать Сталин, по заданию Берии и через его агентуру, чтобы припугнуть Сталина, что не только Ленинград, но и Москва имеет заговорщиков? Сталин решил тогда меня вызвать, чтобы я возглавил Московскую партийную организацию. Но если так, то я,ознакомившись с письмом, пресек дело для москвичей, уверенно сказав Сталину, что это выдумка проходимцев или же бред сумасшедших. Если так, значит, я оказался преградой для распространения арестов на Москву. Не то и в Моск-

ве, не знаю, сколько было бы потеряно голов из партийного и хозяйственного актива.

Правда, в столице этот процесс в какой-то степени уже начался. Когда я вернулся в Москву, были проведены большие аресты среди работников ЗИСа (автомобильного Завода имени Сталина). Возглавлял «заговорщическую организацию американских шпионов» помощник директора ЗИСа Лихачева. Не помню сейчас его фамилии, но я лично знал этого паренька — шупленького, худенького еврея.

Я познакомился с ним случайно, после войны. Как-то встретил я Ивана Алексеевича Лихачева и спросил, как его здоровье. «Работаю, — говорит, — но чувствую себя неважно». — «Приехал бы ты к нам в Киев, отдохнул бы, у нас очень хорошо, приезжай когда захочешь, я всегда буду рад, создадим тебе условия для отдыха». — «Хорошо, — отвечает, — воспользуюсь этим приглашением». И вот однажды Иван Алексеевич позвонил мне: «Могу приехать. Хотел бы и помощника взять с собой». — «Приезжай с помощником, пожалуйста, вези кого хочешь». Я их устроил, и они отдыхали в Киеве.

Лихачев с помощником часто приходили ко мне на квартиру или бывали на даче в выходные дни. Таким образом я и познакомился с помощником. Обычный человек, старательно выполнявший поручения Лихачева. Я и не думал, что он является, как его потом обозвали, главой американских сионистов, через которого те организуют свою работу в Советском Союзе. Его арестовали, и он, конечно, сознался. Я-то знаю, как «сознавались» люди, что они английские, гитлеровские и другие агенты. Это было не признание, а вымогательство, нужное тем, кто преследовал корыстные цели.

Дошло дело до Лихачева. Лихачев был тогда министром, кажется, автомобильного транспорта. Сталин поручил Берии, Маленкову и мне втроем допросить Лихачева. Вызвали Лихачева, стали его допрашивать. Мне было больно видеть это, но я ничего не мог поделать, потому что обвинение основывалось на «документальных данных», на «показаниях» людей, которые работали с Лихачевым. Это ведь считалось неопровержимым доказательством. Допрашивали его в помещении для заседаний Бюро Совета Министров СССР в Кремле, на третьем этаже. Там был раньше кабинет Ленина, стояли ленинский стол и кресло. Да и сейчас, по-моему, стоит в отдельном углу это кресло, перевязанное черной ленточкой.

Когда ему предъявили обвинение, Лихачев стал что-то говорить в свое оправдание, а потом разахался и упал в обморок. Его окатили водой, привели в чувство и отправили домой, потому что допрашивать уже было

невозможно. Рассказали Сталину, как все было. Сталин послушал, посмотрел на нас и обругал Лихачева. Он очень хорошо относился раньше к Лихачеву. Называл его «лихачом». Он перенял это от Серго Орджоникидзе. Лихачев был любимцем Серго, и Серго всегда его звал «лихачом». И Сталин тоже стал его называть «лихачом».

Видимо, сказалось хорошее в ту пору настроение Сталина, и оставили Лихача в покое. Иван Алексеевич вернулся к работе и пережил Сталина.

Но с зисовцами расправились. Абакумов, то есть нарком госбезопасности, сам вел дознание. А уж если Абакумов лично допрашивал, сам вел дело, то все быстро признавались, что они заядлые враги Советского Союза. И все они были расстреляны. Вот какая существовала в Москве атмосфера в то время, когда я вторично приехал туда с Украины. Сталин уже постарел. Подозрительность стала развиваться в нем все больше, и она приобретала общественную опасность. Да и мы смотрели на него уже не так, как в первые годы разоблачений «врагов народа», когда считалось, что он сквозь стены и железо все видел насквозь. Уже было поколеблено в нас прежде доверие к нему. Но после разгрома гитлеровских войск вокруг Сталина сохранялся ореол славы и гениальности.

Помню дни, когда Вознесенский, освобожденный от прежних обязанностей, еще бывал на обедах у Сталина. Я видел уже не того человека, которого знал раньше: умного, резкого, прямого и смелого. Именно смелость его и погубила, потому что он часто схватывался с Берией, когда составлялся очередной народнохозяйственный план. Берия имел много подшефных наркоматов и требовал львиной доли средств для них, а Вознесенский как председатель Госплана хотел равномерного развития экономики страны. Не он, а страна не имела возможности удовлетворить запросы тех наркоматов, над которыми шефствовал Берия. Но не наркоматы выступали против Вознесенского, а Берия.

Берия, как близкий к Сталину человек, обладал большими возможностями. Нужно было знать Берию, его ловкость, его иезуитство. Он мог выжидать, выбирая момент, чтобы подбросить Сталину либо доброе, либо худое, в зависимости от собственных интересов, и ловко этим пользовался.

А за обедами у Сталина сидел уже не Вознесенский, но тень Вознесенского. Хотя Сталин освободил его от прежних постов, однако еще колебался, видимо веря в честность Вознесенского. Помню, как не один раз он обращался к Маленкову и Берии: «Так что же, ничего еще не дали Вознесенскому? И он ничего не делает? Надо дать ему работу, чего вы медлите?» — «Да вот думаем», — отвечали они. Прошло какое-то время, и Сталин вновь говорит: «А почему ему не дают дела? Может быть, пору-

чить ему Госбанк? Он финансист и экономист, понимает это, пусть возглавит Госбанк». Никто не возразил, но проходило время, а предложений не поступало.

В былые времена Сталин не потерпел бы такой дерзости, сейчас же заставил бы Молотова или Маленкова взять карандаш, как обычно делал, и продиктовал бы постановление, тут же подписав его. Теперь же только говорил: «Давайте, давайте ему дело», но никто ничего не давал. Кончилось это тем, что Вознесенского арестовали. Какие непосредственно были выдвинуты обвинения и что послужило к тому толчком, я сейчас не знаю. Видимо, Берия подбрасывал какие-то новые материалы против Вознесенского, и, когда чаша переполнилась, Сталин распорядился арестовать его.

Организовать это Берия мог с разных сторон. По партийной линии подбрасывал материалы Маленков, по чекистской линии — Абакумов. Но источником всех версий был Берия, умный и деловой человек, оборотистый организатор. Он все мог! А ему надо было не только устранить Вознесенского из Совета Министров. Он боялся, что Сталин может вернуть его, и Берия преследовал цель уничтожить Вознесенского, окончательно свалить его и закопать, чтобы и возврата к Вознесенскому не состоялось. В результате таких интриг Вознесенский и был арестован. Пошло следствие. Кто им руководил? Конечно, Сталин. Но первая скрипка непосредственной «работы» находилась в руках Берии, хотя Сталин думал, что это он лично всем руководит.

Почему я так считаю? Потому что Абакумов — это человек, воспитанный Берией. Его Сталин назначил в Госбезопасность тогда, когда Берия был освобожден от этой работы, чтобы сосредоточить свое внимание на Совете Министров СССР. Сталин хотел, чтобы Министерство госбезопасности непосредственно ему докладывало все дела, и Абакумов лично ему и докладывал. Сталин мог и не знать, но я был убежден, что Абакумов не ставил ни одного вопроса перед Сталиным, не спросив у Берии, как доложить Сталину. Берия давал директивы, а потом Абакумов докладывал, не ссылаясь на Берию и получая одобрение Сталина.

Атмосфера сгущалась. В нашем государстве полагается, чтобы серьезные вопросы обсуждались или на Политбюро, или в Совете Министров. Такое обсуждение было необходимо, чтобы избежать крупных ошибок. Но этого не было и в помине. Никаких заседаний не созывалось. Собирались у Сталина члены Политбюро, выслушивали его, а он на ходу давал директивы. Иной раз и он заслушивал, если ему нравились их мнения, или же рычал на них и тут же, никого не спрашивая, сам

формулировал текст постановления либо решения ЦК или Совета Министров СССР, после чего оно выходило в свет. Это уже сугубо личное управление, это произвол. Не знаю, как и назвать это, но это факт.

Помню, что Сталин поднимал не раз вопрос о Шахурине, который был в заключении. Сидел и Главный маршал авиации Новиков, тоже посаженный после войны за то, что принимал «недоброкачественные самолеты», то есть по тому же делу авиастроения.

Новикова я лично знал. Он почти всю войну прокомандовал нашими Военно-Воздушными Силами. Скажу о его недостатках: он пил больше, чем надо. Но это был человек, преданный Родине, честный, сам летчик, знавший свое дело. У Сталина, видимо, шевелился червячок доброго отношения к Шахурину и Новикову. Смотрит он на Берию и Маленкова и говорит: «Ну что же они сидят-то, эти Новиков и Шахурин? Может быть, стоит их освободить?» Вроде бы размышляет вслух. Никто ему, конечно, ничего на это не отвечает. Все боятся сказать «не туда», и все на этом кончается. Через какое-то время Сталин опять поднял тот же вопрос: «Подумайте, может быть, их освободить? Что они там сидят? Работать еще могут». Он обращался к Маленкову и Берии, потому что именно они занимались этим делом.

Когда мы вышли от Сталина, я услышал перебрасывание репликами между Маленковым и Берией. Берия: «Сталин сам поднял вопрос об этих авиаторах. Если их освободить, это может распространиться и на других». Разговор шел в туалете, где мы собирались мыть руки перед обедом и порой обменивались мнениями. Туалет был просторный, так что иной раз мы собирались там и перед заседаниями, и после заседаний. Перед заседаниями говорили о том, *что* предстоит, а после обеда обсуждали, с какими последствиями прошла трапеза.

Когда я обдумывал этот вопрос, мне пришла в голову мысль: о каких других говорил Берия? Он, видимо, боялся, что если будут освобождены Шахурин и Новиков, то как бы Сталин не вернулся к вопросу о Кузнецове и Вознесенском, над которыми суда еще не состоялось. Этого боялись и Берия, и Маленков. Тогда все «ленинградское дело» окажется под вопросом. Хотя они согласны были, видимо, освободить Шахурину и Новикова, которые не стояли на пути ни Маленкова, ни Берии. Правда, Маленков боялся и слово замолвить о Шахурине и Новикове, потому что его тоже обвиняли по этому же вопросу. Ведь он покровительствовал Наркомату авиапромышленности и допустил, что появилось много «недоброкачественных» самолетов, в результате чего мы теряли лишние кадры во время войны.

Со мной о «ленинградском деле» Сталин никогда не говорил, и я не

слышал, чтобы он где-то в развернутом виде излагал свою точку зрения. Только однажды он затронул этот вопрос, когда вызвал меня с Украины в связи с переходом в Москву и беседовал со мной о «московских заговорщиках». Маленков и Берия все же не допустили освобождения Шахурина и Новикова. Следовательно, не были освобождены и люди, арестованные по «ленинградскому делу». Не зная подробностей этого дела, допускаю, что в следственных материалах по нему может иметься среди других и моя подпись.

Происходило это обычно так: когда заканчивалось дело, Сталин, если считал необходимым, тут же на заседании Политбюро подписывал бумагу и в круговую давал подписывать другим. Те, не глядя, а опираясь лишь на сталинскую информацию, тоже подписывали. Тем самым появлялся коллективный приговор. Правда, в «ленинградском деле», если рассматривать прежнюю практику борьбы с «врагами народа», была применена уже широкая судебная процедура: не только следователи вели следствие, но и приезжал прокурор, потом был организован суд, на который приглашался актив ленинградской парторганизации, на суде велся допрос подсудимых, потом им давали последнее слово. Ну и что? А в 30-е годы разве обстояло по-другому?

Сталину рассказывали (я присутствовал при этом), что Вознесенский, когда было объявлено, что он приговаривается к расстрелу, произнес целую речь. В своей речи он проклинал Ленинград, говорил, что Петербург видел всякие заговоры — и Бирона, и зиновьевщину, и всевозможную реакцию, — а теперь вот он, Вознесенский, попал в Ленинград. Там он учился, а сам-то родом из Донбасса. И проклинал тот день, когда попал в Ленинград. Видимо, человек уже потерял здравый рассудок и говорил несуразные вещи. Дело ведь не в Ленинграде. При чем тут зиновьевщина? В 20-е годы имелась совсем другая основа политической борьбы: шла борьба взглядов о путях строительства социализма в СССР, тогда можно было занимать либо ту, либо другую позицию. Я тоже занимал тогда сталинскую позицию и боролся против Зиновьева. А Бирон вообще иная эпоха. Это же несовместимые понятия.

Не помню, *что* говорили в последнем слове Кузнецов и другие ленинградцы, но, что бы они там ни говорили, фактически их приговорили значительно раньше, чем суд оформил и подписал приговор. Они были приговорены к смерти Сталиным еще тогда, когда их только арестовывали. Много людей погибло и в самом Ленинграде, и там, куда выехали из Ленинграда для работы в других местах. Косыгин тоже висел на волоске. Сталин рассылал членам Политбюро показания арестованных.

стованных ленинградцев, в которых много говорилось о Косыгине. Кузнецов состоял с ним в родстве: их жены находились в каких-то кровных связях. Таким образом, уже подбивались клинья и под Косыгина. Он был освобожден от прежних постов и получил назначение на должность одного из министров. Раньше он был близким человеком к Сталину, а тут вдруг все так обернулось и такое получилось сгущение красок в «показаниях» на Косыгина, что я и сейчас не могу объяснить, как он удержался и как Сталин не приказал арестовать его. Косыгина, наверное, даже допрашивали, и он писал объяснения. На него возводились нелепейшие обвинения, всякая чушь. Но Косыгин, как говорится, вытянул счастливый билет, и его минула чаша сия.

Это могло случиться с любым из нас. Все зависело от того, как взглянет на тебя Сталин или что ему покажется в такой момент. Порой говорил: «Что это вы сегодня на меня не смотрите? Что-то у вас глаза бегают». Или еще что-либо в таком роде. И все это произносилось с таким злом! Разумный следователь не ведет себя так даже с заядлым преступником, а тут произносилось за дружеским столом. Сидим мы, едим, а он вдруг награждает такими эпитетами и репликами людей, которые по его же приглашению сидят за его столом и ведут с ним беседу. Тяжелое было время!

ВОКРУГ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ

Приложил руку к этим нехорошим делам и Щербаков. Хочу вспомнить в данной связи один эпизод, когда Щербаков слыл «умелым строителем» Красной Армии, попав в когорту таких строителей неизвестно за что. В период нашего отступления на фронтах войны, особенно в начале 1942 года, печаталось много критических статей, в которых вскрывались недостатки в Красной Армии и критиковались конкретные факты отступления. С очень острыми критическими статьями выступал тогда, в частности, Александр Петрович Довженко, замечательный кинорежиссер и хороший публицист. Он обладал ясным умом и умелым пером. Поэтому его статьи были хлесткие, причем они находили одобрение и похвалу у Сталина. В 1943 году он написал киносценарий «Украина в огне». Очень впечатляющий сценарий. Большинство эпизодов для этого сценария он заимствовал из своих статей. Уже само название «Украина в огне» привлекало внимание. Действительно, вся Украина лежала тогда в огне. Автор не скупился на резкие замечания в адрес Красной Армии, а особенно критиковал тех людей, которые отвечали за ее боевую подготовку, и показывал, что подготовка не соответствовала современным условиям.

Довженко представил сценарий в ЦК КП(б)У. Я с ним ознакомился. Читали также Маленков и другие лица, сейчас уже не помню, кто именно. Довженко хотел его напечатать, чтобы затем создать на его основе кинокартину. Когда однажды Сталин вызвал меня в Москву, то спросил: «Вы читали сценарий Довженко?» — «Да, — говорю, — читал». Правда, я его не прочел, но прослушал. Довженко сам прочитал мне его. Тогда были напряженные для меня минуты (по другому поводу), и я не мог сосредоточить все внимание на тексте. Это произошло в начале наступления немцев на Курской дуге, в июле 1943 года. На три четверти мои мысли были заняты ходом битвы, а Довженко не все прочитал мне и иногда говорил, что вот такое-то место я полностью взял из такой-то своей статьи, а вот это из такой-то. Мне показалось, что вещь острая и отвечающая потребностям времени, вскрывающая наши недостатки.

Итак, Сталин вызвал меня: «Вы знакомы со сценарием?» — «Знаком». Я рассказал Сталину, при каких обстоятельствах смог с ним ознакомиться. Сталин посчитал, что тут просто была с моей стороны отговорка, и начал критиковать текст. Он так разносил Довженко, что я поражался: ведь Сталин раньше очень хорошо относился к этому автору, ценил и поддерживал его, несмотря на то что прежде встречались некоторые люди, которые подозревали Довженко или даже прямо обвиняли его в украинском национализме и прочих грехах. Такие грехи тогда модно было отыскивать, и существующие, и несуществующие, почти в каждом культурном человеке украинской национальности. Внес свою лепту в это и Каганович во время своей деятельности на Украине. Это он заявил, что каждый украинец — потенциальный националист. Вот глупость!

Как-то вечером Сталин пригласил меня к себе. Щербаков тоже приехал к нему. Начался разбор названного сценария. Тут я понял, в чем дело. Маленков молчал, хотя знал сценарий и дал ему свое благословение. По-моему, он даже лично принимал Довженко. Щербаков произнес прокурорскую речь, подстрекая Сталина и разнося произведения Довженко как «крайне националистические», в которых якобы критиковались все советские основы. Сталин сразу озлобился. Не стану говорить о себе. Но понятно, с учетом характера Сталина, что пришлось мне выдержать в том случае. А Сталин не ограничился разбором и предложил мне вызвать ряд украинских руководителей, членов правительства и секретарей ЦК по пропаганде, кроме того, лично Корнейчука, Бажана, Тычину и, кажется, Рыльского. Довженко тоже присутствовал. Сталин разнес Довженко в пух и прах. Кончилось тем, что будущее Довженко как деятеля искусства было буквально подвешено, грозило даже большее. Мне Сталин предложил, чтобы мы на основе этого «обмена мнениями» подготовили резолюцию о неблагоприятном положении на идеологическом фронте Украины.

Мы, украинское руководство, составили резолюцию и через день-два пришли к Сталину. Все сделали сами. Помимо нас, никто не принимал участия в деле из числа членов ЦК ВКП(б). Вручили резолюцию Сталину, а он при широком составе участников рассмотрел этот проект. К моему большому удовлетворению, сказал: «Да, хорошо, вполне приемлемо, принять!» Правда, резолюция была составлена нами в собственный адрес очень самокритично. Но она была хороша уже тем, что мы ее сами составляли, как говорится, сами себя высекли, однако так, чтобы было не очень больно. И такая резолюция была принята. Щербаков чувствовал себя на седьмом небе. Позднее мне долго-долго пришлось кашлять этим произведением Довженко. При всяком удобном

случае Сталина злобно подстрекал Щербаков, напоминая ему о сценарии.

Мне рассказывали, что когда Горький возглавлял Правление Союза писателей СССР, то к нему подсадили Щербакова в качестве секретаря, и тот занимался вопросами идеологии, чтобы вся работа в СП СССР велась Горьким в определенном русле. Однако Максим Горький был не таким человеком, чтобы им руководил Щербаков. Кончилось тем, что Горький потребовал убрать его. Вот лишь одно из свидетельств ядовитого, змеиного характера Щербакова. Я лично впервые узнал его, когда он в 1942 году стал начальником Главного политуправления Красной Армии. Деятельность его сводилась в основном к тому, что он выдирали, правдами и неправдами, сведения о ходе боевых операций на каждый день (у него для этого было создано особое бюро) и, пользуясь тем, что втерся в доверие к Сталину, подавал им раньше, чем Оперативный отдел Генерального штаба. А ведь это в чистом виде функция Оперативного отдела! Так всех работников Оперотдела удалось поставить в зависимое положение от Щербакова. Вскоре начался период наших побед на фронте. Освобождение советских городов, успешное продвижение наших войск — все это преподносил Сталину первым Щербаков и все это он «обеспечивал». Это смешно звучит сейчас, но тогда именно так и обстояло дело. Я Щербакова оцениваю по заслугам, причем с очень плохой стороны. Конечно, главный виновник все-таки Сталин. Он создал обстановку, в которой стало возможно такое.

Довженко же сразу был как будто посажен в холодный колодец. У него упало настроение, к нему изменилось прежнее отношение. Одним словом, он попал в опалу. Сказалось это и на его деятельности. Мне просто жалко было смотреть на него, но я ничего не мог сделать, потому что подвергся еще большей критике, чем Александр Петрович. И такое положение сохранялось почти до самой смерти Сталина. Потом мы опять возвысили Довженко по заслугам и вернули его, насколько это было возможно, к полезной деятельности. Он опять начал создавать кинокартины, а после его смерти по названному сценарию его женой Солнцевой была выпущена очень хорошая картина. Я был искренне доволен, когда смотрел ее. От нее действительно веяло духом Довженко.

Я считал его честным, преданным и прямым человеком. Иной раз он мог высказать вещи, неприятные для руководителей. Но ведь это хорошо, потому что лучше выслушать все от честного человека, чем от врага. Другу можно разъяснить, если он не прав, или учесть его правильное замечание. После смерти Александра Петровича я порекомендовал украинцам: «Назовите Киевскую киностудию именем Довженко, пото-

му что он очень многое сделал для развития кино на Советской Украине, много тут поработал и, безусловно, наиболее достоин того, чтобы его имя красовалось на знамени Киевской киностудии». Так и поступили.

А вот еще один штрих, характерный для Довженко. После того как был арестован Берия, он попросился ко мне на прием и рассказал такую историю: «Я хотел бы, чтобы вы знали о факте, который очень меня занимает. Однажды меня пригласил к себе кинорежиссер Чиаурели, автор фильма «Падение Берлина». Этот режиссер опирался на личную поддержку Сталина и Берии. Не случайно он сделал кинокартину, где Сталин осуществляет основную работу главы Ставки в зале, где стоят пустые стулья. Только Сталин налицо, а с ним Поскребышев, заведующий секретным отделом ЦК партии. Подхалимское произведение искусства!» Скажу от себя, что после смерти Сталина и ареста Берии мы предложили Чиаурели, чтобы он покинул Москву. Он переехал куда-то на периферию и продолжал трудиться. Не знаю, какое место занимает он сегодня в искусстве и насколько правильные выводы сделал из того, на что ему указали.

А Александр Петрович продолжал рассказ: «Он мне и говорит: товарищ Довженко, я бы вам посоветовал зайти к товарищу Берии. Берия очень вами интересуется. Вам будет полезно побывать у него и послушать его». Зачем он мне это рекомендовал? Я не пошел и не был у Берии, потому что никаких вопросов у меня к Министерству внутренних дел не имелось. Зачем я пойду туда?» А я Александру Петровичу сказал: «Он вас посылал для того, чтобы сделать вас агентом Берии. Он правильно считал, что Довженко — влиятельный человек и на Украине, и в искусстве. В тех акциях, которые Берия планировал по Украине, вас сделали бы союзником, чтобы опираться и на вас при проведении кровавых операций. Эти операции могли быть только кровавыми, потому что других методов Берия не признавал».

Щербаков же продолжал свою гнусную деятельность. Не знаю, насколько он органически был подвержен пороку пьянства. Не думаю, что ему самому оно нравилось. Но так как это нравилось Сталину, то он и сам глушил крепкие напитки, и других втягивал в пьянство в угоду Сталину. Помню такой инцидент. Берия, Маленков и Микоян сговорились с девушками, которые приносили вино, чтобы те подавали им бутылки от вина, но наливали бы туда воду и слегка закрашивали ее вином или же соками. Таким образом, в бокалах виднелась жидкость нужного цвета: если белое было вино — то белая жидкость, если красное вино — то красная. А это была просто вода, и они пили ее. Но Щербаков разоблачил их: он налил себе «вина» из какой-то такой бутылки, попробовал и

заорал: «Да они же пьют не вино!» Сталин взбесился, что его обманывают, и устроил большой скандал Берии, Маленкову и Микояну. Мы все возмущались Щербаковым, потому что не хотели пить вино, а если уж пить, то минимально, чтобы отделаться от Сталина, но не спаивать, не убивать себя. Щербаков тоже страдал от этого. Однако этот злостный подхалим не только сам подхалимничал, а и других толкал к тому же. Кончил он печально. Берия тогда правильно говорил, что Щербаков умер потому, что страшно много пил. Опился и помер.

Сталин, правда, говорил другое: что дураком был — стал уже выздоравливать, а потом не послушал предостережения врачей и умер ночью, когда позволил себе излишества с женой. Но мы-то знали, что умер он от того, что чрезмерно пил в угоду Сталину, а не из-за своей жадности к вину. У меня осталось самое неприятное впечатление об этом человеке, недобропорядочном и способном на все, что угодно. Совести он не имел ни малейшей капли. Все мог сделать для того, чтобы поднять собственную персону, и кого угодно готов был утопить в ложке. А Сталина это нравилось. Он любил нас стравливать, и он взращивал и укреплял внутренние подлые задатки Щербакова.

Когда я вновь перешел работать в Москву, для меня, конечно, было большой честью работать непосредственно под руководством Сталина и напрямую общаться с ним. Я сказал бы, что это было полезно и для работы. Ведь от Сталина мы набирались и немало полезного, потому что он являлся крупным политическим деятелем. Особенно получалось хорошо, когда он находился в здравом уме и трезвом состоянии. Тогда он давал окружающим много полезного советами и указаниями. Скажу правду, что я высоко ценил его и крепко уважал. Но страдать приходилось здесь больше, чем на Украине, где я был на отшибе. Почти каждый вечер раздавался мне звонок: «Приезжайте, пообедаем». То были страшные обеды. Возвращались мы домой к утру, а мне ведь нужно на работу выходить. Я старался поспевать к 10 часам, а в обеденный перерыв пытался поспать, потому что всегда висела угроза: не поспишь, а он вызовет, и будешь потом у него дремать. Для того, кто дремал у Сталина за столом, это кончалось плохо.

Просто невероятно, что Сталин порой выделывал. Он в людей бросал помидоры, например во время войны, когда мы сидели в бомбоубежище. Я лично это видел. Когда мы приезжали к нему по военным делам, то после нашего доклада он обязательно приглашал к себе в убежище. Начинался обед, который часто заканчивался швырянием фруктов и овощей, иногда в потолок и стены, то руками, то ложками и вилками. Меня это возмущало: «Как это вождь страны и умный человек может напи-

ваться до такого состояния и позволять себе такое?» Командующие фронтами, нынешние Маршалы Советского Союза, тоже почти все прошли сквозь такое испытание, видели это постыдное зрелище. Такое началось в 1943 году и продолжалось позже, когда Сталин обрел прежнюю форму и уверовал, что мы победим. А раньше он ходил как мокрая курица. Тогда я не помню, чтобы случались какие-то обеды с выпивкой. Он был настолько угнетен, что на него просто жалко было смотреть.

Вот еще один эпизод, характеризующий Сталина. Уже с другой стороны. После войны дела на Украине пошли быстро в гору. Республика восстанавливала сельское хозяйство, промышленность, соответственно улучшалось и отношение Сталина к украинским руководителям, включая меня как Председателя Совета Народных Комиссаров УССР и Первого секретаря ЦК КП(б)У. Однажды разгорелся спор о тракторном заводе. Микоян докладывал касательно дизельного трактора КД-35, который был создан в Белоруссии. Хороший трактор, но дорогой. Микоян хвалил этот трактор. Сталин спросил о моем мнении, и я тоже его похвалил. Правда, я видел, что трактор еще недоработанный и маломощный, зато с дизелем. Сталина тоже подкупало, что трактор дизельный, потому что горячее будет дешевле. И вдруг у него мелькнула мысль (или кто-то подсказал ему), что хорошо бы перевести и другие заводы на производство дизельных тракторов. И он предложил перейти на выпуск таких тракторов прежде всего Харьковскому заводу.

Я пытался доказать, что делать это нельзя. Нарком тракторной промышленности Акопов тоже выступал против и вооружал меня необходимыми цифровыми данными. Но Сталин был неумолим и записал свою идею в решение Политбюро.

Данная идея была, однако, столь непопулярна, что даже все остальные члены Политбюро, в том числе и Берия, что случалось редко, тоже заняли нашу с Акоповым позицию. Разгорелись споры. Спустя какое-то время Сталин, вспомнив, спросил: «Как, перевели Харьковский завод на выпуск КД-35?» — «Нет, — говорю, — не перевели». Он страшно возмутился, устроил большой скандал. Акопову записали выговор за невыполнение решения. Тут Берия, Маленков и Микоян махнули рукой: посчитали, что ничего не сделаешь, раз Сталин хочет этого.

Я же продолжал борьбу. Раз Сталин, отдыхая в Сочи, вызвал меня туда с Украины. Я приехал. Там уже был и Маленков, потом прибыли Берия с Молотовым. Он опять поставил вопрос об этом тракторе и разносил меня, как говорится, в пух и прах. А я ему доказывал: «Товарищ Сталин, не делайте этого, это будет вредно. Посмотрите, КД-35 имеет 35 лошадиных сил, а мы уже сейчас производим на Харьковском заводе

54-сильные трактора. В день выпускаем 100 тракторов. Если начнем переходить на новую модель, то начнем с нуля, потеряем много времени, а ведь нам не хватает тракторов. Будет подорвано сельское хозяйство, снизится производительность труда. Сейчас один тракторист работает на тракторе в 54 силы, а станет работать на тракторе в 35 сил. 54-сильный трактор тянет пятилемешный плуг, а тот потянет в лучшем случае трехлемешный, а то и двухлемешный. В 2 с лишним раза понизится производительность труда при вспашке». Но Сталин был неумолим.

Берия и Маленков шепчут мне: «Не упорствуй. Что ты лезешь на рожон? Ты же видишь, что без толку». Я остался при своем мнении. И вот интересно (что тоже было характерно для Сталина): этот человек при гневной вспышке мог причинить большое зло. Но когда доказываешь свою правоту и если при этом дашь ему здоровые факты, он в конце концов поймет, что человек отстаивает полезное дело, и поддержит. Для меня оказалось неожиданностью то, что произошло, когда Сталин осенью приехал в Москву и я тоже приехал туда из Киева. Собрались мы. Вижу, Сталин пребывает в хорошем настроении. Ходит, как всегда, по своему кабинету. Мы расселись, каждый на обычное место. Вдруг он говорит: «Ну что же, ребята? (В исключительных случаях он пользовался этим словом.) Может, уступим ему, черту?» — и показывает на меня пальцем.

Панибратское обращение свидетельствовало о его хорошем расположении к человеку. «Давайте, — продолжает, — уступим ему по тракторам». А я потом ему говорил: «Товарищ Сталин, вы сделали доброе дело. Мы бы сейчас лишились тысяч тракторов, потому что фактически завод в Харькове прекратил бы их выпуск».

Да, бывали такие случаи, когда настойчиво возражаешь ему, и если он убедится в твоей правоте, то отступит от своей точки зрения и примет точку зрения собеседника. Это, конечно, положительное качество. Но, к сожалению, можно было пересчитать по пальцам случаи, когда так происходило. Чаще случалось так: уж если Сталин сказал, умно ли то или глупо, полезно или вредно, все равно заставит сделать. И делали!

Некоторые сталинисты считают, что это хорошее качество для вождя. Я же полагаю, что это плохое качество. Сейчас, когда я пишу свои воспоминания и стараюсь припомнить наиболее яркие моменты прошлого, то вспоминаю и те, которые вредно сказались на жизни общества. О положительном в жизни СССР я сейчас не говорю потому, что эта сторона дела хорошо описана в нашей печати, может

быть, даже с некоторой шлифовкой, с приукрашиванием. Уже сама по себе история развития нашего Советского государства, победа социализма в СССР говорят о положительных вещах. Если взглянуть на пройденный нами путь за 50 лет, чем мы были и чем стали, то все будет ясно.

Разница же в оценке пройденного пути состоит в том, что некоторые считают буквально, что все победы — заслуга Сталина. Да, есть в них заслуга Сталина, и большая. Но это были успехи народа, основа которым — Ленин, его идеи. Поскольку применяли ленинские идеи, то они и дали положительные результаты, несмотря на сталинские извращения ленинских позиций и ленинских указаний. Марксистско-ленинская теория, как самая прогрессивная, обогатила наш народ, укрепила и вооружила его. Именно на основе этой теории мы добились своих результатов.

Моя же задача мемуариста, как я полагаю, рассказать о негативных сторонах событий. Тут не ошибки, тут злоупотребления. Если бы не было злоупотреблений, допущенных Сталиным, то мы имели бы еще во много раз более высокие достижения. Вот почему на этом я и сосредоточиваю свои воспоминания, с тем чтобы помочь исключить возможность повторения того, что было вредно и для рабочего класса, и для крестьянства, и для советской интеллигенции, для всего трудового народа СССР и для других социалистических стран, потому что Советский Союз как бы внедрил свои ошибки и сталинские злоупотребления во все братские страны.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАЛИНЕ

Часто знакомые, товарищи или случайно встреченные мною люди, заводя беседу, спрашивают, пишу ли я мемуары. Я обычно отвечаю: «Нет». Они выражают сожаление и упрекают меня: мол, такие воспоминания будут очень нужны в будущем, чтобы лучше и глубже разобраться в жизни страны, партии, народа в тот период, когда я жил, работал, многие годы был близок к руководству, а потом входил в это руководство. Раньше, может быть, я этого не понимал и не брался за это дело. Но, видимо, люди все-таки правы, и я кое-что хочу записать дополнительно к рассказанному мною выше. Здесь я поставлю вопрос о Сталине в общей форме.

Многие спрашивают о Сталине как о человеке: и о его привычках, и о его стиле руководства. В головах ряда граждан царит путаница в вопросе о Сталине, потому что о нем говорят и доброе, и дурное. Так было и так будет, вероятно, со многими историческими личностями. Тем более что и в самой жизни у Сталина переплелось и то и другое. Требуется разделение! И вот я хочу высказать свое мнение об общей роли Сталина во второй мировой войне и о значении его руководства страной в тот период, а также ответить на трудный вопрос, что произошло бы, если бы Сталина вовсе не было. Этот вопрос самый тяжелый, и не только потому, что случившееся не переделаешь, но и потому, что не найдется судьи, который определил бы на точных весах, кто прав и кто неправ. Мои выводы основываются на длительном и тесном общении со Сталиным и перед началом войны, и во время войны, и после нее. Я мог наблюдать, как менялись с течением времени поведение Сталина, его оценка различных событий и своих действий, своей роли в войне. Я видел и слышал, как он поступал, что говорил в период поражений и в период побед.

Некоторые люди реагируют в первую очередь на то обстоятельство, что Сталин сделал много злого для партии и для народа, уничтожил много честных людей, даже героических, преданных делу партии, активных участников строительства социализма. А некоторые люди утверждают, что хотя это верно, но все-таки в той большой войне мы одержали побе-

ду главным образом потому, что нами руководил именно Сталин, а если бы не Сталин, то неизвестно, смогли бы мы справиться с врагом и победить его. С последней точкой зрения я никак не могу согласиться, независимо даже от моего взгляда на Сталина, независимо от того, каков Сталин и какую он сыграл роль в организации отпора врагу, в разгроме гитлеровских полчищ. Независимо ни от чего не смогу согласиться с таким истолкованием событий потому, что это — рабская точка зрения.

Только рабам, которые не могут подняться с колен и взглянуть дальше головы господина, обязательно нужен кто-то, кто думал бы за них, все организовывал за них, на кого можно свалить в случае несчастья вину и кому можно приписать при удаче успехи. Это рабская психология. Она не только абсолютно несостоятельна, но и очень опасна. Это вообще не марксистская и не научная, а обывательская философия. Достаточно напомнить, что Сталин умер, а жизнь, борьба не прекратились, продолжают, общество меняется, развивается, не стоит на месте.

Если начнется новая мировая война, то она будет еще более кровопролитной и потребует большего количества жертв, такого, которое трудно даже вообразить, потому что война требует жертв в геометрической прогрессии в соответствии с периодом, когда она ведется, и с вооружением, которым обладают армии. Сейчас вооружение атомное, ракетное. Одни потери имели место, когда люди сходились врукопашную и били один другого дубинками, позднее — копьями и секирами. Когда появились винтовки и пулемет, вообще скорострельное оружие, война потребовала гораздо больших жертв, потому что средства истребления стали более совершенными. Когда появились самолеты и авиабомбы, многие считали, что теперь война стала немислимой, столько она потребует человеческих жизней! Но нет, разразилась очередная война, и в ней погибли десятки миллионов людей. Один Советский Союз потерял свыше 20 миллионов человек.

Если же начнется ракетно-ядерная война, то трудно даже сейчас себе представить, во что она выльется. Это будет не фронтовая война, то есть армии не будут стоять одна против другой. Война будет вестись и в глубоком тылу, на всей территории стран, охваченных ею, потому что сейчас доставка средств истребления уже не ограничена пространством, и можно обстреливать и уничтожить буквально весь земной шар.

Как же нам быть без Сталина? Кто теперь будет думать о нас? Кто станет организовывать армию, страну, промышленность? Ясно, что это — глупые рассуждения. Народ был и остается главной силой. Конечно, роль личностей в истории человечества, включая организацию обороны, велика. Но обожествлять кого бы то ни было нельзя. И не только потому,

что это извращает верную оценку, но и потому, что это размагничивает массы, притупляет их волю к победе, сковывает инициативу. Нет героя, он исчез, и что же, мы погибли? Конечно, это неправильно. Недаром поется: «Добьемся мы освобожденья своею собственной рукой». Если загородиться, как щитом, каким-то героем, а потом, лишившись этого героя, вроде как обречь себя на гибель, то это будет просто вредно.

И все же, какой была роль Сталина, положительной или нет? При всей субъективной направленности его действий она была положительной в том смысле, что он оставался марксистом в основных подходах к истории, был человеком, преданным марксистской идее, все делал, *что* было в его силах, для победы дела рабочего класса, в данном случае — для разгрома гитлеровских орд. Таково было его субъективное желание. Иной вопрос, как он для этого поступал практически. Чем обернулись для страны его реальные поступки, я уже говорил. Тут и истребление командного состава, и истребление ядра большевистской партии. Уничтожены были прежде всего старые большевики ленинского поколения. Это ослабило или усилило нашу страну? Безусловно, ослабило.

После уничтожения того передового ядра людей, которое выковалось в царском подполье под руководством Ленина, развернулось далее повальная истребление руководящих партийных, советских, государственных, научных и военных кадров, а также миллионов рядовых людей, чей образ жизни и чьи мысли Сталину не нравились. Кто их истреблял? Сталин. Почему? Он считал, что это делается во имя идей партии, во имя нового общества. Он не доверял всем этим людям. Некоторые из них, конечно, перестали поддерживать его, когда увидели, куда он тащит. Сталин понял, что есть большая группа лиц, настроенных к нему оппозиционно.

Оппозиционные настроения — это еще не значит антисоветские, антимарксистские, антипартийные настроения. Нет, просто эти люди хотели замены Сталина в руководстве. Но этого хотел еще Ленин. Следовательно, это не антиленинцы, а люди, которые стояли на позициях Ленина, считая, что Сталин по своему характеру не может долее пребывать на прежнем посту и его следует заменить. Коммунисты, которые на XVII съезде партии проголосовали против Сталина, хотели выполнить именно то, что Ленин рекомендовал в своем завещании.

И Сталин уничтожил их. Почему? Потому что он себя считал незаменимым, тем единственным человеком, который действительно является марксистом и имеет право на руководство страной. Добавлялась также его неуемная жажда власти. Но это как раз и есть те черты характера, о которых говорил Ленин в предсмертном завещании: способность злоупот-

реблять самой властью. И Сталин злоупотребил властью во вред Советскому Союзу и коммунистам во всем мире. Он нанес удар по марксистско-ленинским кадрам не только внутри своей страны, но и по братским партиям, по Коминтерну, по всем, кого он подозревал, что они могут сочувствовать несогласным с ним. И они тотчас стали антимарксистами, контрреволюционерами и «врагами народа».

Он выдумал и продвинул в жизнь такое пугало, и оно сыграло свою роль. Враги народа! Вредители! Он запугал и запутал людей, которые беспредельно верили ему, верили, что он делает все на благо партии и народа. Конечно, трудно было разобраться. Ведь раньше действительно существовали и враги революции, и враги трудового народа, и вредители. Но это были не те люди, против которых он направил меч и тем самым ослабил страну, партию и армию, дав возможность врагу нанести огромный урон Советскому Союзу. Если бы Сталин так не поступил, то (я абсолютно убежден) наша армия имела бы достаточно сил и средств, чтобы разгромить врага еще на границе, коль скоро он осмелился бы напасть на нашу страну. О таком исходе усиленно шла болтовня во времена наркома Ворошилова и «ворошиловских стрелков»: «Ни пяди земли врагу! Ни шагу назад! Если война будет навязана, то она будет вестись на территории противника!» А что потом получилось, все знают.

Конечно, Сталин хотел победы. Но когда он увидел результаты своего «труда» по уничтожению кадров, увидел, что армия обескровлена и ослаблена, а люди, которые пришли к ее руководству, недостаточно опытные, недостаточно подготовлены и не умеют командовать; и даже ранее того, когда он увидел, что наша армия получила достойный отпор от маленькой Финляндии, что ее замечательный, героический народ мужественно защищал свою страну и нанес нам большой урон; когда Сталин все это увидел, у него появился какой-то физический, животный страх перед Гитлером. И он все делал, чтобы ублажить Гитлера. Но у Гитлера имелись свои планы. Гитлер поставил целью жизни уничтожить большевизм. И поэтому умаслить его, уговорить отказаться от войны было невозможно. Тут воля Сталина была парализована волей врага.

Я часто вспоминаю рассказ Берии о поведении Сталина 22 июня 1941 года, когда ему доложили о начале войны. Сначала он не хотел в это поверить и цеплялся за надежду, что это провокация, приказывал даже не открывать огня, надеялся на чудо, пытался спрятаться за собственные иллюзии. Затем военные доказали ему, что прятаться поздно, и ему пришлось поверить, что действительно началась война с Германией. Ему стали докладывать о победоносном продвижении гитлеровских войск. Тут-то открыто проявилось то, что он скрывал от всех, его панический

страх перед Гитлером. Сталин выглядел старым, пришибленным, растерянным. Членам Политбюро, собравшимся у него в кабинете, он сказал: «Все, чего добился Ленин и что он нам оставил, мы про... Все погибло». И, ничего не добавив, вышел из кабинета, уехал к себе на дачу, а потом некоторое время никого не принимал.

Берия рассказывал, что все остались в растерянности. Но потом решили наметить некоторые практические мероприятия. Ведь шла война, надо было действовать. Обсудив дела, они решили сами поехать к Сталину. Сейчас не помню, кто туда поехал кроме Берии, но он был не один. Сталин принял их, и они начали убеждать его, что еще не все потеряно, что у нас большая страна, мы можем собраться с силами и дать отпор врагу, убеждали его вернуться к руководству и возглавить оборону страны. Сталин согласился, вернулся в Кремль и опять приступил к работе, потом выступил по радио. Это было его знаменитое выступление 3 июля 1941 года. Но еще долгое время он не подписывал сам никаких директив. На всех верховных документах стояла подпись: «Ставка». А он начал подписываться как Верховный Главнокомандующий только тогда, когда наши войска стали оказывать серьезное сопротивление фашистам. Вот рассказ Берии о состоянии Сталина в начале войны.

Конечно, с таким настроением трудно было решительно предпринять что-либо, чтобы сдержать агрессивность Гитлера. Если бы Сталин умер к началу второй мировой войны, то есть в 1939 году, то и Великая Отечественная война могла пойти по другому руслу. Страна лучше подготовилась бы к ней. А так он все взял на себя и ошибся. Трудно даже приблизительно оценить то зло, которое он принес стране. Он подчистую уничтожал все, что, как он считал, ему сопротивлялось. Смотрел, бывало, на близкого человека и говорил ему: «Что это у вас глаза бегают?» Имелись случаи, когда после этого люди кончали свою жизнь. Все зависело от его настроения. Не существовало никакого суда, никакого следствия, никакого настоящего разбирательства. С людьми расправлялись подготовленные им опричники, которые бросались на любого, достаточно было Сталину шевельнуть в ту сторону мизинцем. И он так привык к этому, что после войны говорил, когда решил расправиться с Тито: «Пальцем пошевелю, и не будет Тито». С Тито у него не вышло. Но внутри страны он загубил, уничтожил миллионы людей.

Так что, если все суммировать и подвести итоги, убежден: если бы Сталина не было, то война развивалась бы для нас удачнее. Ведь в истории много было войн. Наполеон тоже напал на Россию, подготовив огромную армию, и тоже напал вероломно. Не раз случались войны, начинавшиеся вероломным нападением. В 1812 году Александр I (нужно от-

дать ему должное), сам ли он пришел к разумному решению или ему посоветовали, оставил фронт и уехал в Петербург, назначив позднее командовать Кутузова. Кутузов был уже старик, который засыпал на заседаниях Военного совета. Но ему верил народ, и он знал общую верную линию. Народ все сделал для того, чтобы изгнать французов, и добился этого под руководством Кутузова. К счастью для страны и для Кутузова как главнокомандующего, тогда средства связи были слишком ограничены, и Александр I, приехав в Петербург, был физически лишен возможности вмешиваться непосредственно в дела командования. Но в наше время Сталин, находясь в Москве, имел возможность напрямую вмешиваться во все, и подчас его вмешательство стоило многих жизней на фронте. А в конце концов мы под руководством Сталина одержали победу, но с чересчур большими жертвами, невероятными потерями. Без Сталина враг явно был бы разгромлен с меньшими потерями.

Если случится воевать в будущем, то при правильном использовании ресурсов страны, при правильной организации работы по подготовке к войне и новой войне окажется для нас победной. Возможно также, что наша мощь заранее поможет избежать войны. Каждая страна имеет разведку и информирована более или менее о вооружении и общем состоянии своего противника. Перспектива столкновения с хорошо подготовленной армией охлаждает любые горячие головы. Я не могу сказать, что можно исключить войну вообще. Это вопрос классовый. Пока существуют классы, существует и возможность войны. Поэтому готовиться к войне нужно. Но если партия правильно понимает свою задачу, связана с массами, умеет организовать массы, промышленность и сельское хозяйство, то она может и должна добиться того, чтобы любая война была губительной для той стороны, которая нападет на Советский Союз.

Тут я еще раз повторяю, что нам неприемлема рабская психология: вот родился Сталин, и мы вручаем ему свою судьбу. Тогда получается, что если он умер и страна обезглавлена, то она лишилась какого-то корня, на котором все держалось. Это глупо! Был Маркс, и был Ленин, а он не ровня Сталину. То был действительно вождь, который предвидел все на много лет вперед. Он, вместе с Плехановым заложив основы партии, организовал борьбу рабочего класса в России. Да, так и получилось, как он гениально все предопределил. А жил он совсем мало, но успел провести страну через гражданскую войну, во время которой выросли герои. Это были люди энтузиазма, они жили идеями Ленина, сами порой не разбираясь глубоко в сути дела. Но они хотели победы народа и верили, что Ленин стоит за народ, против буржуев и помещиков. И народ под руководством Ленина одержал победу над врагами революции.

Потом Ленин определил дальнейшее развитие нашей страны, ее промышленности и культуры. К сожалению, он очень рано умер. Народ его оплакивал, но страна-то выжила и двигалась вперед. Мы перестроили хозяйство, образование, культуру, добились многого. Если бы Сталин не нанес вреда СССР, когда начал истреблять кадры, наше продвижение вперед было бы еще успешнее. Начало такой войне с народом было положено в 1934 году, когда был убит Киров. Он был убит, я в этом убежден, по заданию Сталина, для того чтобы встряхнуть народ, запугать его: вот, дескать, враг протянул свои щупальцы и убил Кирова, теперь угрожает всему руководству страны и партии.

Народ поверил во «врагов» и поддерживал тирана, который по собственному выбору, как в стаде баранов, выбирал и резал людей, кого — открыто, а кто просто исчезал без следа. Разве это действия настоящего марксиста? Это поступки деспота или больного человека. Получилось, что во имя революции, во имя народа он истреблял цвет народного руководства и партии, и даже сами народные массы. Подобным действиям не может быть оправдания. Произошло страшное дело, а сейчас некоторые доказывают, что только такой человек привел нас к победе, а если бы его не было, то мы могли бы погибнуть. Нет, нет и нет! Я не согласен, это рабское понимание вещей противоречит марксистско-ленинскому учению. И очень жаль, что некоторые наши крупные политические, научные и военные деятели впадают в такую ошибку.

С другой стороны, Сталин оставался в принципе (а не в конкретных поступках) марксистом. И, если исключить его болезненную подозрительность, жестокость и вероломство, оценивал ситуацию правильно и трезво. Он сам не раз в моем присутствии клеймил раболепство, говорил: «Философия противопоставления героических личностей толпе — это эсеровская философия. Люди, которые стоят на таких позициях, — не марксисты. А мы верим в массы, в народ, который сам всегда выделяет в нужное время своих вождей». Только слова у него расходились с делами. Поэтому, говоря о ходе истории, надо придерживаться фактов, сопоставлять их, ничего не замалчивая, и тогда роль каждой личности на том или ином этапе будет ясна. Я хочу придерживаться именно этого принципа, хотя подчас это трудно, потому что восприятие событий каждым человеком поневоле субъективно.

Когда умер Сталин и мы остались без него, мы вначале оплакивали свое положение, находясь в состоянии психологического шока. Не все знали, что нам делать, как у нас все пойдет без Сталина. Зато ликовал Берия. Большинство в составе руководства оценивало его как зловещую фигуру. Все знали о его скверном влиянии на Сталина. И все же не Берия

выдумал Сталина, а Сталин выдумал Берию. До Берии был в НКВД Ягода. Из него Сталин сделал преступника, руками его людей убив Кирова. После Ягоды был Ежов, Сталин сделал и из него убийцу. После Ежова пришел Берия и потом вместе с ним Абакумов, человек несколько не лучше Берии, только глупее. Берия же был из них всех наиболее опасен, потому что он был умен и обладал большими способностями организатора. Однако тут я заговорил уже о послевоенных делах.

Возвращаясь к предвоенному времени, вновь напомним, что мы начали войну при недостатке вооружения и с неотмобилизованной, не полностью подготовленной армией, хотя именно Сталин лучше всех знал, что война неизбежна. Но он был парализован Гитлером, как кролик — удавом, боялся всякого внешне заметного решительного шага по укреплению границы, считая, что Гитлер может это расценить как нашу подготовку к нападению на него. Он так и сказал нам, когда мы с Кирпоносом предложили мобилизовать колхозников для рытья вдоль границы противотанковых рвов и прочих укреплений. Сталин заявил, что это будет провокацией, это делать нельзя. Значит, хотя Сталин был убежден, что Гитлер нападет на нас, он понадеялся, что ему, может быть, удастся отвести удар от страны. Чем это кончилось, всем известно. И удар не отвел, и страну подставил.

Точка зрения, что только личность Сталина вывела страну из кризиса, созданного войной, и что армия победила в результате гениального руководства Сталина, полностью несостоятельна. Армия победила бы и без Сталина, и даже с меньшими потерями. Ведь наша армия боролась за свою землю, за свой народ, за свою жизнь, за свое будущее, а вовсе не за Сталина. Лозунг «За Сталина!» — это результат неправильного восприятия вещей, настойчиво продвигавшийся в жизнь по политическим соображениям.

Сталин сам преувеличивал свою роль и воспитывал людей в подхалимском духе, осуждая при этом в узком кругу идею возвеличивания своей личности. Хотя тут же не особенно мешал Кагановичу, который за сталинским столом всегда твердил: «Вот Сталин! Сталин то, Сталин это, без Сталина мы ничто». Тут обычно Сталин поднимал голос и говорил, что это эсеровская точка зрения, и сам же побуждал Кагановича на еще большую «активность».

Я искренне сожалею о тех, кто по своему недопониманию верит, что без Сталина мы не добились бы никаких хороших результатов. Такая незрелость общественного сознания может в будущем привести к вредным рецидивам. Никто не должен рассчитывать, что народ все забывает, когда думает о руководителях в прошлом. Много было написано разного

о Чингисхане. Мао Цзэдун, например, называл его героем. Много написано положительного о Наполеоне, несмотря на то что он загубил сотни тысяч людей. Все они — государственные убийцы. Они организовывали на войну народ, организовывали свои армии и вели их на смерть ради своих интересов. Это не те убийцы, которые ночью с кинжалом и револьвером убьют одного-двух людей, чтобы ограбить их. Нет, такие люди грабили целые народы, наносили вред всему человечеству. Надо вести верную воспитательную работу в осуждение этого, правильно ориентировать молодежь, воспитывать народ в духе правильного понимания роли личностей в истории, их ответственности перед историей и славить не убийц и тиранов, а созидателей в условиях мирной жизни.

Хочу теперь рассказать о тех людях, которые жили идеями марксизма-ленинизма и отдавали все свои силы для утверждения этих идей. Как могло случиться, что наши лучшие люди, которые прошли вместе с Лениным великий путь от создания партии большевиков до свершения Октябрьской революции, погибли как «враги народа», как враги партии, как враги идей социализма и коммунизма? Неужели Ленин не смог разобраться, когда подбирал этих людей и работал с ними? Неужели это была ошибка Ленина? Конечно, и великие люди могут ошибаться. Был у нас в партии провокатор от охраны Роман Малиновский, человек, который тоже пользовался доверием Ленина. Существовали и другие провокаторы. Но их подсылали жандармы. Люди же, о которых я говорю, прошли путь настоящей борьбы вместе с Лениным и показали себя и до и после революции преданными делу Коммунистической партии. И именно они были замучены, погибли, были уничтожены без суда и следствия в сталинское время. Некоторых из них вроде бы судили, но это был шемакин суд, который все делал так, как ему было приказано. Это был суд, творивший расправу в угоду одной личности.

Постараюсь объективно осветить этот сложный вопрос, рассказав, как я понимал происходящее и что мне стало известно уже после смерти Сталина. После XX съезда КПСС была создана комиссия, которая специально занималась изучением этого вопроса. О результатах расследования она докладывала мне как Первому секретарю ЦК партии. Что же выяснилось? Почему Сталин, который тоже был близок к Ленину и тоже вместе с Лениным и под руководством Ленина занимался подготовкой торжества марксистско-ленинских идей, оказался таким несостоятельным в своих поступках? Как связать одно с другим? Может быть, Сталин переродился и вообще выступил против идей социализма, а потому и губил его сторонников? Вовсе нет. Сталин оставался в принципе верен идеям социализма. Но по своему характеру он был диктатором,

был человеком, который не слушал и не хотел слушать никого, кроме самого себя. Тут — особенность его личности. Если такая особенность присуща маленькому человеку, страдают семья и соседи. Если же она свойственна лицу, занимающему высокое положение, страдают массы.

Люди хотели мыслить, обсуждать, советоваться. Это нормально. Но если оказывалось, что их рассуждения не совпадали с пониманием дела Сталиным, то начиналась естественная борьба идей. При обычном состоянии общественных отношений идет спор. Но в результате особенностей характера Сталина такие люди становились личными врагами Сталина, а своих врагов он называл врагами социализма. Врагов же надо уничтожать. И он их уничтожал. Некоторые люди говорят: «Ведь Сталин выступал за революцию, за коммунизм, как же он мог такое проделывать?» Другие сомневаются, что злоупотребления были санкционированы Сталиным. Дескать, в них виновны Ягода, Ежов, Берия, Абакумов и их присные.

Подобные рассуждения несостоятельны, потому что ни Ежов, ни Берия не толкали сами Сталина на такой путь. Не они подбирали себе шефа, а шеф подбирал подручных по своему вкусу. Если бы Сталину не были угодны Ежов или Берия, он легко мог их заменить, это для него не составляло никаких затруднений. Сталину же нужны были и Ягода, и Ежов, и Берия, и Абакумов, чтобы спрятать концы в воду; он выдвинул Ежова и уничтожил Ягodu, выдвинул Берия и его руками уничтожил Ежова. Тем самым он считал, что теперь все его личное участие в том, что творили эти Малюты Скуратовы, навсегда спрятано. Сначала все было свалено на «ежовщину». Потом настала «бериевщина», потому что Берия продолжал то же дело и с такой же свирепостью, как Ежов. Берия Сталин убрать не успел — сам помер.

С чего же все началось? Почему Сталин вообще встал на этот путь? Ведь в первые годы после смерти Ленина Сталин пользовался в своей борьбе еще партийными методами. Да, шла борьба, существовала оппозиция, проводились дискуссии, велись диспуты. Они проходили жестко, но укладывались в нормы партийной жизни. Членам партии давалась возможность разобраться в разных точках зрения, выслушать ту и другую сторону, того или другого вождя, и каждый член партии мог определить свое отношение к ним. В этих спорах побеждал Сталин, и партия его поддерживала. Конечно, люди, которые терпели поражение, озлоблялись и были недовольны Сталиным.

И вот мы дожили до созыва XVII партийного съезда. Я помню его. Я участвовал во всех партийных конференциях и партийных съездах, начиная с XIV партконференции (за исключением XVI съезда, на котором я

не присутствовал как делегат, ибо учился в Промышленной академии, но присутствовал на его заседаниях). Перед XVII съездом развернулась дискуссия, в ходе которой, как всегда, внутри партии обсуждались тезисы отчетного доклада, чтобы подготовить членов партии к правильному пониманию решений, которые должны быть приняты на съезде. Тот съезд был особым съездом в том смысле, что к 1934 году уже не было никаких оппозиционных течений в партии. Вопросы индустриализации и коллективизации сельского хозяйства уже были не темой дискуссии, а основой практической деятельности партии и народа. Поэтому сам съезд протекал очень хорошо.

Когда выдвигались кандидаты в члены ЦК, моя кандидатура тоже была предложена. Я переживал особое чувство, когда шло голосование, и я тоже наряду с другими получил бюллетень выборщика. Помню, как Каганович сказал мне, что следует проголосовать против некоторых кандидатов, выставленных в состав ЦК. Он объяснил это тем, что какие-то делегаты могут проголосовать против Сталина, поэтому надо, чтобы не получилось, будто другие люди соберут больше голосов, чем Сталин. Чтобы всех в какой-то степени уравнивать, надо проголосовать и против них. Мне трудно сказать, поручил ли Сталин такое Кагановичу, или же Каганович действовал по собственному разумению.

Когда я получше узнал Кагановича, то потом думал, что тот мог сделать это и из собственных интересов: если другие не получают больше голосов, чем Сталин, это во всех отношениях полезно Кагановичу, так как они не получают больше голосов, чем сам Каганович. Были розданы бюллетени, все разошлись по уголкам зала, просматривали списки и вычеркивали кого хотели. Но некоторые шли прямо к урнам для голосования и сразу опускали бюллетени. Я видел, Сталин демонстративно подошел к урне и с ходу опустил туда бюллетень. Он на него даже не посмотрел. Удивительного тут ничего нет, потому что списки еще раньше были не только просмотрены Сталиным, но и одобрены им. Зачем ему тратить время и еще раз просматривать их? Ведь имелись люди, которые следили за тем, чтобы, кроме намеченных, никто не попал в списки.

Кончился перерыв. Счетная комиссия завершила свое дело. Собралось заседание, чтобы заслушать ее отчет о результатах выборов. Это была торжественная и напряженная минута. Я даже не знаю, чего там было больше: торжественности или волнения, особенно для тех, кто был выдвинут в состав руководящих органов. Может быть, я передаю лишь собственное настроение, но думаю, что другие тоже волновались. Председатель счетной комиссии попросил убрать карандаши и блокноты и ничего не записывать, а только слушать. Он объявил, что на съезде присутствует столько-то делега-

тов и что столько-то из них приняло участие в голосовании. После этого начал перечислять по алфавиту, кто и сколько получил голосов «за». Дошли до Сталина. Я прикинул: он недополучил шесть голосов. Подошла очередь моей фамилии. Объявили. Вышло, что я тоже недополучил шесть голосов. То есть шесть делегатов вычеркнули мою фамилию. Я шутил сам с собой: тебе дали шесть и Сталину — тоже шесть червяков (как говорили тогда).

Я впервые выдвигался в состав ЦК. По возрасту и по партийному положению я даже не претендовал на это. Такое выдвижение казалось мне слишком высоким. И я был очень доволен, что избран в состав ЦК, а шесть контрголосов меня нисколько не беспокоили, тем более на фоне того, что Сталин тоже получил шесть «против». Я возмущался лишь тем, что кто-то голосовал против Сталина. Вот как проходили те выборы. А почему я подробно на них остановился, станет яснее из дальнейшего.

Кончился съезд. Все разъехались по местам и принялись за работу. Работали мы тогда с огромным энтузиазмом. Каждый (я сужу по себе) жил не личной жизнью, а жизнью партии, интересами народа. На деньги мы не обращали внимания. Мы смотрели на это так: лишь бы не подохнуть с голоду. Все остальное было подчинено интересам дела, а себе мы отказывали в самом необходимом. Сейчас это для некоторых бюрократов, наверное, звучит странно. Но это правда. Когда до революции я работал слесарем и зарабатывал свои 40—45 рублей в месяц, то был материально лучше обеспечен, чем когда работал секретарем Московского областного и городского комитетов партии. Я не жалею, а просто иллюстрирую, как мы тогда жили. Мы жили для дела революции, ради будущего коммунизма, все и вся было у нас подчинено этому. Нам было трудно. Но мы помнили, что первыми в мире строим социализм и поэтому должны затянуть ремешки потуже, с тем чтобы выделить больше средств на индустриализацию страны. Иначе главная идея революции погибнет и враги нас задушат. Какое же это было прекрасное время! Никакие материальные трудности не шли ни в какое сравнение с великой идеей, которой мы честно служили!

Мне было особенно приятно работать в условиях Москвы, большого столичного города. С городским хозяйством я раньше не соприкасался. Для меня было столько нового и столько интересного и в хозяйстве, и в людях, с которыми приходилось общаться, обсуждать и решать различные вопросы жизни и перестройки города Москвы. Это была увлекательная работа, и я отдавался ей целиком. Домой приходил ночевать довольно поздно, а уходил очень рано. Но в те дни, о которых я рассказываю, обычное их течение было внезапно нарушено в начале декабря 1934 года, когда раздался телефонный звонок и я услышал голос Кагановича: «Немедленно приезжайте в Кремль и заходите в приемную Сталина». Там мне сообщили, что убит Киров. Его убийцами были

названы троцкисты, завербованные иностранной разведкой. Нам было ясно, что Кирова убили враги революции, враги Советского Союза. Поэтому прозвучавший из уст Сталина призыв к бдительности был для нас естественным.

Новые репрессии развернулись спустя несколько лет. Сталин всех людей, с ним не согласных, назвал «врагами народа», которые-де хотели вернуть старые порядки, в чем «враги народа» сомкнулись с международной реакцией. После чего погибли несколько сот тысяч честных людей. Тогда каждый жил в страхе. Каждый ожидал, что вот-вот к нему постучат ночью, и этот стук окажется роковым! Не случайно Гамарник, когда к нему постучались ночью, застрелился. Потом его самоубийство послужило для Сталина основанием утверждать, что это был не разоблаченный враг, который понял, что до него добрались, и, не желая отдаться в руки правосудия, застрелился. А если бы он отдался? Его бы все равно пристрелили. Гамарник был умный человек, понимал, *что* его ждет. Его реабилитировали после XX съезда партии, как и многих других.

Но перед тем, как на XX съезде был поставлен вопрос о реабилитации невинных и о культе личности Сталина, в Президиуме ЦК прошла большая борьба. Категорически против постановки такого вопроса были Молотов, Ворошилов и Каганович. Это меня не удивляло, потому что эти люди, особенно Молотов и Ворошилов, вместе со Сталиным отвечали за все беззакония. Я убежден, что Сталин советовался с ними, и они вместе принимали решения. Безусловно, не по всем кандидатурам, обреченным на уничтожение, у них имелось единое мнение. Но они были едины в направленности самого мероприятия — варварского уничтожения членов партии. Они же были авторами лозунгов о пресловутой борьбе с «врагами народа».

Когда мы создали комиссию, которая стала подробно изучать документы, связанные с репрессиями, обнаружилась среди прочих записка Ежова Молотову. В ней перечислялись фамилии жен ряда врагов народа, предлагалось выслать их из Москвы. Молотов наложил резолюцию: «Расстрелять». И они были расстреляны. Это же ужасная вещь: даже НКВД пишет, что их надо только выслать, следовательно, за ними нет никакого преступления. Этот документ, как и ряд иных, подтверждал, что Молотов наравне со Сталиным полностью отвечал за произвол, за допущенные убийства. Так уничтожались неугодные Сталину люди, честные члены партии, безупречные труженики, прошедшие школу революционной борьбы под руководством Ленина. И это все надо теперь простить и забыть? Никогда!

ЕЩЕ РАЗ О БЕРИИ

Раньше я уже неоднократно говорил о Берии, но преимущественно в связи с какими-то не полностью касавшимися его событиями или в связи с другими людьми. А сейчас хочу рассказать специально о Берии, его роли и влиянии на жизнь советского общества. В процессе нашего знакомства и частых встреч с ним постепенно выявлялась и становилась для меня более понятной и его политическая физиономия. В первое время нашего знакомства он производил на меня очень хорошее впечатление. Мы с ним на Пленумах ЦК всегда сидели рядом, обменивались мнениями, иной раз шутили, как бывает между людьми, которые имеют хорошие отношения.

А потом началось! Но тоже не сразу. Когда Сталин высказал мысль, что надо заменить наркома внутренних дел Ягodu, поскольку тот не справляется, он назвал взамен Ежова. Ежов был начальником по линии кадров в ЦК партии. Я его хорошо знал. С 1929 года, когда я поступил учиться в Промышленную академию, и особенно после того, как меня избрали там секретарем партийной организации, Ежов стал в какой-то степени моим руководителем, потому что Промышленная академия находилась в ведомстве Отдела кадров ЦК и подчинялась напрямую ЦК через Ежова. Ему я как парторг и докладывал о положении дел в Промышленной академии. Если проходили мобилизации слушателей академии для посылки на места, сбора материалов или проведения какой-нибудь политической кампании, то это делалось ЦК тоже напрямую через меня, и никто (имеются в виду ведомство по делам высшей школы или Московский партийный комитет) не обладал правом распоряжаться у нас, брать людей для проведения той или иной политической кампании и прочее. Все делалось только с разрешения ЦК. Так создались условия, когда я более или менее часто стал встречаться с Ежовым. Он производил на меня хорошее впечатление, был внимательным человеком. Я знал, что Ежов — питерский рабочий и с 1917 года являлся членом партии. Это считалось высокой маркой — питерский рабочий!

Когда Ежов был выдвинут в НКВД, я еще не знал глубоких мотивов

этой акции и внутренней аргументации Сталина. Я-то лично неплохо относился к Ягоде и не видел, не чувствовал прежде какой-то антипартийности в его действиях. Но был назначен Ежов, и репрессии еще больше усилились. Началось буквальное избиение и военных, и гражданских, и партийных, и хозяйственных работников. Наркомат тяжелой промышленности возглавлял Орджоникидзе, Наркомат путей сообщения — Каганович. Там тоже шли повальные аресты людей. Между прочим, Ежов был в дружеских отношениях с Маленковым и вместе с ним работал. Так что последний не стоял в стороне от «ежовщины».

Начало 1938 года... Сталин вызвал меня и предложил поработать на Украине: сказал, что Косиор там не справляется. Я к Косиору относился с большим уважением. Знал его, когда еще впервые работал на Украине, он стал генеральным секретарем ЦК КП(б)У после Кагановича, в 1928 году. Каганович ушел в ЦК ВКП(б), а Косиор пришел на его место. Когда в 1929 году я подал заявление с просьбой откомандировать меня на учебу в Промышленную академию, то меня принимал по этому вопросу уже Косиор. А когда Сталин сказал мне, чтобы я заменил Косиора, на меня это действовало плохо. Я высоко ценил Косиора и считал, что мне заменить его никак невозможно, что я еще не дорос до такого уровня. Да и национальный вопрос тоже играл роль. Я, конечно, работал раньше на Украине и даже в Киеве. Правда, правительство УССР находилось еще в Харькове. Но все равно, как русский человек, я испытывал некоторую неловкость. Ко мне по-доброму относились украинцы — и коммунисты, и беспартийные, однако я постоянно чувствовал тот свой недостаток, что не мог выступать на украинском языке. И я ответил Сталину: «Вряд ли целесообразно посылать туда русского человека». Однако Сталин доказывал, что русский ничем не хуже поляка. Есть же на Украине поляк Косиор, почему должен быть хуже русский?

Я очень волновался, что не справлюсь. Но не отрицаю, это предложение льстило мне: такой высокий пост мне доверяет Центральный Комитет партии! И я поехал. Косиор сдал мне дела, я принял. Он уехал и был назначен к Молотову заместителем Председателя Совнаркома СССР. Прошло какое-то время, и в конце 1938 или в начале 1939 года вдруг возник вопрос о назначении меня тоже заместителем у Молотова. Сначала мне об этом позвонил Молотов, а потом сказал и Сталин, когда я приехал в Москву: «Вот, Молотов настаивает, чтобы взять вас к нему заместителем. Видимо, надо уступить Молотову. Как вы смотрите?» Я попросил не делать этого: только что прижился в Киеве, украинцы меня вроде бы признали, отношения сложились хорошие. Самый главный довод состоял в том, что мы идем к войне, а я более или менее знал Украи-

ну, если сейчас туда придет новый человек, ему будет сложнее все организовывать, коль скоро разразится война. Поэтому мой уход вряд ли будет в интересах дела; а в Москву легче подобрать другого человека. Сталин согласился на заседании Политбюро: «Давайте прекратим этот разговор, пускай Хрушев остается на Украине».

В 1938 году Сталин поднял вопрос, что надо было бы «подкрепить» Ежова, дав ему первого заместителя, и спросил его об этом. Тот ответил: «Было бы хорошо». — «Кого вы думаете?» — «Я бы просил дать мне первым заместителем Маленкова». Такой разговор возникал несколько раз, но вопрос не решался. Наконец Сталин сказал Ежову: «Нет, Маленкова вам не стоит брать, потому что он сейчас заведует кадрами ЦК и тут нужнее». Когда Маленков возглавил кадры ЦК, Ежов сохранил шефство над ним. Таким образом, кадры оставались в то время фактически под контролем Ежова. Это было время, когда партия начинала утрачивать прежнее лицо и стала подчиняться Наркомату внутренних дел. Рубежом явилась середина 30-х годов.

Проводил я Московскую партийную конференцию в 1937 году. Все кандидатуры, которые выдвигались в члены Московских городского и областного комитетов, заранее просматривались и «освящались» Наркоматом внутренних дел. Не ЦК, тем более не члены партии решали, а именно НКВД! Это он высказывал последнее слово о достоинствах того или другого избранника, о его возможности работать в руководящем партийном органе. Честно говоря, мы тогда считали, что это помогает партийным органам лучше изучать кадры и разоблачать врагов, которые проникли даже в состав руководства. Так нас тогда уже воспитали!

Вот один из случаев. В какой-то военной академии был комиссаром коммунист с заметной бородой, человек лет 40. С точки зрения Московского партийного комитета он был вполне на своем месте. И его прекрасно приняла конференция, когда обсуждался вопрос о внесении его кандидатуры в список для голосования. Но вдруг перед самым голосованием позвонил мне Ежов и говорит: «Надо все сделать, чтобы провалить этого человека. Он не заслуживает доверия, он связан с врагами народа и будет вскоре арестован». Мы так и поступили, как нам рекомендовали. Но произошла такая ломка психики и так скверно повлияло это на делегатов конференции! Выбирали, аплодировали (а он прошел буквально под бурю аплодисментов), и тут же нам надо было этим людям потом доказывать, чтобы они не голосовали за него. Его провалили. Он смутился: в чем дело? На следующую ночь он был арестован, вопрос для всех прояснился.

Другой случай. Емельян Ярославский — старый большевик, уважае-

мый в партии человек. Его кандидатура выдвигалась там же в состав Московского обкома ВКП(б). В те времена в состав Московских комитетов избиралось много членов Политбюро и других партийных руководителей. Само собою, Сталин и другие тоже туда попадали, но не все. Выдвинули и Ярославского, а он был тогда секретарем партийной коллегии в Комиссии партийного контроля и считался лицом, безупречным в партийном отношении. Вдруг звонит мне Ежов не то Маленков и говорит, что надо Ярославского провалить. Это было чрезвычайно тяжело для меня лично, однако я должен был выполнить задание и стал говорить секретарям партячеек, чтобы они провели по делегациям соответствующую агитацию, но так, чтобы это не стало достоянием самого Ярославского, который был уже внесен в избирательный список. Когда потом подсчитали голоса, то оказалось, что Емельян все-таки был избран, вопреки нашей деятельности, кажется, лишь одним «лишним» голосом. Помню, как после той конференции Землячка, к которой я тоже питал исключительное уважение, послала письмо в ЦК, где обвиняла меня как секретаря Московского горкома ВКП(б) в том, что на конференции велась агитация против Ярославского. Я-то не мог объяснить ей сразу, что выполнял волю ЦК. Она поняла это позднее. Конечно, ее заявление осталось без последствий.

Вот какая уже складывалась обстановка. Органы НКВД имели решающее слово при любых выдвиганиях или передвижках партийных, государственных и хозяйственных кадров, и они всегда согласовывались с НКВД. Конечно, это позорнейшее явление, утрата руководящей роли партии! Что до Ежова, то Сталин в конце концов предложил назначить к нему первым заместителем Берия. К той поре на демонстрации обычно все выходили с плакатами, где была нарисована колючая рукавица. Такой обычай сложился после того, как Сталин сказал: «Ежов — это ежовая рукавица, это ежевика», — и хорошо отозвался о деятельности Ежова. Но в том, что Сталин назвал Берия, проявился тот факт, что намечалась уже замена Ежова. Ежов-то все правильно понял. Понял, что приходит конец его деятельности и его звезда закатывается. А может быть, он, сам действовавший в той же манере, почувствовал, что кончается и его существование? Однако он сказал: «Конечно, товарищ Берия достойный человек, тут нет вопроса. Он может быть не только заместителем, но и наркомом». Сталин возразил: «Наркомом, я считаю, он не может быть, а заместителем у вас будет хорошим». И тут же Берия утвердили заместителем Ежова.

Так как у меня были хорошие отношения с Берией, я подошел к нему после заседания и полусерьезно-полушутя поздравил его. Он ответил: «Я не принимаю твоих поздравлений». — «Почему?» — «Ты же не согла-

сился, когда шел вопрос о тебе и тебя прочили заместителем к Молотову. Так почему же я должен радоваться, что меня назначили заместителем к Ежову? Мне лучше было бы остаться в Грузии». Не знаю, насколько искренне он это говорил. А когда Берия перешел в НКВД, то первое время он не раз адресовался ко мне: «Что такое? Арестовываем всех людей подряд, уже многих видных деятелей пересажали, скоро сажать будет некого, надо кончать с этим».

Появилось решение о «перегибах». Оно приписывалось влиянию Берии. В народе считали, что Берия пришел в НКВД, разобрался, доложил Сталину и Сталин послушал его. Соответствующий Пленум ЦК ВКП(б) был резко критичным. Каждый выступающий кого-то критиковал. Среди других помню выступление Маленкова. Он тогда критиковал одного из секретарей Средазбюро партии (тот потом был арестован). Критика была нацелена против самовосхваления. Маленков говорил, что альпинисты совершили восхождение на самую высокую точку в горах Средней Азии и назвали этот пик именем того секретаря Средазбюро.

Единственным человеком, занимавшим сравнительно высокое положение в партийном руководстве и почему-то избежавшим критики, пока оказался Хрущев. Но тут выступил Яков Аркадьевич Яковлев, который заведовал сельхозотделом ЦК партии, и раскритиковал меня. Впрочем, его критика была довольно оригинальной: он ругал меня за то, что меня в Московской парторганизации все называют Никитой Сергеевичем. Я тоже выступил и в ответ разъяснил, что это мои имя и отчество, так что называют правильно. Тем самым как бы намекнул, что сам-то он ведь не Яковлев, а Эпштейн. А после заседания ко мне подошел Мехлис, в ту пору еще редактор газеты «Правда», и с возмущением заговорил о выступлении Яковлева. Мехлис был еврей, знал старинные традиции своего народа и сообщил мне: «Яковлев — еврей, потому и не понимает, что у русских людей принято даже официально называть друг друга по имени и отчеству».

Выступление там Каминского было таким. В те дни Григорий Наумович трудился наркомом здравоохранения СССР. Это был очень уважаемый товарищ с дореволюционным партийным стажем, не раз встречавшийся с Лениным. Я с ним познакомился, когда только начинал работать в Московской парторганизации. Он в ту пору являлся одним из секретарей МК ВКП(б), потом был председателем Мособлисполкома, а затем его выдвинули в Наркомздрав России и далее всего Союза. То был прямой, искренний человек со святым чувством партийности и неумолимой правдивости. Он сказал: «Тут все, выступая, говорят обо всем, что они знают о других. Я тоже хотел бы сказать, чтобы партии это было

известно. Когда в 1920 году я был направлен в Баку и работал там секретарем ЦК Компартии Азербайджана и председателем Бакинского Совета, ходили упорные слухи, что присутствующий тут товарищ Берия во время оккупации Баку сотрудничал в органах контрразведки мусаватистов не то, несколько ранее, английской контрразведки». Никто не выступил с опровержением. Даже Берия не выступил ни с какой справкой по этому поводу. Молчание, и все тут... А вскоре Каминский был арестован и бесследно исчез. Меня потом долго мучил этот вопрос, потому что я абсолютно верил Григорию и знал, что он никогда ничего сам не выдумает и от других зря не повторит. Но кто же мог вступить в конкуренцию с НКВД и ее лидерами?

Как-то в те же примерно месяцы после одного дневного заседания ЦК партии все расходились на обед. Я несколько задержался и не успел уйти. Тут меня окликнул Сталин: «Хрушев, вы куда идете?» — «Иду обедать». — «Пойдемте ко мне, вместе пообедаем». — «Спасибо». Когда мы выходили, около Сталина вертелся Яковлев. Он вроде бы без приглашения последовал за ним и тоже оказался у него на квартире. Мы пообедали втроем. Сталин вел беседу, а Яковлев очень при этом волновался. Чувствовалось, что он переживает глубокое внутреннее чувство. Вероятно, боялся, что его арестуют, и хотел искать защиты у Сталина. Я знал Яковлева еще по работе на Украине, а познакомился с ним при оригинальных обстоятельствах. Тогда, в середине 20-х годов, назревала зиновьевско-каменевская оппозиция. Когда мы приехали на партийный съезд, то в нашу делегацию пришел Яковлев и проинформировал нас об обстановке, которая может возникнуть на съезде. Сказал, что Зиновьев, видимо, будет содокладчиком. Это сообщалось доверительно, чтобы мы понимали, что, вот, доверенный человек по поручению Сталина информирует нас. Я упоминаю об этом к тому, что этот человек был близок к Сталину и все свои силы отдавал борьбе против оппозиции, а потом старался всю при коллективизации. Несмотря на это, для него сложилась теперь трудная ситуация, хотя не знаю почему. И он в своем предчувствии не ошибся, был арестован, несмотря на любезный обмен мнениями со Сталиным во время обеда на его квартире, тут же после обеда и вскоре погиб.

Пленум же, о котором я рассказываю, как раз тогда и принял решение, осуждавшее перегибы в работе НКВД. Этот Пленум дал народу надежду, что кончится дикий произвол, царивший в стране и создававший у всех неуверенность: то ли будет человек жить, то ли может быть уничтожен либо просто бесследно пропасть. Я, да и многие другие, беззаветно верил Сталину, и мы себя обвиняли, что мы слепцы, не видим и

не чувствуем врагов, нет у нас политического нюха, нет глубокого понимания классово-борьбы, не умеем разоблачать врагов так, как это делает товарищ Сталин. Только постепенно я начинал соображать, что далеко не все так просто. Сошлюсь на следующий эпизод.

Однажды приехал я с Украины в Москву. Мы сидели у Сталина в кремлевском кабинете. Зазвонил телефон. Сталин подошел к нему, поговорил с кем-то, потом положил трубку и, подойдя к нам, сказал, что ему звонил Чубарь: плачет, волнуется, доказывает, что он честный человек; а тон у Сталина был сочувствующий Чубарю. Казалось, с пониманием он отнесся к переживаниям Власа Яковлевича. И я был сильно удивлен, когда буквально на следующий день Чубарь был арестован, а потом погиб. Чубаря я знал по работе на Украине, где он был председателем Совнаркома. Приходилось встречаться с ним и на съездах Компартии Украины, на совещаниях угольщиков (одно время он руководил угольной промышленностью Донбасса). Чубарь пользовался общим уважением. Когда и он, и я работали рядом в Москве, то при личных встречах он тоже производил всегда очень хорошее впечатление, особенно в смысле его партийности. И вдруг?

После упомянутого Пленума наметилось какое-то торможение в арестах, но малозаметное. Люди продолжали неожиданно исчезать, вроде как на льду: проваливаются бесследно, и никто не возвращается. Я-то не имел привычки с переходом из одной партийной организации в другую перетаскивать с собой людей, работавших со мной прежде: тащить хвосты, как говорили тогда. Я осуждал такие методы. Однако, когда приехал на Украину, там было в смысле кадров, что называется, чисто: ни одного секретаря обкома партии, ни одного председателя облисполкома нет, нет ни председателя Совета Народных Комиссаров, ни его заместителей. Налицо полный разгром партийного, советского и хозяйственного руководства. Пришлось мне поневоле попросить Сталина разрешить взять кое-кого из Москвы.

Среди таких людей был и Лукашов. Я его знал по Московской рабочей кооперации, которая возглавлялась Бадаевым: он там заведовал отделом овощей и фруктов и нравился мне за свою оперативность, деловитость и расторопность. Я сказал Сталину, что хотел бы видеть Лукашова наркомом торговли на Украине. Сталин разрешил. Потом Лукашова тоже арестовали. Для меня это было очень неприятно. Во-первых, я его хорошо знал; потом я просил за него у Сталина. Раз его арестовали, это могло бы быть плохо истолковано: я просил за врага народа. Прошло какое-то время, и (редкое тогда явление) Лукашов был освобожден. Приехал он на Украину, весь избитый, и физически, и морально.

Он рассказывал мне, что подвергался истязаниям и что от него требовали показаний на меня: что я, дескать, состою в каком-то заговоре. Оказывается, еще в Москве я ходатайствовал, чтобы Лукашова послали в Польшу и Литву для закупки овощных семян. И вот теперь от него потребовали показаний, что посылка его за границу служила установлению связей с антисоветскими организациями. Он все выдержал, не дал таких показаний и сам был освобожден. Я рассказал Сталину об этом. Сталин же мне: «Да, бывают такие извращения. И на меня тоже собирают материалы. Ежов собирает».

Прошло какое-то время, и встал вопрос уже о Ежове. Его позиции пошатнулись. Окончательному же его падению предшествовал такой эпизод. Звонит мне Сталин: «Есть показания на наркома внутренних дел Украины Успенского, и они у нас не вызывают сомнений». По телефону мне послышалось, что тот говорит об Усенко, комсомольском работнике. Сталин: «Можете арестовать его сами?» — «Можем, если будет поручено». — «Арестуйте!» Но когда он начал уточнять детали, я понял, что речь идет об Успенском. Не успел я положить трубку, Сталин опять звонит: «Насчет Успенского ничего не нужно делать. Мы это сами сделаем. Отзовем его в Москву и в пути арестуем». А я собирался ехать в Днепропетровск. Уехал. Успенского же отозвали в Москву. У меня имелось предчувствие, что он не поедет туда, потому что догадывается, что может быть арестован. И, уезжая, я сказал Коротченко, председателю Совнаркома Украины: «Ты позванивай, якобы по делам, к Успенскому, понаблюдай за ним, ведь ты остаешься тут за меня». Утром приехал я в Днепропетровск, а мне туда звонит Берия. Именно Берия, а не Ежов: «Вот, ты там разъезжаешь, а твой Успенский сбежал». — «Как?» — «А вот так, сбежал, и все». Я срочно вернулся в Киев. Действительно, Успенского нет нигде. Потом, когда я опять был в Москве, Сталин сказал мне, что, видимо, Ежов его предупредил: «Ежов подслушал нас, когда я с вами разговаривал, и предупредил Успенского по телефону».

К тому времени Сталин уже неоднократно высказывал недовольство деятельностью Ежова, перестал ему доверять и хотел спихнуть на него все беззакония. Позднее Ежов был арестован. И все его заместители тоже. Вообще любых людей, которые были с ним связаны, арестовали. Тогда же туча нависла и над Маленковым, который был большим приятелем Ежова. Сталин знал об этом. Да и я тоже, потому что дружил с Маленковым в течение многих лет. Мы работали вместе еще в Московском комитете партии. О наметившихся подозрениях в адрес Маленкова я для себя лично сделал вывод после такого случая. Когда я однажды приехал в Москву с Украины, Берия пригласил меня к себе на дачу: «По-

Mois 20
6EK



На трибуне Мавзолея – Сталин, Хрушев и Молотов.



Молотов, Маленков, Поскребышев, Хрушев
и Микоян на даче Сталина.

Смерть вождя. Хрущев, Берия и Маленков у гроба Сталина.

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза
Москва, 6 марта 1953 года

5 марта в 9 час. 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался Председатель Совета Министров Союза ССР и Секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

Бессмертное имя СТАЛИНА всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества.



**МЕДИЦИНСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о болезни и смерти И. В. Сталина**

В конце марта 1953 г. И. В. Сталин заболел острым воспалением желудка, осложненным острым воспалением кишечника. В течение нескольких дней болезнь прогрессировала, появились симптомы острой сердечной недостаточности. В результате наступила смерть 5 марта 1953 г. в 9 часов 50 минут вечера.

Причина смерти — острая сердечная недостаточность, возникшая на фоне острого воспалительного процесса в желудочно-кишечном тракте.

Вскрытие не проводилось.

Секретарь ЦК КПСС: **М. С. Шварц**

**ОБ ОБРАЗОВАНИИ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА**

Совет Министров Союза ССР и Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза постановили: образовать комиссию по организации похорон Председателя Совета Министров Союза Советских Социалистических Республик и Секретаря Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза Генералиссимуса Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА в составе г.г. Хрущев Н. С. (Председатель), Бажанович Л. М., Шверника Н. М., Василевского А. М., Легова Н. М., Артемьева П. А., Яслова М. А.

**ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК
И СЕКРЕТАРЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА**

О времени доступа в Колонный зал Дома Союзом будет сообщено особо.



Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров СССР.



После знаменитого доклада, сделанного Хрущевым на XX съезде КПСС, началось развенчание культа личности Сталина.



Встреча со ставропольскими
колхозниками.



На целине –
новой житнице
страны.



Строительство типового жилого дома в Москве.

На отдыхе.



Одно из любимых развлечений —
стендовая стрельба.

С лидерами стран социалистического лагеря:



Фиделем Кастро,



Мао Цзэдуном,

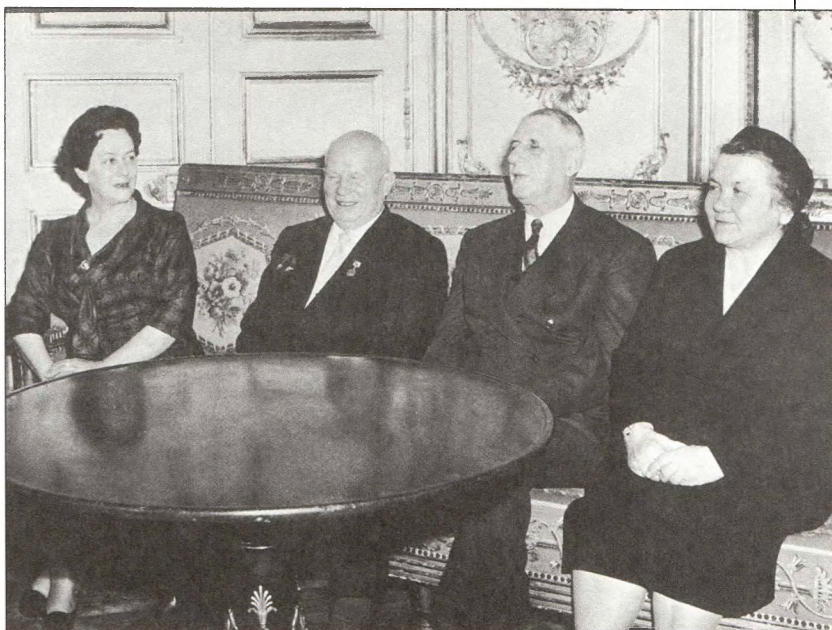
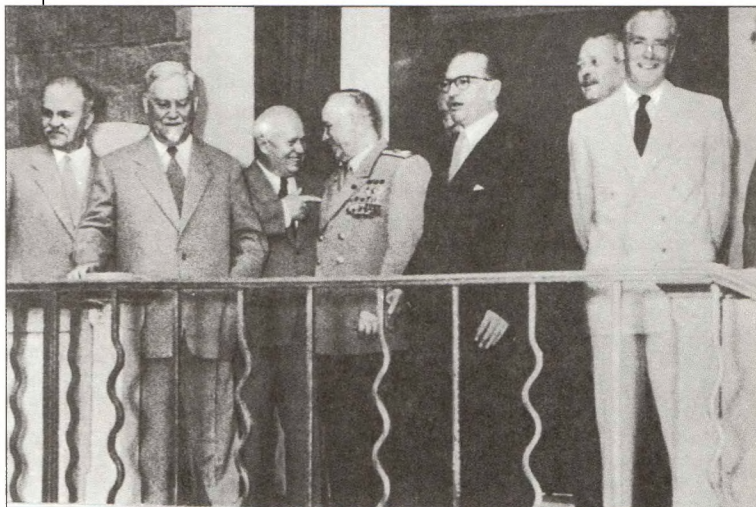


Иосипом Броз Тито.



Поездки за рубеж не ограничивались встречами с государственными деятелями.

В Женеве на встрече «большой четверки». 1955 г.



«Первые пары» СССР и Франции в Елисейском дворце.
После переговоров с президентом Шарлем де Голлем. 1960 г.

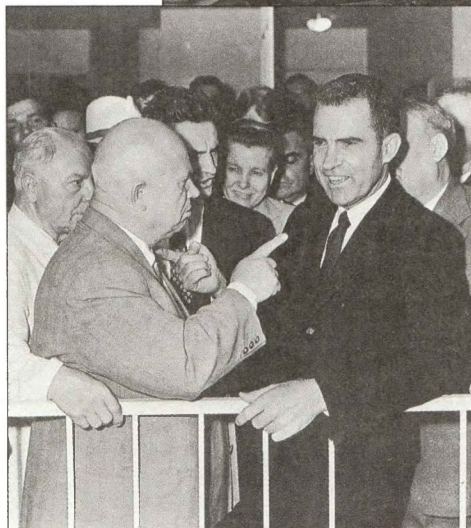
Никита Хрущев



Н.С. Хрущев дарит президенту США Дуайту Д. Эйзенхауэру копию вымпела, доставленного советской ракетой на Луну.



Встреча с президентом Джоном Кеннеди и Госсекретарем США Дином Раском в Вене. 1961 г.



На выставке в Сокольниках с вице-президентом США Ричардом Никсоном.

ВЕЛИКОЕ СОБЫТИЕ В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА!

Соблюдать эти сроки, соблюдая!

ПРАВДА

Орган Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза

№ 13
13 апреля 1961 года

К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА! К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН! КО ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!

Обращение Центрального Комитета КПСС Президиума Верховного Совета СССР и ЦК Коммунистической партии Советского Союза

События этого события. Впервые в истории человечества... 12 апреля 1961 года в 9 часов 3 минуты по московскому времени... Юрий Алексеевич Гагарин... Первый человек, пролетевший в космосе... Юрий Алексеевич ГАГАРИН.

12 апреля 1961 года первый в мире советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космосе... Юрий Алексеевич ГАГАРИН.

12 апреля 1961 года первый в мире советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый полет в космосе... Юрий Алексеевич ГАГАРИН.



Со «звездными первопроходцами» Германом Титовым и Юрием Гагариным.

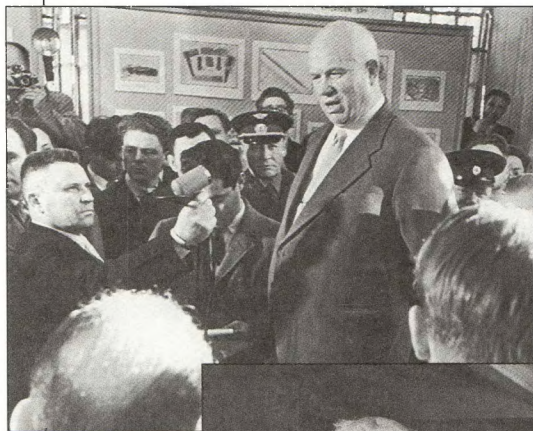
Совет Министров СССР Москва, 12 апреля 1961 года.

Свобесному космонавту, впервые в мире совершившему космический полет, майору ГАГАРИНУ Юрию Алексеевичу

12 апреля 1961 года.



С первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой.



На демонстрации журналистам обломков американского самолета-«шпиона». 1960 г.

Создатели «оборонного щита» — академики А.Н. Туполев, А.И. Микоян, И.В. Курчатov.



Главный маршал авиации К.А. Вершинин, академики М.В. Келдыш и С.П. Королев.



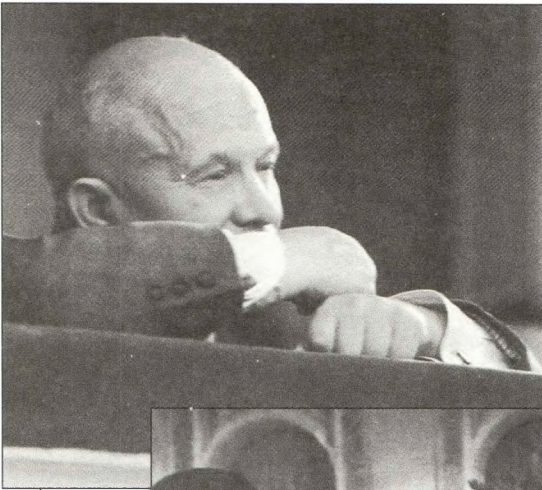
С поэтом
Александром
Твардовским.

С писателем
Михаилом Шолоховым
в окружении
участников
Казачьего хора
станции Вёшенской.



На выставке
современного американского
искусства. 1960 г.

Никита Хрущев



На заключительном
концерте лауреатов
Первого
международного
конкурса
им. П. И. Чайковского.
1958 г.

С лауреатами —
Львом Власенко,
Ваном Клиберном
и Ли Шикунем.



С американским певцом Полем Робсоном.



едем, я один, никого нет. Погуляем, ты у меня заночуешь». — «Мне все равно, я тоже один». Поехали, погуляли в парке. И тут он говорит мне: «Слушай, ты ничего не думал о Маленкове?» — «А что я должен думать?» — «Ну, Ежова ведь арестовали». — «Верно, они дружили, — говорю. — Но и ты тоже с ним дружил, и я тоже. Думаю, что Маленков — честный, безупречный человек». — «Нет, нет, послушай, ты все-таки еще подумай, ты и сейчас близок с Маленковым, подумай!» Ну, подумал я, но вывода никакого особого не сделал и продолжал с ним дружить. Когда приезжал в Москву, то в выходной день всегда бывал у Маленкова на даче. От себя полагаю, что это Сталин сказал, чтобы Берия предупредил меня о Маленкове. Позднее Маленков сблизился и подружился с Вознесенским, а потом стал неразлучным другом с Берией.

После ареста Ежова Берия быстро набрал силу. Он занялся прежде всего перестановкой кадров. У нас на Украине не было тогда наркома НКВД, и он прислал исполнять обязанности наркома Кобулова, младшего брата того Кобулова, который был заместителем Берии в союзном Наркомате внутренних дел, а прежде работал с Берией в Грузии. Украинский Кобулов был еще мальчишкой, и довольно неподготовленным. Об этом можно судить хотя бы по такому эпизоду. Пришел он как-то в ЦК КП(б)У и сообщил, что выявлена группа украинских националистов, которая ведет антисоветскую работу. Я ему: «Возможно в принципе, что есть такая. Но кого конкретно имеете в виду? Назовите фамилии». — «Такие-то и такие-то фамилии». И он назвал нескольких писателей и других лиц интеллигентного труда. Я хорошо знал их. И среди прочих он упомянул Рыльского. Отвечаю: «Эти люди никак не могут вести антисоветской работы. Они могут проявлять какое-то недовольство чем-то, высказывать критику, но это вовсе не антисоветчики. А в чем их конкретно обвиняют? Что вам сообщил агент?» — «Они собираются, выпивают, поют песни». — «Ну и что же тут такого?» — «А они поют такую песню: «Дэ ты ходышь, мия доля, не докльчусь я тэбэ»». Я рассмеялся: «Вы армянин и не знаете украинской культуры. Ваш агент издевается над вами, если пишет про такие вещи. Эту песню поют тут все. Если мы с вами когда-нибудь окажемся в одной компании, то я не даю гарантии, что не присоединюсь к тем, кто ее поет. Это очень хорошая народная песня». Вот вам уровень человека, исполнявшего обязанности наркома!

В те же недели другой человек Берии поехал с тем же назначением в Белоруссию. Берия повсюду рассылал свои кадры. К той поре сложилась такая ситуация, что все кадры при выдвижении их на партийную, советскую, хозяйственную или военную работу проходили через «чи-

стилище» в НКВД. Последний становился главным органом страны. А любые ведущие кадры вообще выдвигались только с предварительного согласия Берии. Постепенно мы с Берией все чаще встречались у Сталина, и я начинал лучше узнавать его. Я тогда относился к Берии хорошо и только позднее был поражен его двуличием. Вот лишь один из примеров. Он мог (а я поражался, как это допустимо?) у Сталина за обедом поставить какой-то вопрос; и, если Сталин отвергал его, он сейчас же смотрел на кого-нибудь из присутствовавших и говорил: «Я же говорил тебе, что этот вопрос не надо выдвигать». Я просто глаза и рот раскрывал: как это можно ляпать такое при Сталине? Ведь Сталин хотя и молчит, но видит и слышит, что Берия только что сам поставил этот вопрос. И ничего! Такое вот вероломство. По мере того как Берия «укреплялся», его наглость и низость тоже проявлялись все отчетливее.

Раньше я слышал, что некогда заместителем наркома внутренних дел в Грузии был у Берии Реденс. Реденса хорошо знали старые кадры. Я неоднократно с ним встречался, когда он работал уполномоченным НКВД по Московской области. Кроме того, часто встречался с ним в домашней обстановке, на семейных обедах у Сталина, поскольку Реденс был женат на Анне Сергеевне, сестре Надежды Сергеевны Аллилуевой. Так что же Берия предпринял, чтобы выдворить Реденса из сталинской семьи? Сначала он задался целью вышибить Реденса из Грузии, потому что не хотел, чтобы у Сталина имелись оттуда информаторы помимо него, Берии. И он поручил своим людям заманить Реденса в какой-то кабачок. Они использовали его слабость в смысле вредной привычки, напоили, потом вывели и бросили на улице в сточную канаву. Мимо ехала милиция и увидела, что Реденс валяется в таком виде, доложила по инстанции. И дело поехало! Поставили вопрос перед Сталиным, что Реденс дискредитирует себя. Так Реденс, отозванный из Грузии, попал в Московскую область. Потом Реденса убрали и из Кремля, где он бывал, и вообще устранили.

В 1953 году, когда устранили самого Берию, ЦК КПСС получил письмо от бывшего заключенного, грузина. Он в большом письме перечислял, сколько людей в Грузии стали жертвами Берии в результате различных провокаций. Но это, конечно, стало возможным лишь после падения Берии. А раньше такое письмо наверняка перехватили бы. Резко усилила влияние Берии Великая Отечественная война. Он тогда возымел огромную силу. Сталин утрачивал над ним контроль, особенно в тяжелые месяцы нашего отступления на фронте. Берия постепенно стал грозой партийных кадров. Влиял он и на окружение Ста-

лина. Там менялся обслуживающий персонал. Прежде лично у Сталина работали в основном русские. Подавальщицы и в войну остались русские, но появлялись и грузины. Шашлычник там какой-то жарил шашлыки, так он стал даже генералом, и с каждым моим приходом в Ставку я видел, как у него росли орденские колодки с лентами — свидетельство постоянных наградений за умение здорово жарить шашлык. Как-то Сталин заметил, что я присматриваюсь к колодкам на груди новоявленного генерала, но ничего не сказал, и я тоже промолчал.

А после войны — и говорить нечего! Берия стал теперь членом Политбюро. Да и Маленков набрал силу, хотя у него периодически менялось занимаемое им положение и во время войны, и после войны. Однажды Сталин даже загнал его в Среднюю Азию. Тут-то Берия и подал ему руку помощи, а затем они стали неразлучны. Сталин у себя за обедом нередко называл их, как бы в шутку, двумя жуликами, но не в оскорбительном тоне, а вроде дружески. Где, мол, пропадают эти два жулика. Тут без Берии буквально ничего уже нельзя было решить. Даже Сталину почти ничего нельзя было доложить, не заручившись поддержкой Берии. Все равно Берия, если станешь докладывать при нем, обязательно любое твоё дело обставит всяческими вопросами и контрвопросами, дискредитирует в глазах Сталина и провалит.

В то же время Берия не уважал и не ценил Маленкова, а преследовал в дружбе с ним личные цели. Он мне как-то сам сказал: «Слушай, Маленков — безвольный человек. Вообще козел, может внезапно прыгнуть, если его не придерживать. Поэтому я его и держу, хожу с ним. Зато он русский и культурный человек, может пригодиться при случае». «Пригодиться» было главным у Берии. Я-то с Маленковым и Булганиным дружил с той поры еще, когда работал в Московской парторганизации. Мы часто проводили тогда вместе выходные дни, вместе жили на даче. Поэтому, несмотря на то, что Маленков выказывал некоторую холуйскую наглость относительно меня во время войны, особенно когда Сталин проявлял недовольство мной, я с ним не порывал отношений.

Это недовольство Сталина мною проявлялось в период отступления: что же, мол, Украину оставляете? Он искал виновных, кто будет отвечать за поражения. Конечно, я первым должен был отвечать, раз являлся секретарем ЦК Компартии Украины. Хотя главнокомандующим-то был Сталин, но он вроде ни за что не отвечал, а только подчиненные. Избегал ответственности и Маленков. Впрочем, я его не винил. А уже после войны, когда все мы приехали как-то в Сочи к Ста-

лину по вызову (я — с Украины, Маленков и другие — из Москвы) и разбирали какие-то вопросы, а потом вышли погулять, я ходил с Маленковым и сказал ему: «Удивляюсь, неужели ты не видишь и не понимаешь, как Берия относится к тебе?» Он молчит. «Ты думаешь, — продолжаю, — что он тебя уважает? По-моему, он издевается над тобой». В конце концов Маленков ответил: «Да, я вижу, но что я могу поделать?» — «Я просто хотел бы, чтобы ты видел и понимал. А это верно, что сейчас ты не можешь ничего поделать». Дальше — больше. У меня созревали определенные опасения. Годы жизни Сталина шли такие, что в любой момент страна могла оказаться в тяжелом положении — без вождя. Я боялся его смерти. И еще больше боялся за последствия: что потом будет в СССР?

В те годы, несмотря на то, что я давно сомневался в справедливости обвинений в адрес многих «врагов народа», в целом у меня не возникало недоверия к Сталину. Я считал, что имели место перегибы, однако в основном все было сделано правильно. Я даже возвеличивал Сталина за то, что он не побоялся осложнений, провел чистку и тем самым объединил, сплотил честных людей. Тем не менее к рубежу 50-х годов у меня уже сложилось мнение, что, когда умрет Сталин, нужно сделать все, чтобы не допустить Берию занять ведущее положение в партии. Иначе — конец партии! Я считал, что могла произойти утрата всех завоеваний революции, так как Берия повернет развитие с социалистического на капиталистический путь. Такое у меня сложилось мнение.

Однажды, когда я был во Львове, Сталин позвонил мне и срочно вызвал в Москву. Шли последние месяцы 1949 года. Я ехал и не знал, *что* меня ждет. Могло возникнуть много неожиданных сюрпризов. Такая тогда была ситуация. Ехал я и не знал, зачем еду, куда и в каком положении буду возвращаться. Сходные переживания как-то выразил Булганин после обеда у Сталина, сказав мне: «Вот едешь к нему на обед вроде бы как другом, а не знаешь, сам ли ты поедешь домой или тебя повезут кое-куда». Он это произнес, будучи под крепким градусом. Но ведь что у трезвого в голове, то... Булганин отразил мысли многих, если не всех нас. Сложилась общая обстановка неуверенности в завтрашнем дне. Итак, выехал я в Москву. Сталин говорит: «Довольно вам на Украине сидеть. Вы там проработали много лет». — «Да, ряд лет. Время мне уходит оттуда, хотя отношение ко мне там очень хорошее, и я благодарен всем людям, которые меня окружали и помогали мне в руководстве на Украине». — «Мы хотим перевести вас в Москву. У нас неблагополучно в Ленинграде, выявлены заговоры. Не-

благополучно и в Москве, и мы хотим, чтобы вы опять возглавили Московскую парторганизацию. Пусть Московская парторганизация будет опорой Центрального Комитета». Я ему: «Если Вы доверяете, то я сделаю все, что в моих силах, и охотно вернусь в Москву в качестве секретаря Московского комитета партии». — «Нет, не только, вы будете здесь еще и секретарем ЦК».

Этот разговор состоялся как раз перед 70-летием Сталина. И он добавил: «Вы приезжайте ко дню моего рождения». Я и приехал к этому декабрьскому дню. Сдал дела на Украине, перебрался в Москву. Тут меня избрали секретарем МК, я начал работать по-новой. Быстро увидел, что мой приезд в Москву противоречил предположениям Берии и Маленкова. У меня сложилось тогда впечатление, что Сталин (он этого не сказал мне), вызывая меня в Москву, хотел как-то повлиять на расстановку сил в столице и понизить роль Берии и Маленкова. Мне даже иногда казалось, что Сталин сам боится Берии, рад был бы от него избавиться, но не знает, как это лучше сделать. Перевод же меня в Москву как бы противопоставлял нас, связывая Берии руки. Сталин, как мне казалось, хорошо-ко мне относился и доверял мне. Хотя он часто критиковал меня, но зато и поддерживал, и я это ценил.

В феврале 1953 года Сталин внезапно заболел. Как это случилось? Мы все были у него в субботу. А происходило это после XIX съезда партии, когда Сталин уже «подвесил» судьбу Микояна и Молотова. На первом же Пленуме после съезда он предложил создать вместо Политбюро Президиум ЦК партии в составе 25 человек и назвал поименно многих новых людей. Я и другие прежние члены Политбюро были удивлены, как и кем составлялся этот список? Ведь Сталин не знал этих людей, кто же ему помогал? Я и сейчас толком не знаю. Спрашивал Маленкова, он ответил, что сам не знает. По своему положению Маленков должен был принимать участие в формировании Президиума, подборе людей и составлении списка, но не был к тому допущен. Может быть, это сделал сам Сталин? Сейчас я по некоторым признакам предполагаю, что он при подборе новых кадров воспользовался помощью Кагановича. Внутри Президиума действовало более узкое Бюро. Президиум фактически и не собирался, все вопросы решало Бюро. Это Сталин выдумал такую, совершенно неуставную форму: никакое Бюро не было предусмотрено в Уставе партии.

Для чего Сталин создал Бюро Президиума? Ему было, видимо, неудобно сразу вышибать Молотова и Микояна, и он сделал расширенный Президиум, а потом выбрал Бюро узкого характера. Как он сказал, для оперативного руководства. И туда ни Молотова, ни Микояна не ввел, то есть «подвесил» их. Я убежден, что если бы Сталин прожил еще какое-то время, то катастрофой кончилась бы жизнь и Молотова, и Микояна. Вообще же сразу после XIX съезда партии Сталин повел политику изоляции Молотова и Микояна, не приглашал их никуда — ни на дачу, ни на квартиру, ни в кино, куда мы прежде ходили вместе.

Но Ворошилов был избран в Бюро Президиума. Характерно для Сталина, что как-то, когда мы сидели у него за затянувшейся трапезой, он вдруг говорит: «Как пролез Ворошилов в Бюро?» Мы не смотрим на него, опустили глаза. Во-первых, что за выражение «пролез»? Как это он может «пролезть»? Потом мы сказали: «Вы сами его назвали, и он

был избран». Больше Сталин эту тему не развивал. Однако его заявление понятно, потому что Ворошилова еще до XIX съезда он не привлекал к работе как члена Политбюро: никакого участия тот в заседаниях не принимал, документов не получал. Сталин же говорил нам в узком кругу, что подозревает Ворошилова как английского агента. Невероятные, конечно, глупости. А Молотова он как-то «заподозрил» в моем присутствии. Я находился на даче у Сталина, кажется в Новом Афоне. И вдруг ему взбрело в голову, что Молотов является агентом американского империализма, проданся американцам, потому что в 1945 году ездил через США, по делам ООН в железнодорожном салон-вагоне. Значит, имеет свой вагон, проданся! Мы разъясняли, что у Молотова никаких своих вагонов не могло быть, там все принадлежит частной железнодорожной компании. Вот какие затмения находили уже на Сталина в последние месяцы его жизни.

И вот как-то в субботу от него позвонили, чтобы мы пришли в Кремль. Он пригласил туда персонально меня, Маленкова, Берию и Булганина. Приехали. Он говорит: «Давайте посмотрим кино». Посмотрели. Потом говорит снова: «Поедемте, покушаем на ближней даче». Поехали, поужинали. Ужин затянулся. Сталин называл такой вечерний, очень поздний ужин обедом. Мы кончили его, наверное, в пять или шесть утра. Обычное время, когда кончались его «обеды». Сталин был навеселе, в очень хорошем расположении духа. Ничто не свидетельствовало, что может случиться какая-то неожиданность. Распрошались мы и разъехались.

Когда выходили в вестибюль, Сталин, как обычно, пошел проводить нас. Он много шутил, замахнулся, вроде бы пальцем, и ткнул меня в живот, назвав Микитой. Когда он бывал в хорошем расположении духа, то всегда называл меня по-украински Микитой. Мы тоже уехали в хорошем настроении, потому что ничего плохого за обедом не случилось, а не всегда обеды кончались в таком добром тоне. Разъехались по домам. Я ожидал, что, поскольку завтра выходной день, Сталин обязательно нас вызовет, поэтому целый день не обедал, думал, может быть, он позовет пораньше? Потом все же поел. Нет и нет звонка! Я не верил, что выходной день может быть пожертвован им в нашу пользу, такого почти не происходило. Но нет! Уже было поздно, я разделся, лег в постель.

Вдруг звонит мне Маленков: «Сейчас позвонили от Сталина ребята (он назвал фамилии), чекисты, и они тревожно сообщили, что будто бы что-то произошло со Сталиным. Надо будет срочно выехать туда. Я звоню тебе и известил Берию и Булганина. Отправляйся прямо туда». Я сейчас же вызвал машину. Она была у меня на даче. Быстро оделся, приехал,

все это заняло минут 15. Мы условились, что войдем не к Сталину, а к дежурным. Зашли туда, спросили: «В чем дело?» Они: «Обычно товарищ Сталин в такое время, часов в 11 вечера, обязательно звонит, вызывает и просит чаю. Иной раз он и кушает. Сейчас этого не было». Послали мы на разведку Матрену Петровну, подавальщицу, немолодую женщину, много лет проработавшую у Сталина, ограниченную, но честную и преданную ему женщину.

Чекисты сказали нам, что они уже послали ее посмотреть, что там такое. Она сказала, что товарищ Сталин лежит на полу, спит, а под ним подмочено. Чекисты подняли его, положили на кушетку в малой столовой. Там были малая столовая и большая. Сталин лежал на полу в большой столовой. Следовательно, поднялся с постели, вышел в столовую, там упал и подмочился. Когда нам сказали, что произошел такой случай и теперь он как будто спит, мы посчитали, что неудобно нам появляться у него и фиксировать свое присутствие, раз он находится в столь неблагоприятном положении. Мы разъехались по домам.

Прошло небольшое время, опять слышу звонок. Вновь Маленков: «Опять звонили ребята от товарища Сталина. Говорят, что все-таки что-то с ним не так. Хотя Матрена Петровна и сказала, что он спокойно спит, но это необычный сон. Надо еще раз съездить». Мы условились, что Маленков позвонит всем другим членам Бюро, включая Ворошилова и Кагановича, которые отсутствовали на обеде и в первый раз на дачу не приезжали. Условились также, что вызовем и врачей. Опять приехали мы в дежурку. Прибыли Каганович, Ворошилов, врачи. Из врачей помню известного кардиолога профессора Лукомского. А с ним появился еще кто-то из медиков, но кто, сейчас не помню. Зашли мы в комнату. Сталин лежал на кушетке. Мы сказали врачам, чтобы они приступили к своему делу и обследовали, в каком состоянии находится товарищ Сталин. Первым подошел Лукомский, очень осторожно, и я его понимал. Он прикасался к руке Сталина, как к горячему железу, подергиваясь даже. Берия же грубовато сказал: «Вы врач, так берите как следует».

Лукомский заявил, что правая рука у Сталина не действует. Парализована также левая нога, и он не в состоянии говорить. Состояние тяжелое. Тут ему сразу разрежали костюм, переодели и перенесли в большую столовую, положили на кушетку, где он спал и где побольше воздуха. Тогда же решили установить рядом с ним дежурство врачей. Мы, члены Бюро Президиума, тоже установили свое постоянное дежурство. Распределились так: Берия и Маленков вдвоем дежурят, Каганович и Ворошилов, я и Булганин. Главными «определяющими» были Мален-

ков и Берия. Они взяли для себя дневное время, нам с Булганиным выпало ночное. Я очень волновался и, признаюсь, жалел, что можем потерять Сталина, который оставался в крайне тяжелом положении. Врачи сказали, что при таком заболевании почти никто не возвращался к труду. Человек мог еще жить, но что он останется трудоспособным, маловероятно: чаще всего такие заболевания непродолжительны, а кончаются катастрофой.

Мы видели, что Сталин лежит без сознания: не сознает, в каком он состоянии. Стали кормить его с ложечки, давали бульон и сладкий чай. Распоряжались там врачи. Они откачивали у него мочу, он же оставался без движения. Я заметил, что при откачке он старался как бы прикрыться, чувствуя неловкость. Значит, что-то сознает. Днем (не помню, на какой именно день его заболевания) Сталин пришел в сознание. Это было видно по выражению его лица. Но говорить он не мог, а поднял левую руку и начал показывать не то на потолок, не то на стену. У него на губах появилось что-то вроде улыбки. Потом стал жать нам руки. Я ему подал свою, и он пожал ее левой рукой, правая не действовала. Пожати-ем руки он передавал свои чувства. Тогда я сказал: «Знаете, почему он показывает нам рукой? На стене висит картина, вырезанная из «Огонька» репродукция с картины какого-то художника. Там девочка кормит из рожка ягненка. А мы поим товарища Сталина с ложечки, и он, видимо показывает нам пальцем на картину, улыбается: мол, посмотрите, я в таком же состоянии, как этот ягненок».

Как только Сталин свалился, Берия в открытую стал пылать злобой против него. И ругал его, и издевался над ним. Просто невозможно было его слушать! Интересно, впрочем, что как только Сталин пришел в чувство и дал понять, что может выздороветь, Берия бросился к нему, встал на колени, схватил его руку и начал ее целовать. Когда же Сталин опять потерял сознание и закрыл глаза, Берия поднялся на ноги и плюнул на пол. Вот истинный Берия! Коварный даже в отношении Сталина, которого он вроде бы возносил и боготворил.

Наступило наше дежурство с Булганиным. Мы и днем с ним приезжали к Сталину, когда появлялись профессора, и ночью дежурили. Я с Булганиным тогда был больше откровенен, чем с другими, доверял ему самые сокровенные мысли и сказал: «Николай Александрович, видимо, сейчас мы находимся в таком положении, что Сталин вскоре умрет. Он явно не выживет. Да и врачи говорят, что не выживет. Ты знаешь, какой пост наметил себе Берия?» — «Какой?» — «Он возьмет пост министра госбезопасности (в ту пору Министерства государственной безопасности и внутренних дел был разделены). Нам никак нельзя допустить это.

Если Берия получит госбезопасность — это будет начало нашего конца. Он возьмет этот пост для того, чтобы уничтожить всех нас. И он это сделает!»

Булганин сказал, что согласен со мной. И мы стали обсуждать, как будем действовать. Я ему: «Поговорю с Маленковым. Думаю, что Маленков такого же мнения, он ведь должен все понимать. Надо что-то сделать, иначе для партии будет катастрофа». Этот вопрос касался не только нас, а всей страны, хотя и нам, конечно, не хотелось попасть под нож Берии. Получится возврат к 1937—1938 годам, а может быть даже похуже. У меня имелись сомнения: я не считал Берию коммунистом и полагал, что он просто пролез в партию. У меня маячили в сознании слова Каминского, что он был чужим агентом, что это волк в овечьей шкуре, влезший в доверие к Сталину и занявший высокое положение. Сам Сталин тяготился им. Мне казалось, что были дни, когда Сталин боялся Берии.

На подобные мысли наталкивал меня и такой инцидент. Хочу о нем рассказать. Как-то сидели мы у Сталина. Вдруг он смотрит на Берию и говорит: «Почему сейчас у меня окружение целиком грузинское? Откуда оно взялось?» Берия: «Это верные Вам, преданные люди». — «Но отчего это грузины верны и преданны? А русские, что, не преданны и не верны, что ли? Убрать!» И моментально как рукой сняло этих людей. Берия был способен через своих людей сделать со Сталиным то, что проделывал с другими людьми по поручению того же Сталина: уничтожать, травить и прочее. Поэтому Сталин, видимо (если рассуждать за него), считал, что Берия способен сделать то же самое и с ним. Значит, надо убрать окружение, через которое Берия имеет доступ и в покои, и к кухне.

Но Сталин не понимал по старости, что тогдашний нарком госбезопасности Абакумов докладывает ему обо всем уже после того, как доложит Берии и получит указания, как сообщить Сталину. Сталин думал, что он выдвинул свежего человека и тот делает только то, что велит Сталин. В ту же сторону раскрутилось «мингрельское дело». Сталин продиктовал тогда решение (и оно было опубликовано), что мингрелы связаны с турками, что среди них есть лица, которые ориентируются на Турцию. Конечно, чепуха! Я считаю, что тут имела место акция, направленная Сталиным против Берии, потому что Берия — мингрел. Таким образом, он готовил удар против Берии. Тогда много было произведено арестов, но Берия ловко вывернулся: влез в это дело как «нож Сталина» и сам начал расправу с мингрелами. Бедные люди. Тащили их тогда на плаху, как баранов.

Существовали и другие факты, которые свидетельствовали о вероломстве Берии, о недоверии Сталина к Берии. Итак, поговорили мы обо всем с Булганиным, кончилось наше дежурство, и я уехал домой.

Хотел поспать, потому что долго не спал на дежурстве. Принял спотворное, лег. Только лег, но еще не уснул, услышал звонок. Маленков: «Срочно приезжай, у Сталина произошло ухудшение. Выезжай срочно!» Я сейчас же вызвал машину. Действительно, Сталин был в очень плохом состоянии. Приехали и другие. Все видели, что Сталин умирает. Медики сказали нам, что началась агония. Он перестал дышать. Стали делать ему искусственное дыхание. Появился какой-то огромный мужчина, начал его тискать, совершать манипуляции, чтобы вернуть дыхание. Мне, признаться, было очень жалко Сталина, так тот его терзал. И я сказал: «Послушайте, бросьте это, пожалуйста. Умер же человек. Чего вы хотите? К жизни его не вернуть». Он был мертв, но ведь больно смотреть, как его треплют. Ненужные манипуляции прекратили.

Как только Сталин умер, Берия тотчас сел в свою машину и умчался в Москву с «ближней дачи». Мы решили вызвать туда всех членов Бюро или, если получится, всех членов Президиума ЦК партии. Точно не помню. Пока они ехали, Маленков расхаживал по комнате, волновался. Я решил поговорить с ним: «Егор, — говорю, — мне надо с тобой побеседовать». — «О чем?» — холодно спросил он. «Сталин умер. Как мы дальше будет жить?» — «А что сейчас говорить? Съедутся все, и будем говорить. Для этого и собираемся». Казалось бы, демократический ответ. Но я-то понял по-другому, понял так, что давно уже все вопросы оговорены им с Берией, все давно обсуждено. «Ну, ладно, — отвечаю, — поговорим потом».

Вот собрались все. Тоже увидели, что Сталин умер. Приехала и Светлана. Я ее встретил. Когда встречал, сильно разволновался, заплакал, не смог сдержаться. Мне было искренне жаль Сталина, его детей, я душой оплакивал его смерть, волновался за будущее партии, всей страны. Чувствовал, что сейчас Берия начнет заправлять всем. Последует начало конца, подготовленного этим мясником, этим убийцей. И вот пошло распределение «портфелей». Берия предложил назначить Маленкова Председателем Совета Министров СССР с освобождением его от обязанностей секретаря ЦК партии. Маленков предложил утвердить своим первым заместителем Берию и слить два министерства, госбезопасности и внутренних дел, в одно Министерство внутренних дел, а Берию назначить министром. Я молчал. Молчал и Булганин. Тут я волновался, как бы Булганин не выскочил не вовремя, потому что было бы неправильно выдать себя заранее. Ведь я видел настроение остальных. Если бы мы с Булганиным сказали, что мы против, нас бы обвинили большинством голосов, что мы склочники,

дезорганизаторы, еще при неостывшем трупe начинаем в партии драку за посты. Да, все шло в том самом направлении, как я и предполагал.

Молотова тоже назначили первым замом Предсовмина. Кагановича — замом. Ворошилова предложили избрать Председателем Президиума Верховного Совета СССР, освободив от этой должности Шверника. Очень неуважительно выразился в адрес Шверника Берия: сказал, что его вообще никто в стране не знает. Я видел, что тут налицо детали плана Берии, который хочет сделать Ворошилова человеком, оформляющим в указах то, что станет делать Берия, когда начнет работать его мясорубка. Меня Берия предложил освободить от обязанностей секретаря Московского комитета партии, с тем чтобы я сосредоточил свою деятельность на работе в ЦК партии. Провели мы и другие назначения. Приняли порядок похорон и порядок извещения народа о смерти Сталина. Так мы, его наследники, приступили к самостоятельной деятельности по управлению СССР.

ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА

Во время похорон Сталина и после них Берия проявлял ко мне большое внимание, выказывал свое уважение. Я этим был удивлен. Он вовсе не порывал демонстративно дружеских связей с Маленковым, но вдруг начал устанавливать дружеские отношения и со мной. Если, бывало, они вдвоем соберутся пройтись по Кремлю, то и меня приглашают. Одним словом, стали демонстрировать мою близость к ним. Я, конечно, не противился, хотя мое негативное мнение о Берии не изменилось, а наоборот, укрепилось еще больше.

Существовала договоренность: составлять повестку дня заседаний Президиума ЦК вдвоем — Маленкову и Хрущеву. Маленков председательствовал на заседаниях, а я только принимал участие в составлении повестки дня. Берия же все больше набирал силу, быстро росла его наглость. Вся его провокаторская хитроумность была пушена им тогда в ход. Тогда же произошло первое столкновение других членов Президиума ЦК с Берией и Маленковым. Президиум уже изменился по составу. Мы вернулись к более узкому кругу членов, а Бюро, которое было создано Сталиным на Пленуме сразу после XIX съезда партии, мы ликвидировали.

Берия и Маленков внесли предложение отменить принятое при Сталине решение о строительстве социализма в Германской Демократической Республике. Они зачитали соответствующий документ, но не дали его нам в руки, хотя у Берии имелся письменный текст. Он и зачитал его от себя и от имени Маленкова. Первым взял слово Молотов. Он решительно выступил против такого предложения и хорошо аргументировал свои возражения. Я радовался, что Молотов выступает так смело и обоснованно. Он говорил, что мы не можем пойти на это; что тут будет сдача позиций; что отказаться от построения социализма в ГДР — значит дезориентировать партийные силы Восточной, да и не только Восточной, Германии, утратить перспективу; что это капитуляция перед американцами. Я полностью был согласен с Молотовым и тотчас тоже попросил слова, поддержав Молотова. После меня выступил Булганин, который сидел рядом со мной. Потом выступили остальные члены Пре-

зидиума. И Первухин, и Сабуров, и Каганович высказались против предложения Берии — Маленкова относительно ГДР. Тогда Берия с Маленковым отозвали свой документ. Мы даже не голосовали и не заносили в протокол результаты обсуждения. Вроде бы вопроса такого не было. Тут была уловка.

Разошлись мы после заседания, но на душе осталась горечь. Как можно по такому важному вопросу выходить с подобным предложением? Я считал, что это антикоммунистическая позиция. Мы понимали, конечно, что Берия использует Маленкова, а Маленков, как теленок, пошел вместе с ним в этом деле. Кончилось заседание, и вышли мы из зала втроем — Маленков, Берия и я. Но ничего не обсуждали. В тот же день я увиделся с Молотовым, и он сказал мне: «Я очень доволен, что вы заняли такую позицию. Я этого, признаться, не ожидал, потому что видел вас всегда втроем и считал, что вы занимаете единую позицию с Маленковым и Берией, думал, что Хрущев уже, наверное, заавансировался по этому вопросу. Твердая, резкая позиция, которую вы заняли, мне очень понравилась». И тут же предложил мне перейти с ним на «ты». Я, в свою очередь, сказал, что тоже доволен, что Вячеслав Михайлович занял такую правильную позицию.

А спустя некоторое время звонит мне Булганин: «Тебе еще не звонили?» Я сразу все понял без дальнейших разъяснений: «Нет, не звонили. Мне и не позвонят». — «А мне уже позвонили». — «И что ты ответил?» — «Они сказали, чтобы я подумал еще раз: хочу ли я занимать пост министра обороны?» — «А кто именно тебе звонил?» — «Сначала один, потом другой. Оба позвонили». — «Нет, мне не позвонили, потому что знают, что их звонок может им навредить». После этого со стороны Берии отношение ко мне внешне вроде бы не изменилось. Но я понимал, что тут лишь уловка, «азиатчина». В этот термин мы вкладывали такой смысл, что человек думает одно, а говорит совсем другое. Я понимал, что Берия проводит друличную политику, играет со мной, успокаивает меня, а сам ждет момента расправиться со мной в первую очередь, когда наступит подходящее время.

На одном из заседаний он внес такое предложение: «Поскольку у многих заключенных или сосланных кончаются сроки заключения или ссылки и они должны возвращаться по месту прежнего жительства, предлагаю принять решение, с тем чтобы никто из них не имел права возвращаться без разрешения министра внутренних дел и оставался жить в районах, предудказанных Министерством». Я возмутился и выступил против, сказав: «Категорически возражаю, это произвол. Произвол уже был раньше допущен. Этих людей арестовывала госбезопасность, след-

ствие вела тоже госбезопасность и судила госбезопасность. «Тройки», которые были созданы в госбезопасности, творили, что хотели. Ни следователя, ни прокурора, ни суда — ничего не было, просто тащили людей и убивали. Теперь люди, которые отбыли срок своего наказания даже по приговору «троек», опять лишаются всего, остаются преступниками, и им указывается место жительства Министерством внутренних дел. Это недопустимо». Все другие меня поддержали. Берия опять ловко отозвал свое предложение. Протокол подписывал Маленков, и вопрос вновь не был запотоколирован.

Тут прозвучал уже более серьезный сигнал со стороны Берии. Потом он же вносит, казалось бы, либеральное предложение: изменить такое-то решение (назывались время и его номер), которое предусматривало аресты и осуждение арестованных «тройками» на срок до 20 лет тюрьмы или ссылки. Берия предложил уменьшить срок до 10 лет. Казалось, милое предложение. Но я правильно понял Берию и сказал: «Категорически против этого, потому что надо пересмотреть всю систему арестов, суда и следственной практики. Она произвольна. А вопрос, на 20 или на 10 лет осудить, особого значения не имеет, потому что можно сначала осудить на 10 лет, а потом еще на 10 лет и еще раз на 10. Такое уже было. К нам поступают документы, гласящие, что подобные методы практикуются. Поэтому я категорически против». И Берия опять отозвал свое предложение.

Так я активно выступил против Берии по двум вопросам. По первому вопросу поддержал выступление Молотова, по второму все другие поддержали меня. Таким образом, у меня не осталось сомнений, что Берия теперь правильно понимает меня и уже намечает свои «меры», потому что он не может смириться с тем, что кто-то стоит на его пути. Такие сложились условия работы. Что же потом предложил Берия, эта бесстыдница? Как-то мы ходили, гуляли, и он стал развивать такую мысль: «Все мы ходим под богом, как говорили в старое время, стареем, все может случиться с каждым из нас, а у нас остаются семьи. Надо подумать и о старости, и о своих семьях. Я предложил бы построить персональные дачи, которые должны быть переданы государством в собственность тем, кому они построены». Для меня был уже не удивителен такой ход мышления. Он полностью вязался с образом Берии. И к тому же я был убежден, что все это говорилось в провокаторских целях. А он продолжает: «Предлагаю строить дачи не под Москвой, а в Сухуми. О, какой это город!» И стал говорить, какой это чудесный город. «Но предлагаю строить в Сухуми не на окраинах. Зачем идти за город? Надо освободить в центре города большой участок, посадить там сад, развести персики».

И стал хвалить, какие растут там персики, какой виноград. Потом развивал свои мысли дальше.

У него все было продумано: какой нужен обслуживающий персонал, какой штат. Все ставилось им на широкую, барскую ногу. «Проект и строительство будет вести Министерство внутренних дел. В первую голову, считаю, надо построить для Егора (то есть для Маленкова), потом тебе, Молотову, Ворошилову, а затем и другим». Я молча слушаю его, пока не противоречу. Потом говорю: «Подумать надо». Кончили разговор, и мы оба с Маленковым поехали на дачу. Ехали в машине вдвоем. Подъехали к повороту с Рублевского шоссе. Там мы с Маленковым должны ехать дальше налево, а Берия — прямо. И я сел с Маленковым в одну машину. Говорю ему: «Как ты на это смотришь? Это же чистойшей провокация». — «Ну почему ты так относишься к его словам?» — «Я его вижу насквозь, это провокатор. Разве можно так делать? Давай сейчас не противоречить, пусть он этим занимается и думает, что его замысел никто не понимает».

И Берия начал развивать свою идею. Поручил составить проекты. Когда их закончили, пригласил нас, показал проекты и предложил начать строительство. Докладывал нам по этим вопросам известный строитель. Сейчас этот товарищ работает начальником строительства предприятий атомной энергии. Я его знал еще до войны и по событиям в войне. Берия считал его близким себе лицом, ибо он работал у Берии и выполнял то, что тот ему говорил. После новой встречи я сказал Маленкову: «Пойми, у Берии есть дача. Он нам говорит, что себе тоже там выстроит, но он не будет себе строить. А вот тебе построит, и это будет сделано для твоей дискредитации». — «Нет, нет, ну что ты!» А для меня существенным был факт, что Берия предлагал построить собственные дачи обязательно в Сухуми. В проекте уже было намечено место, где будет возведена дача Маленкова. По плану предвиделось выселение большого количества людей, проживавших там. Министр, который нам докладывал, говорил, что надо выселить огромное их количество и что такая стройка — сущее бедствие. Шутка ли сказать, там их собственность, сколько поколений там прожило, и вдруг их выселяют?

Берия же объяснял, что место выбрано таким образом, чтобы Маленков из своей дачи мог видеть Черное море и за Турцией наблюдать. Он даже шутил: «Турецкий берег будет на горизонте, очень красиво». А когда все разошлись и мы опять остались наедине с Маленковым, я говорю ему: «Ты разве не понимаешь, чего хочет Берия? Он хочет сделать погром, выбросить людей, разломать их очаги и выстроить там тебе дворец. Все это будет обнесено забором. Начнется клекотание негодования

в городе. Всех будет интересовать, для кого это строят? И когда все будет закончено, ты приезжаешь, и люди видят, что в машине сидит Председатель Совета Министров СССР; весь погром, все выселение людей сделаны для тебя. Возмущение проявится не только в Сухуми, оно перебросятся в другие места. А это и нужно Берии. Ты сам тогда попросишь об отставке». Маленков призадумался.

Поговорил Берия о дачах и с Молотовым. Я не ожидал такого от Молотова, но Молотов вдруг согласился. Он сказал только, что ему пусть построят не на Кавказе, а под Москвой. Я был удивлен. Я-то думал, что Молотов вспыхнет и начнет возражать. Не знаю, как это получилось. И так как никто пока не высказался активно против, машина заработала. Подготовили проекты, Берия просмотрел их. После работы мы заезжали к Берии, и он показывал мне проект моей дачи. «Эй, слушай, какой хороший дом, смотри какой». Я ему: «Да, мне очень нравится». — «Возьми проект домой». Привез я проект домой и, признаться, не знал, куда его деть. Нина Петровна, жена, говорит мне: «Что это у тебя?» Я признался ей. Жена возмутилась: «Это безобразие!» Я не смог ничего объяснить Нине Петровне и сказал только: «Давай уберем его, потом поговорим».

Итак, дело завертелось. Берия форсировал строительство, но до его ареста так ничего и не было сделано по существу. Когда же его арестовали, мы тотчас все отменили. А проект дачи долгое время валялся где-то у меня. Тогда же Берия развил бешеную деятельность по вмешательству в жизнь партийных организаций. Он сфабриковал документ о положении дел в украинском руководстве. Первый удар из числа им задуманных он решил нанести по украинской парторганизации. Я полагал, что он развивал это дело с тем, чтобы втянуть туда и мою персону. Он собирал нужные ему материалы через Министерство внутренних дел УССР и начал втягивать в подготовку дела начальников областных управлений МВД. Начальником УВД во Львове был Строкач. Ныне он уже умер. Это был честный коммунист и хороший военный. До войны он был полковником, командовал погранвойсками. Во время войны работал начальником штаба украинских партизан и всегда докладывал мне о положении вещей на оккупированной врагом территории. Я видел, что это честный и порядочный человек. После войны он был назначен уполномоченным МВД по Львовской области, где действовали бандеровцы.

Позднее мы узнали, что когда к нему обратился министр внутренних дел Украины и потребовал от него компрометирующих материалов о партийных работниках, то Строкач сказал, что это не его дело, а секретари

ря обкома партии, пусть обращаются туда. Тогда Строкачу позвонил Берия и сказал, что если он станет умничать, то будет превращен в лагерную пыль. Но в 1953 году мы сначала ничего не знали, хотя чувствовали, что идет наступление на партию, ее подчиняют Министерству внутренних дел. Записку Берии о руководящих кадрах Украины мы обсуждали в ЦК КПСС. В результате было принято решение освободить Мельникова от обязанностей секретаря ЦК КПУ, а на его место избрать Кириченко. Идея Берии состояла в том, что местные, национальные кадры якобы не допускаются к руководству, что их не выдвигают, и предложил ввести в состав Президиума ЦК КПУ Корнейчука. Так и было сделано на Пленуме. Но мне рассказали товарищи уже после того, как Берия был арестован, как проходил тот Пленум. Корнейчук неправильно понял, почему его кандидатура была выдвинута, и начал говорить всякие там словеса в пользу Берии. Не сообразил, ради чего Берия так высказался.

Следующая записка Берии касалась прибалтов, потом Белоруссии. И все — той же направленности. В его предложениях далеко не все было неправильным. ЦК КПСС и сам к тому времени взял курс на выдвижение национальных кадров. И мы приняли решение, что в республиках пост первого секретаря ЦК должен занимать местный человек, а не присланный из Москвы русский. Вообще же у Берии имелась антирусская направленность. Он проповедовал, что на местах царит засилье русских, что надо их осадить. Так все и поняли и начали громить не только русские, но и те национальные кадры, которые не боролись с русским «засильем». Это произошло во многих партийных организациях национальных республик.

Я не раз говорил Маленкову: «Неужели ты не видишь, куда клонится дело? Мы идем к катастрофе. Берия подобрал для нас ножи». Маленков мне: «Ну, а что делать? Я вижу, но как поступить?» Я ему: «Надо сопротивляться, хотя бы в такой форме: ты видишь, что вопросы, которые ставит Берия, часто носят антипартийную направленность. Надо не принимать их, а возражать». — «Ты хочешь, чтобы я остался один? Но я не хочу». — «Почему ты думаешь, что останешься один, если начнешь возражать? Ты и я — уже двое. Булганин, я уверен, мыслит так же, потому что я не один раз обменивался с ним мнениями. Другие тоже пойдут с нами, если мы будем возражать аргументированно, с партийных позиций. Ты же сам не даешь возможности никому слова сказать. Как только Берия внесет предложение, ты сейчас же спешишь поддержать его, заявляя: верно, правильное предложение, я «за», кто «против»? И сразу голосуешь. А ты дай возможность высказаться другим, попридержи себя, не

выскакивай и увидишь, что не один человек думает иначе. Я убежден, что многие не согласны по ряду вопросов с Берией».

И я предложил: «Мы ведь составляем повестку дня. Давай поставим острые вопросы, которые, с нашей точки зрения, неправильно вносятся Берией, и станем возражать ему. Я убежден, что мы тем самым мобилизуем других членов Президиума, и решения Берии не будут приняты». Маленков наконец-то согласился. Я был, честно говоря, и удивлен, и обрадован. Составили мы очередную повестку дня заседания Президиума ЦК. Сейчас не помню, какие тогда вопросы стояли, прошло много лет. На заседании мы аргументированно выступили «против» по всем вопросам. Другие нас тоже поддержали, и идеи Берии не прошли. Так получилось подряд на нескольких заседаниях. Только после этого Маленков обрел надежду, что, оказывается, с Берией можно бороться сугубо партийными методами, оказывать собственное влияние на решение вопросов и отвергать те предложения, которые с нашей точки зрения не являются полезными для партии и страны.

Мы видели, что Берия стал форсировать события. Он уже чувствовал себя над членами Президиума, важничал и даже внешне демонстрировал свое превосходство. Мы переживали очень опасный момент. Я считал, что нужно срочно действовать, и сказал Маленкову, что надо поговорить с другими членами Президиума по этому поводу. Видимо, на заседании такое не получится, и надо с глазу на глаз поговорить с каждым, узнать мнение по коренному вопросу отношения к Берии. С Булганиным я по этому вопросу говорил раньше и знал его мнение. Он стоял на верных позициях и правильно понимал опасность, которая грозила партии и всем нам со стороны Берии. Маленков тоже согласился: «Да, пора действовать». Мы условились, что я прежде всего поговорю с Ворошиловым, поеду к нему. Имелась какая-то комиссия, в которую входили и Ворошилов, и я. Я решил использовать это обстоятельство, позвонил Клименту Ефремовичу и сказал, что хотел бы встретиться с ним, поговорить по такому-то вопросу. Ворошилов ответил, что он сейчас приедет ко мне в ЦК. «Нет, — говорю, — прошу меня принять, я сам приеду к тебе». Но он настаивал, что это он приедет. В конце концов я настоял на своем. Мы условились с Маленковым, что после разговора с Ворошиловым (это было перед самым обедом) я приеду домой, зайду к Маленкову, и мы отобедаем вместе. Мы жили тогда с Маленковым в одном доме и в одном подъезде, только я этажом выше.

Приехал я к Ворошилову в Верховный Совет, но у меня не получилось того, на что я рассчитывал. Как только я открыл дверь и переступил порог его кабинета, он очень громко стал восхвалять Берию: «Ка-

кой у нас, товарищ Хрушев, замечательный человек Лаврентий Павлович, какой это исключительный человек!» Я ему: «Может, ты зря так говоришь, преувеличиваешь его качества?» Но я уже не мог говорить с ним о Берии так, как было задумано. Моя-то оценка была совершенно противоположной, и я бы своим мнением поставил Ворошилова в неловкое положение. Он мог не согласиться со мной просто из самолюбия: только что, когда я вошел, он восхвалял его, а потом сразу перешел на мою позицию, которая сводилась к необходимости устранения Берии. И я перебрался с ним словами по вопросу, о котором официально договорился по телефону: чепуховый какой-то вопрос. И сейчас же вернулся обедать, как мы условились с Маленковым.

Рассказал Маленкову, что у меня ничего не получилось, что я не смог поговорить с Ворошиловым, как было задумано. Я полагал, что Ворошилов мог так говорить, рассчитывая, что его подслушивают, и говорил это для «ушей Берии». С другой стороны, он считал меня близким к Берии, потому что часто видел нас втроем: Берию, Маленкова и меня. Значит, и тут он говорил это для Берии, что тоже свидетельствует об обстановке, которая вынуждала людей идти на такие приемы поведения и брать грех на душу против своей совести.

Мы договорились с Маленковым, что далее я поговорю с Молотовым. Молотов был тогда министром иностранных дел. Раньше он мне часто звонил сам, говорил, что хотел бы со мной встретиться в ЦК и поговорить по вопросам мидовских кадров. Я воспользовался раз таким его звонком и сказал: «Ты хотел со мной встретиться? Я готов. Если можешь, приезжай, поговорим с тобой о кадрах». А когда он приехал, я ему сказал: «Давай о кадрах, только не мидовских». И начал высказывать ему свою оценку роли Берии. Говорил, какая опасность грозит сейчас партии, если не остановить начатый им процесс разгрома партийного руководства. Молотов, видимо, сам немало думал об этом. Не мог не думать, потому что он сам все знал и видел похожее еще при жизни Сталина. Когда Молотов пользовался у Сталина еще доверием, я лично слышал, как он очень резко высказывался против Берии, но не при Сталине, а когда выходил от Сталина, имея в виду провокационный метод Берии. Если Берия вносил какое-то предложение, а Сталин высказывался против, то Берия тут же обращался к кому-то из сидящих: «Ну что ты предлагаешь? Это не годится!» Так он не раз поступал с Молотовым, и Молотов реагировал очень резко.

Поэтому, как только я заговорил с Молотовым, он полностью со мной согласился. «Да, верно, но хочу спросить: а как держится Маленков?» — «Я разговариваю сейчас с тобой от имени и Маленкова, и Булганина. Маленков, Булганин и я уже обменялись мнениями по этому вопросу». — «Правильно,

что вы поднимаете этот вопрос. Я полностью согласен и поддерживаю вас. А что вы станете делать дальше и к чему это должно привести?» — «Прежде всего нужно освободить Берия от обязанностей члена Президиума ЦК, заместителя Председателя Совета Министров СССР и от поста министра внутренних дел». Но Молотов сказал, что этого недостаточно: «Берия очень опасен, и я считаю, что надо пойти на более крайние меры». — «Может быть, задержать его для следствия?»

Я говорил «задержать» потому, что у нас прямых криминальных обвинений в его адрес не было. Я-то мог думать, что он был агентом мусаватистов, но об этом говорил Каминский. И такие факты никем не проверялись, а я не слышал, чтобы имело место хоть какое-то разбирательство этого дела. Правда ли то было или неправда, однако я верил Каминскому, потому что это был порядочный и сугубо партийный человек. Но в отношении провокационного поведения Берии все у нас было основано на интуиции. А по интуитивным мотивам человека арестовать невозможно. Поэтому я говорил, что его надо задержать «для проверки». Это как раз было возможно.

Итак, мы договорились с Молотовым, а потом я рассказал все Маленкову и Булганину. И мы решили, что следует форсировать ход дела, потому что нас могут подслушать или кто-либо нечаянно проговорится, сведения о наших шагах дойдут до Берии, и Берия нас просто арестует. Тогда же мы условились, что я должен поговорить с Сабуровым, тоже членом Президиума. Сабуров очень быстро ответил мне: «Я полностью согласен». И тоже спросил: «А что Маленков?» Об этом спрашивали все, с кем я заговаривал. Кагановича в то время в Москве не было, он находился на лесозаготовках, проверял, как идут там дела. Когда Каганович вернулся, я попросил его заехать в ЦК. Он приехал вечером, и мы сидели с ним очень долго. Он подробно мне рассказывал о Сибири, о лесозаготовках. Я его не останавливал, хотя у меня голова была занята совершенно другим. Я проявлял вежливость, тактичность, ждал, когда его тема иссякнет.

Когда я увидел, что наступил конец, то сказал: «Это все интересно, о чем ты рассказывал. Теперь я тебе хочу рассказать, что делается у нас». Каганович сразу наострил уши: «А кто «за»?» Он поставил так вопрос, чтобы разведать, каково соотношение сил. Я сказал, что Маленков, Булганин, Молотов и Сабуров согласны, так что, собственно говоря, и без него у нас имеется большинство. Тогда Каганович заявил: «Я тоже «за», конечно, «за», это я просто так спросил». Но я его правильно понял, и он меня понял. Затем спрашивает: «А как же Ворошилов?» И я ему рассказал, какая у меня получилась неловкость с Ворошиловым. «Так он тебе и сказал?» — «Да, он стал

хвалить Берию». Каганович выругался в адрес Ворошилова, но незлобно: «Вот старый хрыч. Он неправду тебе сказал. Он сам мне говорил, что просто невозможно жить дальше с Берией, что он очень опасен, что он может на все пойти и всех нас уничтожить». — «Тогда нужно с ним побеседовать еще раз. Может быть, с ним поговорит Маленков? Мне-то лучше не возвращаться к этому разговору, чтобы не ставить его в неловкое положение». На том и согласились.

Каганович спрашивает: «А Микоян?» — «С Микояном я по этому вопросу еще не говорил, тут сложный вопрос». Мы все знали, что у кавказцев Микояна и Берии существовали наилучшие отношения, они всегда стояли один за одного. И я сказал, что с Микояном поговорить, видимо, надо попозже. О новом разговоре я поведал Маленкову, и он тоже согласился, что с Ворошиловым в данной ситуации лучше поговорить ему. Теперь оставался Первухин. Маленков: «С Первухиным я хочу потолковать сам». — «Учти, что Первухин — человек сложный, я его знаю». — «Но и я его знаю». — «Ну, пожалуйста!» Он пригласил Первухина к себе и потом звонит мне: «Вызвал Первухина, рассказал ему все, а Первухин ответил, что подумает. Это очень опасно. Я тебе это сообщаю, чтобы вызвать его поскорее. Неизвестно, чем это может кончиться». Я позвонил Первухину. Он приехал ко мне, и я ему рассказал все в открытую. Михаил Георгиевич ответил: «Если бы мне Маленков все сказал так, как ты, так и вопросов у меня не возникло бы. Я полностью согласен и считаю, что другого выхода нет». Не знаю, как именно Маленков говорил ему, но кончилось так.

Таким образом, у нас со всеми членами Президиума дело было обговорено, кроме Ворошилова и Микояна. И мы с Маленковым решили начать действовать в день заседания Президиума Совета Министров СССР. На заседании Президиума Совмина я всегда присутствовал: в протоколе был записано, что я должен принимать участие в таких заседаниях. На этих заседаниях отсутствовал Ворошилов. Поэтому мы решили, созвав заседание Президиума Совмина, пригласить Ворошилова. Когда все соберутся, открыть вместо заседания Президиума Совмина заседание Президиума ЦК. Условились еще, что я перед самым заседанием побеседую с Микояном, а Маленков — с Ворошиловым.

Утром того дня я был на даче. Позвонил оттуда Микояну и пригласил его заехать за мной, чтобы вместе отправиться на заседание Президиума Совета Министров СССР. Микоян приехал, и тут я провел беседу. Она была очень длительной. Припоминаю, что мы разговаривали часа два, подробно все обговорили, а потом еще несколько раз возвращались к обговоренному. Позиция Микояна была такой: Берия действительно имеет отрицательные каче-

ства, но он не безнадёжен, в составе коллектива может работать. Это была совершенно особая позиция, которую никто из нас не занимал. Пора было кончать разговор, времени оставалось только на то, чтобы прибыть на заседание. Мы уселись вместе в машину и уехали в Кремль. К тому времени Маленков уже поговорил с Ворошиловым. «Ну и как? Он по-прежнему хвалил Берию?» — «Когда я ему только заикнулся о нашем намерении, Клим обнял меня, поцеловал и заплакал». Так ли это было, не знаю. Но думаю, что врать Маленкову было незачем.

Потом выявился такой вопрос: мы обсудим дело, задержим Берию. А кто именно его задержит? Наша охрана подчинена лично ему. Во время заседания охрана членов Президиума сидит в соседней комнате. Как только мы поднимем наш вопрос, Берия прикажет охране нас самих арестовать. Тогда мы договорились вызвать генералов. Условились, что я беру на себя пригласить генералов. Я так и сделал, пригласил Москаленко и других, всего человек пять. Потом Маленков с Булганиным расширили их круг и пригласили еще Жукова. В результате набралось человек 11 разных маршалов и генералов. Мы условились, что они станут ожидать вызова в отдельной комнате, а когда Маленков даст им знать, то войдут в кабинет, где проходит заседание, и арестуют Берию.

И вот открылось заседание. Ворошилов как Председатель Президиума Верховного Совета СССР, естественно, не мог присутствовать на заседаниях Президиума Совета Министров СССР. Поэтому его появление показалось вроде бы непонятным. И Маленков, открыв заседание, сразу же поставил вопрос: «Давайте обсудим партийные дела. Есть такие, которые необходимо обсудить немедленно, в составе членов Президиума ЦК». Все согласились. Я, как условились заранее, попросил слова у председательствующего Маленкова и предложил обсудить вопрос о Берии. Берия сидел от меня справа. Он встrepенулcя, взял меня за руку, посмотрел на меня и говорит: «Что это ты, Никита? Что ты мелешь?» Я ему: «Вот ты и послушай, как раз об этом я и хочу рассказать».

Вот о чем я говорил. На предвоенном Пленуме ЦК, когда обсуждали положение дел в партии и всех там критиковали, попросил слова Каминский, нарком здравоохранения СССР. Он вышел на трибуну и сделал примерно такое заявление: «Хотел бы сказать, что когда я работал в Баку, то там упорно ходили слухи среди коммунистов, что Берия работал в мусаватистской контрразведке. Хочу сказать об этом, чтобы знали в нашей партии и проверили это». Заседание тогда закончилось, и никто больше по данному вопросу не выступал, сам Берия тоже никакой справки не дал, хотя присутствовал. Был объявлен перерыв, все ра-

зошлись на обед. После обеда Пленум продолжался, но Каминский уже туда не пришел, и никто не знал почему. Тогда это было закономерно. Многие члены ЦК, которые присутствовали на одном заседании, на второе не приходили, попадали во «враги народа» и арестовывались. Каминского постигла та же участь.

Каминского я узнал, когда стал работать секретарем Бауманского, потом Краснопресненского райкомов партии Москвы и особенно с ним сблизился, когда был избран секретарем Московского городского комитета партии в начале 1932 года. Каминский дружил с Михаилом Михайловичем, перспективным работником. Я его весьма уважал и тоже дружил с ним. Естественно, у меня складывалась дружба и с Каминским. Поэтому я верил, что Гриша — порядочный человек. Он был человеком какой-то особой чистоты и морали. Тем не менее, хотя никто на Пленуме не дал никакого объяснения насчет судьбы Каминского, он как в воду канул. Так пропал не только Каминский. Люди исчезали десятками, сотнями, тысячами. Потом уже объявляли, что они являются «врагами народа», да и то говорили не о каждом. У меня давно в голове бродила мысль: почему, когда Каминский сделал такое заявление, никто не дал объяснения? Правильно или неправильно он говорил, было ли это или этого не было — неизвестно...

Потом я рассказал о последних шагах Берии, уже после смерти Сталина, в отношении партийных организаций — украинской, белорусской и других. В своих записках Берия поставил вопросы (эти записки находятся в архиве) о взаимоотношениях в руководстве национальных республик, особенно в руководстве чекистских органов, и предлагал выдвигать национальные кадры. Это правильно, такая линия всегда была налицо в партии. Но он поставил этот вопрос под резким углом антирусской направленности в выращивании, выдвижении и подборе кадров. Он хотел сплотить националов и объединить их против русских. Всегда все враги Коммунистической партии рассчитывали на межнациональную борьбу, и Берия тоже начал с этого.

Затем я рассказал о его последнем предложении — насчет отказа от строительства социализма в ГДР — и о предложении относительно людей, осужденных и отбывших наказание, когда он предложил не разрешать им возвращаться к месту жительства, а право определять их местожительство предоставить Министерству внутренних дел, то есть самому Берии. Тут уже узаконенный произвол! Сказал я и о его предложении вместо радикального решения вопроса о той недопустимой практике ареста людей и суда над ними, которая была при Ста-

лине, снизить максимальный срок осуждения таких лиц органами МВД с 20 до 10 лет. На первый взгляд, предложение вроде бы либеральное, а по существу узаконивающее то, что существовало. Осудить на 20 лет или на 10, положения не меняет. Пройдет 10 лет, и, если нужно, Берия еще добавит 10 лет, а потом снова 10, пока не дожидается смерти неудобного человека. И я закончил словами: «В результате наблюдений за действиями Берии у меня сложилось впечатление, что он вообще не коммунист, а карьерист, который пролез в партию из карьеристских побуждений. Ведет же он себя вызывающе и недопустимо. Невероятно, чтобы честный человек мог так вести себя».

После меня взял слово Булганин. Мы с ним еще при жизни Сталина были единого мнения о Берии. Он тоже высказался в том же духе. И другие проявили принципиальность, но за исключением Микояна. Микоян высказывался последним. Он выступил (не помню сейчас деталей его речи) со следующим заявлением: повторив то, что сказал мне, когда я с ним беседовал перед заседанием, заявил, что Берия может учесть критику, что он не безнадёжен и в коллективе сумеет быть полезным. Когда все высказались, Маленков как председатель должен был подвести итоги и сформулировать постановление. Но он растерялся, и заседание оборвалось на последнем ораторе. Возникла пауза.

Вижу я, что складывается такое дело, и попросил Маленкова, чтобы он предоставил мне слово для предложения. Как мы и условились, я предложил поставить на Пленуме вопрос об освобождении Берии (это делает Президиум ЦК) от всех постов, которые он занимал. Маленков все еще пребывал в растерянности и даже не поставил мое предложение на голосование, а нажал сразу секретную кнопку и вызвал таким способом военных. Первым вошел Жуков, за ним Москаленко и другие. Жуков был тогда заместителем министра обороны СССР. К Жукову у нас тогда существовало хорошее отношение, хотя он на первых порах не назывался в числе тех военных, которые должны были помочь нам справиться с Берией. Почему мы привлекли военных? Высказывались такие соображения, что если мы решили задержать Берию, то не вызовет ли он чекистов, охрану, которая была подчинена ему, и не прикажет ли нас самих изолировать? Мы оказались бы бессильны, потому что в Кремле находилось большое количество вооруженных и подготовленных людей Берии. Поэтому и решено было привлечь к делу военных.

Вначале мы поручили арест Берии Москаленко с пятью генералами. Он с товарищами должны были иметь оружие, а их с оружием

должен был провезти в Кремль Булганин. В то время военные, приходя в Кремль, сдавали оружие в комендатуре. Накануне заседания к группе Москаленко присоединились маршал Жуков и еще несколько человек. И в кабинет вошло человек 10 или более того. И Маленков мягко так говорит, обращаясь к Жукову: «Предлагаю вам как Председатель Совета Министров СССР задержать Берию». Жуков скомандовал Берии: «Руки вверх!» Москаленко и другие обнажили оружие, считая, что Берия может пойти на какую-то провокацию. Берия рванулся к своему портфелю, который лежал на подоконнике, у него за спиной. Я схватил Берию за руку, чтобы он не мог воспользоваться оружием, если оно лежало в портфеле. Потом проверили: никакого оружия там не было, ни в портфеле, ни в карманах. Он просто сделал какое-то рефлекторное движение.

Берию взяли под стражу и поместили в здание Совета Министров, рядом с кабинетом Маленкова. И тут же мы решили, завтра или послезавтра, так скоро, как это будет возможно, созвать Пленум ЦК партии, где поставить вопрос о Берии. Одновременно освободить от занимаемой должности Генерального прокурора СССР, потому что он не вызывал у нас доверия, и мы сомневались, сможет ли он объективно провести следствие. Новым Генеральным прокурором утвердили Руденко и поручили ему провести следствие по делу Берии. Итак, Берию мы арестовали. А куда его девать? Министерству внутренних дел мы не могли доверить его охрану, потому что это было его ведомство, с его людьми. Тогда его заместителями были Круглов и, кажется, Серов. Я мало знал Круглова, а Серова знал лучше и доверял ему. Считал, да и сейчас считаю, что Серов — честный человек. Если что-либо за ним и имелось, как за всеми чекистами, то он стал тут жертвой той общей политики, которую проводил Сталин. Поэтому я предложил поручить охрану Берии именно Серову. Но другие товарищи высказались в том смысле, что нужно быть все-таки поосторожнее. Круглову же мы все не доверяли. И договорились, что лучше всего поручить это дело командующему войсками Московского округа противовоздушной обороны Москаленко. Москаленко взял Берию, поставил вокруг своих людей и перевез Берию к себе на командный пункт, в бомбоубежище. Я видел, что он делает это, как нужно. На этом заседание закончилось.

Как только оно закончилось, ко мне подошел Булганин: «Ты послушай, что рассказывает мой начальник охраны». Тот тоже подошел ко мне. Говорит: «Я узнал, что только что задержали Берию, и хочу сообщить вам о том, что Берия изнасиловал мою падчерицу, школьницу

седьмого класса. Год или несколько больше тому назад умерла ее бабушка, а жена получила инфаркт и легла в больницу. Девочка осталась в доме одна. Однажды вечером она бежала за хлебом как раз мимо дома, где жил Берия. Там она встретила старика, который пристально на нее посмотрел. Она испугалась. Потом ее вызвали чекисты и привели в дом Берии. Берия усадил ее с собой ужинать, предложил тост за Сталина. Она отказывалась, но он настоял, что за Сталина надо выпить. Она согласилась, выпила, а потом заснула, и он изнасиловал ее». Я ответил этому человеку: «Все, что вы рассказали, прокурор учтет при следствии».

Потом нам дали список, в котором имелись фамилии более чем 100 женщин. Их приводили к Берии его люди. А прием у него был для всех один: всех, кто попадал к нему в дом впервые, он угощал обедом и предлагал выпить за здоровье Сталина. В вино он подмешивал снотворное. Потом делал с ними, что хотел. Когда изолировали Берию, он попросил авторучку и бумагу. Мы посоветовались и решили дать ему: может быть, в нем пробудилось какое-то стремление искренне рассказать, что он знает о том, в чем мы его обвинили. И он начал писать. Сначала — записку Маленкову: «Егор, такой-сякой, ты же меня знаешь, мы же друзья, зачем ты поверил Хрущеву? Это он тебя подбил», и прочее. Ко мне он тоже обратился с запиской, в которой писал, что он честный человек. Таким образом он послал несколько записок. Маленков очень волновался, когда читал эти записки. Потом стал говорить, что это они вместе с Берией предложили идею сворачивания строительства социализма в Восточной Германии, и он боится, что дело, направленное против Берии, обернется и против него. Но мы ему сказали, что сейчас обсуждается не этот вопрос. Вопрос же о Берии гораздо глубже, чем о Германии.

Когда Руденко стал допрашивать Берию, перед нами раскрылся ужасный человек, зверь, который не имел ничего святого. У него не было не только коммунистического, а и вообще человеческого морального облика. А уж о его преступлениях и говорить нечего, сколько он загубил честных людей!

Спустя какое-то время после ареста Берии встал вопрос о Меркулове, который в то время был министром Госконтроля СССР. Я, признаюсь, раньше с уважением относился к Меркулову и считал его партийным человеком. Он был культурным человеком и вообще нравился мне. Поэтому я сказал товарищам: «Тот факт, что Меркулов являлся помощником Берии в Грузии, еще не свидетельствует о том, что он его сообщник. Может быть, все-таки это не так? Ведь Берия зани-

мал очень высокое положение и сам подбирал себе людей, а не наоборот. Люди верили ему, работали с ним. Поэтому нельзя рассматривать всех, кто у него работал, как его соучастников по преступлениям. Вызовем Меркулова, поговорим с ним. Возможно, он нам даже поможет лучше разобраться с Берией». И мы условились, что я его вызову в ЦК партии. Вызвал я Меркулова, сообщил, что нами задержан Берия, что ведется следствие. «Вы много лет с ним проработали, могли бы помочь ЦК». — «Я с удовольствием, — говорит, — сделаю все, что смогу». И я ему предложил: «Изложите письменно все, что сочтете нужным».

Прошло сколько-то дней, и он написал большой текст, который, конечно, остался в архиве. Но эта записка ничем нам не помогла. Там были общие впечатления, умозаключения, вроде некоего сочинения. Меркулов пописывал кое-что, включая пьесы, и привык к сочинительству. Когда я послал его материал Руденко, тот прямо сказал, что Меркулова надо арестовать, потому что следствие по делу Берии без ареста Меркулова затруднится и окажется неполным. ЦК партии разрешил арестовать Меркулова. К моему огорчению, выяснилось, что зря я ему доверял. Меркулов был связан с Берией в таких преступлениях, что сам сел на скамью подсудимых и понес одинаковую с ним ответственность. В своем последнем слове, когда приговор был уже объявлен судом, Меркулов проклинал тот день и час, когда встретился с Берией. Он говорил, что это Берия довел его до суда.

ОТ XIX К XX СЪЕЗДУ КПСС

После того, как по окончании XIX съезда КПСС возник вместо прежнего Политбюро ЦК партии новый по названию орган — Президиум ЦК КПСС, Сталин сформировал из его членов широкие комиссии по разным вопросам. На практике оказалось, что эти комиссии неработоспособны, хотя я считаю, что если бы имелось надлежащее руководство ими и им были бы даны конкретные задания, а главное — были бы предоставлены этим комиссиям права, то они сыграли бы положительную роль. Но они не смогли сыграть ее, потому что были предоставлены самим себе, и не существовало никакого плана руководства ими, и не формулировались вопросы, которые ставились бы перед ними. Вопросы выдумывались на ходу. Одним словом, каждый играл там на своем инструменте и вступал в ту минуту, в какую хотел. Не имелось никакого дирижерского руководства.

И вот умер Сталин. Я очень тяжело переживал его смерть. Если говорить искренне, то переживал не потому, что был особо привязан к Сталину, хотя в целом был к нему привязан. Просто он старел, и неизбежная смерть ходила все время рядом с ним. Для меня это было пониманием природной безысходности: все рождается и все умирает, с этим надо считаться. Сталин был в таком возрасте, когда приходилось с такой мерой подступаться к неизбежности смерти человека. Меня тогда больше всего беспокоил состав Президиума, который оставался после смерти Сталина, и особая роль, которую занимал в нем и закрепил за собой Берия: она сулила, в моей оценке, огромные сложности работы и большие неожиданности, я бы даже сказал, катастрофические последствия. Поэтому я оплакивал Сталина как единственную реальную силу сплочения. Хотя эта сила часто применялась очень сумбурно и не всегда в нужном направлении, но все же усилия Сталина были направлены на укрепление и развитие дела социализма, на укрепление завоеваний Октября. В этом у меня не было сомнений. Он допускал варварские способы действий, но я тогда еще не знал, насколько были в полной мере его поступки необоснованными, с точки зрения людей, которые без причины арестовывались и казнились.

Конечно, у меня закрадывались, как у всякого человека, сомнения: «Как же так? Из тех, кто попал под арест или в тюрьму, почти никто не возвращается и почти никто не был оправдан?» В жизни так не должно случаться. Возникали сомнения, что все там обосновано, как надо в смысле правовых норм. Но Сталин — это был Сталин. Авторитет его был громаден, и у меня не появлялось мысли, что этот человек в принципе способен сознательно злоупотреблять властью.

Берия, когда умер Сталин, буквально просиял. Он переродился, помолодел, грубо говоря, повеселел, стоя у трупы Сталина, который и в гроб еще не был положен. Берия считал, что пришла его эра. Что нет теперь силы, которая могла бы сдерживать его и с которой он должен считаться. Теперь он мог творить все, что считал необходимым.

Маленков? Маленков никогда не занимал собственной позиции, не играл собственной роли. Он всегда был на побегушках. Сталин довольно образно при беседах в узком кругу говорил о нем: «Это писарь. Резолюцию он напишет быстро, не всегда сам, но организует людей. Это он сделает быстрее и лучше других, а на какие-нибудь самостоятельные мысли и самостоятельную инициативу он не способен». Да он, помоему, и не претендовал открыто на это. С Маленковым еще лет за пять до смерти Сталина, в Сочи, куда я как-то приехал по вызову Сталина, я однажды резко поговорил, обратив его внимание на то, что он не занимает своей позиции и проявляет бесхребетность в отношении Берии, а Берия издевается над ним. Тогда Маленков сказал мне, что он это знает, но не видит возможности, как поправить дело и избавиться от этого. Он считал, что ему быть вместе с Берией выгодно для его персоны. Впрочем, действительно так оно и было. Он поддерживал Берию, а Берия поддерживал Маленкова. Поэтому акции Маленкова и ценились высоко, хотя Сталин очень критически относился к его личным способностям руководителя.

Булганин? Булганин относился к Берии сдержанно, и когда я с ним говорил по этому вопросу и высказывал свое отрицательное отношение к Берии, он соглашался со мной.

Вот с такими мыслями я стоял у тела Сталина. Я уже рассказывал раньше о наших действиях после смерти Сталина и об аресте Берии и не буду сейчас повторяться. А после ареста Берии и следствия по его делу произошло раскрытие тех тайных пружин, скрытых от нас, которые породили прежде столь большие злоупотребления и вызвали гибель многих честных людей. На меня, в частности, сильное впечатление произвела гибель Кедрова, отца академика-философа Кедрова. Я лично старшего Кедрова не знал. Он был крупным политическим деятелем,

одним из руководителей советских войск на Севере, который в годы гражданской войны организовывал там оборону против интервентов. И у меня возникла потребность приподнять занавес и узнать, как же все-таки велось следствие, какие имели место аресты, сколько людей всего арестовали, какие существовали исходные материалы для ареста и что показало потом следствие по этим арестам? Я поставил эти вопросы на заседании Президиума ЦК и предложил обстоятельно разобраться. Эти вопросы особенно волновали меня потому, что мы уже начали думать о проведении XX съезда партии.

Конечно, не рвались в бой с вскрытием тайных пружин ни Ворошилов, ни Молотов, ни Каганович. Не могу сейчас точно припомнить позицию Микояна. Кажется, Микоян не вел активной линии, и не сдерживал процесса разоблачения несправедливостей. Одним словом, постепенно все согласились, что необходимо провести расследование дела. Создали комиссию. Возглавил ее Поспелов.

Еще до того я пригласил к себе Генерального прокурора СССР Руденко (а он как прокурор уже многие такие дела сам поднял и проверил) и спросил его: «Товарищ Руденко, по открытым судебным процессам 30-х годов насколько действительно обоснованы обвинения, которые предъявлялись Бухарину, Рыкову, Сырцову, Ломинадзе, Крестинскому и многим другим людям, хорошо известным Центральному Комитету, членам Оргбюро и Политбюро? Насколько все это было обосновано?» Руденко сказал, что с точки зрения юридических норм никаких данных для осуждения этих людей не существовало. Все основывалось только на личных признаниях, а личные признания, добытые путем физических и моральных истязаний, не могут служить базой для осуждения людей.

Тогда передо мной встал вопрос: как это могло произойти? Все знали о роли Сталина, его личности, его революционности, его заслугах перед страной и качествах, которые были отмечены партией. Он имел полное основание претендовать на особую роль, потому что действительно выделялся из своего круга и умением организовать дело, и умом. Он действительно стоял выше других. И даже сейчас, несмотря на мою непримиримость относительно его методов действий и его злоупотреблений, я признаю это. Однако, если бы сейчас, например, он был еще жив и состоялось бы голосование по вопросу о его ответственности за содеянное, я занял бы ту позицию, что его надо судить. Но следует и отдать ему должное. Этот человек не просто пришел к нам с мечом и завоевал наши умы и тела. Нет, он проявил в жизни свое превосходство, умение руководить страной, умение подчинять себе лю-

дей, выдвигать их и прочие качества, необходимые руководителю крупного масштаба.

Во всем, что касается личности Сталина, встречается и хорошее, правильное, и дикое, не укладывающееся ни в какие рамки. Надо рассматривать все стороны этой сложной личности. Я больше говорю здесь о темных сторонах просто потому, что восхвалений было достаточно. Главное — сделать должные выводы и не допускать, чтобы подобное могло повториться в будущем. В этом состоит цель моих записок. Любое изучение прошлого должно служить настоящему и будущему.

Напрашивается и одна параллель. Люди моего возраста помнят, как постепенно нарастало восхваление Сталина, и все знают, во что оно вылилось. Сталин умный! Сталин гениальный! Я уже не говорю о других эпитетах: и отец родной, и прочее. Во всем этом наблюдаем ныне большое созвучие тому, *что* в Китае говорят и пишут о Мао. Просмотрите фильмы из Китая. Я нередко вижу их по телевизору. Все приемы в очень значительной степени копируются Мао со Сталина. Закройте глаза и послушайте только высказывания китайцев о Мао Цзэдуне. Если подставить вместо «Мао» «Сталин», то получится наше прошлое. Буквально так же были организованы у нас соответствующие «спектакли». Я считал тогда, что тут налицо слабость Сталина. Но, видимо, дело не только в слабости. Видимо, такие люди, как Сталин и Мао Цзэдун, в этих вопросах очень похожи в принципе друг на друга. Они считают это необходимым, чтобы держать на высоте свой авторитет и не только подчинять себе людей, но и держать их в страхе.

И все-таки возникает вопрос: почему это произошло? Многие люди, с которыми я встречался, спрашивают: «Как же Сталин, умный человек, мог такое делать?» Я не однажды, возвращаясь к этому вопросу, искал ответ для самого себя. И у меня сложился единственный ответ, причем думаю, что он правильный. Чтобы понять корни злоупотреблений, несправедливых казней, тирании Сталина, надо вернуться к завещанию Ленина. Ленин, когда он диктовал свое завещание, ясно предвидел, к чему может привести партию Сталин, если останется в руководстве и будет занимать пост Генерального секретаря ЦК. Ленин писал, что надо отстранить его от этой должности, хотя Сталин и обладает качествами, которые требуются для руководителя. Но он груб и способен злоупотреблять властью, поэтому на таком посту его нельзя держать. Он предложил выдвинуть вместо Сталина человека, который был бы более доступен, более внимателен, терпимее относился бы к товарищам по партии и не злоупотреблял своим высоким положением. Я считаю, что это была точная характеристика. А жизнь полностью подтвердила мысль

Ленина. ЦК партии не прислушался к ленинским словам, не сделал соответствующих выводов и потерпел поражение. Но не только Центральный Комитет, а вся партия была наказана Сталиным его злоупотреблениями, уничтожением партийного и беспартийного актива. В этих действиях Сталина наблюдалось и что-то болезненное. Произошла трагедия для партии, для всего нашего народа.

Материалы комиссии Пospelова, созданной нами в преддверии XX съезда КПСС, явились для многих из нас совершенно неожиданными. Я говорю и о себе, в какой-то степени и о Маленкове, Булганине, Первухине, Сабурове, других. Одновременно считаю, что больше был внутренне подготовлен к возможности вскрытия фактов такого рода, которые были освещены в записке Пospelова, Микоян. Не могу утверждать, что он знал все! Но он все-таки долгое время был ближе всех нас к Сталину, и многие люди, которые работали рядом с ним, которым он доверял и которых уважал, были уничтожены. Зная Анастаса Ивановича, его проницательный ум и его умение обобщать факты, думаю, что если он и не знал всего, то догадывался и допускал, что имелось мало обоснований к тем арестам и особенно казням, которые были произведены во времена правления Сталина. Мне дает основание думать так, в частности, беседа с Анастасом Ивановичем, когда он рассказывал мне о разговоре с Орджоникидзе накануне его гибели.

Мне тогда как члену комиссии по похоронам Серго председатель этой комиссии Авель Сафронович Енукидзе объяснил, что Серго умер скоропостижно от разрыва сердца. Конечно, он объяснял мне так, как приказал Сталин. Позже, совершенно случайно, я как-то в кабинете Сталина стал восхищаться Серго. Это произвело плохое впечатление, мне никто не возразил, но все притихли, приумолкли. Потом Маленков объяснил мне, что Серго застрелился. Конечно, в то время, когда погиб Серго, он тоже ничего этого не знал, ибо тогда был дальше от Сталина, чем я. Но во время Великой Отечественной войны он узнал об этом из случайных разговоров у Сталина. Микоян же рассказывал, уже после смерти Сталина, что Орджоникидзе застрелился в воскресенье, а накануне, в субботу, они гуляли по Кремлю и беседовали. Во время беседы Серго заметил, что не может дольше жить: бороться со Сталиным невозможно, а терпеть то, что он делает, нет сил.

Почему мы создали комиссию Пospelова? Я рассуждал так: мы идем к съезду партии, первому съезду после смерти Сталина. На этом съезде мы должны взять на себя обязательства по руководству партией и страной. Для этого надо точно знать, что делалось прежде и чем были вызваны решения Сталина по тем или иным вопросам. Особенно это каса-

лось людей, которые были арестованы. Вставал вопрос: за что они сидели? И что с ними делать дальше? Тогда в лагерях находилось несколько миллионов человек. Уже прошло три года после смерти Сталина. За эти годы мы не смогли порвать с прошлым, не смогли набраться мужества, обрести внутреннюю потребность приоткрыть полог и заглянуть, что же там на деле за этой ширмой? Что кроется за всем тем, что происходило при Сталине? Что означают бесконечные аресты, суды, произвол, расстрелы? Мы сами были скованы своей деятельностью под руководством Сталина и еще не освободились от посмертного давления, хотя и не могли представить себе, что все эти расстрелы могли оказаться необоснованными, что это, говоря юридическим языком, сплошное преступление. А ведь это так!

Сталиным были совершены уголовные преступления, которые наказуются в любом государстве, за исключением тех, где не руководствуются никакими законами. Получалась двойственная ситуация: Сталин умер, его мы похоронили, а безвинные люди находились в ссылке... Следовательно, все в порядке? Продолжается старая политика и все, что было сделано при Сталине, одобряется? Даже несправедливые аресты и казни? Людей, которые умерли заклеенными как «враги народа», никто и не думал реабилитировать.

Наиболее информированными об истинных размерах и причинах сталинских репрессий были, как я считаю, Молотов, Ворошилов и Каганович. Полагаю, что Сталин обменивался с ними мнением на этот счет. Хотя Каганович, вероятно, всех тонкостей не знал. Вряд ли Сталин с ним откровенно делился. Такой подхалим, как Каганович, да он отца родного резал бы, если бы Сталин лишь моргнул и сказал бы, что это необходимо сделать в интересах какого-то сталинского дела. Сталину и не требовалось втягивать Кагановича: тот сам больше всех кричал где надо и где не надо, из кожи вон лез в угодничестве перед Сталиным, арестовывая направо и налево и разоблачая «врагов». Когда он пришел в Наркомпуть, то развернулся там в полную силу.

После долгой истерии охоты на «врагов народа» мы так и не смогли психологически сбросить груз прежнего до 1956 года. все еще верили в версии, которые создавал Сталин, верили, что в собственной стране мы окружены «врагами народа» и надо с ними бороться, защищать революцию. Мы по-прежнему находились на позиции обострения классово-вой борьбы, как это было теоретически обосновано и практически осуществлено Сталиным. А когда пришли к решению создать проверочную комиссию и она дала свои материалы, эти материалы сделали секретными. Потом, на XX съезде партии, по ее материалам был сделан

мною доклад. Копию доклада разослали по партийным организациям и приняли меры, чтобы разосланные документы не могли где-то на местах остаться.

Мы дали их также для ознакомления братским компартиям. В том числе получила их ПОРП. В Польше как раз тогда умер ее руководитель Берут. После его смерти там вспыхнули волнения, и названный документ попал в руки тех поляков, которые стояли на позиции недружелюбия к Советскому Союзу. Они использовали этот документ в своих целях и размножили его. Мне говорили даже, что поляки его продавали за дешево. Доклад Хрущева, сделанный на закрытом заседании XX съезда КПСС, ценился недорого. Его просто покупали на базаре, включая людей из всех стран мира. Таким образом этот документ был обнародован. Помню, как меня спросили тогда журналисты, что, мол, Вы можете сказать по этому поводу? Я ответил им, что такого документа не знаю и пусть на этот вопрос отвечает разведка США. А как я должен был ответить, если речь шла о секрете?

Итак, мы подошли вплотную к очередному съезду партии. Я отказывался от отчетного доклада и считал, что раз мы провозгласили коллективное руководство, то отчетный доклад должен делать не обязательно секретарь ЦК. Поэтому на очередном заседании Президиума ЦК я предложил решить, кто будет делать отчетный доклад. Все, в том числе Молотов (а он как старейший среди нас имел более всего оснований претендовать на роль докладчика), единогласно высказались за то, чтобы доклад сделал я. Видимо, тут сыграло свою роль то обстоятельство, что по формальным соображениям именно Первый секретарь Центрального Комитета обязан выступить с отчетом. Если же обратиться к другому докладчику, то могло оказаться много претендентов, что вызовет сложности. После смерти Сталина среди нас не было человека, который считался бы признанным руководителем. Претенденты были, но признанного всеми лидера не имелось. Поэтому и поручили сделать доклад мне. Но при этом некоторые, в их числе Ворошилов и Каганович, возражали против того, чтобы говорить на съезде что-либо о незаконных репрессиях при Сталине.

Я подготовил доклад, его обсудили на Пленуме ЦК и одобрили. Доклад явился плодом коллективного творчества, к его составлению были привлечены большие силы в самом ЦК, из научно-исследовательских институтов и ряда других органов, а также те лица, которые обычно привлекались к составлению отчетных докладов. Начался съезд. Состоялся доклад. Развернулись прения. Съезд шел хорошо. Для нас это было, конечно, испытанием. Каким будет съезд после смерти Сталина? Но все

выступавшие одобряли линию ЦК, не чувствовалось никакой оппозиции, ходом событий не предвещалось никакой бури. Я же все время волновался, несмотря на то что съезд шел хорошо, а доклад одобрялся выступавшими. Однако я не был удовлетворен. Меня мучила мысль: «Вот кончится съезд, будет принята резолюция, и все это формально. А что дальше? На нашей совести останутся сотни тысяч безвинно расстрелянных людей, включая две трети состава Центрального Комитета, избранного на XVII съезде. Мало кто уцелел, почти весь партийный актив был расстрелян или репрессирован. Редко кому повезло так, что он остался живым. Что же теперь?»

Записка комиссии Пospelова сверлила мне мозг. Наконец я собрался с силами и во время одного из перерывов, когда в комнате Президиума ЦК находились только его члены, опять поставил вопрос: «Товарищи, а как быть с запиской Пospelова? Как быть с прошлыми расстрелами и арестами? Кончится съезд, и мы разъедемся, не сказав своего слова? Ведь мы уже знаем, что люди, подвергавшиеся репрессиям, были невинновны и не являлись «врагами народа». Это — честные люди, преданные партии, революции, ленинскому делу строительства социализма в СССР. Они будут возвращаться из ссылки. Мы же держать их теперь там не станем. Надо подумать, как их возвратить с честью». Мы к тому времени еще не приняли решения о пересмотре дел и возврате невинно заключенных домой.

Как только я кончил говорить, сразу все на меня набросились. Особенно Ворошилов: «Что ты? Как это можно? Разве возможно все это рассказать съезду? Как это отразится на авторитете нашей партии, нашей страны? Этого же в секрете не удержишь. И нам тогда предъявят претензии. Что же мы скажем о нашей личной роли?» Очень горячо возражал и Каганович, и тоже с тех же позиций. Это были позиции не глубокой партийности, а шкурные. Это было желание уйти от ответственности, и если состоялось преступление, то замаять его и прикрыть.

Я им: «Это невозможно, если даже рассуждать с ваших позиций. Невозможно скрыть. Люди будут выходить из тюрем, приезжать к родным, расскажут родственникам, знакомым, друзьям, товарищам, как все было, и станет достоянием всей страны и всей партии, что те, кто остался в живых, были репрессированы невинно. Люди отсидели по 15 лет, а кое-кто и гораздо больше, и совершенно ни за что. Все обвинения были выдумкой. Умолчать невозможно. Потом прошу подумать вот над чем: мы проводим первый съезд после смерти Сталина. Считаю, что именно на таком съезде мы должны чистосердечно рассказать всю правду о жизни и деятельности нашей партии и Центрального Комитета за отчетный пе-

риод. Мы отчитываемся сейчас за период после смерти Сталина, но как члены ЦК обязаны сказать и о сталинском периоде. Мы же были в руководстве страны вместе со Сталиным. Когда от бывших заключенных партия узнает правду, нам скажут: позвольте, как же это так? Состоялся XX съезд, и там нам ни о чем не рассказали. И мы ничего не сумеем ответить. Сказать, что мы ничего не знали, будет ложь: ведь мы теперь знаем обо всем правду, и о репрессиях, ничем не обоснованных, и о произволе Сталина».

В ответ опять очень бурная реакция. Ворошилов и Каганович повторяли без конца: «Нас притянут к ответственности. Партия обретет право притянуть нас к ответственности. Мы входили в состав руководства, и если мы не знали всей правды, так это наша беда, но ответственны мы за все». Я им: «Если рассматривать нашу партию как партию, основанную на демократическом централизме, то мы, ее руководители, не имели права не знать. Я, да и многие другие находились в таком положении, что, конечно, не знали многого, потому что был установлен такой режим, когда ты должен знать только то, что тебе поручено, а остальное тебе не говорят, и не суй носа дальше этого. Мы и не совали нос. Но не все были в таком положении. Некоторые из нас знали, а некоторые даже принимали участие в решении этих вопросов. Поэтому здесь степень ответственности разная. Я лично готов как член ЦК партии с ее XVII съезда и как член Политбюро с ее XVIII съезда нести свою долю ответственности, если партия найдет нужным привлечь к ответственности тех, кто был в руководстве во времена Сталина, когда допускался произвол».

Со мной опять не соглашались. Возражали: «Да ты понимаешь, что произойдет?» Особенно крикливо реагировали Ворошилов и Молотов. Ворошилов доказывал, что вообще не надо делать это: «Ну, кто нас спрашивает?» — повторял он. Снова я: «Преступления-то были? Нам самим, не дожидаясь других, следует сказать, что они были. Когда нас будут спрашивать, то уже станут осуждать. Я не хочу этого и не буду брать на себя такую ответственность».

Но согласия никакого не было, и я увидел, что добиться правильного решения от членов Президиума ЦК не удастся. В Президиуме же съезда мы пока этот вопрос не поставили, пока не договорились внутри Президиума ЦК. Тогда я выдвинул такое предложение: «Идет съезд партии. Во время съезда внутренняя дисциплина, требующая единства руководства среди членов ЦК и членов Президиума ЦК, уже не действует, ибо съезд по значению выше. Отчетный доклад сделан, теперь каждый член Президиума ЦК и член ЦК, в том числе и я, имеет право выступить на съезде и изложить свою точку зрения, даже если она не совпадает с

точкой зрения отчетного доклада». Я не сказал, что выступлю с сообщением о записке комиссии. Но, видимо, те, кто возражал, поняли, что я могу выступить и изложить свою точку зрения касательно арестов и расстрелов. Сейчас не помню, кто после этого персонально поддержал меня. Думаю, что это были Булганин, Первухин и Сабуров. Не уверен, но думаю, что, возможно, Маленков тоже поддержал меня. Он был секретарем ЦК по кадрам, его роль в этом деле была довольно активной. Он, собственно, и помогал Сталину выдвигать кадры, а потом уничтожать их. Я не утверждаю, что он проявлял личную инициативу в репрессиях. Вряд ли. Но в тех краях и областях, куда Сталин посылал Маленкова для наведения порядка, тысячи людей были репрессированы и многие из них казнены. Тем не менее Маленков мог теперь поддержать меня.

Кто-то проявил инициативу: «Раз вопрос ставится так, видимо, лучше сделать еще один доклад». Тут все неохотно согласилось, что придется делать. Я сказал им: «Даже у людей, которые совершили преступления, раз в жизни наступает такой момент, когда они могут сознаться, и это принесет им если не оправдание, то снисхождение. Если даже с этой позиции рассматривать вопрос о докладе насчет злоупотреблений, совершенных Сталиным, то такой доклад можно сделать только сейчас, на XX съезде. На XXI уже будет поздно, если мы вообще сумеем дожить до того времени и с нас не потребуют ответа раньше. Поэтому лучше всего сделать второй доклад теперь».

Тогда возник вопрос, кто же должен делать доклад. Я предложил, чтобы это был Пospelов, и аргументировал свое предложение тем, что он изучил этот вопрос как председатель комиссии и составил записку, которой мы, собственно, и пользуемся. Поэтому ему не нужно готовиться: он может переделать записку в доклад и прочтет его съезду. Другие (не помню, кто персонально) стали возражать и предложили, чтобы этот доклад сделал тоже я. Мне было неудобно: ведь в отчетном докладе я ни слова об этом не сказал, а потом делаю еще и второй доклад? И я отказался. Но мне возразили: «Если сейчас выступишь не ты, а Пospelов, тоже как один из секретарей ЦК, то возникнет вопрос: почему это Хрущев в своем отчетном докладе ничего не сказал, а Пospelов выступил по такому важному вопросу в прениях? Не мог же Хрущев не знать его записки или не считаться с важностью вопроса. Значит, по этому вопросу имеются разногласия в руководстве? А Пospelов выступил только с собственным мнением?» Этот аргумент пересилил, и я согласился. Было решено, что я выступлю с докладом по теме записки. Мы устроили закрытое заседание во время прений по отчету ЦК, там я и сделал второй доклад.

Съезд выслушал меня молча. Как говорится, слышен был полет мухи. Все оказалось настолько неожиданным. Нужно было, конечно, понимать, как делегаты были поражены рассказом о зверствах, которые были совершены по отношению к заслуженным людям, старым большевикам и молодежи. Сколько погибло честных людей, которые были выдвинуты на разные участки работы! Это была трагедия для партии и для делегатов съезда. Вот как родился доклад на XX съезде КПСС о злоупотреблениях со стороны Сталина.

Считаю, что вопрос был поставлен абсолютно правильно и своевременно. Не только не раскаиваюсь, как кое-кто может думать, но доволен, что правильно уловил момент и настоял, чтобы такой доклад был сделан. Ведь все могло произойти иначе, мы находились в шоке, а людей держали по-прежнему в тюрьмах и лагерях. Мы создали в 1953 году, грубо говоря, версию о роли Берии: что, дескать, Берия полностью отвечает за злоупотребления, которые совершились при Сталине. Это тоже было результатом шока. Мы тогда никак еще не могли освободиться от идеи, что Сталин — друг каждого, отец народа, гений и прочее. Невозможно было сразу представить себе, что Сталин — убийца и изверг. Поэтому после процесса над Берией мы находились в плену этой версии, нами же созданной в интересах реабилитации Сталина: не бог виноват, а угодники, которые плохо докладывали богу, а потому бог насылал град, гром и другие бедствия. Народ страдал не потому, что бог того хотел, а потому, что плох был Николай-угодник, Илья Пророк, Берия и прочие. Еще и сейчас иной раз встречаются люди, которые ставят вопрос: «А может быть, не надо было рассказывать о Сталине?» Это вовсе не соучастники Сталина в злодеяниях, а простые люди: они привыкли к тому, что молились на Сталина, и сейчас им трудно. Обычно такие вопросы задают старые люди. Они сжились с былым, им трудно отрешиться от прежних понятий и аргументации сталинских времен. Это тоже один из недостатков воспитания членов партии. Все методы воспитания в партии Сталин приспособил к себе, к своей деятельности: подчинение без рассуждений, абсолютное доверие. Идти на смерть без сомнений, конечно, во время войны хорошо, но это потом всегда поворачивается обратной стороной, потому что человек, верящий тебе без рассуждений, когда узнает, что его доверие обмануто, становится твоим же врагом. Это очень опасно. Я всегда стоял, а сейчас тем более стою за правдивость, абсолютную правдивость перед партией, комсомолом и всем народом. Только в этом заключается неисчерпаемый источник силы партии, только так можно завоевать доверие народа. Узнают люди, что партия обманывала широкие массы, наступит партии конец.

Сейчас я часто слушаю радио. Радио — это мой спутник во время прогулок. От него я получаю и информацию, и удовольствие. Я люблю народную музыку, народные песни. Кое-что нравится мне и из современной музыки. Но, каюсь, видимо, человек в моем возрасте больше склоняется к тому, на чем он был воспитан в молодости. Особенно в хорошее настроение прихожу от пения Людмилы Зыкиной, это моя любимая певица. Слушаю и другие передачи. Передач очень много, большинство хороших, но встречается и дребедень, которая лишь засоряет эфир.

Однажды я услышал чтение одной из последних глав романа Шолохова «Они сражались за Родину». Михаил Александрович верен своим творческим приемам: историю периода злоупотреблений Сталина, его расправ над верными и честными кадрами, воспитанными Лениным, он передает в форме беседы двух рыбаков. Сидят они и разговаривают. Один задает другому вопрос: «Как понимать товарища Сталина? Говорят, что он проглядел. А сколько людей было наказано, сколько казнено! Как мог Сталин допустить это?» — «Да, трудно понять», — отвечает другой. Тогда первый опять спрашивает: «А не Берия ли тут главный виновник? Ведь он все Сталину докладывал?» И ответ: «Да, все дело в Берии».

Михаил Александрович — умный человек и хороший писатель. Но тот факт, что он навязывает подобное понимание трагедии партии и народа, когда столько людей погибло от руки Сталина, конечно, не является украшением этого автора. Тут ведь элементарная вещь: не Берия создал Ежова, а еще раньше — Ягоду. Все они последовательно сходили со сцены. Одни «герои», созданные Сталиным, заменялись другими, и это тоже было логичным для Сталина. Сталин чужими руками уничтожал честных людей и знал, что они чисты перед народом и перед партией. Эти люди гибли в результате только того, что он их боялся и не доверял им. Потому надо было постепенно убирать одних душителей и заменять другими. Так сложилось три эшелона карателей: сперва Ягода, затем Ежов, потом Берия.

На Берии это оборвалось. Точнее говоря, не на самом Берии, а в результате смерти Сталина. Берия же предстал перед судом народа как преступник. Но мы тогда еще находились в плену у мертвого Сталина и, даже когда многое узнали после суда над Берией, давали партии и народу неправильные объяснения, все свернув на Берию. Нам он казался удобной для того фигурой. Мы делали все, чтобы выгородить Сталина, хотя выгораживали преступника, убийцу, ибо еще не освободились от поклонения перед Сталиным.

Впервые я по-настоящему почувствовал ложность нашей позиции, когда приехал в Югославию и беседовал там с Тито и другими товари-

щами. Когда мы затронули этот вопрос и сослались на Берию, они стали улыбаться и подавать иронические реплики. Это нас раздражало, и мы, защищая Сталина, вступили в большой спор, дошедший даже до скандала. Потом я публично выступил в защиту Сталина и против югославы. Сейчас всем ясно, что это было неправильно, тут у меня была позиция человека, который не осознал необходимости разоблачить до конца преступления Сталина, чтобы подобные методы действий никогда не могли вернуться в нашу партию. Тот, кто действительно хочет установления в нашей партии ленинских порядков, а не сталинских, должен приложить все силы к разоблачению Сталина и осуждению сталинских методов. Необходима реабилитация тех честных людей, из которых многие еще не реабилитированы, и разоблачение творившихся ранее беззаконий, с тем чтобы даже призрак подобных методов не мог подняться из могилы.

Удивляюсь некоторым крупным военачальникам, которые в своих воспоминаниях хотят обелить Сталина и представить его отцом народа, доказать, что если бы не он, то мы не выиграли бы войну и подпали под пяту фашистов. Это глупые рассуждения, рабские понятия. Что же теперь, когда нет Сталина, мы подпадем под немецкое или американское влияние? Нет, никогда. Народ выдвинет новых руководителей и сумеет постоять за себя, как это было всегда. Несуразность таких рассуждений не нуждается в особом доказательстве.

Помню, как выступал на каком-то собрании один наш военачальник и, говоря добрые слова о Сталине, тут же возвеличивал и Блюхера. А другие, говоря о Сталине, тут же возвеличивали Тухачевского. Товарищи, надо же сводить концы с концами! Нельзя на один пьедестал ставить убийцу и его жертвы. Кто такой Блюхер? Герой гражданской войны, военный самородок, слесарь, выдвинувшийся в крупного полководца. Он получил орден Красного Знамени № 1. Одно это говорит о том, кем был Блюхер. Потом как один из лучших советских командармов он был послан в Китай военным советником к Сунь Ятсену. И вдруг он расстрелян! Нельзя говорить одновременно о Сталине и Блюхере, умалчивая о причинах гибели Блюхера. Нельзя закрывать глаза, считать, что никто ничего не видит. Подобные поступки могут вызвать только недоверие.

Когда я был как-то в Болгарии, то в одном из своих выступлений привел слова Пушкина, в произведении которого беседуют Моцарт и Сальери. Моцарт, не подозревая, что Сальери готовится его отравить, говорит: «Гений и злодейство несовместимы». Верно! Так и со Сталиным. Нельзя сочетать гения и убийцу в одном лице. Нельзя объединять тысячи жертв с их убийцей, ничего не объясняя насчет Сталина. Нельзя на одном пьедестале возводить два памятника. Злодейства были учинены Сталиным!

По каким мотивам — другой вопрос. Некоторые аргументируют так: это было сделано не в корыстных личных целях, а в качестве заботы о своем народе. Ну и дикость! Заботясь о народе, убивать лучших его сынов! Довольно дубовая логика. Правда, находить аргументы, оправдывающие убийц, всегда было сложно.

В моем докладе на XX съезде партии ничего не было сказано об открытых процессах 30-х годов, на которых присутствовали представители братских коммунистических партий. Тогда судили Рыкова, Бухарина, других вождей народа. Они заслуживают того, чтобы называться вождями. Взять, например, Рыкова. Он после смерти Ленина стал председателем Совета Народных Комиссаров СССР, имел большие заслуги перед партией, перед народом и достойно представлял Советскую власть. А его судили и расстреляли. А Бухарин? Бухарин был одним из любимцев партии. По его книгам старшее поколение членов РКП(б) обучалось марксистско-ленинскому уму-разуму. Бухарин много лет был редактором газеты «Правда». Ленин любовно называл его «Наш Бухарчик». Или Зиновьев и Каменев. Да, у них имелись октябрьские ошибки 1917 года. Это всем известно, но известно и другое. Зиновьев и Каменев были привлечены Лениным к работе в Политбюро ЦК партии и наряду с другими руководили ею. Когда Советское правительство переехало в Москву, Зиновьев остался в Петрограде. Ему было доверено руководство колыбелью революции, городом, который поднял знамя восстания в октябре 1917 года. Каменеву же была доверена Москва. Он был, в частности, председателем Моссовета. Вот как относился к ним Ленин после ошибок, которые ими были допущены.

Иной раз слышу по радио в какой-то связи: Ленин то-то поручил Ломову. А где этот Ломов? Я Ломова хорошо знал, неоднократно встречался с ним, когда работал в Донбассе, уже после гражданской войны. Тогда он возглавлял добычу угля в Донбассе. Я часто бывал на совещаниях у него, в Сталино или в Харькове, где находилось его управление. Это был очень уважаемый в партии человек с дореволюционным подпольным стажем. Где же Ломов? Расстрелян. Нет Ломова. Я уже говорил о Кедрове, Тухачевском, Егорове, Блюхере, о других. Можно составить целую книгу только из одних фамилий крупнейших военных, партийных, советских, комсомольских и хозяйственных руководителей, дипломатов, ученых. Все это были люди честные. Они стали жертвами Сталина, жертвами произвола без всяких настоящих доказательств их вины, без всяких оснований.

В вопросе об открытых процессах 30-х годов тоже сказалась двойственность нашего поведения. Мы опять боялись договорить до конца, хотя не вызывало никаких сомнений, что эти люди невиновны, что они были жертвами произвола. На открытых процессах присутствовали руководители брат-

ских компартий, которые потом свидетельствовали в своих странах справедливость приговоров. Мы не захотели дискредитировать их заявления и отложили реабилитацию Бухарина, Зиновьева, Рыкова и других товарищей на неопределенный срок. Думаю, что правильнее было договаривать до конца. Шила в мешке не утаишь! Главное достижение XX съезда партии — то, что он начал процесс очищения партии и возвращения ее к тем нормам жизни, за которые боролись Ленин и другие лучшие сыны нашей страны.

Часть несправедливо осужденных была освобождена, как только умер Сталин. Берия поднял тогда этот вопрос, подработал его, внес соответствующее предложение, и мы согласились с ним. Но оказалось, что им одновременно освобождены были уголовники: убийцы, грабители, мерзавцы и всякие другие подлые люди. Когда они вернулись по месту своего жительства, то возобновили грабежи и убийства. Ропот пошел в народе, что выпустили воров и убийц и они делают свое грязное дело. К тому времени Берия уже был разоблачен и осужден. Поэтому именно нам приходилось давать народу разъяснения. Мы и сами видели, что сделано было неправильно, и хотя внес предложение Берия, но решение принимали правительство и ЦК, так что мы все несли ответственность за него. Сколько этих субъектов было освобождено, боюсь сказать, однако во всяком случае огромная армия.

Политические же заключенные и ссыльные остались в тюрьмах и в ссылках. Берия поднял даже вопрос о том, чтобы принять закон, который давал бы право Министерству внутренних дел, то есть Берии, по своему усмотрению решать, куда возвращаться этим людям после отбытия срока наказания. Я уже рассказывал, как я категорически запротестовал, и все меня поддержали. В результате свое предложение Берия отозвал. Что касается судьбы всех политических, то когда Генеральный прокурор Руденко доложил мне об отсутствии вины за ними, я его спросил: «Как же так? Я сам слышал, как они признавались в преступлениях, в которых их обвиняли». Руденко улыбнулся: «Тут искусство тех, кто вел следствие и кто проводил суд. Видимо, доводили людей до такого состояния, что у них имелся единственный способ покончить со страданиями и издевательствами — признаться, а следующим шагом была смерть».

ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС

Сразу же после XX съезда партии начались переживания во всех компартиях, особенно во французской и итальянской. Оно и понятно, потому что там большие, массовые пролетарские партии, а на процессах «врагов народа» присутствовали Торез и Тольятти, которые потом свидетельствовали на родине, что обвинения доказаны. А тут все наоборот! Это обстоятельство и заставило нас не публиковать материалы открытых процессов, хотя тут тоже никаких преступлений не имелось и приговоры носили волевой характер и не были основаны на доказанности преступлений, в которых обвиняемые «признавались».

Стали набегать тучки и в Польше. За Польшей потянулась Венгрия. После смерти польского лидера Берута я, будучи уполномочен Центральным Комитетом КПСС, ездил в Варшаву, когда там проходил пленум ЦК ПОРП. Я на этом пленуме не присутствовал, чтобы не обвинили СССР, что он вмешивается во внутренние дела братской партии. Заседания проходили очень бурно, члены ЦК ПОРП выражали недовольство Советским Союзом. Мне об этом рассказывали близкие нам люди из их ЦК. Это нам не приносило радости, но мы считали, что проявление демократии — факт положительный. Однако через некоторое время там произошли события, которые стали нас беспокоить.

На пленуме, о котором я говорил, Первым секретарем ЦК ПОРП избрали Охаба. С Охабом у нас сложились хорошие личные отношения. Я с уважением относился к нему, да он, по данным, вполне заслуживал того. Старый коммунист, прошедший школу польских тюрем. И поначалу мы считали, что он достоин доверия. После его избрания Первым секретарем мы беседовали с ним, и я поставил вопрос: «Почему у вас сидит в тюрьме Гомулка? Когда я об этом говорил с Берутом, он ответил мне так: я и сам не знаю, за что он сидит и в каких преступлениях обвиняется. Может быть, вы подумали бы о его освобождении?» Тут Охаб начал мне доказывать, что освободить невозможно. У них сидел не один Гомулка: еще и Спыхальский, и Лога-Совиньский, и Клишко. многие сидели. Это меня беспокоило, и я никак не мог понять, почему они содер-

жятся в тюрьме. Я побеседовал почти со всеми членами руководства ПОРП, и все они доказывали, что сделать ничего не могут, нельзя тех выпускать.

Через какое-то время Охаб с делегацией поехал в Китай по какому-то случаю. Когда они возвращались оттуда через Москву, я опять беседовал с Охабом. К тому времени Гомулка уже был освобожден из тюрьмы, и я спросил Охаба: не возражает ли он против того, чтобы мы пригласили Гомулку приехать в Советский Союз, отдохнуть на берегу Черного моря, в Крыму или на Кавказе, где имеются более благоприятные климатические условия для отдыха, чем в Польше. Он ответил что-то невразумительное и уехал в Варшаву. Меня это не успокоило, а даже несколько взволновало. И буквально через несколько дней мы узнали от нашего посла, что в Польше развернулись бурные события, что поляки поносят СССР и чуть ли не готовят переворот, в результате которого к власти придут люди, настроенные антисоветски. Возникла угроза нашим коммуникациям, которые проходили через Польшу в ГДР. Но события в Польше нас очень беспокоили и по ряду других причин, и мы решили принять меры, обеспечивающие нам свободный доступ в Польшу и наши связи с советскими войсками в ГДР. Мы наметили делегацию для поездки в Польшу, а перед отъездом позвонили полякам. Обстановка там продолжала накаляться. В польской печати широко критиковался СССР, который якобы обирает Польшу, покупая у нее уголь по заниженным ценам и продавая ей железную руду по завышенным. Такие факты действительно имели место при Сталине, когда со странами народной демократии мы торговали не по мировым ценам, а по произвольно установленным. Польские руководители не рекомендовали нам приезжать сейчас. Но это еще больше подогрело наше беспокойство, раз поляки ясно показали, что не хотят с нами встречаться. И мы решили немедленно ехать представительной делегацией: Хрушев, Микоян, Булганин и еще кто-то.

Прилетели мы в Варшаву. Там нас встретили Охаб, Гомулка, другие товарищи. Встреча была очень холодной. На лице Охаба была заметна большая озабоченность. Все вместе поехали в резиденцию, дворец в Лазенках, где и начался разговор в резких, повышенных тонах. Мы высказали свою тревогу ростом антисоветских настроений в Польше и заявили, что полны решимости обеспечить свои коммуникации с группой советских войск в ГДР. Это был с нашей стороны откровенный нажим. Охаб вскипел: «Что вы предъявляете мне претензии? Я теперь уже не секретарь ЦК. Спрашивайте других». И показал на Гомулку. В словах Охаба сквозило неприкрытое недовольство. У нас сложилось тогда тяжелое впечатление о положении в польском руководстве. Мы не знали толком

ситуации и боялись, что к власти придут люди, которые поведут антисоветскую политику. А мы не хотели, чтобы у нас с Польшей опять сложились такие отношения, как до войны, которые были еще свежи в нашей памяти.

Гомулка старался рассеять наши подозрения. Он соглашался, что положение в Польше сложное и оно усугубляется ростом антисоветских настроений. Но он заверял нас, что дружба с СССР жизненно необходима для Польши и что наши связи нерушимы. Уверял, что в скором времени волна недовольства схлынет и положение нормализуется. Однако потом начали нарастать такие же события в Венгрии. Тогда у нас имелись, на мой взгляд, две компартии, в которых было неблагополучно с их руководством. В Венгрии в сталинское время тоже много людей арестовали, причем я и сейчас считаю, что не столько по инициативе Ракоши, сколько по инициативе Сталина. Это делалось через наших советников, которых Сталин насадил и в Польше, и в Венгрии, и в других братских странах. Через них он действовал там теми же методами, которыми действовал в собственной стране. После переговоров в Варшаве мы вернулись в Москву под впечатлением какого-то нервного, но искреннего заявления Гомулки, что Польше дружба с Советским Союзом нужна больше, чем СССР — дружба с Польшей. Разве мы не понимаем своего положения, говорил он, ведь нам сейчас без СССР не удержать своих западных границ. Мы рассматриваем у себя сейчас внутренние вопросы, отношения же с Советским Союзом останутся неизменно дружескими и союзническими. Хотя он говорил это в повышенном тоне, но так, что не поверить ему было трудно. И я поверил ему, заявив своим товарищам: «Думаю, что у нас нет оснований не верить Гомулке. Он избран Первым секретарем ЦК ПОРП. К нему большинство польских товарищей относится с доверием. Мне кажется, что заявление Гомулки будет поддержано другими. Ведь он говорил нам это не доверительно, а открыто, выступив на заседании руководства. Все это слышали. Надо полагать, что раз никто не возразил, то все согласны». Однако долгое еще время ситуация в Польше была напряженной и очень нас беспокоила.

Перед нами вставали и другие стороны наших отношений с соседями. В настоящее время самый серьезный вопрос — качество нашей продукции. К сожалению, мы никак не можем догнать капиталистические страны. А чтобы успешно соревноваться с ними, сделать социализм привлекательным для людей, у нас все должно быть наилучшим. Нам же приходится идти на поклон к капиталистам. Это позор. К сожалению, возьмите наши радиоприемники, магнитофоны, автомашины. Каковы они? Вот мы отметили 50-летие Октябрьской революции покупкой у «гнилого ка-

питализма» автозавода марки «Фиат». Такие автомашины наверняка там устарели, а капиталисты не дураки: они продают нам ту модель, которую уже снимают с производства, сами же заложили новую. К сожалению, не можем мы еще работать как следует, не можем. Скажут, что мы были прежде отсталыми. Но те отсталые, которые жили когда-то в России, давно вымерли. Возьмите Японию: она была совершенно разорена после войны, а сейчас заняла ведущее место в мире. Спорит в вопросах технического прогресса с США и Западная Германия, тоже отчасти лежавшая в руинах.

Правда, в некоторых областях науки и техники мы находимся впереди. Например, изобрели непрерывную разливку стали. Мы даже в США продали лицензию. Но такие примеры единичны в сравнении с тем, *что* мы там покупаем. Когда мы налегли на развитие добычи нефти, нам понадобились бурильные установки. Мы делаем хорошие установки, однако американские установки не идут ни в какое сравнение с нашими. Тут США далеко обогнали Советский Союз. Отличные бурильные установки делают и в Румынии. Я спросил об этом Георгиу-Дежа. Он засмеялся: у нас, говорит, есть в США некий румын, капиталист в нефтяной промышленности. Он помог нам выкрасть американские чертежи. Получилась румынская установка по американским чертежам. Мы хотели купить в Румынии эти чертежи. Говорю Георгиу-Дежу: «Дайте нам чертежи». Он: «Возьмите». Возьмите... У румын между словами «возьмите» и «получите» — очень большая дистанция.

Вообще же румыны молодцы. Они быстро стали развивать свою промышленность, столь же быстро создали колхозы, причем хорошие. Румыния по своей культуре стояла раньше ниже других стран Восточной Европы, там было больше, например, неграмотных крестьян. Но, несмотря на это, она вскоре поднялась. Конечно, румыны имеют более выгодные природные условия, чем ряд других социалистических стран. У них, в частности, много нефти, газа, леса, хлеба. Другие социалистические страны и себя-то продовольствием не всегда обеспечивают, а румыны хлеб экспортируют. Часто на румын обижаются у нас за то, что они продают хлеб капиталистическому миру, а не отдают его другим социалистическим странам. Но если бы, к примеру, поляки имели лишнее зерно, они бы, наверное, поступили еще умнее, чем румыны. Они могли бы продавать хлеб ГДР за валютные товары. А ведь каждое государство хочет иметь валюту и выйти на мировой рынок. Поэтому на румын нельзя обижаться.

В этой связи я вспомнил, как однажды приехал к нам Гомулка и просил продать ему сверх плана пшеницу, а у нас самих было тогда хлеба в

обрез. Я вижу, он хитрит, не говорит всей правды, и заметил: «Вот вы хотите купить пшеницу, а я-то знаю, что Польша продовольственной пшеницей обеспечена. Вы хотите купить у нас зерно, чтобы откармливать свиней и продавать бекон Америке». Он замялся, потом отвечает: «Да». — «И вы думаете, что это умеют делать только поляки, а русские — дураки? Вы купите зерно в Канаде, у них его сколько хочешь, переводите на бекон и продавайте». — «Так там же валюту надо платить». То-то. Вот в чем вопрос. Взаимоотношения между социалистическими странами тоже могли быть очень сложными, и по разным поводам. После этого разговора с Гомулкой мы все же дали ему зерно. А разве это единственный такой случай, когда СССР отнимал у себя, чтобы поддержать друзей?

Сколько раз, бывало, согласуем наши планы, а потом Гомулка или еще кто-то звонит: «Товарищ Хрущев, прошу принять меня, у меня возникли острые проблемы». Приезжает. «Товарищ Хрущев, вы дали нам столько-то руды с таким-то содержанием железа, но мы план не выполняем. Помогите, дайте руду получше, с большим содержанием железа». А что это значит? Ему даем, а сами перерабатываем руду с меньшим содержанием железа. Или вот болгарские помидоры. Получаем дрянь. Болгары привыкли, что русские съедят всякое дерьмо, извините за выражение, вот и снимают помидоры еще зелеными, а краснеют они при транспортировке. Это же сушая дрянь! Они помидоры в Западную Германию тоже вывозят, но не такие, потому что там их не купят, там конкуренция. А у нас что продадут, то потребитель и съест. Ведь у болгар чудесные помидоры. Болгары — лучшие в мире огородники. Но помидоры хороши, лишь когда их снимают с грядки вечером, а утром подают на стол.

Много разных вопросов возникает в отношениях между социалистическими странами. Если их не ставить и не решать, то даже рассориться можно. Нам бывает обидно оттого, что другие социалистические страны смотрят на Советский Союз, как на огромную дойную корову. А ведь мы живем хуже большинства тех стран, которым помогаем. Жизненный уровень определяется потреблением на душу населения. Возьмем, к примеру, потребление мяса. В 1964 году в ГДР приходилось в год на человека до 75 килограммов, у чехов — до 65, у поляков — под 50, следующими шли венгры, потом лишь — Советский Союз, а ниже нас по мясу болгары — по 26 килограммов. Я как-то сказал Ульбрихту: «Вальтер, я не требую уравниловки, но поймите наше положение. Мы победители, мы разбили гитлеровскую Германию, и мы даем ГДР зерно и валютные товары, чтобы вы могли продать их за границей, купить себе мясо и обеспечить годовое его потребление в 75 кг на душу населения. А как вы заботитесь о нас?» На такого рода вопросы существенно влияют и политические соображения, особенно в от-

ношении ГДР. Там жизненный уровень должен быть выше, чем в ФРГ. Только это может привлечь всех немцев на нашу сторону. Но пока не получается.

В данном свете интересна проблема репараций. Западные страны отменили репарации, которые им платила ФРГ, а ГДР продолжала нам выплачивать чем могла. Когда умер Сталин, мы поставили заново этот вопрос: если мы хотим, чтобы Восточная Германия могла соревноваться по жизненному уровню с Западной, нужно дать ей возможность резко поднять свою экономику. При продолжении выплаты репараций и содержания наших войск в ГДР за ее счет, это будет невозможно. И мы отменили тогда репарации, а содержание наших войск взяли на себя. Полякам это понравилось, и они тоже стали драть с нас шкуру и зарабатывать на том, что наши войска в интересах самой Польши находятся на польской территории. Много сложных проблем существует и во взаимоотношениях между странами народной демократии, как их называли после войны. Польша имеет коксующиеся угли. Однажды чехи обратились к полякам с просьбой поставить им такой уголь. Поляки же у нас попросили поставить им дополнительно нефть, и мы очертили условие: дадим вам нефть по эквиваленту, если вы дадите Чехословакии коксующийся уголь. Поляки тогда буквально за горло взяли чехов. Если мы присоединимся к такого рода действиям, то задушим поляков, у них съедут промышленность, они не смогут выйти на мировой рынок и конкурировать с капиталистами, у них сразу понизится жизненный уровень, а это обеспечит взрыв народного недовольства. Ведь поляки — не русские, терпеть не любят.

Вспомнил о чехах — и сразу же о том, что у них высокоразвитая промышленность. Когда мы еще ходили под стол без штанов, чехи уже делали такие вещи, которые удивляли мир. Например, их зенитные орудия, с которыми мы прошли всю войну. Нам продал их перед войной знаменитый заводчик Шкода, а мы освоили их производство и изготовляли их до 1945 года. Как-то в 1948 году Готвальд отдыхал в Крыму со Сталиным. Сталин звонит мне: «Готвальд здесь, приезжайте и вы». Назавтра я прилетел. Собрались у Сталина обедать. Готвальд выпил (он имел к этому слабость) и говорит: «Товарищ Сталин, зачем ваши люди воруют у нас патенты? Вы скажите нам, и мы отдадим все бесплатно. Когда ваши люди воруют, а наши видят, что они воруют, это обижает нас. Мы можем дать вам не только патенты. Принимайте нас целиком в состав Советского Союза, мы с удовольствием вступим в СССР, и все, что у нас есть, будет общим». Сталин отказался от такого принятия, а воровством возмутился. Но на словах, ибо воровать мы продолжали, порой просто по старой привычке, как тот цыган, которого спросили: «Если бы ты был царем, что бы ты сделал?» Он и ответил: «Украл бы сразу табун коней и утек».

Еще один сложный вопрос — расходы на оборону социалистического лагеря. Казалось бы справедливым распределить их равномерно, посчитать, сколько что стоит, разложить в среднем на душу населения, и пусть каждый вносит свой пай. Думаю, что мы бы сократили тогда наполовину военные расходы Советского Союза. А что получается на деле? Мы как-то в рамках Варшавского пакта договорились, *что* и какая страна должна приобрести для усиления обороноспособности. Какое-то количество танков должна была приобрести Румыния, и она должна была построить сколько-то кораблей на Черном море. Потом министр обороны докладывает мне, что румыны ничего не делают, не выполняют обязательств. Тут к нам обращаются чехи: мы сделали для румын танки, а они их не покупают, говорят, что у них денег нет. Я им: «А у кого есть свободные деньги, чтобы тратить их на оборону? Ни у кого нет. Это же вынужденная необходимость». Мышление-то у румын очень простое: нас защищает Советский Союз, на нас одних никто не нападет, побоятся СССР, пусть русские и тратят деньги на оборону, а мы будем повышать свой жизненный уровень. Но это неверный подход, это чистейший национализм. К сожалению, он имеет место во взаимоотношениях социалистических стран.

Вспоминаю такой характерный случай. Мы стояли в 1943 году у стен Сталинграда. Армию Паулюса мы уже окружили, а Ульбрихт через громкоговорящую установку обращался к немецким солдатам, чтобы они сдавались в плен. Он долго пропадал по ночам, а когда приходил, мы с ним обедали, и я ему сообщал, сколько солдат сдалось. Иногда шутил: «Сегодня вам обед не положен». — «Почему?» — «Ни один солдат не сдался». Однажды он приходит и говорит: «Сегодня-то я обед заслужил». А я отвечаю: «Ну да, заслужил. Один солдат сдался в плен, и тот поляк». Я этого поляка лично допрашивал. Он сказал, что сдался потому, что не хочет воевать. И я ему предложил: «У нас формируется польская армия, вступите в нее?» — «Нет, пойду в лагерь для военнопленных». — «А кто же Польшу будет освобождать?» — «Русские освободят». Спокойно так ответил. И я распорядился: «Уберите его к чертовой матери!»

Всегда русские да русские... Если такие иждивенческие настроения будут развиваться и дальше, если все будут надеяться, что русские дадут, что русские защитят, то это может печально кончиться для социалистического лагеря.

Еще один камень преткновения — пограничные проблемы. Сейчас, в свете нашего конфликта с Китаем, опять встал вопрос о границах между социалистическими странами. Эти проблемы существовали всегда. Но

впервые в советской истории возник международный конфликт в споре с Китайской Народной Республикой. Обычно всегда удавалось решить проблему, сделав взаимные уступки и спрямляя линию границы. Когда в начале конфликта с Китаем мы искали решение проблемы, то тоже думали уступить ему какую-то территорию взамен равноценной китайской территории в районах, устраивающих обе стороны. Принесли мне перечень претензий, выдвинутых китайцами. Собрались Малиновский, Громыко и я. Думали, что мы сразу все решим. Я взял карандаш и провел линию, которая делила как бы пополам взаимные претензии. Граница получилась более выровненной.

Никаких особых сложностей мы не ожидали, потому что большинство этих районов было безлюдно: ни наши, ни китайцы там не жили. Иногда, может быть, заходили туда охотники и пастухи. Одним словом, чепуховый спор. Но китайцы именно хотели создать конфликт, отказались участвовать в переговорах и предъявили СССР абсурдные требования, заявив свое «право» на Владивосток, Памир и др. Теперь, спустя пять лет, опять мы встрелились. В Пекин поехал заместитель министра иностранных дел Василий Кузнецов. Может быть, опять лет через пять встретимся с китайцами. Тут уже конфликт не по существу вопроса о границах, а по существу международной «большой политики». Так что придется терпеть.

Если бы дело заключалось только в границе, то проблему можно было бы легче уладить. С Ираном у нас не было твердо установленной границы еще с царских времен. Мы установили там границу в 1955 году, уступив какие-то районы, где ничего нет, сплошная пустыня. А спор-то был! С иранцами возник только один принципиальный вопрос: судьба поселка Фирюзы в Туркмении. Когда царь устанавливал границу с иранцами, Фирюза должна была отойти к Ирану. Не знаю, почему царь не уступил тогда эту Фирюзу. В советское время туркмены построили там дома отдыха. И когда иранцы теперь поставили вопрос о Фирюзе, мы им сказали: «Давайте решим по-братски. Фирюзу нам сейчас трудно отдать, там много наших домов отдыха, мы это место хорошо развили в сравнении с тем временем, когда возник впервые вопрос. Хотите, мы вместо Фирюзы уступим вам другой район?» Они согласились, подписали договор, и сейчас у нас нет там споров. Ни с какими нашими соседями, кроме Китая, у нас сейчас споров по границам нет. А чего требует Китай?

В Пекине говорят: «Требуем, чтобы в договоре о границах было записано, что прежние границы были установлены при наличии неравноправных соглашений с царской Россией». Такое никакой разумный че-

ловек не сможет подписать. Что это значит — неравноправный договор? Если я подписываюсь под такими словами, то должен, следовательно, отказаться от того, чем владел на основе подобного договора. Но все социалистические страны получили свои границы от бывших царей, императоров и королей. Если с этих позиций нам строить свои взаимоотношения, это заведет далеко! Вообще в проблеме границ существует много аспектов, которые можно толковать по-разному, особенно в Европе. У нас с венграми нет пограничных споров, но в советском Закарпатье живет 120 тысяч венгров. Янош Кадар не претендует на их земли. Почему? Венгры в свое время воспользовались случаем, когда Закарпатская Украина входила в состав Австро-Венгерской монархии, и вытеснили украинцев в горы, а сами заняли по Тисе лучшие земли. Как сейчас Кадару востребовать эти земли?

Зато у венгров сильный пограничный спор с югославами. В Югославии живут два миллиона венгров. У венгров имеется спор и с румынами насчет Трансильвании. Румыны с пеной у рта доказывают, что это — исстари румынская провинция, а венгры говорят, что Трансильвания всегда была венгерской, там преобладают венгерская культура и мадьярский язык. Румыны перевернули все вверх дном, чтобы начисто искоренить там все венгерское. Большой пограничный спор у Албании с Югославией. Думаю, что албанцев живет в Югославии побольше, чем в самой Албании, но Энвер Ходжа очень боится Югославии. А те албанцы, которые живут в Югославии, смотрят вовсе не на Албанию и в Албанию сами не пойдут. В Югославии-то живется лучше. Да и Тито ведет политику поумнее.

Ходжа — это же просто разбойник. Это разве политик? У него один метод: надеть петлю на шею и вздернуть. Типичная сталинская политика. У него имеются тайные убийцы, которые режут оппозиционеров: поймают на дороге и зарежут. Или ворвутся в дом и зарежут. А Мехмет Шеху? В Албании был прежде секретарем ЦК партии, рабочий, очень умный человек. Он являлся создателем Компартии Албании, а его лично задушил Шеху. Почему? Тот занимал позицию создания унии Албании с Югославией. Это была, между прочим, идея Сталина. В свое время, возможно, это было разумно, потом — нет. Но если это кого-то обижает, зачем все же душить?

Возникает также, помимо пограничных, множество иных проблем. Что же это за социализм, в котором надо держать человека на цепи? Какой же это справедливый строй, какой же это рай? В рай все сами хотят попасть. Это не рай, раз из него люди хотят убежать, да дверь заперта. Если бы, как говорится, Бог дал мне продолжить мою деятельность, я бы все двери открыл, открыл бы настежь и двери, и окна. И что, все бы вдруг уехали? Ленин-то открыл советские границы после гражданской войны. Некоторые

уехали. Уехали Шаляпин, Андреев, Куприн, другие известные люди. А потом одни вернулись, другие долго просились обратно. Разве может весь народ уехать? А сколько к нам иностранцев приезжает и не возвращается к себе... Почему мы должны бояться всего этого?

Вот — Польша. Там все, кто пожелал уехать, уехали. И что? Многие затем вернулись. Наш посол присылал в свое время телеграммы из Израиля о том, что некоторые люди, выехавшие туда из СССР, просят разрешения вернуться. У меня есть знакомая (несчастный человек, сама при Сталине дважды сидела, мужа расстреляли, брата расстреляли и мужа ее сестры расстреляли, а в войну немцы сожгли ее мать и отца, что может быть хуже?), и она рассказывала мне, что какая-то ее родственница выехала в Израиль, погостила, посмотрела, как там живут, и сообщила, что в общем-то евреи живут неплохо, но те старые люди, которые сформировались как личности при Советской власти, скучают. Она тоже хотела бы туда съездить, но остаться там жить — ни за что. Молодежь, правда, возвращаться сюда не хочет. Из-за чего? Объясняют: «Надоело нам слушать, как нас называют жидами». Что им ответить?

Вообще-то с Израилем у нас отношения складывались трудно. Израильтяне предпринимали много попыток улучшить их, но мы не смогли на это пойти из-за дружбы с арабами. Сколько раз израильский посол просил, чтобы я принял его. Мне самому хотелось его принять, но я не мог так поступить, потому что это взбесило бы арабов. В то время Израиль уже играл роль агента американского империализма на Ближнем Востоке, а арабов мы не хотели оттолкнуть от себя, хотели привлечь, вот и держали Израиль на расстоянии. Если рассматривать политическое лицо этого государства, то оно не только не хуже, а даже лучше других капиталистических стран, и с ним спокойно можно наладить нормальные отношения. Сельское хозяйство там коллективизировано не хуже, чем в Польше. В Польше тоже нет колхозов, а созданы товарищества как первая ступень коллективизации сельских хозяйств. Земля в Польше принадлежит собственникам, а доходы в товариществах получают в зависимости от количества внесенной земли.

Я никогда не был антисемитом. В Юзовке я и жил, и работал вместе с евреями. У меня было много друзей среди евреев. Еще будучи мальчишкой, я работал на заводе с одним евреем, Яковом Исааковичем Кутиковым — хорошим человеком. Он был слесарем и получал 2 рубля в день, а я был на подхвате и помогал ему за 25 копеек в день. Подлецы же бывают всех национальностей — и русские, и евреи, и кто угодно. С арабами израильтян даже нечего и сравнивать: в Израиле живут богаче. В сельском хозяйстве там внедрили гидропонику — самый прогрессивный ме-

год ухода за растениями. Взаимоотношения с арабами складываются у Израиля очень тяжело. Если так будет продолжаться, то это кончится для Израиля плохо. Он все время беспокоит арабские страны. А из физики известно, что действие равно противодействию. В политике наблюдается то же самое. Шестидневная война 1967 года должна научить арабов многому. Я вспоминаю Петра I. Когда ему шведы высекли задницу под Нарвой, он понял: спасибо за учебу, потом разбил их под Полтавой. Пройдет время, и если израильтяне не поумнеют, то арабы разобьют их.

Впрочем, у кого организация дела хорошая, тех не бьют, те сами бьют других. В этом-то и дело: 2,5 миллиона евреев сорганизовались так, что за шесть дней разбили десятки миллионов в Египте, Сирии, да еще с их союзниками. Израильский военный лидер Даян был офицером английской армии. А сколько там людей, которые служили в нашей армии? В этом тоже их сила. Арабы особенно не воевали, больше на верблюдах ездили, а евреи воевали во всех войнах. Как появился Израиль? Это была идея сионистов. Года два тому назад, уже глубоким стариком, умер человек, который создал партию сионистов. Англия, которая контролировала Ближний Восток, согласилась выделить район для Израиля, выселив оттуда арабов. Мы какое-то время воздерживались по этому вопросу при голосовании в ООН, а потом тоже дали директиву согласиться на создание Израиля. Сейчас там премьер-министром Голда Меир. Она была прежде первым послом Израиля в СССР. Сама родилась в Одессе, шестилетней родители вывезли ее в Америку. Она хорошо знает русский язык. Когда она приехала сюда, то развила бурную деятельность среди советских евреев, и Сталин ее выслал. Тогда-то наши отношения и ухудшились.

ОБ АЛБАНИИ

Хочу теперь остановиться на наших отношениях с албанским правительством и с Албанской партией труда. Во времена Сталина у нас не существовало никаких трений в отношениях между Советским Союзом и Албанией, между нашей компартией и Партией труда. Они были такими, какими должны быть между социалистическими странами. СССР все делал для того, чтобы помочь Албанскому государству окрепнуть после разгрома гитлеровских полчищ и изгнания итальянских вооруженных сил с его территории. Албанский народ объединил тогда свои усилия с югославами, и они вели совместную борьбу против общего врага — гитлеровской Германии и фашистской Италии. Как мне рассказывал товарищ Тито, Коммунистическая партия Югославии оказывала большую помощь албанскому народу в организации борьбы против фашистов. Это естественно, потому что Коммунистическая партия Югославии была лучше организована и имела более богатые революционные традиции. Коммунистическая партия Албании, как она тогда называлась, была слабее и нуждалась в поддержке, которую ей и оказывали югославские товарищи. Тито рассказывал, как он посылал своего соратника Вукмановича в Албанию, где тот занимался организацией Партии труда.

Когда еще имели место самые хорошие отношения между Советским Союзом и Югославией, а Тито у Сталина пользовался абсолютным доверием, помню, как при мне Сталин продиктовал телеграмму Тито, где говорилось, что дальнейшие взаимоотношения с Албанией должны исходить из того, что Албания будет входить в состав Балканской федерации. Такая телеграмма была послана. Конечно, в Албании об этом ничего не знали. Сталин вынашивал идею создания Балканской федерации и часто высказывался на эту тему в нашем кругу. Для будущего правительства Балканской федерации даже начали строить дворец около Белграда. Когда я был в Югославии, то видел это место. Там возвели довольно много железобетонных конструкций, но потом все забросили. Включение Албании в состав Югославского государства не противоречило бы идее Ста-

лина о создании федерации балканских стран. Когда же прервались дружеские отношения с Югославией и Сталин возненавидел Тито, идея Балканской федерации была похоронена.

Я не все знал о том, *что* послужило поводом к ухудшению отношений между Югославией и Советским Союзом, но кое-что мне было известно. Сталин рассылал нам некоторые телеграммы, получаемые от советского посла в Югославии. В этих телеграммах наш посол рисовал в националистическом свете деятельность Тито и все делал для того, чтобы показать, что это не дружеская страна, что Компартия Югославии под руководством Тито ведет подрывную работу против нашей Коммунистической партии. В чем конкретно посол обвинял югославов, я сейчас не помню. Тогда я работал на Украине и мало занимался международными вопросами, потому что был как бы изолирован в этих делах и не получал соответствующих документов. Хотя я являлся членом ЦК Политбюро ВКП(б), документов, которые должны были бы мне присылаться, не поступало. Тут господствовал Сталин. Он скажет — всем разослать, тогда и пошлют, а если не скажет, то ничего и никому не рассылали.

После смерти Сталина нам остались в наследство наихудшие отношения с Югославией. Мы стали думать, как этот вопрос решить. И я сказал бы, что в этом вопросе именно я проявил инициативу. Почему? Я всегда восторгался деятельностью югославских партизан. Югославские партизаны в борьбе с фашизмом проявили себя едва ли не лучше всех других. Это общеизвестно и должно быть общепризнано. Они создали армию, которая имела свое централизованное командование и вела успешную борьбу с немцами, освободила довольно значительные территории, на которых был создан партизанский край. Кроме того, еще до войны я слышал о деятельности Тито. Это был коммунист, хорошо известный в Коминтерне. Как бывший военный служащий австро-венгерской армии он попал в русский плен и прошел свою первую политическую школу во время Октябрьской революции. Вследствие этого я и питал к нему симпатии, хотя лично с ним мало встречался.

Встречался же я с Тито тоже у Сталина. Я находился как-то в Москве, когда Сталин сказал, что приедет югославская делегация. Сказал он это с симпатией и с радостным ожиданием: вот они приедут! Но я не дождался приезда этой делегации и вернулся в Киев. Потом Сталин мне позвонил и сказал, что Тито будет возвращаться домой проездом через Киев, и попросил: «Вы там поухаживайте за Тито и другими товарищами. Они хорошие друзья». Я так и сделал. Приехали Тито, Кардель, Джилас и другие. Мы сделали все, что было нужно: показали им

город, его окрестности, поехали в колхозы, были в театре, проводили беседы. Беседовали мы, конечно, о жизни Украины, о деятельности Центрального Комитета КП(б)У, а других вопросов не касались.

Мы жили тогда идеей, что когда будут возникать новые социалистические страны, то одновременно должно оформляться какое-то их руководство не только по политическим и партийным вопросам, но и по вопросам экономики: что-то вроде международных Советов рабочих депутатов для всемирного союза таких республик. На этом мы все были воспитаны. Поэтому мы с такой любовью и доверием относились к каждому народу, вступившему на путь строительства социализма, тем более к их коммунистическим партиям. Каждому народу мы делали то же, что и себе, считая, что в объединении всех наших материально-технических, научных и партийных кадров заключена наша сила в борьбе против мирового капитализма. Я считал, что это является свидетельством хорошего внутреннего содержания людей, которые стояли на коммунистических позициях.

Когда же произошел разрыв, все сразу переменялось. Сталин готовил чуть ли не нападение на Югославию. Помню, однажды мне доложили, что производится секретная отправка большого количества людей на Балканы из Одессы. Их отправляли каким-то кораблем, наверное, в Болгарию. Люди, которые были причастны к организации их отправки, докладывали мне, что образованы какие-то воинские соединения, и хотя те уезжают в гражданских костюмах, но в чемоданах у них лежат военная форма и оружие. Мне сообщили, что готовится некий удар по Югославии. Почему он не состоялся, не могу сказать. Более того, от самого-то Сталина я вообще не слышал об этом, а докладывали мне исполнители его воли, которые занимались организацией отправки и посадкой тех людей на корабли. Настроение у них было агрессивное: «Дадут им наши! Вот они уже отправляются и вскоре начнут действовать». В их словах не было никакого сожаления о происходящем.

Почему я сейчас заостряю внимание на Югославии, хотя собрался говорить об Албании? Потому что эти вопросы взаимосвязаны. Почему именно я проявил интерес к улучшению отношений с Югославией, а не кто-либо другой? Человеку, немного смыслящему политически и знающему те времена, это должно быть ясно. Когда у нас ухудшились отношения с Югославией, я находился на Украине и, хотя входил в руководящее ядро ВКП (б), был свободен от всей этой югославской «скверны». Не могли же проявить такую инициативу Молотов, Сулов, Ворошилов и другие? Они в то время слишком близки были к Сталину. Я бы сказал тут, не столько близки к Сталину, сколько близко около Сталина:

вся антиюгославская политика, которую вел Сталин, проходила через их руки, и они были непосредственными ее исполнителями, особенно Молотов. Молотов в этих вопросах являлся правой рукой Сталина.

Эти люди были приучены Сталиным мыслить с позиций великодержавного шовинизма и подходили с этой меркой ко всем коммунистическим партиям, в том числе, конечно, и к югославской. Поэтому они не понимали необходимости улучшения наших отношений и ликвидации конфликта с Югославией, они вообще не хотели поднимать этот вопрос. Когда же я поднял его, то больше всего понимания и поддержки встретил со стороны Анастаса Ивановича Микояна. Он считал, что надо предпринять такие шаги. Молотов, Ворошилов, Сулов не соглашались со мной. Им застилал глаза туман: как это мы, великая страна, победившая гитлеровскую Германию, пойдем на поклон к какой-то Югославии?

К тому времени уже сами наши брехуны, соврав однажды и много раз повторяя потом свою ложь, начали верить в собственную выдумку, что Югославия — капиталистическое государство, у которого нет ничего социалистического; что она стала на позицию предательства социализма и связана с империализмом. Интересно, что такой же аргументацией пользуется сейчас Китай, критикуя нашу страну. В Пекине заявляют, что Советский Союз заключил тайный союз с империалистами США, и тому подобные прочие глупости. К сожалению, подобные же вещи 20 лет назад и мы говорили о Югославии. Все это выдумал Сталин, а журналисты подхватили. Было испорчено много бумаги и чернил. На всех нас давил груз прошлого, и не так-то легко было пойти тогда сразу на новый шаг.

Поэтому я предложил: «Товарищи, давайте создадим комиссию из ученых и поручим ей изучить, какого типа сейчас Югославское государство — капиталистическое или социалистическое? Если капиталистическое, то какие элементы свидетельствуют, что это именно не социалистическое государство?» Не припоминаю сейчас всех, кто входил в ту комиссию, но хорошо помню, что в нее входил главный редактор «Правды» Шепилов. Комиссия вынуждена была признать, что Югославию никак нельзя считать капиталистическим государством и что в государственном устройстве Югославии присутствуют все элементы социалистического уклада: нет частной собственности на средства производства, нет частной собственности на банки, все это принадлежит народу. Торговля в основном тоже находится в руках государства. Не решена была только проблема сельского хозяйства: колхозов там почти не существовало и господствовали единоличные хозяйства. Однако такое положение имелось и в других странах, которые встали на путь строитель-

ства социализма, так что Югославия в этом отношении почти ничем не выделялась среди таких стран, как Румыния, Венгрия, Болгария, Чехословакия, Польша. Я уж не говорю о Германской Демократической Республике.

А из всех стран, которые встали на путь строительства социализма, наиболее визгливую антиюгославскую политику проводила Албания. В известное время это нравилось в СССР и поощрялось. Но когда мы решились предпринять шаги к нормализации советско-югославских отношений, чтобы самим проложить первыми путь к сплочению, к консолидации революционных сил, нам уже вредила такая албанская позиция. Перед тем как предпринять конкретные шаги по нормализации советско-югославских отношений, мы посоветовались с братскими коммунистическими партиями. Не помню сейчас, кто и как реагировал, но большинство согласилось с нами. А мы добивались этого очень настойчиво. Исключение составила Албания. Руководители Албанского государства и Партии труда очень плохо встретили наши предложения и стали доказывать, что югославы — безнадёжные люди, что они не коммунисты. Все это высказывалось со злобным присвистом. Особенно возмущался Энвер Ходжа. У него резкий характер, и, когда он говорит о том, что ему не нравится, у него лицо просто передергивается и он чуть ли не скрежещет зубами.

Мы же спокойно доказывали, что надо с пониманием и мудростью относиться к тому, как складываются международные отношения: что нормализация будет полезна и Албании, и Югославии, и всему социалистическому лагерю. Зачем нам такое разобнение? Надо иметь в виду, что в Югославии живет много албанцев, и хотя социалистические страны тоже подтасовывают иной раз статистические данные, когда это выгодно, но Тито потом говорил мне, что в Югославии албанцев больше, чем в самой Албании. Я в этом ничего плохого, собственно, и не вижу, особенно при наличии дружбы между государствами. Албания была вынуждена согласиться с нами, но не потому, что мы их убедили, а потому, что другого выхода у нее не было.

Советская делегация поехала в Югославию (о чем я буду говорить особо), и мы нормализовали наши отношения. Правда, и после нормализации они протекали неровно: были объятия, было и охлаждение. Но, во всяком случае, того, что случилось при Сталине, больше не повторялось. Мы стремились к укреплению наших добрых отношений и делали шаги, способствующие объединению наших усилий как в политике, так и в экономике. Это вызвало еще большее негодование у Албании. В те времена мы относились к этому как бы с позиции старшего товари-

ща: ну что делать, если они не понимают? Подрастут и поймут, ничего тревожного здесь, собственно говоря, нет. И мы разясняли нашу позицию, чтобы албанцы поняли нас как можно лучше.

С Албанией же мы строили не просто братские отношения. Ведь братские отношения — это отношения на равной ноге. А здесь с точки зрения оказания помощи возникли отношения старшего к младшему. Мы очень много средств затрачивали на содействие Албании. Другим странам мы оказывали помощь в порядке предоставления льготных кредитов, а Албании шла помощь на другой основе, главным образом путем дарственных. Албанскую армию мы вообще целиком взяли на свое содержание: давали ей обмундирование, питание, боеприпасы, вооружение, и все это бесплатно.

Почему? К тому имелись свои причины, и любой здравомыслящий человек, который разбирается в обстановке, в которой мы тогда жили, поймет и найдет полное оправдание таким нашим действиям. Надо иметь в виду, что в то время уже был создан Североатлантический пакт. А Албания занимала хорошее стратегическое положение на Средиземном море, и ее мы рассматривали как базу социалистических стран на этом море. Поэтому вставала дилемма: иметь ли нам там, грубо говоря, свои войска или же создать в Албании собственную сильную армию? Естественно, Албания могла содержать лишь небольшое количество войск, и они не производили бы никакого впечатления на противника. Собственного вооружения она практически не производила, видимо только винтовки. Поэтому мы решили помочь материально созданию по возможности многочисленной албанской армии, но, конечно, не настолько, чтобы это было обременительно для экономики Албании. Это должна была быть армия, которая могла бы производить грозное впечатление, будучи вооружена современными боевыми средствами. Поэтому она получила танки, артиллерию, новое стрелковое вооружение. Я уж не говорю об обмундировании и питании. Если бы Албания из своего бюджета выделяла средства на обеспечение армии, то у нее бы не осталось денег на другие нужды: развитие экономики, индустриализацию страны, на социалистическую перестройку. И мы с пониманием относились к нуждам Албании.

Когда после войны стали вновь обостряться отношения СССР с капиталистическими странами, мы уже не исключали возможности военного конфликта. Со своих позиций Албания серьезно угрожала бы действиям натовского военного блока на Средиземном море. Поэтому мы договорились тогда с албанцами о том, чтобы завести у них и подводный флот. Мы так делали в интересах всех социалистических стран.

Было решено разместить там 12 подводных лодок. Знаете, довольно крепкий кулак — 12 подлодок в Средиземном море. С таким кулаком наши противники вынуждены были считаться. Эти подводные лодки мы тоже хотели передать Албании. Наши моряки выехали к ним со всеми надводными и ремонтными средствами, должны были обучить и, по мере создания албанских команд для подводных лодок, передавать им эти подлодки. Данный шаг свидетельствует о том, с каким доверием и, я бы сказал, с какой любовью относились мы к албанским друзьям. Албанские делегации приезжали к нам несколько раз во главе с Энвером Ходжей и Мехметом Шеху. Между нами сложились наилучшие отношения, я не говорю уже о простом албанском народе.

Албанцы много раз просили нас прислать к ним делегацию от нашей партии и правительства на высшем уровне. Было решено, что я возглавляю такую делегацию. И мы отправились в Албанию. Перед тем как выехать, мы проинформировали албанских друзей, что не хотели бы, чтобы в нашем присутствии публично велась какая-либо критика Югославии и ее руководства. В то время Албания сохраняла очень обостренные отношения с Югославией и вела с ней словесную дуэль в печати. Я считал, что это наносило вред. Поэтому мы посоветовались между собой и сообщили Энверу Ходже, что не хотели бы, чтобы во время пребывания нашей делегации в Албании продолжался этот спор в печати между Албанией и Югославией. Мы предупреждали, чтобы нас не втягивали в такую дискуссию и на митингах. Мы вообще не хотели, чтобы на митингах албанские товарищи поднимали этот вопрос и тем самым вынуждали нас как-то реагировать. Естественно, мы не могли поддерживать такую дуэль, да еще на высшем уровне представителей двух стран. Это никак бы не послужило шагом к улучшению наших отношений с Югославией и могло быть воспринято как объявление идеологической и политической войны между нашими народами, между нашими государствами. Мы же не хотели этого и попросили албанцев учесть наши пожелания.

Во время нашего визита на митингах и других собраниях албанцы воздерживались от критики Югославии. Но заметно было, как это им трудно дается. В беседах же закрытого характера албанцы убеждали нас, что с югославами не может быть примирения, что югославы не коммунисты, а такие-сякие и прочие. Мы с ними не могли согласиться, хотя и не все поддерживали из того, что происходило в Югославии. Мы даже высказывали такое мнение публично, но у себя дома, и не хотели делать это в Албании. Согласиться же, что они не коммунисты, что Югославия не социалистическая страна, мы вообще не могли. То был уже пройденный этап в нашем миропонимании. По конкретным вопросам мы еще пере-

брасывались иногда перебранкой, но считали, что в своей основе они — коммунисты, хотя и по-своему трактуют отдельные теоретические и практические положения.

Во время нашего пребывания в Албании албанцы вели себя как друзья, и между нами не возникало никаких шероховатостей. О Югославии они на митингах, как я уже отметил, ничего не говорили и, таким образом, не ставили нас в положение людей, которые должны либо отмалчиваться, либо вступать с ними в спор. А мы не хотели ни того, ни другого. Мы провели там несколько дней, побывали в их столице Тиране и в других городах, в селах, в портах. Везде встречали невероятно радушное отношение к Советскому Союзу, к нашему народу, к нашей партии как со стороны трудящихся Албании, так и со стороны Ходжи и Шеху. Я не видел никаких грозовых туч или, как говорят украинцы, никакой хмары, которая заслоняла бы солнце дружбы, под которым мы хотели наслаждаться жизнью и строить дальше братские отношения между Советским Союзом и Албанией. Между нами не возникало противоречий.

Если говорить о нас, то нам особенно не на что было претендовать: Албания слишком бедна, и у них не имелось ничего, что могло бы интересовать нас в смысле ресурсов. Наши экономические отношения строились исключительно в интересах Албании. Даже то мизерное количество нефти, которое Албания стала добывать с нашей помощью, мы же у нее и покупали. Ее нефть настолько низкого качества, что ее невозможно сбывать на капиталистическом рынке, и мы вынуждены были получать эту нефть в счет оплаты наших поставок и придумывать, как ее использовать в нашем хозяйстве. Мы это делали, потому что если бы мы ее не взяли, то никто бы ее не купил. А это значило отказаться от добычи нефти в Албании. Затем мы дали албанцам тракторы. Территория у них небольшая, пахотных земель немного. Но мы хотели помочь перестроить албанское хозяйство на современном уровне, сделать из Албании как бы жемчужину, которая притягивала бы к ней мусульманский мир, особенно Ближний Восток и Африку, притягивала бы к коммунизму. Вот, собственно, каковы были наши намерения и какую политику мы там проводили.

Мы предложили Албании построить мощную радиостанцию, что преследовало пропагандистские цели. Эту радиостанцию мы хотели использовать в целях пропаганды наших идей, нашей политики, политики всех коммунистических партий, наших общих целей в борьбе за социализм и коммунизм. Мы строили также большой морской порт в Албании. Одним словом, давали все, в чем нуждалась Албания, и все делали для того, чтобы сделать ее достойным партнером в социалистическом со-

дружестве, чтобы Албания стала наглядным примером для стран, освобождающихся от колониального гнета, и демонстрировала преимущества социалистической системы.

Беседы с албанскими лидерами проходили в дружеской атмосфере. Я уж не говорю о встречах с народом. Народ выражал большие чувства дружбы и благодарности к нашей делегации и через нас к Советскому Союзу, к нашей политике. Народ правильно оценивал нашу помощь, а она была заметна везде и всюду. Все новое, что там было сделано, осуществлялось с нашей помощью, по нашим кредитам, нашими специалистами и рабочими. Это всем было видно, и народ очень высоко ценил эту помощь и наше дружеское отношение к его нуждам. Албания — маленькая страна. Но ее маленький народ живет в интересном географическом месте, где переплетаются различные противоречия Европы, и противников у него много.

В беседах, которые мы вели, албанцы часто поднимали вопрос о греках. У них имелись какие-то территориальные споры, сейчас не помню, в чем они конкретно выражались. При желании всегда можно найти способ поддерживать отношения с соседом в состоянии спора, потому что ни одна граница не проходит так, чтобы она всех удовлетворяла, и кто-то всегда имеет возможность претендовать на ее исправление. Руководствуясь разумом, надо контролировать эти желания, подавлять их, относиться серьезно и с пониманием к своим соседям, создавать условия жизни в дружбе и мире с ними. Это возможно только при взаимном стремлении. Если такого взаимного стремления нет и одна страна хочет, а другая этого не хочет и не признает существующих границ, то, как бы ни хотелось жить в дружбе и мире, этого, к сожалению, не получается.

На албанских границах было спокойно. Албано-югославская граница не вызывала у нас никакой тревоги. Мы верили, что югославы ничего не замышляют против албанцев. Не знаю, насколько искренни были албанцы. Но мне казалось, что они с пониманием относятся к пограничному вопросу, хотя граница с Югославией их и не устраивала. В беседах они говорили, что очень много албанцев живет на территории Югославского государства. Но это были как бы исторические рассказы, без всяких претензий и намеков, что они что-то замышляют и хотят, чтобы мы поддержали их. Такого разговора албанцы не поднимали, хотя и не были удовлетворены. Они считали, что албанцы в Югославии страдают, что их там угнетают. Эти внутренние вопросы касались только Албании и Югославии. Югославы полагают, что албанцы в Югославии пользуются всеми правами ее народов. Думаю, что так оно и есть.

Другой эпизод, связанный с границей. Не помню, в каком году министр иностранных дел или другой общественный деятель Греции приезжал в Советский Союз. Я его тоже принимал. Албанцы — очень мнительные люди. У них сложилось впечатление, что мы ведем с греками переговоры об изменении греко-албанской границы в пользу Греции. Конечно, такого вопроса не поднимал никакой грек, и вполне разумно, потому что мы стояли на позициях защиты интересов Албании. Надо же вообразить себе, будто мы могли вести какие-то переговоры с греками, которые нанесли бы территориальный ущерб Албании! Глупость, просто недомыслие, плод большого воображения! Но, к сожалению, такие мысли албанцы высказывали кому-то из наших людей. А когда потом между нами обострились отношения, то они уже официально и вполне прямо говорили, что мы сговаривались с греками отторгнуть от Албании какие-то территории в пользу Греции. Бред сумасшедшего! Как отторгнуть? Если бы даже греки высказывали такие претензии и какой-то сумасшедший на нашем месте согласился с ними, то подобные вопросы ведь не решаются без войны. А кто бы стал воевать? Что, мы воевали бы за греков с Албанией? Просто бред! Но этот бред, к сожалению, высказывался албанцами.

Конечно, во время нашего визита эти вопросы еще не возникали. Их просто как бы не было. Одним словом, пребывание нашей делегации в Албании проходило приятно. Беседы, которые мы вели, были исключительно дружескими, и мы вернулись домой в хорошем настроении и с хорошим мнением об их достижениях. Успехи у албанцев взаправду были большие. Мы этому радовались: маленький народ энергично перестраивал свое хозяйство, хотя очень, очень бедно выглядели албанские крестьяне. Бедность, примитивность царили там везде. Но это не вина албанского народа и не вина Албанской партии труда. Так сложилось исторически, и надо было много потрудиться, чтобы изжить нищету и поднять жизненный уровень народа. Мы как раз стояли на этих позициях и оказывали всемерную помощь Албании.

На XX съезде КПСС мы доложили о тех извращениях, злоупотреблениях и несправедливых казнях, которые были совершены Сталиным. Мы, естественно, искренне стояли на позициях демократизации нашей жизни, хотя и не все стояли, как потом выяснилось. Некоторые хотели повернуть колесо истории вспять, притормозить разоблачение Сталина. Тут я говорю о многих товарищах, с которыми находился в одном коллективе. Но мы взяли путь на демократизацию общественной жизни Советского Союза. Многие другие коммунистические партии подражали нам. Кто-то искренне разделял нашу точку зрения, кое-кто соглашался

ся под давлением общественности, как партийной, так и беспартийной. Шел процесс демократизации общественной жизни.

Все эти проблемы бурно обсуждались на партийных собраниях в странах Восточной Европы. В Албании же дело приняло особый оборот. Мне рассказывали тогда наши сотрудники посольства в Тиране, что очень страстно проходило собрание партийного актива Тираны. Это собрание тянулось несколько дней, и Энвер Ходжа удержался буквально на волоске. Его резко критиковали и даже ставили вопрос о том, чтобы заменить Ходжу, Шеху, Бекира Балуку, всю эту тройку. Не помню, кто еще подвергся критике из партийных руководящих кадров на партактиве в Тиране. А обращаю внимание на этот факт потому, что он имел, видимо, решающее значение для дальнейшего развития отношений между Коммунистической партией Советского Союза и Албанской партией труда, между нашими государствами.

Все-таки Ходжа выплыл. И он, и Шеху, и Балуку остались в руководстве. Но это происшествие смертельно напугало их. Кроме того, они были вообще потрясены. Они-то считали себя вождями, непререкаемыми авторитетами. И как это люди посмели возвысить голос на активе и потрясти их авторитет? И не то что потрясли, а буквально чуть ли не стряхнули их с руководящих постов. Когда Мао Цзэдун стал проводить антисоветскую политику, линию, направленную на разрыв с Коммунистической партией Советского Союза, то не надо быть, как говорится, умным, чтобы понять, что его союзницей в этой политике могла стать Албания. Мао пригласил в Китай делегацию Албанской партии труда. Ее возглавил Мехмет Шеху. Я уже попутно говорил об этом и буду, видимо, повторяться, но ничего не поделаешь, потому что наша деятельность переплеталась.

В свое время мы сами критиковали югославов, наделяли их нехорошими эпитетами, что они, дескать, ревизионисты, отступники от марксистско-ленинской теории и прочее. Я сейчас не буду вдаваться в разбор этих вопросов, это для меня уже пройденный этап. Потом развивались между нами разные отношения, случались и обострения. В целом же в нашем отношении к Югославии победила дружба, и к концу моей деятельности у меня установились наилучшие отношения с товарищем Тито и другими деятелями Компартии Югославии. Я относился к ним с большим уважением. Но китайцы решили использовать нашу критику Югославии, а потом наше примирение, которое перерастало в дружбу между нашими партиями и между руководством Советского Союза и Югославии. Китайцы ловко поддержали албанскую критику Югославии как борьбу с ревизионистами, борьбу с Тито в качестве носителя

всяких антисоциалистических и антикоммунистических бацилл, с которыми не может быть никакой дружбы.

Эти семена упали на подготовленную почву. Тут и не потребовалось особых усилий со стороны китайцев, потому что албанцы сами искали, кто бы их поддержал. Китай — огромная страна с большим населением и с большим будущим. Им, как говорится, и карты в руки, рассуждали албанские руководители; тут-то они и возьмут реванш. Но они, полагаю, недалекие и ограниченные люди. Только поэтому они стали политику определять арифметикой. Не требовалось особых знаний математики, достаточно было иметь представление о четырех арифметических действиях, чтобы определить, какое население у Китая и какое — у других социалистических стран. Все социалистические страны не имели в совокупности столько народу, сколько один Китай. Следовательно, он пуп Земли. Так, видимо, определили свою линию Ходжа и Шеху. Они полностью объединились с Китаем в борьбе против Советского Союза, против Коммунистической партии Советского Союза.

Вот в связи с этим я и обращаю внимание на то, что партийный актив Тираны, где решалась судьба Ходжи, выступил тогда против него. Албанские лидеры восприняли охотно антисоветскую политику, которую провозгласил Мао. Им не надо было навязывать ее, они сами были подготовлены к ней не хуже, чем китайцы, исходя из опасной ситуации, которая сложилась для них после XX съезда КПСС. Они понимали, в чем заключалась суть осуждения культа личности, осуждения единовластия, осуждения антидемократических норм жизни и в партии, и в стране. Это напугало албанских лидеров, да и не только их.

Некоторые другие тоже встревожились: демократия, конечно, хороша, но в демократических условиях удержаться у власти, не оглядываясь на народ и не прислушиваясь к тем, кем руководишь, трудная задача. Тут требуется большой ум, требуется умение понимать задачи, которые стоят перед страной, умение слушать тех, кем ты руководишь. Надо всегда чувствовать свою зависимость от масс: ты находишься в руководстве, но не потому, что хочешь руководить. Надо, чтобы ты понимал, что можешь руководить лишь при условии, что этого хотят те, которыми ты руководишь. А это возможно только при одном условии: что руководитель будет плоть от плоти и кровь от крови своего народа, своей партии, станет исходить из интересов народа, а не личных, эгоистических, тщеславных устремлений, обладает нужными знаниями, скромностью и умением жить в коллективе, вести работу, которая соответствовала бы тому общественному и политическому положению, которое ты занимаешь волею партии. Ты не над партией! Нет, ты слуга партии

и можешь оставаться на этом посту, только пока партия поддерживает тебя и довольна тобой, твоей деятельностью.

Все это не соответствовало практической деятельности Ходжи, Шеху и Балуку. Когда между нами обострились отношения и переросли потом во враждебные, к нам приходили некоторые албанские товарищи и буквально лили слезы, рассказывали, какое положение возникло в их стране и к чему сейчас они отброшены. Мне рассказывал Тито, что прежде первым секретарем Компартии Албании был очень хороший товарищ. Югославы его знали и поддерживали. Сам он из рабочих. Собственно говоря, это он был организатором Коммунистической партии Албании. Но Ходжа, Балуку и Шеху устроили против него заговор. Рассказывали, что Шеху лично задушил этого человека. Вскоре нам стали известны и другие жуткие случаи: кого там задушили, кого как-то иначе тайно убили. У них сложилась такая система: если кто-нибудь проштрафился, а это определяли Ходжа, Шеху и Балуку, то они втроем выносили приговор. Достаточно было им троим согласиться, что сей человек вреден, и они находили способ, как тайно его уничтожить. Этот человек быстро исчезал.

Все это было очень похоже на систему, которую ввел Сталин. Он тоже так делал через Берию и через других подобных лиц. Таким способом и было уничтожено Сталиным много достойных людей. Вот какое положение сложилось в Албании. Вызывалось оно боязнью демократизации страны, боязнью общественной и партийной жизни. А этот путь я считаю неизбежным. Именно из-за этого у нас произошел разрыв. Как развивался этот разрыв по этапам? Прежде всего, мы узнали, что албанцы ведут с китайцами переговоры, направленные против КПСС и других братских партий. Иных фактов у нас раньше не было.

В то время из Китая ехала через Советский Союз албанская делегация. В наш ЦК пришла одна албанка, честнейший человек. Думаю, что сейчас они задушили ее, беднягу. Гестапо ее не задушило, а свои «братья» справились и задушили за то, что она как искренний коммунист пришла к нам в ЦК и рассказала, о чем китайцы беседовали с албанцами и как албанцы соглашались с китайцами. Мы же по наивности своей, как только узнали об этом, побежали к Шеху, который лежал тогда у нас в больнице, все ему рассказали и спросили, как это могло случиться, что в Китае велась такая беседа? Шеху буквально вскочил с больничной постели и сейчас же улетел в Албанию.

Окончательный разрыв оформился, когда в Бухаресте проходил очередной съезд Румынской коммунистической партии. Мы решили собраться там и обменяться мнениями по международным вопросам, вклю-

чая вопросы отношений между коммунистическими партиями и, более конкретно, складывающиеся между другими компартиями и Компартией Китая. Я говорю здесь не только о КПСС и КПК. Нет, этот вопрос касался и других братских партий. Когда мы собрались, то совершенно неожиданно для меня албанцы открыто выступили против нас и в поддержку Китая. Не помню сейчас фамилии представителя Албанской партии труда на съезде в Бухаресте. Но я его спросил: «В чем дело?» Он ответил: «Товарищ Хрущев, я сам ничего не понимаю. Но я получил директиву поддерживать китайцев». Мы думали, что еще не все потеряно, и хотели сделать все, чтобы восстановить наши дружеские отношения с албанцами. Однако, несмотря на наши усилия, это ни к чему не привело.

А когда в 1960 году в Кремле собрались на международное совещание все коммунистические и другие братские партии, Ходжа выступил с антисоветской обвинительной речью. Он показывал клыки больше, чем сами китайцы. Тогда очень хорошо выступила Долорес Ибаррури, старейший революционер, человек, преданнейший коммунистическому движению. Она сказала: «Как это так? Выступление Ходжи подобно тому, как пес, которому подают хлеб, бросается и кусает руку подающего». Это было очень метко сказано. Так что конфликт с Албанией произошел по сугубо принципиальным вопросам.

Албанские лидеры с их методами тайных и явных убийств создали партию, которая держится сплоченно лишь на страхе. Они не смогли принять решений XX съезда КПСС. Поэтому в борьбе против Коммунистической партии Советского Союза они, как и китайцы, подняли на щит имя Сталина. Сталин — вот идеал! Сталин — это марксист, это ленинец, а все остальные — ревизионисты. То есть ревизионист тот, кто высказывается против тайных и явных убийств, тот, кто выступает за демократизацию жизни партии и страны. Албанским лидерам оказалось не по пути с такими людьми. Это, конечно, истинная трагедия албанского народа. Никто, никакой здравомыслящий человек не мог предположить, что такое руководство сумеет пользоваться доверием и уважением своего народа, своей партии. Они же оказались вынужденными терпеть. Ведь никуда не денешься! Точно так же было у нас при Сталине: Сталин вел истребление руководящих кадров партии, это стоило нам тысяч голов честных людей, а все кричали: «Да здравствует Сталин! Сталин — лучший друг народа, Сталин — отец народа!»

Ходжу, видимо, пока так не называют: он еще молод по возрасту,

но он хочет этого. По его пониманию, этого можно добиться, только держа партию и народ в страхе, подчинив его себе путем угроз и насилий. Такую же политику проводит Мао. Сейчас иной раз включишь радио и слушаешь. Вот говорит Китай, а вот говорит Тирана. Языки разные, но суть одна. Их лидеры исходят из одной концепции, что народ — навоз, а вожди — гении. Поэтому у них не вожди для народа, а, наоборот, народ для вождей. Еще когда я встречался и беседовал с Мао во времена наших самых лучших отношений, то во многом никак не мог его понять. Тогда я относил его позицию к каким-то особенностям китайского мышления, к историческим особенностям китайской нации. Схемы одних его рассуждений были для меня слишком упрощенными, в другой же раз он пускался в очень сложные рассуждения. Я уже упоминал как-то о лозунге «Пусть расцветают сто цветов», то есть пусть развиваются все направления культуры. Теперь каждому ясно, что это была провокация. Этот лозунг был выброшен для того, чтобы вызвать людей на откровение, а потом расправиться с теми «цветами», которые неуютны по запаху или по цвету.

Или же другой лозунг, который был тоже высказан Мао и подхвачен Ходжей: «Не бояться империализма, империализм — это бумажный тигр», то есть тигр, который не опасен. Нам это было непонятно. Такой лозунг был выдвинут еще тогда, когда у нас сохранялись хорошие отношения. Мы не могли в ту пору пренебрегать этим лозунгом, должны были считаться с ним, потому что его выдвинул наш друг Мао, вождь китайского народа. С лозунгом «бумажный тигр» носились долгое время, но сейчас они что-то затихли и не повторяют его. Не знаю, отбросили его или же, используя, перешли к другим лозунгам. Это же невероятно: американский империализм — бумажный тигр? Ведь тигр — довольно опасный хищник, а США — это не бумажка.

Когда я уже находился в отставке, то слышал раз по радио об интервью, которое дал Чэнь И какому-то американскому писателю. Тот поставил вопрос прямо: мол, основываясь на высказываниях Мао, США считают, что вы хотите развязать войну. Правда ли это? Чэнь И ответил: «Нет, мы не хотим войны и будем воевать только в случае, если состоится прямое нападение на территорию Китайской Народной Республики». Это меня тогда просто резануло. Ведь это был недвусмысленный призыв к американскому империализму о нападении на Северный Вьетнам. Так и получилось: американцы правильно поняли Мао и развязали войну с Северным Вьетнамом. Ки-

тай же не вмешался в эту войну, его солдаты не защищали Вьетнам. Хотя и «бумажный тигр», но они знали, что такой тигр может схватить за горло. Подобное провокационное заявление ободрило американских агрессоров и подтолкнуло их к прямому нападению на Северный Вьетнам.

Такой же позиции придерживался Ходжа. Собственно, что еще можно тут сказать об Албании? Когда сегодня говоришь — Албания, нельзя не говорить о Китае. Политика Албании — это отражение политики, которую ведет на Западе Китай. Или возьмем еще один лозунг Мао: «Ветер с Востока побеждает ветер с Запада». Казалось бы, сугубо климатическое или географическое понятие. Но он запугивал всех Китаем: ведь восточные ветры могут дуть с большой силой.

Расскажу и еще об одном эпизоде нашего конфликта с Албанией. Как я уже говорил, мы дали ей 12 подводных лодок. Когда же отношения обострились, мы решили вернуть себе все подводные лодки и то сопутствующее оборудование, которое им давалось. Албанцы воспротивились этому. На трех, кажется, подводных лодках команды были уже полностью албанскими, на одной или двух — смешанными. Нам удалось вывести девять не то восемь подводных лодок, а три или четыре остались у Албании, мы не смогли их вывести. Но мы ожидали даже агрессивных акций со стороны албанцев и когда выводили подводные лодки, то наши военные корабли, не помню сколько, маячили у берегов Албании на случай чего-либо. Если бы албанские власти силой стали удерживать наши подводные лодки, то корабли должны были припугнуть их.

Тут, собственно, наметился уже полный разрыв с Албанией. Не знаю, выиграли ли от этого албанцы. Думаю, что проиграли: мы прекратили оказывать им помощь, все оборвали. Мне неизвестно, какие трудности создались тогда в Албании, но слухи у нас шли такие, что китайцы решили взять помощь им на себя. Они потом оказывали помощь, но я не знаю, в тех ли размерах, как мы. Думаю, что вряд ли, потому что в самом Китае сложились в то время очень тяжелые условия. Правда, удельный вес потребностей Албании по сравнению с китайскими очень небольшой, так что китайцы могли что-то сделать. Сейчас я не сумею даже приблизительно определить количество, потому что наше посольство в Албании было изолировано, и албанцы перестали к нам туда приходить. Ведь таких людей уничтожали. А мы лишились возможности получать какую-либо информацию.

Ну, и как быть дальше? Считаю, что надо приложить все усилия к тому, чтобы конфликт, в котором сейчас находятся КПСС и другие коммунистические партии с китайской, сужался и рассасывался. Следует добиться такого положения, чтобы коммунистическое движение стало монолитным и единым. Это должно быть поставлено главной целью. Надо все сделать для того, чтобы смягчить наши отношения и затем превратить их в дружеские. Это будет в интересах народов Советского Союза, в интересах всех миролюбивых народов, в интересах китайского народа, в интересах борьбы за мир, за мирное сосуществование. Китайские лидеры много раз поносили Советский Союз, КПСС за лозунг мирного сосуществования. Однако, когда буржуазные журналисты прижимали Мао вопросами, он сам повторял, что Китай тоже стоит на позициях мирного сосуществования. Но китайцев не всегда поймешь. Как говорится, не попадешь в них толкачом в ступе: то они высказываются за мирное сосуществование, то против. Албания же пока плетется в хвосте у Китая.

Сейчас в Китае окончательно побеждает учение Мао. А ведь в середине 40-х годов кричали, что это невозможно, что китайские коммунисты не победят. То же утверждали, когда там развернулась «культурная революция». Я же говорил: «Чепуха!» Конечно, победят. Армия у них сильная, морали там никакой не соблюдается, законы никакие не признаются. Если не послушаешь, то голову оторвут. А они ведь делают это артистически, собирают на площадях тысячи людей и душат несогласных. Что это, политика? Даже нельзя сказать, что это такое. Варварская политика. Нечто неопределяемое, но тут реальные факты, и ничего не поделаешь, такие там сложились условия жизни.

Лю Шаоци — умнейший человек, он не сдаётся, он не согласен с политикой Мао Цзэдуна и как-то борется против него. К тому же у него очень много сторонников. Но они реальной силы не имеют. Так что Лю Шаоци существует не потому, что у него есть сторонники, которые не выдают его Мао Цзэдуну. Нет, Мао может задушить Лю без особых усилий. Но это вызовет гнев масс, которым Лю хорошо известен. Это Мао знает и борется сейчас не против Лю как человека, а как против носителя определенной системы политических взглядов, хочет изолировать его политически.

Культ личности Мао — тоже сложное явление. С культом мы сталкивались и сталкиваемся не только в Китае. Сколько уже веков твердят: «Господи, помилуй, Господи, помилуй!» Это помогало? Кому? Обычно не помогало, но священники убедили нас, и народ верил в Бога. То же самое и тут. Между прочим, Мао начинали превозносить еще у нас. Например, такой факт. Я тогда еще работал в составе советского руководства. Узнал, что наши военные напечатали труды Мао по военным вопросам. Вызвал я маршала Малиновского и говорю: «Товарищ Малиновский, Ваше ведомство печатает Мао. Советская Армия разбила первоклассную германскую армию, лучшей армии у наших противников не было. А Мао воевал в Китае 20 или даже 25 лет, и все это время он и его враги друг другу ковыряли задницу штыками и ножами. Теперь Вы печатаете

«военные труды» Мао. Для чего? Учиться нам по этим трудам, как воевать в будущем? Какая часть тела принимала такое решение?» Это произошло пять лет тому назад. Умные вообще-то люди решали дело, но вырешили глупость, да они и сами были согласны, что совершили глупость. А сейчас, наверное, эти книги лежат на складе, а может быть, просто сожгли их.

Хочу еще немного остановиться на «личностях». Год или полтора назад, как мне говорили, распространялось в СССР мнение, что это я поссорил Китай с СССР. Спорить не буду, поскольку история сама показала цену подобным заявлениям. Но меня удивило, огорчило и разозлило, что такую глупость повторял Юдин, то есть человек, который был советским послом в Китае во время начала советско-китайского конфликта. Поэтому — несколько слов о Юдине. Он высказывается в том смысле, что я раздражил Мао и тот превратился в антисоветского человека. Если бы он мне лично сказал это, я бы документально доказал, что внешнее начало нашего конфликта с Мао было заложено самим Юдиным. И если переходить на столь низкопробную дискуссию по данному вопросу, то могу с большим основанием говорить, что там, где появится Юдин, у нас с любой страной возникнет конфликт. Вот поехал Юдин в Югославию, и мы разругались с Тито. Послали Юдина в Китай, и мы разругались с Китаем. Тут вовсе не простое совпадение.

Я в свое время к Юдину относился с уважением. Как он попал в Китай? Мао прислал письмо Сталину, в котором просил его, чтобы тот порекомендовал ему советского марксиста-философа: пусть он приедет в Китай, потому что Мао хочет отредактировать свои выступления и чтобы образованный человек помог привести их в надлежащий вид, дабы не было допущено каких-либо ошибок в марксистской философии. Выбор пал на Юдина. Его и послали. Юдин работал там душа в душу с Мао. Мао даже приезжал к нему в посольство чаще, чем Юдин — к Мао. Так говорил Юдин, да так оно и происходило. Даже Сталина несколько беспокоило, что Юдин как-то неуважительно поступает по отношению к Мао.

Все шло хорошо. И вдруг мы получаем от Юдина длинную шифровку, где Юдин описывает невероятные вещи, которые он услышал от Мао в адрес Советского Союза, нашей Компартии, а также лично Юдина. Если раньше складывалось впечатление, что Мао вроде бы пресмыкался перед Юдиным, то после этой телеграммы стало видно, что Мао вообще не уважает Юдина. У нас сложилось мнение, что Юдину надо оттуда убираться. Юдин как посол слаб. Но когда личные отношения Мао и Юдина были дружеско-братские, тот был полезен. А чисто по-

сольская работа от Юдина, на кой черт она нам нужна? Пусть дипломаты занимаются ею. Когда у него такой конфликт с Мао, то он и как посол — тоже не посол, а на философской основе у него получился полный разрыв с Мао. И мы его тогда отозвали в СССР.

Когда же мы поехали в Китай в 1954 году и провели несколько бесед с Мао, я потом сказал товарищам: «С Китаем у нас конфликт неизбежен». Такой вывод я сделал из реплик Мао и из обстановки, созданной вокруг нас. Она была азиатская: вежливая до приторности, предупредительная до невозможности, но неискренняя. Мы любезно обнимались и целовались с Мао, плавали вместе в бассейне, болтали по разным вопросам, душа в душу проводили все время. Но это выглядело до приторности слащаво и противно. Отдельные же вопросы, которые возникали и вставали перед нами, настораживали нас. А самое главное, я почувствовал и еще тогда сказал об этом всем товарищам, что Мао не сможет примириться с тем, чтобы существовала какая-нибудь другая компартия, а не китайская, которая бы, даже в какой-то степени, верховодила в мировом коммунистическом движении. Он не потерпит этого.

Если бы Сталин прожил еще немного, тот же конфликт разразился бы раньше и получился бы полный разрыв между СССР и Китаем. Политика — это вообще игра. И Мао проводил свою политику, вел свою игру. Ее особенность заключалась только в азиатских методах, в лести и коварстве. После XX съезда КПСС Мао говорил: «Товарищ Хрущев открыл нам глаза, сказал правду, и мы перестраиваемся». Сам Мао опубликовал это высказывание, а потом грянул все же конфликт. Когда Мао стал вести явно неправильную политическую линию и выдвинул лозунг «Пусть расцветают сто цветов», он при встрече со мной спрашивал: «Товарищ Хрущев, как Вы смотрите на «сто цветов»?» Я отвечаю: «Товарищ Мао Цзэдун, мы просто такого не понимаем». Конечно, мы не публиковали своего мнения по этому вопросу. Я конфликтовал с Мао лично, но мы публично об этом не высказывались, хотя у нас тут было общее мнение. Даже опубликовать-то по данному поводу нечего было. А Мао я сказал: «Мы этого не понимаем. Потому что цветы существуют разные: полезные, и противные, и просто вредные». Мао согласился, что нам это не подходит. Он человек умный и сам понимал, что раз мы ничего не публикуем в данной связи, значит, мы не согласны.

И вдруг Мао выдвигает новую идею: в пять лет догнать Америку. Начал у себя организовывать коммуны, создавать бытовые домны-самовары. Объявил, что идея мирного сосуществования — буржуазно-пацифистская точка зрения. Затем китайцы стали говорить, что при социализме распределение благ по количеству и качеству вложенного тру-

да — буржуазный лозунг. Послышались обвинения, что мы плетемся в хвосте у буржуазии. Тут уж встали принципиальные вопросы направления дальнейшего развития страны. Мы не могли идти за Китаем. А теперь философ Юдин все сваливает на личности. Он меня удивляет. Я его считал умным человеком.

Или взять проблему войны и мира. Когда мы с Мао в Пекине лежали в одних трусах около бассейна и рассуждали о мировых проблемах, Мао сказал мне: «Товарищ Хрушев, как Вы считаете: если сравнить военную мощь капиталистического мира и социалистического, то Китай выставит столько-то дивизий, СССР — столько-то, остальные социалистические страны — столько-то, а сколько выставят враги? Ясно, у нас будет преимущество». Я говорю: «Товарищ Мао Цзэдун, сейчас такой подсчет соотношения сил уже не годится. Когда решался вопрос кулачным боем или штыком, можно было считать, сколько у кого штыков и где перевес. Когда появился пулемет, то большее количество войск при меньшем количестве пулеметов не обязательно побеждало меньшего по количеству врага. А сейчас, когда есть атомная бомба, сколько у кого будет пушечного мяса — не указывает на фактическое соотношение сил». Он сказал, что не согласен со мной. А я разве мог с ним согласиться?

Или возьмем его заявление, когда он приезжал в 1957 году на московское Совещание представителей коммунистических и рабочих партий. Самые любезные состоялись тогда у нас разговоры, причем откровенные. Мао говорил мне: «Товарищ Хрушев, вот маршал Жуков, выступая в газете, сказал, что если произойдет атака империалистических держав против какой-либо страны социализма, то СССР немедленно нанесет ответный удар. Это неправильно!» — «Товарищ Мао Цзэдун, Жуков выступил не по своей воле, таково решение нашего ЦК партии, мы обязали высказаться министра обороны СССР. Я тоже говорил это, это советская точка зрения». У нас возникла тогда не ссора, произошла дружеская дискуссия, шло выяснение истины.

И тут же Мао мне заявил: «Я считаю, что если империалисты на нас нападут, на Китай, то СССР не надо ввязываться. Мы сами будем бороться. Лишь бы СССР сохранился, тогда все постепенно станет на свои места. Или, например, если нападут на вас, то вы тоже не отвечайте ударом». — «А как же поступать?» — «Отходите. Отступайте и год, и два, и три года». — «Куда отходить?» — «Но вы же отходили. В свое время отошли к Сталинграду, а теперь можете отходить хоть за Урал. За спиной стоим мы, Китай». — «Товарищ Мао Цзэдун, если начнется война, то сколько будет она длиться? Ведь эта война не будет похожа на предыдущую. Та война была войной авиации и танков, а сейчас состо-

ится война ракет и атомных бомб. Окажутся ли в нашем распоряжении три года, чтобы отходить до Урала? А может быть, у нас будет только несколько дней, а потом уже будут царапаться с врагом наши остатки? Никто не сможет сейчас это предсказать. Поэтому мы придерживаемся позиции удержания противника от ядерной войны. Если же скажем, что не будем отвечать, значит, сами призываем врага к нападению. Но мы заявляем, что ответим противнику, и тем самым удерживаем его от нападения».

Таковы были расхождения. Однако если мы говорим о Мао, то это одно дело, и совсем другое, если мы говорим о Китае в целом. Если мы начнем поносить китайский народ, то окажемся на националистических позициях. Национализм — это если мы начнем считать, что какая-то нация имеет особые права и преимущества. Это нацизм. Поэтому мы и сейчас искренне верим, что китайцы — наши братья, такие же люди, как мы. И если обманутая китайская молодежь нападает на наше посольство, это еще не значит, что нам надо ненавидеть китайский народ. Молодежь — еще не вся нация. Мы же марксисты! Должны понимать, что есть и иная молодежь. Ведь не весь Китай был на той площади, и не все, кто был на той площади и кричал, согласны с подобным. Вот в чем дело! Сколько сейчас китайцев, которые сами оплакивают то, что у них получилось? В Китае развернулась сильная борьба, китайцы убивают друг друга. Вот у нас Сталин расстрелял сотни тысяч граждан. Мы, члены партии, отвечаем за это, но нельзя же сейчас считать, что такое делала вся партия. Имело место злоупотребление властью Сталиным, а сейчас то же самое повторяет у себя Мао.

Приведу еще несколько фактов из истории наших взаимоотношений с Китаем. Сталин довольно критически относился к Мао Цзэду-ну. Он называл его, и с марксистской точки зрения правильно называл, каким-то пещерным марксистом. Действительно, когда Мао победно шествовал по стране, коммунисты подступили к Шанхаю. Но потом они остановились и не занимают его. Сталин спрашивал у Мао: «Почему не берете Шанхай?» Тот отвечает: «Там шесть миллионов населения. Если займем, надо их кормить. А чем их кормить?» И это марксист? Мао опирается на крестьян, а не на рабочий класс. Рабочий Шанхай он игнорирует, не хочет его принимать и не хочет на него опираться. Сталин его не раз критиковал с классической марксистской позиции и был прав. Но факт остается фактом. Мао, опираясь на крестьян, добился у себя победы. Тут не чудо, а поправка к историческому материализму: пришел к власти, опираясь на крестьян! Значит, правда истории — за ним. Только не марксистская правда. Ведь

победы бывают и временными, и вообще с разными результатами. Это из истории тоже видно.

Или другой конкретный случай. При Сталине СССР заключил договор с Китаем о совместной эксплуатации недр Синьцзяна. То была ошибка, даже оскорбление китайцев. В Китае раньше сидели французы, сидели англичане, сидели американцы, а теперь советские люди тоже туда влезут. Это же немыслимое дело! Сталин то же самое проделал в Польше, в ГДР, в Болгарии, в Чехословакии, в Румынии. Мы потом ликвидировали все смешанные общества такого рода. Третий случай. Сталин обзывает всех нас и спрашивает: кто знает, в каком районе Китая разрабатываются золото или алмазы? Мы-то не такие были знатоки, каждый ответил, что не знает. Потом шутили потихоньку, когда сошлись вместе у Сталина. Берия говорит: «А ты знаешь, кому это известно? Артисту Козловскому. Он поет: «Не счесть алмазов в каменных пещерах...»» Между прочим, Берия лично подзуживал Сталина, что, мол, в Китае имеются крупнейшие природные богатства, а Мао их скрывает; раз мы ему даем кредиты, нужно заставить его, чтобы он поставлял нам сокровища из своих недр. Вот Сталин и заинтересовался.

Однажды сидели мы у Сталина и размышляли насчет каучука. Кажется, именно я подал мысль выяснить у Мао, в каком районе Китая можно завести плантацию каучуковых деревьев. Развить бы это дело, дать Китаю кредит, технику и освободиться всем нам от зависимости по каучуку от капиталистических стран. Послали мы телеграмму в Пекин. Китайцы ответили, что на острове Хайнань можно развести каучуконос-гевею, и если будет предоставлен кредит, то они согласны. Дело получило какое-то развитие, и мы заключили договор. Но потом оказалось, что район, где могут произрастать каучуконосы, невелик и наши потребности покрыть не сумеет. Так дело и заглохло.

Как-то Сталину понравились ананасные консервы. Он тут же стал диктовать телеграмму в адрес Мао. Маленков выполнял функции писаря: «Пиши, чтобы они дали нам место для строительства фабрики ананасных консервов». Я говорю: «Товарищ Сталин, они только еще пришли к власти, и там имеется столько фабрик разных чужих государств. А тут появится еще и наша, от социалистического государства. Это обидит Мао». Он на меня взглянул недобро, рассердился, гаркнул... Ну, послали телеграмму. Через день или два получаем ответ от Мао: «Мы согласны. Если вас интересуют ананасные консервы, дайте нам кредит, мы построим фабрику и будем поставлять вам всю ее продукцию в счет погашения кредита». Тут же все услышали, как Сталин рассвирепел и выругался. Конечно, им было обидно. Такого рода телеграмм ни за моей

подписью, ни за подписью членов нашего правительства потом никогда не было. Ничего обидного для Китая мы не делали вплоть до тех пор, пока китайцы сами не стали нас распинать. А уж если так, то и я не Христос.

А что выделывали китайцы, когда у нас с ними еще сохранялись приличные отношения? Пошла у них там война с чанкайшистами за паршивые прибрежные острова. Мы Пекину поставляли свое оружие, а нас интересовала трофейная американская техника. Китайцы имели несколько ракет, запущенных американцами и не взорвавшихся. Нас интересовал новый образец ракеты «воздух—воздух», и мы попросили китайцев дать ее нам для изучения. Пекин нам не ответил. Мы повторили просьбу. Пекин ответил: «Мы сами пока разбираемся». Но сравним их уровень и наш уровень военной техники! К тому же мы им все гоним и гоним секретную военную технику, ракеты, заключили договор о производстве атомной бомбы, дали ее макет, а они нам отказывают. Тогда мы придержали некоторые поставки. В Пекине забеспокоились. И я сказал нашим военным: объясните китайцам, дескать, вы от нас пользуетесь, а сами даже трофейную американскую ракету не хотите показать? Они поняли и сейчас же прислали эту ракету. И я съездил посмотреть на нее. Та ракета была лучше наших, но китайцы умышленно не прислали нам чувствительного элемента тепловой головки. Мы потом работали несколько лет, чтобы решить эту задачу. Это было примерно в 1958 году.

Согласно договору, наши самолеты могли пользоваться аэродромами Китая. Потом, когда у нас появились подводные лодки дальнего плавания, то для связи с ними нам понадобилось построить радиостанцию на территории Китая. В это же время китайцы обратились к нам с просьбой дать им чертежи и научить строить подводные лодки. Тут мы им пишем насчет радиостанции и сразу получаем ответную телеграмму: «Нет!» А вскоре поступила шифровка об антисоветских настроениях в китайском руководстве. И я тогда сказал товарищам: «В соответствии с дипломатическим этикетом, следующий приезд к нам — это приезд Мао Цзэдуна. Но раз сложилась такая обстановка, то, может быть, нам заранее договориться с ними о двойной встрече, все равно — инкогнито или в открытую? Нужна личная встреча, чтобы объясниться».

После этого мы поехали в Китай (в последний раз) в 1959 году. Ничего та встреча уже не дала. Беседы у нас состоялись дружеские, но безрезультатные. Говорили мы с Мао и о радиостанции. Я ему: «Товарищ Мао Цзэдун, мы вам дадим кредит для постройки этой станции. Мы сначала написали вам, чтобы сами построили, но, может быть, это неудачная формулировка? Нас не интересует, чья будет станция; нас инте-

ресует, чтобы наша страна имела связь с подводными лодками. Мы можем насовсем передать ее вам, лишь бы поскорее построить эту станцию. Наш флот сейчас выходит в Тихий океан, а главная наша база находится во Владивостоке. Нельзя ли договориться, чтобы наши подводные лодки могли базироваться у вас, запрапляться, отдохнуть и прочее?» — «Нет! Не хочу даже слышать!» — «Товарищ Мао Цзэдун, страны Североатлантического пакта обеспечивают друг друга, а мы не можем договориться?» — «Нет!» Почему он так рассердился, я не знаю. Продолжаю: «Если нужно, мы дадим вам в Мурманске район, где вы сможете иметь свои подводные лодки». — «Нет! Мы не хотим. Сколько лет сидели у нас англичане и другие иностранцы, мы не согласны». Так и не дал согласия.

А потом газеты Китая стали помещать статьи о том, что Владивосток — это китайская территория и что русские отобрали его у Китая: исторически когда-то китайцы там господствовали, а затем якобы наши цари туда пролезли. Затем стали вести разговор о наших общих границах, и они прислали нам свою карту. Мы даже не смогли спокойно смотреть на эту карту, такое там было нарисовано ими!

Сейчас у некоторых людей проскальзывает мнение, что Мао — дурак, выживший из ума. Неверно! Он умный человек. Он наш противник, но умный человек. Какое-то время он нас просто обманывал. Талейран сказал, что язык дипломату дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Дипломатия — это политика. Вот, например, де Голль: умный человек или глупый? Ведь его когда-то некоторые считали идиотом. А это очень умный человек, только наш противник по взглядам и ведет себя как представитель своего класса, но не глупый, а умный. А Мао — националист, неглупый человек, у него имеется своя точка зрения. Мы не согласны с нею, и я действительно нетерпимо относился к ней. Если прочесть мой доклад на XXI съезде партии, то там многие рассуждения были посвящены китайским вопросам, хотя я не упоминал при этом о Китае. Мы отвергали его положения.

Когда китайцы выступили со своими лозунгами, их пропаганда свободно расходилась в нашей Сибири. Узнав, я сказал: «Прекратить это дело! Вы думаете, что положения уравнительного характера у нас не найдут почвы? Вы ошибаетесь. Уравнительные лозунги очень соблазнительны. Но нам надо отвечать по существу, а не только запрещать». Между прочим, одно их мероприятие я поддерживаю. Мао отменил в армии погоны. Считаю, что это разумный шаг, а неразумным был наш шаг, когда мы надели погоны, нашили лампасы. На кой черт нам это? Мы гражданскую войну выиграли без погон. Мой тогдашний ранг был комиссарским, и я ходил без погон. Красноармейцы признавали и своего

комиссара, и своего командира, и мы разбили врагов без погон. А сейчас вырядились, как какие-то канарейки.

В период наших хороших взаимоотношений с Китаем они из нас тянули все, что могли. В 1954 году мы были еще нищие, жрать было нечего, в ряде мест голодали. Но, когда мы приехали в Пекин, Чжоу Эньлай поднял такой вопрос: «Может быть, вы подарите нам университет?» Я ответил: «Мы бедны. Мы в принципе, может быть, богаче вас, но война только что закончилась, и, к сожалению, пока не можем». А буквально перед этим мы отдали им Порт-Артур с Дальним, и все бесплатно. Много, очень много средств вложили мы в Китай. Построили дорогу из Улан-Батора в Пекин. Не монголы же ее строили. Это мы строили в Монголии, а Китай — на своей территории. Однако, когда мы разговаривали с Мао в 1957 году, он сказал: «Эта дорога нас мало интересует. Нас вот какая дорога интересует». И показал на карте линию от Пекина через горы к Казахстану. Я сказал: «Вы лучше нас знаете свою территорию. Мы-то считали, что ближе всего через Улан-Батор, но согласны связаться с вами и через это направление. Ведите дорогу по своей территории, а мы проведем по своей до самой границы. Там и соединимся».

Еще раз встречаемся, Чжоу Эньлай поднимает вопрос: «Может быть, вы и на нашей территории построите?» Мы глянули по карте: там такие провалины, горы, реки. Кто же будет строить? Очень трудно. Отвечаем: «Нет, давайте лучше каждый на своей территории». Причем это вроде бы понравилось Мао. А если бы я сказал: «Да, построим за свои деньги», — что тогда? Начали строить. Они опять поднимали прежний вопрос в процессе строительства. Однако мы вновь сказали: «Ведь договорились же: каждый на своей территории». И в результате мы дошли до границы, а они не дошли. Главное — в другом. Мао тогда буквально распирало нетерпеливое желание мирового господства. Сначала в Китае, потом во всей Азии. А дальше? В Китае 700 миллионов жителей, в Малайзии половина населения — китайцы, и в других странах Азии их немало. Вообще очень интересными были с точки зрения понимания китайского национализма беседы «невинного характера» за чаем.

Мао как-то спросил: «Сколько раз различные завоеватели завоевывали Китай?» И сам ответил: «Не один. Но китайцы всех их ассимилировали». Вот его прицел на будущее: подумаешь, у вас там 250 миллионов граждан, а у нас — 700. Потом он затеял разговор о самобытности Китая. Поводом послужило то обстоятельство, что в китайском языке нет иностранных слов. Мао похвалялся: «Весь мир употребляет слово «электричество». Взяли его у англичан и повторяют. А у нас имеется свое слово». Меня просто трясло от всего этого бахвальства.

С Китаем у нас возникла еще одна любопытная проблема. В начале 50-х годов перед нами встала проблема кадров для областей Сибири и Дальнего Востока. И мы решили попросить рабочую силу у китайцев. Думали, что Китай даст нам сколько угодно, и поставили этот вопрос перед Мао: «Товарищ Мао Цзэдун, мы хотели бы, чтобы нам помогли там рабочей силой братья-китайцы, у нас там мало народу». Он повел себя, как купец: «Все на нас смотрят, как на рабов. Все хотят, чтобы китайцы им что-то делали. Но китайцы — не чернорабочие. Это, знаете ли, не так легко решить». И я сказал тогда своим товарищам: может быть, мы действительно не совсем тактично поступаем, обращаясь к Мао? И добавил официально: «Если у вас это вызывает трудности, мы не хотим их создавать и сами снимаем этот вопрос». Я верил ему, а он просто играл.

Проходит день, два, я не касаюсь данного вопроса: раз он сказал, что им трудно, то и мы не хотим. Тут Мао видит, что переборщил, и сам возобновил разговор. Я ему: «Вы же сказали, что Китаю это трудно?» — «Да, но для братского народа мы можем что-то сделать». Тут стало видно, как он набивает цену, полагая, что у нас там безвыходное положение. «Ну, если можете, то пожалуйста!» — «А сколько рабочих хотите?» Не помню сейчас, сколько мы написали: миллион или поменьше. Мао нам: «Что вы! Один только Шанхай даст вам два миллиона, там безработица, есть нечего». — «Нет, — отвечаем, — мы не сможем занять такое количество людей. Да и помещений у нас не хватит». Подписали соглашение. А когда вернулись в Москву, я подумал и говорю товарищам: «Вы заметили, как Мао охотно согласился дать людей, причем в Сибирь? Как вы думаете, почему? Помните, он говорил насчет ассимиляции. Так вот, он хочет заселить Сибирь китайцами, тут и воевать не надо. Это политика дальнего прицела. Мы должны проявить осторожность: пригласить китайцев легко, а выгнать их будет очень трудно. Можно пригласить гостей, да потом такие гости выгонят хозяев. Мы можем потерять Сибирь, Владивосток, и это на китайском языке будет называться ассимиляцией».

Подумали мы, подумали, разобрались в своем хозяйстве, и у нас выявились такие резервы, что оказалось, что у нас не только нет нехватки в рабочих, а имеются излишки и в Белоруссии, и в других местах. И мы тогда свернули прежнюю кампанию. Но к нам уже тысяч 300 китайцев приехало. Пришлось сказать, что в результате новой политики, которую мы сейчас проводим после смерти Сталина, у нас выявились новые возможности высвобождения рабочей силы, и дай нам Бог хотя бы ее задействовать, а не то что приглашать. Действительно, у нас в Москве посейчас скрытой безработицы на сотни тысяч людей. Они все при деле,

но при каком деле? Если его не будет, так никто и не заметит, что его нет. В любом учреждении сейчас сократите на 30% персонал, и работа не пострадает.

Китай, как говорится, далеко от нас. Но Китай и близок к нам. Он граничит с СССР, и на большом протяжении мы имеем общую границу. То есть тот же Китай — наш ближайший сосед. Однако сравнительно далекий сосед, если помнить, что общего у нас с Китаем (я говорю только о среде, в которой я лично вращался) было мало. До революции люди моего круга знали китайцев лишь по картинкам и мало что читали о Китае. С китайцами мы встречались, главным образом, когда они разносили всякие товары. В Донбассе, например, они продавали чесучу. Вот по таким контактам мы и составляли себе представление о Китае. Правда, русско-японская война заставила нас ближе соприкоснуться с ними. Впрочем, мнения русских солдат о китайцах были самыми различными.

После Октябрьской революции Советское правительство установило контакты с Китаем, с вождем Китайской революции Сунь Ятсеном. Когда в 20-е годы в Китае началась гражданская война, Сунь проводил прогрессивную политику и стоял на позиции дружбы с Советским Союзом. Симпатии советских людей были на его стороне. Наши газеты прививали читателям симпатии к китайскому народу, к его борьбе за освобождение от империалистической зависимости. Потом к руководству в Китае пришел Чан Кайши. Он порвал связи с Коммунистической партией, началась война гоминьдановцев против нее. Симпатии нашего народа вновь были на стороне советских районов Китая. Всеми своими помыслами мы жили как бы вместе с китайским народом, который вел борьбу против угнетателей.

Помню такой эпизод, наверное, в 1926 или 1927 году. Я тогда заведовал орготделом Окружного комитета партии в Юзовке. Ко мне пришел мой знакомый Ахтырский, который очень хорошо себя проявил во время гражданской войны. Это была довольно громкая фамилия, ее обладатель командовал бронепоездом. Так и назывался его бронепоезд — «Ахтырский». Очень храбрый человек, но в политическом отношении полукommунист-полуанархист. Вот пришел он в окружком, как всегда, пьяный, и обратился ко мне: «Давай срочно путевку, еду в Китай, буду воевать против Чан Кайши. Скорее давай, чтобы мне не опоздать и принять участие в наступлении на Шанхай». Я ему сказал, что и без него китайские коммунисты справятся и возьмут Шанхай. Этот эпизод свидетельствует, какое настроение было в нашем народе.

Еще некоторые наблюдения времен гражданской войны. Я тогда не встречался непосредственно с китайскими добровольцами, сражавшимися

за советскую власть. В воинских частях, в которых я служил, китайцев не было. Но вообще на нашем фронте китайские отряды имелись. Красноармейцы говорили, что китайцы ведут в бою себя очень хорошо, причем шутили насчет того, что китайский боец, дескать, действует так: давай кушать — машинка работает, не давай хлеба — машинка не работает. Одним словом, меня кормят, и я буду стрелять. Они действительно были бесстрашными в бою, а также отличными товарищами. А среди трудящихся были популярными имена организаторов борьбы против Чан Кайши, особенно Чжу Дэ, который командовал армией китайских коммунистов. Было известно также имя Гао Гана. Но упоминали и Чжан Цзолиня, контрреволюционера, который рассматривался у нас как ставленник японского империализма и враг рабочего класса. Мелькали и другие имена противников коммунистов — У Пейфу и иных. Многих я сейчас уже забыл.

Из числа коммунистических лидеров Китая я хорошо знал представителя его компартии в Коминтерне, очень популярного среди московских рабочих и часто выступавшего на митингах. Когда мы обращались к нему с просьбой приехать на какой-либо завод, он никогда не отказывал. Да он и сейчас еще живет в Москве, всегда оставаясь нашим другом. Независимо от того, какую позицию занимают сегодняшние лидеры КНР, он продолжает сохранять дружеские отношения с нашей Коммунистической партией и нашим народом. Это товарищ Ван Мин, прекрасный коммунист. Правда, в 20—30-е годы мне не приходилось заниматься китайскими вопросами, и я не знал ни структуры Компартии Китая, ни ряда ее руководителей. Помню, что довольно часто они упоминались в нашей печати, но их фамилии я сейчас не могу припомнить. Однако о Мао Цзэдуне я тогда ни разу не слышал.

После нападения Японии на Китай у нас установились довольно тесные связи с Чан Кайши, несмотря на то что он враждебно относился к Компартии Китая. Сталин поддерживал Чан Кайши, видя в нем прогрессивную силу, ведущую борьбу против японского империализма и за освобождение Китая. Считаю, что это была правильная позиция. Нужно было его поддерживать, потому что его разгром означал бы усиление Японии, усиление нашего общего врага, который на Дальнем Востоке являлся нашим врагом номер один. Позже, когда я встречался с Мао Цзэдуном, он упрекал Сталина за то, что Сталин вел такую линию в отношении Чан Кайши. Но ведь Сталин не содействовал внутренней политике Чан Кайши и помогал ему, поскольку тот вел борьбу против Японии, что нам было выгодно.

Аналогичную политику проводил, например, Черчилль, который поддерживал Советский Союз во время второй мировой войны, хотя оста-

вался нашим политическим врагом. Он был таковым с первого дня рождения Советского государства и остался им до самой своей смерти. Но Черчилль — разумный политик, который считал полезным, когда началась борьба с Гитлером не на жизнь, а на смерть, объединить усилия Англии и СССР. Это не значит, что Черчилль в какой-то степени принял советскую власть и желал сделать что-то доброе советскому народу. Вовсе нет! Его толкнули на союз с нами сложившаяся в мире ситуация и соображения выгоды для собственной страны. Исходя из этого же принципа Советский Союз поддерживал Чан Кайши.

На нашей границе с Китаем во время второй мировой войны было спокойно. Я говорю о том участке границы, который контролировался Чан Кайши. На участке же, куда уже вышли японцы, напряженность все время возрастала, часто возникали различные конфликты. Японцы постоянно нас «прощупывали». Когда они после первых своих побед на Тихоокеанском театре военных действий стали терпеть поражения, ситуация на континенте начала постепенно складываться в пользу Китая. Его армия, в свою очередь, стала одерживать отдельные победы, потому что Японии было уже не до того, чтобы по-прежнему сохранять инициативу в Китае. После разгрома гитлеровской Германии и ее сателлитов Советский Союз спустя три месяца включился в войну против Японии. Наши Вооруженные Силы успешно сыграли свою роль на завершающем этапе разгрома Японии. По договоренности с союзниками мы тогда освободили Маньчжурию и северную половину Кореи и тогда же обрели возможность более действенно помогать Китаю, включая широкое содействие материальными ресурсами и вооружением.

Когда вторая мировая война завершилась, СССР больше стал заниматься вопросами Китая. Мы решили оказать прямую помощь Мао Цзэдуну и Народно-освободительной армии в борьбе за государственную власть. В результате разгрома Японии ее Квантунская армия, сложив оружие, оставила нам огромное количество трофеев. Значительная их часть, особенно боевая техника, была передана китайским коммунистам. У нас имелась договоренность насчет этого оружия с союзниками в том смысле, что мы не имели права передавать его ни одной из воюющих в Китае группировок. Поэтому его надо было передать Мао так, чтобы не создалось впечатления, что мы нарушили обязательство. И вот мы его куда-то завозили, люди Мао якобы «похищали» его и вооружали свою армию. К тому времени они уже создали крупные силы, оснащенные и трофейным японским оружием.

Впервые я лично услышал о действиях Мао, когда во время войны А. И. Микоян как наш полпред ездил в Яньань на встречу с Мао. Сталин

хотел выяснить нужды китайских коммунистов для организации им прямой помощи. Помнится, после возвращения Микояна Сталин обсуждал проблемы Китая в тесном кругу собравшихся за обедом и несколько недоумевал: «Что за человек Мао Цзэдун? У него какие-то особые, крестьянские взгляды, он вроде бы боится рабочих и обособляет свою армию от горожан». Особенное недоумение вызвало у нас поведение Мао, когда его армия, успешно продвигаясь на юг, подошла к Шанхаю и несколько недель не вступала в него. Я уже упоминал, что ответил нам Мао по этому поводу, связав линию своего поведения с невозможностью прокормить шесть миллионов шанхайцев. Сталин возмутился: «Что это за марксист? Он считает себя марксистом, но не идет на помощь шанхайским рабочим, ответственность за судьбу которых не хочет брать на себя».

В ту пору я работал еще на Украине и мог узнавать в деталях, что происходит в Китае и что мы делаем для Китая, только от Сталина, когда приезжал в Москву. Когда же китайские коммунисты одержали в 1949 году победу, меня как раз перевели в Москву, где я стал первым секретарем областного и городского комитетов партии и одновременно секретарем ЦК ВКП (б). Теперь я все время общался со Сталиным и поэтому оказался в курсе вопросов, которые касались Китая. Ведь без Сталина никто у нас такие вопросы не только не решал, но и вообще ими никак не занимался. Не думаю, что я относительно Китая знал все. Основные такие вопросы Сталин решал с Молотовым. Но мне было известно, что Советский Союз все шире оказывал помощь Мао Цзэдуну, чтобы закрепить его завоевания. Победу коммунисты одержали там в открытой вооруженной борьбе. США помогали организовывать контрфронт, так что гражданская война продолжалась в Китае длительное время после разгрома японцев. Коммунисты нуждались в нашей помощи и получали ее, прежде всего оружием.

ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В НЕМ НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Первый приезд Мао Цзэдуна в Советский Союз был приурочен к 70-летию Сталина. Как раз к этому дню я возвратился с Украины в Москву на новую постоянную работу. Сталин сказал мне: «Сдавайте дела на Украине и обязательно приезжайте к моему 70-летию». Так я и сделал. Мне не пришлось присутствовать при беседах, которые вел Сталин с Мао один на один либо вместе с Молотовым. Сколько состоялось таких встреч и как они протекали, мне сейчас трудно сказать. Но после этих встреч Сталин ни разу не был в восторге от Мао и не особенно лестно отзывался в его адрес. Однако за обедом в честь Мао Сталин проявил большое гостеприимство. Он любил такие обеды и любил блеснуть гостеприимством, своим вниманием к гостю. Если хотел, то умел делать это особенно хорошо. На том обеде я был. Обед и сопутствующая беседа протекали в непринужденной обстановке.

Мне было приятно видеть, что вроде бы складываются хорошие отношения с новым Китаем. У нас все этого хотели. Правда, во время визита Мао имел место один неприятный инцидент. После обеда и дружеской беседы, которая велась за обедом, Сталин несколько дней вообще не встречался с Мао. А раз сам не встречался и никому другому не поручил, то и никто из нас к Мао не ходил. Тут Мао стал проявлять недовольство, что сидит взаперти, в отведенной ему резиденции, что ему ничего не показывают, что с ним никто не встречается, и заявил, что если так будет продолжаться, то он уедет. Доложили Сталину, что Мао проявляет недовольство. Тогда опять встретились с ним за обедом на даче у Сталина. Сталин теперь все делал, чтобы удовлетворить просьбы Мао, наладить хорошие отношения и показать, что находится всецело на его стороне.

Уехал Мао. Полномочным представителем Советского правительства в Китае по экономическим делам был тогда железнодорожник по профессии. Прежде он работал в Маньчжурии, восстанавливая там дороги после изгнания японцев, потом стал советником при Мао Цзэдуне. Сталин считал его доверенным человеком. В скором времени тот начал сообщать в своих донесениях, что наблюдаются плохие настроения в отно-

шении СССР, а особенно проявляется такое недовольство у Лю Шаоци, Чжоу Эньлая и ряда других руководителей страны. Аналогичные сведения посылал нам и Гао Ган еще до приезда Мао в Москву. Гао был тогда уполномоченным Политбюро ЦК Китайской компартии и одновременно уполномоченным Пекинского правительства в Маньчжурии, как бы ее наместником. У него сложились очень хорошие отношения с нашим представителем. Гао ничего не говорил о позиции лично Мао, но зато и не говорил, что Мао предпринимает что-либо в отношении тех лиц, которые выражают явное недовольство нами. Гао приводил в подтверждение наличия такого недовольства много фактов.

Вот один из них. Проходил какой-то китайский праздник. Состоялся парад. Когда по площади ехали войска, вооруженные нашими танками, то китайские военные злились, что, дескать, русские дали им старые танки. Да, это было правильно. Те танки не были новыми, тогда у нас самих не имелось столько новых танков, чтобы мы могли дать их Китаю. СССР только что закончил войну, восстанавливал промышленность, производство танков сокращалось. Иначе и быть не могло. Так что я не вижу оснований для обиды на нас. Конечно, танки были старые, но еще вполне боеспособные. Но такие высказывания подогревали настроение недовольства нами, и все ставилось в строку Советскому Союзу.

Сталин, желая расположить Мао в нашу пользу, во время его визита продемонстрировал, что относится к нему по-дружески и доверяет ему. Поэтому Сталин, взяв документы, полученные от нашего представителя в Маньчжурии с записью бесед с Гао Ганом, просто передал их Мао. Я-то, да и другие члены Политбюро, с кем мы обменивались мнениями, не сомневались, что Гао сообщал нам чистую правду. Какие он преследовал цели, не знаю, но в любом случае выступал с дружеских к СССР позиций. И вот Сталин отдал эти документы! Если искать какие-то исторические параллели, получается что-то вроде доноса царю Петру Кочубея на гетмана Мазепу. Тогда Петр вернул этот донос самому Мазепе, чтобы расположить его к себе и показать, что не верит в его измену. А Мазепа казнил Кочубея и стал помогать Карлу XII в походе на Россию. Этот эпизод ярко описан Пушкиным в поэме «Полтава». Как Мазепа поступил с Кочубеем, казнив его, так и Мао отнесся к Гао Гану. Сначала посадил его под домашний арест. Потом нам сообщили, что Гао «отравился». Маловероятно. Скорее всего, его там задушили либо отравили. На это Мао был способен, но на это был способен и Сталин. В данном отношении у них были родственные души, и методы они использовали одни и те же. В дальнейшем это подтвердилось в еще большей степени.

А пока мы лишились человека, который демонстрировал свою бли-

зость к нам и подтверждал это конкретным делом, информируя нас о ситуации в китайском руководстве и его отношении к СССР. Это было очень ценно. И вместо того, чтобы поддержать Гао, Сталин предал его. Полагаю, что Сталин поступил так по следующим мотивам. Сталин — человек, который никому не верил. Сам себе не верил. Он считал, что рано или поздно тот факт, что секретные сведения, которые поступают к нам, передает именно Гао, станет известен Мао Цзэдуну. Тогда Сталин попал бы в щекотливое положение: вроде бы инспирировал оппозицию к пекинскому правительству. Поэтому Сталин и воспользовался возможностью продемонстрировать, что полностью доверяет Мао и, следовательно, не хочет получать информацию от человека, выступающего против китайского руководства. Хотя лично Гао никогда не говорил нам о своем отношении непосредственно к Мао, но для ряда китайцев оно не являлось тайной.

Помню, наши люди в Китае сообщили как-то, что в одном городе состоялась молодежная вечеринка. Когда ее участники перепились, молодежь стала враждебно и демонстративно высказываться в наш адрес: «Возьмите к себе своего Гао. Это ваш человек, а не наш». Это имело место еще в то время, когда он являлся членом Политбюро ЦК КПК. Следовательно, уже тогда Гао находился в некоторой изоляции и о его нелояльности к «советской» политике Политбюро ЦК КПК там было известно. Это тоже надо иметь в виду. Возможно, Сталин, предавая Гао, считал, что, мол, все равно тот разоблачен. Таково мое заключение. Я же лично подобных рассуждений от Сталина не слышал. Но никакими другими причинами не могу объяснить, почему Сталин взял да и передал Мао упомянутые документы. Мы, члены Политбюро ЦК ВКП(б), признаться, возмущались поступком Сталина. А Гао Ган был загублен.

Что касается пребывания Мао в Москве, то я видел, что Сталин проявлял неискреннюю вежливость. Чувствовалось какое-то его высокомерие в отношении Мао. Мао, вовсе не глупый человек, сразу это понял, и это его раздражало, хотя сам Мао никакого недовольства внешне не проявил, за исключением вышеописанного случая.

Еще при визите Микояна в Китай встал вопрос о Синьцзяне. В этой провинции Китая реально правили наши люди, и не было секретом, что оттуда конкретно мы оказывали заметную помощь китайским коммунистам. Но одно дело, когда Китаем управлял Чан Кайши, и совсем другое создалось положение, когда победил Мао. Данный вопрос вплотную был поставлен при визите Мао в Москву. Сталин сказал, что Синьцзян — китайская территория, что у нас нет на нее каких-либо притязаний. Мы там находились потому, что раньше это было выгодно и Компартии Ки-

тая и Советскому Союзу. Чан Кайши не имел доступа в Синьцзян. Он знал, что мы там хорошо укрепились и что он ничего реального не может там предпринять, поэтому учитывал факты.

Теперь мы сказали Мао, что уйдем из Синьцзяна. Но Сталин предложил создать там смешанное советско-китайское общество. Китайцы приняли это предложение без всяких возражений, хотя, безусловно, остались недовольны. Они думали, что Советский Союз имеет в том районе какие-то особые планы, хотя Сталин и заявил, что СССР не посягает на Синьцзян. Создание советско-китайского общества по эксплуатации недр Синьцзяна рассматривалось в Пекине как поползновение на независимость Китая, посягательство на его территорию, граничащую с Советским Союзом. Вообще полагаю, что создание смешанных обществ было ошибкой Сталина. Это нельзя было делать ни с Китаем, ни с другими братскими странами.

Такие же смешанные общества были организованы нами ранее во всех европейских странах народной демократии. Например, в Румынии, чем румыны очень возмущались. После смерти Сталина мы ликвидировали все такие общества. Создание смешанных обществ не только затрагивало национальное самолюбие, но и посягало в какой-то степени на материальные ресурсы другого государства. Если наличие подобных обществ в Румынии или, допустим, в Венгрии можно было объяснять тем, что эти страны воевали против нас на стороне Гитлера, то в отношении Китая не имелось и таких аргументов.

Когда у нас с Китаем разгорелись споры, Мао в беседах со мной говорил, что Сталин не только не оказывал ему поддержки, но, напротив, предпринимал такие шаги в отношении Чан Кайши, которые противоречили интересам Компартии Китая. А некоторые действия, вроде создания смешанных обществ, вообще порождали антисоветские и антирусские настроения в новом Китае. К сожалению, допускались и другие поступки, наносившие большой вред укреплению нашей дружбы с соседними социалистическими странами. Например, считаю безумством и вероломством то, что Сталин домогался, чтобы все валютные товары и сырье, которые приобретали или добывали Северная Корея и Китай, поступали в Советский Союз. Естественно, каждая страна должна иметь свою валюту, с тем чтобы выйти на рынки капиталистического мира. Ведь СССР не все может дать им. Мы сами вынуждены были изыскивать валютные средства за счет добычи золота или экспорта валютных товаров на Запад, чтобы выручить ту валюту, на которую можно будет купить товары, нами не производимые.

Такие же нужды были и у Китая, и у всех социалистических стран

вообще. С этим надо считаться и строить свою политику, учитывая их интересы. Но Сталин был тут глухим, он не понимал и не хотел понимать это, особенно после того, как разбили Гитлера. Он считал, что как Александр I после разгрома Наполеона законодательствовал в Европе, так и он теперь может законодательствовать. То было преувеличение собственных возможностей и игнорирование интересов друзей. А такая политика их обижала, оскорбляла и сеяла семена враждебности в отношениях с СССР. Мне помнятся различные эпизоды взаимоотношений с Китаем, в которых наши необдуманные действия омрачили нашу дружбу, хотя никаких объективных причин к тому не имелось.

С другой стороны, иногда сам Мао Цзэдун не только проявлял уважение к Сталину, но и доходил до какого-то самоуничижения. Так, он обратился к Сталину с просьбой порекомендовать человека, который помог бы ему в редактировании его речей и статей периода гражданской войны. Эти материалы Мао хотел теперь издать и попросил прислать к нему человека, марксистски образованного, который не только помог бы ему при редактировании, но не позволил допустить какие-либо ошибки в теории. Сталину было приятно такое признание его авторитета, выраженное в этой просьбе. Думаю, что Мао поступил так, исходя из своих соображений, чтобы создать у Сталина иллюзию, что готов его глазами рассматривать вопросы теории и практики марксизма и не претендует на какую-то собственную точку зрения в деле строительства социализма в Китае. Но это противоречило всему тому, что выявилось потом в ходе дальнейшей истории Китая.

Китайцы выдвигали также большие просьбы насчет помощи вооружением, поставок оборудования, строительства заводов. И здесь Советский Союз оказывал огромную помощь Китаю. Я не могу сейчас назвать конкретно денежную сумму, в которую она обошлась. Но речь шла о металлургических заводах, автомобильном, тракторном и по производству современного вооружения. Под все это мы давали кредиты, пересылали чертежи, оказывали другую помощь, фактически бесплатную. Даже документация передавалась не на коммерческой, а на дружеской основе. В Китай посылались наши военные инструкторы по всем родам войск: летчики, артиллеристы, танкисты. Я тоже считал, что это полезно и нам, и Китаю. Мы рассматривали укрепление Китая как упрочение социалистического лагеря и обеспечение наших восточных границ. Тут интересы у нас с Китаем были общими, и мы относились к его просьбам, как к собственным нуждам, и шли навстречу настолько, насколько имели материальные возможности удовлетворить все просьбы.

На Востоке не только интересы Советского Союза и Китая, но и Ко-

рейской Народно-Демократической Республики очень тесно переплелись. К Северной Корее СССР также относился с большим вниманием и оказывал ей всевозможную помощь и в создании армии, и в налаживании народного хозяйства. Одним словом, мы делали все для того, чтобы Северная Корея экономически развивалась быстрее, чем Южная, и тем самым служила бы притягательной стороной для народа Южной Кореи. Когда Северная Корея вступила в войну с Южной, то здесь Северная Корея, Китай и Советский Союз еще прочнее связались в один узелок, потому что победа Южной Кореи явилась бы победой США над Северной Кореей, что угрожало и Китаю, и Советскому Союзу. Наши симпатии были целиком и полностью на стороне Северной Кореи, на стороне властей, которые возглавлялись Ким Ир Сеном.

Много лет мы придерживались той точки зрения, что инициатива нападения принадлежала в той войне Южной Корее. А сейчас я считаю, что версию, которая была создана, нет нужды поправлять, потому что это было бы выгодно только нашим противникам. Но, если не детализировать версию, истина окажется такова: то была инициатива Ким Ир Сена, которая поддерживалась и Сталиным, и всеми нами. Мы как коммунисты сочувствовали корейскому народу, хотели помочь ему свергнуть иго капитализма и установить во всей стране народную власть. После смерти Сталина война какое-то время еще продолжалась. У нас давно созрела мысль найти возможности ее прекращения. Мы предприняли шаги по дипломатическим каналам и начали прощупывать американцев: как они отнесутся к прекращению огня? Американцы откликнулись позитивно, и начались переговоры. Потом была создана смешанная комиссия в составе корейцев, китайцев и американцев для непосредственных переговоров между сторонами, находившимися в состоянии войны. Переговоры длились долго, но в конце концов была достигнута договоренность. Войска остались на тех рубежах, на которых они прекратили военные действия, то есть примерно по той 38-й параллели, по которой была установлена после разгрома Японии демаркационная линия между войсками СССР и США.

С Китаем в то время у нас были хорошие отношения, во всяком случае внешне. Говорю — внешне, потому что, как мы потом узнали, внутренне Мао не признавал нас за равноправных союзников и таил великодержавные поползновения. Мы же оказывали Китаю солидную помощь. Китайские рабочие проходили у нас практику, обучались на автомобильном, тракторном и других заводах, которые строились с нашей помощью в Китае. Наши инженеры и рабочие трудились в Китае и напрямую участвовали в этом строительстве. Китайские граждане относились

к нам на первых порах очень хорошо, а мы делали все для того, чтобы братские отношения укреплялись. Мы считали, что народы Советского Союза и Китая — братья и что это полезно не только нам, а и международному коммунистическому движению.

Еще по предложению Сталина мы дали очень много оружия китайской Народно-освободительной армии: артиллерию, танки и пулеметы, винтовки и автоматы, самолеты. Китайцы получали то оружие, которым в основном была вооружена тогда Советская Армия. Правда, она по отдельным видам боевой техники уже переходила на новое вооружение. Ведь всегда и во время войны и тем более после войны в процессе строительства Вооруженных Сил одни виды вооружения снимаются с производства, другие вводятся. Какой же общий принцип действовал у нас в отношениях с Китаем? По мере совершенствования оружия мы вооружали этим оружием свою армию, потом предлагали его Китаю для перевооружения его Народно-освободительной армии. Мы считали, что такой подход является основой братских взаимоотношений, были заинтересованы, чтобы Китай был силен, а его армия находилась на современном уровне развития. Прилагая все усилия для повышения боеспособности собственной армии, мы в той же мере были заинтересованы в повышении боеспособности китайской армии.

До нас доходили слухи о том, что в Китае имеются силы, которые враждебно относятся к Советскому Союзу. Мы получали сведения, что в китайских газетах пишется о том, что китайцы недовольны границами с Советским Союзом, претендуют на Владивосток и прочее. Они рассказывали читателям, что русские цари силой установили существующую границу и навязали ее Китаю; употребляли также другие выражения недружественного характера по отношению к СССР. Я, конечно, не защищаю царей. Но границы, которые сложились у СССР, перешли к нему в наследство от бывших границ, и мы всегда считали, что тут законные советские территории. Ведь и в других социалистических странах новые, революционные правительства стали наследниками бывших правителей и считали своей всю национальную территорию в тех же границах, которые они получили от свергнутых властей.

Полагаю, что такой подход разумен и правилен. Если поставить сейчас вопрос о пересмотре границ и искать какие-то исторические давности, когда границы были иными, то можно зайти очень далеко. Это не приведет к укреплению дружеских отношений между нашими странами, а, наоборот, рассорит нас. Кроме того, для настоящего коммунист-интернационалиста, который должен видеть дальше национальных границ, этот вопрос вообще не имеет значения в деле конечной мировой

победы революционного движения и в рамках марксистско-ленинской философии.

Мы говорили об этом в Пекине. Они отвечали: не обращайтесь внимания, у нас имеется много партий, и каждая партия обладает своей печатью. Там встречаются и враждебные высказывания представителей буржуазно-помещичьего класса, но они не являются точкой зрения нашего руководства. Мы этим удовлетворялись, хотя и хотели, чтобы была в открытую опубликована точка зрения китайского руководства. Но это так и не было сделано, хотя прямых таких требований мы не высказывали, а просто верили на слово китайским руководителям.

Деловые же контакты у нас, главным образом, поддерживались с Чжоу Эньлаем. Чжоу довольно часто приезжал к нам, и именно с ним обсуждали мы все вопросы. С ним же предварительно договаривались о прекращении войны в Корее, вырабатывая общую тактику поведения. Часто Чжоу приезжал в СССР по тем или другим вопросам экономического характера, в том числе для заключения договоров о поставке в Китай оборудования и по прочим нуждам, которые имел Китай. С Чжоу у нас сложились очень хорошие отношения. Мы относились к нему с большим уважением. Он оказался деловым человеком, и с ним легко было разговаривать, легко находить взаимовыгодные решения. Мы считали, что у нас вообще сложились с Китаем хорошие деловые отношения. Чжоу являлся в то время премьером и министром иностранных дел. Поэтому вопросы дипломатических отношений Советского Союза с Китаем тоже решались с ним.

Я уже говорил, что мы осуществляли Китаю большие поставки, строили там заводы. Хотел бы специально остановиться на этом вопросе, потому что, когда я оказался уже на положении пенсионера, разные люди, встречаясь со мной, изъявляют тревогу, что мы оказываем слишком большую помощь другим странам и тем самым раздаем богатства Советского Союза. Да, мы помогаем нашим друзьям, например Китаю. Но Китай платил нам, как платят и прочие страны, которые мы поддерживаем. Какая же это помощь, скажут, если взамен платят? Вроде бы это торговля. Не совсем так! Конечно, торговля, раз идет оплата. Помощь же заключается в том, что мы поставляем в кредит оборудование, которое устанавливается тоже при нашем содействии, строим заводы и обучаем рабочих, затем даем все, что нужно для организации производства. Такая страна сразу получает возможность производить металл, оборудование.

Конечно, если рассматривать отношения, которые складываются в капиталистическом мире, то там любая фирма прикидывает, что ей выгод-

но, и только. Выгоднее ли ей продать оборудование? Или выгоднее не продавать оборудование, а продавать продукцию, которая выпускается на этом оборудовании? Чаще всего делается последнее. Мы же, желая укрепить экономику дружеской страны и способствовать поднятию жизненного уровня ее населения, поставляем и оборудование, и целые заводы. Мало того, оборудование поставляем по льготным ценам. Например, капиталисты дают кредиты из 5—7% годовых, а мы давали из 2,5% или 2%. Это большие льготы. Поэтому мы вправе говорить, что оказываем именно помощь братским странам.

К тому же времени относятся переговоры с Китаем, которые закончились заключением договора о статусе Порт-Артура и Дальнего. Здесь наши позиции были вполне правильно определены. Мы исходили из того, что Порт-Артур — исконно китайская территория, а мы там будем находиться до тех пор, пока это отвечает интересам как Китайской Народной Республики, так и Советского Союза. Наши усилия были направлены против возможного общего врага, хотя ранее и разгромленно — Японии. К тому же конкретно в то время сложились новые условия, когда нарастала угроза со стороны США, которые фактически организовали войну против народной власти на юге Китая и поэтому могли угрожать Китайской Народной Республике со стороны Японии.

Ранее мы затратили много сил и средств для приведения в надлежащий вид крепости Порт-Артур, заново вооружили ее и держали там довольно солидный гарнизон. Все это позднее мы передали Китаю. Кроме того, отказались от своих прав на Китайскую Восточную железную дорогу в Маньчжурии. По-моему, такое решение было правильным: мы не хотели порождать конфликт, не хотели иметь собственность на территории другого социалистического государства. И мы покончили с этим вопросом, передав ее Китаю. Но, видимо, этот факт их не совсем удовлетворил. Мао желал большего.

После смерти Сталина мы ликвидировали все неравноправные договоры, а также совместное общество по эксплуатации Синьцзяна, договорились о передаче Китаю Порт-Артура и эвакуации оттуда наших войск. По последнему вопросу долго велись предварительные переговоры. Решение задерживали не мы, а китайская сторона, хотя нам это было понятно. Китай опасался США, пока шла война в Корее. Американцы повернули ее ход в пользу Южной Кореи, и в Пекине возникли опасения: не совершат ли они агрессивных акций и против Китая? Войск у США в Южной Корее было достаточно, поэтому передачу Порт-Артура в те годы китайцы не только не форсировали, но и сдерживали.

В 1954 году было решено направить в Пекин нашу партийно-прави-

тельствующую делегацию. Ее по решению ЦК КПСС и Совета Министров СССР возглавил я. Состав делегации был большим и представительным: Булганин, Микоян, Шверник, Фурцева, Шелепин, Насриддинова, другие лица. Выезд делегации приурочили к годовщине победы народной революции и установлению власти трудящихся в Китае — 1 октября. И вот мы прибыли в Китай. Встречали нас очень радушно. Да и мы были очень рады побывать на китайской земле, встретиться и побеседовать с руководителями ее народа. Особых вопросов к Пекину у нас не было, кроме общих проблем обороны. Чтобы обеспечить оборону, надо было и дальше способствовать развитию экономики, особенно индустрии в Китае. С нашей стороны имелась только одна просьба к китайскому правительству. Мы считали, что дело представляет взаимный интерес и в какой-то степени явится помощью Китаю. Там существовала большая безработица, мы хотели какое-то количество китайских рабочих привлечь для разработки богатств Сибири, прежде всего на лесоразработку.

Точно не помню сейчас, о каком количестве людей шла речь. Нам требовалось около 1 млн человек, а может быть, и больше. Таковой была общая потребность, согласно заявкам отраслевых министерств. Действовало мнение, что у нас налицо нехватка рабочей силы. Эта точка зрения оказалась неправильной и была потом пересмотрена. Выяснилось, что у нас рабочей силы хватает, даже с излишком. Просто мы плохо используем рабочую силу, поэтому проявляется нечто вроде дефицита. Главным образом дефицит ощущался в Сибири. Это и понятно. Чтобы разрабатывать богатства Сибири, надо привлекать рабочих из европейской части СССР, потому что в Сибири слишком слабая плотность населения. Я на этом задерживаюсь, чтобы показать затем, как реагировал на нашу просьбу Мао Цзэдун.

Собрались мы для очередного чаепития. В Китае я не замечал злоупотребления спиртными напитками. Даже когда мы собирались за обедом, то пили вино в умеренном количестве и без всякого принуждения, не то что у Сталина, когда каждый пил не сколько хотел, а сколько Сталин хотел влить отравы в его организм. Мао в этом отношении резко отличался от Сталина, и я не могу сказать, чтобы он лично проявлял какую-то склонность к питейным делам. Пили вообще преимущественно чай. Во время заседания его подавали в чашке с крышкой (по китайской традиции). Как только выпьешь, приносят следующую. Если не успевал выпить, чай забирали и ставили новый. Спустя некоторое время — опять то же. Периодически приносили теплое, распаренное махровое полотенце. Им китайцы вытирают голову и лицо, освежаются.

Мы к такой церемонии не привыкли, но пользовались ею ради уважения к хозяевам.

Чай подавали в таком большом количестве! Булганин любил чай и добросовестно выполнял церемонию, зато потом лишился сна. Врач его осмотрел и спросил: «Вы пили зеленый чай? Много?» — «Да, много». — «Если Вы и дальше будете пить его в таком количестве, то еще хуже станете спать. Вам надо сократить потребление чая. Чай содержит тонизирующие вещества, которые лишают человека сна». Булганин перестал пить чай и опять вошел, как он мне сказал, в норму.

Как же Мао реагировал на нашу просьбу о рабочей силе? Надо знать Мао! Ходит он спокойно, медлительно, вроде как медведь, вразвалочку. Он глянул на меня, опустил глаза, опять поднял их и спокойно, тихим голосом начал говорить: «На Китай все смотрят, как на резерв рабочей силы. Все считают, что у нас много безработных, что мы слаборазвитая страна, и поэтому китайцев можно привлекать на всякие там неквалифицированные работы как дешевую рабочую силу. Но в Китае считается оскорбительным такое отношение к китайскому народу. Ваши требования (вот как он это поднес) могут создать для нас трудности и породить в Китае неправильное понимание в отношении Советского Союза. Получается, что СССР тоже смотрит на Китай как на поставщика грубой рабочей силы. Так смотрели на нас западные капиталистические страны».

Нам было очень неприятно выслушивать это, особенно такое сравнение. Мы-то искренне, по-братски относились к Китаю и пришли, как говорится, с открытой душой. Думали, что такое предложение выгодно Китаю, что он заинтересован временно избавиться от лишних ртов. Китайцы смогут сами зарабатывать на хлеб. Таким образом, это будет выгодно и тем, кто станет работать у нас, и Китаю, потому что он тоже будет получать какие-то выплаты за работы в Сибири. Мы условились, что я поведу переговоры от советской делегации. Поэтому я и ответил: «Товарищ Мао Цзэдун, мы не хотим создавать для вас трудности. Мы считали, что это предложение и в ваших интересах. Если оно создает вам трудности, то мы не настаиваем на своем предложении и обойдемся собственными силами».

На этом разговор закончился. После заседания у Мао собрались мы в своей резиденции и решили: раз наша просьба создает трудности для китайских товарищей, нам не стоит проявлять упорство, мы сами внутренними силами справимся с задачей разработки богатств Сибири. Так мы отказались от постановки этого вопроса и более к нему не возвращались. Но когда после поездки по Китаю мы вернулись в Пекин, к нам

обратилась уже китайская сторона: что же вы не ставите вопрос о рабочей силе? Мы разъяснили, что отказались от своего предложения, получив такой ответ от товарища Мао Цзэдуна. Тут Пекин обратился к нам официально, заявив, что китайская сторона высказала лишь свои соображения, но тем не менее, с пониманием относясь к нуждам Советского Союза, готова нам помочь. Раз инициативу проявили китайцы, мы согласились возобновить переговоры и заключили соответствующий договор, который был подписан обеими сторонами. В нем зафиксирован объем поступления рабочей силы из Китая и разработаны условия оплаты. Мы пошли на заключение договора потому, что раньше сами проявили инициативу, а теперь уже Пекин поднял этот вопрос. Нам неудобно было отступить, пришлось бы давать какие-то объяснения, что могло ухудшить наши отношения.

Мы обусловили на первых порах получение 200 тыс. рабочих рук, и китайцы стали приезжать к нам. Однако из бесед, которые мы провели в Пекине, а особенно в связи с их постановкой вопроса о привлечении рабочей силы из Китая в Сибирь мы поняли, что поступили так зря. Мы вскоре заслушали обширную лекцию по истории Китая, а также о Чингисхане и других завоевателях, которые приходили в Китай; о том, что более стойкой оказалась китайская нация, которая ассимилировала всех завоевателей, приходивших в Китай. Очень многое было сказано о превосходстве китайской нации в сравнении с другими. То, что рассказал нам про это Мао Цзэдун, было интересно послушать, но мы сделали для себя вывод, что Мао относится к другим нациям свысока. У меня сложилось мнение, что при дальнейшем развитии отношений Китая с Советским Союзом могут встретиться трудности; что Мао наделен националистическими мыслями и считает китайцев превосходящими все другие нации.

Мы отметили также такое личное качество Мао, что он никого не считает равным себе; значит, сможет дружить только с теми, кто будет признавать его превосходство и подчиняться ему не юридически, а в смысле понимания проблем, стоящих перед странами и перед партиями. Мне же казалось, что Мао не сумеет примириться с условиями, необходимыми для здоровых отношений между социалистическими странами, когда каждая страна и каждая правящая партия занимают равноправное место. А он претендует на гегемонию в мировом коммунистическом движении!

После возвращения в СССР мы откровенно обменялись мнениями по этому вопросу в Президиуме ЦК КПСС. Наше сообщение вызвало тревогу. Докладывал я как глава делегации. Мое мнение сводилось к тому, что в наших отношениях с Китаем заложены опасные перспективы, а

причина тому — высокомерие, проявляемое Мао при оценке роли Китая в мировой истории и собственной роли в истории китайского народа и коммунистического движения. Выдвижение на первый план собственной персоны угрожает трениями между нашими странами, а может быть даже и больше, чем трениями. Поэтому (и со мной все согласились) мы должны сделать все, чтобы этого не допустить и строить свои отношения так, чтобы не вызывать не только каких-либо подозрений, но и вообще не вскармливать отрицательных, националистических бацилл, которые носит в своем организме Мао. Мы решили также приложить все силы к тому, чтобы не нарушать братских отношений Китая с СССР и сделать все возможное для их укрепления.

Однако у меня лично сложилось мнение, что этого будет трудно достичь или даже невозможно, потому что Мао не согласится занять равное другим положение в коллективном руководстве мировым коммунистическим движением и потребует признать свою гегемонию. По таким вопросам бывает невозможно договориться. Тут все зависит от личных качеств, от того, как относится к себе какой-нибудь руководитель, в каком направлении он прилагает свои усилия. Если добиваться не физического подчинения, а утверждения ведущего положения путем проявления более глубокого понимания хода истории и развития политики, вырабатываемой коллективом коммунистических партий, — тут другое дело! Но нет, я чувствовал, что Мао безоговорочно определил себя в вожди мирового коммунистического движения. А это было опасно.

Другие наши беседы в Пекине касались напрямую вопросов мирового коммунистического движения. Мы считали целесообразным осуществить какое-то «разделение труда» по связи с компартиями несоциалистических стран. Так как КПК добилась победы в Китае, то мы полагали, что лучше всего, чтобы именно она установила более тесные связи с братскими компартиями стран Азии и Африки. Кроме того, по уровню развития промышленности и жизненному уровню населения Китай стоял ближе к народам таких стран, как Индия, Пакистан, Индонезия. Мы-то имели в виду в первую голову как раз эти страны. А хотели оставить за собой укрепление связей с коммунистическими партиями Запада, в первую очередь европейскими и в США.

Когда мы высказали эти соображения китайским товарищам, Мао возразил: «Нет, это невозможно. В коммунистическом движении ведущая роль должна принадлежать Коммунистической партии Советского Союза. У нее богатый опыт, у нее был Ленин, в КПСС созданы кадры, которые глубже понимают марксистско-ленинскую теорию, а мы без Советского Союза никак не можем браться за такое большое дело. Мы ведь и сами

смотрим на Советский Союз, учимся у него. Должен быть единый центр руководства, в Москве». Но когда я слушал всевозможные доводы Мао насчет признания ведущей роли СССР и КПСС, то не мог отделаться от мысли, что это все на словах. А думает Мао совсем о другом, готовя соответствующую почву для себя. Это меня очень огорчало, я чувствовал, что когда-то настанет время тренировок, а может быть и более чем тренировок, между нашими партиями, между нашими странами. Заявляю еще раз: это было для меня сильным огорчением. Но и мы не могли прятать голову в песок, как страусы, а смотрели такой опасности прямо в лицо, а с другой стороны, дали себе слово сделать все, чтобы заглушить такие ростки, изжить их и добиться самых лучших, братских отношений между нашими партиями, между нашими странами.

Когда мы вернулись в СССР, то решили глубже изучить собственные возможности. После смерти Сталина мы почувствовали большую ответственность за судьбу страны. Эта ответственность заставила нас глубже вникать в хозяйственные вопросы, особенно в вопросы планирования. Мы убедились, что мнение о нехватке у нас рабочей силы было неверным: в СССР имеются даже излишки рабочей силы, просто их неправильно используют. Поэтому для нас отпала необходимость в таком количестве рабочих, которое мы просили у Китая. К нам уже пришла первая их очередь, а далее мы не проявляли инициативы в этом вопросе. Казалось, такой поворот должен был импонировать Пекину и взглядам Мао, которые он нам высказал. Не тут-то было! Китайцы сами стали нам напоминать: «Что же вы, мол, договор подписали, а рабочих не берете? Стесняетесь, что ли? Мы готовы оказать вам братскую помощь».

Мы стали разъяснять им положение вещей, а при встрече с Мао я извинился за то, что мы ранее завысили свои пожелания в получении рабочей силы, которая на деле сейчас нам не требуется в таком количестве. Закончилась эта эпопея так: по окончании соглашения с китайскими рабочими они возвращались домой, а мы уже не восстанавливали прежнего их количества за счет вновь прибывающих из Китая. Постепенно у нас сложилось единое мнение, что таким способом китайцы хотят внедриться на наш Дальний Восток. Я еще раз напоминаю об интересном маневре Мао: сначала он сказал, что наше предложение обидно, оскорбительно для китайского народа, а потом сам начал настаивать, чтобы мы взяли побольше людей, а если нужно, то они еще добавят.

Сложилось мнение, что Пекин хочет переселить к нам как можно больше людей для «оказания помощи» в разработке богатств Сибири, с

тем чтобы внедриться в экономику Сибири и ассимилировать ее небольшое русское население. В результате Сибирь этнически станет китайской. Когда потом наши отношения испортились, они дошли бы в таком случае вообще до крайнего предела, поскольку Китай уже тогда предъявил претензии на наш Дальний Восток. Прямо это не высказывалось. Но, безусловно, подразумевалось бы, что и на Сибирь претендовать Китай имеет не меньше оснований, чем Советский Союз. Это вытекало из их взглядов на советско-китайскую границу, из их высказываний в печати, из бесед между нашими людьми и китайцами как на высшем уровне, так и в массах.

Так появились первые признаки наших разногласий и первая тревога у нас насчет отношений с Китаем. В короткое время эти признаки проявления китайского национализма переросли в оголтелый, захватнический национализм, сопровождаемый культом Мао. Жизнь, к нашему сожалению, подтвердила наши прежние опасения.

На одной из взаимных встреч мы поставили вопрос об эвакуации советских людей из Порт-Артура. Мы хотели при этом передать Китаю все недвижимое имущество, за исключением тяжелого вооружения, которое мы только что поставили. Мао возразил: стоит ли сейчас это делать? Они опасаются, что США могут воспользоваться уходом наших войск из Порт-Артура и напасть в этом районе на Китай. Я высказал наши соображения: «Сомневаемся, товарищ Мао Цзэдун, что США сделают это. Более того, я уверен, что они этого не сделают. Правда, никакого ручательства быть не может, потому что США проводят агрессивную политику, только что закончилась война в Корее. Однако мы выводим войска во Владивосток. Это рядом. Если произойдет вражеское нападение, мы, конечно, придем вам на помощь». В конце концов Мао согласился: «Ну, раз Вы считаете, что США нападать не будут, мы не станем возражать против вывода ваших войск».

Так мы договорились и поручили нашим представителям приступить к оформлению договора о выводе советских войск из Порт-Артура. Спустя какое-то время (а мы часто встречались) Чжоу Эньлай опять поднял тот же вопрос: «Мы бы хотели, чтобы в Порт-Артуре осталось ваше артиллерийское вооружение». Мы согласились оставить им вооружение, но за плату. Чжоу же настаивал на том, что Китай хочет получить вооружение бесплатно. Это был неприятный вопрос, и мне отвечать на него было не совсем легко, но я вынужден был ответить: «Извиняюсь, но хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли. Это очень дорогое оружие, и мы вам продаем его по заниженной цене. Мы бы хотели, чтобы это вооружение передавалось вам на тех условиях, которые мы предло-

жили. Мы еще не оправились после разорительной войны с Германией. У нас разорено хозяйство, народ живет плохо. Поэтому мы просили бы, чтобы вы не настаивали и согласились с нами. Поймите нас правильно!» На этом разговор кончился. Пекин настаивать не стал.

Я вспоминаю, не заглядывая в документы. Поэтому отдельные детали могут быть не совсем точными, но за общую точность приводимых фактов я ручаюсь. Китайцы подняли также вопрос о строительстве железной дороги и заявили, что дорога к ним через Улан-Батор представляет для них мало интереса. Я и сейчас не совсем понимаю, почему. Раньше мы грузы везли через Дальний Восток, дорога в Пекин через Улан-Батор намного сокращает путь. Но китайцы прямо заявили, что хотели бы иметь дорогу, которая пройдет через их районы, богатые залежами минерального сырья, и выйдет к нашей границе примерно в районе Алма-Аты. Мы не возражали: если это выгодно для вас, то мы все сделаем со своей стороны, чтобы обеспечить постройку такой дороги. Потом работала соответствующая комиссия. Договорились, что китайцы на своей территории будут прокладывать дорогу своими силами к нашей границе, мы же на своей территории проложим путь к границе с Китаем в районе Алма-Аты.

Началось строительство. Китайцы шли со своей стороны, мы — со своей. У нас был отрезок пути короче, рельеф не столь тяжелый, кадры и техника сильнее. Поэтому мы быстрее подошли к границе, а китайцев пока и в отдалении не было видно. Когда в следующий раз их представители приехали к нам, они уже начали работу конкретно и вкусили, как говорится, от самого плода — познали прокладку дороги и почувствовали, что орешек крепок, что его надо разгрызть, имея хорошие зубы. Тогда они вновь подняли тот же вопрос через Чжоу. Все не очень приятные для нас вопросы они обычно поручали Чжоу Эньлаю. Во-первых, он премьер; во-вторых, более дипломатичен.

Чжоу спросил: «Как вы посмотрите на то, чтобы взять на себя прокладку отрезка железной дороги и на нашей территории?» Это прозвучало для нас неожиданно. Мы, однако, сразу поняли, что это означает. Во что это обойдется, пока нам было неизвестно. Предполагали, что окажется очень дорогим удовольствием. Дорогу следовало вести через горы, овраги, ущелья. Там надо было навести столько мостов, столько проложить тоннелей, и не счесть! Это было бы очень накладно. Неприятная обязанность отвечать на такой вопрос друзьям опять выпала на меня. И я сказал, что весьма извиняюсь, но сейчас такое нам не под силу. Даже свои задачи мы решаем с большим напряжением и принять на себя обязанность по постройке железной дороги на территории Китая

просто не можем. Ведь подразумевалось, что строительство должно вестись не только нашими силами, но и за наш счет. Таким образом, сей вопрос отпал.

Видимо, подобного рода вопросы, которые нам подбрасывали, а мы от их решения отказывались, падали, как камни, на весы нашей дружбы, на ту чашу, которая, опускаясь, не способствовала укреплению дружеских отношений. Возникал груз, который отяжелял наши отношения. Однако дружба дружбой, а служба службой. Каждое правительство и каждый представитель правительства должен служить своей стране. Поэтому подобные инциденты не должны бы в принципе ухудшать отношения между странами. Да и не в этом заключалась главная причина ссоры, но все это в конце концов тоже способствовало ухудшению отношений.

Теперь о том, как китайцы реагировали на решения XX съезда КПСС и разоблачение злоупотреблений Сталина. От КПК на XX съезде присутствовала делегация во главе с Лю Шаоци и, кажется, Чжоу Эньлаем. Они понимали мотивы, которыми мы руководствовались, и поддерживали нас. Уже после съезда Мао и другие китайские руководители неоднократно выступали в поддержку его решений, и первое время у нас с Китаем продолжали сохраняться хорошие отношения несмотря на то, что мы обнажили преступления, совершенные Сталиным. Сейчас Мао не соглашается, он осуждает решения XX съезда партии и берет себе дела Сталина на вооружение. Те методы, которыми Мао сейчас пользуется при расправе с оппозицией, не имеют ничего общего с диктатурой пролетариата. Это диктатура личности. Так в свое время поступал Сталин, когда уничтожал членов ЦК партии, руководителей центральных, краевых, областных, городских, районных, заводских организаций и просто рядовых коммунистов.

Не припоминаю каких-то особых трений, которые складывались в отношениях с Китаем в годы моей работы. Наши взаимоотношения протекали более или менее нормально, как и с компартиями других стран. И я бы даже сказал, что они были несколько теплее, потому что Китай для нас оставался каким-то экзотическим государством, угнетенным ранее империализмом, и к нему издавна возникло любовное отношение: и к народу, и к его руководителям. Ухудшение отношений нарастало постепенно. Но это было ощутимо.

Тут началась война на Ближнем Востоке. Англия, Франция и Израиль развернули войну против Египта. Их агрессия совпала с печальными событиями в Венгрии. В столь сложной международной обстановке у нас возникла потребность в более тесных контактах с Китаем. И мы обратились к Пекину с просьбой, чтобы кто-либо из китайского руковод-

ства приехал в Москву. Мы хотели посоветоваться и выработать общую линию в отношениях с Польшей и Венгрией.

В Венгрии события развивались бурно, там уже начались расправы с коммунистами, в них стреляли, их вешали, громили партийные комитеты. Ракоши попросил нас помочь ему уехать из его страны. Мы послали ему самолет, и он прилетел в СССР. После отстранения Ракоши от руководства лидером венгерских коммунистов стал Герэ. Мы ему доверяли, он был, безусловно, хорошим коммунистом и нашим другом. Но Герэ там никто не слушал, все нити управления страной сходились к Имре Надю. Надь почему-то был очень враждебно настроен к Советскому Союзу, хотя он жил у нас в эмиграции и работал в Коминтерне. Ракоши объяснял нам это тем, что тот всегда занимал крайне правые позиции, хотя все-таки считался коммунистом и тоже входил в руководство Венгерской компартии и потом Венгерской партии трудящихся.

Итак, к нам прилетел товарищ Лю Шаоци. Кажется, входили в китайскую делегацию Дэн Сяопин и Кан Шэн. Ныне Дэн Сяопин оказался в опале, и я ничего не знаю о его судьбе, а Кан Шэн к нам очень плохо относится, он в руководстве Китая является наиболее враждебно настроенным человеком в отношении СССР и КПСС. Лю Шаоци приятный человек, с ним можно по-человечески рассматривать вопросы и решать их. Президиум ЦК партии уполномочил меня вести переговоры. С нашей стороны в состав делегации входил еще Пономарев. Мы вели беседу всю ночь напролет, обсуждали ход событий, рассматривали варианты, думали, что же нам предпринять?

Вопрос стоял остро: предпринять ли нам в Венгрии военную акцию или же нет? Если нет, то какие к тому имеются основания, ведь контрреволюция бушует в полной мере, в Будапешт уже приехали из Вены эмигранты и захватывают руководство страной в свои руки. В самом Будапеште находились в то время Микоян и Сулов. Они нам сообщали, что там идет стрельба, развернулось сражение. В других районах страны этого не наблюдалось, там было спокойнее и никаких особых проявлений вражды в отношении СССР и венгерских коммунистических руководителей не ощущалось.

При обсуждении с Лю Шаоци сложной ситуации, которая сложилась в Венгрии, у нас чувствовалось абсолютное доверие друг к другу: одной делегации к другой и одной партии к другой. Мы в процессе беседы приходили то к тому, то к другому решению, изменяли их несколько раз за ночь. Лю сейчас же связывался с Мао, передавал ему нашу точку зрения. И, как правило, мы получали согласие с такой точкой зрения. Несмотря на то что она менялась, Мао тоже соглашался с решениями,

которые мы тут вырабатывали, заседа, если можно так сказать, как бы в смешанной советско-китайской комиссии по венгерскому вопросу. Закончили мы ночь решением не применять силу в Венгрии и дать возможность развиваться событиям самим по себе. Мы хотели верить, что внутренних сил окажется там достаточно, чтобы взять верх, восстановить порядок и не позволить контрреволюции захватить власть. За ночь мнение менялось несколько раз: то Советский Союз, то Китай предлагал применить войска, а в другой раз — наоборот. Однако, несмотря на все наши колебания и споры, отношение делегаций друг к другу было очень хорошим, основанным на полном доверии и искренности.

Заседали мы на даче Сталина, в Липках, где жила китайская делегация. Уехали домой уже утром, так и решив советские войска в ход не пускать. И тут же утром получили сообщение из Будапешта, что контрреволюция начала буквально погром: коммунистов вешают за ноги, особенно чекистов и партийных руководителей, идет жестокая, зверская расправа. Собрались члены Президиума ЦК партии, еще раз все обсудили, потом решили применить силу. Но с Китаем мы уже договорились, что не будем применять силу, и Лю передал это ранее в Пекин. Было бы нехорошо с нашей стороны, договорившись об одном, делать обратное. Лю должен был улетать в Китай вечером того же дня. И мы договорились с ним, что мы приедем на Внуковский аэродром пораньше и проведем там еще одну общую беседу. Сказали, что хотели бы вернуться к тому вопросу, по которому просидели всю ночь.

Приехали мы, по-моему, в полном составе членов Президиума ЦК, прибыла и делегация Китая. В отдельной комнате мы и провели беседу, объяснив причины изменения нашей точки зрения. Лю согласился, что другого выхода, видимо, нет, придется пойти на крайние меры. Он выразил уверенность в том, что братские коммунистические партии и венгерский народ поймут, что это была вынужденная акция, в интересах рабочего класса, в интересах прогрессивных сил. Ведь трудно даже было представить себе возможные последствия утверждения контрреволюции в Венгрии.

Китайцы улетели. Мы были очень довольны их визитом и не усматривали никаких трещин в отношениях между нашими партиями. После наведения порядка в Венгрии в Москву прилетел Чжоу Эньлай. Отсюда он полетел в Варшаву, в Будапешт, а потом, по-моему, в Белград. После ликвидации мятежа контрреволюции в Венгрии у нас опять ухудшились отношения с Югославией, хотя касательно применения силы югославские товарищи, а в первую голову товарищ Тито, были полностью с нами согласны и одобряли такую акцию. Мы ведь к ним специально

летали туда с Маленковым и советовались, применять нам силу или нет.

Мы были очень довольны прибытием Чжоу Эньлая. У нас обострились отношения с Польшей, а у Китая этого не было. И мы рассматривали Китай как доброго посредника, который может смягчить обостренные отношения между компартиями СССР, Польши и Венгрии. Хотя не все было благополучно и с Югославией, но мы считали, что надо не идти путем ухудшения отношений, а изыскивать пути их нормализации и установления братских связей между компартиями наших стран. Чжоу приехал в СССР с хорошим настроением. Но я бы сказал, что проявился уже какой-то сквознячок, вроде бы ощущались какие-то щели, сквозь которые дуло. Может быть, это был результат обостренности нашего восприятия? Ни в чем конкретно это не проявлялось, просто мы чувствовали холодок в интонациях. Чжоу, попросту говоря, более независимо высказывал теперь свои суждения, нежели раньше, когда мы тоже встречались и разговаривали с ним.

Мы к этому относились с пониманием. Ведь вина за ухудшение отношений с Польшей и Венгрией ложилась на Сталина, значит, и на нас. Сталин породил такие отношения, и они должны были когда-то проработаться, не могли пройти бесследно. Теперь мы расплачивались за прежние кровавые дела, которые он учинил в руководстве Польши и Венгрии. Мы нуждались в правильном понимании нашей позиции, позиции осуждения методов насилия, осуждения поступков Сталина, хотели восстановить нормальные, братские отношения с нашими друзьями и на равноправной основе хотели строить наши отношения на базе уважения к народам всех стран и к руководству их коммунистических партий.

Отношения должны были нормализоваться именно на новой основе, потому что прежде Сталин считал себя персоной, которая отдает распоряжения, изрекает законы в коммунистическом движении, а остальные должны качать головами, как болванчики, смотреть ему в рот и только повторять: «Да, да, гениально. Полностью согласны». Тогда большего не требовалось. Но теперь нужны были другие отношения. Если создавать равноправие, следовательно, надо научиться выслушивать неприятные замечания, понять обиду на методы, которые применял Сталин. Все это и легло на наши плечи. Прокисшую похлебку, сваренную Сталиным, приходилось расхлебывать после его смерти.

Китай сыграл здесь положительную роль. Но мы чувствовали себя не совсем хорошо и видели, что китайские руководители несколько по-другому стали вести себя в беседах при обсуждении наших общих вопросов. Быстро шла зато нормализация отношений с Польшей. Здесь про-

явилась огромная заслуга товарищей Гомулки, Циранкевича, Спыхальского и других, которые пришли в польское руководство. После подавления контрреволюции в Венгрии там тоже довольно быстро стало нормализоваться положение. Венгерские товарищи с большим пониманием отнеслись к применению нами военной силы для устранения контрреволюции, а ведь там проявилась контрреволюция в чистейшем виде. Однако некоторые затруднения наметились в других братских партиях. Отдельные члены компартий Франции и Италии и ряда других не поняли сути дела и публично осуждали наши действия в Венгрии. С Югославией у нас тоже пошел процесс нормализации отношений. И мы, и югославы со своей стороны все делали для этого.

СТРОИТЬ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ!

Никакими строительными делами в детстве я не занимался. В юности — тоже. Вообще у квалифицированных рабочих-металлистов России отношение к строительству было несколько высокомерное. Оно возникло, видимо, вследствие довольно примитивного уровня строительной техники в дореволюционное время. Известь, глина, кирпич, лопата, топор — вот главные материалы и инструменты строительного дела той поры. Металлисты же по уровню их техники были более передовыми. Строительные работы — удел деревенщины. Выходцы из деревни становились каменщиками — кладчиками стен, плотниками, столярами. Работа столяра считалась у строителей более квалифицированной. А те, которые делали дома, клали стены из кирпича и выполняли плотницкие работы, по-прежнему считались «деревней». Классовое самосознание у них было тоже не на высоком уровне, и они нередко подвергались насмешкам со стороны квалифицированных рабочих, редко участвовали или вообще почти не участвовали в забастовках и не понимали, зачем они нужны. Когда все-таки рабочие-строители начали бастовать, появился такой анекдот: пришли они к хозяину и говорят: «Барин, мы бастовать будем». — «Зачем?» — «Затем, что не станем работать». — «А чего же вы хотите?» — «Требуем, чтобы или рабочего дня прибавить, или жалованье убавить». То есть они слышали, что квалифицированные рабочие борются насчет рабочего дня и заработной платы, но говорят по своей темноте наоборот. Хозяин отвечает: «Ребята, дня я прибавить не могу, это от Бога зависит, он установил день и ночь. А вот жалованье убавить могу». — «Спасибо, барин!»

Такой анекдот рассказывали о деревенских людях, которые приходили в город на заработки. Как правило, то были сезонные рабочие, да и строительные работы велись посезонно. А вот другой анекдот, тоже гулявший в свое время. Один строитель наверху кладет кирпичи, второй подает их снизу. Верхний кричит: «Ванька, давай материал!» — «Какой еще материал?» — «Ведро с водой». — «Нету его, корова пришла и выпила». В пролетарской среде, где прошла моя юность, большим авторитетом пользовались как раз профессии металлистов — слесарей, тока-

рей, металлургов. Я избрал профессию слесаря. А к строительному делу в какой-то степени приобщился только после гражданской войны, когда работал секретарем райкома и потом заведовал орготделом окружного комитета партии. В Советской России начались восстановительные работы. В глубь этого дела я не вникал, считая его примитивным. Техника и материалы оставались теми же. Культура и технический уровень строительства нарастали медленно.

Участь в Промышленной академии, я поступил на факультет черной металлургии. Потом создали строительно-промышленный факультет, ректором которого стал старый большевик Каминский. Недавно мне позвонила его жена и поздравила меня с днем рождения, а заодно напомнила о тех годах, которые я провел в Промышленной академии. Каминского по сравнению с нами мы тогда уже считали стариком. Его супруга отсидела ни за что много лет как жена врага народа. Я относился к ее мужу с большим уважением, а когда меня избрали секретарем партийной организации Промакадемии, мне приходилось часто с ним встречаться по нашим академическим делам. Касалось это и специализации, потому что после организации строительно-промышленного факультета ЦК партии принял решение о переводе туда студентов с других факультетов — индустриального, металлургического и текстильного. Сначала обратились с вопросом: «Кто добровольно желает?» Но я не помню, чтобы на нашем факультете оказались желающие, равно как на других факультетах. Пришлось переводить людей по партийной линии и объявить дополнительный набор.

Вот как тогда относились к строительному делу, в том числе и я: фактически по-прежнему. Тут я проявлял непонимание его важности. И только когда я в 1932 году стал работать вторым секретарем Московского городского партийного комитета, то с того времени и далее, вплоть до конца своей партийной и государственной деятельности, волею судьбы я приобщился к строительному делу. Возведение жилищ и предприятий, налаживание коммунального хозяйства, прокладка дорог, строительство Московского метрополитена — все это оказалось в нашей жизни настолько острым, что меня оно засосало и увлекло. Но увлекало не строительное дело само по себе, а новый вид деятельности. Ведь сооружение новых предприятий и организация службы быта — это конкретное выражение ленинских идей строительства социализма. Оно заключается не только в изучении теории. Социализм привлекателен тем, что должен давать материальные блага трудящимся. Без материальных вещей нет и социализма. Поэтому-то рабочий класс и является главным двигателем борьбы со старым обществом и за новый, социалистический строй. Мое же конкретное приобщение к строительству выразилось тогда в решении оргвопросов при создании заводов, фабрик,

жилища, бытовых учреждений, школ, больниц — всего того, в чем нуждается каждый человек.

Этот вид моей деятельности усложнялся по мере того, как я последовательно становился вторым секретарем Московского горкома ВКП(б), вторым секретарем Московского обкома, первым секретарем горкома и обкома партии. На XVII съезде ВКП(б) меня избрали членом ее ЦК. Для меня участие в индустриализации страны стало увлекательной, причем конкретной работой, я ее полюбил и отдавался ей без остатка. У меня не было никакой другой жизни, кроме партийной работы. Я занимался формированием парторганизаций, нацеливая их на решение задач строительства социализма в СССР. А строительство все еще опиралось на достаточно примитивную технику. Если сейчас действуют башенные краны, то тогда мы пользовались «козой» — приспособлением, которое набрасывалось на плечи, а на доску, которая располагалась на спине, клали стройматериал. Получалась тяжелая ноша. Человек, согнувшись и держа за ручки приспособление, брел по сходам, как на корабле, с этажа на этаж, транспортируя кирпич, известковый или цементный раствор. Таковы были наши подъемные средства. Потом мы стали устраивать простейшие подъемники: поднимали груз на верхние этажи элементарными механическими средствами вроде лебедки.

Однако, независимо от этого, работа сама по себе была увлекательна тем, что ты сразу видел: построили новый дом и предоставляем людям квартиры. Правда, они тотчас переполнялись жильцами, так как жилье строилось мало. Деньги направлялись в основном на возведение промышленных предприятий. Без этого строй, рожденный Октябрем, не смог бы укрепиться в капиталистическом окружении. В Москве стали строить огромный автозавод там, где прежде стояли мастерские; завод шарикоподшипников, «Нефтегаз», «Фрезер», авиационный завод (завод № 30 ЦАГИ). Даже не могу перечислить все то, что тогда возводилось. Люди жили в примитивных условиях, но с энтузиазмом принимали участие в строительстве. Потом пошло строительство метрополитена. Оно меня всего засосало. Я уходил домой с работы через шахты метро и на работу приходил через метро, тем более что именно мне было поручено курировать это строительство.

Фактически я превратился в организационно-политического руководителя «Метростроя» без должности в нем. После окончания первой очереди метро в 1935 году я был награжден первым в моей жизни орденом Ленина за № 110, в ту пору самой высокой наградой. Этот орден учредили в 1930 году и за истекшие пять лет выдали ранее только 109 его знаков. Вот как скупо награждались тогда этим орденом люди. Тем по-

четнее считалась награда. Потом орденом Ленина стали награждать чаще и больше, что принизило его значение. Принизило — не значит обесценило. Нет, он высоко ценится и сейчас, но когда существует больше возможностей получения, он сияет уже не тем блеском и для окружающих, и для награжденных.

Помню, как мы приступили к строительству хлебозаводов в Москве. В столице действовали мелкие пекарни, как правило, в нижних грязных этажах домов с тараканами и прочими «прелестями». Тесто месили вручную, получалась антисанитария и еще Бог знает что... Если бы все люди видели, как готовится хлеб, то потеряли бы аппетит. Мы увлеклись тогда хлебозаводами и купили для Москвы несколько их комплектов в Англии. Потом инженер Марсаков сконструировал такой же завод. Он прежде работал на Красной Пресне, где готовилось оборудование для хлебозаводов. По его проекту и создали оборудование для хлебозавода № 5. Кажется, он функционирует доньше. Потом ему присвоили мое имя, и он носил его до тех пор, пока мы не приняли решения о том, чтобы вообще перестать присваивать имена руководителей страны и других общественно-политических деятелей еще при их жизни городам, предприятиям, колхозам и т. д. Это было моим предложением.

Мы все тогда увлеклись тем, что увидели на хлебозаводе № 5. Там все процессы выполнялись автоматами: дозировались мука, вода и соль, потом размешивались, тесто разогревалось, делилось, формовались изделия. Посадка в печь, извлечение буханок, их транспортировка на склад тоже были механизированы. По тому времени достигли высокого уровня механизации, превосходившего уровень хлебозаводов, закупленных нами в Англии. Незадолго до того А. М. Горький окончательно вернулся из Италии в Советский Союз. Он любил знакомиться со строительством в Москве. Мы с Кагановичем, сопровождая его, вместе ездили по стройплощадкам, заводам, фабрикам. Горький как бывший пекарь посещал и пекарные предприятия. На хлебозаводе № 5 он долго наблюдал, как автомат выстреливал из себя готовые булки. У него слезы текли из глаз, слезы радости при воспоминании о том, что он видел некогда, и при виде того, как теперь изменились условия труда. Те хорошие времена оставались у нас тяжелыми по материальному обеспечению людей, которые жили впроголодь, зато работали с остервенением. Не совсем благозвучное выражение, но в то время оно понималось по-хорошему: трудились с самозабвением, пренебрегая личным благополучием, стремились строить, строить и строить для общества, не обращая внимания на материальное обеспечение участников строительства. Все во имя социализма, для рабочего класса, для будущего! А пока что — спартанский образ жизни.

Не хочу как-то противопоставлять условия жизни рабочих после революции и до нее. Я не нуждался в сравнении, хотя знал, что был обеспечен лучше в дореволюционное время, работая простым слесарем: зарабатывал 45 рублей при ценах на черный хлеб в 2 копейки, на белый — 4 копейки, фунт сала — 22 копейки, яйцо стоило копейку, ботинки — до 7 рублей. Чего уж тут сравнивать? А когда я вел парторботу в Москве, то и половины этого не имел, хотя занимал довольно высокое место в общественно-политической сфере. Другие люди были обеспечены еще хуже, чем я. Но мы смотрели в будущее, и наша фантазия в этом отношении не имела границ, она вдохновляла нас, звала вперед, на борьбу за переустройство жизни. То были благородные порывы, которым мы с увлечением отдавались целиком, почти не имея личной жизни.

Постепенно я глубже вникал в строительное дело и признавался строителями уже «своим», потому что довольно серьезно изучил их профессию. Кое-что даже сам вносил нового вследствие смекалки и владения более высоким по технике уровнем слесарного дела. Я подружился с инженерами, архитекторами, конструкторами, бригадирами. Особенно увлекся строительством мостов. С завершением наведения мостов через Москву-реку в столице мы решили транспортную проблему на желательном уровне. Еще и сейчас, когда я проезжаю по этим местам, вспоминаю, что и капля моих усилий вложена в них. Хорошо помню заседания Пленумов ЦК ВКП(б), касавшиеся реконструкции Москвы. Я стал одним из участников реализации их решений. Тогда же были намечены строительство метрополитена и обеспечение Москвы водой. Ее не хватало. Требовалось также превратить реку Москву, которая протекает через город, в транспортную артерию и очистить ее русло. Буквально все сбрасывалось в Москву-реку. Можете ли себе представить, что это была за клоака? Мы с председателем Моссовета Булганиным, чтобы осмотреть реку, взяли милицейский катер и проехали по городскому ее течению. После этого наши сорочки пришлось отдать в стирку, настолько они были изгажены испарениями от отбросов, которые плыли по поверхности воды. Кажется, у матросов бытовало выражение, что золото тонет, а дерьмо плавает. Именно оно заполняло русло реки.

Приступили к строительству первого подмосковного водохранилища — Истринского. По тому времени оно считалось индустриальным строительством, а велось грабарями. Приходили туда, главным образом, бело-русские крестьяне с лошадьми, лопатами-грабарками и грабарской тележкой в виде корзины, оплетенной лозой. Она наполнялась землей. Вот приспособление для перемещения грунта. В современных условиях это делает ленточный транспортер или шагающий экскаватор, а тогда использовались ручные носилки или грабарка. Потом приступили к строитель-

ству канала Москва—Волга, грандиозному по тому времени. Но использовались в основном те же примитивные средства, а строителями являлись главным образом заключенные. Если они являлись уголовниками, то к ним отношение было в какой-то мере даже гуманным. Им сочувствовали, что они попали в такое положение и стали заключенными в социалистическом государстве. На них смотрели как на продукт капиталистического общества, и считалось, что к ним надо относиться, как к умственно отсталым или тяжелобольным, которым нужен в качестве лечения труд. Труд применялся ради их исправления, перевоспитания и перековки. На канале я познакомился с замечательным инженером Холидом. Его давно нет в живых, он был значительно старше меня. Холид уже применял некоторые элементы индустриализации в строительном деле, что мне очень нравилось. Так, он ввел метод гидротранспорта. Потом его использовали довольно широко, да и сейчас его применяют там, где он целесообразен и рентабелен.

Тогда главным архитектором Москвы был Чернышев, добрый, умный, мягкий и образованный человек. Может быть, даже слишком мягкий, как воск. Помню также архитекторов Алабяна, Мордвинова, Щусева и Жолтовского. Мордвинова я весьма уважал как хорошего работника и хорошего товарища. Он вступил в ряды партии по идейным соображениям, а не гоняся за получением какой-то материальной выгоды или ради тщеславного поста. Сильное впечатление на меня производили Щусев и Жолтовский — два кита нашей архитектуры. Некоторые отдавали предпочтение Жолтовскому, я же предпочитал Алексея Викторовича Щусева, с которым у меня сложились впоследствии близкие отношения, когда он приезжал по моему приглашению в Киев, и мы вели полезные беседы о реконструкции столицы Украины. Это был человек очень остроумный, с чувством юмора. А когда в Москве мы рассматривали архитектурно-художественные проекты оформления первых станций метрополитена, то он был свободен в своей критике их, так как не участвовал в соответствующем конкурсе. Авторитет его был очень высок. Жолтовский же привлекался как консультант, тоже не участвуя в разработке проектов первой очереди метро.

Помню, как обсуждался проект знаменитого Фомина, маститого архитектора и ученого из Ленинграда. Тут столкнулись два светила — Фомин и Щусев. Щусев подошел к стенду, где были выставлены полотна Фомина, и начал выдавать замечания в таких примерно выражениях: «Что можно сказать об этом проекте? Он сделан большим мастером, но производит впечатление говядины». Фомина как будто кипятком ошпарили, он сразу встрепенулся и полез в спор. Сейчас каждый человек, пользующийся Московс-

ким метрополитеном, знает, что станция «Красные ворота» отделана мрамором грязновато-красного оттенка, цвета не очень свежей говядины. Такой поступал мрамор. Некоторые другие станции отделялись мрамором приятного серого цвета или белого с желтоватым оттенком. Поступали и иные мраморы, из разных районов страны. Материал этот казался нам прекрасным, особенно по тому времени. Весь он добывался вручную, что стоило дорого, но ведь метрополитен представлял для нас как бы историческую ценность. Отделка его вообще была богатой.

Заодно вспомнилось, как я пригласил в Киев архитекторов для участия в конкурсе по реконструкции улицы Крещатик. Консультантом позвал Щусева. Тогда ни один проект не был взят сначала за основу, что послужило толчком к выбору нового варианта решения реконструкции улицы. Крещатик — улица историческая, парадная и нарядная. Она расположена по яру, который некогда называли Крещатый Яр, потому что по нему древнерусский князь Владимир когда-то гнал жителей Киева к Днепру, чтобы окрестить их. Поэтому улица и называется Крещатик. После совещания, уже в узком кругу, московские и киевские архитекторы расспрашивали Щусева о Киеве. Алексей Викторович рассказал тогда много интересного. Его рассказ был записан на магнитофон, но сейчас я утерял ленту, о чем очень сожалею. Щусев был буквально влюблен в Киев, и рассказ его явился как бы поэтическим отображением пристрастия. Киев того заслуживает, он располагает к себе людей мягким климатом, цветущими каштанами, белыми акациями, новыми нарядными зданиями и преданьями старины глубокой.

Когда Алексей Викторович приезжал в Киев, то всегда заходил ко мне в ЦК КП(б)У. «Вот, — говорит бывало, — приехал поговорить, отдохнуть, походил по Крещатику, сходил на Сенной базар, пирожков купил, откушал, потом пошел на Днепр, перебрался на Труханов остров, разделся, на горячем песочке полежал, замечательно отдохнул». Мне было приятно слушать его. Потом я обычно расспрашивал его о различных проектах. Он высказывался так: «Никита Сергеевич, это все дело времени. Любым новым проектом иногда возмущаются, критикуют его. Когда строилось здание Киевской оперы, сколько недоброго было написано, сколько испорчено бумаги и чернил, а сейчас к зданию другое отношение. Оно приятное, не имеет никаких отталкивающих свойств. Время проходит, люди привыкают, проект вырастает в сознание зрителей». Я с ним был согласен.

То же самое могу сказать о здании Совнаркома СССР на Охотном ряду, напротив гостиницы «Москва». Тот проект готовил архитектор Лангман. Он работал в Наркомате внутренних дел СССР у Ягоды. Когда

проект был закончен, позвонил мне Молотов как будущий хозяин здания и попросил приехать в Кремль, сказал, что Лангман будет докладывать о строительстве в Охотном ряду. Молотов хотел, чтобы я принял участие в обсуждении, так как у меня уже накопился некоторый опыт в этом деле. Я узнал также, что он пригласил туда и Жолтовского. Свое участие как специалиста я считал лишним, но поехал с удовольствием. В зале были выставлены огромные рамы с основным проектом и его деталями. Молотов попросил сначала высказаться Жолтовского. Тот осмотрел проект (лицо у него всегда было постное, бесстрастное, морщинистое, мы его за глаза называли папой римским) и сказал, что проект приемлем, но не выразителен. И тут продемонстрировал, что понимает он под этим словом: поднял раму с проектом и поставил вверх ногами: «Можно это здание построить вот так? Можно, оно ничего не утратит, и даже никто ничего не заметит. Следовательно, проект не имеет своего достаточно яркого лица, лишен архитектурной выразительности».

Можно себе представить, как взволновался автор, как он окрысился и стал защищаться, однако против Жолтовского выступать было нелегко. Если Жолтовский или Щусев кого-нибудь критиковали, то такому автору приходилось трудно. А тогда рассмотрение проекта на этом закончилось. Жолтовский и Лангман уехали, мы с Молотовым остались. Вячеслав Михайлович сказал: «Думаю, что этот проект все-таки надо принять». Я не возражал. Действительно, Жолтовский был прав в своем высказывании, но ведь каждый проект соответствует конкретному назначению. Допустим, на данном доме поставят какую-нибудь скульптуру, украсят фасад завитушкой или еще какие-нибудь штуки придумают. И что? Здание было все же возведено по начальному проекту и не вызвало никаких дурных эмоций у прохожих. Наоборот, многим нравилось.

Хорошо помню и архитекторов братьев Весниных. Они проектировали торговые, культурные и промышленные здания. Из Ленинграда был вновь приглашен Фомин для создания Речного вокзала в Химках. Руководствовались тем, что ленинградцы привнесут в Москву что-то новое. Нынешний Речной вокзал имеет отдаленное сходство с ленинградским Адмиралтейством. После окончания этого строительства архитекторы, инженеры и рабочие целую ночь пировали в помещении вокзала пяти морей. Я высоко ценил архитектора Александра Васильевича Власова, который называл себя учеником Жолтовского, а заканчивал свое образование уже в наше время без отрыва от производства. Под конец Великой Отечественной войны я пригласил его главным архитектором в Киев. Както мы с ним познакомились с заповедным историческим местом в городе Умань — дендропарком «Софиевка». Этот парк был очень оригинально

сделан в былые времена руками крепостных. Владельцем «Софиевки» являлся граф Потоцкий. Власов влюбился в этот парк, набросал там ряд эскизов, а потом написал по ним картину и подарил ее мне. Картина служит мне памятью о прошлом и лично о Власове. Конечно, я не смогу припомнить здесь имена всех архитекторов и градостроительных инженеров, с которыми мне приходилось работать и учиться у них строительному делу.

Когда я занял пост первого секретаря ЦК КП(б)У, Сталин меня предупредил: «Я знаю о вашей слабости к строительному делу и городскому хозяйству. Это полезно и хорошо в условиях города Москвы. Но хочу дать вам правильное направление на будущее. Сами вы из Донбасса, увлекаетесь углем, металлургией, химией, будете больше уделять внимания именно этим отраслям хозяйства. Это важно, но сейчас для Советского Союза главное дело — сельское хозяйство Украины. Вы поступитесь своими привычками и больше уделите внимания организации колхозов и совхозов, с тем чтобы получить хлеб, молоко и мясо. Тем более что население Украины любит это занятие. Конечно, вы должны уделять внимание и промышленным отраслям. Украина представляет собой большой промышленный комплекс, но главным для вас там будет сельское хозяйство. Уголь, металлургия, химия — уже организованное производство, в них есть сложившиеся инженерные и руководящие кадры. Они подчиняются централизованному руководству, а сельское хозяйство достаточно раздроблено, и ему надо уделять больше внимания».

Я по существу был согласен со Сталиным и принимал его указание как должное. Авторитет Сталина тогда для меня был всем! Поэтому на Украине я меньше занимался вопросами строительства и меньше общался с архитектурно-строительным миром ее городов. Да и строительство в Киеве было в то время небольшим. Москва получала львиную долю капиталовложений. Имелось государственное решение о генеральной реконструкции Москвы, и она получала необходимые материальные ресурсы не через Российскую Федерацию, а напрямую. Госплан выделял их отдельной строкой. Союзная столица! Для нее урывалось как можно больше из тогдашних скудных средств, которыми мы располагали, выделяя основное на создание крупной индустрии. Развивали в первую очередь то, что укрепляло мощь СССР, а бытовые потребности слабо учитывались, чем и создавались невероятно тяжелые жилищные условия даже в Москве, не говоря уже о других городах страны.

Потом разразилась война. Как ее наследие мы получили руины городов и промышленных центров. В Киеве больше всего разрушений оказа-

лось на Крещатике. Лучшие здания, стоявшие там с незапамятных времен, были разрушены, хотя некоторые довоенные постройки уцелели (дом Совета Министров УССР. Правда, это здание предполагалось для размещения Наркомата внутренних дел, строило его тоже это учреждение, а проектировал упоминавшийся мною Фомин). В последний год своей государственной деятельности я, будучи в Ленинграде, встречался с архитектором Фоминым и спросил его: «Вы не имеете отношение к более старшему архитектору Фомину?» — «Да, это мой отец». — «Очень приятно познакомиться с сыном такого достойного и известного отца, я с ним был хорошо знаком». Было построено также здание для командования войск Киевского Особого военного округа. Потом там размещался ЦК Коммунистической партии Украины. Эти дома сохранились целыми, только на некоторых этажах в них выгорел паркет.

В целом же Крещатик и площадь Хмельницкого были разрушены. Особенно жалел я здание университета с его сгоревшей библиотекой. Я так и не смог разобраться, кто там взрывал и поджигал. Немцы заявляли, что это делали оставшиеся в городе партизаны. Таких заданий партизанам никто не давал, и я полагаю, что это была проделка гестаповцев, которые пытались направить гнев рядовых граждан против партизан. Разбитый Крещатик меня сокрушил. Я каждый день, проезжая мимо, смотрел на его руины. Разор привлек мою энергию опять к строительным делам. Надо было, восстановив Киев, подать пример и другим городам Украины, которые также имели большие разрушения, особенно в Донбассе.

О восстановлении же металлургии и угольной промышленности про-являли заботу министерства, каждое в своей отрасли. Вопросы коммунального хозяйства ложились на плечи местных руководителей, чему приходилось уделять больше внимания, чем перед войной. Капитальные работы мы тогда вести не имели никакой возможности. Все усилия были направлены на то, чтобы создать элементарные человеческие жилищные условия в городах и поселках. И мы искали пути строить экономно, популяризировали более рациональные способы кладки стен с меньшим расходом кирпича. У нее не было ни цемента, ни извести, поэтому я специально познакомился с рекомендациями тех инженеров, которые рекомендовали для строительства материалы с заполнителями, возведение не сплошных стен, а с пустотами. Мы взялись за изыскания возможностей построить больше жилой площади при меньшем использовании кирпича. Такое строительство могло вестись не выше четырех этажей, а чаще двух, и притом на окраине города. Крещатик же мы готовились восстанавливать солидно. Тут суррогаты в кладке стен не оправ-

дались бы исторически, поэтому мы откладывали самое главное на будущее, когда разбогатеем и появятся материальные возможности капитально вести восстановление.

Когда главным архитектором Киева стал Власов, то к дорожному строительству я привлек энергичного организатора дела Страментова, видного инженера дорожных работ, который еще во время создания набережных в Москве был директором треста. Он предложил провести вдоль Крещатика на каком-то его отрезке канал, выложенный кирпичом, в котором можно будет прокладывать различные коммунальные трубы, чтобы не разрывать улицу при очередной неполадке. В Москве нам просто надоели разрытые улицы: один строит, другой разрывает, вскрывая подземное хозяйство, потом опять закрывает. Это всегда производило на людей плохое впечатление, население критиковало власти и правильно делало. И вот мы взялись за работу. Думаю, что Киев был единственным у нас городом, где основное уличное городское хозяйство проложено в коллекторе. На Крещатике трудились по воскресеньям местные жители, потом мы привлекли к делу пленных немцев. Много потрудились там войска противовоздушной обороны, главным образом девушки. Они, как бы неся службу, наводили порядок на Крещатике, разбирая завалы после взрывов зданий. Потом Крещатик расширили в сравнении с тем, каким он был до войны.

Невозможно было долее мириться с условиями, в которых жили люди. Эти условия и до войны были тяжелыми, а война принесла свои разрушения, и образ жизни стал невыносимым. Меня волновали вопросы механизации работ и сооружения перекрытий. Сначала нам было не до настоящего архитектурного оформления. Если во время реконструкции Москвы мы делали деревянные перекрытия, то в киевских условиях, получая сырой лес, мы не имели и такой возможности. Негде и некогда было сушить бревна. Перекрытия поражались грибком, поэтому спустя несколько лет приходилось перекрытия менять, опять возникали адские условия жизни населения. Требовалось найти такое решение, чтобы перекрытия были и фундаментальными, и долговечными. В Польше уже тогда делали балки из керамических блоков с металлической арматурой. Балкоблоки принимали на себя большую нагрузку и были практически вечными. Их изготовление — сложная кустарная работа, но мы стали применять ее, так как другого выхода не было. Впервые данный способ нашел применение в Киеве, Москва его еще не знала.

В Киеве жил замечательный инженер Абрамович. Где он сейчас? Он инженер-механик, увлекшийся керамикой. Он и работал на керамическом заводе. Абрамович показал мне, какие красивые вещи можно изгото-

товлять из керамики. Мы тогда, как говорится, нашли друг друга. Я увлекся и не раз ездил на его предприятие. Он демонстрировал мне невиданные возможности: изготовление плит, покрытых глазурью, для отделки ванных комнат и туалетов, панелей для украшения домовых фасадов. У нас родилась новая идея: глина — материал очень пластичный, и я спросил его: «Нельзя ли, сделав матрицы, отпрессовать плитки, чтобы получить нужный архитектурный рисунок, а потом плитками облицовывать здания?» Он ответил: «Конечно, можно». Изготовили матрицы, построили завод для их обжига. При этом использовали соответствующий опыт Чехословакии и ГДР. После чего и начали восстанавливать Крещатик. Главным в этом деле оставался Власов. Всегда, когда я потом ездил в Киев, то ходил по Крещатику и любовался им, испытывал чувство удовлетворения оттого, что туда вложена частица и моего труда.

Занимая высокий пост, я многое тогда определял. Ведь от распорядителя зависит немало. Проектов имелось много, надо было остановиться на каком-то одном, который бы больше других отвечал духу времени и своему назначению. Мне было радостно, потому что, по-моему, получались хорошие здания. Некоторые не знают, что я тоже принимал в этом деле какое-то участие. Бывают в Киеве и говорят: «Какое хорошее оформление Крещатика». Но я слушал и критику. Иные критиковали, утверждая, что архитекторы мельчат, нет строгости решения, это ухудшает художественный облик домов. Однако припоминаю слова Щусева, когда он утверждал, что признание людей найти трудно: каковы внутреннее содержание и вкус человека, таково и его мнение.

Расширяя Крещатик, мы сделали проезжую часть более свободной, а тротуары раздвинули, особенно тот, который идет от Днепра к западу, левее проезжей части. Там соорудили дорожки, поставили скамейки, завели цветники, а потом и хорошие насаждения, посадив липы, каштаны и немного рябины. Рябина — чудесное дерево, оно может стать отличным украшением, если подобрать подходящие ее экземпляры. Осенью, когда листья опадут, висящие гроздья рябины рдеют, создавая впечатление нарядности.

Мы столкнулись с большими трудностями при восстановлении угольных шахт Донбасса и рудников, главным образом в шахтных выработках. Не хватало крепежного леса и транспорта для его перевозки. Леса на Украине доставало, но он расположен далеко. Люди, которые имеют понятие о креплении шахтных выработок, знают, как быстро гниет лес в шахтах. Непросушенный, сырой лес уничтожается грибом буквально на глазах. Тут я вспомнил о моем старом московском знакомом, профессоре Михайлове с его идеями улучшения железобетонных изде-

лий. Он работал тогда над созданием напряженного армирования бетона металлом. Пригласив его в Киев, я высказал ему свои соображения о том, как бы изготовить из железобетона стойки для подпорки и закрепления выработок в угольных шахтах. Михайлов подтвердил, что это вполне возможно. Почему именно его я спрашивал? Потому что еще до войны он работал по напряженному железобетону. Сложность заключалась в том, чтобы железобетонные опоры оставались не очень тяжелыми, с весом которых могли бы справиться один-два человека, работающие на креплении. Никаких механизмов у нас тогда не было, и следовало рассчитывать только на человеческую подъемную силу.

Михайлов начал работать в этом направлении и добился успеха. Мы стали экспериментировать с новыми креплениями в Донбассе. Начальником соответствующего управления был Засядько, но не он решал вопрос. Я обратился с личным письмом к Сталину с просьбой дать указание Госплану запланировать такие работы. Спротивление в Москве оказалось большим: многие считали, что металл лучше бетона. Не отрицаю, металл был бы более удобен, потому что опоры и перекрытия можно будет делать с более тонкими стенками. Но беда заключалась в том, что металла остро не хватало. Это значило обречь новую идею на провал, потому что металла нам не давали. Я сумел доказать это Сталину, он меня поддержал, и мы начали применять армированный (при креплении шахт) бетон. Потом, когда шахтеры перешли на широкие лавы при подвижном креплении, они стали применять в лавах именно металл, так как короткие стойки должны быть легкими, их много раз используют и переносят, поэтому удобнее применять металл. А в описываемое время в главных штреках и других выработках применялся железобетон. Я не раз спускался в шахты, они стали выглядеть иначе, вроде туннеля метрополитена.

Затем мы внедряли другую новинку. Кто-то из инженеров высказал идею перехода с деревянных железнодорожных шпал на железобетонные, я ее подхватил. В метро первой очереди мы делали бетонные основания и сначала даже рельсы клали в бетон. Цельная сварка проводилась на всем протяжении, без стыков. Потом консерваторы доказали необходимость стыков. Мы разобрали прежние рельсы и сделали со стыками, то есть с допуском толчков, которые разрушают подвижной состав. И вот ряд лет спустя я опять выслушивал знакомые рассуждения о том, что следует экономичнее эксплуатировать подвижной железнодорожный состав, сваривая более длинные плети, состав будет разрушаться не так быстро, как при старой системе укладки рельсов. Итак, вновь железобетон! Сколько новых врагов возникло, сколько потребовалось до-

казательств... Но мы все-таки какое-то количество таких материалов пробили через Госплан для укладки на пристанционных путях, где не бывает больших скоростей. Нам доказывали, что вообще невозможно на железнодорожных путях укладывать железобетонные шпалы, которые не позволяют получить нужную амортизацию для подвижного состава, это приведет к авариям.

К моему приятному удивлению, спустя несколько лет я узнал, что в Чехословакии делали именно такие шпалы, причем значительно лучше, чем мы. Сейчас в киноочерках люди часто могут видеть укладку путей железобетонными шпалами. Мною эта идея выдвигалась сразу же после войны. Говорю это для того, чтобы показать, что меня весьма интересовало строительство. Я искал новые, прогрессивные его способы, более экономичные. Раньше мы укладывали в транспортные пути лес, пути быстро изнашивались, железобетон же — совершенно другое. И я убеждал: «Если нужна амортизация, пусть будут прокладки. На амортизирующие прокладки станем класть рельсы, несущая же часть будет железобетонной. Это увеличит срок службы, сократит расходы на эксплуатацию путей и избавит нас от бесплодного уничтожения леса, который нужен для других надобностей, где без него невозможно обойтись». У меня возникло множество противников, но в конце концов сейчас линия применения железобетонных шпал пробилась и у нас к жизни.

В Москве мне пришлось выдержать трудную борьбу во время создания следующих очередей метрополитена. Тогда перешли на строительство линий метро щитами с креплением чугунными тьюбингами, скопированными у англичан. Они хорошо поддаются механизации и укладке, но это все же металл дорогой и к тому же под землей не столь долговечный. Его разъедает коррозия, спустя какое-то время приходится все перекладывать. Потом и тут железобетон завоевал свое законное место. Я, веря в него, предложил делать тьюбинги для метро из железобетона. Поднялся несусветный гвалт. Рабочие и инженеры уже привыкли к старому методу крепления, все для него было приспособлено: и литейные мастерские, и токарная обработка, и соединение тьюбингов, и сверление дыр, и прочее. В конце концов я добился того, что стали изготавливать железобетонные тьюбинги, а потом и прессованный железобетон. Вообще железобетон поддается формованию, как и чугун, потому что это тоже литье. Потом бетон научились умело армировать и прессовать. Получили сравнительно изящные, удобные и более долговечные тьюбинги. Добились огромной экономии чугуна. Механизация работ и скорость остались теми же, потому что железобетонные тьюбинги той же формы, что и чугунные.

Моя страсть к строительному делу проявлялась в области не только

жилищного и коммунального строительства, но и промышленного. Как-то Сталин вызвал меня к себе из Львова, где я проводил митинг студентов Лесотехнического института после убийства украинского публициста Ярослава Галана. Он много хорошего сделал для Советской Украины в борьбе против бандеровцев и униатской церкви. За это его и убили. Наводчиками стали националисты и местные попы. Убийцей оказался студент названного института. Он признался, кто толкнул его на это. Тогда движение Организации украинских националистов (ОУН) было в Западной Украине сильным, а особенно во Львове среди студенчества. Собрали митинг, и я пошел туда, хотя меня предупреждали, что могут быть всяческие неожиданности, даже террористы. Оуновцы не останавливались и перед самоуничтожением во имя достижения своих целей. Но надо было идти! Мы вели борьбу с врагами не только арестами и судами, а и разъяснением пагубности такого пути. В то время Карпатские горы для коммунистов практически были недоступны. За каждой скалой, за каждым кустом можно было ожидать террористов.

Как раз во время моего выступления на митинге мне передали записку, что Сталин срочно просит меня позвонить. Закончив речь, я поехал на временную квартиру во Львове и оттуда связался с Москвой. Сталин спросил: «Когда вы можете приехать сюда?» — «Если нужно срочно, то могу завтра». Разговор состоялся очень короткий, и это меня обеспокоило. Пора для меня была тяжелой. После неурожая 1946 года на Украине я оказался в опале у Сталина. И вот такой звонок... Черт его знает, в чем дело. Правда, новый звонок, от Маленкова, был для меня ободряющим. Он сказал: «Ты не беспокойся, тебя вызывают из хороших побуждений, а подробности потом узнаешь, когда приедешь, так что не волнуйся». Прибыл я в Кремль. Сталин предложил мне вообще перебраться в Москву, сказав, что в Ленинграде обнаружилась измена, ведется следствие, готовится суд, в Москве тоже неблагополучно. Поэтому он хотел, чтобы я возглавил Московскую парторганизацию, вновь став секретарем Московского областного и городского партийных комитетов и заодно секретарем ЦК. До войны, занимая те же посты, я не был, однако, секретарем ЦК. Сталин спросил, как я отношусь к этому предложению, и добавил: «Довольно вам работать на Украине, а то вы совсем превратились там в украинского агронома». Я поблагодарил его и ответил, что с удовольствием перееду. Уже давно я по работе был связан с Украиной, пора вернуться к работе, которой я занимался до 1938 года.

Так я опять очутился в Москве, сменив Попова, в свое время выдвинутого Маленковым. Секретарь Московского парткома Александр Иванович Угаров, хороший и умный человек, которого я крепко уважал, сме-

нивший меня в 1938 году, был репрессирован. Его как бывшего ленинградца в свое время выдвигал Жданов. После ареста Угарова Сталин срочно вызвал меня и временно сделал уполномоченным ЦК партии по Москве. Затем был проведен первым секретарем Московского парткомитета Щербаков, который оказался крайне непорядочным человеком. На Щербакова давно имелись порочащие его показания, и Сталин дал мне и Маленкову поручение: «Вы подберите вторым секретарем такого человека, который следил бы за Щербаковым и в случае чего доложил нам». Как раз этим вторым секретарем и был выдвинут Попов, ранее заместитель у Маленкова в Отделе кадров ЦК. Потом Щербаков, которому Сталин вначале не доверял, так повернул дела, что, будучи подхалимом и цепным псом, стал «грызть» людей и буквально на спинах своих жертв выдвигался, завоевывая себе авторитет у Сталина. Это гнуснейший человек, если разобраться в его деятельности того времени. Сталин считал его хорошим строителем Красной Армии, и, когда он умер, так и было объявлено о том. А в чем это выразилось? Подстраиваясь под Сталина, он псевдо-руководил Главпуrom РККА, спился и вскоре после войны умер. Остался один Попов — неумный человек и грубый администратор. Он настроил против себя многих людей, но за это Сталин его не прогнал бы. Однако на него пришла анонимка, в которой Попов изображался заговорщиком. Конечно, никаким заговорщиком он не был.

Я принял московские дела, заняв три упомянутых поста. Выборы меня секретарем ЦК были, мягко говоря, оригинальными. Просто меня назначил Сталин, а состоялось ли хоть какое-то голосование членов ЦК, не знаю. Впрочем, где они могли проголосовать, если ни съезды партии, ни соответствующие пленумы ЦК уже очень давно не собирались. В ЦК давно была уничтожена всякая партийная демократия. Что касается моего коллеги по Моссовету, то его лидер в 60-е годы Промыслов тогда был начальником управления строительства столицы, а раньше — помощником у Попова. Именно с ним мне пришлось в те годы решать проблемы градостроительства в Москве. Итак, я опять вовлекся в строительство. Москва после войны нуждалась в нем еще больше, чем прежде, существовала страшная квартирная теснота. Отлично помню последний год работы Попова и тогдашнее руководство Промыслова столичными стройками. К концу 1949 года было сдано 400 тыс. кв. м площади. В то время это считалось большой цифрой, потому что все делалось вручную. Строительство продвигалось медленно, выработка была низкой. Возводили пятиэтажные дома, но много было и одноэтажных барачного типа, все из кирпича и сырого леса. Поехав на стройки, я увидел, что перекрытия изготовлялись накатным порядком из дерева, иногда из другого ма-

териала, а опоры и балки (как в деревне их называют — матицы) были металлическими. Меня это удивило: металла остро недоставало, к тому же металл в жилищном строительстве, когда меняется температура и вползает сырость, тут же поддается коррозии. В Киеве уже широко применялись железобетонные опоры и балки, на которые и делались накаты. Шли также перекрытия из армированной керамики. Этот метод мы позаимствовали во Львове. Там оставалось какое-то разрушенное здание технического назначения. Когда я увидел его в разрезе и таким способом ознакомился с технологией подобного строительства, то привлек к делу группу специалистов, и мы стали строить таким же образом в Киеве.

Для строительства в Москве имелись большие возможности, в Госплане легче было вырвать необходимое. И чтобы вытеснить металл из домовых сооружений, мы перешли на железобетон. Для ускорения нововведений пригласил из Киева инженера Садовского, очень квалифицированного, прекрасно разбиравшегося в деле, любившего новые материалы, следившего за иностранной литературой и тесно связанного с учеными, работавшими по железобетону. Единственный его недостаток: как администратор он был мешковат. Однако он компенсировал это глубоким знанием своей отрасли и пониманием ее задач. Сейчас иной раз он звонит мне, уведомляет о себе, а мне приносит радость возможность услышать его голос и перекинуться фразами о былом времени, когда мы вместе трудились, восстанавливая разрушенный войной Киев.

И еще одного знающего инженера я пригласил из Москвы в Киев, Проскурякова, тоже специалиста по строительным материалам. Правда, вскоре его послали руководить восстановительными работами в Севастополь, и, своими глазами увидев его руины, он решил создать единую организацию по восстановлению города-героя. А когда я вернулся в Москву, то спустя какое-то время из Севастополя возвратился Проскуряков, выполнив основную часть задания. Я с радостью встретил его как человека думающего и любящего новинки. Он постоянно проявлял инициативу в применении разных стройматериалов для жилищного строительства. Сейчас и он порой тоже позванивает по телефону, а я получаю от его звонков некий эликсир бодрости.

Инициатором перехода на сборный железобетон был Садовский. Задумав внедрить его, мы решили собирать дома так, как собирают автомобили. До войны нечто подобное мы с Булганиным пытались сделать в Москве и попробовали собрать этим способом строившуюся в Замоскворечье школу. То было блочное строительство. Изготовили большие блоки вместо кирпича и из них постарались собрать здание. Но с тогдашней культурой строительной техники мы с этим делом не справились. Каза-

лось бы, несложная проблема? Но, когда школу собрали, увидели в стенах щели. Я сильно возмутился, что люди не справились с простой задачей, не сумев верно рассчитать размеры блоков, в те щели собака могла проскочить. Пришлось все заделывать. А такой сборки, как на машиностроительном или часовом заводе, не получалось.

Теперь я стал консультироваться с инженерами относительно применения сборного железобетона, чтобы выйти на большую строительную дорогу не только жилья, но и заводских сооружений, и встретил активное сопротивление этой идее, прежде всего со стороны Госстроя. Возглавлял его тоже хороший специалист Соколов. Сейчас он на пенсии, и я познакомился с его сыном, который дважды приплывал ко мне рекой со своей женой на лодке. Они с отцом живут на даче вверх по течению Москвы-реки. Младший Соколов тоже архитектор, но увлекается живописью и вместе с космонавтом Леоновым написал ряд фантастических картин на космические темы. Я съездил на выставку этих картин, и он любезно подарил мне альбомное их издание. А с Соколовым-старшим я познакомился во время строительства метрополитена. Тогда он увлекался созданием насоса для подачи бетонного раствора и со своим напарником Соколовским сконструировал его. Потом такой насос внедрили в жилищное строительство. С тех пор у меня сохранился контакт с Соколовым и Соколовским. Вернувшись в Москву, я встретил Соколова маститым инженером, приобретшим большой опыт и авторитет. Шефствовал над Госстроем Берия. Это усложняло ситуацию. Каждый руководитель госстроевского учреждения старался при любом разговоре сначала заручиться поддержкой Берии, чтобы потом чувствовать себя более твердо.

Встречаясь с Соколовым, я доказывал ему свое, будучи убежден, что он поймет и поддержит меня, но внезапно встретил сопротивление. Как ни старался я повлиять на него, он демонстрировал свою неприступность в этом вопросе. Тут я понял, что он спросил Берию, который высказался против. Берия всегда выступал против, если любой из членов Политбюро выдвигал какое-либо новое интересное дело: возражал, а спустя какое-то время сам вносил это же предложение Сталину и наживал на чужом моральный капитал. Соколов же приводил те доводы, что это сложно, нерационально, непрогрессивно. Он, только что вернувшись из США, нигде не видел там сборного железобетона, а только монолитный. Не соглашаясь с ним, я возобновил контакт с отцом будущего президента АН СССР Келдышем, крупнейшим ученым по железобетону. Но и он не поддержал нас. Моей опорой оставался только Садовский, а все крупные светила строительства и видные администраторы выступали против.

Тогда я попросил Садовского написать докладную на мое имя с полными инженерными расчетами, опровергавшими стародедовские методы. Записка была составлена убедительно и производила серьезное впечатление. Теперь я решил поговорить со Сталиным, но сначала хорошенько подковаться. Я знал, что сейчас же подключится Берия, потом спросят мнение Соколова, Келдыша и провалят мое предложение. Потому-то я и считал необходимым, чтобы написал такую докладную именно инженер с указанием всех процессов изготовления строительных деталей, сборки, затраты материалов, выгоды во времени и прочего. Добавив записку от себя лично, я отправил все к Сталину. Там содержались расчеты экспериментального строительства двух заводов сборного железобетона производительностью 80—120 тыс. кубометров (по тем временам баснословный объем). Один завод предлагалось построить на Красной Пресне в Москве, близ Москвы-реки, другой — в Люберцах.

Сталина раздражало, когда оппоненты возражали против каких-то новинок, доказывая, что вот за границей такого нет. Я знал эту черту Сталина и решил ее использовать, сделав упор на то, что главным образом возражает Госстрой. Инженеры всегда говорили: «Дать новому путевку в жизнь или же завалить Госстрою ничего не стоит». И я написал, что в Госстрое ссылаются на то, что за границей сборного железобетона нет, а поэтому и нам совать сюда свой нос не следует. Госстрой стоял за старый метод — с монолитным железобетоном, который применялся и применяется и у нас, и за границей; а следовательно, он считает, что так останется и в будущем. Спустя какое-то время при встрече со Сталиным я его спросил: «Товарищ Сталин, я вам послал записку», — и рассказал о сути дела. Он ответил: «Я вашу записку читал». — «А приложение к ней, докладную Садовского прочли?» — «Я ее полностью просмотрел». — «Каково ваше мнение?» — «Очень интересная записка, расчеты я считаю правильными и вас поддерживаю».

Мне этого было достаточно, после такой поддержки все препятствия отпали. Вскоре записка была направлена Сталиным в Госплан. Там рассчитали, какие материалы нужны для названных заводов, и мы приступили к строительству крупнейших предприятий сборного железобетона. Единого строительного управления тогда не было, вопросами строительства занимался заместитель председателя Моссовета. Существовало много отдельных строительных управлений и трестов, включая Управление по строительным организациям, которые не подчинялись Моссовету: стройконторы крупных заводов или министерств. Моссовет проводил линию привлечения крупных средств на жилищное строительство, поэтому любая инициатива, которая проявлялась министерствами по стро-

ительству жилья для своих служащих, приветствовалась. Другой возможности в те времена и не было. Эта проблема не решена и сейчас, поскольку многие граждане ютятся в подвальных помещениях или уплотненных до невозможности квартирах. Главная цель состояла в организации жилищного строительства на потоке. На какие элементы при этом будут разбиваться детали жилья? Мы сами этого сначала не знали, не было конструктивного решения этой идеи. Опять начались поиски. Заграничные примеры у нас тоже отсутствовали. Ни в Америке, ни в Европе такого метода еще не применяли, надо было думать самим, к чему большинство инженеров-строителей не были подготовлены. Я решил привлечь к делу инженеров-механиков, у которых уже был накоплен огромный опыт конструирования машин, требующих большой точности. При сборном железобетоне требовалась именно большая точность. И я обратился к инженерам завода «Красный пролетарий». Они с энтузиазмом взялись за реализацию предложения, и я почувствовал твердую опору под ногами. Вероятно, думал я, новая конструкция окажется похожей на какую-то паровую машину, а потом подвергнется изменениям.

Помню свою беседу с конструкторами-«краснопролетарцами». Раньше они ничем подобным не занимались. Им надо было охарактеризовать идею и объяснить, чего мы хотим от них в смысле ее инженерного оформления. Садовский не занимался прежде производством деталей сборного дома. Все привыкли к кладке кирпичом, блоками, шлакоблоками, но крупных деталей не имели, так как не было армированного железобетона. Я себе представлял конструкцию такого дома в виде каркаса с заполнением: простенки и наружные стены из плит железобетона или блоков. То есть речь шла о переходном этапе от старого метода к сборному железобетону. Потом мы пришли к выводу, что надо делать большие панели размером с комнату. На каркас навешивали панели, получался дом полной сборки. Инженерам же с «Красного пролетария» требовалось разработать опорные колонны, чтобы далее на каркас можно было навешивать железобетонные плиты с оконными и дверными проемами и замонолитить их, заделав швы так, чтобы они не продувались и не пропускали влагу.

Конечно, тут имелись трудности не конструктивного порядка, а исполнения: швы заделывались недобросовестно. Поступали жалобы, что квартиры промерзают, их продувает. Но жилец не обязан входить в анализ того, почему продувает или протекает. Пришлось установить более серьезный контроль при приемке зданий. Наконец, «Красный пролетарий» изготовил станок-автомат, делающий металлический каркас, который потом заполнялся раствором бетона и шел в пропарку. Теперь опоры

для каркаса могли готовить уже сборными, а раньше их вязали проволокой и сваривали толстые элементы. Автомат же проволоку подавал сам, она выравнивалась и тут же сваривалась. Каркас для колонны или других элементов сборного жилища вращали тоже автоматизированно. Изделие сразу шло на склад, а потом на строительную площадку.

В процессе создания станков для изготовления металлических каркасов под заполнение их бетоном нужное решение нашел строитель Лагутенко, недавно скончавшийся. Узнав о том из газеты, я вспомнил, как много времени провел с этим замечательным новатором, который умело способствовал механизации производства сборного железобетона. Я всегда искал таких людей, как он. Лагутенко предложил делать бескаркасный дом с железобетонными несущими стенами, что при сборке окажется проще. Стены будут и защищать от внешних воздействий, и воспринимать нагрузку. У меня к каркасу было больше доверия: не разрушилось бы здание! Навесные же железобетонные стены на каркасе требовались меньше металла и являлись только защитными, могли изготавливаться из легкого бетона либо пенобетона с легким заполнителем. Но привлекала простота сборки: получалось панельное строительство. Решили проверить на практике и потом определить, какому направлению дадим путевку в жизнь, каркасному или панельному.

Между прочим, Лагутенко сыграл роль первой ласточки, прилетевшей к нам после холодной зимы, так как первым из инженеров-практиков пришел к нам со своими идеями. Я был доволен, рассчитывая, что последуют второй, третий, четвертый и т. д. Они принесут свои дополнения, улучшения, изменения, в конце концов выработается технология сборного железобетона.

Для строительства сборного железобетонного дома нужны приспособления и формы, требовались вибраторы для уплотнения бетона, чтобы он принимал заданную форму, потом подача формы в пропарочную. Созревание бетона — длительный процесс, нужна была камера с определенной температурой и влажностью. Подачу бетона тоже надо было механизировать. Мы применили роликовый транспортер. Раньше при изготовлении балок из досок сколачивали корыто, туда закладывали каркас, заполняли его бетоном, начиналось естественное его созревание. Потом доски расшивали. Масса ценного дерева погибала. В поточном производстве мы перешли на металлические сборно-разборные формы. Чтобы при твердении бетон не прихватил их, разработали смазочные материалы. Далее добивались такого монолита, чтобы работали металл и бетон, принимая напряжение на себя, а при изменении температуры чтобы шло равномерное расширение. Если металл будет расширяться на одну вели-

чину, а бетон — на другую, то произойдет отслоение и не получится монолита, каждый материал будет работать в отдельности, что приведет к разрушению конструкции. Технологию отработывали на практике, в процессе изготовления деталей.

Для изготовления стен, когда думали делать их навесными на каркас, мы привлекли к конструированию станка по изготовлению арматуры научно-исследовательский институт. Я много раз ездил туда или вызывал специалистов к себе, в горком партии, потом они уже сами стали приходить и рассказывать о трудностях и успехах. Эти люди прежде никогда не работали в области жилищного строительства. Создание каркаса для стены дома их озадачило. Когда станок был готов, меня пригласили на «Красный пролетарий». Задумка заключалась в том, чтобы работа машины напоминала изготовление тканей. Проволоку довольно толстого сечения натягивали через ролики на расставленные шпильки и в определенном месте приваривали, сохраняя заданное напряжение металла в конструкции. Все должно было быть на потоке с подчинением производственному ритму. Требовались тысячи деталей, кустарщина оказалась неприменимой, и выручала именно машина, которая навивала на каркас проволоку. Выходил каркас нужного напряжения и точных размеров.

Все это снималось на кинолентку, где-то в архивах пленки сохранились. Партийной организацией и Моссоветом прилагались усилия, чтобы поскорее получить материалы с заводов, которые нам расписал Госплан, главным образом металл определенного сечения и качества, цемент нужных марок. К тому времени у нас было загажено верное понятие о цементе. Каганович как министр стройматериалов, чтобы блеснуть перед Сталиным, добивался количественных результатов. Он был неплохой организатор, но еще больше имел нахальства, и, чтобы показать, что под его руководством превзошли все ожидания по выработке цемента, он завел много его марок. Был создан кладочный цемент, который в общей сумме выпускаемой продукции тоже засчитывался, но пригоден был только для кладки кирпичных стен. Известковый раствор, который достался нам в наследство от прадедов, был значительно лучше. Требовался иной цемент, чтобы иметь заданную расчетом прочность изделий, и мы следили, чтобы поставляли цемент качественный, с определенных заводов и определенной марки. А получая его, сразу проводили испытания: делали кубики и разбивали их, чтобы увидеть, какое давление они выдерживают.

Шло строительство железобетонных заводов, разрабатывались конструкции по изготовлению деталей, отработывались сами детали домов. Активно подключился к изготовлению железобетонных деталей профес-

сорт Михайлов, о котором я уже говорил. Он поставил задачу создать железобетонную (тонкую, легкую и с большими ячейками квадратного сечения) плиту перекрытий на целую комнату. Его идея заключалась в выштамповке таких плит на вибростанках, сделав формы и дав соответствующий наполнитель — бетонный раствор цемента с наполнителем из мелкой гранитной щебенки. При мелкой щебенке лучше идет выштамповка. Глубина штамповки миллиметров до 100—150. Имелась в виду вторая несущая ребристая плита, которая кладется гладкой поверхностью к потолку, а ячейками вверх. Потом кладется гладкая вторая плита, закладываемая после заполнения звукоизоляционным материалом, далее ложится сама плита, но под ней тоже кладутся звуконепроницаемые материалы, чтобы не получилось единого монолита. По общему монолиту очень хорошо передаются звуки. Чтобы оборвать их прохождение, нужно иметь прослойки. Столь сложная конструкция оправдывалась тем, что будет честно служить.

Михайлов отдавался делу сполна. К тому времени в Москве уже организовали производство армированных железобетонных плит метровой ширины с горизонтальными отверстиями. Станок получили из Германии. Когда мы оккупировали часть Германии, то узнали там технологию изготовления широких плит для перекрытий зданий. Они хороши тем, что тоже пустотные. На метр ложатся пять дыр диаметром миллиметров в 100. Производство их было освоено, и мы сразу начали их внедрять. Михайлов работал над собственной плитой, а мы стали изготавливать в широком масштабе пустотные железобетонные плиты для перекрытий. Их производство организовал товарищ Гинзбург. Это давний и очень опытный строитель, с которым я много раз имел дело, и мне всегда было приятно повстречаться с ним и послушать его высказывания по вопросам строительства. Гинзбург являлся непререкаемым авторитетом и как организатор, и как инженер. Именно он, переняв новинку у немцев, внедрил ее, и эти плиты долгое время служили нам, оказавшись удачной конструкцией.

Еще работая после войны в Киеве, я как-то, приехав в Москву, попал на строительную выставку. Мне хотелось посмотреть направление мыслей инженеров-строителей всего Советского Союза. Там я и наткнулся на оригинальные перегородки. Они были для нас камнем преткновения. Мы умели быстро класть стены даже при кирпичной кладке. Но когда потом ставили перегородки, в основном дощатые, их требовалось обмазывать, заглаживать известковым или цементным раствором и сушить. Голод на жилища испытывался огромный, и люди иной раз, не дожидаясь, когда здание высохнет, въезжали в него. А тут строители всегда оказывались не

на высоте. Сырое здание сохнет, растрескивается, полы высыхают, все требует переделки. Появилось ходячее выражение, что первый ремонт нужно производить в новом здании, потому что все делалось из некачественных материалов.

И вдруг я увидел плиту-перегородку на полную комнату. Она служила межкомнатной преградой. Межквартирной же перегородкой являлась капитальная кирпичная стена. В смысле звукопроводности почти нет капитальных стен, которые не проводили бы звука. Даже в тюремных крепостях заключенные перестукивались через толстые стены, но все-таки был приглушенный стук. Конструктором новой стены являлся инженер Козлов, безвременно умерший в возрасте 60 лет. Я ходил около его стены, поглаживал ее и любовался конструкцией, которая решала все. Можно было готовить такие плиты, пропаривать их, чтобы получить быстрое схватывание, потом просушить, оклеивать (если только аккуратно ставить, чтобы не повредить обои) и ставить готовую стену. Я постарался встретиться с Козловым, высказав ему много приятного, вроде того, что он нашел жемчужину для строительства. Но тут же изложил свои пожелания: надо, чтобы перегородочные плиты имели бы каркас не деревянный, как у него, а из легкого железобетона. Он-то сделал стену на гипсовом растворе. Гипс быстро схватывается, но недостаток его состоит в том, что такая конструкция будет служить только внутрикомнатной перегородкой и только в доме, в котором поддерживается определенная температура. Если же гипсовая плита почувствует влажный воздух, то стена будет сырой. Я попросил учесть это и изготовить железобетонный каркас на цементной основе соответствующей толщины с расчетом стандарта звукопроводности.

Козлов выслушал меня и ответил: «Убежден, что найду такое решение». Это был плодовитый конструктор, и вскоре я узнал, что он создал нужную перегородку. Я отправился к нему на завод и любовался его плитами. Произошло большое событие в строительном деле. Кое-кто скажет: «Опять Хрущев увлекся мелочью». Ну нет, тут не мелочи, а решающий вопрос жилищного строительства. Только строители знают, сколько на плиты уходило времени. Штукатурной, неквалифицированной работой занимались в основном люди, прибывшие на стройку из деревни. Известна притча о Колумбе: его современники ломали голову, как поставить яйцо тупым концом на гладком столе, Колумб надломил конец и поставил. Вот вроде бы столь же простую вещь создал Козлов, изготовив плиту, которая готовилась индустриально, потом привозилась в контейнере, и, когда у нас появились краны, ее ставили краном на свое место. То есть никаких штукатуров и одни отделочные работы — шпаклевочные и обойные.

Потом я высказал новые пожелания Козлову: «Подумайте, не сможете ли вы сделать наружную стену на цементной основе? Желательно, чтобы она была полегче и ребристой, межреберье же будет заполняться чем-то для утепления». Мы искали способ утепления плит с применением шлаковаты и при определенных связывающих материалах. Козлов опять взялся за дело. А у Михайлова пока что не получалось. Выпрессовать плиту с нужной глубиной и тонкими ребрами трудно. Железобетон с щебеночным или гранитным заполнителем — это вам не металл и не глина, он слишком непластичен. Козлов же сделал цементный раствор с заполнителем-песком. Чтобы схватывание было прочным, его промывали. Получилась плита с ячейками и заданными пустотами. Я был готов расцеловать Козлова. Соорудили конвейер железобетонного проката с автоматизацией и вибрационной утрамбовкой. Пластичная бетонная масса уплотнялась и двигалась под резиновый ковер. Под его защитой конструкция проходила под вальцами, получая легкое добавочное уплотнение. Готовая деталь по роликам направлялась в пропарочную камеру. Образовался непрерывный поток. С другого конца камеры ритмично выползали плиты. Кранами их подавали на склад.

У меня вырвался вздох облегчения, когда получилась продуманная технология, позволяющая строить неограниченно. Не надо возни на стройплощадке с растворами, есть готовые детали для перекрытия, для стены и каркас. В сборке домов уже накапливался опыт. Основным звеном стали краны. Успешно решалось создание мостовых и башенных кранов. Особенно распространение получили башенные как более мобильные. Заимев башенные краны, мы были на седьмом небе. Тут встал вопрос и об архитектуре. Какой облик придать домам конвейерного производства? Скрестились копыта ремесленников и промышленников.

Архитекторы отражали в основном точку зрения мастера по ремеслу, потому что она допускает широкие возможности выбора материала, вида обогащения каждой стройдетали. Я уже не говорю о целом доме. Появляется и реализуется цель художественно оформить здание. Это очень ценно, и я выступаю в принципе за это. Но все-таки не до бесконечности, надо уметь и сдерживать себя. Чтобы получить дом, который украшал бы улицу и город, приходится тратить много сил. А всякое поточное производство остается поточным. На нем можно получить разные профили с различным орнаментом даже в бетоне, однако те художественные детали, к которым привыкли наши маститые архитекторы вроде Жолтовского, любившего его капители и греческие колонны, изготовить невозможно. Эти «старорежимные», как мы в шутку говорили, архитекторы строили некогда не для народа, а для господ.

Да, сами архитекторы могут мне возразить, что я забыл, дескать, о зодчестве, которым славится Древняя Русь. О такой индивидуальной красоте, которая отличает храмы в Кижах. О художественных работах наших плотников, которые без единого гвоздя, одними топором, стамеской и рубанком делали не только добротные, а и очень красивые сооружения. Все это я знаю. Помню и о Кижах, и об узорных наличниках на крестьянских домах, и о прочих резных украшениях. Я ведь с детства видел многое в своей Курской губернии, включая родную деревню Калиновку. Она была типичной деревней с саманными домами, в оконные проемы вставлялись четырехугольные рамы, все оконца расписаны. Вокруг окон и дверей вместо наличников шла роспись синькой с вырисованными узорами. В других местах России встречалось иное убранство домов. Но разве можно сохранить индивидуальность на потоке?

Архитекторы встретили железобетон неприветливо. Всякий штамп ограничивает индивидуальность. Да простят меня архитекторы. Я много работал с ними, много их слушал, многому у них научился, часто их поддерживал. Но из песни слова не выкинешь, что было, то было. Большинство архитекторов встретило поточное производство деталей и сборку домов в штыки. Раньше чуть ли не каждый дом имел своего архитектора и не был обезличен. Архитектор рассматривал здание как памятник своего времени, вкладывал всяческие особенности и в оформление окон и дверных проемов, и в капители, и в облик фасада, во все, чем богата архитектура. Я же в те годы доказывал: «Поймите, перед нами стоит проблема дать людям побыстрее жилье. Быстро и дешево дома можно получить только на потоке. Приходится унифицировать производство деталей, это позволит наладить конвейерный их выпуск и точность изготовления, а квалифицированные сборщики обеспечат безупречную сборку».

Примером может служить автомобильное и тракторное производство. Разрабатывая какую-то модель автомашинны и запуска ее в производство, мы потом такими моделями заполняем улицы всех городов страны. Несмотря на однообразие, вследствие неплохого оформления эти машины воспринимаются хорошо. «Так давайте же по примеру машиностроителей, — говорил я, — которые добились подобного результата, строить дома тоже с помощью конвейера и пользоваться квартирами по доступным ценам». Если стоимость автомобиля на конвейере высока, то какова ее себестоимость? Продажная цена для личного пользования устанавливается государством и мало основывается на затратах. Она определяется не затратами, а экономическими соображениями. Это уже другой вопрос. Однако если каждую машину делать вручную, то она будет доступна только королям. Тем более нельзя удорожать строительство жилищ для миллионов рядовых граждан.

Мне было больно входить в конфликт с архитекторами, которых я ценил и уважал. Часть из них вскоре прониклась сознанием необходимости идти путем массового жилищного строительства. Потом был создан институт типового проектирования с мастерской, разрабатывавшей типы фасадов и как бы создававшей лицо улиц.

Мы попытались найти такие архитектурные формы, чтобы все же разнообразить дома и чтобы улицы не были скучны. Хотели как-то выделить каждый квартал, но достичь этого было очень трудно. Изобретательные архитекторы кое-что все же делали. Потом возникло много острот по поводу того, как человек не может поздним вечером найти свой квартал, дом, возвращаясь слегка «под мухой». Да ведь нетрезвый может и в трех соснах заблудиться. На этот счет бытует не одна народная поговорка. Зато мы в короткий срок давали страдавшим людям жилье, и они покидали прежние подвалы и чердаки.

Я не раз выступал на митингах перед москвичами с докладами о жилищном строительстве, говорил там с азартом и жаром, заявляя, что станем собирать дома, как собирают автомашины на заводе имени Лихачева. Некоторые улыбались, считая мои слова фантазерством. Разве можно собирать дома? Помню время, когда я впервые услышал, что на конвейере собирают тракторы. Для меня это тоже было новостью, которая не укладывалась в голове, хотя я давно знал, как собирали машины на заводе, где я работал слесарем. Но там каждая машина обрабатывалась в чертежах, потом изготавливались отдельные детали. Когда же гениальные инженеры предложили массовое производство однотипных машин, это стало переворотом в машиностроении.

Вот мы и подошли к перевороту в жилищном строительстве, и мне сейчас приятно об этом вспоминать. Мы прокладывали тут дорогу, по которой потом пошли все страны мира. Когда мы искали новые архитектурные приемы застройки, я предложил изготавливать детали для украшения окон и дверей. Ведь мы могли штамповать любые узоры из бетона и железобетона, а потом их окрашивать. Конфигурацию же дома трудно изменить, здесь диктовало свои законы конвейерное производство. Жилье должно быть рациональным. Характер человека, его благородство, воспитанность — это его внутреннее содержание, а внешний облик — его одежда. Но иной раз довольно красивое лицо и яркая одежда прикрывают скверное внутреннее содержание. Так же и с жильем. Я часто встречал жилье, отлично внешне оформленное, а внутренняя планировка создавала невероятно тяжелые условия для хозяйки. Разместить с толком мебель и создать бытовые удобства в таком доме сложно.

Архитекторы часто пренебрегают внутренним расположением комнат,

зато охотно проектируют эркеры или всяческие завитушки. Попробуйте у овальной стены расположить типовую мебель. При замене углов овалами квартиры становится нерациональной и не может быть использована во всем своем метраже, а жильцы оплачивают пустые метры. Государство тоже терпит издержки, создавая такие дома, но многие архитекторы игнорировали этот факт. Мне возразят, что я пристрастен. Извините, дорогие художники и архитекторы, мое уважение к вам сохранилось, мы вместе сделали очень много полезного, но возникали у нас и горькие минуты. Я приносил вам огорчения, но и вы не всегда доставляли мне радость. В спорах рождалась истина, которая не всегда могла удовлетворить всех. Если спор ведется на разумной основе, дело выигрывает. Полагаю, что в том споре, который я вел с архитекторами, выиграло именно дело. Мы перешли тогда на массовое строительство жилья, а сейчас то, *что* до конвейерного производства деталей домов казалось мечтой, изготавливается легко. При честном отношении к работе сборщиков и отделочников люди получают хорошую и удобную квартиру.

В результате перехода на железобетон напряженного армирования уменьшился расход металла на один кубометр бетона. Получилось не только удешевление строительства, но и экономия металла, пошедшего потом на возведение дополнительных жилищ. Стоимость квадратного метра имеет большое значение, и экономия позволяет расширить строительство для трудящихся. Металл в те времена был особенно лимитирован. При его нехватке ни при каких условиях не получалось увеличение жилищного строительства. Сначала в Москве мы строили ежегодно не больше 100 тыс. кв. м жилья. Это мизер, но нужно принимать во внимание, что все делалось вручную, а главным строительным материалом были кирпич, известковый раствор и древесина. Древесины не хватало, и первым ее получали промышленные предприятия, а жилье оставалось на втором плане. Пятиэтажный дом клался из кирпичей примерно за два года. Причем и жилищное, и промышленное строительство осуществлялось посезонно, чаще всего зимой все замирало. Считалось, что зимой кладка из кирпичей невозможна, потому что на морозе раствор схватывается и не происходит его твердение. Были случаи, когда дома разваливались, и строительство обычно вели с весны до осени. А в наше время мы изыскивали возможность строить дома круглый год.

Прежде редкостью являлись дома выше пяти этажей. Очень много строилось бараков. Рабочие-строители, пришедшие из деревни, размещались в барачных общежитиях с нарами и с приложением к ним в виде бытовых неудобств, которые донимали тружеников после изнурительного рабочего дня. Ко времени моего возвращения с Украины в Москву в столице за

1949 год было построено до 400 тыс. кв. метров. За строительство отвечал Промыслов, который наблюдал и содействовал. Непосредственное же строительство вели сотни всевозможных строительных контор, ведомств, министерств, заводов и фабрик. Строительство было разбросанным, распыленным, осуществлялось медленно. Масса старых зданий пришла в ветхость, даже дома кирпичной кладки, построенные уже после революции. Перекрытия из невыдержанной древесины почти все были поражены грибок. Во время Великой Отечественной войны Москва плохо отапливалась, и сырость еще больше разрушала жилье. На него возник невероятный голод. Сейчас он стал меньше, хотя еще чувствителен, тем более что выросли потребности людей, а от этого ощущение голода острее.

Мы стали набирать темпы строительства примерно с 1950 года. Нам не хватало рабочей силы, и ее негде было разместить. Недоставало строительных материалов. После войны все средства были направлены на восстановление промышленности и дальнейшее развитие этой промышленности, чтобы нарастить экономический потенциал и обеспечить потребности вооруженных сил. Началась «холодная» война, была опасность, что империализм навяжет нам новую «горячую» войну. Львиную долю народных средств стала потреблять оборона. Жилье опять отходило на второй план. Первейшие потребности человека — питание, жилье, одежда, культурные запросы — слабо удовлетворялись. После смерти Сталина раскрепощенный народ начал резче высказывать свои требования. Граждане почувствовали себя вольготнее, получив возможность выражать свои мысли и свое недовольство. Это неотъемлемое право людей.

Особенно возмущали всех невыносимые жилищные условия. Однажды Молотов на заседании Президиума ЦК КПСС заговорил об этом, и у него почувствовалась паническая нотка. Я смотрел тогда на него, как на новорожденного. Он что же — только теперь узнал, что нет жилья и что люди живут в домах-клоповниках? Что в коммунальных квартирах происходят бесконечные скандалы на бытовой почве? Председателем Моссовета стал тогда Яснов. Я общался с ним в Москве до войны. Он тогда работал инженером-строителем, потом участвовал в создании набережных на Москве-реке, превратился в признанного администратора, хорошо понимавшего строительное дело. Считаю, что строительство Москвы находилось в хороших руках. У каждого человека есть недостатки, не был лишен их и Яснов. До нас доходили сведения о его резкости и грубости, но в одном ему нельзя было отказать: он имел твердую административную руку властного человека и хорошо знал строительство.

В 1953 году у меня созрела мысль осуществить в руководстве строи-

тельством централизацию. В Москве жилища, построенные ведомствами, и распределялись по ведомствам, причем далеко не всегда так, как хотел бы Моссовет. Совсем не принимались во внимание инвалиды и пенсионеры. Государство в Москве представлял Моссовет, а он напрямую получал мало средств и мало жилья. Возникла проблема, которая не давала никакого выхода. Я и предложил ликвидировать карликовые заводы стройматериалов и строительные конторы, создав два ведомства: одно ведало бы организацией строительства, другое — производством строительных материалов и деталей. То было очень бурное заседание. Молотов буквально вскипал: «Как можно делать это при таком жилищном голоде? Разве одно управление лучше справится со строительством, чем уже существующие?» Сначала казалось, что правда — на его стороне. Когда же высказались все желающие, меня поддержало большинство, а затем и сам Молотов, который снял свои возражения. Было принято решение централизовать строительство.

К тому времени уже имелись в столице два завода сборного железобетона. Кроме них Москва располагала массой других стройпредприятий. Когда их объединили, то начали перестраивать их работу, специализируя заводы на производство определенных деталей. Пришла возможность перехода на поточное специализированное производство. Это сразу увеличило выход продукции. Затем мы наметили строительство других заводов по изготовлению деталей для домов, перевели на поток производство дверей, оконных рам, паркета, линолеума. Там, где поточного производства не возникло, специализация тоже получила признание вследствие резкого роста выработки. Повысилось качество изготовления там, где руководство завода добросовестно отнеслось к своим обязанностям.

К делу были привлечены многие крупные специалисты и организаторы. Если в них не всегда совмещались эти два качества, то все равно где-то нашли себя и организатор, и новатор-ученый. Первые привлекались на административную работу, люди со стружкой ученого заняли место в экспериментальных мастерских и научно-исследовательских организациях. Тем не менее строительство жилищ из сборного железобетона не сразу пошло гладко. Столкнулись с проблемой крепления деталей; варить их или свинчивать? Особенно много трудностей возникло с замонтированием, чтобы создать необходимую прочность и долговечность строительства. Часто слышались нарекания на недобросовестную работу строителей, допускаящих щели и прочее, так что после отделки дома на нем были видны следы лап горе-отделочников. Плохой рабочий оставлял свой фамильный знак, по которому жильцы узнавали, что тут трудился недобросовестный неряха.

Вспоминаю крестьянский рассказ об умении делать хорошую вещь. Крестьяне в Калиновке сеяли рожь, помещики — пшеницу. Как ни охранялись помещичьи посевы, но крестьянам удавалось порой уворовать что-то для себя. Один крестьянин уворовал пшеницу, размолот ее, просит жену испечь хлеб (а его семья голодала, не имея и ржаной муки) и говорит: «Если ты испечешь из белой, пшеничной муки, дети выскочат на улицу, и сразу все село узнает, что я украл пшеницу у помещика». Она успокаивает: «Я так испеку, что не будет заметно, из какой муки». Была мастерицей.

Так — в любом деле, включая жилищное строительство. Из одинаковых материалов один сделает игрушку, а другой смастерит так, что противно смотреть. Критика же идет в адрес правительства. И правильно, а кого же критиковать? Правительство должно контролировать ход дела. И народные жалобы оборачивались против Моссовета и инициаторов нового дела. Поэтому мои кости перемывались тогда основательно. Но если тебя выдвинули на такой пост и ты обслуживаешь страну, то надо терпеть. Не всегда получаешь пышки, порой и шишки.

Из-за невероятной нужды в жилье мы вынуждены были, пересматривая проекты, выжимать все лишнее, чтобы поскорее удовлетворить большее число нуждающихся. Прежде всего возник вопрос этажности и высоты комнат в ущерб некоторым удобствам. Размеры квартир, туалета, ванной комнаты, кухни — все подвергалось анализу инженеров-строителей. Возводились экспериментальные дома, которые мы потом осматривали, предлагая людям занять эти жилища и учитывая их замечания. Если бы мы пошли действовать на широкую ногу, то около 40% нуждающихся отодвинулось бы на годы в получении ими жилья. Не возникла бы масса новых семей, упала бы деторождаемость.

Я женился молодым человеком, в 1914 году мне было 20 лет. Как только женился, получил квартиру. Следовательно, при капиталистических условиях, когда я работал рядовым слесарем, хозяин удовлетворял квартирами. И мне было больно, что я, бывший рабочий, при капитализме имел лучшие жилищные условия, чем сейчас мои собратья. У меня тогда были спальня и кухня-столовая, помещение приличное, с деревянным полом и коридором, под ним погреб, куда складывались продукты. Каждая хозяйка занималась соленьями на зиму. В Донбассе существовал более богатый овощной ассортимент, чем тот, которым пользовались в Москве. Кроме того, рядом с домом стоял сарайчик для угля и дров. Рабочие при желании могли держать в сараях корову, свинью, кур, и многие их имели. А теперь?

Мы не могли молодоженов удовлетворить не только отдельной квартирой, а и местами в общежитии. Куда же дальше? Люди добиваются сво-

боды, чтобы лучше жить и удовлетворять свои потребности. И граждане говорили: «Что вы нам обещаете загробную счастливую жизнь? Дайте нам хоть немного земного счастья». Пришлось поторопиться, чтобы удовлетворить элементарные человеческие пожелания. Мы специально изучили иностранную практику строительства зданий. Прежде у нас высота комнаты достигала 3,5 метра. За границей многие люди, строя себе жилье на собственные средства, делали высоту в 2 м 70 см. Если подходить с медицинской точки зрения, то необходимо создавать условия воздухообмена. Чем больше кубатура, тем лучше условия, нет спора. В Финляндии мне показали строительство дома, владелец которого, инженер, сам давал объяснения. Я спросил его о высоте потолка. Услышал: «Два с половиной метра». — «Как низко», — удивился я. Он возразил: «Предпочитаю, чтобы кубатура была увеличена не за счет высоты, а за счет площади. Это расширяет возможности размещения семьи и создания удобств».

Если перед какой-то хозяйкой поставить вопрос, что лучше — высота или большая площадь, то многие выскажутся за последнее, потому что можно будет удобнее разместить мебель и расположить семью. Другая проблема — лифты. Решили обойтись в малозэтажных зданиях без них. Разве мы не понимали того, что на лифте подниматься легче, особенно престарелым? Да, трудно жить без лифта, но еще труднее без квартиры. Если спросить холостяка или молодоженов, согласились бы они получить поскорее квартиру на четвертом этаже без лифта, зато с удобствами, то услышите согласие. Мы хотели строить одно- или двухкомнатные квартиры коридорной системы для молодоженов и для одиноких. При разумном распределении жилплощади давать ее пожилым людям на первом или втором этаже, тем, кто помоложе, — на третьем — пятом. На первых порах не все квартиры, к сожалению, оборудовались ванной, в некоторых имелся лишь душ. Конечно, многие оставались недовольны. Но разве лучше было обещать райскую жизнь за гробом?

Поэтому при рассмотрении проектов мы порой пренебрегали некоторыми частными удобствами, помня о том, что масса народа в городах не знает, что такое теплый туалет. Крестьянство вообще пользуется холодным туалетом. На рудниках в старое время не знали, что такое домашняя уборная. Вспоминаю такой случай. В 1920 году мы, разгромив денкинскую армию, вышли к Новороссийску. Наш 74-й полк 9-й стрелковой дивизии занял Тамань. В мае меня и моего друга Петра Кабинета послали на курсы при политотделе 9-й армии в Краснодар. Мы, люди с рудников и из деревень, не имели понятия, что туалет может быть в квартире. В деревне это считалось даже неприличным, а на рудниках был построен ряд нужников. В иной из них можно было без риска зайти только на ходулях.

В Краснодаре нас разместили в Доме благородных девиц с парком, прекрасными залами, спальными комнатами, тумбочками у каждой кровати. Это здание заняли боевые, но не столь благородные бойцы. Уже через два дня в туалет войти было невозможно, потому что люди не умели им пользоваться. Сначала его загадили, а потом принялись за парк. Через месяц и по парку ходить было невозможно. Такой была тогда наша культура. Но почему в середине XX века нужно терпеть отсутствие приличного туалета?

Страдала по вине архитекторов и планировка. Претензии, которые мы предъявляли к строителям, затем часто нам предъявляли жильцы. Встроенная мебель, чтобы не таскаться со шкафами и не загромождать маленькие квартиры, внедрялась медленно и недостаточно. А за границей она широко применялась. Заходя для обследования в квартиру, подготовленную к заселению, я не раз возмущался пятнами на обоях, плохим качеством стен. Следователям уголовного розыска не составило бы труда найти по отпечаткам пятерней человека, который произвел такую грязную работу. Однажды мы с Микояном зашли в дом, где к отделке предъявлялись повышенные требования. Там работал армянин, приехавший из Франции. Он облицовывал стену мелкими мозаичными плитками. Это был художник своего дела. К сожалению, у нас таких были единицы. Если пол укладывался ковровой мозаикой, то цемент прикипал так, что потом его невозможно было отодрать, пол оставался с цементными пятнами. Нередко очень хорошее здание после отделки выглядело скверно и отравляло настроение человеку, получившему ордер на квартиру.

Не столь давно я по телевизору видел передачу «Наши соседи»: жильцы въехали в новую квартиру, а строители вымогали у них взятки. Увы, тоже характерная черта нашей эпохи, связанная и с тем, что квартиры сдаются в уродливых условиях. Утешался я тем, что к 1964 году в Москве, в результате перехода на сборное железобетонное строительство, ежегодно строили 3,8 млн кв. м жилья. Это, по прежним временам, головокружительная цифра. Дореволюционная Москва построила 11 млн кв. м жилья за 800 лет своей истории. Мы такую же жилплощадь дали людям за несколько лет. К тому же не богачам, а трудящимся, и не общежития, а отдельные квартиры. Как-то до революции, работая на заводе Боссе, я поехал монтировать горное оборудование — элеваторы и транспортеры и зашел в двухъярусное общежитие. Никогда не забуду увиденного: некоторые рабочие правили малую нужду прямо со второго яруса вниз. С тех пор я возненавидел общежития.

Москва до начала крупного строительства в 1931 году не знала обще-

доступных канализации и водопровода. Устраивались разборные колонки. Мостовые, даже булыжные, были не всюду даже в центре города. А другие элементарные условия жизни? На руднике можно сбегать в туалет, а в городе куда побежишь? В новой Москве планировались целые кварталы, прокладывали коммуникации городского хозяйства с телефоном, освещением, канализацией, водопроводом, мостовой, тротуаром и озеленением. Это строительство было значительно благоустроеннее, чем в дореволюционное время. А теперь требовалось вывести людей из бараков, чтобы память о них осталась только в художественной литературе.

Но когда Моссовет и райсоветы стали распределять жилье, то начали поступать сведения, что получают его в первую очередь те, кто уже имеют отдельную квартиру. Они просто улучшали жилищные условия. Распределение квартир стало вопросом политики, и здесь я встретился с большими трудностями. Мы наказывали людей, которые допускали это, потом предложили профсоюзам распределять квартиры, заранее выдавая ордера рабочим, чтобы они сами наблюдали за сроками и качеством строительства. Несмотря на это, мало что получалось. В условиях социалистического государства люди, улучшающие жилье, более влиятельны и имели возможность оказывать давление, находить себе каких-то ходатаев и защитников, а те, кто ютился в общежитиях, удовлетворялись в третью очередь. Где же выход? Строить больше и скорее. Это наилучший способ удовлетворения потребностей в жилье.

По метражу нового строительства мы тогда ошеломили мир. Ни одна страна не возводила столько жилья, сколько мы. Это признание было сделано мировой печатью. Я этим гордился и горжусь сейчас. Во время недавних выборов в Моссовет по телевизору транслировали предвыборное собрание. Выступал Промыслов с докладом по жилищному строительству и сказал: «Теперь мы, товарищи, будем строить только высотные здания. Пятиэтажки мы строили по указанию сверху, а теперь станем строить высотные». Мне было горько слушать эту болтовню ответственного человека, которого я в свое время продвигал и считал его разумным. Что значит «сверху»? Он же был председателем Моссовета. Имелось ли у него какое-то другое мнение? Я такого мнения от него никогда не слышал. К тому же в 1949 году он до меня возглавлял строительное дело в Москве. Пусть он вспомнит, какой этажности он возводил дома и с какими коммунальными условиями? Если же под словом «сверху» он имел в виду Хрущева, то я с гордостью беру на себя ответственность и убежден, что разумные люди оценят сделанное объективно.

Однажды некий архиерей, объезжая свои приходы, в одном селе не ус-

лышал колокольного звона и прочитал нотацию священнику: «Ты нарушаешь церемонию». Тот стал объяснять: «У меня на это 11 причин» — и начал с первой. Одиннадцатая же заключалась в том, что не было колоколов. Архиерей ему: «Чего же ты мне голову морочишь? Сразу начал бы с одиннадцатой». То же самое я сказал беспринципным политиканам, которые рассуждают без учета конкретной действительности. Не было у нас возможностей строить быстро и с большим комфортом. Не имелось колоколов. Если бы мы строили со всеми удобствами, за которые всегда я ратую, то значительно сократили бы объемы строительства и продлили бы страдания людей, вообще не имевших жилья. Приходилось выбирать из двух зол меньшее. Считаю, что оправданно.

Мы даже отказались тогда от продолжения уже начатого строительства метрополитена в Баку и Тбилиси, зажали ассигнования на продолжение строительства метрополитена в Киеве, лишь бы поддержать возведение жилищ первой очереди. Правильно это было сделано или неправильно? Абсолютно правильно. В некоторых городах строительство метрополитена не является первой необходимостью. Я признаю, что это самый удобный и безопасный вид транспорта. А если возникнет новая война, он станет местом убежища, как Московский метрополитен в годы Великой Отечественной войны. Но надо иметь в виду, что метро является очень дорогим удовольствием. Там, где есть возможность, надо пользоваться колесным наземным транспортом, трамваем, который еще не изжил себя, когда мы ведем обширное жилищное строительство. Москва и Ленинград в мое время не могли жить без метрополитена, поэтому им и отпускались средства на его строительство.

Баку растянулся на большое пространство, но это не концентрированный город по расположению жилья. Лучше бы средства, которые в нем ассигновались на метрополитен, обратить на жилье. Такое же положение в Тбилиси. К тому же там это было временное решение. То, что сегодня дорого и невозможно, завтра станет возможным. Сейчас, читая газеты, я встречаю всяческие прожекты. Вот такой-то город тоже решил построить метрополитен. Это хорошо, но можно и обжечь руки. Израсходуют средства, необходимые для жилищного строительства, хотя можно было бы при разумном планировании пользоваться и наземным транспортом, более дешевым. Да и с точки зрения посадки пассажиров он удобнее. Трамвай, если сделать его быстроходным и бесшумным, вполне приемлемый вид городского транспорта. Я большой сторонник и троллейбусного сообщения. В пригородах полезно пускать электропоезда большой скорости на опорах.

Некоторые архитекторы и инженеры предлагают поднять городское

транспортное движение на крыши пятиэтажных домов. Они доказывают, что шум от движения можно устранить. Тут — далекая перспектива, и я ее не стану затрагивать. Есть и другие проблемы. Уже сейчас в Нью-Йорке пешеход в час «пик» может скорее преодолеть путь, чем на автомобиле. Я всегда был сторонником разумного регулирования размеров городов. Нельзя допускать перенаселенности, надо научно обосновывать рост города. Противник я и того, чтобы допускать чрезмерное увеличение количества учебных заведений в крупных городах. Среднетехнические и высшие учебные заведения должны быть рассредоточены по разным городам. Это благотворно воздействовало бы и на рост культуры населения. Любой вуз облагораживает город. А такие учебные заведения, как медицинские, педагогические, пищевой промышленности и бытового обслуживания, обязательно следует рассредоточивать. К тому же будущие специалисты на месте будут проходить практику.

Недавно я прочитал заметку в газете о том, что в Минске создается проект закрытого футбольного поля. Плохо это или хорошо? Очень даже хорошо, но сколько это будет стоить? Надо как можно больше строить более дешевых и открытых стадионов, чтобы большее количество желающих имело возможность заниматься спортом и наблюдать соревнования. В постановлениях Совмина СССР конкретно об излишествах резко не говорится. Такая стыдливость вредна для дела, потому что отвлекаются средства, необходимые для возведения жилья. Можно ли найти разумное оправдание тому, что в Киеве построено нечто вроде копии задуманного некогда московского Дворца съездов? А ведь Киев имеет не загруженные публикой театры и Дома культуры. Ему хватает помещений для концертов и собраний. Нет, построили Дворец съездов!

Меня как-то один киевлянин спросил: «Верно ли, что Вы были против строительства подземного ресторана на площади Калинина? Шелест, выступая на городском активе, говорил, что Хрущев был против, и тут же сказал: «А ведь сооружение очень красивое!». Если дать деньги, то архитекторы могут соорудить и не такие красивые здания, и даже похлеще. Но зачем Киеву сейчас подземный ресторан? Он обходится стоимостью в пять наземных. Нельзя же во имя красоты демонстрировать глупость. Скажу и о высотном строительстве. Какая высота наиболее рациональна? Здесь тоже много субъективного. Можно теорию притянуть к нуждам практики, можно и наоборот во имя оправдания того или другого шага. В мое время прежде всего ставилась цель при меньших денежных и материальных затратах построить побольше жилищ. Такова была наша политика в этом вопросе. Вторая причина возведения пятиэтажек — военного характера. Должен признаться, что на меня война оказала в этой

связи немалое влияние. Я видел страдания людей и многочисленные разрушения и до сих пор не освободился от картины разрушенных городов. Чем выше здания, тем при бомбежке больше разрушений и жертв.

После войны Англия под ее воздействием приняла решение не строить здания выше пяти этажей. К тому же это самое рациональное строительство, с наименьшими затратами. Если опять разразится военная катастрофа, то взрывная волна, которая распространяется веерообразной воронкой снизу вверх, сокрушит меньше. Могут сказать, что при водородных бомбах это не имеет значения. Не согласен. Полагаю, что, пока твердый мир не обеспечен на земном шаре, данный довод сбрасывать со счетов нельзя. А зачем вообще нам строиться вверх? Мы же не Япония или Голландия, где люди вынуждены отвоевывать территорию у моря. У нас такой необходимости нет. Для жильцов чем выше, тем не лучше, а хуже, да и дороже. Если рассуждать несколько утрированно, то во сколько обходится жильцам 25-го этажа пользование туалетом? Сколько стоит подача туда воды? Скажут, а как же в Америке? Но и там небоскребы составляют меньшинство домов.

К тому же в капиталистических условиях высотные здания оправданы тем, что земельная площадь под застройку стоит очень дорого, поэтому застройка и ползет вверх. Экономически это оправдывается, интересы же живущих игнорируются. Еще когда в 1934—1935 годах мы принимали решения о реконструкции Москвы, специалисты разъясняли, почему надо ориентироваться на 5-ти или 7-этажные здания, и критиковали высотные дома, критиковали разумно. В США богачи в высотных домах не живут. Они строят их для бедных и для коммерческих предприятий. Что будет, когда резко возрастет населенность городов СССР, пока не знаю, а сейчас нам необходим другой подход к высотности.

После войны в Москве построили несколько высотных зданий: Московский университет, здание на Смоленской площади под Министерство иностранных дел, жилой дом на Котельнической набережной и другие. Когда их построили и доложили Сталину, какова должна быть квартплата, чтобы строительство экономически себя оправдало, то выяснилось, что большинство москвичей не смогут позволить себе оплачивать такие квартиры. Сталин предложил дать эти квартиры людям, имеющим высокие заработки, — народным артистам, видным ученым, известным литераторам. Одним словом, верхушке общества. Но даже для них квартплату пришлось снизить, и она не восполняла затраты на сооружение домов.

Помню, как у Сталина возникла идея построить высотные здания. Мы закончили войну Победой, получили признание победителей, к

нам, говорил он, станут ездить иностранцы, ходить по Москве, а в ней нет высотных зданий. И они будут сравнивать Москву с капиталистическими столицами. Мы потерпим моральный ущерб. В основе такой мотивировки лежало желание произвести впечатление. Но ведь эти дома — не храмы. Когда возводили церковь, то хотели как бы подавить человека, подчинив его помыслы Богу.

Конечно, я вовсе не придерживаюсь точки зрения, что высотные здания совсем не нужны. Это было бы глупо. Просто я высказываюсь за рациональность во всяком деле. Мерилом в жилищном строительстве должны быть удобства для людей и стоимость квадратного метра жилья. Сбивая невероятный голод на жилье, мы тогда удобства подчинили стоимости, использовали совмещенные санитарные узлы в квартирах, сидячие ванны и т. п. Мы могли вместо того построить какое-то количество роскошных квартир, но именно за счет количества, что обернулось бы против нуждающихся в жилье. Одним дали бы роскошные жилища, а других оставили в подвалах и на чердаках. Это обернулось бы жестокостью.

А к концу моей политической и государственной деятельности правительство СССР готовилось к строительству жилищ с гораздо большими удобствами. Когда мы беседовали об этом с главным архитектором Москвы Посохиним, он представлял проекты, которые вполне соответствовали такому назначению. В этих зданиях предусматривались и повышенные нормы по площадям, особенно для прихожей, кухни, туалета, ванной комнаты и встроенной мебели. Вот следующая ступень, на которую мы должны теперь становиться. Тут и лифты с бесшумными муфтами, и тротуары пошире, и многое иное. Стал разумен переход к зданиям в 9—12 этажей. Мы строили 5-этажки, стоимость квадратного метра достигала 110 рублей. В Нью-Йорке высотное здание экономически оправдывается иначе. Там некоторые застройщики скупают целый квартал, сносят все прежнее малоэтажное жилье и строят высотные здания. В социалистических условиях должен быть другой подход. Надо не сносить 5-этажки, а сохранять их, капитально ремонтируя, внутренне перестраивая и улучшая. Если мы придадим старым домам новый облик и улучшим в них элементарные условия проживания, то не всегда человек захочет переехать оттуда в высотку.

Возвращаясь к тому времени, когда мы впервые решали вопрос о железобетоне, спорили, осваивали и внедряли сборное железобетонное строительство, скажу, что Запад успел взяться за ум и шагнул семимильными шагами в этой сфере. Теперь нам нужно самим ша-

гать дальше, не забывая о достигнутом. Когда в Югославии был разрушен землетрясением город Скопле, то я вскоре после него, опять побывав в Югославии, увидел все разрушения. СССР в порядке братской помощи послал туда саперов. Они произвели разборку зданий, которые могли быть восстановлены, и расчистку города. Мы подарили Югославии завод сборного железобетона для жилищного строительства. Думаю, что он сыграл свою роль в восстановлении города. Такой же завод мы передали правительству Афганистана. Можно сказать, что сборный железобетон завоевал себе международное признание.

ДЕЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

Часто и знакомые, и незнакомые, даже случайно встретившиеся со мной люди задают мне вопросы о моих взглядах на развитие сельского хозяйства. О сегодняшнем дне мне трудно говорить, ибо прошло уже пять с половиной лет, как я питаюсь лишь газетными статьями и сообщениями радио. Могу поэтому рассказать о прошлом, а о настоящем высказать лишь некоторые суждения.

В детстве я какое-то время жил в деревне и полюбил крестьянский быт. Но в основном детские годы я провел на рудниках с отцом, который работал на угольных коях. Особенно в моей памяти сохранилась его работа на шахте Успенской, в четырех верстах южнее Юзовки. Сам я трудился в юности на машиностроительном заводе, потом на руднике, потом служил в Красной Армии. Непосредственно же по работе я столкнулся с сельским хозяйством, когда, как говорится, нужда заставила. Это произошло после окончания мною рабфака в 1925 году. Местный партийный комитет направил меня в качестве секретаря уездной парторганизации в Петровско-Марьинский уезд, смешанный по профилю. Это выражалось в том, что собственно Марьинский уезд был сельскохозяйственным, а угольные копи назывались Петровскими рудниками (бывшие Карповские) в честь Григория Ивановича Петровского, который, еще будучи депутатом IV Государственной думы, как-то приезжал туда. Я не могу сказать, выступал ли он, но к выступлению готовился. Меня пригласили на это собрание рабочих, которое созывалось нелегально. Потом его отменили. Подробностей я не знаю, поскольку не входил в число организаторов. Мне просто сказали, что полиция пронюхала о месте собрания, и Григорий Иванович сообщил, что раз так, то оно не состоится. Я уже шел к месту сбора, а там специально выставленные люди предупреждали, что собрания не будет. Приехал же туда Петровский потому, что был избран в Думу от Екатеринославской губернии, в состав которой входили данные рудники.

Когда я принял дела первого секретаря укома партии, мне пришлось заниматься всем, включая сельское хозяйство. Уком располагался в поселке на шахте Трудовская N 5. Она и сейчас действует. Тогда это была

маленькая шахта с поселком, расположенным в степи, рядом с большим и богатым селом Марьинка. Неподалеку находилось село Григорьевка, а еще ближе к рудникам — большое село Кременная. Назвался груздем — полезай в кузов! То есть раз избрали секретарем укома, я должен был давать универсальные руководящие указания. Так я стал человеком, облеченным ответственностью и за состояние сельского хозяйства в уезде, и за добычу угля рудниками, и за деятельность Красногоровского завода керамических изделий. В Донбассе это был тогда единственный завод, вырабатывавший огнеупорный кирпич для облицовки доменных и мартеновских печей. Мои же функции заключались не в обеспечении производства сельскохозяйственных продуктов, а в выколачивании этих продуктов из крестьянских дворов.

После моего секретарства, года через полтора, на партийной окружной конференции меня избрали заведующим орготделом Окружного партийного комитета. Организационная структура была такой: заведующий орготделом являлся заместителем первого секретаря. Единственным секретарем в Окружке был тогда Моисеенко. Позже мы с ним разошлись, так как не сработались. Он трагически кончил свою жизнь, будучи расстрелян в результате произвола 30-х годов. Я убежден, что он был честным человеком. В Окружке мы тоже занимались сельским хозяйством. Оно тогда поднималось как на дрожжах. Стимулятором послужила ленинская политика нэпа, ставшая двигателем частной инициативы. В результате сельское хозяйство быстро восстановилось до дореволюционного уровня, а кое в чем его превзошло. Продуктов в 1925 году у нас было сколько угодно и по дешевке. После 1922 года с его голодом и людоедством теперь настало изобилие продуктов.

Потом, когда я работал на следующих партийных должностях в Харькове и Киеве, мы занимались сельским хозяйством сугубо директивно, тонкостей его не понимали. Как бывший рабочий я знал свое слесарное дело, немного разбирался в металлургии, особенно в производстве кокса. Но мы обязаны были вникать в сельское хозяйство, чтобы кормить города и армию. Сельскохозяйственное же производство шло само по себе, стимулятором еще оставался нэп. Колхозов тогда не было, существовали тозы, а также коммуны, но единицами. В Петровско-Марьинском уезде, кажется, имелась всего одна коммуна в большом селе Максимилиановке. С 1929 года я учился в Промышленной академии и от проблем сельского хозяйства отошел. В основном имел к нему отношение лишь как потребитель. Когда в 1931 году я стал секретарем Бауманского, потом Краснопресненского райкома партии в Москве, а с 1932 года вторым секретарем Московского горкома ВКП(б), то тоже занимался промышленно-

стью и городским хозяйством, а не сельским. В 1935 году меня избрали первым секретарем Мосгоркома и обкома партии. Вот здесь-то на мои плечи и свалилась ответственность за сельское хозяйство в Московской области.

Эта область имела небольшой удельный вес в производстве сельскохозяйственных продуктов. Уровень сельского хозяйства главным образом определялся тогда через производство зерна. Московская область производила зерна мало, как и сейчас производит его мизерное количество. Посевные площади в ней небольшие, урожаи тоже очень низкие. Правда, она давала много картофеля и овощей — капусты, свеклы, моркови, но и этими видами сельхозпродуктов потребности столицы удовлетворялись не полностью. Мы завозили необходимое из Белоруссии, с Украины, из других областей РСФСР. А когда в начале 1938 года я был откомандирован на работу на Украину, то там мне пришлось уделять гораздо больше внимания сельскому хозяйству. Сталин меня специально предупредил, чтобы я придерживал свою слабость и не столь тянулся к рудникам и заводам, а побольше занялся сельским хозяйством.

Украина в этом смысле находилась на особом положении как житница, дававшая стране зерно и сахар. Ее удельный вес в обеспечении СССР продуктами питания был очень большим. Все земли на Украине давно освоены. Люди, приезжавшие из России, увидев, в каких условиях живут украинцы, где многие села не имеют выпасов для скота и крестьяне выпасают собственных коров на веревке и по межам, очень удивлялись. В РСФСР имелись большие луга, леса и широкие возможности для содержания личного скота. В 1938 году коллективизация осталась в прошлом, но практически требовалось внимание к сельскому хозяйству несколько не меньше, чем во времена, когда колхозов еще не было.

К началу Великой Отечественной войны сельское хозяйство окрепло, деревня стала получать в большем количестве трактора и другую технику, хотя и не в тех размерах, которые требовались для правильной организации сельскохозяйственного производства. Украина по-прежнему поставляла стране пшеницу и особенно мясо, молоко, сахар. Производила она также овощи и технические культуры — лен и коноплю. Когда для авиации потребовались смазочные масла, стали выращивать касторник, то есть клещевину, ибо касторовое масло содержит много рицинолевой кислоты. Именно на Украине я впервые встретился со словом «рицин» и познакомился со способом выращивания ризинки, как называют украинцы клещевину. Хлеба мы тогда производили больше, чем потребляли. Помню частые звонки из Москвы от наркома финансов Зверева в связи с тем, что пополнение денежного сундука страны зависело и от продажи

хлебных продуктов, особенно сдобы. Она продавалась по повышенным ценам, а это определяло поступление денежных средств. Зверев требовал от нас расширить изготовление сдобных хлебобулочных изделий.

Многое зависело от погоды. Резервов же у нас почти не имелось. Мы не могли их создавать из-за большой потребности страны в валюте. Если накапливалось какое-то количество хлеба, его сейчас же выбрасывали на европейский рынок, а потом валюту тратили на закупку промышленного оборудования. Проводился курс на индустриализацию, а мы далеко не все могли выпускать сами. Поэтому всячески изыскивали, что можно продать за границей, чтобы получить взамен валюту. Продавали главным образом сельскохозяйственные продукты, так как наши промышленные изделия были невысокого качества и не интересовали капиталистический рынок, что вполне понятно: мы только еще учились настоящему делу и часто «выезжали» на продаже сельскохозяйственных продуктов за счет втягивания животов и подтягивания ремней. Вплоть до 1935 года это и не скрывалось, а иной раз руководство даже с некоторой гордостью заявляло, что мы ведем скромную жизнь во имя светлого будущего и ради победы социализма сознательно идем на жертвы.

Надвинулась война. Наш народ никогда не забывал голод, который он переживал во время войны и после нее. На Украине, только что освобожденной от оккупации, были развалены и промышленность, и сельское хозяйство. Республика понесла огромные людские потери, лишившись самых трудоспособных кадров, имевших знания и опыт. Все приходилось воссоздавать. Это было необычайно тяжелое время. Трудно себе представить, как наш народ выжил. Но выжил! Да еще и работал с энтузиазмом. Самым тяжелым для Украины был 1946 год. Приходилось принимать экстренные меры для спасения людей. Занимался этим и я как первый секретарь ЦК КП(б)У.

На местах, в республиках, парторганизации чувствовали себя чуть по-свободнее, чем в Москве и Ленинграде, если принимать во внимание те антинормы партийной жизни, которые установил Сталин. У нас собирались областные партконференции и съезды КП(б)У, регулярно проводились выборы в парторганизациях, более или менее соблюдался партийный устав. В начале 1947 года Сталин объявил о созыве Пленума ЦК ВКП(б) на тему «О подъеме сельского хозяйства» и предложил мне сделать заглавный доклад. «Доклад поручим Хрущеву», — сказал он, когда члены Политбюро собрались у него на «ближней» даче. Я буквально взмолился, прося не поручать мне доклад. Сталин возмущился отказом. «Товарищ Сталин, поймите меня, — убеждал я, — не могу я сделать такого доклада, я знаю более или менее сельское хозяйство только Украины, но

совершенно не знаю сельского хозяйства Российской Федерации, Белоруссии и Закавказья, не говоря уже об азиатских республиках. Какой же я докладчик? Я стану пересказывать то, что в мой доклад сунут чиновники. Говорить о вещах, которые я не прочувствовал, не могу. Перед залом появится чтец-декламатор, а не докладчик по актуальным вопросам, о которых нужно доложить с умом, заострить внимание на главном, для чего надо понимать это главное. Прошу освободить меня от доклада». — «Ну что же, — буркнул он, — можно поручить доклад Маленкову (он тогда в составе ЦК занимался вопросами сельского хозяйства), но ведь он толком даже сельскохозяйственных терминов не знает», — размышлял вслух Сталин. Так при всех и сказал. Маленков потом долго переживал это. Но Сталин правильно сказал: Маленков действительно в сельском хозяйстве не разбирался. «Давайте поручим доклад Андрею Андреевичу Андрееву», — решил Сталин.

Я считал, что Андреев как прежний нарком земледелия, конечно, может сделать такой доклад. Еще на XVI съезде партии в 1930 году он блеснул знанием деревенских дел, и с того времени о нем сложилось соответствующее мнение. Я тоже так полагал. А Пленум созвали в феврале. Андреев и делал доклад как член Политбюро. Я сидел в Президиуме рядом со Сталиным и внимательно слушал докладчика. Андреев и его помощники, не поднимая новых проблем, хорошо обработали официальный материал, последовательно и логично изложив его Пленуму, чье заседание проходило в Малом Кремлевском (Свердловском) зале. В перерыве Сталин обратился ко мне. «Какое ваше мнение о докладе?» — спросил он, как всегда, коротко.

Я ответил: «Хорошее». — «Я вас толком спрашиваю, какого вы мнения о докладе?» — начал он сердиться. Я опять ответил формально. «Но вы же совершенно не реагировали на него, я следил за вами», — давил на меня Сталин. Пришлось расширить ответ: «В докладе все сказано правильно, только ничего нового. Поставленные в нем вопросы известны». Я больше не мог уходить от честного ответа. Сталинотреагировал нервно. Видимо, и сам пришел к такому же мнению. А Андреев, больной, полуглухой, уже отставал, как выяснилось, от активной жизни, хотя оставался в принципе подготовленным к работе и умным человеком.

После Пленума мы ощущали тот же недостаток в сельскохозяйственных продуктах, хотя промышленность восстанавливалась бурными темпами. Народ работал с исключительным прилежанием, но что можно было поделывать в деревне, где не хватало ни техники, ни рабочих рук? Да и средства вкладывались преимущественно в развитие индустрии. Максимальное количество зерна, заготавливаемое в то время в СССР, составляло

2,2 млрд пудов, обычно же собирали 1,8 млрд пудов. Сталин придерживался старого порядка, исчисляя заготовки зерна не в тоннах, а в дореволюционных пудах. Мы все привыкли к этому исчислению, конкретнее представляли себе величины и легче сравнивали полученное с прошлыми годами. Хотя хлебом мы себя постепенно обеспечили, но резервов по-прежнему не оставалось. А без них жить нельзя. Сельскохозяйственное производство — капризная отрасль. Природа каждый год вносит свои поправки, то позволяя чуть-чуть поднакопить зерна, то создавая такие трудности, что приходится нормировать хлеб.

Почему, имея столь необъятные просторы, Советский Союз ощущал недостаток в сельскохозяйственных продуктах? У нас имелось мало машин и совсем мало минеральных удобрений, к тому же последние были невысокого качества, с бедным содержанием полезных веществ. Порой они содержали лишь 10% необходимого, а остальное являлось балластом. В тоннах их производится много, а пользы от них — на грош. И даже то минимальное количество минеральных удобрений, которое завозилось на железнодорожные станции для колхозов и совхозов, сгружалось под открытым небом, под откосами железнодорожных путей. Нередко удобрения лежали там по два-три года, часть их погибала. Мальчишки зимой катались по ним на санках, как с горок. Удобрения слежались и превратились в камень. Даже если бы их захотели использовать, то потребовалось бы приступить в этих кучах к их разработке. Полезные же вещества вообще вымылись из них дождями.

Такое отношение к удобрениям свидетельствует о тогдашней культуре земледелия. И колхозники, и их руководители больше ценили навоз и не хотели тратить усилия на завоз минералок. Только отдельные передовые колхозы и совхозы умели пользоваться ими и завозили их себе больше, чем положено. Там получались хорошие урожаи. Иное отношение к минеральным удобрениям имелось в колхозах, которые занимались производством технического сырья — льна, конопли, хлопка. Там крестьяне не только ценили минералку, но и боролись за ее поставки.

К 1953 году Украина производила товарного зерна для государства примерно 500 млн пудов. Черниговская область, граничащая с Белоруссией и Россией, заготавливала примерно 19 млн пудов, а вся Белоруссия, имея в несколько раз большую площадь под зерновыми, заготавливала 15 млн пудов зерна и при этом себе почти ничего не оставляла. В целом же у нас оставались очень низкие урожаи по сравнению с западноевропейскими. Издавна в стране существовала возможность расширения посевных площадей за счет распашки целинных земель, но этого не делалось, не знаю почему. Сталин был категорически против, запрещая производить допол-

нительную распашку земель и вводить их в севооборот. Возможно, он хотел сосредоточить внимание на культуре земледелия, получив увеличение производства зерна за счет роста урожайности, более интенсивного ведения хозяйства. Это правильный путь, но сложный, трудоемкий, а по времени длительный. Необходимых знаний должны набраться и агрономы, и зоотехники, и крестьяне, научившись применять передовые методы на практике. С другой стороны, требуются иная техника и много минеральных удобрений. Одними же речами, приказами и постановлениями нельзя добиться повышения урожайности. Если нет материальной базы и необходимых знаний, то ждать повышения урожайности придется очень долго.

Умер в 1953 году Сталин, новое руководство страны перераспределило внутри себя обязанности. Мне поручили заниматься сельскохозяйственным производством. К тому времени я уже пользовался соответствующим признанием, поскольку на Украине работа колхозов и совхозов была организована лучше, чем в других местах. Хочу оговориться. Я вовсе не приписываю это моему руководству, многое объясняется историческими причинами. На Украине культура земледелия выше, чем в других районах Советского Союза, и там было легче руководить, потому что народ уже накопил знания и опыт. Кроме того, Украина обладает хорошими климатическими условиями и черноземом. Правда, недостаток осадков порой наносил большой ущерб. Все мы зависели от дождя. Если судить по урожаям, то на юге в какой-то один год можно прослыть гением, а на следующий год оказаться круглым дураком. При дождях там получали по 30 центнеров пшеницы с гектара, что тогда считалось у нас высоким показателем. Если осенью или в апреле озимые подсушит, будет по 5—10 центнеров. Так мы были зависимы от климатических условий. Только если очень хорошо обрабатывать землю, можно добиться меньших колебаний в урожайности.

Промышленность же работала более организованно, чем сельское хозяйство. Ее руководство и рабочие были лучше подготовлены, а заводские машины уже отвечали требованиям времени. Но сельское хозяйство очень хромало. Мы вынуждены были мобилизовать любые возможности для повышения производства зерна, мяса, молока, шерсти, сахарной свеклы. С техническими культурами, правда, дела обстояли не столь трагически. Хотя наша урожайность сахарной свеклы (по 150 центнеров с гектара) была низка по сравнению с чешской и польской. Продуктивность молочного скота оставалась в СССР сверхнизкой. Я уже не говорю о жирности молока, которая в среднем достигала лишь 3%, а удои — по 1100 литров на корову. Несопоставимая цифра по сравнению с голландскими или датскими показателями.

Урожаи картофеля мы тоже получали плохие. Эта культура хорошо реагирует на обработку почвы и правильную постановку семенного дела. В Московской области имели в среднем по 60 центнеров с гектара: немислимо низкий урожай для картофеля! Это говорит о запущенности хозяйства и о плохой организации производства. В дореволюционное время крестьяне Курской, Орловской и Черниговской губерний получали гораздо более высокие урожаи, а картофель там был отличным по вкусовым качествам и по размеру клубней. Подобное положение с картофелем объяснялось также падением трудовой дисциплины в связи с отсутствием крестьянской заинтересованности, особенно низкими ценами на него. Сталин приказал платить колхозам 3 копейки за каждый сданный государству килограмм. Стоимость подвоза на заготовительные пункты и то обходилась дороже. Затраты труда на картофель не оправдывались, пропала всякая заинтересованность, когда колхозник на трудодень получал копейку. Тогда в деревне говорили: «Работаю за палочку». Палочку поставят в ведомости, то есть отработал трудодень, получи копейку. Некоторые же колхозы, а таких было немало, вообще ничего на трудодни не давали. И крестьяне старались избежать работы в колхозе, живя за счет производства на приусадебных участках или добывая средства жалкого существования какими-то другими способами.

Пришлось пересмотреть цены и изменить систему заготовок. В совхозах их рабочие еще имели какие-то гарантированные ставки, а в колхозах распределение велось по трудодням. Правда, у нас тогда имелись ограниченные возможности, мы были бедны. Но главное заключалось в том, что Сталин приучил нас смотреть на крестьян без уважения, как на быдло, не ценя крестьян и их труд. Он знал только одно средство работы с деревней — нажим, выколачивание сельскохозяйственных продуктов. Цены на них устанавливались ниже их себестоимости. Очень мало было тогда колхозов, которые в результате более высокой культуры ведения сельского хозяйства могли как-то себя обеспечить. Абсолютное их большинство влачило убогое существование.

Картофель — трудоемкий продукт. До того, как мы ввели квадратно-гнездовой способ его посева и обработки полей трактором в двух направлениях, он требовал много ручного труда. С нововведениями производство картофеля увеличилось, затраты труда сократились, но стоимость, по которой он заготавливался, продолжала оставаться 3 копейки за килограмм. Мы пересмотрели закупочные цены на картофель и овощи. Правда, даже новые цены тоже не очень-то стимулировали производство. Но они хотя бы улучшили экономическое положение тех колхозов, которые вели производство на более приличном уровне. Толковые

руководители, знающие дело, могли теперь получать более высокие доходы.

Мы стали искать новые возможности увеличения производства сельскохозяйственных продуктов, прежде всего зерна. Наметился единственный выход — ввод дополнительных площадей в севооборот через поднятие целинных и залежных земель. Таких земель у нас обнаружилось очень много, да и сейчас они еще остались. Правда, теперь остались в основном земли, заросшие кустарником или заболоченные, которые могут быть введены в севооборот только после мелиорации. На первом же Пленуме ЦК КПСС после смерти Сталина товарищи предложили мне сделать доклад по сельскому хозяйству. Особенно на меня нажимал Маленков. Но я пока был не подготовлен к тому и отказался: ответил, что не хочу выступать без конкретных предложений, которые нужно подкрепить убедительными доводами. Просто неприлично выступать перед собравшимися по такому важному вопросу, каким является производство сельскохозяйственных продуктов, без серьезной подготовки. Тогда условились, что в сентябре 1953 года я выступлю с докладом на специальном пленуме, посвященном сельскохозяйственным вопросам. Этот сентябрьский пленум долгое время считали у нас поворотным пунктом в развитии сельскохозяйственного производства.

Я был наслышан о необъятных просторах Казахстана и очень небольших площадях, находившихся там в сельскохозяйственной обработке. Начал знакомиться с проблемой, расспрашивая секретаря ЦК Компартии Казахстана. В ЦК он пришел из органов внутренних дел, где отвечал за деятельность милиции. Являясь казахом, он, безусловно, знал свой родной край. Я допытывался: какое количество земель находится в распахке? Какие площади пригодны под распахку, но не распахиваются? Какие там снимают урожаи? Каковы перспективные возможности земель, которые могут быть распаханы? Из беседы с ним я понял, что он со мной говорил неискренне, занижал возможности и доказывал, что земель, пригодных к распахке, там очень мало или даже совсем нет: все уже распахано, перспективы отсутствуют. Какие-то площади распахать можно, но не столько, сколько стране нужно. Не помню, на какой цифре он остановился: что-то в пределах 3 млн гектаров. Конечно, это тоже большая площадь, но не та, которая нам требовалась. Однако я и ей был рад. Если 3 млн гектаров засеять пшеницей и получить по 5 центнеров с гектара, то это полтора десятка миллионов центнеров товарного хлеба. Если даже один миллион тонн соберем, это составит примерно 60 миллионов пудов. По тем временам довольно ощутимая прибавка в закрома. Конечно, без учета прокорма людей, занятых возделыванием новых полей.

Потом я поговорил с секретарями обкомов партии Казахстана. Они тоже казахи, но глубже знали местные возможности. Они говорили более искренне и со знанием дела докладывали о возможностях освоения целинных земель. Сообщали, что на некоторых землях при хорошей их обработке и высоком качестве семенного материала там получают до 20 центнеров пшеницы с гектара, а в лучших хозяйствах и побольше. Правильно высказывались, что урожай в Казахстане особенно зависит и от метеорологических условий, как от зимних осадков в виде снега, так и от летних в виде дождя. В большей же степени он зависит там от летних осадков. После этих бесед у меня появилась уверенность, что мы сможем получить заметную прибавку в зерне за счет введения в оборот новых посевных площадей.

Затем работники Министерства сельского хозяйства СССР и Госплана СССР представили сведения о наших возможностях в других районах страны. На Алтае, в Оренбургской области, иных регионах имелись большие площади, занятые под пастбища, которые никогда не распахивались. Был подготовлен цифровой материал, который подавал надежды. На сентябрьском Пленуме встал вопрос не только о целинных землях. Тогда же решали проблемы заготовок, цен, другие актуальные для села вещи. После смерти Сталина люди получили возможность свободнее высказывать свои мнения, стало легче изыскивать возможности экономического стимулирования производства. И мы договорились об увеличении оплаты труда в сельском хозяйстве, чтобы материально заинтересовать людей.

Вскоре после этого пленума приняли решение о первом этапе освоения целинных земель, сначала в масштабе до 8 млн гектаров. Эту цифру мы изыскали с помощью секретарей обкомов партии, хотя выше-названный секретарь ЦК продолжал отстаивать меньшую цифру. Я потом проанализировал его позицию и установил, что он знал о всех возможностях Казахстана. Почему же секретари обкомов заняли другую позицию? У меня сложилось впечатление, что здесь имели место политические мотивы. Тот секретарь понимал, что если увеличить площади под зерно, то обработать их казахи сами не смогут. Зато в Казахстане жило много людей других национальностей, главным образом украинцев и русских. Он понимал, хотя никто этого и не скрывал, что придется звать на помощь добровольцев, желающих поехать на освоение целинных земель. Мы-то были уверены, что их найдется нужное количество, а он этого вовсе не хотел, ибо тогда еще сильнее снизится удельный вес коренного населения в Казахстане. Секретари же обкомов как коммунисты смотрели на этот вопрос с более правильных по-

зиций, не отрывая интересов казахского народа от интересов всех советских людей.

И когда началось освоение целины, пришлось того секретаря заменить. Пленум ЦК Компартии Казахстана выдвинул на его место в 1954 году Пономаренко, который имел большой опыт государственно-партийной работы в Белоруссии и в масштабе всей страны. Пономаренко не только хорошо знал сельское хозяйство, но имел также широкий политический кругозор. Вторым секретарем ЦК КП Казахстана выдвинули Брежнева, раньше работавшего секретарем ЦК Коммунистической партии Молдавии. Так мы укрепили руководство Казахстана, исходя из того, что там предстоит большая работа. Нужно было выдвинуть людей, обладавших соответствующими размахом и подготовкой. Ведь Казахстан — очень большая республика. Впрочем, его возможности и сейчас далеко не исчерпаны.

Тогда же решили вопрос о приусадебных участках, освободив от налога колхозников, имевших фруктовые деревья. Сталин придумал закон, по которому каждое фруктовое дерево на приусадебном участке облагалось налогом. Я еще тогда рассказывал Сталину, как посетил свою деревню и заехал к двоюродной сестре в село Дубовицы. Она сказала, что осенью вырубит свои яблони. Перед ее окном стояли очень хорошие яблони. «Замечательные деревья», — пожалел я. «Да, — ответила она, — но я плачу высокий налог, а мальчишки все равно срывают яблоки. Осенью все срублю». Сталин носился с идеей обязать каждого колхозника посадить какое-то количество фруктовых деревьев. А тут даже плодоносящие деревья собираются вырубать. Он на меня очень зло посмотрел, но ничего не ответил. Конечно, и налог не отменил. Сталин рассматривал и колхозы, и приусадебные участки как место, где можно с крестьян стричь шерсть, как с баранов. Мол, новая отрасли. Мы, отменив этот налог, как бы открыли шлюз. Затем вообще сняли все налоги с приусадебных участков и отменили с них обязательные поставки продукции. Раньше владельцы приусадебных участков поставляли государству молоко, яйца, мясо и прочее. Однажды, когда мы с Маленковым отдыхали в Крыму, я предложил ему поехать в крымские колхозы, но не в виноградные возле морского берега, а в степные, где и зерно производят, и сады выращивают. Он согласился. Мы приехали в какой-то колхоз, побеседовали. Один колхозник стал хвалить упомянутые решения Пленума ЦК, но потом сказал так: «Запоздали вы со своим решением, вот если бы вы его пораньше приняли». — «А в чем дело?» — не понял я. «Да перед самым пленумом я вырубил все свои фруктовые деревья на приусадебном участке. Тогда нас налог душил. Теперь налог сняли. был

бы мне доход. Ладно, посажу новые». Он говорил о персиковых деревьях, очень выгодных.

Но встал вопрос, каким способом привлечь людей на целинные земли? Имелся способ столыпинского правительства при царе. Оно тоже занималось заселением свободных сибирских и казахских земель. Переселенцы получали льготы по налогам, а переезжали за свой счет. В наше время об этом не было даже речи, людей поднять с семьями невозможно, тем более за свой счет. Земля давно потеряла ценность в глазах крестьян. Собственность на нее отменили, земля превратилась в национальное достояние. Естественно, люди за свой счет не поедут ни на какие земли. Сняться с обжитого, оставить погосты и уехать неизвестно куда? Мы таких надежд на крестьян не питали, считая, что это нереально. Переселение за счет средств государства было единственной возможностью.

Следующий вопрос: какие хозяйства организовать на целине? Колхозы или совхозы? На первых порах мы хотели и того и другого. Позже остановились на совхозах как более прогрессивной системе, чем колхозы, подпадающей большему влиянию государства. Да и производство зерна там в несколько раз дешевле, чем в колхозах. Но об этом мы в деталях подумали позже, а тогда только приступали к освоению целинных земель. На первом плане пока стояли колхозы, мы стали организовывать новые и расширять те, которые уже имелись там, пополняя их состав за счет приезжих работников. Однако самый основной вопрос заключался в том, через сколько лет освоенные земли дадут желанный результат. Ответ на него означал: призывать ли туда людей немедленно, с 1953 года, или же начинать освоение земель с постройки жилья и прочего. Конечно, сначала следовало бы создать нормальные условия жизни, а потом приступать к переселению людей, создав им необходимые условия. Но кто будет строить? Там же никого нет. Значит, надо мобилизовать строительных рабочих. А зерно нужно немедленно. Мы попали в заколдованный круг.

«Товарищи, давайте обратимся с призывом к советской молодежи, к комсомолу, — предложил я. — Пусть возьмется за освоение новых земель. Попросим их сознательно отнестись к потребностям страны. Я убежден, что мы встретим горячий отклик и поднимем сотни тысяч людей. Вспомним былые времена, когда люди вынуждены были жить не только в палатках, а и в окопах, жертвуя своей жизнью. Несмотря на тяжелые условия, в которые попала наша страна в первые годы войны, народ мобилизовался и сумел преодолеть все трудности. А освоение целинных земель — это труд, который будет оплачен, получат к тому же люди моральное удовлетворение от того, что они, осваивая новые земли, приумножают богатство страны. Я убежден, что найдутся энтузиасты. В армии из резерва возьмем палатки. Выде-

лим трактора и временно перестанем давать трактора другим регионам, ведь невозможно за один раз увеличить их выпуск. В обжитых местах опытные трактористы как-то сумеют на старой технике работать до трех лет. А за это время мы постараемся увеличить количество выпускаемых тракторов, чтобы удовлетворять запросы как старых колхозов и совхозов, так и новых, на целинных землях».

В Президиуме ЦК партии разгорелись споры, появились сомнения, особенно у таких консервативных людей, как Молотов. Он совершенно не понимал сельскохозяйственного производства. На первых порах он не возражал против освоения целины, но уже «пускал пузыри»: без конца выдвигал те или другие вопросы, которые ему казались непонятными и требовали разъяснений. И все они сводились к одному: берется слишком большой размах, дело еще не созрело, а может быть и вообще ошибочно, затраты себя не оправдают. Сейчас все видят, что целина окупилась себя за считанные годы. Но тогда мы далеко не были убеждены в этом. Проблема ставилась довольно робко, поскольку мы понимали, что надо что-то делать, однако решение осваивать целинные земли приняли только в последний момент, на Пленуме ЦК. Там Молотов вместе со всеми проголосовал «за».

Мы поговорили с руководителями ВЛКСМ, рассказали им о цели освоения целинных земель и посоветовались о методе привлечения туда молодежи. Комсомол, как всегда, горячо отозвался на призыв. Сначала вызвались разведчики, которые поехали наметить участки под пахоту и провести подготовительные работы. Были мобилизованы руководители, инженеры и агрономы совхозов и колхозов для организации новых совхозов и колхозов. Начали агитировать опытных трактористов, составили списки лиц, изъявивших желание поехать на целину. Думаю, сохранится добрая память о том времени и тех людях, которые отказались от удобств на обжитых местах и поехали в неизведанные края жить попоходному и терпеть все невзгоды, которые приносит неблагоустроенное место. Они пошли туда во имя блага народа, это было действительно самопожертвование. Эти люди ехали на целину по личному убеждению, стремясь сделать все, чтобы обеспечить народ сельскохозяйственными продуктами.

Перед молодыми добровольцами я выступил с коротким призывом и объяснил предстоящие задачи. Сказал, что партия возлагает на них большие надежды. Затем собрание призвало молодежь всей страны откликнуться на новое дело. Протекало оно интересно, ребята выступали с энтузиазмом. До сих пор в моей зрительной и слуховой памяти сохранились некоторые лица и речи. Молодые люди буквально светились, их гла-

за горели. Я глубоко верил в молодежь, она более подвижна и способна на подвиг. Так оно и оказалось.

Первые добровольцы убыли на целину, когда в степях еще лежал снег. Трактора тянули сани с первоочередными припасами и материалами, а люди шли рядом. Потом пришла весна и развернулась великая эпопея освоения новых земель. Вот и пахота. Люди по-прежнему жили в палатках. Я решил съездить в Казахстан, поскольку, являясь инициатором дела, конкретно не представлял себе степных условий Казахстана в деталях. Хотелось на все посмотреть самому. Президиум ЦК одобрил мою поездку, и я вылетел в Казахстан. Это было мое первое пребывание в нем. Раньше лишь по литературе и по рассказам я знал о жизни в СССР восточнее Урала. А тут я сам попал в эти края и получил возможность как бы осязать происходившее.

Мне было приятно смотреть в глаза новоселам. Там собрались не только мужественные, но и личностно интересные люди. Казахские просторы огромны, из одного района в другой я перелетал на самолете. Вначале видел сверху чистое поле, потом вдруг белели палатки. Подлетаешь, смотришь, а борозды уже проложены. Неотрывно хотелось смотреть, как движется по степи трактор: казалось, этому полю нет конца и края. У целинников ходила поговорка: на одном конце поля тракторист завтракает, на другом обедает, а вернувшись, ужинает. Хотя переселенцам трудно было привыкать к сравнительно изолированной жизни, но они шли на нее с гордостью и достоинством, сыпали шутками-прибаутками, всегда сопровождающими палаточное существование. Как-то я, приехав в одну бригаду, увидел там единственную девушку, остальные были молодыми задорными парнями. Один из них, балагур, говорит: «Товарищ Хрущев, скучно тут жить, только одна девушка среди нас. Мы все за ней ухаживаем, а она от нас отворачивается. Просим, пришлите сюда девушек».

Посмеялись. Но его слова отражали реальность. И когда я вернулся в Москву, где рассказал о своих впечатлениях, то посоветовал комсомолу призвать на целину девушек, для них найдутся и работа, и женихи. Это очень хорошо, что на новых землях сложатся семьи, появятся дома и дети, заведется местное оседлое население, затем окажутся старожилы. ВЛКСМ обратился с призывом к девушкам, и немало их уехало на целину. Там я побывал несколько раз. Мне было радостно: едешь по полю и видишь уже не палатки, как прежде, а белые опрятные домики. Рядом росли первые молодые деревца. Люди стали обживать эти земли, создавать для себя уют и начальный комфорт. Казахская степь оживляла во мне картины моего детства. Еще малышом родители увезли меня в

рудничный поселок Донбасса, мы жили там в казармах. Шахта Успенская, на которой работал мой отец, занимала тогда самое западное место из освоенных в Донбассе земель, где добывался уголь. Выскочишь из квартиры, кругом тянется бескрайняя украинская степь. Не видно ни построек, ни деревьев, если смотреть на юг, а повернешь голову на север — сплошные трубы. В Казахстане же просторы еще шире, степь еще бескрайнее. Даже сейчас, вспоминая то время, я переживаю радостное волнение. Пахотные земли продолжали расширяться, стали осваиваться сибирские, оренбургские, приволжские степи. Вокруг целины поднялся всенародный шум, все искали залежь или целину. Секретари райкомов и обкомов партии объезжали свои регионы, местные жители им подсказывали, где прячутся еще не распаханнные угодья.

Вторично я побывал в Казахстане во время уборки. Меня жгуче интересовало, что там вырастили и какова будущность новых пашен? Целина содержала много питательных веществ. Там сеяли яровую пшеницу. Первые годы получали хорошие урожаи, получали и по 20 центнеров с гектара, хотя все зависело от конкретных обстоятельств: почвы, наличия дождей, работоспособности переселенцев. На первых порах встречалось много неизвестного, пока не налачился какой-то трудовой ритм и научились определять лучшие условия для пшеницы. Местных ее сортов не хватало, а районированных вообще не имелось, их следовало создавать. Семена завозили из других районов, но чужие сорта не всегда приживались. Столкнулись с трудностями и при уборке. Потребовалось дополнительно послать людей. Пришлось обращаться с призывом к комбайнерам Украины и РСФСР, главным образом Ростовской области и краев Северного Кавказа. Свой урожай там убирают довольно рано, и если умело организовать работу, то после окончания тамошней уборки можно успеть погрузить комбайны с людьми на транспорт, чтобы до созревания пшеницы в Казахстане они успели туда прибыть. Так мы и поступили. Но и этого оказалось недостаточно, пришлось часть комбайнов вообще перебросить на целину из обжитых районов страны.

При освоении новых земель, естественно, далеко не все шло гладко. Туда попадали и люди, которые приехали за «длинным рублем». Иные хотели просто переменить обстановку, потому что плохо зарекомендовали себя в старом коллективе. Попадались работники с плохими характеристиками, неуживчивые. И в Казахстане они не ужились, сбежали оттуда. Ну и что же? Разные люди есть и будут везде и всегда. В основном же там собрались замечательные советские граждане, которые хотели хорошо работать. Возникло много различных вопросов транспорта: о железной дороге, о шоссе. Ничего такого там пока не было. Когда убирали

Май 20
Гек





Хрущев стал первым советским руководителем, удалившимся от власти в результате «тихой революции сверху» – заговора ближайших соратников. Но до поры до времени руководители заговора изображали лояльность и даже, как Л.И. Брежнев, сидели за семейным столом в доме Хрущева...

Октябрь 1964 г.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Коммунистическая партия Советского Союза



ПРАВДА

Газета основана 1 мая 1918 года
В. И. ЛЕНИНЫМ

№ 200 (16976) Пятница, 16 октября 1964 года Цена 3 коп.

Орган Центрального Комитета
Коммунистической партии Советского Союза

Коммунистическая партия Советского Союза твердо и последовательно проводит в жизнь ленинскую генеральную линию, выработанную XX и XXII съездами КПСС. Тесно слепленный вокруг своей родной партии, советский народ героически борется за осуществление великих задач коммунистического строительства.

Под знаменем марксизма-ленинизма, под руководством Коммунистической партии — к новым победим коммунизма!

С О О Б Щ Е Н И Е о Пленуме Центрального Комитета КПСС

14 октября с. г. состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС.

Пленум ЦК КПСС удовлетворил просьбу П. Хрущева Н. С. об освобождении его от обязанностей Первого секретаря ЦК КПСС, члена Президиума

ЦК КПСС и Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Пленум ЦК КПСС избрал Первым секретарем ЦК КПСС т. Брежнев Л. И.



Л. И. БРЕЖНЕВ,
Первый секретарь ЦК КПСС.

А. Н. КОСЫГИН,
Председатель Совета Министров СССР.

В Президиуме Верховного Совета СССР

15 октября с. г. волею Председателя Президиума Президиум Верховного Совета СССР тов. А. Н. Косыгина постановил передать Президиуму Верховного Совета СССР Председателя Верховного Совета СССР распоряжение вернуть в Президиум Совета Министров СССР.

Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил просьбу тов. Хрущева Никиты Сергеевича об освобождении его от обязанностей Председателя Совета Министров СССР в связи с преклонным возрастом и ухудшением состояния здоровья.

Председателем Совета Министров СССР Президиум Верховного Совета СССР избрал тов. Косыгина Алексея Николаевича, освобождая его от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР О ВАКАНЦИИ тов. КОСЫГИНА А. Н. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Совета Министров СССР

Назначить тов. Косыгина Алексея Николаевича Председателем Совета Министров СССР; освободить его от обязанностей первого заместителя Председателя Совета Министров СССР.

Изменить Директора Верховного Совета СССР А. МИРОШНИКОВА.

Москва, Кремль, 11 октября 1964 г.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА Об освобождении

Президиум Верховного Совета СССР постановил освободить тов. Хрущева Никиты Сергеевича от обязанностей Председателя Верховного Совета СССР.

Навстречу 4-й годовщине Великого Октября

В эти дни советский народ встречает великую годовщину — 45-летие Великой Октябрьской социалистической революции. В эти дни мы вспоминаем героический путь нашей страны к коммунизму.

СОВЕТСКО-КУБИНСКАЯ ДРУЖБА НЕРУШИМА

3 июля 1911 года состоялось открытие в Российской империи первой школы с преподаванием русского языка. Эта школа стала символом дружбы между народами Советского Союза и Кубы.

Встреча руководителей КПСС и Советского правительства с генералом Овально Дорнговым Тарасом

Во встрече приняли участие Президиум ЦК КПСС, тов. Хрущев Н. С., тов. Брежнев Л. И., тов. Косыгин А. Н., тов. Андропов Ю. В., тов. Лихачев С. С.

В ЧЕСТЬ КУБЫ

Президиум Верховного Совета СССР постановил освободить тов. Хрущева Никиты Сергеевича от обязанностей Председателя Верховного Совета СССР.



ПРОЕКЦИЯ МОЩНОСТИ — ДОСКОЧНО!



Семья – надежная опора свергнутого лидера.
Слева направо: А.И. Аджубей, Е.Н. Хрущева, Р.Н. Аджубей,
Н.П. Хрущева, Никита Аджубей, Н.С. Хрушев,
С.Н. Хрушев и его жена Г.М. Шумова.
В первом ряду Алеша и Ваня Аджубей, Никита Хрушев.

С сыном Сергеем Никитичем и Ниной Петровной.



С друзьями на пикнике.

Государственная дача в Петрово-Дальнем,
где после отставки жил Н.С. Хрущев.



С внучкой Юлией, правнучками Ниной и Ксенией.

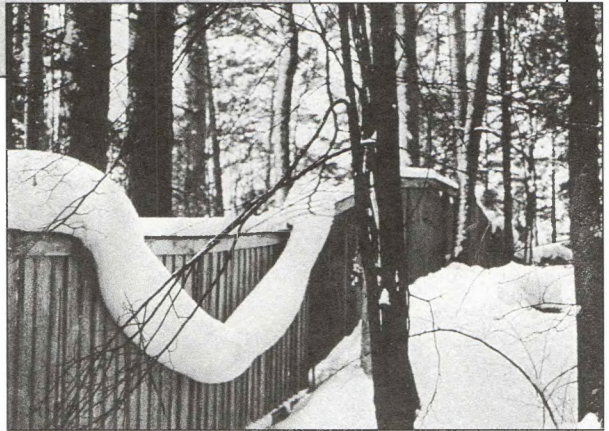


Два Никиты Хрущева —
дед и внук — в бассейне.

На пенсии Никита Сергеевич
пристрастился к любительской фотосъемке.



Фотоработы Н.С. Хрущева.



Заявление

Khrushchev Remembers

With an Introduction,
Commentary and Notes

BY

Edward Crankshaw

Translated and Edited by STROBE TALPOTT

Как видно из сообщений печати Соединенных Штатов Америки и некоторых других капиталистических стран, в настоящее время готовятся к публикации так называемые мемуары или воспоминания Н. С. Хрущева. Это — фабрикация, и я возмущен ею. Никаких мемуаров или материалов мемуарного характера я никогда никому не передавал — ни «Тайму», ни другим заграничным издательствам. Не передавал таких материалов я и советским издательствам. Поэтому я заявляю, что все это является фальшивкой. В такой лжи уже неоднократно уличалась продажная буржуазная печать.

Н. ХРУЩЕВ.



В «Правде» Хрущев опроверг «слухи» об издании на Западе своих мемуаров, однако скоро книга вышла в США. В СССР бывший лидер еще 15 лет оставался «фигурой умолчания», и лишь в годы перестройки начали печататься его труды и книги о нем.

Никита Хрущев



Единственное сообщение о кончине Н.С. Хрущева — скромная заметка в «Правде»...

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР с прискорбием извещают, что 11 сентября 1971 года после тяжелой, продолжительной болезни на 78 году жизни скончался бывший первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР, персональный пенсионер Никита Сергеевич Хрущев.

**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ КПСС**

**СОВЕТ МИНИСТРОВ
СССР**



В последний путь.

Надгробный памятник на Новодевичьем кладбище
работы Эрнста Неизвестного.



Перестройка — возвращение памяти.
Мемориальный знак на месте дома в селе Калиновка,
где родился Н.С. Хрущев.



Пригласительный билет,
выданный Н.С. Хрущеву-внуку,
на празднование 100-летия
со дня рождения деда.

НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ
ХРУЩЕВ
100 ЛЕТ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

МОСКВА

Н.С.Хрущев

Уважаемый (ая)

Организационный комитет приглашает Вас принять участие в работе конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Н.С. Хрущева.

На конференции выступают: Г.А. Арбатов, Ю.Н. Афанасьев, О.Т. Богомолов, Ф.М. Бурлацкий, Д.А. Волкогонов, Г.Б. Волчек, А.И. Гельман, А.С. Грачев, И.А. Дедков, Ф.А. Искандер, Д.Н. Кугультинов, Ю.М. Лужков, Ф.Т. Моргун, Э.И. Неизвестный, Г.Х. Попов, А.А. Собчак, М.М. Хуциев, А.Н. Яковлев, Е.В. Яковлев.

Оргкомитет.

Г.Х. Попов	А.Н. Яковлев
Ю.М. Лужков	Р.Г. Пихоя
Н.А. Аджубья	Е.В. Яковлев



"Личу я... Пылаю, жегу на всех дела мои. На одну кашу дела смешиваю, на другую - доброе... И доброе пережилки".
Н.С. Хрущев



Концерт в Калиновском Доме культуры,
посвященный 100-летию земляка.



хлеб, то ссыпали зерно буквально на землю, при перевозке происходили большие потери. Люди стали бить тревогу, писать письма и в ЦК партии, и в газеты. Они правильно делали. Мне было очень тяжело читать на первых порах письма: люди проявляли государственную заботу о сохранении зерна, а мы сделать еще почти ничего не могли, только слали призывы насчет бережного к нему отношения. Даже мешков недоставало, автомашины навалом засыпали зерно, и на всех поворотах и колдобинах зерно разлеталось, дороги были усыпаны пшеничной лентой. Птицам же было блаженство, они жирели на глазах. Но, несмотря на все утраты, целинное производство оказалось выгодным.

Возникла проблема и строительства жилья. Государство завезло туда лес, целинники строили сами, конечно, примитивно, но все-таки создавали для себя какой-то уют. На рудниках рабочие возводили обычно подсобные помещения около квартир, сарайчики. В таких сараях обитали тогда многие целинники. Потом мы столкнулись и с другими проблемами. О многом подсказывали сами труженики. Во время очередной поездки на целину я беседовал с агрономом местной МТС Савченко, опытным и умным работником, попарившим туда еще до освоения новых земель. Там чередовались и старые, и новые совхозы и колхозы, которые МТС обслуживала. «Товарищ Хрущев, — сказал он, — наша МТС обеспечивает главным образом колхозы. Хочу спросить: «За что мы отдаем колхозникам зерно, собранное на целинных землях?» Я удивился: «Как за что? За то, что они трудятся». Он улыбнулся: «Ну, нет, колхозы на целинных землях — сплошная фикция. Государство завезло сюда тракторы и другие машины, МТС пашет, сеет, а если надо, то дает и минеральные удобрения, хотя их тут мало. Потом посевы созревают, мы их убираем и затем ищем колхозников, чтобы развезти им по домам зерно в оплату за трудодни».

То была не схема, а реальная действительность. В колхозах возделывались полевые культуры с вложением большого количества ручного труда, там для работы нужны люди. Чисто зерновое хозяйство на целинных землях почти полностью механизировано, на полях трудятся рабочие машинно-тракторных станций, а не колхозники. А что делали там колхозники? Если говорить о новых землях, то почти ничего. Агроном открыл мне очевидную истину. Мы-то мыслили по схеме, подходя к оценке деятельности колхозников, как в средней полосе России, и схему эту переносили на целину. Я согласился с Савченко, что целинные колхозы следует преобразовать в совхозы. Государство выплачивает рабочим совхозов их долю, а само получает больше зерна. Агроном оказался наделенным государственным умом.

Вернувшись в Москву, я поделился очередными впечатлениями о поездке, и руководство СССР вместе с общесоюзными и местными казахстанскими начальниками пришло к заключению, что в Казахстане нужны именно совхозы. К тому же колхозы создавать труднее, чем совхозы. Последним что нужно? Земля, постройки, техника и люди. Людей нам хватало, теперь на целину охотно ехали. Следовало подобрать только трактористов, комбайнеров и мастеровых по ремонту техники. Трудиться стало проще, потому что к работе приступает не колхозник без квалификации, а специалист. Стоимость совхозной пшеницы тоже была значительно ниже, чем колхозной.

Когда мы уже распахали большое количество гектаров целины, в Казахстане случились страшные пыльные бури. Поднимались в воздух тучи земли, почва выветривалась. Если хозяйство в степных условиях вести культурно, то применяются давно известные средства борьбы с эрозией, апробированные на практике, в том числе посадка защитных полос из древесных насаждений: трудное и дорогое дело, но оправдывающее себя. Есть и определенные агроприемы. Людям приходится считаться с природными процессами и приспосабливаться к ним, противопоставляя свою выдумку дикой природе. Но, что бы там ни случилось и несмотря на все трудности, целинный хлеб оставался самым дешевым. Это объясняется еще и тем, что там можно было использовать мощные машины. Былой ДТ-54, необходимость выпуска которого я отстаивал перед Сталиным, давно устарел, сейчас заводы выпускают ДТ-75. Но этого недостаточно. Нужен набор тракторов различных мощностей, а для целины с ее просторами — самых мощных.

К концу моей деятельности Кировский завод в Ленинграде создал трактор марки К-700. С его внедрением резко возрастет производительность труда, станет выше и оплата за вложенный труд. Конечно, хозяйствам с небольшими площадями К-700 не выгоден. А для технических культур вообще нужна другая техника. Все это входит в жизнь постепенно, но неуклонно, подкрепляя собой освоение залежи и целины. Эти земли издавна влекли к себе. Недаром царское правительство тоже хотело заселить их и использовать. Мои родственники из соседней деревни выехали в Сибирь в 1908 году вместе с другими переселенцами из ряда деревень Курской губернии. Многие из них потом возвращались, но не в свои деревни, потому что землю и дома там уже продали и хозяйство ликвидировали, а шли в батраки или на заводы, бросали крестьянский труд. Тогда переселялись бедняки и середняки.

Теперь целинная эпопея приобрела иные очертания. Государство выделило десятки тысяч машин, помогло добровольцам осесть на новом месте и стало снабжать их необходимым. Поэтому и результаты оказались другими.

Но аппетит приходит во время еды. В ходе освоения целины у партийных и советских руководителей тоже разгорелся аппетит. К 1960 году заново освоенных земель набралось свыше 60 млн гектаров. Повысился общесоюзный сбор зерна. Но это потребовало больших капиталовложений на жилищное строительство, строительство машинно-тракторных станций, создание совхозов. Деньги окупались с лихвой даже с учетом того, что там урожайные, малоурожайные и неурожайные годы чередуются. В аналогичных условиях работают канадцы, которые свою засушливую зону называют районами рискованного земледелия. Да и у нас наличествовал риск. Однако даже в неурожайные годы целинный хлеб был не дороже того, который выращивался в обжитых районах. В целом проведенное в жизнь грандиозное мероприятие оказалось экономически выгодным.

Потом мы развернули на целине строительство железных и шоссейных дорог, элеваторов для приемки хлеба, его хранения и переработки, технологические операции старались механизировать. Я любил выезжать на целинные земли во время уборки урожая. Вот едешь на автомашине и, насколько хватает глаз, видишь бесконечные поля пшеницы. Когда она выбросит колос, засеянные просторы схожи с морской водой, особенно когда гуляют ветровые волны и возникает рябь. То там, то тут островками торчат машины с людьми. Когда в 1964 году, последнем году моей политической деятельности, я снова выезжал на целину, то переживал вершину личного счастья. Я проехал большие расстояния на автомобиле, затем передвигался поездом, опять пересаживался на машину и все ездил и ездил по полям. Видел прекрасный урожай, самый высокий за все годы освоения при мне целинных земель. Мы тогда произвели рекордные заготовки зерна для страны. И в каждом совхозе я интересовался урожайностью. Мелькали цифры от 12 до 16 центнеров с гектара. Для районов рискованного земледелия на всем их протяжении — отличный показатель. Подсчитано, что при высоком уровне механизации обработки полей 5 центнеров с гектара обеспечивали прибыльность. Новые земли оказались для нас просто кладом.

Был образован в Казахстане Целинный край с центром в Целинограде. Мы ему выделили все, что могли, для наилучшего обеспечения материальными средствами и капиталовложениями. На первых порах, когда нельзя было распылять средства, иначе не получалось. Союзное правительство непосредственно финансировало освоение целины. Если бы финансирование шло через Казахстан, то ущемлялись бы интересы Целинного края в пользу других областей. Мы же старались оградить целину не только от республиканского, но и от союзного Госплана, чтобы выделяемые средства не отвлекались на другие нужды. В госпланах всегда

возникает соблазн удовлетворить нужду за счет соседа. Мы преграждали этот путь растаскивания средств, целевым назначением выделяя их для целины.

А как шло дело в прочих местах? В Оренбуржье, Сибири, Поволжье тоже реализовывались планы расширения посевов. Правда, не все новые земли оказались под них пригодными. Кое-где распахали участки с неглубоким полезным слоем, которые вообще не следовало включать в оборот, так что налицо и промахи. Приходилось такие участки исключать из реестра пахотных земель, ища взамен более богатые. Пришлось нам также изыскивать новые способы обработки земель. Послали делегацию в Канаду для изучения опыта тамошних фермеров. Она привезла массу интересных сведений. Наши ученые, агрономы и техники создавали новые конструкции почвообрабатывающих орудий, приспособленных к условиям целинных земель. Требовались особые комбайны, более сложные, широкозахватные агрегаты. Потом поняли, что уборку следует производить раздельным способом, а не так, как делали на первых порах, когда проводили комбайнирование созревших полей и гнбло много хлеба.

С древних времен крестьянин приспособился к ведению зернового хозяйства: он жал серпом или косил пшеницу, вязал колосья, копнил, убранный хлеб проветривал, потом складывал его в скирды. Из скирд молотили даже зимой, получая сухое зерно. Часто пользовались овинами, в которых сушили еще не обмолоченные снопы. А что на целине? Когда там косили, а уж затем подбирали скошенные ряды и обмолачивали их комбайном, резко изменялось качество зерна. Оно тоже стало сухим, облегчилась борьба с долгоносиком — проклятым бичом зернового хозяйства. Зерно обмолачивалось только после просушки, когда оно некоторое время полежало скошенным в рядах, и долгоносик исчезал сам по себе. К конструкторам почвообрабатывающих и зерноуборочных машин предъявлялись более серьезные требования. Перед агрономами и селекционерами остро встала проблема сортов пшеницы. Селекционеры блестяще с ней справились, создав новые сорта, приспособленные к местным условиям и дававшие лучшие урожаи, чем завозившиеся из других районов.

Существенный недостаток земледелия, и не только на целине, а и во всей Сибири — трудности с яровыми посевами. Если бы там можно было сеять осенью озимые, то появились бы иные условия уборки. К сожалению, таких сортов полевых культур, которые выдерживали бы морозы и не вымерзали, у нас не имелось. Озимые созревают раньше яровых, поэтому при уборке нагрузка на технику распределяется равномернее. Так что же делать? Лишь будущее покажет. Яровые пшеницы в наших условиях везде по урожайности уступали озимым. Внедрить всюду озимые — вот главная задача! К 1964 году

на целине мы приобрели опыт выращивания разных культур. Казахи с давних времен умели сеять просо и получали высокие урожаи. На целине просо тоже производили при мне, но на небольших площадях. Там научились сеять горох, гречиху, сахарную свеклу и получали неплохие урожаи. Я уж не говорю о ячмене и овсе. Вообще же на целине предпочитали сеять пшеницу и горох как самые ценные в тех условиях культуры, к тому же горох имеет короткий период созревания и, как все бобовые, удобряет почву, в своей корневой системе — клубеньках накапливая азотистые вещества. Научились закладывать на целине сады и лесозащитные полосы, набрались опыта посева льна-кудряша, который идет не на волокно: из его семян получают масло. Провели опыты посева там кукурузы на силос, что открывало возможность широкого развития молочного и мясного животноводства. Наступало время вести земледелие на целине широким фронтом, не ограничиваясь монокультурой и повышая доходность сельского хозяйства. Перспектива представлялась мне хорошей, она подтверждала надежды, которые мы питали, приступая к освоению целины. Ее районы обещали стать со временем обжитыми и экономически выгодными.

После того как в Казахстане были освоены новые большие земельные площади, он приобрел для СССР новое значение. До освоения целины Белоруссия по количеству населения занимала третье место, теперь Казахстан оттеснил ее, а также занял второе место в стране по производству товарного зерна. РСФСР оставалась на первом месте, но она ведь не в счет, потому что вообще большому кораблю — большое плавание.

Некогда на Украине мы заготавливали около 600 млн пудов зерна. Казахстан стал заготавливать до 700 млн пудов и подходил к миллиарду. Это было нашей очередной мечтой. Не знаю, что показал учет за 1964 год, его проводили уже без меня, я находился на пенсии. Знаю только, что к октябрю того года заготовили около 900 млн. пудов и приближались к желанному миллиарду. Тот хлеб был самым дешевым. Казахстан как поставщик хлеба оттеснил и Украину.

Мой последний приезд на целинные земли состоялся во время уборки урожая в 1964 году. Мне вспоминались тогда стихи Некрасова:

Чудо я, Саша, видал:
Горсточку русских сослал
В страшную глушь за раскол,
Землю да волю им дали;
Год незаметно прошел —
Едут туда комиссары,
Глядь — уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!..

Так постепенно в полвека
Вырос огромный посад —
Воля и труд человека
Дивные дивы творят!

Некрасов радовался свершившемуся в Сибири за полвека. Что бы сказал он, наблюдая нынешний штурм целинных земель? Такое могли осуществить только советские люди, сознательно пошедшие на этот штурм. Потом им на помощь поехали и студенты для летнего строительства поселков и уборки урожая. Так что освоение целины и залежи продолжается. Длится то доброе дело, за которое мы взялись в начале 50-х годов.

Радовали мой глаз и целинные поселения. Опять вспоминаю избу с земляным полом, в которой я родился и провел детство. У нас в избе был и загон для скота, и курная печь. Когда горел огонь и варилась пища, в доме нельзя было находиться, дым выходил через дверь. В нынешних поселках создаются иные условия, хотя им еще далеко до того, чем пользуются люди в городе. А если сравнить жилищное строительство на целине и в Голодной степи Узбекистана, то это опять день и ночь. В Голодной степи мы строили сооружения уже на более высоком промышленном уровне, с применением техники и использованием французского опыта полива земель по железобетонным лоткам. Руководители Узбекистана сначала тоже пошли по старому пути. Как и на целинных землях, стали создавать колхозы, переселяя узбеков с гор. Потом и они перешли на совхозы. К тому же жители гор не имели опыта выращивания хлопка, что усугубляло положение. Потом я несколько раз побывал в Голодной степи. Посещение ее всегда сопровождалось чувством радости от прекрасной земли, показывающей чудеса. Там добились высоких урожаев хлопка, насадили сады и стали выращивать персики, яблоки, другие фрукты.

Я предложил строить там поселки городского типа из домов в три-четыре этажа со всеми удобствами: водопроводом, канализацией, газом, радио, телефоном, благоустроенными дорогами и тротуарами. Там стали возводить пекарни, рестораны, детские сады и ясли, сразу закладывая бытовые учреждения, необходимые для обслуживания человека. Люди, приходя в совхоз, обретали коммунальные удобства, нужные современному человеку: школу, больницу, клуб, кино и прочее. На целинных землях сделать это нам не удавалось, но не потому, что мы этого не понимали, а оттого, что нас лимитировали скромные материальные условия. В Голодной же степи имелось больше возможностей выделять средства на строительство. Кроме того, отдача от вложенных капиталов там оказалась невероятной. Статистики докладывали, что при урожае в 30 центнеров хлопка с гектара капиталовложения, затраченные на совхоз, окупаются сбором

двух, от силы трех урожаев. Конечно, я говорю не о стоимости хлопка-сырца, за который платили совхозам, а о своей выгоде, которую получало государство при реализации готовой продукции. Сильное впечатление производили на меня поездки и в Туркмению, Таджикистан, Киргизию, где организовывались подобные же хозяйства. Я не раз проводил совещания в Целинограде, посвященные итогам за прошлый год или подготовке к весенним полевым работам. Слушал выступления казахов, русских, украинцев, представителей многих народов, участвовавших в освоении целины. Встречался также с казахами-табунщиками и вспоминаю приятные минуты общения с ними.

С вводом целинных земель под посевы мы создали большие возможности заготовки товарного хлеба и все-таки желанного изобилия не добились. Имею в виду не только удовлетворение потребностей советских людей, но и запросы наших друзей из других социалистических стран. Не получился у нас и выход на международный рынок, с тем чтобы продавать хлеб на Запад и приобретать необходимую валюту. Выход на международный рынок стал бы свидетельством особого роста нашего сельскохозяйственного производства. Но, к сожалению, еще на слишком низком уровне велось и ведется наше сельское хозяйство. Мы получаем только третью долю того, что может давать наша земля. Это касается и старых, давно освоенных земель. Целина вела к отдаче с большим коэффициентом, но и его оказалось мало. Недоставало опыта, техники, минеральных удобрений, средств борьбы с вредителями, правильной селекционной работы. Тогда мы только-только приступали к разведению на целине крупного рогатого скота мясного и молочного направления. Там паслись большие стада овец для производства шерсти и баранины, бродили табуны лошадей, которые давали конину, но это мясо в СССР далеко не общепотребительно. В Туркмении и Казахстане остаются неиспользуемые резервы разведения верблюдов. «Корабль пустыни» как-то выпал из поля партийного зрения. Я раз обратил внимание на одном из совещаний местных руководителей на это упущение. Они меня горячо поддержали, решив побыстрее восстановить верблюжье стадо. Верблюд, питаясь колючками, дает прекрасную шерсть, хорошее мясо и молоко, может удаляться от водооя. Что получилось потом из обещаний? Не знаю.

В 1964 году я подсчитал, что по всей стране мы можем заложить на государственные склады около 4 млрд пудов товарного хлеба. Наши потребности исчислялись тогда двумя миллиардами пудов. Появлялась возможность создать полугодовые резервы. Этот прогноз основывался не на биологической урожайности, а по заготовкам, которые осенью 1964 года уже завершались. Недавно увидел свет статистический сборник, из кото-

рого я попытался узнать, сколько же зерна было заготовлено в 1964 году. Нет этого! Все исчисляется за пятилетку, без разбивки по годам. Данные 1964 года спрятаны. А основываясь на состоянии торговой сети, прихожу к умозаключению, что производство зерна сегодня далеко не удовлетворяет наших потребностей. Недостает также мяса, мясопродуктов, яиц, молочных изделий. За ними стоят очереди. Люди ищут лазейки как-то достать нужные им продукты, из провинции приезжают за ними в Москву. Даже крупные города, всегда служившие зеркалом, отражающим состояние сельского хозяйства, показывают сегодняшнюю действительность в непривлекательном виде.

Когда читаешь газеты с сообщениями о работе сельскохозяйственных органов, то отмечаешь успехи: выросло производство и зерна, и других сельскохозяйственных продуктов. А рынок этого не подтверждает. В чем же дело? Помню, как Сталин проделывал такие фокусы: определялась урожайность, а потом урожайность произвольно завышали. Тогда оплата труда МТС зависела от урожайности, и государство было заинтересовано в завышении. Колхоз, наоборот, был заинтересован в занижении урожайности: чем она ниже, тем меньше он уплатит за работу МТС. Метод государственного определения урожайности был гибким: что захотел, то и получил. Применялись метровки: считали, сколько на одном квадратном метре поля выросло стеблей, какое на них количество колосков, сколько зерен в каждом колоске, потом эти три исходных элемента принимались во внимание при расчете урожайности. Тут всегда возможны злоупотребления. Можно подсчитывать только колосья больших размеров, в них окажется больше зерен. Все зависело от желания того, кто считал. Но даже если считать добросовестно, то это лишь биологическая урожайность, а не товарный хлеб. Такой метод годится для предварительного определения. Урожай еще надо собрать, потом привезти хлеб на государственные склады, только тогда он становится товарным. От определения биологической урожайности до коммерческого хлеба лежит дистанция огромного размера. Примешивается и политическая заинтересованность: если кому-то хочется блеснуть урожайностью, то пожалуйста! Вот и блещут сейчас наши руководители всяческими цифрами, а на магазинных полках пустота.

Я знаю, что за последние годы значительно выросло производство минеральных удобрений. В свое время мы поставили задачу производить концентрированные минеральные удобрения, чтобы в них было побольше полезных веществ и поменьше балласта. Требовались гранулы. Сейчас для своего дачного огорода я пользуюсь нитрофоской, которая содержит азот, фосфор и калий. А в соседнем колхозе, внося удобрения под посевы пшеницы, тоже пользуются нитрофоской. Следовательно, по выпуску минераль-

ных удобрений мы выросли, и по количеству, и по качеству. Но должной отдачи не чувствуется. Значит, минеральные удобрения плохо используются. Центнер удобрений при грамотном их вложении и хороших семенах даст прибавку к урожаю с гектара в 3 центнера. При толковом использовании удобрений мы получили бы в СССР миллионы центнеров добавочной продукции. Однако ее нет. Проблема упирается в культуру применения и в организацию дела, примитивные во многих колхозах и совхозах.

В столичных магазинах достаточно только хлеба. Но ведь не хлебом единым жив человек, и не только в духовном смысле. Сухая ложка рот дерет. Хлеб без приварка превращается в насмешку, когда многие наши города и поселки сидят без продуктов. Эта проблема должна неотступно преследовать руководство страны.

Иногда я сейчас встречаюсь с людьми, и они рассказывают мне грустные анекдоты, отражающие нынешнее положение в стране. Один из таких собеседников спросил меня: «Может ли верблюд дойти от Москвы до Владивостока?» Я ответил: «Думаю, что у него хватит сил». Собеседник засмеялся: «Не дойдет, его съедят по дороге». Этот анекдот отражает грустную реальность.

Как нам поскорее выйти на широкую дорогу производства необходимых продуктов? У нас остались неосвоенными необъятные просторы заболоченных и заросших кустарником земель. Конечно, я не говорю о лесе, лес изводить нельзя, эксплуатацию его богатств следует вести на разумной основе, чтобы вырубки постоянно восстанавливались, а в некоторых районах восстановление леса должно идти с опережением. Речь я веду сейчас о другом: много земель требуется приводить в порядок, мелиорировать и тоже вводить их в севообороты. Масса участков покрыта слоем торфа, остается кислой. Без известкования и дополнительных усилий на них ничего не вырастет. Здесь все упирается в капиталовложения и технику. Еще когда я работал, то высказывал такие соображения, но не широко. Тогда главной задачей стало освоение целинных земель, нельзя было распылять средства. Ныне, закончив одно, пора браться за другое.

У нас имеются также большие площади, которым необходима ирригация. Окупаемость поливных земель очень высока. Кроме того, полив создает устойчивость при получении сельскохозяйственных продуктов. Урожай перестает зависеть от погоды, командует сам человек. У нас имеются для полива достаточные средства: электростанции, и гидравлические, и тепловые с водохранилищами, разбросаны повсюду, машиностроение способно полностью обеспечить насосами для подачи воды, опыт же устройства ирригационных систем для правильного распределения воды у нас тоже большой. Я уж не говорю о будущем, когда мы научимся опреснять морскую воду в

крупных размерах, чтобы использовать ее и для хозяйственных надобностей. Тут возникают заманчивые перспективы.

Сегодня в сельском хозяйстве СССР основное состоит в повышении продуктивности старопахотных земель, которые давно освоены. Урожай там очень низкие, по 8—10 центнеров зерна с гектара. А в Западной Европе получают по 30—40 центнеров. Вот еще одна наша мечта. Мы можем сказать, что тоже имеем районы с такой урожайностью, но правильнее их называть микрорайонами. Даже если бы мы подняли среднюю урожайность до 20 центнеров, то создали бы изобилие. Появились бы только трудности сбыта и хранения такого количества зерна, но с изобилием легче справиться, чем с голодом. Здесь от правительства требуется мужество, как хирургу, вырезающему опухоль и тем самым освобождающему организм человека от болезнетворных тканей, чтобы дать ему возможность нормально развиваться. В целях подъема сельского хозяйства требуется хирургическое вмешательство в финансы, дабы получить средства для подъема деревни. Чтобы верблюд мог целым и невредимым дойти от Москвы до Владивостока, необходима решимость на государственном уровне ради перестройки всей нашей сельскохозяйственной политики.

Почему же мы отстаем от западных капиталистических стран в производстве сельскохозяйственных продуктов? Причина кроется в скверной организации дела. Еще в период моей деятельности я увидел в этом главный недостаток и пытался отыскать более хорошие организационные формы ведения хозяйства. Наши сельскохозяйственные органы часто работали вхолостую. Союзное министерство всем диктует, *что* сеять, когда сеять. Бюрократическая отчетность поглощает массу труда. Между тем за все почти 13 лет, что я работал на Украине, у меня ни разу не появилось потребности обратиться в союзное министерство за консультацией. Однако министерские указания мы получали регулярно, хотя они порой противоречили здравому смыслу. Республики и области сами обладают достаточным потенциалом для ведения дел и в детализированных указаниях из центра не нуждаются. А аппарат просто должен как-то оправдать свое существование: «стучать», писать, звонить, телеграфировать, посылать уполномоченных, плодить бумаги.

Микоян как заместитель Председателя Совета Министров СССР шефствовал над сахарной промышленностью. Украина была главным производителем сахара. В Министерстве пищевой промышленности сидел в качестве уполномоченного агроном Сторожук, знающий специалист по сахарной свекле. Он, бывало, часто приезжал к нам по этому вопросу, но когда ему вздумается. Я убежден, что телеграммы на Украину, которые подписывал Микоян насчет свеклы, составлял Сторожук. Вот получаем

длинную телеграмму с указаниями, какие нужно проводить работы, а мы их уже закончили. Директивы были правильными, но о чем в них говорилось? Не пей сырой воды! Однако на каждую директиву следовало ответить. Когда же приезжал Сторожук, то его надо было принимать и с ним надо было беседовать. Он наставительно излагал свои взгляды. Потом уезжал. По СССР ездили миллионы сторожук, им государство платило миллиарды рублей, и все впустую.

Я попытался потом принять какие-то меры, полагая, что союзное министерство сельского хозяйства в существующем виде никакой пользы не приносит, а лишь проедает народные средства. В министерство по делу обращались с мест лишь ради обеспечения тракторами, автомашинами, плугами, минеральными удобрениями и прочим. Но это не имеет никакого отношения к сельскохозяйственному производству. Тут технические средства его обесценивают. Настоящее министерство должно иметь небольшой аппарат, который будет намечать главную линию, следить заграничными новинками и давать заказы на производство требуемого для сельского хозяйства. Не меньших нововведений просит селекционная наука. У нас был в ней ряд прекрасных достижений. Лукьяненко дал стране пшеницу «Безостая-1» с отменными хлебопекарными качествами и урожайностью, хорошие сорта пшеницы получили от селекционеров Ремесло и Кириченко, Мусийко вывел замечательную кукурузу «Одесская-1», Соколов из Днепропетровска тоже успешно ведет работу по кукурузе, их догоняют селекционеры из Воронежа, Пустовойт улучшил подсолнечник — всех и не перечислишь.

Но мы резко отстаем от Запада в селекции животноводства, птицеводства и свиноводства. Плохо обстоит у нас и с семеноводством в ряде соответствующих отраслей. Приехали как-то при мне в СССР голландские фермеры и в Курской области посетили мою родную Калиновку. Они расспрашивали, как колхозники выращивают картофель. Калиновцы по сравнению с окружающими находились на довольно приличном уровне, получая около 200, а другой раз и за 200 центнеров картофеля с гектара. «И какое же количество картофеля вы высеваете?» — поинтересовались фермеры. «По две, две с половиной тонны семян на гектар», — отвечают. Те изумились. Голландским фермерам это показалось невероятным, и они рассказали, что высевают только 500 кг семян картофеля на гектар. Урожай же получают в 300 и более центнеров. Когда я был в Египте, то президент Насер говорил, что они покупают семена картофеля в Нидерландах, потом выращивают ранний картофель и продают его в Западную Германию и другие страны, потому что там охотно покупают ранний картофель. Да, в Нидерландах семеноводство картофеля отлично

поставлено. Специальные хозяйства занимаются им и обеспечивают остальных голландских фермеров стандартными клубнями определенного сорта и размера. Потом получается высокий урожай при крупных клубнях. У нас тоже имеются хорошие сорта картофеля, особенно «Лорх» и «Майская роза» с хорошими вкусовыми качествами. Мы располагаем большими хозяйствами по выращиванию спиртового картофеля с высоким содержанием крахмала, пригодного для переработки на винокуренных заводах. Но все это не поставлено на должном уровне, так, как на Западе. Достаточно напомнить, что в Московской области получают урожай картофеля до 70 центнеров с гектара. В нашей стране нет общей системы выращивания семян. И семена не ценятся колхозами и совхозами. Если же они используют специальный семенной материал, то потом он годами не меняется. Лишь отдельные хозяйства обновляют семена в нужные сроки.

Когда я вернулся с Украины в Москву, то решил посетить научно-исследовательский институт картофеля в Раменском районе. Научные сотрудники докладывали мне с большим пафосом о своих успехах. Я задал вопрос: «А какой урожай вы собираете в вашем хозяйстве?» Женщина, отвечавшая за картофель, сказала: «60 центнеров с гектара». Эта цифра меня просто убила. «Слушайте, товарищи, как же можно дальше терпеть работу такого института, — не сдержался я, — который на своих полях получает урожай в среднем по 60 центнеров, а соседние колхозы — до 120 центнеров? Кто же станет брать пример с такого института? Он подает ужасный пример!» Женщина, бедняга, не ожидала моей реплики и растерялась, потом заплакала: «Мы вас ждали, радовались приезду, а Вы нам говорите такие слова!» — «А что же мне говорить? Я не могу грешить против своей совести. Такой урожай — бич для сельского хозяйства страны, особенно в Московской области, которая держит огромные площади под посевами картофеля». Это происходило в 1950 году.

Несмотря на все последующие усилия со стороны партии и правительственных органов урожайность картофеля недалеко ушла от позорной цифры 70 центнеров с гектара. Конечно, имелись и рекордсмены. Еще в 1938 году в Киевской области одна колхозница получила 500 центнеров картофеля с гектара и за это была награждена орденом Ленина. Но каких же трудов ей это стоило! Несмотря ни на какие награды, таких примеров имелось очень мало, они являлись исключением и получались в результате необычайно тяжелого труда и большого вложения навоза в почву. Или же рекорд достигался на крохотном участке. Вот колхозница Уткина из Новосибирской области получила около 100 центнеров картофеля с гектара, но на малой площади. А порой, я знаю, происходило надувательство: говорили об урожае, собранном с грядки, и потом его пересчитывали на гектар.

Почему же мы так отстаем от Запада? У нас скверно поставлено дело. Научно-исследовательские институты содержатся на государственном обеспечении и потому-то работают плохо, раз бюджет обеспечен независимо от успехов дела. Противники социализма делают вывод, что условия преобразования жизни на социалистических началах приводят к безответственности, снижают эффективность труда. Поэтому Советский Союз и не может выбраться из трясины, в которой находится. А как нам это опровергнуть? Мой помощник Шевченко как-то беседовал с крупнейшим селекционером Юрьевым, возглавлявшим научно-исследовательскую станцию близ Харькова. Когда Шевченко зашел к нему в кабинет, тот сидел задумавшись. «Видимо, размышляете над какой-то проблемой?» — спросил Шевченко. Юрьев с грустью ответил: «У меня работает доктор сельскохозяйственных наук, но абсолютный бездельник, вот я и думаю, как от него избавиться, но ничего не могу придумать, потому что закон защищает его». Наши законы, предусматривающие защиту человека от плохих администраторов, недобросовестные люди оборачивают против нашей системы. И работа в научно-исследовательских институтах служит нередко кормушкой для трутней. Такие элементы облепляют институты, пожирается огромное количество государственных средств, а отдачи нет.

Главное, от чего мы страдаем, — несовершенное руководство сельским хозяйством. Мы по-прежнему находимся здесь в состоянии агитации: сплошные призывы в газетах, по радио и телевидению, на собраниях и в докладах. Это тоже нужно. Но откликаются на призывы только передовые люди. Чтобы труд занятых в сельском хозяйстве стал продуктивным, надо, чтобы оно велось на должном научном уровне, имело техническое обеспечение и четкую организацию дела. У нас этого нет. Наши партийные и сельскохозяйственные органы только планируют и призывают. Недавно по радио я слушал передачу об итогах совещания по сельскому хозяйству в Московской области. Выступал с докладом Конотоп. Я его давно знаю как умного человека. Помню его с тех пор, когда он работал на Коломенском заводе инженером, потом стал там секретарем заводской парторганизации, секретарем Коломенского райкома партии и так продвигался далее. Как политический деятель он соответствовал своим постам. Но, слушая его доклад, убедился еще раз, что наша номенклатурная организационная структура порочна. Ведь Конотоп — инженер. Можно ли себе представить, что о развитии угольной промышленности поручат докладывать секретарю парткома, не имеющему отраслевой подготовки? Как он расскажет о ведении горных работ?

Сельское хозяйство, как и любая другая отрасль, требует профессиональных знаний. Поэтому я и предложил создать производственные территориальные сельскохозяйственные управления, которыми будут руководить крупные специалисты, отвечающие не за общий уровень сельского хозяйства, а конкретно за каждый колхоз и совхоз: как там применяют технику, используют аграрные познания, вносят минеральные и бактериологические удобрения, применяют средства защиты растений. К сельскохозяйственному производству надо относиться так же, как к промышленному производству. Я, выезжая на периферию, всегда интересовался сельским хозяйством. Куда бы я ни приезжал, всегда мне докладывал о нем партийный руководитель, а председатель облисполкома или райисполкома находились в тени. Непосредственные специалисты по отраслям тоже оставались в тени, к ним обращались только за справкой. Да, в нашей системе партия занимает руководящее положение. Но тут — политическое руководство, а делом должны командовать специалисты.

Еще одна сторона проблемы заключается в том, что в СССР выдающиеся достижения отдельных умельцев не становятся общим достоянием, о них пошумят и забудут. «Надо равняться на товарища Гиталова, — начали мы агитировать, когда Гиталов показал большие успехи как тракторист, — надо всем работать по-гиталовски!» Выступая на-одном из собраний, Гиталов сам употребил такую же фразу. Думаю, он сделал это по молодости лет, слишком саморекламно. Но что же вы думаете? Что все трактористы, возделывавшие кукурузу, стали работать с его производительностью? Ничего подобного. Призыв остался призывом. Органом, повседневно занимающимся внедрением нового, как раз и должно быть сельскохозяйственное управление. Однако оно обязано не агитировать (пусть партия агитирует), а заинтересовать людей материальным поощрением хорошего труда. Или другой пример. В мое время на страницах наших газет часто мелькала фамилия тракториста Светличного, работавшего близ Краснодара. Я на месте познакомился с его работой. Он с напарником на полях сахарной свеклы достиг невероятных результатов, первым в СССР показав, что сахарную свеклу можно возделывать без применения ручного труда. Светличный изучил технологию посева, обработки, уборки сахарной свеклы и применил механизацию. Он получал с гектара около 430 центнеров: сеял тракторной сеялкой, потом обрабатывал трактором без прорывки. На первых порах приходилось вручную производить разборку букетов, прореживая всходы. Сплошную строчку взошедшей свеклы он прорезал в поперечном направлении трактором, а оставшиеся кустики — вручную, оставляя необходимое количество растений. Потом там получили односторонние семена, и ему удалось окончательно уйти от ручного труда. Он высевал односторонние семена, затем

обрабатывал посевы в двух направлениях. Даже в неблагоприятные годы урожай у него не опускался ниже 250 центнеров. При этом резко снизилась себестоимость свеклы, он затрачивал какие-то копейки. Я много раз хвалил его и призывал пользоваться его методом. А толку нет. Конечно, прежде всего потому, что людям не создают материальную заинтересованность.

Прогремел на всю страну и Кавун, председатель колхоза из Винницкой области, добившийся невероятного для СССР урожая гречихи. Он очень ровно вел хозяйство и получал хорошие урожаи из года в год. За гречихой у нас укрепилась дурная слава: считали, что эта культура плохо поддается агрономическим приемам. С давних времен она засеивалась крестьянами в два-три срока: они гадали, какой срок больше подойдет в эту весну, чтобы получить сносный урожай. А у Кавуна из года в год выходило по 23 центнера с гектара. Гречиха — наш северный рис, к тому же медонос. Мы повышали на нее заготовительные цены, но так и не смогли добиться приличных урожаев. Я предлагал внедрить метод Кавуна во всех гречишных районах Северной Украины и еще севернее. Так до реализации и не дошло дело. Никому вроде бы и не надо.

Третья причина — грабительская оплата, не по истинному труду. Как только мы перешли в деревне на колхозы и совхозы, у нас почти вывелся горох. Его трудно убирать, он не поддается механизированной уборке, требуется косить вручную. У Кавуна люди косили горох по старинке, но охотно, потому что им выдавалось соответствующее поощрение. Потом конструкторы выдали решение его уборки механизированным способом: скошенный горох закатывали в валки. Люба Ли, замечательная женщина из Узбекистана, вырастила кукурузу с силосной массой до 2000 центнеров с гектара. Я любовался ее посевами — буквально кладовой драгоценностей, потому что силосная культура — это и говядина, и молоко, и сливочное масло. Но как поддержали материально тех, кто захотел стать ее последователями? А никак. Все пустили на голый энтузиазм. Между тем при урожае кукурузы в 1500 центнеров силосной массы дополнительно получается в початках восковой спелости минимум 50 центнеров зерна. Если все это переработать и засилосовать, появится деликатес для скота, и он отреагирует повышенной продуктивностью. Кто-нибудь постарался на местах выделить из дополнительных доходов в таких случаях их часть на оплату выдающегося труда?

В любой отрасли сельского хозяйства сверкают бриллианты народной инициативы, но они быстро тускнеют. Митинги, совещания и газеты тут не помогут. Необходим административный управленческий орган, который будет конкретно заниматься этим, и материально стимулируя людей, и организационно налаживая дело. Причем повседневно, а не по ходу

кампанейщины, как получилось у нас с кукурузой. Когда я сегодня встречаюсь с какими-то людьми и мы беседуем по текущим вопросам, то часто меня спрашивают, чем я занимаюсь? Отвечаю, что летом заполняю вакуум, в котором сейчас нахожусь, после бурной политической жизни работая на огороде. «И что Вы сеете?» — спрашивают. «Патиссоны». — «А что это такое?» Поясняю. Начинается аханье. Люди не слышали о тарельчатых тыквах. «Да разве они у нас растут?» — «Верно, — говорю, — я и сам только в третий раз буду их сеять, а прежде не знал, что они могут произрастать в Московской области. Вот уже два года выращиваю их и имею прекрасный деликатес к столу. В подмосковных условиях они удаются лучше огурцов». — «А что еще Вы сеете?» — «Кукурузу». Тут реагируют по-разному, улыбаются, знают, что я заядлый кукурузник. «Да, и она растет в Московской области, но не у всех, у умного растет, у дурака — нет, она не терпит глупого обращения с собой. А тех, кто со знанием дела берется за нее, она обогащает», — заостряю я тему. Единственный бич, с которым мне приходится бороться, — грачи. Эти разбойники полюбили кукурузу, выклеивают зерна, клювами выдергивают всходы, а росток отламывают и бросают.

Несколько лет назад я специально ездил за Москву-реку полюбоваться посевами кукурузы в совхозе «Горки-II». Мне было приятно, уже находясь на положении пенсионера, видеть, какие там достигаются замечательные урожаи этой культуры: не ниже 700 центнеров зеленой массы с гектара. Они высевали сорт «Стерлинг», получая стебли высотой до трех метров. Я даже сфотографировался среди этих посевов. Но в целом по стране сейчас принижают достоинства этой кормовой культуры и перестают ее сеять в районах, где она не дает спелого зерна. На огородах в Курской губернии кукуруза росла с давних времен. Бабушка кормила меня пареной кукурузой, которая считалась лакомством. В Московской области после войны на огородах тоже росла скороспелая кукуруза. А я поставил вопрос о том, чтобы сделать кукурузу основной силосной культурой. Ведь нет равной ей по количеству кормовых единиц для наших зон. Селекционеры со временем сумеют вывести такие сорта, которые смогут вызревать и на зерно. Те сорта кукурузы, которые сейчас находятся на вооружении сельского хозяйства, не подходят СССР: они вызревают, но не высыхают. Нужны сушильные заводы для доводки кукурузы до определенной кондиции. В принципе же достаточно получать 600 центнеров силосной массы и научиться ее силосовать с добавками. Кукурузная масса тоже имеет свои недостатки, в ней мало белка. Если же примешивать к ней другие культуры, вносить минеральные добавки и вместе силосовать, то при кормлении скота расход силосной

массы окажется меньше. Вот могучий рычаг подъема мясного животноводства.

Я никогда не скрывал, что остаюсь большим патриотом этой культуры. Все равно за ней будущее. Врагами кукурузы у нас были и лентяи, и глупцы, и умные колхозные председатель с агрономом. Они-то получают определенную ставку, им заработок обеспечен. Он может быть повышен в результате более продуктивного ведения хозяйства, но разница выйдет небольшой. И они взвешивают, стоит ли овчинка выделки? Проезжая по дорогам, я не раз видел посевы подсолнуха на силос, жалкие, бедные, больно на них смотреть. Однако их сеют, потому что хлопот меньше. Если кукурузу посеять, за ней придется больше ухаживать. Правда, и отдача иная. Но нет, лучше жить поспокойнее, по принципу «посеял, убрал, отчитался». Экономический эффект у нас не подвергается анализу, отсутствует сравнение и получается, что все кошки серые. Выделяются же те, кто лучше справился с полевыми работами на бумаге.

Один из примеров такого отношения к делу не забуду до гробовой доски. Вернувшись на работу в Москву, я как-то поехал в колхоз Егорьевского района. Секретарем райкома там была бывшая учительница. Я попросил ее отвезти меня в самый бедный колхоз. Приехали. Председателем правления выдвинули там человека из городских, но без специального образования. Одним словом, выдвигенца. «Какая культура наиболее выгодна для посева в вашем колхозе?» — спросил я его. «Овес», — отвечает. А по дороге туда я отметил, что у них песчаные земли, для овса малоприспособные. «Разве овес дает высокие урожаи в вашем районе?» — допытывался я. «Нет, товарищ Хрушев, у нас урожаи очень низкие, но овес легко убирать». Такой цинизм! Отвечал коммунист, которого выдвинули ради подъема колхозного хозяйства. К сожалению, это у нас не исключение, а правило, довольно распространенное явление.

А как способствует делу Советское государство? Сплошь и рядом мешает. Однажды с секретарем крайкома партии мы поехали в Сибири в хороший животноводческий совхоз. Подъезжая к нему, я обратил внимание на скошенные поля. Приехав в колхоз, получил записочку от рабочих, что перед моим приездом там скошили рожь. Она уже налилась зерном, а ее скошили на силос, зерна теперь не будет, да и силос негодный, рожь-то уже переросшая. «Зачем Вы скошили рожь?» — спросил я директора. «Мне нужна силосная масса. У меня животноводческий совхоз». — «Но если бы вы скошили раньше, то была бы силосная масса. К тому же рожь — не лучшая культура для силосования». Все безрезультатно. Захожу с другой стороны: «Какую культуру Вы считаете наиболее выгодной для посевов в ваших условиях?» — «Могар». — «Почему? Могар бобовая

кормовая культура. Неплохая, но отчего она выгоднее других?» — «Вовсе не выгоднее, но если мы посеём другие культуры, государство заберёт урожай себе, а траву могоар государство не отбирает, все остаётся совхозу». Следовательно, наше государство воздействует на деревню не с позиций экономической выгоды, а как вымогатель. «Это свойственно социалистическому хозяйству, потому что оно не заинтересовано в прибылях», — возразят мне некоторые. Но тогда у нас ничего толкового и не получится. Без расчёта на прибыль все провалим.

Возвращаясь к кукурузе. Она выводит нас к высоким удоям молока. До применения кукурузного силоса мы имели в среднем по СССР надой молока на корову до 1100 литров в год. Когда перешли на силос кукурузы в смеси с другими культурами, то в хороших хозяйствах стали получать до 4000 литров. Эти удои просто потрясли сознание людей. Раньше все грехи валили на бедную нашу коровушку, считая её малоудойной. Оказалось, и она способна на чудеса, надо только её как следует кормить. У крестьянина прежде корова содержалась впроголодь. Весной, чтобы она не подохла, раскрывали крыши сараев и скармливали ей гнилую солому. Откуда же было взяться молоку, если к весне оставался скелет, обтянутый кожей?

Некоторые люди сейчас кричат, что я смотрел на животноводство и на кормовые культуры только сквозь кукурузные очки. Вовсе нет, я стал большим сторонником кукурузы потому, что не было лучшей культуры. Я присягнул той из них, которая даёт наибольший эффект от затраченного труда. Например, в Краснодарском крае пшеница приносит 50 центнеров с гектара. Если кукуруза даёт там столько же; то глупо отдавать ей предпочтение, тем более что пшеница ценнее, питательнее и менее трудоемка. Но под силос кукуруза останется непревзойдённой. Когда я шефствовал над моей Калиновкой, там сеяли много клевера, коноплю, получали по 30 центнеров пшеницы. Кукурузу сеяли на зерно и имели до 50 центнеров, а на силос — до 700 центнеров с гектара. На ней там поднялось молочное животноводство. Значит, все решает климатическая зона и умение выбрать экономически целесообразную культуру.

А в наших условиях партийная печать стала навязывать кукурузу даже там, где не нужно. Проезжая по дорогам, я не раз с возмущением смотрел из окна машины на хилые посевы кукурузы, заросшей сорняками. А кукуруза не терпит засорённых полей. Отсюда и слабый результат. В таких случаях выгоднее сеять вико-овсяную смесь. В тех хозяйствах, где не умеют возделывать кукурузу, вико-овсяная смесь себя оправдала бы экономически. Но нет, всем навязывали одно и то же, убивая на корню местную инициативу. Верховодила отчетность: такая-то республика закончила сев,

такая-то область закончила уборку, убрано столько-то гектаров. Однако гектар гектару рознь! Убрать комбайном урожай в 10 центнеров и в 50 центнеров — совсем не одно и то же. Мы по-прежнему находимся на низком уровне организации сельского хозяйства и не освободились от взглядов, что им может управлять каждый. Между тем сельское хозяйство — самое сложное производство, сложнее промышленности, ибо слишком многоотраслевое. Человек имеет дело с живыми организмами и находится в большой зависимости от природы и погоды. Такое хозяйство требует особого умения.

В США есть орган, который внедряет новые научные и производственные достижения в сельское хозяйство. Там сидят крупные специалисты, которые следят за появлением всего нового и продвигают его. У нас же процветает безответственная болтовня. Как пошло это со времен коллективизации, так и сохранилось.

Важно знать правду. А советская статистика отражает действительность, как кривое зеркало. Магазины же и желудки людей лучше статистического управления свидетельствуют об истинном положении дел. Многие вообще возвращаются. На местах вздувают цены на продукты против правильной их стоимости. Или еще: пойдешь в магазин, там картофель дешевле, но он хилый и грязный. А на рынке у частника втрое дороже, зато чистый и налитой. В свое время я потребовал, чтобы в магазинах торговали мытым картофелем и хозяйки получали бы его в чистом виде, как за границей. Какое-то время это решение выполнялось, потом все заглохло. Кое-кто скажет: «Хрущев на старости лет толкует о мелочах». Эти мелочи влияют на большую политику, на настроение людей. Если от кальсон не вовремя оторвется пуговица, она может испортить человеку жизнь. Маленький вопрос перерастет в большую проблему.

У нас для решения всех этих вопросов имеются два пути: либо предусмотреть производство всех видов товаров, продуктов и предложение услуг через государство, либо открыть ворота частнику. Да можно ли при социализме вообще обеспечить народ? Когда я в 30-е годы работал секретарем Московского парткома, а Бадаев был председателем кооперативного Центросоюза, Московское управление по торговле овощами и фруктами возглавлял Лукашов. Другие города СССР плохо обеспечивались ими, а Москва жила без нужды. Почему? Лукашов и Бадаев пользовались правом размещать заказы на овощи в хозяйствах разных областей и республик, имея своих агентов-заказчиков. Полтава выращивала морковь, соленые огурцы заказывали в Нежине и так далее. Я вообще придаю исключительное значение организационному фактору. В этом зак-

лючается основная деятельность социалистических органов. Или же придется перейти к частнокапиталистической прибыли с частной собственностью. Ничего третьего нет. А у нас сейчас и ни то и ни се.

Можем ли мы в принципе полностью удовлетворять запросы людей? Конечно. Следует выделить на это больше средств, зажав расходы по военному ведомству. Нельзя, прикрываясь словами о защите Родины, не удовлетворять повседневных запросов человека. Нельзя придерживаться взглядов Мао Цзэдуна, который не хочет видеть в жизни ничего, кроме борьбы и революции. Революцию человек делает не ради нее, а чтобы лучше жилось... Вот сейчас я на положении вольного казака, ничем особенным не занимаюсь. Удел пенсионера — доживать свой век. Особенно тяжело тем пенсионерам, кто участвовал в бурной политической деятельности, как это выпало и на мою долю. А теперь я сижу на мели, но не ропщу. Таков удел любого, кто стареет. Зато я имею возможность оглянуться, сравнить, высказать свои соображения. Надеюсь, что они пригодятся.

ОБОРОНА СССР ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...

Теперь хочу продиктовать свои воспоминания о работе, направленной на обеспечение неприступности нашей страны. Это для СССР вопрос вопросов. Мы говорим, и правильно говорим, что сейчас разорвано кольцо капиталистического окружения. Уже существует не одна социалистическая страна, а несколько. На социалистический лагерь приходится 1/3 мирового производства. Это радует и вдохновляет тех, кто искренне борется за социализм. Но капитализм еще силен, не дает нам возможности почивать на лаврах и забывать об угрозе, еще может показать свой империалистический оскал. Поэтому нельзя ослаблять внимание к делу обороны. Это справедливо и сейчас, а особенно относилось это к тому времени, когда умер Сталин.

Он с большим вниманием следил за состоянием обороны СССР. Считаю, что он даже преувеличивал силы противника и его намерение развязать войну. А сам он пытался прощупать капиталистический мир штыком. В первую голову я имею в виду блокаду Западного Берлина, которая заставила нас убедиться в том, что не приходится рассчитывать добиться успеха подобными средствами. Сталин вынужден был уступить, пойти на переговоры. Когда он попробовал блокаду, то сделал это без учета наших реальных возможностей. Плохо продумал проблему. Не знаю, кто был у него советником по ней. Я уже входил в Политбюро, но мы ее не обсуждали. С кем Сталин ее обсуждал, мне неизвестно, но думаю, что только с Молотовым. Больше ни с кем. Ворошилов в это время никакой политической роли не играл.

Потом — война в Корее. Ее начали северокорейцы по инициативе Ким Ир Сена, а Сталин его поддержал, как поддержал и Мао Цзэдун. То была согласованная акция. В данном деле, если говорить о собственной персоне, я тоже согласился бы с Ким Ир Сеном. Но последний переоценил свои возможности, считая, что надо только поджечь фитиль, дать толчок, и внутренние силы Южной Кореи сделают дальнейшее. Конечно, южнокорейская армия оказалась слабее и была разбита, но вмешавшиеся в войну американцы вынудили отступить северян, а значит, и Сталина, который трусил и не решился оказать решающую помощь Север-

ной Корее, сказав: «Ну и что? Мы своих войск туда не вводили, так что теперь американцы станут нашими соседями на Дальнем Востоке, только и всего». Лишь вмешательство Китая спасло тогда Северную Корею. Это была вторая наша крупная военная неудача после Великой Отечественной войны (первая — блокада Берлина).

Вот такое мы получили наследство. Имели, правда, атомную бомбу. Сталин тогда нос повесил и стал бояться Америки. Помню, однажды, как всегда ночью, сидели мы у Сталина на даче. Он под влиянием донесений, неизвестных членам ЦК партии, вдруг проявил тревогу: сгущаются военные тучи над Болгарией, американцы через посредство турок готовят на нее нападение. И сейчас же продиктовал указание болгарским руководителям приехать в Москву. Приехали Червенков, министр обороны Луканов, старый коммунист, прошедший антифранкистскую войну в Испании, закаленный боец. Сталин лично давал им указания, как укрепить болгарские границы. Они сводились к тому, что надо рыть противотанковые траншеи, возводить земляные укрепления. Надиктовал элементарные мероприятия, которые болгары могли сделать и без указаний. Сталин считал обстановку предвоенной и создавал соответствующий политический накал.

Наоборот, февральские события 1948 года в Чехословакии, когда там к власти пришел рабочий класс, припугнули Англию, Францию и США. Западная Германия тогда еще не влияла на международную политику, будучи оккупированной и подчиняясь диктату оккупантов, которые проводили политику агрессивную. Почти непрерывно над Восточной Германией и Чехословакией летали их разведывательные самолеты, особенно в пограничной зоне. Такие полеты продолжались и после смерти Сталина. Затем стали облетывать территорию Болгарии и Советского Союза, нарушали нашу границу на Балтийском море и других морях, укрепили свои позиции в Турции, потому что с Турцией СССР испортил отношения, предъявляя ей при Сталине претензии. Эта линия толкнула турок в объятия США. Американские разведчики вплотную действовали возле советского Закавказья. Какая-то их псевдонаучная экспедиция, якобы искавшая следы Ноева ковчега, изучала подступы к Армении у горы Арарат.

Кроме того, США вели за собой еще и Иран. Там тоже располагались их базы. Иран опасался нас не меньше, чем Турция, поскольку Сталин принял меры по дестабилизации иранского Азербайджана (там проживает больше азербайджанцев, чем в советском Азербайджане), чтобы Южный Азербайджан, нам не принадлежавший, как-нибудь присоединить к Северному, советскому. С иранских аэродромов американская

авиация всегда могла нанести удар по СССР. США внедрялись также в Афганистан и Пакистан. На океанах они преобладали своим флотом, подводным и надводным. По тому времени самыми мощными кораблями были авианосцы. Именно авианосцами янки разбили японцев на Тихом океане. Кроме того, пытаясь терроризировать нас на суше, море и в воздухе, США давили на СССР еще и экономически: требовали уплаты за услуги по ленд-лизу, не торговали с нами сами и не позволяли другим.

Все это еще больше пугало Сталина. И я считаю правильным, что он форсировал усилия к созданию нашей атомной бомбы. И мы ее создали. Этим вопросом занимался от Политбюро Берия, а непосредственно делом руководил Ванников. Его министерство ведало проблемами атомной энергии. Наши ученые успешно справились с изготовлением атомных бомб. К тому же некоторую помощь мы получили через своих разведчиков за границей, вышедших на тех зарубежных ученых, которые сочувствовали нам и решили оказать нам содействие во имя противостояния США как мировому жандарму. Однако, даже имея атомную бомбу, мы не стали наравне с США. Нам недоставало бомбоносителей. Советская бомбардировочная авиация была тогда значительно слабее, чем у американцев с их «воздушными крепостями», которые летали на дальние расстояния и могли бомбить и ночью, и днем. Свою атомную бомбу мы взорвали на земле как модель. Других таких бомб имели сначала лишь несколько штук. А США уже накопили их десятки. Поэтому прямой военный конфликт с их применением не сулил СССР ничего хорошего. Пока мы не могли достать США с воздуха, следовало шире использовать моря. И Сталин поставил задачу строительства большого количества крейсеров. Мы мечтали и об авианосцах, но они оставались нам пока технически недоступными. Крейсера должны были дополняться большим количеством эсминцев и подводных лодок.

Была намечена широкая программа подготовки кадров. Призывали в ряды ВМФ студентов старших курсов, также лиц, окончивших вузы, и посылали их в военно-морские академии и училища. Готовили специалистов всех категорий, нужных для флота. Наши военные руководители той поры доказывали, что без сильного флота противостоять в будущей войне США мы не сумеем. Флот СССР мог решать не столько наступательные, сколько оборонительные задачи, не позволяя вражеским войскам десантироваться на советской территории и не допуская его корабли в глубь нашей акватории. К сожалению, строительство могучего ВМФ требовало особенно больших затрат и истощало страну. Каких-то конкретных сведений о мероприятиях этого рода я в ту пору не имел. И хотя являлся членом Политбюро, даже не рисковал задавать соответствующую

шие вопросы. Такие проблемы Сталин замыкал на себя лично и не позволял большинству лиц из своего непосредственного окружения интересоваться состоянием Вооруженных Сил. Он считал все это своей привилегией, и любой интерес, проявленный кем-либо из нас к тому или иному виду вооружения, вызывал у него подозрение: Сталин свободно мог посчитать каждого из нас за вражеского агента и заявить, что ты вот завербован империалистами.

Вспоминая сегодня, 1 июня 1971 года, те дни, вынужден честно заявить, что мы получили после смерти Сталина тяжелое наследство. Страна была разорена. Руководство ею, сложившееся при Сталине, было, если так можно выразиться, нехорошим. Собрались в кучу разношерстные люди. Тут и неспособный к новациям Молотов, и опасный для всех Берия, и перекасти-поле Маленков, и слепой исполнитель сталинской воли Каганович. В лагерях сидело 10 миллионов человек. Тюрьмы были переполнены. Имелась даже особая тюрьма для партийного актива, которую создал по специальному заданию Сталина Маленков. В международной обстановке не виделось просвета, шла вовсю «холодная война». Нагрузка на советский народ от примата военного производства была невероятной. А снижать ее не приходилось, ибо уже появилась дополнительно проблема отставания военной авиации.

Американцы имели Б-29, лучший самолет второй мировой войны. Мы скопировали его, создав ТУ-4. Но это была уже устаревшая марка, а американцы ушли вперед. Правда, мы запустили в производство реактивные самолеты МИГ-9, МИГ-15 и ЛА-15, легкий фронтовой бомбардировщик ИЛ-28. Однако они являлись средствами защиты, а средств дальнего авиационного нападения у нас не было. По-настоящему мы не могли тогда угрожать даже чужим базам, которые расположились вокруг Советского Союза. Корейская война показала, что МИГ-15 по скорости отстает от американского истребителя. Наш народ, уставший от войны и изголодавшийся, нуждался в том, чтобы его накормили, одели и удовлетворили другие бытовые потребности. К сожалению, промышленный потенциал СССР уступал американскому, а ведь он — главное в войне. Современная война — война моторов, электронной техники, умов ученых. Кто лучше и быстрее создаст новые виды вооружения? Мы пока уступали потенциальному противнику. Не все, как надо, понимали и те наши руководящие военные кадры, которые подобрались вокруг тогдашнего министра вооруженных сил Булганина, практически невоенного человека, которому Сталин присвоил маршальское звание, не знаю, за что. Мне, например, Булганин не внушал уверенности в этом качестве. А Сталин прочил его в дальнейшем на должность главы правительства. Это

уже несколько иной аспект работы. Помню, как Сталин при нас рассуждал на этот счет: «Кого после меня назначим Председателем Совета Министров СССР? Берия? Нет, он не русский, а грузин. Хрущева? Нет, он рабочий, нужно кого-нибудь поинтеллигентнее. Маленкова? Нет, он умеет только ходить на чужом поводке. Кагановича? Нет, он не русский, а еврей. Молотова? Нет, уже устарел, не потянет. Ворошилова? Нет, по масштабу слаб. Сабуров? Первухин? Эти годятся на вторые роли. Остается один Булганин». Естественно, никто не вмешивался в его размышления вслух. Все молчали.

Между тем СССР был доведен до предела беспрестанными капиталовложениями в оборону страны. Военная промышленность развивалась и вширь, и вглубь. Многочисленная армия давила на бюджет. Она стоила огромных материальных средств. Отвлекались бесчисленные людские ресурсы, которые могли быть использованы для развития мирной экономики. На Западе это видели и еще интенсивнее разворачивали гонку вооружений, чтобы лошадь советской экономики не выдержала этой гонки и сдохла сама по себе. Запад надеялся также вызвать недовольство наших людей, которое приведет к внутреннему ослаблению социалистического строя. Получалось нагнетание сложностей с обеих сторон. Советская Армия вынужденно продолжала расти. Только в ГДР, на этом социалистическом аванпосту, мы имели около миллиона наших военнослужащих. Потом мы, сокращая наши Вооруженные Силы, довели их в ГДР до полумиллиона. На большее не рискнули, учитывая наличие американских, английских и французских войск в Западной Германии. Вообще же поначалу мы после смерти Сталина по-настоящему к военным делам не подступались.

Не до того было. Имели забот полон рот в связи с внутренним положением СССР. В первую очередь нас беспокоило состояние сельского хозяйства. Хлеба и мяса не хватало, масла просто не было. Да и развитие промышленности нельзя было сбрасывать со счетов. Ведь без дальнейшей индустриализации страны мы обрекали себя на отсталость и в экономическом, и в военном отношении. К счастью, советский народ-труженик понимал обстановку и поддерживал внешнюю и внутреннюю политику КПСС. Свое первое настоящее вмешательство в военные дела я датирую 1954 годом, когда, возвращаясь из поездки в Китай, наша делегация прибыла во Владивосток. Там мы хотели ознакомиться с состоянием Тихоокеанского флота и заслушать его командующего о готовности к обороне Владивостока, если там вспыхнут военные действия. Позвонили в Москву, чтобы во Владивосток прибыл Кузнецов, замешавший министра обороны СССР. Его мы вернули из опалы. Он был наказан Сталиным и

понижен в звании. Мы считали это несправедливым, поскольку Кузнецов пострадал по сталинскому произволу.

Теперь он предложил нам программу осмотра и приготовил небольшое учение на море. А мы на крейсере, выйдя в определенный район, станем наблюдать ход морского боя с участием подводных лодок и торпедных катеров, а также сил береговой охраны. Далеко в океан мы не заплывали, шли вдоль берега. Там я впервые конкретно увидел, что такое морской бой. «Синие» (противная сторона) напали на наш крейсер. Сначала нас атаковали подводные лодки, и предполагалось, что мы не знаем их месторасположения. Видимо, командир крейсера действительно этого не знал. Кузнецов же знал, потому что сам утверждал план боя. Подводные лодки выпустили торпеды. Они прошли мимо цели кроме одной, которая «попала» в крейсер и «потопила» нас. Потом нас атаковали торпедные катера. Они на меня произвели удручающее впечатление: много шума, много дыма, но ни одна из торпед не поразила цель, хотя атака велась с близкого расстояния. В натуральном бою катера понесли бы большие потери. Зато моряки были в восторге от учения. Наконец, мы проплыли мимо корабля, лежавшего на боку (остаток войны либо шторма), и сами стреляли по нему. Лучше прошли учения в Порт-Артуре, где нам тоже продемонстрировали стрельбы. Я не сомневался в принципе, что моряки имели хорошую квалификацию и владели своим оружием. Главное, чтобы оно отвечало современному уровню.

Но в целом от всего этого веяло стариной. Я уже видел к тому времени ракетноносцы: ракеты с самолета неслись на корабли Черноморского флота, попадания были точнее и произвели на нас очень сильное впечатление, особенно мощь взрыва. С первой же ракеты цель была «потоплена». А когда теперь стреляли из пушек и пускали торпеды, я, отдавая должное старому оружию, понимал и все его недостатки. Иное дело — самолеты-ракетноносцы, которые могут действовать и на море, и для охраны берегов лучше артиллерии. Свои выводы сделали и из осмотра стоянок военных кораблей в бухте Золотой Рог и в Порт-Артуре. Последняя все еще соответствовала новейшим требованиям, и я не мог понять, каким же должно было оказаться ротозейство в 1904 году, когда там была беспрепятственно атакована японцами 1-я Дальневосточная эскадра России. Да и от Владивостока сложилось такое впечатление, что это идеальная бухта, хорошо защищающая от штормов и обеспечивающая спокойную стоянку кораблей.

Но я тут же сказал военным: «Совершенно недопустимо держать сейчас военные корабли в этой бухте, пригодной для мирного времени. Прежде Военно-Морской Флот не имел такого опасного противника, как авиа-

ция, и эту бухту легко было защищать от врага. Теперь она с воздуха беззащитна и, наоборот, превращается в ловушку для кораблей, которых может тут ожидать судьба Пёрл-Харбора. Надо срочно вывести отсюда корабли и найти им стоянку где-нибудь в бухтах на островах, чтобы корабли имели маневр, потому что здесь они заперты и не смогут отсюда выйти, если внезапно начнется война».

Поехали на Курильские острова. Посмотрели и там военные учения и береговые стрельбы. Очень нам понравились люди. Молодежь знала свое дело и стреляла хорошо. Что касается базы во Владивостоке, то предстояло ее расположить в другом месте. Выбор поручили Кузнецову. Начали готовиться к переезду. Это требовало больших работ для обеспечения причалов, стоянок, оборудования жилья, а также крупных затрат, но они были необходимы. Защищать Владивосток по старинке казалось немыслимым. Тут впервые начал утрачивать в моих глазах свой авторитет адмирал Кузнецов, как-то не схватывавший требований новой эпохи, хотя он был человеком еще не старым.

Из Владивостока мы поехали в Николаевск, расположенный впадении Амура в Охотское море. Там предполагалось возвести военно-строительный завод. У меня зародилось сомнение. В Николаевске? В столь необжитом районе возводить завод, который легко выведут из строя во время войны? Его трудно защищать. Кроме того, требуются крупные капиталовложения, надо будет провести туда железную дорогу. В Николаевск уже завезли материалы и металл для конструкций. Это Сталин принимал решение о новом заводе. Обсудив детали замысла, мы решили, что лучше заложить необходимые нам корабли в обжитом месте.

Оттуда на эсминце отправились на Южный Сахалин по очень бурному морю. Штормило, качало, одного матроса волной смыло с нашего корабля. Я качку переношу хорошо и на проделки морского царя реагировал спокойно. Город Южно-Сахалинск понравился мне своим ласковым солнцем, хотя нам объясняли, что произошло совпадение. Мы осмотрели рыбную базу. Она находилась в плачевном состоянии. СССР не имел плавающих мощностей для переработки улова. Все перевозилось на берег, разгружалось и отправлялось на переработку. Рыба за это время портилась, ее выбрасывали в море или скармливали свиньям. Потом такая свинина резко пахла рыбой. Все дороги и подъезды к пристаням были ужасными. Мы еле-еле карабкались там на машинах. Оборудования не хватало. Но кого винить? До Южно-Сахалинска руки не доходили, у страны оставались более глубокие раны, нанесенные войной.

Показали нам и войска Дальневосточного военного округа. Мы остановились у начальника Управления боевой и физической подготовки ге-

нерала Труфанова, хорошо знакомого мне по Сталинградской битве. А от туда поехали в районный центр на сельскохозяйственную научную станцию. Нас интересовало, как организовать получше производство продуктов, которые посылались в Южно-Сахалинск, особенно выращивание картофеля. Картофель и овощи завозились туда с материка, хотя природные условия там прекрасные. Мне Южно-Сахалинск показался чем-то похожим на Украину: яркое солнце, щедрая земля, богатая дикая растительность. Тут только приложить руки, завезти людей и заинтересовать их в деле, а потом станет там житье не хуже, чем во многих районах Советского Союза. Во Владивосток мы возвращались самолетом, но Микоян остался в Южно-Сахалинске. Он занимался тогда проблемами торговли и сказал: «Хочу тут еще разобраться, как и что нужно сделать, чтобы обеспечить население продуктами питания». В целом пребывание на Дальнем Востоке натолкнуло на мысль, что оборона страны находится не совсем в таком положении, как хотелось бы. Следовало подумать, как повысить обороноспособность СССР. Резко изменилась степень доверия руководства к адмиралу Кузнецову. Выходило, что мы его переоценивали. Хотя мы поступили правильно, отменив дискриминацию, которой подверг его Сталин, но тогда Кузнецов пострадал за другое. А сейчас у меня возникли опасения, которые спустя некоторое время разрослись и окончательно подорвали наше доверие к адмиралу, поскольку встал вопрос о создании системы обороны на принципиально новом уровне.

Кузнецов внес в ЦК партии записку с конкретными предложениями о дальнейшем строительстве Военно-Морского Флота. Затребованная сумма составляла 110—130 млрд рублей на 10 лет. По тому времени она представлялась колоссальной. Нам надо было хорошенько подумать, чтобы решить вопрос безошибочно. Записку разослали, кому положено, и мы поставили вопрос на Президиуме ЦК. Пригласили туда Кузнецова и других военных. Предусматривалось дальнейшее строительство крейсеров, эсминцев и подводных лодок. Главную линию составляли крейсера, а вообще отдавалось предпочтение надводному флоту. Кое-кто засомневался, и я предложил: «Давайте этот вопрос сегодня не решать, перенесем его на следующее заседание (мы заседали еженедельно), чтобы члены Президиума могли глубже ознакомиться с предложением». Так как этот вопрос был очень крупным, то другие вопросы мы отодвинули еще дальше. Выйдя из своего кабинета в Кремле, я шел по коридору, желая встретиться с теми, кто приходил на заседание. Приглашенные обычно собирались в другом конце здания. Туда из зала вышел Кузнецов, и мы пошли с ним рядом. Я тогда к Кузнецову относился с большим доверием, по моей инициативе его реабилитировали.

Он повел себя очень нервно и обратился с довольно грубой фразой: «До каких пор сохранится такое отношение к Военно-Морскому Флоту?» Я ему: «Не понял. Отношение считаю хорошим». — «Почему же не решается вопрос?» — «Но мы же не отказали, а только перенесли его рассмотрение. Хотим получше изучить предложение, чтобы принять правильное решение». Он возбужденно стал подавать резкие реплики. Потом мы разошлись и каждый, сев в свою машину, направился в нужном направлении. Меня обеспокоили его нервное состояние и такой, я бы сказал, диктаторский подход к делу. Разве то, что он считает, заранее истина и обсуждать тут нечего? То есть руководству остается только утвердить предлагаемое? Это совершенно недопустимо. Здесь видно посягательство на права правительства и Президиума ЦК. Но я перед тем, как сесть в машину, сказал все же: «Потерпите неделю, мы еще раз подробно обсудим вопрос, вникнем в суть дела и разберемся с ним».

Спустя неделю на очередном заседании мы вернулись к данному вопросу. Его постановка Кузнецовым представлялась мне неправильной: не решались новые задачи обороны страны, зато требовались затраты колоссальных средств. И я обратился к адмиралу: «Товарищ Кузнецов, давайте отвлечемся от сегодняшних условий. Если бы мы вам сейчас могли бы выложить все те корабли, какие вы просите, то какое бы место по ним занял СССР среди наиболее вероятных противников? В сравнении, например, с США и Англией? Мы смогли бы противостоять на море их объединенным силам?» — «Нет, — отвечает, — мы бы им значительно уступали». Он ответил честно. «Но тогда какой же смысл тратить эти средства? Мы через 10 лет получим заказанные вами корабли, однако даже сейчас они оказались бы слабее. А через 10 лет станем, значит, еще слабее. Ведь США и Англия развивают свой флот и вместе имеют больше возможностей, и материальных, и денежных. В результате мы и средства затратим, и не решим задачи обороны СССР».

Все начали поочередно высказываться. Когда пришла пора сделать заключение, руководство в результате сочло предложенное направление развития вооружения неправильным. Нам требовалось в кратчайший срок преодолеть отставание. СССР был обложен базами США и полностью накрывался его бомбардировщиками. Противник превосходил нас и в численности, и в качестве боевой техники. А ВМФ для нас не был решающим, не то что для Англии. Она — островное государство, без ВМФ не может ни наступать, ни обороняться, полностью зависит от подвоза сырья с континента, ей требуется обеспечивать морские коммуникации. США без надводного флота не могут держать свои войска на Европейском континенте. Им нужно перебрасывать живую силу, боепитание и прочее.

Я предложил: «Давайте отложим решение о немедленном строительстве нового Военно-Морского Флота и еще раз подумаем. Видимо, в первую очередь нам следует решить проблемы авиации, создавая такие же самолеты, какие имеет наш вероятный противник». На ракеты мы тогда еще не могли по-настоящему опереться и поэтому называли Военно-Воздушный Флот главным оружием. Все согласились. Но Кузнецов буквально кипел и после этого заседания стал вести пропаганду против такого решения, дискредитируя новое руководство СССР. Он, невзирая ни на что, поддерживал линию Сталина насчет первоочередного строительства ВМФ, хотя Сталин принял эту программу без Кузнецова, когда тот был уже отстранен от командования. Стало быть, отраслевая принадлежность затуманила адмиралу глаза и мешала правильно видеть дело. Потом выяснилось, что программа Сталину была навеяна Кузнецовым в ту пору, когда он еще пользовался большим доверием у Сталина. Человека тогда сместили, а его линия продолжала свой путь.

У нас сложилось впечатление, что Кузнецов решил, что раз Сталина нет, то с существующим руководством можно всерьез не считаться. Это нас возмутило. Мы вынуждены были принять решение об освобождении его от обязанностей главнокомандующего ВМФ и лишения его высшего воинского звания. Потом Малиновский говорил мне, что военные переживали за Кузнецова, потому что звание он получил давно и был активным участником войны против гитлеровской Германии и Японии. Лично мне Кузнецов нравился, я уважал его за смелость при докладах Сталину и реалистичность. Но, когда жизнь нас столкнула вплотную, пришлось интересы дела поставить выше приязни. Даже сейчас, после того как прошло немало лет, полагаю, что наше решение тогда было неизбежным, как по существу (во имя интересов страны), так и по форме (чтобы дать почувствовать некоторым строптивым военным недопустимость бонапартовских настроений).

Позднее Кузнецов написал воспоминания о войне. Они у меня лежали, но я их не стал читать, потому что после ознакомления со множеством подобных мемуаров пришел к выводу, что с большинством военных мемуаров надо спорить, а на меня это производит тяжелое впечатление, и я сильно переживаю свое несогласие, если встречаю вранье и не имею возможности оспорить его. Особенно в случаях, когда военные подхалимничают перед сталинскими штанами.

Отказавшись от программы Кузнецова, мы все больше внимания обращали на ВВС, особенно бомбардировщики. Ильюшин сконструировал реактивный двухмоторный бомбардировщик. Не стратегический, а фронтовой. Артем Микоян и Гуревич создали реактивный МИГ-15. Он

использовался как наш лучший послевоенный истребитель и в Корейской войне показал на первых порах свое превосходство над истребителями американских марок, но продержался недолго. Американцы быстро запустили в строй самолеты с большей скоростью и стали бить наши истребители, безнаказанно врываются в воздушное пространство Северной Кореи. Позднее появились МИГ-17, МИГ-19 и сверхзвуковой МИГ-21. Туполев сконструировал бомбардировщик ТУ-4, потом дальний бомбардировщик ТУ-16. Однако у него имелся также ТУ-95. Мы обсуждали этот вопрос с Андреем Николаевичем, я к нему относился с доверием и глубоким уважением. Он сказал, что самолет, какой нам требуется, сейчас не сможет создать, поскольку самолетостроительная наука этого пока не позволяет. Добавлю, что, когда Сталин потребовал от Туполева в свое время построить бомбардировщик, отвечавший задаче бомбежки территории США, Туполев прямо отказался. «Я такой самолет не могу построить», — сказал он. Это делает ему честь, хотя он сидел в заключении за свою смелость. Тем не менее не брался за невозможное.

Сталин привлек к самостоятельной работе Мясиева, одного из учеников Туполева, очень деятельного инженера. Он создавал разные модели, но желательная тоже оказалась не отвечающей своему назначению, ибо долетала до США, а вернуться еще не могла. Тут Мясиев выдвинул идею: сбросив бомбы на США, сесть в Мексике. Мы ответили шуткой: «Мексика — не наша теща, сесть там означает в лучшем случае лишиться самолета». Идея была подмоченной, не давала уверенности в успехе и требовала больших затрат на реализацию. Начались испытания его модели. Проходили неудачно, несколько летчиков погибло, и у летного состава возникло недоверие к его самолету. Требовалось искать другое решение. Но какое?

Правда, уже тогда началось строительство ракет. Занимался этим знаменитый Королев. Я постоянно вспоминаю Сергея Павловича как человека, который вывел нашу страну в космос. Когда стало очевидно, что бомбардировщик Мясиева не обеспечивает контрудара по США, осталась надежда только на ракеты. Я с большим уважением относился к Мясиеву. Но и он не смог осуществить невозможное. Откликнулся с предложением именно насчет боевой дальней ракеты талантливый Лавочкин. Истребители Лавочкина летчики полюбили во время войны. Вскоре после нее он взялся за создание ракеты. Она получилась сложной: самолет поднимался ракетой-носителем на определенную высоту, потом отделялся и летел дальше на реактивном двигателе. Идея получила шифр «Буря». Довести ее до полного ума не удалось.

Чтобы достать Англию, мы имели ракету Королева Р-5. А как добрать-

ся до Америки? Зенитные ракеты Лавочкина были установлены на московском кольце противовоздушной обороны. Но это ведь совсем другое. Мой сын Сергей пошел работать к Челомею, но его ракеты появились позднее. Очень большие средства, замечу попутно, затратили на то, чтобы защитить Москву ракетным поясом, чтобы противник не прорвался к столице. Позднее вместо стационарных ракет, требующих большого времени на подготовку к запуску, мы создали подвижные комплексы, которые легче рассредоточить, так что вражеским разведчикам труднее установить, где они находятся. Строительство кольца ПВО сразу же всем открылось. Иностранцы, пролетая на пассажирских самолетах, видели все с воздуха, хотя мы и маскировали его, как только могли. Я и сам, когда летал, многократно видел с воздуха и установки, и дороги к ним.

Потом приняли решение о создании такой же обороны вокруг Ленинграда. Когда появились подвижные установки зенитных ракет, мы отказались от строительства ленинградского кольца ПВО. Но как все же нам быть? При жизни Сталина я Королева лично не знал. Познакомились мы с ним, когда его ракета находилась на выходе. Тогда Устинов доложил мне, что конструктор Королев приглашает посмотреть на его баллистическую ракету. Мы решили поехать туда всем составом Президиума ЦК партии. На заводе нам показали эту ракету. Честно говоря, руководство страны смотрело тогда на нее как баран на новые ворота. В нашем сознании еще не сложилось понимание того, что вот эта сигарообразная огромная труба может куда-то полететь и кого-то поразить взрывным ударом. Королев нам объяснял, как она летает, чего может достичь. А мы ходили вокруг нее, как крестьяне на базаре при покупке ситца: шупали, дергали на крепость, чуть ли не лизали. Могут сказать, вот какие собрались невежды в техническом отношении. Увы, в те месяцы подобными невеждами оказывались не только мы, но и все люди, впервые сталкивавшиеся с ракетной техникой.

Руководство прониклось доверием к Королеву. Он сказал, что дальность полета той его ракеты составляла примерно 7 тыс. километров. Это нас устраивало, потому что значительная часть территории США накрывалась ею. Конечно, мы не собирались, получив такую ракету, начать войну. Мы только хотели пригрозить своей ракетой в ответ, если США задумают напасть на нас. Они проводили тогда крайне агрессивную политику. Королев запустил свою ракету. Он назвал ее «семеркой». Она взлетела удачно, хотя первый экземпляр взорвался. В дальнейшем аварии случались нередко, и на земле, и при взлете, но обходилось без жертв. Без аварий новая техника редко пробивается в жизнь. Приходится даже сознательно идти иной раз на неизбежные жертвы. Наконец, Коро-

лев очень хорошо справился со своей задачей. Ракета стала летать надежно, и мы в 1957 году запустили в космос искусственный спутник Земли. Весь мир восторженно встретил эти полеты радостно и с восхищением, а кто ужаснулся, что мы вышли на такой технический уровень. Наши ракеты привели США в трепет. Теперь СССР стал способен перебросить через океан ядерную бомбу ракетой, в то время неуязвимой. Некогда я, выступая, говорил на публику, что мы создали противоракетную ракету, которая может попасть в муху. Ну, это просто красивая фраза. Я ею воспользовался в ходе полемики, чтобы отрезвить наших противников и продемонстрировать, что мы вооружены ракетами и как средствами нападения, и как средствами защиты. Теоретически перехват ракет возможен. Происходит ведь в космосе стыковка ракет, следовательно, и ракета ракете может поразить, если поставить заряд. Но это трудная задача. А в те годы еще не имелось ракет дальнего действия и о средствах их истребления пока не думали.

У правительства СССР запуск ракеты Сергея Павловича Королева вызвал вздох облегчения. Правда, сразу же проблема обороны нашей страны не была решена. У нас имелось слишком мало ракет, и они были чересчур дорогими. Мы изготавливали их лабораторным способом, в мастерских. Серийное производство не было налажено. Кроме того, подготовка ракеты к пуску в боевых условиях требовала много времени. Поэтому «семерка» и не стала в дальнейшем боевой ракетой. Ее запуск осложнялся тем, что перед стартом требовалось установить устройство, которое направило бы ее на цель. А чтобы обеспечить точность попадания, требовались установки наведения на расстояние в 500 км от стартовой позиции.

«Семерка» запускалась со столообразного старта. Я поставил задачу перед Сергеем Павловичем: «Если наступит кризисный момент, когда нам придется использовать ракеты, то противник не оставит нам времени на подготовку. Нельзя ли что-нибудь сделать, чтобы ракета заранее находилась в подготовленном состоянии?» — «Нет, пока мы это сделать не можем», — ответил он. Секрет заключался и в том, на каком горючем действуют ракеты. Мы запускали их на керосине и кислороде, американцы — водороде и кислороде. К водороду специалисты относятся по-разному, но все же у него теплотворная способность выше и поэтому, казалось бы, он лучше. Однако у нас техника еще не была подготовлена к выработке водорода нужных кондиций. Свою мысль о необходимости держать ракеты в готовности я высказал и другим лицам. Она дошла через Устинова до Янгеля. Янгель тогда еще не находился на большой высоте. Но спустя какое-то время Устинов доложил, что Янгель берется сделать ракету моментального действия на кислоте, которая будет стоять на боевом взводе.

Я ухватился за это предложение. Вот как раз то, без чего мы не сможем обеспечить оборону СССР! Правда, кислота разъедает баки, и ракета долго не простоит заполненной. На заправку тоже нужно время, а его нам противник мог и не дать. «Мы пойдем на расходы по замене баков, — сказал я. — Сколько времени простоит ракета, пока кислота не разъест металл? Станем выбрасывать баки и ставить новые, это все равно оправдывает себя». Когда Янгель сообщил о том, как он считает возможным решить задачу постановки ракеты на боевой взвод, Королев вскоре узнал об этом. Он считал себя ведущим в ракетостроении. И вдруг за решение проблемы, от которой он отказался, берется еще не признанный конструктор? И Королев встретился со мной: «Прошу отдать эту ракету мне, — сказал он, — я сделаю ее на кислоте, и она будет стоять на боевом взводе даже без дополнительных направляющих устройств, которые выносятся за 500 километров от ракеты». — «Очень хорошо, делайте, — ответил я, — но только кислородную, то есть вашу же улучшенную ракету. А передать Вам ракету на кислоте, которую предложил Янгель, ему будет в обиду. Вы отказались, Янгель взялся за дело, а теперь Вы хотите все забрать в свои руки. Это невозможно. Ведь идея родилась в его бюро, пусть он и решает свою проблему. Начнется соревнование: Вы станете готовить на кислороде ракету моментального действия, а он — на кислоте».

Королев был человеком волевым, по выражению его лица было видно, что мои слова ему очень не понравились. Но он умный человек, понимал, что я говорю правильно, и согласился. Так начала решаться проблема создания боевых ракет дальнего действия, межконтинентальных. Но пока что имелись ракеты только у Королева, а у Янгеля — одни идеи. Зато сдвинулись дела у Лавочкина. Он вскоре доложил, что его сложная ракета готова к испытаниям. Потом мы узнали, что подобным же путем шли и США. Очевидно, общая мысль выработалась из научных данных, которыми пользовались все конструкторы и ученые. Не думаю, что тут был результат шпионажа. К сожалению, ракета Лавочкина уступала по боевым качествам королевской. Затем предложил соответствующие услуги и Мясищев. Его ракета называлась «Буря». Правда, он выступил со своим предложением, когда мы уже поверили в ракету Королева и считали именно ее нашим будущим оружием межконтинентального действия. Тем самым мы отказывались от создания дальних бомбардировщиков и предложили закрыть работу над ними, остановившись на том их количестве, которое уже имелось. Эти несколько штук участвовали в нашем воздушном параде. На Западе их окрестили «Бизон». Увы, нас «Бизон» не удовлетворял.

И было отдано предпочтение тому, чтобы решать проблему создания межконтинентальной ракеты четырьмя конструкторскими бюро сразу: у

одного не удастся, так у другого получится, а мы возьмем возможность выбора наиболее удачного решения, чтобы затем организовать массовое производство межконтинентальных ракет. Когда же Королев доказал преимущества своей ракеты, мы закрыли ради сокращения расходов все другие идентичные работы, находившиеся еще в начальной стадии. Ведь конструкторские бюро очень прожорливы и потребляют огромное количество народных средств. Иной эксперимент стоит миллиарды. Пришлось, в частности, прикрыть и разработку «Бурана». Мясищев сильно переживал. У него получилась неудача с дальним бомбардировщиком, а теперь ему закрывают ракету. Возможно, он изготовил бы ее, но нам не было смысла тратить время и средства, когда мы уже получили ракету Королева. Увы, мы теряли порой не только средства, а и гораздо более дорогое достояние: скончался безвременно Лавочкин, гениальный конструктор, чьи заслуги перед Родиной еще не обрели в литературе полного освещения.

Расскажу и о следующем примере поиска обеспечения обороны СССР. Сталин в свое время принял решение о создании подземного завода для производства атомных бомб. Потом предложили переделать его в завод по сборке ракет, которых, собственно говоря, пока не существовало, если не считать Р-5. Строительство велось в Сибири, наполовину завод был сооружен. И я попросил в Президиуме ЦК разрешения слетать в Сибирь, чтобы на месте познакомиться с ходом работ. Во время войны я был большим сторонником подземных заводов и, работая на Украине, написал соответствующую докладную Сталину, предложив предусмотреть в проектах новых угольных шахт там, где есть мощные пласты, побочно решать, вынимая уголь, задачу создания подземных заводов. Особенно на шахтах, подобных Светлице, заложенной в Подмосковном бассейне. В ней, как мне казалось, имелись идеальные условия для подземного завода. Да и в других местах, извлекая полезные ископаемые, можно закрепить выработки бетоном и превратить это место в военные мастерские.

Гитлер тоже использовал подземные заводы, причем довольно широко. Его опыт наложил отпечаток на нас. Приехав в Сибирь, я с местными руководителями осмотрел подземное сооружение из гранита, прочное и хорошее. Но оно оказалось мало для современного производства. Да иначе и быть не могло: в граните вырезать целый завод! Но самое главное, я увидел, что он не решит проблемы. Как мыслилось его использование? Производить во время войны ракеты? «Эта идея совершенно несостоятельна, — сказал я. — Если начнется ракетно-ядерная война, то она будет войной моментального действия. Зачем нам рассчитывать на длительное

время, которое требуется для производства ракет? У нас будут разрушены все заводы, поставляющие комплектующие детали. Здесь-то предусмотрена только сборка. Нам нужны агрегаты, приборы, их тысячи. А транспорт выйдет из строя, и вы будете обречены. Можно проиграть будущую войну буквально за несколько дней. Даже если продолжать ее в виде партизанских действий, то завод все равно выйдет из строя. Идея подземного завода несостоятельна, она работает на истощение средств, но не решает задачу. Мы ухлопаем зря деньги, однако не будем иметь уверенность, что обеспечили оборону страны. А сколько может такой завод изготовить ракет за год?» Мне назвали цифру. Тут я продолжил: «Нам надо гораздо больше. Даже сотни ракет не решают задачи. Проблема становится неразрешимой. Придется искать другое решение».

Строительством этого завода занимался Ванников по линии Министерства среднего машиностроения. Уже была затрачена половина отпущенных средств, примерно три миллиарда рублей из шести (в старых ценах). «Это брошенные деньги, — сказал я, — а как Вы считаете, товарищ Ванников?» Ванников был умным человеком. Он улыбнулся и согласился. Я даже опешил: «Так зачем же...» — «Мы, — говорит, — не лезли в это дело, то была идея Сталина». И тогда я предложил: «Давайте используем несколько заводов, которые делают истребители (а они стоят ближе всего по изготовлению к корпусу ракеты), и переведем их на изготовление ракет. Под изготовление приборов для них тоже выделим заводы и сделаем это срочно, оборона не терпит отлагательств, нельзя повторять наше ротозейство перед Великой Отечественной войной».

Обсудили вопрос в ЦК партии, никто не возражал. После этого поручили разработать конкретные предложения. Были определены под новое дело авиазаводы истребителей и бомбардировщиков, крупнейшие предприятия. Теперь изготовление ракет и их запуск, в первую очередь королёвских, все более совершенствовались. Крепла уверенность, что ракеты — единственно верный путь к надежной обороне СССР. Конечно, вместе с водородными бомбами, которые накапливались. Экспериментальные взрывы давали нам возможность с каждым новым взрывом удешевлять стоимость заряда, что, в свою очередь, позволяло из того же количества материала делать больше зарядов. Ученые же добивались достижения большей силы взрыва. А мы сумели создать заряды разных мощностей. Я очень много внимания, времени и энергии уделял тогда совершенствованию вооруженных сил. Конечно, как организатор, а не как специалист. Руководству важно своевременно прислушаться, услышать нужное, поддержать здоровую мысль и правильно нацелить людей.

В качестве примера приведу такой случай. Боевые ракеты сначала сто-

яли, как свечки, ожидая момента, когда придет им время действовать. Но противник мог нанести удар первым. Один заряд, попавший в район расположения ракетных войск (а ракеты располагались группами), мог взрывной волной все завалить, вывести из строя и лишить нас возможности ответного удара. Я реально представлял себе условия запуска. Еще при Сталине не раз видел снимки результатов испытаний атомного оружия и все ужасы, которые они приносят. Конечно, поражали животных — собак, овец, которых располагали в траншеях на различных расстояниях от места взрыва. Страшная картина! Больно было потом смотреть на этих животных. Я уже не говорю о материальных разрушениях. Там ставили и танки, и самолеты, и различные сооружения, проверяя, на какой дистанции действует взрыв. Как рабочий шахт и участник строительства метро, я конкретно знал горные работы. И у меня зародилась мысль поставить ракету в шахту. Если мы прокопаем колодцы, потом эти шахтные стволы оборудуем и поставим ракеты в бетон, то они находились бы в закрытых помещениях с крышкой. Это улучшает хранение их при любой погоде. Если на такой район нападет противник, то для разрушения ракеты понадобится только прямое попадание, что маловероятно.

Я попросил конструкторов подумать над данной схемой. Потом они мне доложили, что такое невозможно. Я удивился. Мне-то казалось, что идея не только реализуема, но и должна их заинтересовать. И я не был до конца уверен, что они решили правильно. Когда Янгель заявил, что может создать ракету, в которой окислителем будет не кислород, а кислота, я отдыхал на юге. Мы встретились с ним на берегу Черного моря. Там я ему и высказал свои соображения: «Товарищ Янгель, специалисты считают ракету в шахте нереализуемой. Но я попрошу Вас как конструктора подумать. Пусть специалисты Вашего конструкторского бюро ответят, можно ли в шахту поставить металлическую гильзу определенного диаметра и с зазором, чтобы в эту гильзу поместить ракету. Между гильзой и стенкой останется зазор, чтобы газ после запуска ракеты, ударившись в дно шахты, вышел через зазор и, обтекая гильзу, вытек наружу».

Я полагал, что шахта поспособствует выталкиванию ракеты. «Смотрите, — показывал я, взяв два стакана разного диаметра. — Мы закладываем один в другой с расчетным зазором, который потребуется для того, чтобы газы не разрушали ракету и имели выход наружу, обтекая рубашку». Янгель тут же сказал: «Не понимаю, почему мои коллеги отказались от этой мысли. Она мне нравится».

Правда, тут была не его область техники. Данное направление возглавлял Бармин. Он доныне продолжает свою полезную деятельность. Но тогда Бар-

мин отказался от моей идеи. Однажды мой сын Сергей, инженер, имевший отношение к ракетам и по роду работы бывавший на их испытаниях, узнал от меня о моей идее. Мы с ним часто обсуждали этот вопрос. Следя за американской литературой, он рассказывал мне, что в одном из журналов США описано устройство шахт для запуска баллистических ракет. Я обрадовался такому совпадению мыслей, но и огорчился. Мы зря потеряли много времени. Я внес верное предложение, а специалисты его не уловили. Тут я вызвал кого следует и сказал: «Вот что получается. Мне сказали, что реализовать мою идею невозможно. Между тем американцы уже встали на этот путь и будут строить шахты». И потребовал немедленно начать разработку вопроса. А горнякам предложил изготовить подходящий бур для высверливания в почве шахтных стволов.

Они толково потрудились. О применении примерно подобных же машин в районе Мушкетово мне докладывал прежде Засядько. И я сослался на его доклад: «Возьмите такие машины, приспособьте их для бурения стволов нужного диаметра и глубины». Когда я работал на 21-й шахте в Донбассе, то там глубина шахтного ствола достигала 250 саженей. Так что я конкретно представлял себе предмет разговора. Тут инженеры признали наконец мою правоту. К сожалению, признали лишь на американском опыте. Уже после моей отставки на строительстве шахт работали сверлами, высверливая ствол, а потом опуская крепление. Меня обрадовало, что мы сможем расположить в большей безопасности ракетно-ядерные средства вооружения, находящиеся на боевом взводе и в любой момент готовые к действию. Даже после нападения на нас какое-то их количество сохранится, и мы окажемся способными на ответный удар.

В ракеты вложил много сил и знаний наш замечательный маршал Неделин, безвременно погибший. Опытный артиллерист, он работал над ядерным оружием от самой закладки идеи и из числа артиллеристов лучше всех знал новое вооружение. Некоторые военные, честные люди и хорошие коммунисты, относились к ракетам без энтузиазма. Когда мы бывали на испытаниях, они смотрели на запуски ракет, морщились и судачили между собой: «Какофония, а не музыка. Артиллерия — вот симфония. Когда ведет огонь ствольная артиллерия, приятно слушать. А тут — черт его знает что: пыль, гам, шум, а что толку?» Не все тогда верно оценивали новый вид оружия. На иных производили отрицательное впечатление несурзные мелочи. Когда запускали ракеты, поднималась масса пыли. Эти люди опасались, что тем самым обнаруживается место старта. Но при запуске из шахты никакой пыли нет, потому что все в бетоне и в металле. Во-вторых, пыль второстепенна. Пушка по выстрелу дает возможность засечь себя на поле боя. А для баллистической ракеты это не имеет особого значения, она запускается на

тысячи километров. Конечно, сейчас летают над землей спутники, они все фотографируют и засекают любое проявление деятельности. Техника позволяет наблюдать за всей территорией врага. Ну и что же? Ракеты-то уже вылетят.

К нашей радости, и Янгель изготовил потом свою ракету, довольно мощную. Это сразу превратило нас в ракетно-ядерную державу. Мы почувствовали, что готовы к ответному удару по любому агрессору. Теперь мы стали политически обыгрывать тот факт, что первыми создали такие ракеты и запустили в космос спутники, стараясь оказывать давление на иностранных милитаристов. У американцев к той поре главным оружием считался дальний бомбардировщик как носитель ядерной бомбы. И они прежде опасались только за базы, где располагались их самолеты — вокруг СССР. Территория же США оставалась неуязвимой. Создав ядерно-ракетное оружие, мы уравнились в возможностях. Еще не по количеству, но по одинаковым возможностям. Сделав упор на форсированное проектирование ракет, проводя успешные их испытания и развернув их производство на бывших авиационных заводах, мы теперь ни в чем морально не уступали США. К тому же сократили затраты на авиацию. Продолжали делать и истребители, и бомбардировщики, но приоритет перешел к ракетам.

Правда, на низких высотах истребительно-бомбардировочная фронтовая авиация может прорваться через ракетные заслоны. Война во Вьетнаме и войны между Израилем и Египтом подтвердили это. Пока техника зенитных средств казалась недостаточно совершенной, от нее отмахнулись. На низких высотах и при больших скоростях локаторы слепы, а когда они обнаруживают цель, остается слишком мало времени для приведения в действие зенитных средств. Потом решили и эту проблему, и армии разных стран вернулись к использованию зенитных скорострельных пушек. В будущем появятся ракетные средства, которые смогут стрелять по самолетам на бреющем полете и на небольших высотах. Но наилучшее решение дела — достичь договоренности между всеми странами о разоружении и всего достигать путем переговоров. Пусть не станет войн! Вот извечная мечта людей.

ВОЕННЫЕ, УЧЕННЫЕ И ОБОРОННАЯ ТЕХНИКА

Рассказав о некоторых аспектах военного строительства в сталинское и послесталинское время, я не исчерпал этой темы. Сейчас хочу продиктовать воспоминания о том, как Сахаров создал водородную бомбу. Талантливый человек, еще очень молодой по возрасту для такого большого дела, он весьма рано проявил свои способности и глубину мышления. Тогда идея водородной бомбы была новой. Таких бомб не имели ни американцы, ни англичане. Правительство СССР приняло все меры, чтобы оказать содействие работе Сахарова и подготовить промышленность к реализации идеи Сахарова, которую воплотили в жизнь советские инженеры, техники, рабочие в начале 50-х годов.

К тому времени мы уже начали планировать договор с США и их союзниками о прекращении гонки вооружений, предложили также прекратить испытания ядерного оружия, чтобы перестать заражать атмосферу, но не получили ответа. Тогда мы решили в одностороннем порядке объявить о прекращении испытаний ядерного оружия и призвали другие страны последовать нашему примеру, сделав полезное дело для всего человечества. Ведь атмосфера — это не национальное и не государственное богатство, а общечеловеческое.

Итак, мы прекратили испытания. Но американцы продолжали взрывать, совершенствуя и накапливая это оружие. Тем временем наши ученые работали над совершенствованием зарядов и достигли больших результатов, добившись увеличения мощности взрыва при меньших весах зарядов. Без экспериментальных взрывов, не проверив заряды на практике, мы не могли переходить к новой конструкции боевого оружия. Отказавшись же в одностороннем порядке от испытаний такого оружия, надеялись, что мировая общественность поддержит нас и окажет давление на свои правительства, которые проводили испытания и отравляли атмосферу. Но правительство США осталось глухим к общественному мнению.

Перед нами встал вопрос: продолжать ли стоять на позициях отказа от испытаний? Не обретя встречной поддержки, мы тем самым обрекали себя на отставание от стран, которые совершенствовали ядерное воору-

жение, и вынуждены были заявить: если наша идея не будет поддержана странами, которые занимаются созданием и накоплением ядерного оружия, и если они станут продолжать экспериментальные взрывы, то мы тоже вновь приступим к испытаниям.

Назначили дату. Наши военные и ученые, работавшие в сфере обороны, оказывали на правительство нажим, говоря, что надо, дабы двигаться вперед, провести испытания уже созданных ранее конструкций атомных и водородных бомб. И мы объявили, что проведем такие испытания. Примерно за день до них ко мне обратился академик Сахаров, позвонив по телефону. Я с ним уже был знаком, и он на меня производил очень хорошее впечатление. Да и не только на меня. Как говорится, сверкал драгоценным камнем среди всех ученых. Сахаров обратился ко мне как к Председателю Совета Министров СССР с просьбой отказаться от испытания водородной бомбы: «Я, зная, какой тяжкий вред человечеству причиняют такие испытания, не могу согласиться с их продолжением. На основе именно моих научных изысканий создали термоядерную бомбу, но я как ученый теперь выступаю против ее испытания». Он долго меня уговаривал. Несомненно, им руководили чисто человеческие, очень хорошие побуждения. Ученый, преданный науке и добрым идеям мира, он не стремился ни к какому уничтожению людей и вообще не хотел заражать атмосферу.

Я ему ответил: «Товарищ Сахаров, в силу своего политического и государственного положения я не имею права отказаться сейчас от таких испытаний. Это ведь не мое личное желание, тут осуществляется решение всего руководства СССР. Вы знаете, что мы попытались отказаться от испытаний и обратились с призывом к нашим вероятным противникам, которые накапливают ядерное оружие. Но они нас не послушали. Вам отлично известно, что они проводят испытания». Поскольку он продолжал настаивать, я, желая остаться честным перед Сахаровым, сказал ему: «При всем моем сочувствии к Вашим взглядам и к Вашей просьбе, я как лицо, отвечающее за состояние обороны страны, не имею права отказаться от испытаний. Это стало бы преступлением перед государством и народом. Вы же знаете, какие страдания принесла Советскому Союзу вторая мировая война. Нельзя еще раз подвергаться риску, отказавшись от создания современного оружия, когда наши вероятные противники ведут неудержимую гонку новых средств вооружения и истребления людей. Поймите меня правильно, прошу Вас. Согласиться с Вами — значит обречь нашу страну на возможную гибель. Мы окажемся слабее США и их союзников».

Я не убедил его своими аргументами, хотя и он меня не убедил. Мы

обсудили просьбу Сахарова всем руководством страны и решили, что не можем согласиться с ней. Очередная бомба была испытана. Подобной мощности мы ранее не достигали. Создавалась она из расчета в 50 млн тонн тротилового эквивалента, достигнутая составила 57 млн тонн. Это нечто колоссальное. А ученые доложили: если эту бомбу изготовить в «грязном исполнении», когда она будет действовать не только взрывной волной, но и излучением, то ее мощность можно довести до 100 млн тонн. «А где же такую бомбу мы могли бы применить?» — спросил я. Мне ответили: «Над Западной Германией, если бы нам навязали войну и мы были бы вынуждены в ответ применить ядерное оружие, заряд мощностью в 57 млн тонн взрывать нельзя. В той зоне господствуют такие ветры, что и осколки водородной бомбы, и зараза в атмосфере будут занесены на территорию ГДР. Пострадало бы не только ее население, но и наши вооруженные силы, расположенные там. Можно без особой угрозы последствий для СССР и наших союзников сбросить такую бомбу на Англию, Испанию, Францию и, конечно, на США».

Вот что я услышал о новом ужасном оружии. Но оно позволяло нам оказывать моральное воздействие на тех, кто вел подготовку войны против СССР. А главная опасность исходила от США.

Тем временем продолжали трудиться и конструкторские бюро Королева и Янгеля. Первое занималось проблемами освоения космоса, хотя попутно там изготовили ракеты с ускоренным способом приведения их в боевое состояние. Вопросы же обороны и вооружения нашей армии ракетным оружием легли в основном на плечи Янгеля. Этот одаренный человек создал прекрасные ракеты мобильного действия и различного назначения. Некоторые уже тогда летели на 2 тыс. километров. Мы их называли стратегическими ракетами ближнего действия. Потом появились 4-тысячекилометровые, тоже стратегические, но средней дальности. Наконец, сконструировали межконтинентальные, которые могли переносить ядерные заряды в любую точку земного шара.

Во время их испытаний произошел несчастный случай, вследствие которого погибли несколько десятков человек и чуть-чуть не был погублен Янгель. Потеряли мы и маршала Неделина. При испытании очередной новой ракеты из-за неправильного порядка соединения элементов загорелось горючее, и ракета стала действовать, когда еще была облеплена людьми. Неподалеку сидел, ожидая окончания работы, Неделин. Ракета приподнялась, затем упала, кислота разлилась и сожгла всех, находившихся рядом. Янгель спасся чудом, отойдя покурить в специально отведенное для того место. В западных газетах стали часто писать о том, что мы скрываем катастрофические случаи, которые происходят у

нас при испытаниях ракет. Но при мне никаких других катастроф не было. Конечно, некоторые ракеты падали когда и где не нужно, но обошлось без жертв, мы несли только материальные утраты и потерю времени.

Нашу страну признали теперь и как космическую, и как ракетно-ядерную державу. Особенное признание СССР получил после запуска в космос Гагарина в 1961 году. Его полет свидетельствовал о том, что мы запускаем не только спутники. Ведь после запуска нами первого искусственного спутника Земли американский генерал заявил, когда его спросили, как он расценивает запуск спутника: «Ну что тут особенного? Забросили в космос кусок железа». Генерал сам себя выставил на посмешище, показав, что либо он нарочито принижает наше достижение, либо действительно не понял, какое оно имеет значение для последующего освоения космоса. Открывшаяся в 1961 году космическая эра навсегда отбила охоту у западных критиков недооценивать выдающиеся достижения советских людей в этой сфере.

Примерно в те же годы у меня возникла мысль о необходимости вывода наших войск с финляндской территории. Советская военная база располагалась в Порккала-Удд, под боком у Хельсинки, столицы Финляндии. Эта база сильно портила наши отношения. Финляндские поезда, которые проезжали через участок базы, подвергались осмотру, в них закрывались окна, людям запрещалось выглядывать, тем более фотографировать. Принимались такие меры, как будто поезда шли через оккупированную территорию. Наш посол в Хельсинки сообщал, что финны выражают массовое возмущение. Мне это было понятно. К тому же надо учитывать, что Финляндия — наш сосед. А вооружение мы уже имели такое, которое моментально могло стереть Хельсинки с лица земли. И наша база потеряла реальное военное значение.

Стремясь улучшить наши отношения, мы решили показать, что не имеем к соседу никаких притязаний и желаем только добрых контактов. Но как убедить в том Хельсинки, если наши войска стоят рядом? Они же там не шашлык жарят, и не рыбу ловят, и не на рынок ходят вместе с финнами, а тренируются, как солдаты. Это наносило нам политический вред и мешало пропаганде идеи мирного сосуществования. Я обменялся мнением с Булганиным как министром обороны, только что выдвинутым на пост главы правительства. Он согласился со мной. Министр иностранных дел Молотов думал об этом по-другому, и я, зная о том, не обменивался с ним мнениями, потому что заранее предвидел его реакцию как лица, которое не обладает гибкостью ума и с большим трудом может трезво переоценить международную обстановку.

С огромным уважением и по-дружески я относился тогда к маршалу Жукову. Нас сблизила война. К тому же у меня с ним не происходило никогда никаких столкновений. Когда Сталин после войны распространил на него опалу, я Жукову сочувствовал. Он на меня производил сильное впечатление умом, военными знаниями и твердым характером. И я спросил его, когда мы, находясь на отдыхе, гуляли вдвоем: «Георгий Константинович, как ты отнесешься к выводу наших войск из Финляндии? Надо бы выгнать эту занозу в наших взаимоотношениях. Она отравляет контакты не только с Финляндией, но и со Скандинавскими странами. К тому же мы постоянно призываем все страны вернуть свои войска в пределы национальных границ. Но тут же они тычут пальцем в нашу сторону. В Венгрии, ГДР, Польше наши войска находятся согласно другой политической основе. Совсем не то — в Финляндии». Жуков ответил: «Я с тобой полностью согласен. Со стратегической точки зрения пребывание наших войск в Финляндии и сохранение военной базы под Хельсинки не имеют никакого значения».

Но раз так, то зачем она нужна? Чтобы отравлять отношения двух стран? Коммунистическая партия Финляндии никак не может доказать своему народу необходимость пребывания наших войск на его территории, это непосильная задача. К тому же мы тратим средства, строим там укрепления, содержим войска. И я предложил: «Давай, когда вернемся в Москву, обсудим этот вопрос в руководстве». Затем я все же переговорил и с Молотовым. Он не сразу понял полезность идеи, но не настаивал на отказе от нее.

По возвращении в Москву мы быстро решили вопрос в правительстве и в партийном руководстве, а потом обратились к финнам с предложением о ликвидации базы и соглашении насчет сотрудничества двух стран. Финны с готовностью приняли наше предложение. Его реализацию я считаю большой победой на пути улучшения отношений не только с Финляндией, но и с другими странами мира. Это событие дало нам большие козыри в руки. Теперь мы могли со спокойной совестью пропагандировать идею мирного сосуществования и отказа от военных баз на чужой территории. А если нападут на нас издалека, ответим ракетным ударом.

Бюро Янгеля уже включилось тогда в создание стратегических ракет ближнего, среднего и дальнего действия, и мы стали переводить промышленность на конвейерное их производство. В пропагандистских целях я даже рекламировал на весь мир советское достижение, что мы сейчас делаем ракеты чуть ли не автоматами, как сосиски. Это лишь приблизительно так, потому что мы сумели организовать все же не конвей-

ер, а поточную сборку, хотя, конечно, не такую, как при сборке тракторов, где непрерывная лента разносила детали, а сборщики лишь подвешивали их и трактора выходили из цеха готовыми каждые несколько минут.

Потом на нашем горизонте ракетного оружия появился новый человек. Ко мне попросился на прием неизвестный мне конструктор Челомей, молодой еще человек. Он показал мне модель ракеты, которую принес в кармане, и сообщил, что может сделать крылатую ракету на керосиновом двигателе ближнего действия, похожую на немецкую ФАУ-1. Только устроена она была иначе, складывающая крылышки и заряжаясь через трубу, потом запускался двигатель, и когда она вылетала, крылья расправлялись. Мы нуждались в такой ракете для борьбы с самолетами и для береговой охраны. Она была задумана оригинально и понравилась мне как мобильная, хорошо скомпонованная и с умно продуманным запуском. Ракета выстреливалась как из пушки. Многие видели потом на военных парадах, как везли по Красной площади мимо Кремля огромные трубы. Это как раз и были ракеты Челомея. Ныне они уже не секрет, взамен созданы ракеты нового поколения.

А тогда я спросил Челомея, кто знает его лично? Он сослался на Булганина. Тогда я сообщил Булганину, что известный ему инженер-конструктор Челомей внес интересное предложение о ракетах, которое не конкурирует с идеями Янгеля и Королева, но тем не менее очень полезно для вооружения наших войск. Однако Булганин отреагировал отрицательно: «Да, я его знаю» — и дальше выразился весьма грубо в адрес Челомея как несостоятельного человека, который умеет только болтать, а мне посоветовал: «Гони его в шею!» Меня это покорило. «Николай Александрович, твоя ссылка на то, что еще Сталин прогнал Челомея, ни о чем не говорит. Может быть, заслушаем Челомея всем кворумом? Поставим вопрос на заседании Президиума ЦК, пусть он доложит нам. Ты строишь свое отношение к нему только со слов Сталина, а он показывал мне свою модель, то есть идею уже конструктивно оформленную. Модель действует, и он близок к тому, чтобы изготовить натуральную ракету».

Так мы и поступили, пригласили Челомея на очередное заседание Президиума ЦК КПСС, он опять показал свою модель. Многие члены Президиума плохо знали проблемы вооружения, поэтому никто особенно его не поддержал, но и не прозвучало возражений. Я предложил дать Челомею мастерскую, рабочих, инженеров, техников, вернуть ему библиотеку, о которой он просил на заседании: «У меня была техническая библиотека в конструкторском бюро. Когда меня раскассировали и лишили материальной базы, то библиотеку отдали Артему Ивановичу Микояну». Библиотеку возвратили, а мастерскую сначала дали небогатую. Но он и ей был рад. Потом Челомей стал интенсивно работать и обрывать людьми и техникой. Изготовил обе-

шанную ракету. Его расчеты оправдались. А мы получили еще одно конструкторское бюро, которое трудилось на вооружение армии.

Сегодня — 7 июля 1971 года, понедельник. Продолжаю воспоминания о ракетном оружии. Его создание приобрело бурный характер. Королев, Янгель, Челомей... Все они работали над ракетами дальнего действия, большой грузоподъемности и крупных зарядов. Создавалось несколько марок таких ракет. Другие талантливые конструкторы разрабатывали реактивное оружие для использования против танков, зенитные ракеты и ракеты ближнего действия. Челомей же буквально засыпал нас новыми предложениями: глобальные ракеты, межконтинентальные ракеты, ракеты классов «корабль—земля» и «земля—корабль». Он сумел сделать мобильную межконтинентальную ракету. Ее мы приняли на вооружение взамен некоторых янгелевских.

На одном из совещаний Челомей, как коробейник, который вытаскивает из короба ботинки с ситцем и бусами, развернул перед нами свои проекты. Помню, как ворчал тогда Королев: вот, мол, Челомей и то, Челомей и се, Челомей все берет в свои руки. Но ведь его предложения действительно оказались универсальными и к тому же наиболее выгодными и экономическими, и в смысле мобилизационной боеготовности. Потом он же предложил тяжелую ракету, которая поднимала в космос груза больше, чем ракета Королева. Она еще и сейчас летает. Тут и Королев предложил создать очередную новую ракету, сверхмощную. Теперь уже Челомей начал настаивать, что в его конструкции заложено больше реализма. Творческая конкуренция продолжалась. Чем она закончилась, не знаю. Я теперь на пенсии, выращиваю морковь и патиссоны, а новости узнаю из газет. Но мне доньше приятно, когда думаю, что я правильно поступил, поддержав в свое время Челомея и дав ему возможность развернуться.

Параллельно развивались и другие события, политического характера. На наши молодые (в государственном понимании) плечи свалилось многое. Когда пришлось заменить в руководстве страны Маленкова, Молотова и всю их компанию, которая взбунтовалась в ЦК партии против антисталинского направления политики, возглавленного мною, мы вынуждены были освободить Булганина от поста Председателя Совета Министров. Меня стали уговаривать занять этот пост. Я очень не хотел, сопротивляясь против совмещения в одном лице постов Председателя Совета Министров СССР и Первого секретаря ЦК партии. Я видел вред от совмещения и ссылался на то, что сам в 1956 году критиковал Сталина за совмещение им ряда ответственных постов. Выношу этот вопрос на суд историков. Сказалась моя

слабость, а может быть, подтачивал меня внутренний червячок, ослабляя мое сопротивление.

Еще до того, как я стал Председателем Совета Министров СССР, Булганин внес предложение назначить меня Главнокомандующим Вооруженными Силами. Это произошло без публикации в печати и было решено сугубо внутренним образом, на случай войны. Внутри армии это стало известно высшему командному составу.

Увы, вынуждены были мы расстаться и с Георгием Константиновичем Жуковым. Для меня это было очень болезненным решением. Я высоко ценил его, и у меня с ним сложились наилучшие отношения. После отстранения от руководства Молотова, Маленкова и других, кто хотел возврата к сталинским порядкам, Жуков вошел в состав руководства. Он сыграл активную роль в подавлении инициативы молотовско-маленковской взбунтовавшейся группы. Но когда Жуков вошел в состав Президиума ЦК, то стал набирать такую силу, что у руководства страны возникла некоторая тревога. Члены Президиума ЦК не раз высказывали мнение, что Жуков движется в направлении военного переворота, захвата им личной власти. Такие сведения мы получали и от ряда военных, которые говорили о бонапартистских устремлениях Жукова. Постепенно накопились факты, которые нельзя было игнорировать без опасения подвергнуть страну перевороту типа тех, которые совершаются в Латинской Америке. Мы вынуждены были пойти на отстранение Жукова от его постов. Мне это решение далось с трудом, но деваться было некуда.

Вместо него министром обороны назначили Малиновского. Это назначение тоже проходило болезненно. В партийном руководстве возражений против Малиновского не было. Конечно, общесоюзный и мировой авторитет Малиновский имел ниже, чем Жуков. С другой стороны, маршал Малиновский отлично зарекомендовал себя во время войны и был не случайной личностью в военной сфере. Жукову в личном плане он уступал по энергии, напористости, обладая спокойным, несколько медлительным характером. Но он не уступал ему по вдумчивости.

Хотя я вынужден в воспоминаниях слегка помянуть Георгия Константиновича недобрым словом, но я на него не в обиде и приписываю происшедшее тогда не ему, а тем, кто, пользуясь его характером, подыгрывал ему. Еще хуже мое мнение о личностях, которые готовили первые варианты его мемуаров к публикации. То, что там напечатано, Жуков написать не мог. Он гордый и порядочный человек, на восхваление в адрес Сталина не способный. И уж конечно, не так, как в его книге сказано, говорил Жуков в жизни о деятельности партийных и некоторых других кадров. Между прочим, вспоминаю о дельном предложении Жукова не допускать

к руководству в армии людей престарелого возраста. Он высказался за то, чтобы войсками военных округов командовали лица не старше 55 лет, и мотивировал это тем, что если начнется война, то им потребуется крепкое физическое здоровье. Я с ним согласился, и мы тогда произвели большие перестановки в высшем командовании армии и флота.

Затем заболел начальник Генерального штаба маршал Соколовский. Я ценил его как штабного офицера гораздо выше других. Это был человек трезвого ума и со способностью теоретических обобщений, деятельно занимавшийся строительством могучей армии. Но он уже болел, и пришлось его заменить. Дошла очередь и до маршала Конева, тоже очень сильно болевшего, причем со времен войны, а потом когда он трудился, то вообще весь скрипел. Начальником Генерального штаба назначили Захарова. Он отвечал этому назначению и по уровню подготовки, и по человеческим качествам. Но, к сожалению, на мой взгляд, как раз подходил под ту категорию лиц, о которой говорил Жуков: раньше своих лет состарился, дремал на военных совещаниях и засыпал на заседаниях Совета Министров СССР. И мы с Малиновским решили, что нельзя держать начальником Генерального штаба человека, который постоянно дремлет, лучше подобрать голову посвежее. Выдвинули Бирюзова. После того, как он погиб при авиакатастрофе, вернули на прежний пост Захарова. У меня лично против Захарова абсолютно ничего нет. Просто вижу, что он стар, и не столько по возрасту, сколько по физическому состоянию.

Но состоянием ли Захарова и некоторых других военных деятелей СССР нужно объяснить неудачи Египта в шестидневной войне 1967 года с Израилем, раз наши военные имели там со стороны Египта решающий голос? Я до сих пор не могу понять, как могли допустить до полного разгрома египтян. Советский Союз несет свою и очень большую долю ответственности за происшедшее. Мы могли бы удержать Насера от неподготовленной войны, могли правильнее оценить обстановку уже после начала военных действий. Вообще следовало не добиваться ликвидации существования государства Израиль и иными средствами стремиться к равноправию арабов Палестины. Недоучли и силы Израиля. Тут вина и разведчиков, и дипломатов, но все же в основном военных, потому что за ними остается последнее слово.

Досаднее всего, что было продемонстрировано отставание советского неядерного оружия. Все знают мощь нашей ракетной техники и ядерного оружия. А вот средства войны, позволяющие вести ее без применения ядерного оружия, оказались не на должном уровне. Доктрина же Макнамары оправдала себя. Видимо, наши силы обычного типа недостаточны, раз мы не смогли обеспечить господство в воздухе. В противном

случае арабы сами смогли бы наносить удары по израильским войскам, и сложилась бы иная картина событий.

Конечно, там Египет не использовал советские ракеты. Хотя у нас уже имелся новый род войск — Ракетные стратегического назначения. Сначала ни одна другая страна не создала у себя таких вооруженных сил. Тогда мы опередили США в данном отношении. Стратегические же ракеты дальнего действия с ядерным зарядом мы получили уже на последнем этапе моей политической и государственной деятельности, твердо став на путь предпочтения ракетно-ядерного оружия перед бомбардировщиками. Кроме того, при мне в течение шести лет готовили атомные заряды к зенитным ракетам и ракеты классов «воздух—корабль» и «воздух—земля». Но всем им предпочитали стратегическое оружие, поскольку тогда СССР имел мало ядерного материала для атомных и водородных бомб.

Наиболее трудным оказалось решение проблемы морского вооружения. Оно заставило меня сильно поволноваться и далось особенно мучительно. Адмиралы голосовали за надводный флот. Отказываясь от программы строительства большого надводного флота, мы все переживали это, я в том числе. А может быть, я-то переживал больше других. На море наш противник имел огромный флот, преимущественно авианосцы. Отказ от соревнования на море мог привести нас к подчиненному положению, чего нельзя было допустить. Поэтому и шли болезненные поиски правильного решения. Ведь любая следующая война может оказаться непохожей на предыдущую, тем более в наше время великих открытий в науке и технике. К тому же любое вновь создаваемое оружие требуется рассчитать на длительное время. Можно сделать и такое, которое быстро устареет и спустя короткий срок пойдет в переплавку. Потребуется тратить крупные средства, чтобы не отстать. Например, когда в последний период жизни Сталина усилилось строительство крейсеров обычного типа, государственные деньги уходили на ветер.

Вот почему приходилось заменять не только устаревшую боевую технику, но и тех, кто ее направляет. Однако не всегда это было связано непосредственно с вооружением. Когда решался вопрос, кого назначить министром обороны вместо Жукова, Жуков с присущей ему прямоотой поставил по-солдатски вопрос в упор: «Кого назначите вместо меня?» Хотя мне не хотелось обсуждать с ним этот вопрос, я сказал: «Малиновского». — «Я бы предложил Конева», — отрубил он. Конев присутствовал, мне не хотелось его обижать, к тому же достоинства Конева не меньшие, чем у Малиновского. Но я Малиновского лучше знал по войне. Малиновский же и предложил мне, еще в бытность Жукова министром, назначить Главнокомандующим Военно-Морским Флотом адмирала Горш-

кова. Мы собрались тогда в Севастополе. Прошло лишь несколько месяцев после обсуждения на Президиуме ЦК программы адмирала Кузнецова. Мы познакомились с кораблями Черноморского флота, подводными и надводными. Флот там был сравнительно маленький, надводные корабли — старые. В их числе — трофейный итальянский линкор, который подорвался, стоя на якоре в Севастопольской бухте. Когда разбирали причины взрыва, предположили диверсию. Потом специалисты пришли к выводу, что на дне лежала немецкая мина времен войны, якорь корабля ее шевельнул, и она сработала.

На совещании нас знакомили с кадрами и с состоянием флота. Затем были организованы штабные морские учения. Один из командиров весело и заливчато докладывал нам, как наш ВМФ топил противника, вот он уже продвинулся к Дарданеллам, вышел в Средиземное море, двинулся к Африке, занимает ее северные берега. Когда он перечислял при этом, какими силами действует, мне стало грустно. Я увидел, что человек не знал новых военных средств, которыми располагал Советский Союз. А я считал, что если этим оружием обладаем мы, то их может использовать и противник. Так бесцеремонно расправляться с противником, который имеет те же средства, что у нас, негоже. Тут можно нарваться на крупные неприятности. А тот капитан первого ранга громил врага, даже не подозревая о береговых ракетах и самолетах-ракетоносцах.

Остановив его, я сказал: «Вот Вы нам с такой уверенностью докладываете, как расправились с противником и завершаете его разгром. Если прикинуть, что может случиться в действительности при начале войны, то Вы бы давно лежали на дне морском». Он посмотрел на меня с удивлением. «Слушаю, как Вы командуете, — продолжал я, — и даже не используете наши новые средства вооружения, да и у врага не предполагаете их наличия. Например, ракеты. Мы-то их имеем. А к противнику всегда надо относиться с уважением, самое опасное — недооценка его возможностей и преувеличение собственных возможностей». Он озадаченно высказался: «Товарищ Хрущев, я впервые слышу о ракетной технике». Тут я согласился: «Это верно, тут мы виноваты, все оказалось слишком засекречено». Прервали заседание. «Давайте, товарищи, — предложил я, — возьмем с собой моряков и поедем здесь же, в Крыму, на военную базу, там познакомимся с ракетоносцами и с ракетами береговой обороны. А потом продолжим совещание. Пусть моряки внесут коррективы в оценку противника».

Но когда продолжили совещание, то уже не возвратились к прерванному учению, а стали обсуждать по существу вопрос дальнейшего строительства ВМФ. Там же и решили, что так дольше продолжаться не может,

что нельзя держать все в секрете, не знакомя с достижениями даже наших людей, работающих на оборону, включая высший командный состав. И заодно изменили направление строительства ВМФ, причем сориентировались на крупного специалиста по подводному флоту, работавшего в Генеральном штабе. Он обладал собственной точкой зрения, которая не пользовалась поддержкой. Вызвали его. Оказался интересной личностью. Заслушав его аргументы, приняли решение, что в строительстве ВМФ берем за основу подлодки. Мы издавна привыкли к надводному флоту, а подводный рассматривали как подсобное средство. И я поставил перед моряками вопрос: что такое крейсер? Плавающая артиллерия. На какое расстояние должен подойти крейсер к берегу, чтобы провести артиллерийскую подготовку и высадить потом десант? Примерно 45 километров. Разрывная сила снаряда невелика в сравнении с ядерным зарядом ракет. А на крейсере до 1200 человек команды, ее надо содержать. Эксплуатация крейсера обходится дорого, боевое же его назначение давно утрачено.

Англия когда-то была владычицей морей, имела огромный флот с тяжелыми кораблями как его ядром. Прошли те времена. Появилась авиация, потом ракеты, появились ядерные заряды. Теперь надводному флоту будет трудно выжить в случае войны. К тому же крейсер в одиночку действовать не может. А подводная лодка может, она не нуждается в прикрытии. Если же взять огневую мощь крейсера и сравнить с подводной лодкой, имеющей ракеты, то последняя выиграет. Она может подплыть на нужное расстояние, произвести выстрел даже по цели в глубине страны. Например, американские «Поларисы» в мое время стреляли на 2 тыс. километров, а сейчас ракеты могут посылаться на еще большее расстояние.

Конечно, с подводных лодок трудно вести артиллерийскую подготовку высадки десанта даже при наличии средств, позволяющих после взрыва атомной бомбы преодолеть зараженное пространство. Тем не менее лодка, стоящая во много раз меньше, чем крейсер, и имеющая меньшую команду, обретает большую огневую мощь и к тому же обладает возможностью скрытного хождения. К тому же подводный флот получил двигатели на ядерном горючем, после чего фактически неограниченное время мог находиться под водой. Навигационные средства позволяют хорошо ориентироваться и под водой, как это продемонстрировали подлодки, совершившие плавание под льдами Северного Ледовитого океана. Наша подлодка всплывала там в свободном водном пространстве, а потом вновь погружалась и спокойно возвращалась на свою базу.

Когда я находился в поездке по Северу, там как раз встречали эту подводную лодку. Мы беседовали с командиром корабля и осматривали ее.

Корабль восхищал своими возможностями в сравнении с прежними. Вот почему мы приняли решение строить преимущественно подводный флот, поставив его создание на конвейер. Цель — создать мощный флот, которым мы могли бы угрожать противнику на всех океанах. Главный противник — США. Им требуется преодолеть большое расстояние, чтобы добраться до Европы, перевезти сюда десанты, питать оружием и припасами свои войска. Следовательно, им не уйти от воды. Вот тут подводный флот для нас особенно важен.

Надводный же флот сохраним для охранных нужд, имея сторожевые корабли, торпедные катера и ракетные катера, которые стреляют на десятки километров. Тогда же задумали мы определить свое отношение к авианосцам. Хорошо было бы иметь и их, но это оказалось нам не по средствам. Лучше не распыляться. Авианосцев мы могли бы иметь единицы, в то время как у противника их уже десятки. К тому же мы страна в основном континентальная, которой не следует забывать о пехоте, ракетной артиллерии, стратегической авиации, межконтинентальных ракетах с ядерными зарядами. Не стану скрывать, что именно мне пришлось вынести на своих плечах основную тяжесть борьбы, поддерживая молодые силы в ВМФ против тех, кто жил по старинке и оказывал сопротивление.

Поставив производство подлодок на поток, мы особое внимание сосредоточили на создании ядерного двигателя, чтобы обеспечить им автономное плавание. Потом уже из печати я узнал, что мы в этом деле добились хороших результатов. Считаю, что это произошло в результате принятых при мне правильных решений.

Могут спросить: «А как насчет наступательных операций?» Но нам с нашей мирной политикой незачем дублировать средства ведения войны, имеющиеся у США. Правда, взамен транспортных надводных кораблей можно использовать авиацию. Самолет сейчас поднимет сотни человек и в довольно короткое время может сосредоточить большие силы, если удастся овладеть территорией для высадки десанта. Но мы для себя целей высадки десанта в другие страны не ставили и сосредоточились на обороне с возможностью нанесения удара по противнику стратегическими ракетами, полагая, что тем самым обезопасились от разумного противника. Что такое — разумный противник? Тот, который понимает, что если он нападет на СССР или его союзников, то сам получит разгромный ракетно-ядерный удар. Эта стратегия оправдала себя в мое время и является главным фактором, сдерживающим агрессора.

При обсуждении программы строительства ВМФ возник вопрос, как поступить с крейсерами, которые у нас уже имелись на вооружении? Это

были старые галоши. Некоторые из них оставались еще от первой мировой войны, тихоходы, не игравшие почти никакой боевой роли. Но перед смертью Сталина были заложены и новые корабли. Их постройка заняла почти все мощности нашей промышленности. Требовалось принять решение по этим кораблям, введившим народ в огромные расходы при их нулевом боевом значении. Хороши они только для морских парадов в Ленинграде, Севастополе и Владивостоке. Эффектное и красивое зрелище. Но деньги тратятся на ВМФ не для того, чтобы он участвовал в парадах. Западные страны отдали старые корабли на слом и на переплавку в мартеновские печи или поставили на прикол, что тоже довольно дорогое удовольствие: содержать их в состоянии, позволяющем в нужный момент использовать. Мы решили часть старых кораблей уничтожить. А крейсеров, которые не успели достроить, у нас было три. Если бы они вступили в строй, то ни в океанах воду не замутили бы, ни наших противников не испугали, зато оказались бы хорошими источниками опустошения советских карманов.

Я не хотел брать ответственность за них на одного себя, административно подавляя мнение специалистов, и предложил министру обсудить проблему у себя. Обсуждение длилось долго. О результатах мне докладывал Соколовский: «Мы пришли к единственно правильному решению — эти корабли не стоит заканчивать. Хотя осталось затратить небольшие средства, чтобы ввести их в строй, но дело заключается еще в тех средствах, которые придется выделять на их содержание. Оно ляжет тяжким бременем на бюджет». Ух, как трудно оказалось принимать такое решение. Сколько миллионов затратили — и вдруг уничтожить?

И я предложил министрам обороны, водного, морского транспорта и руководителям рыболовного флота подумать, нельзя ли как-либо их использовать. Может быть, переделать их в пассажирские? Они отвергли такую мысль: невыгодно экономически и неэффективно для работы. «Не использовать ли их как рыболовные?» — не успокаивался я. Изучили вопрос и снова отвергли: оказалось, что дешевле построить новые. «Тогда задействовать как туристические базы?» Перебрали всяческие варианты, а итог оставался прежним. Пришлось пойти на болезненное мероприятие уничтожения ценностей, созданных своими руками. Так был заложен безоговорочный поворот к созданию мощного подводного флота.

Правда, некоторые старые крейсера мы перевооружили, сняв с них классическую артиллерию старых времен и поставив ракеты. Но и это оказалось нерациональным, потому что корабли не обрели необходимых качеств. И мы стали широко продавать их, эсминцы и сторожевики. Один крейсер продали Индонезии. Это островное государство нуждалось в та-

ком вооружении. Затем занялись проблемой бомбардировочной авиации, вооруженной ракетами класса «воздух—корабль», — береговым оружием, действующим на большом удалении. Конечно, ракетноносцы не смогли бы в то время прорваться сквозь плотную завесу зенитного огня. Нам оставался доступен Северный Ледовитый океан, но выходить в Северное море, не говоря уже об Атлантике, было опасно. В Тихом океане мы тоже могли действовать только в прибрежной зоне. Не имея прикрытия с воздуха, бомбардировщики в случае войны обрекались на гибель. Скажут: «А на бреющем полете?» Тоже уязвимы. Ведь создавались зенитные средства, которые будут поражать цели на малой высоте. К тому же на бреющем полете далеко не улетишь, потому что велик расход горючего. Так что ракетноносцы предназначены в основном для охраны своих границ.

Возможно, завтра наука найдет способ создания неуязвимых бомбардировщиков дальнего действия. Я же говорю с точки зрения сегодняшних технических возможностей. Жизнь внесет коррективы, как внесла она их относительно зенитной артиллерии. Казалось, что она отжила свой век, особенно малокалиберная и скорострельная. Теперь выяснилось, что она пока что единственное средство против самолетов, летящих на бреющем полете. Американцы, тоже ликвидировав свою малокалиберную артиллерию, ныне возвращаются к ней, хотя всем понятно, что будущее останется за самонаводящимся ракетным вооружением.

Расскажу, как мы сделали уступку самим себе, решив построить все же несколько современных крейсеров, вооруженных ракетами: и ударными — для нападения, и зенитными — для защиты. Уступая военным морякам, отчаянно переживавшим тот факт, что мы лишились крейсеров, я высказал мнение, что нам следует сделать несколько их штук на случай, если потребуются представители СССР прибыть на военно-морском судне за границу. Но пусть такие корабли отвечают всем требованиям современной науки и техники. Потом решили достроить с данной целью начатые ранее ракетные эсминцы и переименовать их в крейсера. Испытали их в Белом море. Мы с Малиновским, Горшковым, другими специалистами тоже вышли в море и наблюдали за испытаниями.

Первый из этих кораблей произвел хорошее впечатление ходовыми качествами и вооружением, но остался без брони, так как военные единогласно отвергли ее, потому что броня уже не могла соревноваться с мощными зарядами и только отягощала корабль, ухудшая его скорость и маневренность. А какова его боевая цена? Погода тогда стояла прекрасная, люди на корабле были в приподнятом настроении. Заразившись им, я спросил Горшкова: «Как вы оцениваете этот корабль? Мы можем сделать таких, сколько нужно. Конечно, со временем, сразу их из котелка не вы-

нешь, это ведь не гречневая каша. Но если бы такой же корабль имелся у противника, у нас возникли бы затруднения?» — «Нет, — ответил Горшков, — он бы моментально был пушен ко дну. Мы бы его потопили ракетноносцами или подводными лодками. Если же он прорвался бы к нашим берегам, мы пустили бы в ход ракетные катера».

Так что эти корабли в бою ненадежны. Конечно, абсолютно надежного оружия нет. Против всякого оружия можно найти средство его уничтожения. Даже межконтинентальные ракеты с ядерными зарядами можно сбивать противоракетами. Можно сбивать и спутники Земли. А ликвидация такого корабля не представляла трудности для страны, имеющей современные средства нападения и защиты. У нас появилось четыре подобных корабля. Но мы морякам так и сказали: «Лишь для того, чтобы встречать и провожать гостей и самим ходить по морю в гости». Один послали на Балтику, другой — на Черное море, третий — во Владивосток, четвертый — на Север. Читая сейчас в газетах о наших военных делегациях, прибывающих с дружескими визитами в различные страны, встречаю названия как раз тех кораблей, о которых рассказал. Согласно органам печати, другие страны тоже имеют корабли такого назначения.

Уже под конец моей деятельности встал вопрос: не настало ли время создать ВМФ с авианосцами, а также с кораблями-матками, которые несли бы на себе ракетные катера? Военные идею не поддержали, и я придержал их строительство. Тогда возникла проблема присутствия чужих флотов у берегов разных континентов. Вот американцы постоянно держат свои 6-й и 7-й флоты возле Африки и Азии. А нам не надо ли тоже посылать туда свой флот, чтобы он сдерживал агрессивные силы? Мы поручили Генштабу проработать возможный состав такого флота и определить его стоимость. Малиновский потом высказался против этого. Оказалось, что затраты на создание такого флота не оправдаются. Если бы мы стали на путь соревнования с США в данной сфере, то нам потребовались бы многие миллиарды расходов почти впустую. Лучше пустить их на иное, хотя и остаются соблазны у военных.

Если военных не контролировать и дать им возможность развернуться в собственное удовольствие, то они вгонят страну в бюджетный гроб. На них всегда надо иметь узду и не позволять им пускать пыль в глаза, чтобы добиться своего. Они стараются запугать правительство силами противника. И не только у нас. В США и прочих западных странах наблюдается та же картина. Впрочем, правительство США пошло нашей дорогой. У них сейчас подводные лодки стали пусковыми установками, обеспечивающими запуск ракет из подводного положения на далекое расстояние.

Возможна ли новая мировая война без применения ядерного оружия? Вот вопрос, который постоянно задавали мне, когда я занимал ответственные посты. Думаю, что невозможна. Если она действительно будет мировой. Когда подрвут силы какой-то ядерной державы, участвующей в войне, она ухватится как утопающий за соломинку и нажмет ядерную кнопку. Поэтому надо делать абсолютно все, чтобы не допустить катастрофы, которая неизбежно приведет к гибели человечества. Мы испытали подобный накал в период Карибского кризиса и благополучно ушли от общего краха. Хотя ракет ближнего боя к тому времени мы имели более чем достаточно, чтобы с землей смешать Англию, Западную Германию, Францию, Испанию и другие страны Западной Европы. Но СССР и США тогда признали равные возможности в ядерной войне. Произошло историческое событие, которое должно явиться уроком на будущее.

Несколько иначе обстоит дело с классическим вооружением — танками и орудиями. За последние годы никто ничего особенного здесь не внес, за исключением того, что дала новая технология выплавки стали. Но и при лучшей броне трудно себе представить, как смогут выжить танки в современной войне. С первого же выстрела противотанковый самонаводящийся снаряд поражает цель, разрушая любую броню.

В этой связи во мне происходила внутренняя борьба: что делать? Развивать дальше танковые части, когда их противотанковыми снарядами колют, как орехи? Но и отказаться от них означает надеяться только на шкуру солдата. Сейчас я не смогу определить свою позицию, а в свое время, когда от меня зависело многое, я высказывался, жалея солдат, за развитие танковых войск. Артиллерию мы почти всю заменили ракетами, в том числе и орудия ближнего боя, сопровождения войск. Такое направление сохраняется и сейчас, за исключением способов поражения воздушных целей. Американцы тогда носились с пушками, стреляющими атомными зарядами, как дурень с писаной торбой. Наши военные добились от правительства заказа на идентичные миномет и пушку, доказывая, что получается прицельный огонь для поражения пехоты противника.

У меня возникли сомнения. Это очень тяжелая пушка, ее транспортировать трудно. Неимоверно сложным оказался в техническом отношении снаряд с атомным зарядом. Потребовался большой расход атомного горючего. Ученые говорили, что меньший атомный заряд в меньшем объеме требует, наоборот, большего количества ядерного горючего для получения заданной мощности взрыва. Из заряда для пушки можно было бы сделать в принципе в несколько раз более мощный заряд. Тем не менее такие пушки у нас тоже спроектировали и изготовили. А потом стрельбы

и практика их использования показали их непригодность. На их дальность легче сделать ракеты. Они менее прицельны, но для атомного заряда прицельность не очень-то и требуется.

Я решил посоветоваться с Ванниковым, который имел огромный опыт производства артиллерии и стрелкового вооружения, а за последние годы накопил знания и в сфере атомной энергии. Мы показали атомные пушки во время парада на Красной площади. На публику они произвели впечатление своими размерами. Специалистов же эта пушка не восхищала, а раздражала: ее трудно маскировать, она стреляет на сравнительно близкое расстояние и не оправдывает своего назначения. В конце концов сами артиллеристы признали, что данное оружие не оправдывает затрат на него. И мы прекратили его производство, хотя отдельные артиллеристы продолжали печально вздыхать. Но не из-за атомных пушек, а вообще скорбели об артиллерии, которая постепенно заменялась ракетами. Зато в ракетостроении наметился резкий поворот с созданием нового вида оружия: ракеты межконтинентальные и иных назначений, как стратегические, так и фронтные с большим ассортиментом зарядов разной мощности.

И здесь не обошлось без инцидентов. Маршал Гречко настойчиво требовал войсковых ракет с малым зарядом. Я понимал, что будет хорошо, если войска приобретут больше уверенности, когда в наступающей дивизии появятся такие ракеты. Но нельзя же требовать ядерного заряда для батальона. У нас не хватит атомного горючего, и артиллерия с малым ядерным зарядом оказалась нам тогда не по карману. К тому же мы не хотели расплыться и стремились угрожать противнику не в чистом поле, а основе его существования: городам, промышленности, его территории в целом. На этом и остановились.

ВОРОХ ВОЕННЫХ И МИРНЫХ ПРОБЛЕМ

Как известно, мы провели сокращение численного состава Советских Вооруженных Сил. Это был тоже один из самых болезненных вопросов. В свое время Сталин считал, что мы находимся накануне возможного нападения со стороны США. Все в СССР было приведено в боевую готовность. И армию мы содержали огромную, в пять с лишним миллионов человек. Очень накладно в мирное время иметь такую армию. С нею можно без всякой войны надорвать экономику страны, самим осуществив то, чего именно и добивается наш противник. Он достигнет своей цели без войны. А бороться за разоружение или хотя бы сокращение вооружения, когда имеешь огромную армию, невозможно. Никто нам на слово не поверит. И скрыть такую армию нельзя, разведки и тогда знали, и сейчас знают состав армий двух сторон. Американцы основные цифры вообще не держат в секрете, публикуя их в печати. Мы скрываем, но результат тот же. Когда я читал сводки из зарубежной прессы или материалы закрытого характера, то видел, что американцам точно известен и состав нашей армии, и ее вооружение, и даже новые виды оружия. Я как-то спросил Малиновского: «Что же это такое? Их агенты имеются в нашем Генеральном штабе? Как противник столь быстро узнает все наши новости?» Малиновский пожал плечами: «Видимо, тут заслуга его воздушной разведки и других технических средств».

Мы честно хотели убедить своих бывших союзников в том, что нужно отказаться от войны как средства политического нажима и вмешательства во внутренние дела других стран, призывали пойти на сокращение вооруженных сил, а потом и на полное разоружение. Решили продемонстрировать свои мирные намерения, ликвидировав военно-морскую базу в Финляндии и выведя наши войска из Китая. Потом стали думать о численном сокращении вооруженных сил. Мы накопили некоторое количество единиц ядерного оружия и его носителей, наша огневая мощь возросла во много раз. А ведь сила армии определяется в настоящее время не количеством солдат: именно огневая мощь определяет поражение противника. Поэтому мы считали, что ничем не рискуем. Наоборот, сокра-

шая армию, обогащаем бюджет и обретаем возможность переключить ресурсы на развитие средств производства и средств потребления ради повышения жизненного уровня граждан. Особенно остро стояла жилищная проблема. Требовались крупные средства на жилищное строительство, чтобы ликвидировать голод на жилье и те нечеловеческие условия, в которых жили наши люди.

Придя к выводу, что можем сократить Советские Вооруженные Силы, мы уменьшили даже воинский контингент, расположенный в ГДР. Сами восточные немцы имели тогда небольшую армию. В целом мы опустили численность нашей армии до двух с половиной миллионов человек. Армия США в то время примерно была такой же, ФРГ обладала сначала малыми силами, потом расширила их и ныне имеет у себя все виды вооружения, кроме ядерного. Несмотря на наш добрый пример, наши бывшие союзники не последовали за нами и отказались от честного соглашения.

Американцы настаивали на параллельном авиационном контроле, охватывающем всю нашу страну. Мы в то время пойти на это не могли, так как были вооружены слабее, чем США с их союзниками, и не хотели выявить это. Допустить к себе контролеров означало позволить потенциальному противнику разведать, чем мы располагаем, и взвесить соотношение сил двух сторон, что могло бы подтолкнуть агрессоров к войне. Мы согласились лишь на уступки, допуская контролеров на определенную часть нашей пограничной территории. Если на границах установить на какую-то глубину контроль, он позволит предотвратить внезапное нападение обычных вооруженных сил, а любое внезапное нападение на соседа вообще исключается. Мы соглашались также на установление взаимного контроля на аэродромах, которые допускают быстрое сосредоточение войск в нужном направлении. Но и это не нашло понимания, соглашения не достигли.

У СССР остался единственный выход: продолжать укрепление обороноспособности и наращивать вооружения. Но разумно наращивать, не поддаваясь панике или запугиванию, которое нередко проводится разведками с целью вынудить противную сторону затратить лишние средства. А вооружение быстро стареет, потом его выбрасывают, тратят новые средства, и так без конца. Непрерывная гонка вооружений ведет к истощению страны и губительно отражается на жизненном уровне народа. Конечно, военные люди всегда высказываются за перевооружение. Но и тут возникли проблемы. Одна из них связана с именем человека, которого я очень уважал и высоко ценил за его заслуги в войне, ставшего в 1961 году Главным маршалом артиллерии, — Варенцова, чья карьера

оборвалась вследствие предательства близкого к нему полковника Главного разведывательного управления Пеньковского. Варенцов, обожавший ствольную артиллерию, болезненно переживал переход к ракетному оружию. Это ему принадлежит знаменитая фраза: «Голоса пушек — симфония, голоса ракет — какофония».

Конечно, Варенцов возражал против сокращения артиллерии. Дело осложнилось тем, что военные долго спорили, какой необходим для ракет транспорт: гусеничный или колесный? Это не праздный вопрос, в нем объединяются стоимость, дальность хода, срок службы, скорость передвижения. Ученые и конструкторы дали правильное решение, создав необходимые колесные средства. Но тут же заговорили о транспорте для пехоты. Требовались не только грузовики, но и транспорт, имевший броневое прикрытие. Броня защищает. Однако она и утяжеляет транспорт, зато создает лучшие моральные и физические условия для бойцов. О ее необходимости не спорили. Дискутировали опять по поводу гусениц либо колес. Остановились на многоосевом колесном транспорте высокой проходимости. Затем встал вопрос о массовом воздушном транспорте большой грузоподъемности. Дело упиралось в строительство вертолетов. Оно решалось конструктором Милем, который создал семейство вертолетов отменной прочности, надежности и грузоподъемности. В беседах с ним я нацеливал его конструкторское бюро на создание вертолетов и в мирных целях, особенно для прокладки газопроводных и нефтепроводных магистралей, когда приходится преодолевать горы, болота, другие труднопроходимые места. И те же аппараты предназначались для транспортировки боеприпасов, вооружений, средств обеспечения и самих войск.

В данной сфере кроме Миля работал у нас еще и Камов, старый испытанный конструктор, который трудился над транспортом для сельского хозяйства и создал ряд вертолетов специального назначения. Когда я был в гостях у президента США Эйзенхауэра и летел с ним из Вашингтона в Кэмп-Дэвид, то попросил его посодействовать нам в закупке двух вертолетов для Советского правительства. Мы купили пару вертолетов, близких к тем, что имелись у нас. Но мне хотелось, чтобы наши ученые и конструкторы позаимствовали лучшее от техники США, используя покупку. Я не раз летал на вертолетах отечественного производства. Однако охрана не рекомендовала мне широко пользоваться этим видом транспорта, поскольку у нас порой случались катастрофы. Не стану сравнивать разные вертолеты в чисто техническом отношении. Однако, продав свои Индии, мы устроили там испытания вертолетов разных советских, американских и прочих марок. Наши заняли первое место, после чего Индия стала приобретать именно их. Потом в Крыму и на Кавказе орга-

низовали трассу по переброске пассажиров на курорты этими летающими автобусами. В годы моего руководства не произошло ни одной катастрофы вертолетов с гражданскими пассажирами в СССР. И летчики, и техническое обслуживание находились на хорошем уровне.

Только что мы создали ракетные войска во главе с Неделиным, как нас стал занимать вопрос противоракетной обороны. После гибели Неделина его заменил Москаленко, которого затем сменил Крылов. Поскольку на вооружение принята ракета, автоматически возникает требование наличия средств ее уничтожения — противоракетной ракеты. Это дорогое и сложное удовольствие. Но мы вынуждены были приступить к такой работе и организовали соответствующее конструкторское бюро во главе с Кисунько. Его коллектив изготовил и собственно противоракету, и другую технику, направляемую против ракетных средств противника. Подбадривая своих и пугая противника, я тогда публично говорил, что мы способны поразить муху в космосе, хотя абсолютное уничтожение запущенных атомных боеголовок, особенно если их много, оказалось в ту пору невозможным. Имелись, впрочем, и иные творческие предложения, их мы тоже финансировали и приняли решение о создании особых противоракетных сил.

Работал над этой проблемой, среди других, и Челомей. Но ему создать противоракетные средства, которые давали бы нам возможность спать спокойно, при мне не удалось. Достижение же договоренности с ракетно-ядерными державами о прекращении работ по противоракетной технике диктовалось стремлением не подвергать страну угрозе новой военной катастрофы и одновременно не истощать материальные ресурсы. Даже при любых затратах абсолютной защищенности, как я думаю, никогда не удастся добиться. Мне рассказывали ученые о перспективных работах с космическими лучами и с лазерами. Не знаю, в каком состоянии находится это дело в данное время, но полагаю, что самое благоразумное — договориться всем странам о прекращении всяких работ над противоракетным вооружением. Еще при мне и вскоре вслед затем президент США Джонсон воздерживался от крайностей, и средства на такие работы там не отпускались. Когда в Белый дом пришел Никсон, он объявил, что приступит к созданию противоракетной системы. Это подхлестнуло Советский Союз, развернулся очередной этап гонки вооружений, бессмысленных затрат человеческих усилий, истощающих экономику и отягощающих бюджет.

В иностранной печати и при встречах со мной на пресс-конференциях журналисты разных стран часто поднимали вопрос: мог бы Советский Союз предпринять какие-то совместные с США усилия для полета

на Луну и вообще в освоении космоса? Мне эта идея нравилась. В 60-е годы мы потрясли мир запусками на орбиту и к Луне космических предметов, запуском людей в космос. За Гагариным последовали другие. Тут мы в те времена опережали США. Не случайно тогда нам подбрасывали мысль об объединении космических усилий и о том, чтобы СССР поделился опытом строительства ракет и их двигателей. Я здесь не говорю об официальных обращениях правительственных органов иных стран, но порой журналисты выполняют задания своих правительств и вносят идею, за которую их правительства якобы не отвечают, однако взвешивают, как принимается эта идея другой стороной.

Особый упор делался на ракетные двигатели. Советский Союз опережал США в космическом двигателестроении. Я понимал, что это временное явление. Всегда находиться впереди других немислимо, потому что источник создания космических средств всюду один и тот же — наука и техника. А они являются по сути общими. И если на какой-то период в какой-то сфере мы опережали других, то те потом приложат усилия, выделят материальные средства, сами станут ведущими и могут опередить нас. Вот почему я полагал желательной договоренность с США и прочими странами о создании международной организации по освоению космоса, чтобы все делили не только славу, а и материальные тяготы. Однако в пору, когда я имел влияние на решение этой проблемы в СССР, мы оказались к тому не готовы: не решались раскрыть свои технические и научные секреты, ибо еще не достигли равенства в средствах вооружения. США успели накопить больше ядерного оружия. Правда, пока они базировались на самолетах-бомбардировщиках, но вскоре и у них пошли в дело ракеты.

На положении пенсионера я пользуюсь сейчас лишь газетными сведениями, очень скудными, так что мне трудно разобраться в истинном положении дел в этой сфере. Однако для меня бесспорно: программу, которую утвердил президент Кеннеди, американцы уже выполнили. Он поставил перед учеными и конструкторами задачу наверстать упущенное, создав ракеты, которые позволили бы человеку полететь на Луну, и там этого достигли. Их космонавты уже побывали на Луне. Но сейчас по-прежнему наша печать и телевидение убеждают, будто мы находимся впереди. Это несерьезно. Конечно, «Луна-16» и «Луна-17», которые работали недавно, осваивая лунную поверхность и информируя Землю, — тоже огромное достижение наших ученых. И все же человек, побывавший на Луне, не сравнится с любым умным автоматом, который остается творением человека, ибо тут полетел сам творец. Побывав там и посмотрев на все, он лучше познает новый мир, чем технические средства. Я

мечтал, что на Луне первым побывает наш Иван. Не вышло, Джон опередил. Но уже в 1964 году я считал возможным договориться с США и другими странами об учреждении коллективной организации по освоению космоса. В интересах человечества разумнее объединить усилия. Это способствовало бы прогрессу науки, техники и снятию напряженности между странами. Полагаю, что тут необходимо гораздо смелее идти вперед.

Возвращаясь к двигателям уже не техническим, а биологическим — к человеческим уму и сердцу, напомним, что у нас роль такого двигателя в науке по созданию ядерных средств выпала Курчатову, о котором я уже не раз упоминал. Незачем говорить тут о его достоинствах как ученого, он был признан во всем мире. Но я хочу высказать свое мнение о нем как о человеке. Мне с ним приходилось встречаться много раз и слушать его не только по проблемам ядерной физики. Он приходил ко мне в связи и с другими делами. Зная мое расположение к нему, неоднократно просил помочь развитию той или другой отрасли науки. Я всегда внимательно выслушивал его, относясь к нему с большим доверием, и считал, что он весьма порядочный человек. Ученые тоже порой сугубо эгоистически подходят к любой проблеме, стараясь что-то вырвать специально для себя. Курчатов был не таким, хотя, будучи предан своей сфере науки, он прежде всего думал о ней и двигал ее вперед. Но содействовал и другим, когда считал вопрос принципиальным.

При распределении средств нам приходилось выбирать самое необходимое, то, что было связано с общим развитием науки и техники, культуры и экономики, а в первую очередь с обороной страны. Курчатов отличался здесь от других ученых правильным пониманием необходимости выделения средств на основное, без чего не будет неприступности СССР, прежде всего на ядерное вооружение. Уже перед самой своей смертью он приходил ко мне с новыми идеями и в конце беседы сказал: «Считал бы полезным официально утвердить меня Вашим советником по вопросам науки, то есть советником Председателя Совета Министров СССР». — «Это мне нравится, — поддержал я его, — мысль заслуживает внимания. Посоветуемся, и при нашей следующей встрече я выскажу Вам наше мнение». Увы, более нам не довелось встретиться. Спустя всего несколько дней я узнал о скоропостижной кончине этого великого ученого и замечательного человека.

Когда Курчатов предложил свои услуги в качестве советника, я понял, что мне нужен именно такой человек, которому я бы абсолютно доверял. Он идеально подходит для установления более тесных контактов правительства с ученым миром. Это оказалось бы полезным и для науки, и для обороны страны. Он помог бы руководству правильно оценивать ход со-

бытий и в нужное время выделять средства, необходимые для прогресса того или иного научного направления. Конечно, не раз заслушивал я и других ученых. Так, буквально потряс меня своим предложением Сахаров насчет создания водородной бомбы. Его расчеты полностью оправдались. Как известно, впоследствии у руководства с ним произошла размолвка по вопросу испытания водородной бомбы. Здесь он, в отличие от Курчатова, проявил недопонимание государственных интересов. Мы взрывали водородную бомбу не с целью подготовки к нападению на какую-то страну, а лишь для обороны. У меня с Сахаровым не было расхождения по существу вопроса, и я прошу понять мою позицию, когда я как политический деятель и один из руководителей страны обязан был использовать все имевшиеся средства для усиления оборонной мощи страны.

Других ученых и конструкторов атомного оружия не стану здесь называть, хотя невозможно, например, обойти при этом Зельдовича, Харитона и Будкера. Зельдович с коллегами трудился над технической стороной конструкции водородной бомбы. Это были люди, благодаря усилиям которых мы сравнялись с США по ядерному оружию. Американцам в некоторых случаях даже приходилось занимать как бы оборону. Они называли ее сдерживанием. Затем немалую роль в укреплении СССР сыграли ученые, работавшие над атомными двигателями для подводного флота. Я несколько раз встречался с ними и хорошо их знал. Атомные двигатели для подлодок были нашей заветной мечтой, с ними подводный флот мог плавать во всех океанах. У нас-то нет заморских баз. Наш флот, выйдя из своих портов, вынужден, избороздив океаны, возвращаться туда же. Длительность пребывания в подводном состоянии могли обеспечить только атомные двигатели.

А помогали ли тут нам иностранцы? В том числе тайно? Упомяну в этой связи об Этель и Джулиусе Розенберг, которые, находясь в США, передали нам некоторые секреты. В свое время Сталин очень тепло отзывался о них. Были и другие лица, сочувствовавшие СССР. Когда-то настанет время, и окажется возможным рассказать обо всем открыто, выразив нашу признательность тем людям, кто отдавал свою жизнь, помогая Советскому государству противостоять всему империалистическому миру.

Когда мы заслушивали ученых относительно космоса и ракетно-ядерного вооружения, часто с докладом выступал Келдыш. Келдыш и Курчатов в нашем понимании тогда были связаны неразрывно как люди, работавшие над созданием баллистических ракет и ядерных зарядов к ним. Поэтому к Келдышу у нас тоже было особое уважение. Когда на одном

из заседаний Совета Министров СССР, пригласив туда президента Академии наук СССР Несмеянова, высказали в его адрес критические замечания, он, будучи спокойным и очень деликатным человеком, предложил: «Может быть, следует вместо меня назначить на пост президента Академии наук Келдыша?» Мы его поддержали: «Обсудим, подумаем». Вскоре пришли к выводу, что действительно полезно было бы выдвинуть Келдыша президентом. Несмеянов подал в отставку, а Келдыша поддержал научный мир, избрав его своим президентом.

До меня сейчас доходят слухи, что не все ученые довольны Келдышем. Это не должно никого удивлять: трудно, занимая такой пост, угодить буквально всем. В науке вообще много индивидуального, каждый ученый — со своим характером, своим пониманием дел и своими запросами. Предположить, что все могут одинаково относиться к президенту, невозможно. Я же считаю, что выдвижение Келдыша президентом было очень удачным решением.

С большим уважением относился я к вице-президенту Академии наук СССР Лаврентьеву. Я с ним познакомился, когда он работал еще в Академии наук УССР, где тоже был вице-президентом. Этот человек нравился мне своей простотой, настойчивостью при реализации программ и научной гениальностью. Он тоже многое сделал для обороны страны, привлекаясь как консультант по ряду вопросов оборонного строительства. Кажется, именно он подал идею создания у нас кумулятивных боеприпасов, в которых концентрируется взрыв в определенном направлении. Кумулятивный снаряд оказался очень действенным средством против брони. После войны его усовершенствовали. Однажды Лаврентьев предложил мне поехать на испытания: «Я покажу Вам заряд из взрывчатки определенной формы, положу его на лист железа, мы его подорвем, и он пронзит этот лист». Все так и произошло. Лаврентьев объяснил, что этот заряд не пробивает, а прожигает броню. Огромное он сделал дело на пользу страны.

В 50-е годы я поддержал его предложение создать особое отделение Академии наук в Новосибирске. Что касается его простоты, то не забуду, как этот большой ученый жил в палатке и ходил в кирзовых сапогах, когда в Сибири строили академические сооружения. Но главное не в том, как человек одет и что он носит — сапоги или цилиндр, это сугубо личный момент. Трезвость ума и пробивная сила Лаврентьева — вот что подкупало меня. Хорошо помню, как убедительно он доказывал необходимость создания академического филиала в Сибири, говоря, что наша страна огромна, а существует только один главный научный центр в Москве, это нерационально и неправильно. В качестве первого шага он считал полезным создать научный городок в Новосибирске, а потом и в других местах открыть такие же науч-

ные центры. Я спросил его: «И кто из ученых туда поедет? Это же Сибирь, пока еще пугало после смерти Сталина, там отбывали свой срок миллионы заключенных». — «Есть, — говорит, — такие люди». И показал длинный список: «Вот они готовы уехать в Сибирь, особенно молодые».

Мы поставили этот вопрос на Президиуме ЦК партии и поддержали предложение Лаврентьева, дали необходимые средства. Требовалось очень много денег, особенно строительным организациям, чтобы в короткий срок создать хотя бы основу филиала. Научное строительство — непрерывный процесс, который, как и непрерывный процесс развития самой науки, требует оснащения необходимыми лабораториями, создания условий для работы и жизни ученых. Душой нового дела стал сам Лаврентьев. Я несколько раз посещал Академгородок, когда бывал в Сибири, и смотрел на месте, как идет строительство. Лаврентьев привез туда семью и жил сначала очень скромно, как я увидел, побывав у него на обеде. Сейчас им и его детищем в Новосибирске гордится вся страна, и есть чем гордиться! Потом он предложил начать строительство такого же центра на Дальнем Востоке. Но по нашим материальным возможностям время к тому еще не подошло, и я сказал: «Пока не будем торопиться, слишком много нужд у страны, сосредоточим внимание на научном центре в Новосибирске, а когда станем богаче, обсудим, как заложить новый филиал Академии наук».

Несколько слов — о Капице. Мне хотелось бы, чтобы после моей смерти осталось правильное представление о моих взглядах относительно этого крупнейшего ученого, которого у нас считали одиозной личностью. Во времена Сталина отношение к нему было нехорошее. Но и после смерти Сталина у нас продолжала проявляться сдержанность применительно к Капице. Имелись ли какие-то основания, когда у нас бросались фразами, выражавшими ему недоверие или даже прямо гласившими, что он, дескать, шпион? Никаких таких фактов не было, и я лично никогда не сомневался в его гражданской честности. Однажды я случайно стал свидетелем того, как решался вопрос о насильственном задержании Капицы в СССР. Прежде я о нем ничего не слышал. Я находился тогда в кабинете Сталина, он вызвал к себе заместителя Председателя Совнаркома СССР Валерия Межлаука. Я Валерия Ивановича очень уважал и крайне сожалею, что он трагично окончил свою жизнь, будучи репрессирован Сталиным, как и многие другие неповинные люди. Когда Межлаук стал председателем Госплана СССР, я довольно часто с ним соприкасался, и он производил хорошее впечатление и как государственный деятель, отлично знающий свое дело, и просто как человек.

У нас в ту пору проходило какое-то совещание ученых. На него при-

ехал Капица, который работал в Англии, но имел советское гражданство. Сталин поручил Межлауку переговорить с Капицей, и потом тот докладывал Сталину, что Капица выразил нежелание оставаться в СССР. Капица доказывал, что для того, чтобы он мог свои знания разумно использовать, необходимы соответствующие условия: оборудование, приборы и прочее, без чего ученый не может с толком трудиться, как трудился он до того с английским ученым Резерфордом и под его руководством. В Англии он все необходимые условия имел. Сталин сказал Межлауку: «Передайте Капице, что мы сделаем все, чтобы создать ему желательные условия, построим для него специальный институт, но объясните твердо, что в Англию он не вернется, мы не разрешим ему выехать туда». Межлаук так и поступил, и Капица остался.

Лично от меня он был далек. Члены Политбюро и другие люди, принадлежащие к определенным ведомствам, которым было разрешено получать правительственные сводки прессы, знали, что за рубежом Капицу ценили очень высоко. Я полагал, что Сталин поступил правильно, действуя в интересах собственной страны. Ведь нам было необходимо использовать все возможности, чтобы повысить ее боеспособность и привлечь ученых к созданию средств обороны. Над какой конкретно проблемой работал тогда Капица, мне было неизвестно. При мне Межлаук доложил Сталину: «С волнением и огорчением, но Капица вроде бы согласился остаться». Тут Сталин предложил построить для него институт на Воробьевых горах. Ранее этот участок отвели под строительство посольства США. Послом США в СССР был Буллит. Он сначала приобрел у Сталина большое доверие и выдвинул идею построить посольство США на Воробьевых горах. Там и отвели участок. Но когда Буллит оказался не таким человеком, как нам хотелось, Сталин вознегодовал и предложил: «Давайте построим на том участке, который отводился под строительство посольства США, институт для Капицы». Там его и возвели. Когда я приезжал в Москву, то, любя прогуляться по Воробьевым горам, видел уже готовый институт и радовался, думал: «Вот здесь наши ученые-чародеи под руководством Капицы создают что-то необыкновенное».

Над чем они работают, я не знал, да и не спрашивал. При Сталине придерживались такого порядка: если тебе не говорят, то не спрашивай, тебя это не касается. Где-то под конец Великой Отечественной войны Сталин стал выражать недовольство Капицей: дескать, он не дает того, что может, не оправдывает наших надежд. Насколько были обоснованы его претензии, я не мог судить, но верил Сталину: раз он так говорит, значит, так и есть. Когда взорвались первые американские атомные бомбы, выяснилось, что мы отстали. Наши союзнические узы дали трещину, начиналась «холодная

война». А когда мы взорвали свою первую атомную бомбу, поднялся истошный вой в буржуазной прессе: эту бомбу русские получили из рук Капицы, вот он такой-сякой, крупнейший ученый, живущий там, только он и мог создать ее. Сталин даже возмущался: «Капица-то к ней абсолютно никакого участия не имел, вообще не занимался данным вопросом».

После смерти Сталина у меня сохранялось двойственное отношение к Капице: с одной стороны, признанный всем миром ученый, а с другой — не помог нам получить атомную бомбу раньше американцев или не стал потом участвовать в создании советской бомбы. И поэтому отношение у меня к нему было весьма сдержанное. Однажды Капица попросился ко мне на прием. Я слушал его очень внимательно, он рассказывал о важной теме, над которой хотел бы поработать, и просил оказать ему помощь, так как был отстранен от дел в его институте. Я расспрашивал о нем двоих ученых, включая Курчатова, и те меня особенно не обнадежили, пояснив, что данная тема не является самой острой с точки зрения государственных интересов. Мы тогда остроту научных тем измеряли лишь под углом увеличения обороноспособности страны, главными считались военные темы.

Спустя какое-то время Капица вновь попросился на прием, я его принял и сказал ему: «Почему бы Вам, товарищ Капица, не взять тему оборонного значения? Мы в этом очень нуждаемся». Он пространно объяснил мне свое отношение к военной тематике: «Я не люблю заниматься ею, я ученый, а ученые подобны артистам: любят, чтобы об их работе говорили, писали, показывали их в кино, военная же тематика секретна. Связаться с ней означает изолироваться, похоронить себя в стенах института, фамилия исчезнет из печати. Я же хочу быть на виду, чтобы о моей работе знала общественность». Такие рассуждения произвели на меня впечатление, и не в пользу Капицы. «Мы вынуждены, — ответил я, — заниматься военной тематикой, пока существуют антагонистические государственные системы. Чтобы выстоять, нам нужно ею заниматься, иначе нас задушат и разобьют». — «Нет, я не хочу заниматься военной тематикой», — не соглашался он.

Мне трудно было понять, как советский человек, видевший страдания нашего народа, которые принесла гитлеровская война, может так мыслить. Мы прилагали все усилия к тому, чтобы не повторилась война, все делали для подъема экономики, науки, культуры. Понятно, что без науки оборонную мощь нельзя создать. А тут крупнейший ученый с мировым именем отказывается нам помочь? На меня его слова действовали плохо. И я решил проверить себя, при очередной встрече спросил Лаврентьева: «Как вы оцениваете Капицу?» Лаврентьев дал ему исклю-

чительно высокую оценку. Между прочим при втором разговоре со мной Капица сказал, что он хотел бы поехать за границу. И я спросил Лаврентьева: «Капица хочет поехать за границу. Как вы относитесь к этому?» — «А что тут плохого? Нужно отпустить». — «Вы считаете, что он честный человек?» — «Абсолютно уверен, — сказал Лаврентьев. — Он чрезвычайно порядочный человек, и не только он, но и его дети. Капица патриот, а его сын, замечательный географ, тоже патриот своей Родины». Эти слова меня несколько успокоили, но я продолжал сомневаться. «А каково его отношение к военной тематике?» — продолжал я расспрашивать. «Он оригинал, — ответил Лаврентьев, — и действительно смотрит на военную тематику так, как сказал Вам».

Я начал склоняться к тому, чтобы разрешить Капице съездить за границу. «Ну, хорошо, вот мы его пошлем за рубеж, а знает ли он военную тематику, над которой работают наши ученые?» — задал я следующий вопрос. «Конечно, он все знает. Академики ведь общаются между собой, обсуждают научные проблемы, читают специальную литературу, к тому же это ученый огромного калибра, для него не существует секретов». Это меня опять насторожило. «А не может ли он где-нибудь проговориться на нежелательную тему?» — «Тут мне трудно целиком говорить за него, но я считаю его хорошим ученым и большим патриотом, который никогда не станет предателем». Однако это меня не убедило: одно дело — предательство, другое — просто разболтать, тут разные вещи. Мы обменялись мнениями в Президиуме ЦК партии и решили все же воздержаться от разрешения. Ведь в начале 1950-х годов СССР находился на низком уровне атомных вооружений, и мы не хотели, чтобы наши противники что-либо разузнали, хотя бы косвенно или случайно. У нас не существовало полной уверенности, что в разговорах со знакомыми учеными, которых у Капицы за границей очень много, он не скажет чего-то лишнего. С сожалением, но пришлось отказать ему в разрешении на поездку.

Впоследствии он опять побывал все же за границей, съездил туда с большим шумом, получил заслуженное признание, стал почетным академиком в разных странах и т.д. Я радуюсь за него и доволен, что наконец-то он обрел и за рубежом то, чего заслуживал. Может быть, я теперь испытываю даже некоторую ревность, что не я, когда мог, решил данный вопрос. Однако то, чего мы опасались в былые времена, перестало сейчас служить препятствием, когда мы стали признанной ядерной державой. Теперь за границу можно без боязни посылать почти любого человека, хотя бы мы и не были до конца уверены в нем. Какие уж сейчас секреты! За особым исключением, в сфере науки почти никаких. А мой долг как Председателя Совета Министров СССР требовал осторожности,

и я ее проявил. Но не было ли в ней отрывки сталинских времен? Возможно, возможно. Ведь столько лет я проработал под руководством Сталина. Не сразу освобождаешься от моральных наслоений, даже тех, которые сам осуждаешь. Этого я не отрицаю. Необходимо время, чтобы все осознать и отрешиться от ненужного.

Как я в принципе смотрел на требование держать границу на замке и от своих людей, а не только от иностранцев, желавших посетить Советский Союз? После смерти Сталина мы спустя несколько лет довольно широко открыли ворота для поездок в обе стороны. Туда и сюда хлынули люди разного мышления и различных политических убеждений. Иначе и быть не может, всякий народ состоит из лиц, придерживающихся неодинаковых взглядов, с этим приходится считаться и жить с теми людьми, которые имеются. Некоторые из лиц, выезжавших из СССР, не возвращались. Выезжали театральные коллективы, и какие-то их участники тоже оставались за границей. Меня это огорчало, но особенно не волновало. Бывали случаи, что человек не возвращался, а спустя какое-то время слезно молил, чтобы ему разрешили вернуться на Родину. Случалось, что я шел даже на риск, если речь не шла о государственной тайне. Могут у нас быть просчеты? Вполне. Но при ином подходе к делу придется встать на позицию Сталина, который каждого советского человека подозревал, что тот может быть завербован, поэтому лучше просто держать всех под замком в своей стране и установить здесь за всеми агентурное наблюдение. Так возникли очень тяжелые условия для жизни людей, особенно ученых или лиц, выступающих в сфере искусства.

Вспоминая времена гражданской войны. Когда я работал в политотделе 9-й Кубанской армии, то жил временно в буржуазной семье. Ее член, женщина с острым языком, проявляла смелость в разговоре с коммунистами. Она говорила: «Вот вы пришли к власти. Да вы же все растопчете. Разве вам оценить, например, такое хрупкое искусство, как балет?» И она была права. Мы тогда в балетном искусстве абсолютно ничего не понимали. Если видели открытки с изображением балерины, то считали, что женщина снята в неприличном виде. Не раз злословили в адрес Луначарского, который много сил и энергии затрачивал на поддержание старых театров. Полагали, что это слабость, его отклонение от коммунистических норм. Конечно, мы, люди заводов, шахт и крестьянских полей, тогда оставались далеки от высокого искусства. Сейчас, если бы я встретил ту женщину, сказал бы ей: «Вы помните наш разговор в 1920 году? Ваше пророчество, что Советская власть растопчет этот вид искусства? Теперь то видите, на какую высоту поднят в советское время балет?» Могут спросить, а почему я не допускаю такой же мерки в отношении Капицы? По-

тому что оборонные проблемы — не балет. Я не имел права рисковать, даже если кто-нибудь теперь скажет, что Хрушев поступил нечутко по отношению к такому большому ученому, как Капица. Возможно, я ошибся, как может ошибиться всякий смертный. Однако ошибка была допущена и Капицей, когда он отказался участвовать в работах по оборонной тематике. Значит, мы квиты.

Естественно, многое зависит от того, что считать секретом. Когда мы запускали в космос свои ракеты, никто не знал, кроме тех, кому следовало, кто их создатель. Никто не знал имени ни Королева, ни Глушко. Глушко внес не меньший вклад в это дело, чем Королев. Над корпусом и начинкой ракеты работал Королев, а Глушко трудился над двигателями. Его двигатель потряс весь мир. Не имея двигателя, мы не запустили бы и ракету. Преуменьшать роль людей, которые работают над двигателем, несправедливо. Хорошие летчики говорят: «С сильным двигателем я могу и на гробу летать». Конечно, не надо подходить к сему упрощенно, что, дескать, с таким двигателем можно летать и на метле. Обе части должны друг другу соответствовать. Но я возвращаюсь к нашим анонимным героям. Кто знает конструкторов советских атомных подводных лодок? При мне никто не знал. Правильно это? Видимо, да. Ведь вражеская разведка ни перед чем не останавливается. Зачем же раскрывать ей адреса и облегчать ведение работы против СССР? А Капица — это пацифист при любых обстоятельствах. И я за пацифизм, но только если появятся условия, исключающие войну. Пока что мы живем в мире, где нужно смотреть в оба и поддаваться одностороннему пацифистскому настроению, без учета международных обстоятельств, опасно. Нас могут слопать.

Когда мы усиленно занялись ракетостроением, на первый план среди конструкторов сразу вышел Королев. Я много встречался с этим интересным и страстным человеком. Вот уж кого нельзя причислить к непротивленцам злу. Королев умел проталкивать нужное, азартно отстаивал свои идеи. Это хорошо. Я, слушая его, восхищался. Кто первым проложил дорогу в космос? Путь к Луне? Королев! Надо было видеть его, когда он докладывал, чувствовать его горение, ощущать ясность его ума. Замечательный конструктор! С Глушко он потом разошелся. А жаль. Глушко тоже сыграл огромную роль в ракетостроении. Почему же они не сошлись навсегда? Их стали раздирать разногласия, им оказалось трудно вместе работать.

Я старался их помирить. Как-то пригласил обоих к себе на дачу с их женами. Мне хотелось, чтобы они отдавали свою энергию на пользу стране, а не разменивались на мелочные споры. Но из этого ничего не вышло. Королев потом совсем порвал производственные связи с Глушко и

избрал Кузнецова, еще сравнительно молодого, но тоже очень талантливое конструктора двигателей. Несмотря ни на что, именно Королев останется в памяти землян как человек, дерзнувший первым направить человека в космос. В этом недюжинном специалисте сочетались глубокое знание предмета, прекрасные организаторские способности, неограниченная воля и пробивная сила. Из жизни его вырвала нелепая смерть. Я знал, что он лег в больницу, и знал, что готовится к операции. Слышал от врачей, что операция несложна. Хирурги уже вымыли руки, считая, что все закончилось благополучно, как вдруг в результате шока Королева не стало. А он был в расцвете творческих сил и сколько мог бы еще сделать для человечества!

Из создателей воздушного флота СССР я лучше других знал Туполева-старшего. Мы с ним познакомились еще в 1931 году, когда я был избран секретарем Бауманского районного партийного комитета. Туполев возглавлял ЦАГИ — единственное у нас в ту пору учреждение, где занимались по-настоящему проблемами воздухоплавания. Он резко выделялся из остальной массы инженеров. Он был еще сравнительно молодым ученым и конструктором, но уже пользовался особым признанием. Сталин потом арестовал его и посадил в заключение. Там Андрею Николаевичу организовали конструкторское бюро. Я знал, что он находится в тюрьме, но Сталин об этом не говорил, а Сталина не положено было спрашивать. Впрочем, было известно, что и в заключении Туполев отдавал все свои знания на пользу Родине.

Как-то Туполев докладывал мне лично по одному из вопросов. Когда все ушли, он задержался: «Я хотел бы обратиться к Вам, товарищ Хрущев, с просьбой. Что же, так и потянется за мной хвост, что я сидел в тюрьме? Просил бы правильно оценить мою роль и реабилитировать меня. Иначе тень ложится не только на меня, но и на моих детей». — «Конечно, товарищ Туполев, — ответил я, — можете идти и спокойно работать, даю Вам слово, что мы обсудим этот вопрос и прикажем уничтожить документы, относящиеся к Вам, чтобы нигде и ни в каких анкетах Вам не пришлось писать, что Вы подвергались аресту». Я очень часто потом встречался с Туполевым, слушал его по вопросам развития бомбардировочной и гражданской авиации.

У этого большого ученого хорошая практическая хватка. Когда ТУ-95 показал, что он не способен выполнять свои функции бомбардировщика, преодолевая противоздушную оборону США, его предложили снять с производства. Туполев пришел ко мне и говорит: «Я понимаю военных, которые предложили снять с производства ТУ-95. Но другого-то бомбардировщика у нас сейчас нет, а этот еще послужит стране. Кроме

того, можно его переделать и на его основе создать пассажирский самолет». Эта мысль мне понравилась, я поставил вопрос на Президиуме ЦК партии, и мы приняли предложение Туполева, после чего он создал пассажирский самолет дальнего радиуса действия ТУ-114, по тем временам замечательную машину. Она произвела сильное впечатление, когда я на ней по приглашению президента Эйзенхауэра прибыл в США после беспосадочного перелета Москва — Вашингтон. Это мощно прозвучало в пользу Советского государства. Туполев создал и другие бомбардировщики, а также ракетносоцы. Он как конструктор очень плодovit и изготовил массу отличных самолетов.

Как-то мы с Туполевым сидели в Крыму на берегу Черного моря. Он перелистывал свои рисунки, где был изображен будущий красавец ТУ-144, сверхзвуковой пассажирский самолет, и знакомил меня с его характеристиками. Мы тогда приняли его предложение создать такой самолет. Сейчас он заканчивает испытания. Пока что в мире существуют только два подобных самолета — французско-английский «Конкорд» и наш, который вскоре выйдет на линии. «Конкорд» тоже неплох, а американцы такого самолета еще не имеют. Вряд ли у нас с Туполевым кто-либо может тягаться.

Конечно, есть и другие конструкторы, которые работали над созданием бомбардировщиков, истребителей, пассажирской и сельскохозяйственной авиации. Вот Антонов сделал могучую пассажирскую машину с большими грузоподъемностью и радиусом действия. У него получились полезные самолеты и для сельского хозяйства, и для Севера. Не хочу тем самым ни в коем случае принизить достоинства такого замечательного ученого и конструктора, как Ильюшин. Он тоже внес большой вклад в победу на войне, создав немеркнущие штурмовики. Бронированные штурмовики потрясали врага. Затем он изготовил гамму отличных пассажирских самолетов. ИЛ-62 мне уже не пришлось испытать пассажиром в воздухе. Когда я еще работал, этот самолет выкатили на аэродром, но выход его на гражданские линии задержался на ряд лет. Сейчас видно из печати, что Сергей Владимирович все-таки добился своего. Его самолет к началу 70-х годов стал лучшим дальнепассажирским в своем классе и по грузоподъемности, и по скорости.

Сегодня воскресный ясный солнечный день. Теперь я узнаю числа по газете. Продолжаю свои воспоминания о беседах с Туполевым и его предложении построить атомный бомбардировщик. Когда я отдыхал на даче близ Ливадии, отдохавший по соседству Туполев частенько захаживал ко мне, от его санатория до моей дачи семь минут хода. Чаше всего он приходил с папкой и что-нибудь показывал. А на этот раз он принес конкретное предложение: «Хочу изложить свои соображения о возможности построить бомбардировщик с атомным двигателем». Он станет делать самолет, а за изготовление атомно-

го двигателя брался авиаконструктор Кузнецов. Тот самый, который потом далеко ушел в строительстве двигателей для самолетов и ракет. Речь Туполева звучала очень заманчиво. Предлагался самолет с неограниченной дальностью полета. Мы мечтали о самолете с дальностью полета тысяч в 20 километров. ТУ-95 достигал 18 тысяч, но это казалось нам маловато. Дело упиралось, однако, не только в дальность, а и в скорость, высоту и грузоподъемность. «Какими они будут?» — спросил я Туполева. «Дальность почти неограниченная, высота та же, которую имеет ТУ-95, и скорость та же, то есть как у дозвукового самолета». — «Но, Андрей Николаевич, — возразил я, — такие высота и скорость нас не устраивают. На них самолет не преодолет границу огня наших вероятных противников». — «Пока наука и техника нам больших возможностей не дают, а далее будем повышать».

«Тогда какой же смысл строить его сейчас?» — удивился я. «Ну, это Вам решать, а я докладываю, что есть техническая возможность сделать бомбардировщик с атомным двигателем». Я постарался в ответ выразить свое несогласие помягче, но не очень-то у меня получилось. «А может быть, сделать пассажирский атомный самолет?» — задал я встречный вопрос. «О нет! О пассажирском не может быть и речи, — замахал руками Туполев. — Двигатели на ядерной энергии пока несовершенны. Мы не можем обеспечить полную защиту пассажиров от радиации. Если еще с большими трудностями и сумеем защитить экипаж, то для пассажиров потребуется огромный вес самолета. Это невозможно. К тому же такой самолет будет заражать аэродром». — «Раз невозможно, то откажемся». Сейчас точно не помню, сколько стоил бы этот самолет. Туполев назвал огромную сумму. Требовались большие научные и экспериментальные работы, что тоже влетало в копеечку, и рассчитываемость на длительное время. Андрей Николаевич не проявил тогда своей обычной страстности и просто предложил товар покупателю, а покупатель пусть уж сам решает, подходит ли ему товар.

Мы договорились отложить данный вопрос. О строительстве пассажирского самолета и думать было нечего, а бомбардировщик с такими характеристиками нас не устраивал. Мы не собирались затрачивать деньги впустую. Конечно, разработка могла пригодиться в будущем. Но сейчас грандиозная затрата денег повлечет за собой истощение бюджета. «Давайте, — сказал я, — ограничимся теоретической разработкой, чтобы выделить средства только на исследовательские работы. Их можно продолжать, но не надо форсировать. Возможно, то, что сегодня нельзя сделать, завтра станет реальностью». В то время Люль-

ка тоже брался за строительство атомного двигателя. Его модель оказалась такой тяжелой, что ее невозможно было поднять в воздух. Мы не особенно огорчались, поскольку уже приняли решение сосредоточиться на выпуске ракет и вели необходимые серийные работы.

Что касается Туполева, то с ним всегда приятно было беседовать. Порой с конструктором случается так, что если не примешь его идею, то сразу почувствуешь надутость и холодность с его стороны. У Туполева я такого никогда не ощущал. Что касается упомянутой беседы, то у меня сложилось впечатление, что он хотел обменяться мнениями по данному вопросу, поскольку у него самого еще окончательно новая идея не созрела. Он высказал свои соображения как ученый и конструктор, а потом внимательно отнесся к моим замечаниям. Мы друг друга поняли и приняли правильное решение. Вернувшись в Москву, я сообщил руководству страны об этой беседе (а я всегда старался, чтобы такие решения принимались коллективно). Индивидуальность должна проявляться в инициативе, но крупное решение государственного значения обязательно следует принимать на коллективной основе. Когда я возглавлял правительство и ЦК партии, никогда единоличные решения такого рода не принимались. Да и принять их было невозможно в тех новых общественных условиях, созданию которых я же и способствовал.

Возвращаясь в своей памяти к 30-м годам, вспоминаю и крупнейший пассажирский самолет Туполева того времени, названный «Максим Горький». Он поднимал в воздух свыше 50 человек. К несчастью, он разбился, но не по вине конструктора, а в результате ухарского поведения летчика, сопровождавшего его на истребителе И-5, который пустили рядом, чтобы противопоставить его размеры гиганту. Я четко сохранил в памяти то печальное событие, весенний день. Я находился на даче, когда сообщили, что разбился самолет «Максим Горький». О нем много шумели в печати, радовались, что у нас есть самолет такой грузоподъемности. Мы тогда рассчитывали, что каждый пассажирский самолет можно будет использовать как бомбардировщик или как военный транспорт. А тот ухарь хотел сделать как будто воздушную фигуру, обернувшись вокруг крыла «Максима Горького», и просчитался, сам погиб и погубил всех пассажиров, которые совершали над Москвой праздничный торжественный полет.

Потом я как первый секретарь Московского комитета партии занимался организацией похорон. Сталин очень рассердился и излил свой гнев на меня и на председателя Моссовета Булганина. Захоронение производили в крематории. Туда свезли трупы, сожгли их, а урны привез-

ли в Колонный зал Дома Союзов, где выставили для доступа всем желающим отдать последние почести погибшим. Процессия растянулась на полгорода. Сталин, как бы в наказание за то, что мы допустили катастрофу, зло произнес: «Пусть Хрушев с Булганиным и несут урны всю дорогу». Но я считал за честь для себя участвовать в похоронной процессии, а по пути в крематорий почему-то все время думал о красном цвете, в который ради контраста был окрашен несчастный истребитель.

Кончается солнечное воскресенье, а вчерашняя суббота была дождливой. У меня на веранде цветы посеяны в ящиках. Удивительно: на расстоянии трех метров получилось одно место градобойное и одно неповрежденное, одни цветочки побил град, а другие буквально рядом целехоньки, как будто ножом отрезало. Так бывает в природе. Вот почему от града посевы страдают меньше, чем от засухи. Град никогда не распространяется на большие площади, а засуха может довести страну и до голода.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ ИЛИ МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?

Сегодня — 8 мая 1970 года, завтра наша страна отмечает День Победы. Мы одержали победу с оружием в руках. А сегодня люди, с которыми я встречаюсь, частенько спрашивают меня о гонке вооружений, развернувшейся между соперничающими державами. Она поглощает огромные ресурсы. Если бы удалось прекратить гонку вооружений, мы сохранили бы массу средств, которые народ вынужден сейчас отдавать на вооружение. Это — мечта политического руководства СССР. Казалось, теперь мы вышли на рубеж, когда можно остановиться и направить средства на удовлетворение потребностей людей. Но пока что это иллюзия, на практике получается совсем иначе. Наука развивается, техника совершенствуется, появляются все новые и новые виды вооружения, которые превосходят вчерашние. Все страны в одинаковой степени пользуются такими «благами прогресса», этим бичом, подстегивающим конкурентов и разжигающим стремление к перевооружению. И опять выделяют на это большие средства.

В свое время моя встреча с президентом Эйзенхауэром, когда мы оба высказались за разоружение, окончилась тем не менее ничем. Она оказалась малопродуктивной именно потому, что мы не смогли договориться о прекращении гонки вооружений. А сегодня существует ли какой-то проблеск? Появилась ли возможность сдвинуть все страны в сторону понимания необходимости прекращения гонки вооружений? По-моему, есть такой свет в конце туннеля. Не проявляя трусости и не позволяя запугать себя, политическое руководство страны обязано иметь трезвый взгляд на соотношение сил в мире, чтобы, сделав прогноз на будущее, смелее идти по пути разоружения. Если правительство даст вовлечь себя в непрерывную гонку вооружений и не найдет в себе мужества сделать все, что в его силах, для прекращения этой гонки, то такая политика приведет к истощению ресурсов страны, она бесперспективна.

Что понимаю я под трезвым анализом обстановки? Как, идя на разоружение, сохранить СССР в состоянии готовности к отражению агрессии? Главное заключается в том, что сейчас великие державы имеют глобаль-

ное вооружение такой мощи и в таком количестве, что можно легко и быстро уничтожить весь мир. Если правильно оценить соотношение накопленного оружия, то появится возможность ограничить затраты на оборону. В свое время я говорил: «Даже при наличии договоренности о неприменении ракетно-ядерного оружия, если разразится война с использованием старых средств, а потом стрелка успеха начнет клониться в пользу одной стороны, то в последнюю минуту, когда иного выхода не останется, другая сторона, терпящая поражение, рискнет пойти на применение термоядерного оружия». Вот из чего следует исходить. Это, конечно, плохо, потому что опасность термоядерной войны продолжает висеть над человечеством. Но она же может сыграть положительную роль, когда здравое руководство разных держав не позволит втянуть себя в истребительную войну.

Кое-кто скажет, что эту теорию опровергает жизнь. Тянется война США во Вьетнаме. Осуществляются агрессивные вылазки в разных зонах земного шара. Постоянно державы, от которых напрямую зависит сохранение мира, выходят на грань большой войны. Но если обе конфликтующие стороны избегут ее перерастания в термоядерную катастрофу, то удастся предотвратить конечный крах. Кубинский кризис явился как раз таким испытанием, а окончился разумной договоренностью. Достигнуто равновесие основных сил, иначе говоря — равновесие страха, о котором прежде говорил Джон Фостер Даллес, балансировавший на предпоследнем мирном рубеже, но ни разу его не переступивший. Когда Даллес умер, Громыко не захотел ехать на его похороны. Мне пришлось ему доказывать, что он неправильно поступает, и порекомендовать ему поприсутствовать на церемонии похорон своего бывшего противника. И не только в порядке общепринятых норм вежливости, а и потому, что при всех своих агрессивных замашках Даллес продемонстрировал тот факт, что разум всегда должен быть сильнее безрассудства.

Как нам быть дальше? Сейчас в мире имеется примерно равное соотношение сил двух лагерей. Здесь вопрос не в арифметике, а в другом. Вновь напомним слова президента Кеннеди: «Мы, Соединенные Штаты Америки, располагаем термоядерным оружием, которым можем дважды уничтожить Советский Союз. Но и Советский Союз располагает термоядерным оружием, которым он может уничтожить США единожды, так что второго раза уже не понадобится». Вот признание нашей силы. Ничего иного не требуется, потому что до второго раза у противника просто дело не дойдет. Даже находясь на грани войны, следует получше определять эту грань, чтобы не переступить и не оказаться уничтоженным. Остальное оружие не будет решающим фактором для определения

принципиальной политической линии, когда речь пойдет не о локальных конфликтах, а о мировом столкновении. Что значит сегодня превосходство, например, в пехоте? То есть, как выражаются военные, в пушечном мясе? Сейчас уже не то время, когда количество солдат или даже полководческое умение решали успех дела. Сегодня все зависит от умения управлять термоядерным оружием. А отсюда вытекает, что СССР, никому не диктуя своих условий, в состоянии навязывать политику разоружения.

Почему я так думаю? Вот мы сократили свои вооруженные силы почти вдвое. Ну и что? Стали слабее? У нас появилось больше страха перед войной? Ничего подобного. Значит, спокойно можно уменьшить количество старого, обычного оружия. Мы ликвидировали свою базу в Финляндии. Разве от этого наши позиции ослабли? Наоборот, и позиции не ослабли, и международный климат улучшился.

Я всегда был и остался сегодня сторонником сокращения вооруженных сил, вывода всех национальных войск с территории других стран, ликвидации там своих баз. Это выгодно для всех. При существующих ныне международных условиях СССР располагает полной возможностью проводить независимую политику в вопросах вооружений и разоружения. Нам незачем идти на поводу у милитаристов, поддаваться на провокации. Капиталистические страны всегда будут подбрасывать нам идею соревнования в сфере вооружений, навязывать нам большой военный бюджет, чтобы таким способом истощать наши силы и не позволять народам социалистических стран использовать их средства на развитие экономического потенциала, удовлетворение растущих материальных и культурных потребностей людей. Военные расходы — это бездна, в которой понапрасну пропадают ресурсы. Естественно, самое лучшее — договориться с капиталистическими странами о прекращении гонки вооружений и разоружении. Но для этого требуется абсолютное доверие. Полагаю, что сейчас абсолютное доверие между антагонистическими системами невозможно. Но в силах обеих сторон договориться о конкретных мероприятиях. Сумели же мы в 1963 году достичь договоренности о прекращении испытаний ядерного оружия в трех средах — в воздухе, в космосе и под водой. Такие договоренности, нарастая по разным линиям, в совокупности резко облегчают бремя военных расходов и сократят вероятность термоядерной войны.

Да, капиталистическим странам выгодна гонка вооружений. Мы же, принимая ее, как бы даем им какое-то оправдание проведения такой политики. Но могут сказать и наоборот: что прекращение нами гонки вооружений и производства средств ведения войны будет означать подчинение чужой политике... Ничего подобного! Термоядерные ракеты долговремен-

ного хранения удержат противника от нападения на нас. Проведение своей политической линии требует от руководства СССР стойкости и прозорливости, умения не дать вовлечь себя в соревнование по растранижению национального дохода на средства истребления и одновременно иметь все необходимое для защиты страны. Мы должны строить свой оборонный бюджет, не поддаваясь никакому влиянию милитаристических кругов извне и изнутри.

Почему — и изнутри? Потому что и у нас существуют люди, которые заинтересованы в росте вооружений. Они могут толкать правительство в неверном направлении. Тут прежде всего военные, желающие командовать армиями большого состава. Они всюду доказывают правительству, что противная сторона обладает, дескать, таким оружием, которого нет у нас и которое нам жизненно необходимо. Нельзя поддаваться их влиянию, правительство само должно определять военную политику. Затем, с такими людьми тесно связаны те, кто производит оружие. Говоря общепринятыми словами, военно-промышленный комплекс. Третья группа лиц такого рода — часть общества, которая поддается на демагогическую пропаганду и начинает давить на правительство в том же направлении. В подобных случаях ответственные руководители должны не бояться идти на конфликт, как не испугался я конфликта ни с адмиралом Кузнецовым, навязывавшим ненужную программу строительства огромного надводного флота, ни с маршалом Варенцовым, рычавшим на ракетную технику, ни с конструктором Туполевым, подсовывавшим атомный бомбардировщик.

Нельзя идеализировать людей, считая, что раз они коммунисты, то автоматически занимают правильную позицию. Ерунда! Сталин тоже был коммунистом, что не помешало ему стать извергом. И Мао был коммунистом, что не помешало ему напасть на братский Вьетнам. Если военные или промышленники сумеют навязать милитаризацию социалистической стране, это приведет ее не к спасению, а к краху. При современном соотношении сил капиталистические страны вряд ли решатся на вооруженное столкновение с СССР, хотя и будут проводить подрывную политику против нас. Но это я считаю нормальным, потому что такая политика вызывается классовым антагонизмом. Мы тоже не отказываемся от идеологического противостояния со всеми сопутствующими ему мероприятиями, однако за исключением ведущих к катастрофе.

В идеологической борьбе мирного сосуществования, на мой взгляд, быть не может, и эта борьба должна закончиться победой коммунистического мировоззрения. Но подобное противостояние не противоречит полезным для всех контактам в сферах экономики, культуры и прочего. И если бы сейчас я имел какое-то влияние на исход двусторонних или

многосторонних переговоров, то решительно пошел бы на поиски соглашения об установлении контроля над вооружениями. Сегодня полный обоюдный контроль нам не страшен. Напротив, такой контроль станет еще одним фактором, ведущим к всеобщему умиротворению. Ныне на взаимной основе можно пойти на самую широкую инспекцию. Все боятся гибели, и контроль тоже нужен всем. Спокойно можно пойти на установление наземного и воздушного контроля на всей территории всех стран земного шара. Он никому не помешает иметь в наличии силы безопасности, необходимые для охраны границ и наведения порядка.

Избавляясь окончательно от рецидивов сталинской болезни, хорошо бы образовать международные органы контроля над вооружениями. Полезно опубликовать советскую программу разоружения, постоянно согласовывать ее реализацию, хотя бы поэтапно, с капиталистическими странами и мобилизовать мировую общественность на борьбу за ее превращение в жизнь. Тем самым мы должны отказаться взирать на мир через очки ограниченной касты военных, через отраслевые очки военных промышленников, через очки запуганных пропагандой мешан. Надо видеть реальную ситуацию ясными глазами непредвзятых людей, ставящих на первый план доводы разума и интересы большинства трудящихся.

В свое время я обсуждал эти проблемы с маршалом Жуковым, когда он был министром обороны СССР. У меня с ним были в ту пору наилучшие отношения вплоть до времени, когда своими неразумными действиями он толкнул нас на снятие его с поста министра. Мне в нем нравилось, что, когда мы обсуждали возможность достижения с США какой-то конкретной договоренности насчет разоружения, в том числе допущения инспекции на нашей территории, он, в отличие от многих военных, не проявлял ведомственного твердолобия, которое иной раз отмечается у людей, носящих мундир. Он не только соглашался насчет того, что необходимо сокращение вооруженных сил, но и предложил уменьшить оклады некоторым категориям военнослужащих. Человеком, умевшим рассуждать и глубоко проникать в вопросы, был и маршал Соколовский. Когда я имел дело с ним как с начальником Генерального штаба, то после обмена мнениями мы тоже всегда находили общий язык.

Понятно, что для этого требовались соответствующий уровень развития, способность отойти от узковедомственной позиции, наличие широкого кругозора. Мало кричать «Мы всех разобьем!», нужно конкретно представлять себе, что означает «разобьем», как этого достичь, какие окажутся последствия для того, кто «разобьет», поскольку в термоядерной войне не будет в конечном счете ни побежденных, ни победителей.

Она станет войной всеобщего поражения. В истории таких войн пока не было. И никакая счетная машина нам не поможет подсчитать неисчислимы и убийственные для всех потери человечества в результате нее. Я не паникую. Мне 76 лет. Я не на ярмарку еду, а давно уже с ярмарки и не знаю, сколько еще судьба отведет мне лет. Поэтому говорю о будущем, о своем народе, о потомках.

Средства защиты, которые создаются на случай термоядерного побоища, — глубокие убежища, командные пункты и прочее, превратятся в склепы с заживо погребенными. Будут уничтожены и те, кто создавал эти средства уничтожения. Единственный путь к спасению человечества — добиться соглашения на основе взаимного доверия. Тут нечего пытаться перехитрить, как-то обставить противную сторону. Партнер, с которым пойдут переговоры, так же умен, как и ты. Тем более не удастся обмануть общественность. Поэтому надо идти на переговоры по-честному, чтобы в их итоге обе стороны обрели равные возможности по всем линиям и, следовательно, уверенность в своей безопасности. Я сейчас не остановился бы ни перед чем, чтобы достичь соглашения! «Ни перед чем» означает не капитуляцию, а взаимную договоренность. То, что я предоставлю противной стороне, она пусть предоставит и мне.

А как быть тогда с мечтой о коммунизме на земном шаре? Мы, коммунисты, верим в свои идеи, в прогресс, в неумолимое развитие общества на пути к справедливой общественно-экономической формации. И мы уверены, что со временем изменятся условия в капиталистических странах, народы которых (пока что не знаю когда) рано или поздно отыщут способ установить тот строй, который их устраивает и при котором не останется эксплуатируемых и эксплуататоров. А сегодня надо сохранить мирное сосуществование, провозгласив его главной целью человечества. Наличие ракетного и термоядерного оружия как взаимно сдерживающее средство будет гарантом против злоупотребления доверием, как бы регулятором страха, чтобы агрессор знал, что возмездие неотвратимо.

Не знаю, *что* в моих воспоминаниях получится из очередного замысла. Хотелось бы сказать об отношении в СССР к интеллигенции. Вряд ли я сумею охватить все те направления жизни, где трудится наша интеллигенция. Но она в первую очередь, идейно воздействуя на общество, осуществляет то дело, над которым бьется Коммунистическая партия. С технической интеллигенцией вопрос обстоит чуть проще. Да и отношения партийных органов с ней проще, поскольку эти люди проявляют свои энергию и интеллект в основном применительно к конкретным предметам, служащим обществу. Своей непосредственной деятельностью они не вторгаются напрямую в сферу духовной жизни и проблемы идеологии. Поощрение их труда определялось пользой тех их разработок, которые поднимали какую-то отрасль производства на новую ступень. Соответственно строилось отношение к данному лицу или группе лиц.

Самый острый и наиболее скользкий участок — отношения с той частью творческой интеллигенции, которая обнимает собой журналистов, философов, писателей, художников, скульпторов, музыкантов и всех, им подобных. Они не создают материальных ценностей, без которых организм человека не может существовать, зато они вдохновляют общество на труд во всех иных областях человеческой жизни, вторгаются и в политику, а также обогащают людей образцами литературы, искусства и в прочих гуманитарных сферах. А поскольку в идеологии Коммунистическая партия стремится занимать монопольное положение, то ее заинтересованность в привлечении этой интеллигенции на свою сторону не нуждается в разъяснении.

Многое здесь крайне субъективно. Допустим, ответственный партиец включил радио, чтобы послушать музыку, а она ему не понравилась или же настроение было скверным, и он выключил приемник. Потом выяснилось, что ее автор — Чайковский или, допустим, Прокофьев. Как отнестись к данному творению? Тут имеют значение и обстановка, и внутренняя содержательность слушателя, и его воспитание, и многое иное. Получается, что решение надо выносить через понятия «нравится», «не

очень нравится», «не нравится». А результат потом скажется и на судьбе автора, и на всем обществе, которое может нечаянно лишиться прекрасного творения. Как избежать вкусовщины? Особенно если учесть, что одно и то же сочинение может в различные периоды жизни вызывать несовпадающие впечатления. Несколько легче — с творением писателя. Этот труженик работает, как каменщик или даже как токарь, шлифует свое произведение с разных сторон. Он автоматически вторгается во все сферы общественной жизни, выражая отношение к ним через своих персонажей, так что в литературе даже не очень умному человеку порой становится все ясно. Сложнее оценить произведение композитора, художника.

Хочу вернуться к тому, как относился Сталин ко всем видам интеллигентного труда. Он понимал их общественное значение. Но главным оказывалось то, насколько он был снисходителен, терпим, уважителен в каждом конкретном случае. Сталин был весь начинен субъективизмом. Между тем от одного его слова тогда зависело будущее любого человека. Его субъективизм иногда сильно способствовал развитию каких-то творческих направлений, а иногда сковывал, не давал развернуться и показать себя, иногда же приводил к гибели и людей, и их творений. Были ли, допустим, такие писатели, которые не чувствовали этого гнета, трудились без всяких внешних и внутренних ограничений? Мне трудно говорить за них. Пусть скажут они сами, а я думаю, что вряд ли. Ведь Сталин был деспотом, и его воля определяла всю государственную политику. А все деспоты хорошо относились к литераторам лишь при условии, если те хорошо писали о них и их эпохе. Сошлюсь на общеизвестный пример. Зачем Александр I и Николай I терзали Пушкина? Ведь исторические заслуги Пушкина перед Родиной и ее литературой стали очевидными еще при его жизни. Однако он провел в административных ссылках не один год и испытывал на себе все последствия капризов царей и их присных. Таких примеров в прошлом человечества можно найти тысячи.

А в настоящем? При Сталине довольно долго отвечал по политической линии за советское искусство Ворошилов. Он был без ума от художника Александра Герасимова. Соглашусь, что последний был хорошим художником. Однако он нравился Ворошилову прежде всего за то, что восхвалял его в своих картинах. То же можно сказать о песенниках. Те композиторы, которые создавали песни определенного стиля и жанра, особенно если в них выпячивались конкретные персоны, становились придворными сочинителями, награждались и выдвигались. Деспоты приближали их к себе и всячески поощряли. Это не мешает признавать многие такие творения замечательными в чисто художественном аспекте.

Тут переплелось одно с другим. Или возьмем писателя Фадеева. Талантливый человек. Его произведение «Разгром» о дальневосточных партизанах производит потрясающее впечатление. «Молодая гвардия» — тоже отличный роман. Но талантливых или даже гениальных писателей у нас все же хватало. Отчего же Сталин в послевоенное время особенно благоволил именно Фадееву? А потому, что во время репрессий, возглавляя Союз писателей СССР, Фадеев поддерживал линию на репрессии. И летели головы ни в чем не повинных литераторов. Достаточно было кому-нибудь написать, что в магазине продают плохую картошку, и это расценивалось уже как антисоветчина.

Трагедия Фадеева как человека объясняет и его самоубийство. Оставаясь человеком умным и тонкой души, он после того, как разоблачили Сталина и показали, что тысячные жертвы были вовсе не преступниками, не смог простить себе своего отступничества от правды. Ведь гибла, наряду с другими, и творческая интеллигенция. А Фадеев лжесвидетельствовал, что такой-то и такой-то из ее рядов выступал против Родины. Готов думать, что он поступал искренне, веруя в необходимость того, что делалось. Но все же предстал перед творческой интеллигенцией в роли сталинского прокурора. А когда увидел, что круг замкнулся, оборвал свою жизнь. Конечно, надо принять во внимание и то, что Фадеев к той поре спился и потому утратил многие черты своей прежней личности. Вот собирает Сталин Комитет по Сталинским премиям (это надо было дойти до жизни такой, чтобы самому делить премии собственного имени!), докладывает же представления к награждению Фадеев. А когда все заканчивается, Сталин говорит о нем: «Еле-еле держится на ногах, совершенно пьян». Все это видели, об этом все знали. Не раз руководство ставило на ноги милицию и чекистские органы, чтобы отыскать его в каком-нибудь злачном месте. Вот до какого состояния дошел Фадеев, терзаемый угрызениями совести. Он изжил себя и к тому же боялся встретиться лицом к лицу с теми писателями, которых он помогал Сталину загонять в лагеря, а некоторые вернулись потом восвояси. Такова мера лишь одной из множества ошибок, которые можно наделать применительно к творческой интеллигенции.

Коснемся Твардовского. Его стихотворения были на устах миллионов людей — и солдат, сражавшихся с гитлеровскими ордами, и тружеников военного тыла. Его поэма о Василии Теркине — бессмертное произведение. Как у нас Демьяна Бедного все знали во время гражданской войны, так буквально всем был известен и Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Потом о его поэмах были написаны целые книги, а их героев изображали на картинах. Сталин с умилением смотрел на кар-

тину с Василием Теркиным. Когда он впервые ее увидел, то сразу же предложил: «Давайте повесим ее в Кремле». Ее и повесили там, перед входом в Екатерининский зал. Если, выходя из зала заседаний Верховного Совета СССР, повернуть направо, то можно было увидеть Теркина в кругу бойцов после сражения. А ныне завершается творческий путь Александра Трифоновича Твардовского без почета. Но ведь дело не в том, что он сейчас кому-то не угоден. Не признавать великой роли его творчества нельзя. Все равно его признал народ. Стало быть, опять налицо субъективизм, меняющийся от одного руководящего лица к другому.

Скажу несколько слов о Пастернаке. Я не берусь судить о его поэтическом творчестве и могу лишь воспользоваться мнением тех поэтов, которые очень высоко ценили созданное Пастернаком, включая его переводы с иностранных языков. Он среди прочего написал роман «Доктор Живаго» и очень хотел, чтобы его напечатали. Как решался вопрос об этом произведении? Докладывал мне о нем Суслов, шефствовавший над нашей агитацией и пропагандой. Без Суслова в таких вопросах не могло обойтись. Он сообщил, что данное произведение плохое, не выдержано в советском духе. В деталях его аргументов не помню, а выдумывать не хочу. Одним словом, недостойная вещь, печатать ее не стоит. Такое решение и приняли. Полагаю, что на той стадии событий, кроме Суслова, никто из ответственных лиц романа не читал. Я сомневаюсь даже, что и Суслов его прочел. Ему тоже, наверное, дали справку с изложением содержания произведения на трех страничках. Конечно, так судить о творчестве, вынося приговор произведению и его творцу, недопустимо! Ну, а где же был ты сам, спросят меня? Отвечу: о чем я сожалею, заканчивая сейчас свой жизненный путь пенсионером в своей ссылке на даче в подмосковном районе Петрово-Дальнее? О том, что в годы, когда я имел возможность влиять на решения — печатать или не печатать, принять или не принять точку зрения докладчика, — не прочитал эту книгу сам. Я не читая поверил и пошел на административные меры, самые вредные в отношении творческих людей.

Естественно, поднялся страшный гвалт и шум за границей, когда рукопись оказалась там и ее опубликовали. Не знаю, насколько это произведение отвечало критериям Нобелевской премии, но Пастернаку ее присудили. Поднялся еще больший шум: советское правительство не разрешает писателю получить премию. Я предложил коллегам: «Давайте сообщим публично, что Пастернак, если желает, может поехать за границу для получения своей премии». Но в силу определенных обстоятельств он ответил через газету, что не ставит вопрос о своей поездке за границу во имя этой цели. Доныне жалею, что в свое время данный роман не был

напечатан. Нельзя же полицейскими методами выносить приговоры творческим людям. Что особенного произошло бы, если бы «Доктора Живаго» опубликовали тогда же? Да ничего, я уверен! Мне возразят: «Поздно ты спохватился». Да, поздно, но лучше поздно, чем никогда. Не надо было мне поддерживать в таких вопросах Сулова. Пусть признание автора зависит от читателя. А получилось по-другому: автор трудился, его признали во всем мире, а в СССР административными мерами запрещают...

Я горжусь, что в свое время поддержал одно из первых произведений Солженицына. Пришел тогда ко мне на прием Твардовский, принес это сочинение, изложил его содержание и высказал свое мнение: «Я считаю данное произведение чрезвычайно сильным и вижу в авторе будущего большого писателя. Тема, которую он поднял, может вызвать разное к себе отношение. Прочтите сами. А я просил бы не препятствовать нам напечатать повесть в журнале «Новый мир»... Пришло по радио известие, что погибли наши космонавты. Прекращаю диктовку, не в состоянии продолжать...

Возвращаясь к записи воспоминаний. Биографии Солженицына я не помню. Мне докладывали раньше, что он долгое время сидел в лагерях. В упоминаемой повести он исходил из собственных наблюдений. Прочел я ее. Тяжелое она оставляет впечатление, волнующее, но правдивое. А главное, вызывает отвращение к тому, *что* творилось при Сталине, потрясают условия существования простых людей. Не случайно наш читатель ухватился за эту повесть. Все искали объяснения тому, как могло получиться, что люди, подобные Ивану Денисовичу, попадали в лагеря в условиях социалистической страны. Автор пробудил спящее сознание многих и многих.

Уже находясь на пенсии, я прочел воспоминания генерала Горбатова, который был репрессирован. Я знал Горбатова по войне. В конце 1941 года он попал на наш фронт под Харьковом. Еще тогда я как член Военного совета побеседовал с ним. Он не рассказывал подробностей о лагерях, а говорил только о тех советских генералах, которые безвинно оставались в тюрьме. Называл их по фамилиям. Тимошенко тоже слушал его с особым интересом, потому что хорошо знал этих людей. За двоих из них мы ходатайствовали тогда, написали Сталину просьбу освободить их и прислать к нам на фронт. А теперь я узнал в деталях, как издевались над честным советским военачальником Горбатовым. Да мало ли было таких?

Что до Солженицына, то он продолжает писать, но печатают его не у нас, а за границей. Тут он находится в «особых условиях». Однако часть

нашей интеллигенции сочувствует ему и даже идет при этом на риск. Говорят, он живет на даче Ростроповича, прекрасного музыканта, знаменитого виолончелиста. Решившись на такой шаг, тот поставил себя в невыгодное положение, мягко говоря. Это свидетельствует о человеческом достоинстве и сильном духе Ростроповича. За Солженицыным же нет никакого преступления. Он высказывает свое мнение, пишет о своих переживаниях, о личной оценке тех условий, в которых он коротал свои дни в лагерях. И в целом его мнение абсолютно правильно: Сталин был преступником, а преступников надо осудить хотя бы морально. Самый сильный суд — заклеить их в художественном произведении. Почему же, наоборот, Солженицына сочли преступником? Если он плохо пишет, люди читать его не будут. Если клеветает, можно привлечь его к ответственности, но на юридической основе. Видимо, привлекать-то не за что. А правды боятся. Художественная сторона дела в данном случае ни при чем. Например, сочинение «Матренин двор» Солженицына мне не понравилось, но это ведь дело вкуса. Надо лишь не препятствовать людям самим приобретать мнение.

Вообще же наиболее страдающая категория советского населения — наша интеллигенция. Творческие личности отображают в своих произведениях отношения между людьми, их духовные переживания, их контакты с властями и окружающей средой. Здесь писатель нередко попадает в тяжелую ситуацию. Начинают вмешиваться в его работу, контролировать его, вводить цензуру. Говорят, что у нас нет цензуры. Это чепуха! Болтовня для детей. У нас не только самая настоящая, но я бы сказал, даже крайне жестокая цензура. Мне вспоминается судьба книги Казакевича «Синяя тетрадь». Интересная книга. По ней потом сделали кинофильм, я его дважды смотрел по телевизору. Правда, Зиновьев там показан робко. Он тогда вместе с Лениным, после июльских событий 1917 года в Петрограде, скрывался в шалаше. Мне автор книги передал небольшое письмецо и приложил к нему рукопись с просьбой ознакомиться. Эту рукопись не принимали в печать. Я прочел, и мне понравилось. Не заметил в ней ничего такого, что могло бы побудить не принять ее к публикации.

Я отдыхал тогда на Кавказе, неподалеку отдыхал Микоян. Я позвонил ему и сказал: «Анастас Иванович, я пошлю тебе рукопись, прошу тебя, прочти ее, потом встретимся и обменяемся мнениями». — «Каково твое мнение?» — спросил я, когда мы встретились. «Я, — отвечает, — считаю, что человек написал хорошую книгу. Не понимаю, почему цензура не разрешает ее печатать». — «Ладно, когда вернемся в Москву, поставим вопрос на обсуждение в Президиуме ЦК», — сказал я.

Разослали книгу всем членам Президиума, и вопрос о ней был включен в повестку очередного заседания. «Кто имеет какие-нибудь соображения? Почему эту книгу не следует печатать?» — спросил я. «Ну, товарищ Хрушев, — Суслов вытянул шею, смотрит недоуменно, — как же можно напечатать эту книгу? У автора Зиновьев называет Ленина «товарищ Ленин», а Ленин называет Зиновьева «товарищ Зиновьев». Ведь Зиновьев — враг народа». Меня поразили его слова. Разве можно извращать действительность и преподносить исторические факты не такими, какими они были на деле? Даже если мы отбросим то обстоятельство, враг или не враг народа Зиновьев, то сам факт бесспорен: действительно, в шалаше находились вместе Ленин и Зиновьев. Как же они общались между собой? Как обсуждали текущие вопросы или хотя бы разговаривали за чаем в шалаше? Видимо, называли друг друга словом «товарищ». А я даже думаю, что Ленин обращался к Зиновьеву по имени — Григорий, ведь у них были тогда близкие отношения. В первые месяцы после Февральской революции они придерживались по всем вопросам единого мнения.

И я заметил: «Но послушайте, они же были друзьями и жили в одном шалаше. Были связаны многолетней общей борьбой против самодержавия. Как иначе могли они называть друг друга? Что из того, что один из них потом оказался осужденным? Зиновьев был соратником Ленина. Форма обращения, использованная автором, естественна и нормальна. Можно, конечно, как максимум, сделать сноску с упоминанием о дальнейшей судьбе Зиновьева. Но это будет примечание в уступку глупости. Трезвым людям не потребуется никакой сноски». Другие члены Президиума поддержали меня. Решили не препятствовать публикации, и книга пошла в печать. Вызывает ли она сейчас какие-то сомнения? Может быть, есть недовольные критики. Однако это уже совсем другое дело. Критика на то и существует, чтобы высказывать порицание или поощрение и тем способствовать поднятию уровня литературного мастерства. А тут вдруг полицейские меры: держать и не пущать!

Такие функции околоточного выполнял раньше и по-прежнему выполняет сейчас наш главный околоточный Суслов. Конечно, лично он человек честный и преданный коммунистическим идеям. Но его полицейская ограниченность наносит большой вред. Мне могут сказать: «Чего же ты терпел, находясь в руководстве страны вместе с Суловым?» Верно, ошибался я. Мало ли ошибок человек может допустить в своей жизни. Просто я считал, что если Суслов будет работать в нашем коллективе, то мы на него сумеем повлиять и он станет приносить пользу. Поэтому я не ставил вопроса о его замене, хотя ко мне многие люди еще тогда

обращались с предупреждениями, что Суслов играет отрицательную роль. Интеллигенция к нему относилась плохо.

Вновь вспоминая о судьбе книги «Доктор Живаго», не могу себе простить того, что ее запретили у нас. Я виновен в том, что не поставил о ней вопрос так же, как о «Синей тетради». Разница (хотя и не оправдание) заключается в том, что я прочел «Синюю тетрадь» и увидел воочию глупость цензоров. Я попросил их дать разъяснения Президиуму ЦК. Они оказались несостоятельными, даже смешными, и мы без особых усилий справились с полицейской прутью. А «Доктора Живаго» я не прочел, да и никто в руководстве не прочел. Запретили книгу, доверившись тем, кто обязан был по долгу службы следить за художественными произведениями. Именно этот запрет причинил много зла, нанес прямой ущерб Советскому Союзу. Против нас ополчилась за границей интеллигенция, в том числе и не враждебная в принципе социализму, но стоящая на позиции свободы высказывания мнений.

Теперь — об Эренбурге. Я встречался с ним не раз. Хороший писатель был, талантливый. Таким он и остался в литературе. Но имелось у него какое-то примирение, что ли, со сталинскими методами управления. Возможно, я слишком строг к Эренбургу. Условия жизни были таковы, что без примирения он бы не выжил. Ему не хватало настойчивости в отстаивании собственного понимания событий, своей позиции. Так было не всегда, порой он проявлял твердость. Вспоминается, когда Сталину однажды понадобилось публичное выступление с заявлением о том, что в СССР нет антисемитизма, и он решил привлечь к его составлению, точнее, к его подписанию (авторов для такого документа у него имелось вполне достаточно) Эренбурга и Кагановича. Каганович буквально извертелся весь, когда Сталин разговаривал с ним по этому поводу. Чувствовалось, что ему не хочется делать это. Но он все же сделал то, о чем ему сказал Сталин. Затем кому-то поручили переговорить на этот счет с Эренбургом. Эренбург категорически отказался подписывать такой текст. Это свидетельствует о том, что он обладал характером и решился противостоять воле Сталина, хотя тот с ним лично в данной связи не разговаривал.

Эренбург пустил в ход слово «оттепель». Он считал, что после смерти Сталина наступила в жизни людей оттепель. Такую характеристику того времени я встретил не совсем положительно. Безусловно, возникли послабления. Если выражаться полицейским языком, то мы ослабили контроль, свободнее стали высказываться люди. Но в нас боролись два чувства. С одной стороны, такие послабления отражали наше новое внутреннее состояние, мы к этому стремились. С другой стороны, среди нас

имелись лица, которые всюду не хотели оттепели и упрекали: если бы Сталин был жив, он бы ничего такого не позволил. Весьма отчетливо звучали голоса против оттепели. А Эренбург в своих произведениях очень метко умел подмечать тенденции дня, давать характеристику бегущего времени. Считаю, что пушенное им слово отражало действительность, хотя мы тогда и критиковали понятие «оттепель».

Решаясь на приход оттепели и идя на нее сознательно, руководство СССР, в том числе и я, одновременно побаивались ее: как бы из-за нее не наступило половодье, которое захлестнет нас и с которым нам будет трудно справиться. Подобное развитие событий возможно во всяком политическом деле. Поэтому мы вроде бы и сдерживали оттепель. Мы боялись лишиться прежних возможностей управления страной, сдерживая рост настроений, неугодных с точки зрения руководства. Не то пошел бы такой вал, который бы все снес на своем пути. Опасались, что руководство не сумеет справиться со своими функциями и направлять процесс изменений по такому руслу, чтобы оно оставалось советским. Нам хотелось высвободить творческие силы людей, но так, чтобы новые творения содействовали укреплению социализма. Вроде того, что, как говорят в народе, и хочется, и колется, и мама не велит. Так оно и было.

Как-то мы беседовали в ЦК партии с творческой интеллигенцией. Эренбурга тоже пригласили. Не помню, присутствовал ли Симонов, но помню, что там были Твардовский, Евтушенко, Эрнст Неизвестный. Шел, в частности, разговор о скульптурах Неизвестного. Присутствовала на совещании и Галина Серебрякова. Она очень резко выступила против Эренбурга. Он, слушая ее, буквально как карась на горячей сковородке подпрыгивал, а она его хлестала, чуть ли не называя его подхалимом Сталина и обвиняя в том, что, когда Сталин рубил головы и загонял писателей в ссылку, Эренбург рядом своих выступлений поддерживал сталинскую политику в отношении творческой интеллигенции. Эренбург горячо ей возражал. Я понимал Серебрякову, талантливого автора трилогии о Марксе и Энгельсе, проведшего большую работу и собравшего большой материал, чтобы написать исчерпывающе. Сейчас Серебрякова исчезла с моего горизонта, я ее давно не слышал, на обложках книг что-то не мелькает ее фамилия. Возможно, ее произведения не находят признания и не видят света?

Я теперь сожалею о многом, что было сказано мной на том совещании. Критикуя Неизвестного, я даже допустил грубость, сказав, что он взял себе такую фамилию неспроста. Его фамилия вызывала у меня какое-то раздражение. Во всяком случае, с моей стороны проявилась грубость, и если бы я встретил его сейчас, то попросил бы прощения. Тем более что я

занимал тогда высокий государственный пост и обязан был сдерживаться, ведь подобная форма ведения разговора — это не беседа, а разнос. Евтушенко выступал очень горячо, поддерживая Неизвестного. Абстракционизм — не новое направление в культуре, он давно существует, и столь же давно часть интеллигенции борется против этого течения. Он был особенно известен за границей, хотя и у нас в свое время процветали абстракционисты и другие своеобразные течения вроде футуристов. Молодой футурист Маяковский ходил в желтой кофте.

Я был и остался противником таких течений и в литературе, и в живописи, и в скульптуре. Но это еще ни о чем не говорит. Нельзя же административно-полицейскими мерами бороться против того, что возникает в среде творческой интеллигенции: ни в живописи, ни в скульптуре, ни в музыке, ни в чем! Евтушенко тогда приводил соответствующие примеры того и называл конкретные фамилии: что, вот, на Кубе абстракционисты и реалисты выступали вместе с народом в защиту революционных завоеваний. Да, это верно! И все же, несмотря на разумность доводов Евтушенко, Неизвестного очень сильно критиковали. Он потом передавал мне через работников Агитпропа (не то ЦК ВЛКСМ), что переходит на позиции реализма. Я, конечно, был доволен. Ведь Неизвестный — талантливый человек. Сейчас печать сообщает, что он создал ряд хороших произведений. Я только рад этому. Насколько помогла ему наша критика? Может быть, послужила толчком? Но, возможно, он и сам перешел в своем творчестве на реалистические позиции.

Раскаиваясь сейчас насчет формы своей критики Неизвестного, я, по существу, остаюсь противником абстракционистов. Просто не понимаю их, потому и против. Мне больше по душе реалистическое направление. Помню, когда я находился в Англии, то на даче за городом беседовал с Антони Иденом. Он спросил меня между прочим: «Господин Хрущев, как вы относитесь к абстракционизму и другим модным течениям в современном искусстве?» Я ответил: «Не понимаю их, господин Иден. Твердо стою на позициях реалистического творчества». — «И я тоже не понимаю, — сказал он, — и тоже нахожусь на позициях реализма». Потом улыбнулся и добавил: «А как же любимый коммунистами Пикассо? Он ведь не реалист». Я ему: «Да, Пикассо — крупный художник, автор знаменитого «Голубя мира», который служит символом борьбы за мир». Мне незачем было выступать ни в роли критика, ни в роли защитника Пикассо. Это фигура, которая своим творчеством сама себя защищает и пробивает путь своим произведениям, к какому бы направлению его произведения ни принадлежали.

Я с огромным уважением относился и отношусь к Шостаковичу. Сей-

час не помню, в чём конкретно выражалась ждановская критика его произведений. Но не могу сказать, что Шостакович вообще был в загоне во времена Сталина. Он написал много прекрасных сочинений, в том числе и во время войны, когда он сочинил свой шедевр — симфонию об обороне Ленинграда. Он заслуженно занял видную позицию среди композиторов и является одним из ведущих мастеров музыки. В свое время руководство СССР не понимало Шостаковича, когда он поддержал джазовую музыку. Говоря откровенно, он был прав. Нельзя ни с какой музыкой, включая джазовую, бороться административными путями. Пусть к ней выразит свое отношение сам народ.

В той же связи некогда сильно критиковали Утесова. Еще в мои молодые годы, когда утесовские песенки буквально все напевали себе под нос, Утесова в пух и прах разносила газета «Правда». У меня был друг — одесит Лев Римский, давно умерший, коммунист кристальной чистоты. Он, постоянно напевавший «Бублики, горячи бублики», рассказывал мне, что его друзья, которые работали в типографии «Правды» и набирали критические статьи в адрес Утесова, сами распевали в это же время его знаменитые песни. Вот что значит народная оценка! Мне не под силу разбирать разностороннее творчество Утесова, в том числе его прежние «блатные» напевы. Наоборот, я очень доволен, что опять появились в продаже утесовские пластинки, я их часто слушаю.

Но бывают и другие. Такие джазовые выступления, что я выключаю радио: передают музыку, которая действует на нервы. Не музыка, а какая-то какофония. Не понимаю я ни таких композиторов, ни людей, которым нравится их музыка. Но это я — о себе. А ведь есть люди, которые, слушая их, и аплодируют, и прыгают от радости. Следовательно, им нравится? Поэтому административные меры применять к творчеству ни в коей мере нельзя. Должен высказаться слушатель, читатель, зритель. К тому же я человек уже старый, воспитанный на иных формах музыкального искусства. Мне нравятся народное пение, народные танцы, народная музыка. Конечно, и классическая. Но все же не джазовая. Я здесь вроде бы приношу покаяние, но и его приношу не абсолютно: по форме признаю допущенные в мое время ошибки, когда я имел возможность административно поддерживать или запрещать какие-то творческие направления. Внутренне же я и сейчас против некоторых из них. Просто подчеркиваю, что так бороться с тем, что не нравится, нельзя.

Одно время девушки ходили в коротких юбках. Потом вновь появились длинные платья. Меняется мода и в музыкальном искусстве, и во всем остальном. Надо терпимее относиться к таким переменам. А не влияют ли они как-то ослабляюще на коммунистическую идеологию? По-

моему, вовсе нет! Здесь Евтушенко прав. Мы, вот, критиковали в свое время Маяковского, а Маяковский оставил стране произведения, которые доныне служат Коммунистической партии оружием в борьбе за лучшее будущее. Например, никто из других поэтов не написал более выразительно о Ленине, чем он. Хотя Маяковский по своей стихотворной стилистике, по слогу для меня очень труден. Когда я берусь его читать, то его стихи воздействуют на меня не так, как когда я их слушаю. При декламации они звучат серьезно и призывно. Это я говорю в подтверждение правоты Евтушенко. А стихотворения самого Евтушенко нравятся ли мне? Да, нравятся. Впрочем, я не могу сказать это обо всех его стихах, я их не все читал. Знаю, что некоторые стали словами общеизвестных песен. Например, «Хотят ли русские войны?»).

Некоторые лица критически высказывались против слов этой песни: будто в своем стихотворении Евтушенко вообще отрицает всякую войну и морально разоружает солдат. Они не правы. Его слова выражают суть борьбы против милитаризма и в то же время предупреждают, что если война будет нам навязана, то Россия сможет достойно ответить. Считаю, что Евтушенко очень способный поэт, хотя и характер у него буйный. И опять же буйство есть понятие, зависящее от точки зрения.

Просто такой человек не всегда укладывается в рамки, отведенные цензорами, то есть теми, кто хотел бы все и всех подчистить и пригладить. Но если бы все писали одинаково, пользовались одними и теми же аргументами, исходили из единого понимания вещей, то не возникло бы никакого творчества. В конце концов все свелось бы к жвачке, только один жевал бы с одного конца, а другой — с другого. Такие произведения вызывали бы рвоту у читателей, зрителей и слушателей. Обязательно надо смелее предоставлять возможность творческой интеллигенции высказываться, действовать, творить. Творить!*

Н.С. Хрущев

* На этой фразе, записанной в первых числах сентября 1971 года, обрываются мемуары Никиты Сергеевича Хрущева. 5 сентября у него произошел третий инфаркт, 11 сентября его не стало. Последняя глава воспоминаний «Я не судья...» автору не нравилась. Он, прослушав запись, попросил стереть ее, чтобы можно было передиктовать. Но судьба распорядилась иначе. Эта глава свидетельствует о том, как автор оценивал и переоценивал некоторые минувшие события, порой не соглашаясь с самим собой.

СОДЕРЖАНИЕ

5	СЛОВО СЫНА
8	ПРОЛОГ
11	В ПРОМАКАДЕМИИ
21	ЗНАКОМСТВО СО СТАЛИНЫМ
34	СНОВА НА УКРАИНЕ
61	УКРАИНА—МОСКВА ПЕРЕКРЕСТКИ 30-х ГОДОВ
90	ТЯЖЕЛОЕ ЛЕТО 1941 ГОДА
114	СТАЛИНГРАДСКИЙ ПОВОРОТ
134	ПЕРЕД КУРСКОЙ БИТВОЙ И В ЕЕ НАЧАЛЕ
167	ПОСЛЕВОЕННЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ
201	ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ
214	ОПЯТЬ В МОСКВЕ
228	ВОКРУГ ИЗВЕСТНЫХ ЛИЧНОСТЕЙ
236	МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О СТАЛИНЕ
249	ЕЩЕ РАЗ О БЕРИИ
262	СМЕРТЬ СТАЛИНА
269	ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА
285	ОТ XIX К XX СЪЕЗДУ КПСС
300	ПОСЛЕ XX СЪЕЗДА КПСС
311	ОБ АЛБАНИИ
328	МАО ЦЗЭДУН
342	ОТНОШЕНИЯ С КИТАЕМ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В НЕМ НАРОДНОЙ РЕВОЛЮЦИИ
363	СТРОИТЬ БОЛЬШЕ И ЛУЧШЕ!
402	ДЕЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
437	ОБОРОНА СССР ПОСЛЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ...
456	ВОЕННЫЕ, УЧЕНЫЕ И ОБОРОННАЯ ТЕХНИКА
474	ВОРОХ ВОЕННЫХ И МИРНЫХ ПРОБЛЕМ
493	ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ ИЛИ МИРНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?
499	Я НЕ СУДЬЯ...

**Никита Сергеевич Хрущев
Воспоминания**

ВЫПУСКАЮЩИЙ

А.Ю. Малютин

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР

Т.Н. Костерина

ТЕХНОЛОГ

М.С. Белоусова

ОПЕРАТОР КОМПЬЮТЕРНОЙ ВЕРСТКИ

И.Ю. Буравова

ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ

А.Ю. Минаева

ЗАМ. ЗАВ. КОРРЕКТОРСКОЙ

Н.Ш. Таласбаева

КОРРЕКТОРЫ

В.А. Жечков, С.Ф. Лисовский

Издательская лицензия

№ 061053

от 15 апреля 1992 года.

Подписано в печать
27.02.97.

Формат 60×90/16.

Гарнитура Таймс.

Печать офсетная.

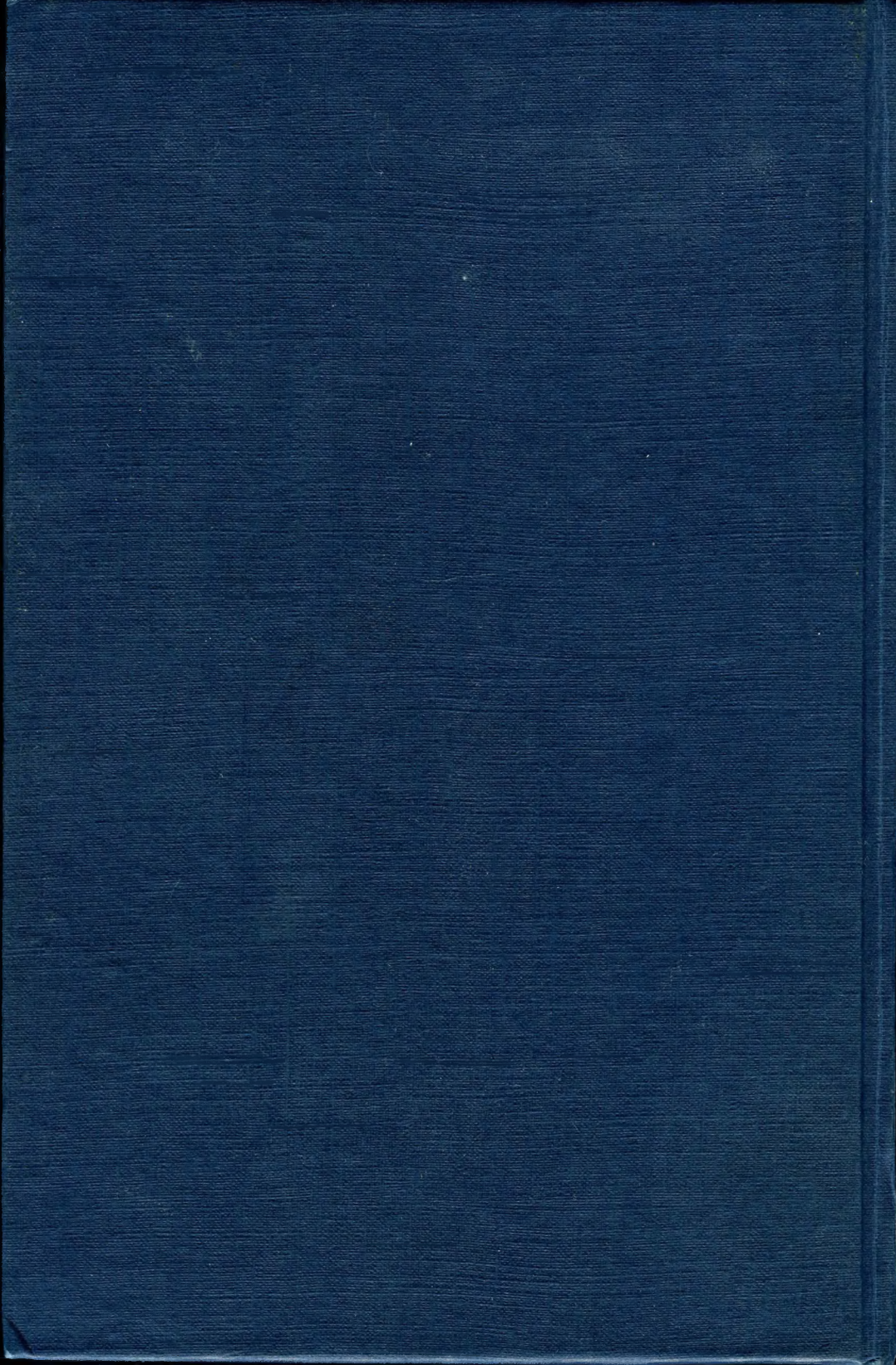
Объем 32 печ. л.

Тираж 20 000 экз.

Изд. № 416. Заказ

Издательство «ВАГРИУС»
103064, Москва, ул. Казакова, 18.

Отпечатано с готовых диапозитивов
в Государственном
ордена Октябрьской Революции,
ордена Трудового Красного Знамени
Московском предприятии
«Первая Образцовая типография»
Комитета РФ по печати
113054, Москва, Валовая, 28.

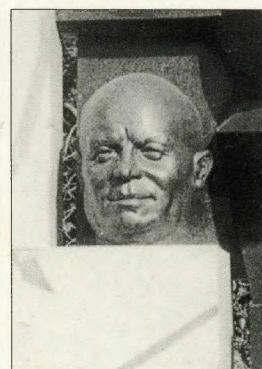
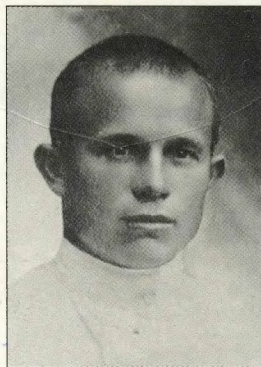


Никита Сергеевич Хрущев
(1894–1971) –
Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета Министров
СССР, стал лидером Советского
государства после смерти Сталина.

Он все хотел делать сам.
Возможно, поэтому в десятилетие его
правления великое нередко
сосуществовало с нелепым,
героическое – с едва ли не смешным.
Реабилитация сотен тысяч жертв
сталинских репрессий – и процессы
инакомыслящих; первый прорыв
“железного занавеса” –
и Карибский кризис, едва не
приведший к третьей мировой войне;
массовое жилищное строительство –
и посевы кукурузы
за Полярным кругом...
Умный, решительный, но
противоречивый политик, Хрущев так
говорил о себе: “Помру я... положат
люди на весы дела мои, на одну чашу
худые, на другую – добрые...
И добро перетянет.”

Никита Хрущев

В о с п о м и н а н и я



ВАГРИУС



ВАГРИУС